

# МОРИС СИМАШКО

---

*Избранное*

---

3

# МОРИС СИМАШКО

---

Избранное

в трех томах

# МОРИС СИМАШКО

---

*Избранное*

Том третий



АЛМАТЫ  
«ЖАЗУШЫ»  
1993

ББК 84Р7-44  
С37

**Симашко М.**

С 37 Избранное в трех томах. — Алматы: Жазушы.  
Т. 3—1993.—496 с.

ISBN 5-605-00983-4 (т. 3)

ISBN 5-605-00984-2

В третий том избранных произведений Мориса Симашко вошли: роман «Семирамида», повесть «Гу-га» и «Литературные сюжеты».

С  $\frac{4702010201-014}{402(05)-93}$  15—92

ББК 84Р7-44

ISBN 5-605-00983-4 (т. 3)  
ISBN 5-605-00984-2

- © Семирамида, изд-во «Жазушы», 1990
- © Гу-га, изд-во «Жазушы», 1990
- © Литературные сюжеты,  
изд-во «Жазушы», 1990
- © М. Симашко, 1993

# СЕМИРАМИДА



*Богородобная царева  
Киргиз-Кайсацкия орды!..*

*Г. Р. Державин.*

*О Семирамида Севера!*

*Вольтер.*

*Катъка... изменищица!*

*Емельян Пугачев.*

*Мне жаль великия жены,  
Жены, которая любила  
Все роды славы: дым войны  
И дым парнасского кадила...*

*Старушка милая жила  
Приятно, понаслышке, блудно,  
Вольтеру лучший друг была,  
Писала прозу, флоты жгла  
И умерла, садясь на судно...*

*Россия — бедная держава:  
С Екатериною прошла  
Екатерининская слава.*

*Александр Пушкин.*

Нужно ли говорить о важности, и необычайном интересе «Записок» той женщины, которая более тридцати лет держала в своей руке судьбу России и занимала собой весь мир, от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов...

Как будто великая женщина сама поддавалась гнусностям, столь живо ею изображаемым... омерзение, но не к ней: ее жалеешь, как женщину, ей сочувствуешь.

Александр Герцен.

Смею сказать о себе, что я походила на рыцаря свободы и законности. Я имела скорее мужскую, чем женскую душу. Но при этом была привлекательной женщиной. Да простят мне эти слова и выражения моего самолюбия; я употребляю их, считая их истинными и не желая прикрываться ложной скромностью...

Хотя в голове запечатлены самые лучшие правила нравственности, но как скоро применяется и является чувствительность, то непременно очутишься неизмеримо дальше, нежели думаешь. Я, по крайней мере, не знаю до сих пор, как можно предотвратить это... Поверьте, все, что вам будут говорить против этого, есть лицемерие.

Екатерина II.

## ПРОЛОГ

В выпуклых глазах его стояло спокойное бешенство. Бот, неумело повернутый поперек к приливу, приподнимало и било о каменное дно. Волны катились из-за ровного горизонта такими же ровными серыми линиями. Они казались невысокими, без обычной белой пены, и лишь в том месте, где маленькое судно застряло с наклоненной в сторону берега мачтой, набухла зеленая гора. Волна подтягивала бот до своего уровня, потом отпускала, и он медленно падал деревянным бортом на темные обнажившиеся камни. Тяжелая стылая вода прозрачно переливалась через него, смывая обломки весел, связки канатов, ведра. Это было совсем рядом с берегом, и хорошо виделся малый бачок, сорвавшийся с места и равномерно ударявшийся в переборку рубки. Треска не было слышно: только крупные желтые щепки откалывались после каждого удара днища о камни и потом взлетали на гребень продолжавшей свой путь волны. Матросы в мешковых робах цеплялись за рубку, за уходивший в воду леер. Их было человек пятнадцать, но лишь двое что-то делали, удерживаясь возле мачты. Кричал офицер у рулевого на юте. Голос его слышался здесь, на берегу, будто проваливался между рядами волн, увязая в мокром прибрежном песке...

Он стоял и смотрел, не отрываясь. Тупая неистовая боль вдоль поясницы сразу отодвинулась, как только выпрыгнул он из возка и увидел в десяти шагах от берега тонущий бот. Соскочил с передка и флигель-адъютант в заляпанных грязью рейтузах. Шестеро конногвардейцев эскорта сошли с коней и, держа их в поводу, молча стояли среди мокрых, с облетевшей листвой деревьев. Флигель-адъютант подошел, остановился чуть позади. Это был молодой человек, который уже привык к ровному непреходящему бешенству в глазах царя, поражавшему всех, кто видел его в первый раз. Будто остановившаяся вода, и где-то в бездне яростный звездный огонь. Взгляд этот был таков от природы и никогда не менялся. Говорили, мальчиком царь так же смотрел, как стрелыцы секли бердышами его дядьку



и всю родню. Так смотрел он и потом, когда собственной рукой отсекал стрельцам головы...

Тяжело заскрипел песок, перемешанный с корнями и прутьями жесткого прибрежного кустарника. От стоящей на пригорке мызы шел чухонец в вязаном колпаке и высоких сапогах из грубой кожи. Один из гвардейцев сделал шаг к нему, но старший разрешительно махнул рукой. Царь знал этого человека, даже ночевал как-то проездом в его доме. Чухонец остановился, посмотрел на тонущий бот, на свою лодку, крепко привязанную к выложенной камнем пристани, и подошел прямо к царю. Тот оглянулся, ничего не сказал и продолжал смотреть на тонущий бот.

Без звука, ровно и сильно дул от залива холодный ветер, не поднимая ни листка, ни пылинки с приглаженного сырого берега. Где-то в бесцветной водяной дали, откуда двигались волны, был Кронштадт. Бот плыл оттуда, как видно с фурштадтской стороны...

Боль не оставляла тела. Она лишь ушла из сознания, как только явился этот бот. Сначала он наблюдал за ним из-за слюдяного окна. Судно неумело дрейфовало к берегу, подставляя то один, то другой борт упругой приливной волне. Так и должно было случиться. Там, где каменная гряда обозначала мелководье, бот вдруг дернулся и встал поперек волны. Тогда он выскочил из катившегося возка...

Второй месяц боль словно впаяна была в поясницу, железные клещи стискивали низ живота, не давая вздохнуть. Он кричал по-русски, по-немецки, по-фризски облегчающие слова, бросал в стену что было под рукой. Лекарь Блюментрост привел еще двоих — в париках, с линзами на цепочках. Битый час стояли они у его изголовья, говорили значительным полуголосом латинские речи. Латынь всегда раздражала его. Вскочив с лежанки, он закричал неистово, обозвал их ослами. Кажется, пнул одного.

Старость была всему причиной. Ее он почувствовал сразу, встав однажды с постели. Все было такое же, никто ни о чем не говорил, но что-то изменилось в мире. Он тогда остановился посреди связок кож, мешков и сваленных бревен на торговой пристани, долгим взглядом посмотрел вокруг. Грохоча железом о камень мостовой, въезжали через таможенную казенные фуры, запряженные широкозадыми немецкими битюгами, спешно бежали по сходням грузчики с тюками шерсти на спинах, датский шкипер учил нанятого матроса морскому правилу, отирая потом о штаны кровь с кулака. А между стоящими плотно большими и малыми судами струилась отливающая смолой невская вода,

за гладью ее вблизи и вдали поднимались шпили, расчерчивая низкое небо. И гул стоял в воздухе, пропахшем свежестью залива: многоголосый, деловой, европейский, с внятным, настойчивым присутствием русских слов. Все уже делалось помимо него и тогда подумал он о старости. Недавно лишь поздравляли его с полувеком, он забыл об этом к утру другого дня. Что же произошло? Медленным, сбивающимся шагом прошел он в свой дом, достал из шкафа голландское зеркало, при котором брил его денщик. Чужое набухшее лицо смотрело на него из оловянной рамки: нос в порых, глаза навывкате. Старик это был, вроде сторожа на артюховских складах, куда ходил он пить квас.

С того дня ни на минуты не забывал он о своей старости. Бросился в Персию, гнал по стенам, плыл по рекам, вернулся здоровым, но знал, что это лишь вид. Припадки были такими же, как и раньше: цепенело тело, пропадало сознание, шла пена, и не в том было дело. Когда схватило первый раз поясницу и железный вкус появился во рту, он только покривился. Потом лежал с иеделю, принимал снадобья, что давал Блюментрост, стало полегче. Но боль оставалась. Невидимая, неощутимая, присутствовала она при нем постоянно, днем и ночью. Он ездил в ялике по Неве, сам греб до устатку, шел смотреть пуск фрегата, ходил по саду своими бегущими шагами, и была лишь слабость в теле. Когда снова явилась боль, он знал, что она и не уходила.

Он яростно вскочил, отбросил ногой тяжелый корабельный табурет, закричал запрягать. Сквозь хлещущий осенний дождь скакал смотреть Ладожский канал. Вода стояла в нем темная, недвижная, даже не пузырилась от дождя, но ею можно было проехать вглубь: к Ильменю, к Волге, к Хвалынским берегам, где горячее солнце. Потом на Олонецком заводе, отодвинув боль, долго и тяжело ковал он трехпудовый железный брус. Роями летали искры из-под тяжкого молота. Железо поддавалось постепенно, не уступая первому удару. Сначала обозначилась пушка-болванка, потом что-то круглое, безымянное; и наконец столб для судовой крепежки — точно такой, какой он в первый раз увидел в Антверпене. Несколько таких тумб выковал он когда-то самолично, и они стоят, вкопаны в низкий берег на Котлине и у Торговой гавани. Проходя там, он знал, какие столбы от его руки...

Стерев пот, он упал в возок и поскакал в Старую Руссу посмотреть, как варят соль по новому способу, взятому от англичан. Снежная крупа сыпала на Валдае, когда водой поехал он назад, в град святого апостола, чьим именем звался. Не доезжая Лахты, не выдержал — пересел в возок. Ехал полдня, и тут увидел залив и тонущий бот...

Царь дернулся и пошел к лодке. Чухонец ждал этого и тоже пошел вперевалку, однако поспевая за длинным, быстрым его шагом. Неторопливо отвязал он лодку, налег животом с одной стороны. Царь занес длинную ногу с другой и, приподнятая волной, лодка устойчиво закачалась на зеленой воде.

Чухонец плечами надавил на противящиеся весла. Флигель-адъютант бросился, ухватился за корму. Царь нетерпеливо махнул рукой, но тот не послушался, влез тоже в лодку. Тогда царь повернулся, стал смотреть на скачущий в волнах бот. Лицо его было по-прежнему недвижно, и глаза не мигали от летящих навстречу брызг.

Бот был уже совсем рядом. Лодка опускалась и взлетала между волн с подветренной стороны. Были видны напряженные лица матросов, их вцепившиеся в канат посинелые руки. Офицер уже не кричал, а лишь со страхом смотрел на приближающуюся лодку. Когда ее в очередной раз подтащило к боту, царь длинной рукой ухватился за кнехт и уперся ногой, не давая смыть себя текущей с палубы воде. Потом в два шага достиг юта, потянул рулевое колесо. Офицер, у которого вырвал он штурвальную рукоять, схватился за леер, заскользил по мокрым доскам, не находя опоры ногам. Чухонец в это время, привязав конец с лодки к лееру, стал с помощью матросов освобождать замотавшийся около мачты парус. Большие короткие руки его все делали медленно. «Эй, поживее, ты чухна белоглазая!» — закричал царь. «А, скоро только кошка своей тело телает!» — спокойно отвечал чухонец. Он махнул матросам, чтобы отпустили канат, выбрал часть его из воды. Толстые пальцы неспешно раскручивали намокшую парусину, передавали матросам.

«Крути, Питер!» — сказал чухонец, и царь с силой завертел штурвальное колесо. Приподнятый от палубы парус вздулся, бот сразу накренился, лег на бок. Заскрипели переборки, кто-то из матросов полетел за борт. «Куда крутишь, дурья голова?.. В море крути!» — погромче сказал чухонец. Царь послушно завертел штурвал в обратную сторону. Бот выровнялся, парус лез все выше, давая судну устойчивость.

Что-то кричал флигель-адъютант из лодки. Царь отдал штурвал офицеру, шагнул к борту. Там среди бурлящей воды серым пузырем вздулась бесформенная мешковина. Из пены на миг поднялась судорожно сжатая рука.

— Э, твою душу!..

Царь прыгнул в воду, поддел рукой тонущего матроса и сразу оказался далеко от бота. Чухонец отвязывал конец от лодки, неторопливо брался за весла.

— Да тут стоять можно!

Царь встал по грудь в воде, и лишь когда набегала волна, приподнимал рукой обмякшее тело матроса. Это был юнга с веснушчатым лицом и длинной худой шеей, торчащей из мокрой рубы. Глаза его помутнели, а голова качалась по волне туда и сюда. Лодка подплыла, флигель-адъютант протянул руки царю. Тот протолкнул вперед матроса, потом влез сам, сел на весла. Чухонец деловито принялся катать от банки к корме безжизненное тело уопленника. Еще не доплыли до прибоя, как матрос дернулся, открыл бессмысленные глаза. Потом его стало рвать. Царь самолично выволок его на берег, бросил с отвращением на песок. Тот сел, замигал глазами, ничего не понимая...

Царь пил ром из фляжки, расставив длинные ноги в мокрых синих подштанниках. Денщик тряс ботфортами, выливая из них воду.

— Ему дай! — приказал царь, кивая на матроса.

Флигель-адъютант поднес тому флягу к самому рту. Матрос беспоянтно глотал, проливая желтый ром по обе стороны рта.

— Э, пойдем, Питер, — сказал чухонец, показывая на свою мызу. — Греться надо при огне, сушиться.

— Тороплюсь, Якоб. В другой раз... Если бог даст!

Денщик надел на царя запасную одежду. Тот стоял на одной, потом на другой ноге, пока ему наматывали сухие портянки. Ноги у него были худые, с длинными искривленными пальцами...

Бот с выправленным парусом дрейфовал вблизи берега. Люди оттуда смотрели на берег. Царь погрозил им кулаком и махнул рукой. Потом посмотрел на нелепо мигающего матроса, который стоял, по-мужицки расставив ноги, и мелко дрожал. Чухонец взял его за рукав, повел, не оглядываясь, к себе.

Возок покати́л дальше, накрываясь временами там, где корни деревьев проступали на дорогу. Царь сидел, глядя прямо перед собой, в глазах его стояло все то же спокойное бешенство.

Нешадная боль при каждом шаге ударяла в позвоночник, а он шел от возка с широко открытыми глазами, лишь опираясь на флигель-адъютанта и прибежавшую жену. Та охала по-немецки: тихо, с деловитым сочувствием. Это он любил в ней: хоть сам обычно гремел голосом, но не переносил громкого русского крику.

Все качалось перед глазами, от горизонта продолжали набегать ровные серые линии. Беззвучно прыгал бот в волнах, испуганные глаза матроса смотрели на него сквозь непонятную прозрачность...

Рот извергался криком, и не могло уже вместить сознание эту боль. Но матрос не уходил: с широким носом на веснушчатом

лице и вопрошающими глазами. Он все тянул утопленника из мутной ледянистой воды: голова на длинной шее болталась в волнах, тело росло, увеличивалось, становилось непомерно тяжелым...

Криком укрощая страдание, он вставал, давал одеть себя, выходил в сенат и в ассамблею, подписывал бумаги, не ведая ни к кому снисхождения. И кругом: в доме, на улице, там и здесь — виделся ему матрос. Тысяча одинаковых лиц была у него...

Он возвращался, разрешая боли терзать себя, не в силах держать уже ее в повиновении. Каленые клещи впивались в позвоночник. Крутило мокрым снегом за расчерченными в квадраты голладскими стеклами. Снег липнул к ним, так и не оставляя на этой стороне узоров. Все вдруг ушло куда-то: шумы, блики, цветные кафели печи. Матрос сидел рядом и ждал. И тогда он понял свою обязанность объяснить кому-то все это. Для чего-же тащил он этого матроса из темной, не знающей смысла пучины. Что двигало им, начиная от того первого бота, когда прыгнул в ледяную волну?..

Все делал он так, сразу, начиная от того первого бота, что плавал в озере посредине немислимой, без конца и начала равнины. Всякую минуту жизни бросался он в воду, ковал железо, рубил сплеча. И теперь вдруг с удивлением понял, что не сам по себе делал это. Нечто, помимо воли его и мысли, руководило им. Даже то, что этот матрос оказался здесь, тоже его дело. Но что же заставляло его самого стремиться к этому низкому, оглаженному ветрами берегу? По некоему высшему закону вместе с равниной, где явился на свет, лесами и полями ее до гиперборейских льдов и пылающих жаром пустынь, явился он сюда, как является перегретая, расплавленная твердь из стиснутых тяжестью земных глубин. Такое многократно уже здесь происходило, и выплескивались на все четыре стороны к берегам океанов неисчислимые народы.

Что же смущает его во взгляде матроса?.. Боли уже не было, лишь свет и вселенская тишина. Рука поднялась, остановилась невесомо перед глазами. Он увидел пальцы с обкусанными ногтями, бугры и шрамы, неровно дергалась синяя жила. Что-то еще пропущенное, едва различимое было в том прошлом, которое никогда уже не произойдет.

— Петя!.. Петруша!

Он дрогнул, явственно услышав этот вечно живший в нем голос, частью которого бы он сам. Голос негромко звал, а он лежал посредине все той же равнины и глядел в небо. Чистое золото рассыпалось там, белый цветок-кашка трепетал возле самого уха.

— Петенька!

Он раскрыл глаза. Потолок белел в обитой дубовым тесом комнате. Свеча горела ровным восковым светом. Жена, уснувшая рядом на пуфе, приткнулась к его руке. Размеренно и гулко стучали где-то шаги: меняли караул. Матроса уже не было...

Но он все теперь знал. Некогда читал он книгу — латинскую или еллинскую — и махнул тогда рукой, прочитавши. Писалось там, что есть две стороны мудрости у музы Клио, знаменующей Историю. Как бы на колеснице о двух лошадях несется она во времени. Сказано было с примерами, что на необходимом принуждении и силе возрастает великая держава, но без духа каменеет и рушится, обращается в песок, как всякий камень. Явившийся с нею народ погребается под прахом, и не остается даже имени его в мире. Куда девались Навуходоносор и фараоны, где их народы? Не значились ли на вершине мира великий македонец и Атилда? Сколько было подобных языческих царств, что ушли в небытие.

И для того вторая ипостась музы Клио, которая есть мило-сердие. Непреходящи народы, чей дух возвысился. Сия хрупкая для недалевого взгляда категория есть главный якорь, каковым укрепляется и находит себя народ среди других народов земли. Надежнее самых высоких стен огораживает это от всех ветров истории. Что в камне построилась держава, то еще начало дела. Чтобы не стинуть ей без смысла в прорве времени, должно установить равновесие, о коем свидетельствует многознающая еллинская муза. Нельзя погонять одну только лошадь, ибо свернет колесница в бездну...

Возможно, что сейчас уже над пропастью колесница и своей рукой обрубил он постромки другой лошади? Сколько еще катиться ей так, одноконь, безрассудно сясь догнать кого-то? Век, два или три сказать с пеной на губах, при худом корме и с шорами на глазах? Грянет ли кучер, что опытной рукой придержит смертельный бег, впряжет другую лошадь? А то и эта оборвет постромки...

Когда же явится такая твердая, осмысленная рука? Дастся ли ей эта пущенная в галоп лошадь? Захочет ли принять рядом с собой другую или самого кучера потянет с собой, увлекая своей бессмысленной и беспощадной дикостью?.. Рука упала неслышно. Может быть, со стрельцами и сыном ему надлежало поступить иначе? И с многими другими тысячами, имени которых не ведал?.. Пальцы собрались в кулак, нет, то была его часть работы. И матроса ему надлежало вытащить из бездны, а не кому-то другому. Силой тащить всю жизнь — таково было ему назначено от той самой музы. Ничего не осталось для себя: ни сына, ни мягкой теплой травы, куда мог бы опустить свое изболевшееся тело. И некому принять от него рвущиеся из рук вожжи...

Царю сделалось хуже. Пять дней назад по велению его поставлена была возле спальни подвижная церковь. Сегодня он исповедался и приобщился святых тайн. Сам владыка молился тут, с осторожностью посматривая через открытую дверь на лежавшего царя. Тот не двигался и лишь изредка коротко стонал.

Через три дня над больным совершено было елеосвящение. И тут — по именному указу — освобождены были от каторги все преступники этой державы, кроме повинных в смертоубийстве.

С утра другого дня прощены были осужденные на смерть и каторгу по военным артикулам, но снова исключались из помиловательного списка лишенные понятия милосердия. Шептались, что вместо завещания сии указы.

В тот же день, вскоре после выстрела полуденной пушки, царь велел подать перо и бумагу, взялся писать. Но перо упало, и разобрать можно было лишь два слова: «отдайте все...» Чуть слышно сказал он позвать дочь Анну, которая писала обыкновенно ему под диктовку. Она пришла, но царь только смотрел не говорил. Никак не могли потом закрыть ему глаза, сколько ни прикладывали тяжелые медные пятаки. Совсем детское беспечальное выражение стояло в них, и люди крестились, оглядывались на висящую в углу богородицу в темных суровых красках...

Так умер Петр Великий.

## Часть первая

### Первая глава

#### I

— Ах, Каролинхен!..

Невероятное, горячее томление разливалось по телу. Где-то от низу, из неведомой глубины поднималось оно мерными толчками, приливало к груди, и не властна уже она была над этим. Все трепетало в ней, тело наполнилось сладкой мукой, стало невозможно дышать от счастья...

Но она уже проснулась. Женщина на лошади с хлыстом в руке и гордо посаженной головой оставалась еще какой-то миг в памяти. И судорожное сплетение в некоей комнате, что повторялось всякий раз во сне, оставляя после себя томительную слабость. Ах!..

Ни звука не произнесла она. Второй раз за дорогу случается с ней это. Все так же произошло три дня назад, когда выехали из Шведта. Отца уже не было с ними, и она заснула, освобожденная от его укоряющего присутствия. Равномерное покачивание на рессорах по неровной промерзшей дороге вызывает это сладкое чувство, от которого хочется умереть. А еще — неудобную влажность в белье.

Она осторожно посмотрела на свою мать: та сидела неподвижно, прижавшись спиной к большой перине, устроенной еще в Цербсте от поддувающего сзади ветра. Лица матери не было видно из-за теплой вязаной маски, такой же как у нее самой, у фрейлины госпожи фон Кайен и у камер-девицы Шенк, сидящих напротив. Морозы стояли столь сильные, что волки появлялись на улицах селений... Нет, никто не узнал о том, что происходило только что с ней.

Колеса застучали помедленней, карета качнулась еще раз другой и остановилась...

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная!

Простуженный голос выкрикивал это при каждой остановке. В сподяное окошко были видны темный каменный дом с такой же темной черепичной крышей, железная решетка, сложенный на пороге торф. Человек в старом капральском мундире кланялся со ступеней дома. Дверь кареты отворилась, протянулась рука,



помогла сойти на землю матери, потом ей и другим. Ледяной обжигающий ветер дул из-за дюн, за ними угадывалось море. Толстый господин Латорф, которого она привыкла видеть в расшитом полковничьем мундире с ангальтдорнбургским гербом, был теперь в обычной одежде с суконной накидкой от ветра. Он провел мать в дом, и они вошли следом.

Теплая спертая плотность ударила в лицо. Только потом при свете тусклой масляной лампы, висевшей на выпирающем из стены бревне, она все разглядела: спящих на широкой деревянной кровати пятерых детей — маленьких и больших, в длинных полотняных рубахах, еще ребенка в самодельной люльке-качалке, другую незастеленную кровать с ветхой периной, привязанного за ногу голенастого петуха, собаку у двери. Поперек на веревке сушилось белье. За печью на рваном полосатом тюфяке недвижно лежала старуха с костистым высохшим лицом и длинными желтыми волосами. В печи стоял котел, в котором булькала вода. Хозяйка, лет сорока женщина в грубом домотканом платье, резала крупными кусками репу и бросала в котел. Увидев входящих, она выпучилась на них, остановившись, с недочищенной репой в руке. На раскрашенной спинке кровати, где спали дети, был нарисован ангел, играющий на трубе. Мать безразлично оглядывала комнату.

— О сиятельная фрау, там есть еще одно помещение, но над ним повреждена крыша, и оно не отапливается,— заговорил содержатель станции, по всей видимости, бывший солдат.— У нас редко останавливаются господа, а зимой проезжие ночуют тут с нами.

— Мы лишь поедем здесь! — раздраженно сказала мать, обращаясь к Латорфу.

Случи внесли корзины с провизией, стали хлопотать посредине комнаты у стола. На грубые некрашенные табуретки постелили холсты, положили дорожные подушки. Они ели разогретую телятину, запивали пивом, которого в Цербсте погрузили на дорогу целых два бочонка. Слуги ели у двери что-то свое. Она быстро освоилась и с интересом смотрела на котел, где булькала вода. Сладко пахло репой...

Отдохнув и согревшись, они поехали дальше. Опять неровно стучали колеса, встряхивая по временам карету на смерзшихся комьях грязи. Она пробуждалась от толчков и тут же снова впадала в полусон, пригретая периной сзади и другой периной, которой были накрыты ноги. Чаще всего вспоминался ей отец. Специально для нее написал он наставление, как вести себя в предназначенном ей великом и неопределенном будущем. Тетрадь лежала в особой сумке из коленкора, которую подарил он ей два года назад, к ее тринадцатилетию. Отец писал так, что в каждой строке было равное количество букв. Когда выезжали из Шведта, мать передала ей эту тетрадь...

Обязательно раз в неделю, в субботу после полудня, отец звал ее к себе. Он был без мундира, в мягких сапогах и домашней куртке с брандесбургками. Сидя в кресле, высокий и прямой, он ровным голосом читал ей истории про нерадивого Штрубльпейтера. Так прозвали этого мальчика за то, что он не слушался родителей, вовремя не стригся и не мылся, водил дурные компании. Поэтому мальчик переносил всяческие неприятности.

Когда на ратуше снова играли часы, отец откладывал книгу, целовал ее, и она уходила к себе. Там, на четвертом этаже штеттинского дома, она сколько хотела играла сама с собой. Мощные удары колокола с городской кирхи сотрясали старое здание. Привставая на носки, смотрела она через окно вниз на расходящихся после службы маленьких людей, на загадочное и сумрачное море вдали.

Командир Восьмого королевского полка и комендант города, ее отец, всегда склонял седеющую голову, когда говорила мать, но и ее считал как бы старшей своей дочерью. В Цербсте, чье имя сочетается с ее именем, стоял старый замок с прямоугольным двором. В линию с ним шли ряды домов с фронтонами, ровные межи разделяли поля на бурой земле.

Она слушала отца и думала о другом. Некие золотые и пурпурные цвета представлялись ей в будущем. С матерью и морем было это связано. Берег моря источал загадочную силу. Оно намывало мелкие россыпи золотого камня, и куски его тускло отливали солнцем далеких времен.

Населяющие этот берег люди обладают умением видеть будущее. Так говорила старшая прислужница в Эйтинском замке, куда она ездила с матерью. А мать ее происходила от владельцев этого берега, чьи корни значились и по другую сторону моря. В ней была часть их крови. Это должно было в чем-то проявиться!

Когда гостили они в Брауншвейге, как бы из пелены тумана возник монах с желтым неподвижным лицом. «Патер из Мангдена» называли его и просили рассказать о судьбе красивой девочки-принцессы этого дома. Монах мельком посмотрел и равнодушно отвернулся. Вдруг глаза его остановились на ней. Он быстро подошел, положил руку ей на лицо. «Я вижу по меньшей мере три короны на голове у этого ребенка!» — сказал он в наступившей тишине. Мать задержала монаха, и они долго о чем-то говорили у высокого, идущего почти от полу окна. Она услышала, как тот сказал: «У каждого человека, мадам, есть своя звезда, и раз в жизни он должен увидеть ее. Только нельзя говорить об этом во избежание несчастья...»

Нет, мать ничего не понимала в будущем. Она резко двигалась, смеялась, зло кусала губы. Все и про всех она знала, но

только в настоящем. Даже откуда появились тонкие кружева в наряде побочной принцессы Саксен-Кобургской. О монахе мать не вспоминала. А вот ей запомнились желтая холодная рука на ее лбу и короткий пронизательный взгляд. Подобно человеку из Менгдена, она старательно глядявалась в лица людей, но видела у них только нос, рот, складку возле губ. Это ей ничего не говорило. Тогда она оставалась одна в комнате и думала о себе, золотые и пурпурные полосы являлись от долгого смотрения на стену.

И еще в эйтинскую поездку красивый шведский граф заговорил с ней. Потом он сказал матери: «Это непростое дитя: посмотрите, сколь серьезен у нее взгляд. Напрасно вы не уделяете ей внимания, княгиня!..»

Бессчастное количество раз повторялись в дороге видения... Полная радости, прыгала она в длинной белой рубашке по кровати. А мадемуазель Бабетта хохотала с ней вместе, ловила и целовала: Ah, ma petite oiseau!<sup>1</sup>. Это не был добрый и строгий поцелуй, отца, пахнущий сукном и ремнями. И не беглый поцелуй озабоченной собой матери. Веселое тепло источал он и был подобен многоцветной французской сирени...

Еще раньше, в оперной ложе сидела она совсем маленькая: ей подкладывали одна на другую три атласных подушечки, чтобы могла видеть сцену. Красивая женщина с длинными волосами все кричала там, растягивая слова. Необычное золотое с голубым платье было на ней. Потом женщина громко заплакала, вытирая слезы, а она закричала что было сил вместе с ней. Седая, с буклями и большим носом старуха успокаивала ее, передавала на руки лакею. Ей рассказывали, что это случилось с ней в Гамбурге, где она гостила у грессмутер<sup>2</sup>...

О, господи!.. Раз-два-три: мэтр Роберино вспархивал, подобно птице, кружился, плавно приседая и подвывая сам себе. Она хорошо запомнила счет: «раз-два-три», тоже кружилась, поворачиваясь в нужных местах. Музыка оставалась размеренным шумом. Мэтр Роберино горестно опускал руки: «Eue a trop de talents<sup>3</sup>».

С волчьим рычанием и жалобным овечьим блеянием читала мадемуазель Бебетта фабулы господина Лафонтена, а она повторяла ее движения и ужимки. Зато писала ровно, в прямую линию, как и отец, так что мсье Лорану, учившему ее чистописанию, не к чему было придрататься. Счет и геометрические фигуры, деяния великих королей от зачинателей Рима, описание земли с объяснительными картинками не представляли трудности.

<sup>1</sup> Ах, птичка моя! (фр.).

<sup>2</sup> Бабушка (нем.).

<sup>3</sup> Не все вместе бог дает людям! (фр.).

А в старом Цербсте в прямоугольных шкафах стояли книги: строгая мудрость терялась в туманных видениях, исходящих от янтарного свечения солнц. И рядом мадемуазель Бабетта с упоением рыдала над любовью обманутой пастушки, но быстро вытирала слезы и с новым, бурно подавляемым пылом следила за ускользающе-легкой игрой чувств. Она находила эти где попало оставленные книги и читала с середины тайные страницы, пахнувшие пересохшим жасмином, которым гувернантка закладывала свои книги. По-немецки она говорила только с отцом, с господином Латорфом и садовником Куртом. Язык не имел значения...

На коленях стояла она и очень просила бога исцелить ее от цыпок на руках, из-за чего приходится носить длинные перчатки. На нее падал шкаф и еще ранила себе ладонь ножицами. А потом появился кашель. Огнем пылало все тело. Она лезла к темному окну, чтобы открыть его, но запуталась в рубашке и упала на твердую спинку кровати. После этого наступил черный год.

В большом зеркале видела она себя каждый день. Лицо ее было перекошено, правое плечо становилось выше другого. А в боку оказалась дыра, через которую дул ветер. Приходили врачи, их привозили даже из Берлина. Они давали пить горькое лекарство. Руки у нее сделались совсем тонкими...

И тогда появился большой грубый человек в черной одежде. Его провели в дом по задней лестнице. Сердце колотилось у нее от страха, потому что мадемуазель Бабетта шепнула ей, чем этот человек обычно занимается. Он долго трогал всю ее холодными пальцами и молчал. У него был выговор жителей этого берега, и она вдруг уверилась, что он вылечит ее. Так и случилось.

Долго еще широкая черная лента подтягивала руку и плечо. Днем и ночью носила она кожаный корсет со спицами внутри. Старая женщина натирала ей мазями больной бок. Дыра уменьшалась, а плечо становилось ровней. Когда сняли корсет, она спросила у черного человека, может ли он видеть будущее. Тот посмотрел на нее тяжелым взглядом и ничего не ответил. Это был городской палач, занимающийся еще и врачеванием...

Что же произошло с ней, пока ходила с искривленным боком? Мир перевернулся, темные краски сделались светлыми, а светлые темными. Она вдруг ясно увидела другую сторону у каждого предмета и с болезненной жадностью вглядывалась в нее. Что бы случилось с ней, если бы так и осталась на всю жизнь кривобокой?.. Тетка Бригита — сестра отца, длинная и худая старуха с будто запеченным лицом, считала себя красавицей. Она держала в комнате больных птиц: подбитого аиста, скворца без ноги, обмороженных щеглов, старую с вылезшими перьями ворону. Как-то тетка ушла, а она открыла окно. Птицы,

ковыляя и трепеща крыльями, разлетелись по соседним крышам. Тетка Бригита стояла и смотрела в пустое окно сухими безжизненными глазами, а с нею никогда больше не разговаривала...

Уже совсем большая прыгала она опять в Эйтине по подушкам, бегала по железным крученым лестницам, училась стрелять в уток на замковом пруду. А потом целовалась с дядей, который был на десять лет старше. От него пахло краской для усов и домашним пивом. «Вы шутите!» — сказала она ему и обещала когда сделается совершеннолетней, стать его женой. Он хмурился и зло смотрел на брата прусского короля, играющего с ней в кегли.

Посредине игры вдруг замолкала она, уходила к себе и долго сидела, глядя в стену. Снова ощущала она жесткий корсет и болезненно приподнятое плечо. Предметы оборачивались другой стороной...

Пастор Моклер, которого уважал отец, беседовал с ней по воскресеньям. «Бог передал нам десять заповедей и ничего больше не придумает человечество в подтверждение своего смысла и достоинства!» — говорил он, положив мягкую руку ей на голову. Задумчивое, печальное лицо его освещалось необычным светом. Господин Вагнер, учивший ее правильной немецкой речи, говорил то же самое, но лицо у него розовое и довольное.

Был еще господин Больхаген, старый друг отца, замещающий его в службе: Седой, изломанный, с покалеченной ядром рукой, он приходил во время болезни, подолгу рассказывал о своих странствиях и службе у разных королей. «Главное для человека — иметь сердце!» — восклицал он, поднимая вверх палец. Господин Больхаген твердо считал, что ей предстоит носить корону. Когда пришло известие о свадьбе кузины Августы Саксен-Готтской и сына короля Георга Второго Английского, он убежденно сказал: «Эта принцесса поплоче наших. Уж если ей выпало быть королевой, то кем же станут наши дети!»

Что же делала она не угодное богу? Заспорила с законоучением и упрямо твердила, что никакого хаоса не было. Не могло быть так в мире, чтобы не существовало никакого порядка. Стуча по стеклу сухим пальцем, старый пастор предрекал, что гордыню ее ждет ужасное наказание. В котле с вонючей серой будет она кипеть. «Не было... не было хаоса!» — кричала она и громко плакала. А потом горячо молилась, прося бога исправить ее характер. Вечные муки страшили ее. В Гедлинбургском аббатстве, куда привозила ее мать, кругом были мопсы и попугаи: в доме, в карте, даже в церкви. Шестнадцать мопсов жили в комнате у настоятельницы, приходившейся теткой матери, и запах стоял невыносимый. Здесь же, в аббатстве, жила сестра матери — тоже голштинская принцесса. С у тра до ночи ругались

они между собой, и мать их мирила. А она, вместо того, чтобы помогать матери, исподволь ссорила их; забрасывала под кровать клубки с нитками, дразнила мопсов.

Грех лганья и притворства сопутствовал ей до самых последних дней. Всякий вечер делала она вид, что засыпает, а когда доверчивая мадемуазель Бабетта уходила, она открывала настежь окно и принималась скакать и прыгать сколько душе угодно. Ей это всегда нравилось: скакать на кровати или бегать вверх по лестнице.

Не надевая обуви, в одной рубашке спускалась она этажом ниже и подслушивала за дверью, о чем говорят мадемуазель Бабетта со служанкой. Сердце ее замирало, когда слышала потаенные признания служанки обо всем... об этом!

А потом была женщина на лошади и темная комната, где томительно и неясно двигались тени. Даже богу не говорила она об этом. А еще золотые и пурпурные полосы являлись на стене...

Карета перестала покачиваться на рытвинах, колеса скрежетами по камню. Через слюдяные окна видны были узкие дома с островерхими крышами, за ними гасли зимние сумерки.

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная!

Черный орел висел на стене в большой холодной комнате, куда привел их встретивший офицер. При свете лампы он читал бумагу, с недоумением поглядывая на мать. Та старательно прятала лицо за бархатной муфтой. А она сразу узнала адьютанта, служившего когда-то у отца.

— Графиня Рейнбек? — с сомнением в голосе произнес офицер и отдал распоряжение чиновнику. Их провели в комнату для проезжающих. Слуги взятым из дому бельем застлали железные кровати, носили торф для высокой черной печи. По требованию матери принесли еще одну лампу, поставили на стол. Пока готовили ужин, мать принялась писать письма. А она смотрела в окно на широкий двор почтовой станции. Там стояли в ряд их кареты: одна — высокая, на французских рессорах, в которой ехали они с матерью, три другие — обычные, похожие на длинные черные ящики. В них ехали слуги и сопровождающие, везли постель и продовольствие. По четверке лошадей было впряжено в каждую карету: их сейчас как раз выпрягали, заводили в конюшню.

Ночью слышно было, как за стеной всхрапывали, ударяли копытами в стойку лошади. Раздавались команды: меняли караул. Поутру пришел тот же офицер, и мать снова скрывала свое лицо. Так она делала на каждой станции...

Море то приближалось, то отступало, но всегда находилось с левой стороны. Оно угадывалось по полосе плотного серого

тумана. Справа иногда проглядывало низкое холодное солнце, и квадраты блеклого света от слюдяных окон перемещались по внутренности кареты. Опять в полусне она думала о будущем. Все исходило из прошлого...

Эйтинская поездка была как бы началом всего. Долговязый, с развинченной походкой мальчик остановился, словно наткнувшись на что-то, смотрел на нее выпуклыми водянистыми глазами. Ничего не выразилось в них, только затаенное изумление. Это было удивительно: глаза не имели твердого цвета. Он захохотал громко и пошел несуразно в сторону, как бы потеряв направление. Она тут же передразнила его и, к восторгу маленькой принцессы Баден-Дурлахской, тоже пошла большими неровными шагами, нелепо подпрыгивая.

Это был ее троюродный брат по голштинскому дому, принц Карл-Петр Ульрих. Их общий дядя — епископ Любекский — собрал у себя всех ближних родственников, чтобы познакомиться с этим мальчиком — наследником двух великих престолов — шведского и русского, именующего себя императорским. Потом она играла с мальчиком, и хоть была на год моложе, заставляла его делать, как ей хотелось. За ним смотрел швед Брюммер, огромный, с толстым красным лицом и большими кулаками. А она была полна радостью свободы: мадемуазель Бабетту оставили в Цербсте, и некому было делать ей замечания. Мальчик вдруг начинал упрямиться, кричал дерзости, но появлялся Брюммер, и он послушно умолкал: руки опускались, как плети, и бежали глаза.

Пользуясь своей вольностью, она прибегала к задней двери епископского зала и тихонько слушала, что говорили за ней. Там собирались все приехавшие: гроссмутер Альбертина-Фридерика, затем мать и другая принцесса Голштинская и Саксен-Готская — тетка Анна, дяди — принцы Август-Фридрих и Георг-Людвиг, прочие родственники. Мать говорила больше всех. Дядя, епископ Любекский Адольф-Фридрих, сидел в кресле с высокой спинкой, на которой вырезан был голштинский герб. Он торжественно объявил, что в связи с печальным событием — кончиной брата Карла-Фридриха, герцога Шлезвиг-Голштейна, — возлагает на себя бремя управления страной, а также опекуновство над сыном его Карлом-Петром Ульрихом. Мать малолетнего принца Анна — дочь русского царя Петра умерла, как известно, одиннадцать лет назад, в третий месяц после родов...

Родственники по очереди высказывали свое отношение к воспитанию принца. Мальчик скрытен, ведёт себя неровно, замечен в обмане. Физическая слабость его вызывает беспокойство. При этом пристрастен к вину. Не раз его ловили возле буфета с напитками. Швед Брюммер при каждом таком утверждении согласно кивал головой. Он говорил, что с этим ребенком

необходимы строгость и строгость. Каждый шаг его должен быть под контролем, и ни минуты не следует оставлять ему свободной.

Слабый, глуховатый голос гроссмутер доносился будто из прошлого века. Она рассуждала, в кого же склонностями и задатками пошел мальчик, Может быть, в двоюродного дядю по шведской линии, короля-сумасброда, взбудоражившего всю Европу? Тот, несмотря на всю свою воинственность, тоже был слаб здоровьем. Некрепок телом был и герцог Карл-Фридрих, ее без времени почивший сын. От него, как видно, мальчик перенял страсть к военным играм. Прямой дед принца по матери — русский царь Питер был великан и неутомим в делах. Его помнят здесь, как шел оберегать Гольштейн от беспокойных соседей. Однако и его преследовал некий рок. Скрытая болезнь ли тому причиной или чрезмерное расходование жизненных сил, но в то время, как дочери его выделялись статью и красотой, царь был несчастлив в мужском потомстве. Не наследуется ли это качество через женскую линию?..

Теперь она с интересом наблюдала за долговязым мальчиком. Тот привязался к ней и ходил следом. Краски появлялись на его лице, он начинал связано говорить, смеялся от души. Принцесса Саксен-Готская сказала шутливо матери: «О, эти дети — вполне достойная пара!» Мать рассмеялась: «У него слишком громкое имя для бедной Ангальт-Цербской принцессы!»

Но являлся Брюммер, и у мальчика падали руки. С утра до ночи смотрели за ним еще два гувернера и лакей. Швед громко и отчетливо отчитывал его, толкал к столу, силой принуждал делать заданные учителями упражнения. В наказание его заставляли стоять навтыжку. Ей не было его жалко. Принц Карл-Петр Ульрих надоел ей уже на второй день.

Карета катилась все в том же направлении. Золотые и пурпурные полосы предрекали будущее. Это была страна, куда уходили служить и растворялись в не имеющем очертаний пространстве. Оттуда редко возвращались и рассказывали странные истории. Некий барон, служивший в этой стране, ездил на медведях, выворачивал наизнанку волка, стрелял косточкой в лоб оленю, и выросло вишневое дерево. Там даже звуки замерзали от мороза в почтовом рожке...

Она невольно посмотрела в слюдяное окно. Голые полосы полей уплывали назад, перемежаясь черными пустыми лесами. Морозы не проходили, но снега не было. Она с любопытством прислушалась. Резкий поющий звук донесся издали, повторился уже рядом. Вихрем пронеслась встречная почтовая карета с королевским орлом на двери. Кучер держал рожок возле губ. Звуки пока еще не замерзали...



В цербстве и Эйтине всегда подсчитывали степени родственных связей, вспоминая эту страну. С детства ей представлялся огромный царь в высоких сапогах и такие же большие солдаты. В сыром морском тумане они шли на приступ города, захваченного врагами...

— Графиня Рейнбек с дочерью... Подорожная в Россию!

Здесь была территория другого короля. Усатый человек в странном, с широкими плечами балахоне из катаной шерсти заговорил непонятно, зацокал. Потом стал говорить по-немецки, смешно произнося слова. И добавлял каждый раз свое «цо... цо мовет пани?» Свободных лошадей не оказалось, так что пришлось оставаться тут до следующего утра. Их устроили спать у стены на широких деревянных скамьях. Для слуг на полу постелили солому.

Выехали еще затемно. Упираясь и закидывая морды, лошади скатили карету с горы, заскользими копытами. Грязными линиями по мутно-белому льду обозначалась дорога. Другой берег у реки был низкий, он сливался с землей и небом...

Все началось еще прошлой зимой, когда они гостили в Берлине. Мать ездила к королевскому двору, возвращалась озабоченная и осматривала ее с разных сторон. Потом в доме с верандой и запотевшим окном мэтр Пэн рисовал ее портрет. Приближая выцветшие глаза к самому ее лицу, он все вздыхал, выискивая нужную краску. Она оторопело смотрела на длиннорукую девицу с ватным лицом на холсте. Другой портрет, что рисовали три года назад, ей больше нравился. Там она была похожа на бело-розовую куклу, которую подарила ей к двенадцатилетию ее воспитательница — мадемуазель Бабетта Кардель.

Однако портрет долго не рассматривали. Его заправили в рамку и сразу увезли в Любек. Дядя, принц Август, собирался ехать в Россию. Мать и отец, даже мадемуазель Бабетта не разговаривали с ней, но она понимала, к чему это делается. Все было угадано ею самой, когда ходила в корсете с приподнятым плечом. Сейчас видения обретали смысл.

Еще раньше в Штеттине и Цербстве стали оживленно говорить о новой русской императрице. Мать всю неделю носила при себе у корсажа ее родственное письмо. Внизу, сильно отступя, стояла подпись: «Елизавет». По письму этому был послан в Россию портрет покойной сестры императрицы — Анны, бывшей замужем за дядей Карлом-Фридрихом. В ответ пришел эмалевый портрет самой императрицы с бриллиантами, стоимостью в восемнадцать тысяч рублей. Величественная женщина с чуть выпуклыми глазами держала в руках золотой скипетр...

Известия приходили одно за другим. Не пролетело и недели, как подтвердилось сообщение о вызове из Киля в Петербург принца Карла-Петра Ульриха, наследника русского престола. Это был тот самый долговязый мальчик, которого она видела в Эйтине...

И тут сразу проявилась милость великого короля Фридриха. Отец, который командовал полком, был пожалован чином фельд-маршала. Говорили шепотом, что это дальний шаг короля в сторону двора, и опять поглядывали на нее. Потом уже мэтр Антуан Пэн поспешно писал ее портрет для отправки русской императрице в Петербург...

Великий король Фридрих что-то знал о ее предназначении. Он тоже родился недалеко от этого туманного моря, где люди провидят будущее. Много лет назад, когда она с матерью поехала в Берлин с траурным соболезнованием от Померании в связи с кончиной старого короля, новый король вдруг бегло рассмеялся и спросил: правда ли, что дамы в Штеттине отказались носить траур в память его родителя. Мать стала уверять, что народ и дворяне побережья искренне скорбят о безвременной потере. Слушая мать, она не могла сдерживать слез. Так всегда происходило в детстве, когда кто-нибудь произносил при ней ложь. Король Фридрих жестом остановил мать: «Не продолжайте, мадам: я прочел истину в глазах этого ребенка!» И вдруг повернулся к ней. Умные глаза короля понимающе шурились. Он что-то угадал в ней.

В Берлине они с матерью бывали всякий год. Она хорошо помнила длинный зал с железными щитами на стенах и сидящего на золотом стуле человека. На других стульях поменьше сидели мужчины и женщины, среди них была ее мать. Она сделала реверанс, как ее учили, потом подошла и потрогала человека на золотом стуле за штаны. Все вокруг улыбались. Ей было тогда три года. Рассказывали, что она спросила у старого короля, почему у него такая короткая одежда. Но это произошло в Браншвейге.

В Берлине она играла с королевскими принцами. Старший из них, Генрих, строил для нее замок из кубиков, а сестра, рыжая Ульрика, принуждала играть в куклы. Она не хотела возиться с куклами, тогда Ульрика разозлилась и впилась ей ногтями в лицо. На крик и плач быстрыми шагами вошел кронпринц. Он взял на руку вопившую что было сил сестру Ульрику, которую она повалила на пол, другой рукой поднял ее: «Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царапать друг друга!» Будущий великий король говорил вполне серьезно.

И сейчас в Берлине этот король передал матери, что хочет видеть ее дочь за обедом у королевы. Во время обеда он говорил

только с ней. «— вам четырнадцать лет, принцесса, но судьбе угодно положиться на вашу рассудительность. Кто знает, не зависит ли от нее будущее Европы». Это тоже серьезно он сказал ей в ложе королевской оперы.

У короля был прямой взгляд и резкое, будто вырезанное из камня лицо. Она вдруг подумала, откуда же великий король узнал о делах, касающихся их поездки. Скрепленные тяжелой печатью письма шли в Россию и обратно. Ей вспомнилось, как тайно слушала разговор взрослых в Эйтинском замке, и она тоже прямо посмотрела в глаза королю. «Ваше величество во всем является для меня примером!» — сказала она. Король улыбнулся и кивнул головой...

Карета качнулась. Она приподнялась с перины, нетерпеливо, ожидающе посмотрела в переднее окошко! Черная промерзшая дорога все так же уходила вдаль среди бурых полей. Прямыми линиями стояли домики под черепичными крышами. И леса вдоль дороги были аккуратно подчищены, сухие ветки сложены ровными кучками. С той стороны, откуда они ехали, слабое уходящее солнце освещало трубы домов и верхушки деревьев. А впереди, за полями и лесами, стояла плотная густо-синяя мгла. В ней ничего нельзя было угадать.

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная! Здесь опять были владения великого короля. Темные стены замка сияли при луне. Крепостные строения с каждым днем пути становились выше, а стены — толще. Но это был уже город-крепость. Гулко, будто в железной коробке, стучали колеса в узких улицах, в окнах домов виднелись кованые ограждения. В гостинице все было приготовлено к их приезду. Решено было дать однодневный отдых людям и лошадям...

Мать писала своим беглым почерком: «Достопочтенной родительнице моей, герцогине Голштейна Альбертине-Фридерике...» За окнами стояла белая завеса от впервые в эту зиму падавшего снега. Отсюда, с другой стороны бюро, можно было разобрать каждое написанное матерью слово... «В день нового года я получила эстафету из Петербурга с приглашением, по приказанию и от имени всероссийской императрицы, отправиться, не теряя времени, со старшей дочерью в место, где будет находиться императорский двор при моем прибытии в Россию. Князя и фельдмаршала — супруга моего просили не сопровождать меня, так как Ее императорское Величество имела важные причины отложить удовольствие свидания с ним до другого раза. Письмо было снабжено векселем, многими необходимыми наставлениями, предписанием о непроницаемой тайне и о сохранении инкогнито, под именем графини Рейнбек, до Риги, где мне разрешено

открыть свое имя, чтобы получить назначенную мне эскорту. Предписано говорить, как в Риге, так и по прибытии, что я еду лично благодарить Ея императорское Величество за все милости, оказанные из России моему дому, и лично узнать эту прелестную государыню. Ея императорское Величество желает, чтобы то же самое разглашали и мои родственники в Германии. Прежде всего, мне бросилось в глаза существенное обстоятельство, касающееся судьбы моей дочери, относительно которого, как узнала впоследствии, я не ошиблась...»

Ей вдруг сделалось грустно. Ни разу не сказали ей прямо о том. Все говорилось, будто мнение ее не имеет значения. Может быть, это действительно так, и провидение само, без ее участия, направляет ее к цели.

Мать продолжала писать: «И так, делая вид, что приглашены в Берлин, мой муж и я выехали из Цербства. Вскоре он получил приказание отправиться в Штеттин; я всем говорила, что сопровождаю его, но потом свернула на другую дорогу. В одиннадцать дней я прибыла сюда и хотя не устала, но завтра отдохну здесь. Надеюсь, что переезд в Ригу не продолжится больше недели; оттуда в Петербург, если только санный путь продержится, еще менее...»

Почему же отцу нельзя было ехать с ними? Ей вдруг явственно послышался ровный строгий голос. Непослушный мальчик Штрубльпейтер был еще и излишне любопытен, за что понес соответствующее наказание... Она достала свою коленкорую сумку, вынула свои чернила и бумагу, снова прочла догнавшее их вчера письмо. Фике — все называли ее так в доме, кроме отца. Лишь сейчас она ощутила его святую любовь. Горячая сухость появилась у глаз. Она тоже принялась писать... «Государы! Я получила с совершенным почтением и невыразимую радостью записку, в которой Ваша Светлость почтили меня уведомлением о своем здоровье, о памяти обо мне и о своих милостях. Умоляю Вас быть уверенным, что Ваши указания и советы навечно останутся запечатленными в моем сердце, равно как и семена нашей святой религии в моей душе, которой прошу Господа ниспослать все силы, необходимые, чтобы выдержать те искушения, которым готовлюсь подвергнуться. По молитвам Вашей Светлости и дорогой мамы, Господь окажет эту милость, которую не могли бы мне доставить моя молодость и моя слабость. Я предаю себя Господу и желаю иметь утешение сделаться достойною такой милости, равно как получать добрые вести от дорогого папы. Остаюсь всю мою жизнь с неизменным почтением, государь, Вашей Светлости всенижайшая и верная дочь и слуга София-Августа, принцесса Ангальт-Цербстская... Кенигсберг в Пруссии, 29 января 1744 года».

Когда отъезжали, один лишь замок тускло чернел среди

снега. Дома вокруг стояли засыпанные до крыши. Но с дороги снег сдувало, пришлось и дальше ехать на колесах. Только сзади привязали сани, чтобы в случае надобности переставить на них кареты. Полозья торчали выше крыши. А снег всё мел навстречу, и плотная синяя мгла не проходила впереди...

Она ехала и думала, что в четыре недели все перевернулось. В новый год отцу — князю и государю Ангальт-Цербстскому подали пакет с почтой. Тот разорвал пакет, несколько писем, как всегда, передал матери, и она сразу ушла к себе. Три дня отец и мать взволнованно говорили между собой, запираясь от всех.

«Я знаю, о чем эти письма, ваша светлость!» — вдруг сказала она матери.

«Но откуда вы это знаете?» — спросила мать. «Ваша светлость, помните того прорицателя из Менгдена... Я тоже читаю на лице». Мать засмеялась: «Тогда напишите ваше будущее!» Она ушла и через некоторое время принесла свернутую бумагу. Мать развернула и прочла: «Петр Третий, русский царь, будет моим мужем».

Мать задумчиво покачала головой: «В России все не так, как предсмотрено божим порядком». «Я знаю свою фортуна!» — ответила она. «А что скажет мой брат?» — тихо спросила мать. Она вспомнила поцелуй в темном коридоре. «Принц Георг-Людовиг не может не желать моего счастья!» — с достоинством ответила она. Больше они об этом не говорили.

Князь и государь Ангальт-Цербский заперся в те дни в своем кабинете и что-то писал. Слуги в доме говорили вполголоса. В день отъезда, прежде чем садиться им в кареты, отец преподнес ей книгу в строгом черном переплете, рекомендуя внимательно ее прочитать и в деле исповедания веры следовать наставлениям автора — доктора Гейнекция. Матери он передал тетрадь, на обложке которой значилось *Pro Memoria*. В далекой России им обоим предстояло руководствоваться его советами.

Целый день перед их отъездом цербстский камердинер с Бабеттой выкладывали из корзин простыни и наперники, сортировали белье. Простыни были в большинстве старые, с аккуратной штопкой, а целых рубашек для нее нашлось лишь две, где явственно виделись следы починки. Известно было, что в берлинском торговом доме им предстояло получить некую сумму. Она назначалась от русской императрицы на покупку белья и платьев, соответствующих новому ее положению.

Мадемуазель Элизабетта Кардель, растившая ее с пяти лет, все дознавалась, почему столь необычные сборы для простой поездки обратно в Штеттин. Следуя наставлениям матери, она ничего ей не сказала. Бабетта навсегда оставалась здесь; поставшая, с заплаканными глазами, стояла она во дворе Цер-

бстского замка и, протянув в небо руку, махала одной лишь ладонью: *Bonne chance, ma petite enfant!*<sup>1</sup>

— Графиня Рейнбек с дочерью!

Лес стоял вокруг, и почтовая станция тонула в снегу. При свете фонаря, подвешенного под темный бревенчатый потолок, она читала *Pro Memoria* — памятную записку своего отца — фельдмаршала, князя и государя Ангальт-Цербстского... «Относительно греческой религии следовало бы попытаться, нельзя ли, чтобы дочь сохранила лютеранскую веру... Так как жить и действовать в чужой стране, управляемой государем, не имея близкого доверенного лица, есть дело весьма щекотливое, то, после старательной молитвы более всего следует рекомендовать дочери, чтобы она нижайше оказывала Ея императорскому Величеству всевозможное уважение и, после Господа Бога, величайшее почтение и готовность к услугам, как вследствие ея неограниченной власти, так и ради признания благодетельных... После Ея императорского Величества дочь моя всего более должна уважать великого князя, как господина, отца и повелителя, и при всяком случае угождением и нежностью снискивать его доверенность и любовь. Государя и его волю предпочитать всем удовольствиям и ставить выше всего на свете...

Не входить ни с кем в слишком близкие отношения, но всегда сохранять по возможности собственное достоинство. Милостливыми взорами смотреть на слуг и любимых людей государя... В аудиенц-зале ни с кем наедине не говорить...

Карманные деньги, какие только будут отпускаться, держать у себя и хранить, выдавая понемногу прислуге по счету... В тяжёлых делах ни за кого не ходатайствовать... наипаче не вмешиваться ни в какие правительственные дела...

Ни с кем не сдружаться, стараясь приобрести доверие только Ея императорского Величества и великого князя; относительно всех и вся быть сдержанною...»

Продолжалась сказка о Штрубльпейтере. Слушая рев ветра за стеной, она смотрела на пламя фонаря. Там вспыхивали золотые и пурпурные полосы. С каждым днем приближалась она к своему будущему...

Ветер все дул навстречу, бросая тяжелые снежные комья в слюдяные окна. Кареты в Митаве поставили на полозья, и теперь они мягко покачивались в выраставших на дороге сугробах. Она прислушивалась к проезжей почте: рожки еще пели...

<sup>1</sup> Желая тебе счастья, мое дитя! (фр.).

— Ах, Каролинхен!..

Женщина на лошади с гордо посаженной головой явилась как всегда неожиданно. Она ехала верхом, перекинув ногу по-мужски и вызывая укоряющий шепот. Лишь чуть-чуть касалась она хлыстом полированной спины жеребца, и тот послушно приседал на круп, сдерживая свою могучую силу...

Госпожа Бентинг, полуфламандка, в которой смешалась кровь антверпенских купцов и древних английских королей, жила отдельно от мужа. Портрет необыкновенно красивого графа Бентинга висел у нее над кроватью. И маленький херувим с золотыми кудряшками бегал по дому. Говорили, что мальчик, как вино из одной бутылки, похож на молодого курьера, сопровождающего везде графиню.

Это было совсем недавно, прошедшим летом. С отцом и матерью гостила она у цербтских родственников: сначала в Жеверне, потом в Аурихе — у принца Ост-Фризского. Оттуда все вместе поехали в Варель к вдове герцога Ольденбургского. Графиня Бентинг, их дальняя родня, ехала верхом и поправляла волосы обнаженной рукой. Мужчины при виде ее затаили и делали притворно-равнодушные лица. Дав насмотреться на себя, она трогала коня хлыстом с янтарной рукояткой, и тот уносил ее вперед, к виднеющимся у горизонта мельницам...

«Вам четырнадцать лет, принцесса, а я не вижу возле вас поклонников!» — весело сказала ей графиня в Вареле. Каролинхен делала, что хотела: пела, танцевала, купалась вместе с лошадью в герцогском пруду. Она сразу так и сказала: назвать ее Каролинхен. «А вас я буду звать Фике. Мы, женщины, не имеем возраста, пока достойны этого имени!» Некая загадочная улыбка появилась у нее, когда говорила это.

Ни на шаг не отходила она от графини, следуя ей в походке и обращении. Увидев, что она внимательно смотрит на портрет графа, Каролинхен сделала живую гримасу: «Ах, моя милая Фике! Не был бы этот человек моим мужем, я бы безумно влюбилась в него!»

А потом была затемненная комната в Варельском замке. Ей страстно захотелось увидеть графиню Бентинг в неурочный час. Быстрее ветра взбежала она на верхний этаж, где та располагалась с мальчиком и слугами. Дверь из коридора растворилась без шума: две переплетенные тени в неистовой борьбе двигались яростно и поспешно. Она не знала, что происходит, только где-то внутри у нее появилась томная теплота. Тени все продолжали двигаться, не разъединяясь. Она смотрела на упавшее к полу одеяло: край его держался среди непонятно вскинутых ног. И больше ничего там не было...

Стон донесся до ее слуха. Сладкая мука все повторялась. Теплота стремительно стала разливаться в ней, счастьем напол-

нилась грудь. И все смотрела она на неистовое размеренное движение ничем не укрытых тел. А они вдруг замерли в судорожном сплетении. Казалось, никогда не закончится их напряженная неподвижность. Глубокий одновременный вздох раздался в тишине. Не в силах уже сдерживаться, она тоже застонала... Ах!

Она проснулась. Истома медленно оставляла тело, все еще сладко ныла набухшая грудь. Карета не двигалась. Ветер стих, и за слюдяным окном слышался негромкий разговор, мать спала, до глаз прикрывшись периной. Напротив спали госпожа Кайен и благородная девица Шенк. Она высвободила из-под перины ноги в высоких шнурованных ботинках, выглянула наружу, сошла в неглубокий чистый снег. Господин Латорф и сопровождающий их офицер разговаривали с кучерами, чинившими надломанный полоз их кареты.

Отойдя на несколько шагов в редкий придорожный лесок, она оглянулась. Ее еще было видно от карет. Тогда она прошла немного дальше, спряталась за широкое дерево. Теплое белье мешало движениям. Потом она встала, поправляясь, и замерла с опущенными руками.

В четырех шагах от нее стоял мальчик и, открывши рот, смотрел на нее. В глазах его читались растерянность и стыд за себя, увидевшего ее. И было в них еще что-то, отчего она сразу почувствовала себя уверенно.

Теперь она рассмотрела, что мальчик большой и высокий. Почти мужчина это был, в военной одежде, и держал в поводу коня. Темно-русые волосы крупной прядью выбивались из-под шапки. Лицо его стало краснеть, и оттого еще блее сделались шея и твердый широкий подбородок. Он продолжал смотреть на нее, не отводя глаз. Она вскинула голову, и будто не было его здесь, пошла мимо. Но сделавши пять или шесть шагов, вдруг потеряла опору и полетела в белую спящую бездну...

Она еще барахталась в снегу, когда почувствовала две сильных руки. И сразу покорно ослабела, доверяясь этой первородной силе. Все бывшее до этого не существовало. Теплые мужские пальцы касались ее глаз, носа, рта, уверенно и осторожно счищая снег с лица. Сон в карете продолжался. Она открыла глаза и увидела его вблизи, совсем рядом. Светлый пушок золотился у него возле губ. Ей было хорошо и спокойно лежать на его руках. Они смотрела друг на друга, и она вдруг улыбнулась. Потом сошла с его рук и, благосклонно кивнув, пошла к карете...

На них смотрели удивленно. Не оглядываясь, полезла она внутрь экипажа, натянула перину до подбородка. Сердце билось с учащенной ровностью. Глубоко вздохнув, она спохватилась и посмотрела в окно. Там, в лесу, никого уже не было. Господин Латорф говорил через дверь проснувшейся матери:



— Это российская территория, мадам... Полковник господин Воейков прислал предварительную эскорту!

## II

Звук был вовсе негромкий, но будто пушкой ударил в ухо. Вице-канцлер с недоумением смотрел на перо в своей руке. Оно переломилось как раз посередине, где придерживает его большой палец. Жесткая гусиная опушка на месте сгиба торчала ровными краями.

Такого не случалось с ним, чтобы перо ломалось в руке. Писал он всегда одним и тем же пером, пока не стачивалось до края. Машинально выправил он трубчатый стержень, соединяя надлом, но перо опять безжизненно поникло. Капля чернил засыхала на нем... Так, Ангальт-Цербстская принцесса с матерью прибыли в Ригу!

От государыни он знал уже об ее выборе. Да и трудно было той отстать сердцем от голштинского дома, где состояла замужем ее покойная сестра. Оттуда был рано умерший ее собственный жених. Так что того и следовало ждать. Только не думал он, что все делается так скоро.

Все ж надлежало и его подробно известить об этом приезде, коли доверено ему вести корабль российской политики. Многое сейчас зависит от выбора невесты для наследника. Однако царственная дочь упрямством пошла в своего великого родителя, да и женское лукавство тут примешалось. Решили все образовать, как семейное дело, а потому в мнениях вернейших рабов своих не находят нужды.

Да, все то Ботта натворил. Болтливый маркиз и дома не пропустил, где бы не оглашал своих притязаний. Такова обманчивая внешность. По виду серьезный человек, и обходительностью для полномочного министра подходящий. Да вот на мякине попался. Перед женщинами даже что попало болтал, забыв, что в Петербурге стены слышат.

Положим, лишнего тоже на него наплели: чего не скажешь, когда руки со спины к потолку подкручены, а поперек кнутом бьют. Однако и четверти той правды для нынешнего времени достаточно. Государыня в единый миг была вознесены к трону, так и сама опасается такой легкости: как бы и другой кто способный не нашелся.

А австрийский посланник Ботта везде говорил с приятнью о свергнутой Брауншвейгской фамилии. Пуще про государыню, что в Царское Село ездит, английское пиво там пьет с непотребными людьми. Намекал даже, как родилась незаконно, до маменькиной коронации. В один голос подтвердили то слышавшие, что Ботта при отъезде своем многократно упоминал, будто

все силы употребит для возвращения из изгнания правительницы Анны, а молодлетнему императору Иоанну он верный слуга и доброжелатель. Хуже, что через вздорную свою жену оказался впутанным в столь компрометирное дело и брат Михайла. Ему, вице-канцлеру, самолично пришлось объясняться перед государыней, что двадцать два года никаких делов с братом не имеет, а от прежнего правительства великую опалу испытал. К тому ж и брат Михайла не в больших ладах со своей женой находился — о том всякому известно. Ей же, зловредной, кнут и ссылка в Сибирь вполне приличествует.

Путь бога благодарит еще за то, что государыня завет блюдет. Когда цесаревной решила она на великое дело, то долго молилась перед тем. И клятву дала, что коль добудет отцовский престол, то никого не станет казнить смертью...

Доложено, что в Риге Ангальт-Цербстская принцесса встречена была во всем параде. Как же проехала она половину Европы, что никто о том не знал? И по почтовой части ничего ему не докладывали. Сие означает, что письма шли с приватными курьерами. Беспременно здесь шайка Лестока и француза Шетарди поработала. Лесток — от пеленок доверенный врач при государыне, а граф Шетарди блюдет свой французский интерес. Так или иначе, все то вопреки российской пользе. Его мнение с самого начала сказано было государыне: лучшим выбором для наследника стала бы саксонская принцесса. К тому же курфюрст и король польский Август тоже был обнадежен в отношении этого. Ждали лишь совершеннолетия великого князя. О цербстском доме говорилось лишь вскользь.

То правильно, что в супруги будущему императору русскому берут жену из незначительного дома. Не станет втягивать Россию в большие контроверзы европейские, а величие державы от того не уменьшится. В том только загвоздка, что и так голштинский дом, где вскормлен наследник, закрывается прусской дверью, а тут еще и Цербст выглядывает из того же окна. Ангальт-Цербстский князь на прямой службе у прусского Фридриха, а для России это означает опасность таскать уголья из европейского огня в пользу сего тороватого короля.

В то же время саксонский союз предоставил бы многие пользы. Главное, закрывал бы бессильную Австрию от прусской диверсии. Не в том ли был расчет Петра Великого, чтобы опираться на Австрию и Саксонию противу султана и вкупе с державами морскими Англией и Голландией равновесить драчливую Францию и крепнувшую Пруссию?

К тому ж и в польских делах от того сильнее стал бы русский вес, поскольку курфюрст саксонский Август является польским королем...

За всем просматривается здесь прусская рука. Помимо Ше-

тарди с Лестоком сторону цербской принцессы тянет приехавший с наследником Брюммер, воспитатель его и гофмаршал двора. Сей швед кипит от ярости к России и готов хотя бы черта видеть у ней на облучке, абы был тот французского виду. Ну, а водит всех на ниточках Мардефельд, посланник прусский. Все и обстряпали они. Однако ж, последнее слово было за государыней, и женское чувство сыграло в том роль..

Разве ж дело в какой-то там принцессе, коих великое множество в Европе. Между тем, еще одна не особливая, но имеющая далекие виды прибыль проистекает из саксонского союза. Коли Австрию да польско-саксонский двор привести к обозначению российской государыни императорским титулом, то и прочие дворы в Европе станут привыкать к тому. Помимо политического авантажу, российский напор на султана получит свое законное обоснование. Известно, что тысячу лет стоял Рим, где положено начало христианскому порядку среди народов. Затем сделался новый Рим — Константинополь, откуда в Россию правомочно перешло наследие Мономаха. То тоже петровский завет, что в противность германским императорам, наследующим старому Риму, пусть пребывает в величии и славе Российская держава, наследница Цареграда. Тем самым утвердится равновесие в Европе и роль российского имени. Штандарт империи развернул великий преобразователь вместо знамени одной Москвы, и в том долгое и славное будущее России.

Меж тем ущербные умы староверные без смысла и толка ярятся противу всего иностранного. Но в том и суть империи, чтобы вбирать в себя народы и языцы, обогащаясь телом и духом. Державный созидатель все то ясно видел. Вон крестник его Ганнибал, что Кронштадт строил, и вовсе арап. Что же, внуков и правнуков его нерусскими числить, даже если отличаться видом будут от какого сидельца в Гостином ряду? Также и Ивана Ивановича Беринга, что ныне для России Америку нашел, не считать в русском послужном списке? А как бы обходиться с землями и народами, какие под сень Российской державы станут прибавляться? Коли попросту ясак с них брать на батыев манер, то столь же недолго днржаве сей быть, как и орде Батыевой.

Вот что небезынтересно. Старозаветные ревнители, мыслящие огородиться от Европы, тоже же самого хотят, что и король Фридрих. Тот во сне видит загнать Россию назад в лесную да болотную Московию, откуда бы и выхода никуда не было. Чтобы по примеру самоедов считали, что никого больше, кроме них, и нет на земле,

В ту сторону как раз работают Шетарди с Лестоком. Мнится им, что государыня Елизавета Петровна по женской ограниченности да по природной ленивости пренебрежет делом великого

родителя. Вот и сейчас она, почитай, на год подалась в Москву, и всем двором. Станет молиться, есть блины, плясать в маскарадах. Потом опять же на богомолье в Киев. Там и Ангальт-Цербстскую принцессу перекрестят, и будет при наследнике российского престола домашний прусский надзор...

Нет, не все еще у них сделано. Хоть вместе с тем же Лестоком да Шетарди содействовал он устранению от престола Брауншвейгской фамилии, но тут их пути расходятся. Не столь прост он, как кому-то думается. Разное видел в жизни. И тот день богом запечатлен в его сердце, когда великий государь положил некоему отроку руку на голову: «Поедешь в Европу!» Прямая линия прочерчена с того дня через всю его жизнь. По государевой задаче служил у курфюрста саксонского, затем короля английского, в Дрездене и Гамбурге, Гааге и Лондоне, Митаве и Копенгагене. У одного его среди этого двора Петром Великим повешенный на грудь собственный портрет государев с бриллиантами.

А что Бирону приходилось служить, то кто не забирался на сей облучок? Только и к Бирону был он приближен не фавором и похлебством, а неуклонным усердием к державной пользе. Тому же Бирону только за происхождение не прощают, что у другого звалось бы доблестью. То лишь кажется, что кто-то самовластно правит сей державой. Россия такова, что кого угодно под себя преобразит. И нечего искать виновных у татар ли, немцев или еще где. А также детским обычаем врачей бить оттого, что холера в дому.

Не то, чей дом приладит свою крестуру к российскому престолу, должно иметь значение, а то лишь, что к пользе императорской будет служить. Такова саксонская партия для наследника, и к ней следует вести дело. Ангальт-Цербстская принцесса еще не доехала до места, а там всякое может получиться. Все же государыня — дочь Петрова, и коль представить ей резоны, то не станет уклоняться от отцова завета. А найти убедительные резоны уж его прямое дело.

Вице-канцлер российский Алексей Петрович Бестужев-Рюмин бросил в корзину поломанное перо, взял из коробки другое, самолично сделал ножиком удобный ему надрез и принялся писать четким бережливым почерком: «Государыня моя, во все-непременное исполнение службы, наинижайший твой раб, спешу уведомить тебя...»

### III

Александр Ростовцев-Марьин, флаговый конной гвардии, свистнул по-егерски, покакал, бросив поводья, в снежное поле за зайцем. Косой улелетывал к перелеску, вправо и влево

подкидывая пушистый зад, а он скакал за ним просто так, чтобы размять себя и коня.

Здесь им была воля. На хуторе у латгальца пили утром парное молоко. В рассветной тьме встретили поезд из четырех карет и дефилировали сзади в версте, не приближаясь и не отдаляясь, как приказал полковник. Другие скакали впереди. Потом у одной кареты сломался полоз, и они, шестеро, добрый час топтались с лошадьми на пустой дороге, толкаясь для сутреву боками. Тут как раз и шмыгнул заяц — точь-в-точь российский, с белым коротким хвостом взадирку и длинными ушами.

Заяц сделал славный полукруг и теперь забирал к лесу. Казалось, он тоже играет, радуясь свежему снегу и ясному утру. И конь скакал без видимой натуги, не тратя полных сил. Пошли мелкие деревья, потом повыше, снег сделался глубже, и конь остановился. Заяц пропал из виду. Ростовцев-Марьян слез с седла и, не отпуская коня, стал собирать черную морозную рябину с прижатого снегом куста. Тьма ее была здесь.

А разогнувшись, замер с открытым ртом. В четырех шагах стояла барышня будто из сказки: в голубом с опушкой капоре, шитой золотом шубенке враспашку. Совсем как девки у них в Ростове, присела она в снег, потом встала, поправляясь, и тут увидела его. Глаза у нее тоже были темно-золотыми, и он все глядел ошалело, забыв про все.

Она дрогнула верхней губой, чуть зарделась, поведя плечом. А он почувствовал, как пламенеет у него лицо. Верно, подумала она, что подсматривал за ней здесь. Даже пот выпал у него на лбу под жестким ободом кивера.

Барышня вдруг высоко подняла голову и пошла, будто не видя его. Он рукой тронул себя: может, и нет его здесь. Лишь когда вскрикнула она с испугом, падая в снег, то бросился к ней...

Совсем легкой была она, вроде ничего и не было там, под шубейкой. Он не знал, что ему делать с ней. Придерживая одной рукой, стал вытирать ей лицо. Оно было вовсе белое, какого никогда он не видел. А она открыла глаза и теперь смотрела на него без досады или стыда: как будто девка уже, а так совсем девочка.

Золото таяло, и глаза у нее делались обычными: синими. Они были одни в лесу. Она вздохнула глубоко, и он ощутил идущую он нее теплоту. Тело ее сразу потяжелело...

И опять что-то произошло. Глаза у нее снова стали золотыми. Она приподняла подбородок, и почему-то понял он, что должен слушаться. Он бережливо поставил ее на снег, и она пошла к карете...

— Скакал за зайцем — нашел принцессу в лесу! — потешался Федор Шемарыкин, который все видел. Они кормили лошадей

в фуражном магазине. Кареты на почтовой станции ждали встречи из города.

Он отмалчивался, когда Шемарыкин драл горло. Все же из одного уезда они: Ростовец как раз напротив стоит по реке, где шемарыкинские вотчины. Вместе они в гвардию поступили по послужному списку родителей. А Шемарыкин все насчет его стыдливости прохаживался, что краснеет, будто девица, и пух под носом растет. И еще по фамилии, что двойная она. Тот дед Александр Иванович Ростовцев, что мальчиком еще в потешном полку у царя Петра состоял, сделал прибавку к фамилии. Когда под Полтавой оторвало ему руку, он узаконил через церковный брак свои чувства с крепостной девицей из пожалованной деревеньки, от которой имел к тому времени троих детей. А чтоб отличаться от других Ростовцевых, которых было шестеро братьев, стал именоваться по жене: Ростовцев-Марьин.

Оттого и дразнили его еще в учебе у дьячка: «подлянкин корень». Только боялись: знали, что у Ростовцевых-Марьиных кулак тяжелый. Лишь Федька, близкий человек, позволял себе такие насмешки.

Другие, кто видел, как доставал он из снега барышню, все допытывались, чего же делала она там, в лесу.

— Что тут думать, сами видели: заяц бежал! — хмуро сказал Горюнов, вахмистр.

— Ну и что? — отозвался Шемарыкин.

— А то, что заяц этот и есть та принцесса, которую провозжаем.

Кто-то ахнул:

— Как же так?

— А так. Выбежала прогуляться и в зайца обратилась. Есть бабы, которым это просто. Я в те места еще с покойным государем ходил, под Штеттин. В лукоморье там колдуны живут. Сами немцы про то говорят...

Запела труба. От города ехала вереница карет, скакали еще гвардейцы.

— Долгоруков — князь! — определил вахмистр.

Прежние кареты оставили здесь. Кто ехал в них, пересадили в другие, украшенные вензелями. Он издали смотрел, как барышня в шубейке стояла перед генералом с белыми буклями. Тот снял шляпу, склонился до пояса, повел ее к главной карете. Когда показалась стена крепости, ударили пушки.

У въезда в город ждала толпа народа. Навстречу вышли еще генералы, городские чины, немецкий поп в черном сюртуке и православный в шитой золотом рясе.

— Невесту князю-наследнику везут! — сказали в толпе.

Их оставляли здесь, в Лифляндии. Оно известно: после года службы в гвардии дворянских детей определяют в линейные полки. Коренными гвардионцами становятся те, кто службой угодил или руку родственную имеет. А ему быть поначалу прапорщиком, а коли бог даст, то подпоручиком в армии. С того и батюшка начинал, зато в отставку ушел майором. Такая служба им определена дворянская, чтобы не дома сидеть.

Звонили колокола. Принцесса, которую увидел в лесу, уезжала сегодня из города. То все враки, что про зайца, а вот что силу тайную она имеет, про то он твердо знал. Неспроста глаза у нее золотые, и приходится исполнять, что она хочет. В голове у него кружение, и все тянет к тому месту, где она находится...

Снова с утра стоял он у дома с чугунными шарами на воротах. Ветер от моря трепал ему волосы. По чисто подметенной от снега мостовой туда и сюда скакали кирасиры, сани со скрипом съезжали по наледи.

Окно ее было крайнее во втором этаже. Откуда знал про это, он и сам не понимал. Все делалось помимо него, чьей-то волей...

В конце улицы, за островерхими крышами, дымилось на морозе море. Слева темнел замок со шпилями и железными флагами на башнях. Там ожидал отъезда в свою немецкую вотчину отстраненный государыней малолетний царь Иван Антонович с отцом и матерью — бывшей правительницей. Люди смотрели в ту сторону, но не на замок, а в небо. Который день уже висела там розовая звезда, видимая и днем. Говорили, что у звезды хвост, и предвещает она несчастье...

Музыка, тихо игравшая до того в доме, сделалась вдруг громче, раскрылись сразу все парадные двери. Длинная, словно дом со стеклянными окнами, карета подъехала к середине лестницы. По ней сходила вниз та самая барышня, которую встретил он в лесу. Кто-то еще с ней шел, по краям стояли люди.

Барышня остановилась у кареты. Он сделал два шага вперед, встал на свободное место. Золотые глаза скользнули по окнам дома, по небу со звездой, пусто прошли по его лицу. И снова захотелось ему потрогать себя: может быть, только кажется ему, что стоит здесь, на площади. Непонятное происходило с ним.

А барышня уже села в карету. Затрубил рожок. Два кучера взлетели на передних лошадях, двое сели на крышу, здоровенные преображенцы встали на запятки, десять лошадей с золотыми сбруями легко стронули, понесли карету вдоль улицы. Широкий задник с преображенцами заскользил по мерзлому граниту, едва не сшиб его с ног...

## Вторая глава

### I

Были то тьма, то яркий огонь. Карета мчалась, словно в поле, мягко ухая и взлетая в снежной пыли. Она жадно смотрела, поворачивая голову в одну и в другую сторону. Уже второй час ехали они по этому удивительному городу. Вдруг начинались пустыри, и ничего не было видно в синей тьме, кроме непонятных засыпанных снегом холмов с черными прогалинами. Потом опять начинались дома, большие и маленькие, с причудливыми пристройками наверху и высокими деревянными воротами. Дома то выходили прямо на дорогу, то прятались где-то далеко в стороне, и ничего нельзя было понять. Окна у домов были закрыты деревянными щитами с железными засовами, кое-где через них пробивался слабый свет. Внезапно улица расширялась, сиял огнями трехэтажный дворец, горела иллюминация. Потом снова наступала тьма...

С той встречи в лесу все началось. Неизвестно откуда появился там мальчик-гвардеец, но было в нем что-то необычное. Только она догадалась, что шло это от пряди волос, которая падала у него на одну сторону. Там, откуда она ехала, волосы расчесывали прямо посредине, и они равномерно ложились по обе стороны лица. Разве что у непослушного Штрубльпейтера волосы могли торчать как попало.

— Это российская территория, мадам! — сказал тогда господин Латорф.

С того самого мгновения все как бы увеличилось вдесятеро: леса, поля, селения. Пушки ударили навстречу из крепости, и она вдруг поняла, что это для нее: той, которую здесь ждали. Седой старик генерал согнулся в поклоне, ровно стояли городской магистрат, пастор в черном и бородатый священник с крестом, гвардейцы и кирасиры великого князя, ее будущего супруга. Она уже знала, что это обязательно будет. Карета, со сверкающими стеклами до потолка, была устлана черными с серебром лисами. Едва она облокотилась на подушки, как все сразу рванулось и помчалось вместе с ней: кареты, гвардейцы, кирасиры, камер-пажи. И скорости увеличилось вдесятеро. Полки стояли в городах по обе стороны пути, горели огни в арках, пороховые змеи взлетали в небо.

— Принцесса Ангальт-Цербстская с княгиней-матерью... По именному приглашению!

Эхо неслось впереди, отдаваясь в бескрайних, не имеющих начала равнинах, в непроходимых, заметенных снегом лесах, в



бесчисленных городах и селениях. Чьей-то колдовской силой возникали вдруг на этих равнинах сверкающие мрамором и бронзой дворцы заледенелые фонтаны, черные узоры ограды. Их становилось все больше, пока не слились в одно по обе стороны широкой, вровень с берегом реки. Чудный город стоял при ней темно-серебряным кольцом.

Пушки все били в низкое серое небо. Белые дымы, умножаясь, возникали над встающими из речного льда приземистыми стенами. Позванивали зеркальные окна дворцов, отрывались и падали свисающие с крыш льдинки, вздрагивали уходящие в небо шпильки. Четырнадцать громадных слонов размеренно шли по насыпанному сверху снега красному песку. Подарок этой державе, присланный от далеких и зыбких ее пределов, показывался им как знак непреборимой мощи. Тяжелые цветные ковры покрывали горы мяса, прозрачно-желтые клыки грозяще выдвигались вперед, пахло мускусом и навозом...

По полному дню представлялись им сначала придворные военные и гражданские чины. Мать, составившая еще в Риге точный перечень сановников и фаворитов этого двора, всякий раз теперь справлялась с ним. Но ей это не требовалось. Она запоминала все имена с единого раза: Семен Кириллович Нарышкин — камергер двора, везший их из Риги, князь и генерал Василий Никитич Репнин, князь Юсупов, граф гофмаршал Михаил Петрович Бестужев — брат вице-кацлера, Петр Грюнштейн — адъютант лейб-компания, капитан гусар и граф Паленский, капитан и граф Корсаков... Сто двадцать три имени со всеми титулами пересчитала она в уме. И улыбнулась каждому, оставляя разговор матери.

Во второй день огромный, седой, в синей с золотом одежде до полу священнослужитель долго и плавно говорил что-то рокошущим голосом. Правой рукой он придерживал у груди тяжелый золотой крест. Им переводили про промысел господень и про помазанников божьих, от нового Рима наследующих эту державу. Она вдруг склонила голову. Старец заговорил о чем-то взволнованно. Большая белая рука подняла прямой, отличный от лютеранского крест и широко благословила ее. В толпе зашептались.

Потом в одиночестве подошел к ней пастор, бледный и печальный, в темном, застегнутом до горла сюртуке. Она тоже склонила голову, а он прошептал ей слова утешения.

Звучно и красиво говорил по-латыни римский священник. Кое-кто из присутствующих быстро и мелко крестился. Она вежливо кивнула головой...

Будто ждали своего часа, заспешили показаться им посольские министры от разных государей, не успевшие отбыть отсюда с императрицей в старую столицу. Всех оттеснил мсье де ла

Шетарди, обаятельный и уверенный в себе. Играя красивыми глазами, он говорил с матерью и одновременно с ней. О, их справедливое дело восторжествовало. Это он, Шетарди, сделал возможным возвращение русского престола прямой дочери Петра Великого. Ведь бывшая брауншвейгская ветвь с малолетним царем Иоанном лишь побочное родство от ничем не примечательного брата великого царя. И шведов вести войну с Россией в пользу императрицы Елизаветы тоже подтолкнул он, так как все ему известно в этой стране. Что же касается французской принцессы, предложенной в супружескую партию наследнику престола, то тут был лишь маневр для отвлечения мыслей императрицы и ее двора от саксонской партии с принцессой Марианной. С самого начала он, представляя здесь французскую корону, стоял за ангальт-цербстский выбор, тем более что по голштинской линии этот дом в ближайшем родстве с русским наследником.

Однако престелная княгиня и ее обворожительная дочь должны многого опасаться, и тут он готов служить им советами. Естественно, с ним заодно в поддержке ангальт-цербстской партии находится посланник прусского короля Фридриха господин Мардефельд. Здесь также придворный врач Лесток, который с пеленок лечил нынешнюю императрицу и ее сестру — голштинскую герцогиню Анну. Разумеется, граф Брюммер, обергофмаршал и воспитатель его высочества великого князя, а также прибывшие с ним дворяне не могут не желать торжества принцессы, столь близкой голштинскому дому. Все они на стороне сиятельного графа Михаила Воронцова, весьма близкого императрице. Благоклонны к ним также генерал Александр Румянцев и генерал-прокурор Трубецкой с семейством. Трубецкие — из Рюриковичей, основателей старорусской династии...

Однако всему доброму вокруг императрицы противостоит вице-канцлер Бестужев-Рюмин, открыто предпочитающий саксонскую партию. Несмотря на разоблачение аферы графа Ботты-Адорно, посланника австрийского двора, взявшегося судить поведение самой императрицы, вице-канцлер не изменил своей австрийской ориентации. «То, что дочь простого генерала будет российская великая княгиня, то ничего. Худо, что будет она дочь прусского генерала». Именно таким образом выразился этот отбесавшийся в Европе дикарь, узнав о приглашении княгини и принцессы Ангальт-Цербстских. Он типически русский желчный и упрямый политик, повадливый притом к деньгам. Есть слух, что звон английского золота не оставляет его равнодушным...

Мать слушала с разгоревшимся лицом, впитывая каждое слово.

— Но у великого короля Фридриха тоже есть золото, мой маркиз! — вскричала она, невольно оглянувшись по сторонам. Разговор происходил, когда они удалились в отдельную комнату. Были лишь маркиз и мать с нею.

— Я вам говорил уже о византийском коварстве этого человека, княгиня. Увы, он осторожен и берет тогда, когда направление мыслей его совпадает с теми, кто готов обеспечить ему пенсион.

Маркиз де ла Шетарди сокрушенно вздохнул.

Так же, без посторонних, принимали они посланника великого короля Фридриха. Барон Мардефельд, узколиций, быстрый в движениях, сразу заговорил, как знающий все об общем их деле. При новой императрице опять большую роль получило духовенство. Пользующийся почетом и влиянием один из князей здешней церкви архиепископ Новгородский Амвросий провозгласил в Синоде: поскольку дед Карла-Петра Ульриха (в православии — великого князя Петра Федоровича) и дед цербстской принцессы по материнской, голштинской, линии были родными братьями, следовательно, сами они состоят троюродными братом и сестрой. Что и противоречит православному христианскому канону на предмет их возможного венчания. Существуют, однако, способы преодоления подобных догматических препятствий. Понадобится тысяча рублей с обещанием утроить эту сумму в случае успеха. Тот же архиепископ может сказать императрице, что, специально занявшись вопросом, перелистал он отцов церкви и ясно увидел, что брак этот не противоречит греческому исповеданию.

Хуже, если действия архиепископа имеют за собой вицекандцлера Бестужева. Он главная прелона не только этому браку, но всему правильному направлению российской политики. Княгиня Ангальт-Цербстская родом голштинская принцесса, и одним этим она может повлиять на решение императрицы Елизаветы в отношении этого Амана<sup>1</sup>, ненавидящего все прусское. Следует помнить, что не только Анна, любимая сестра императрицы, была замужем за голштинским герцогом. Сама Елизавета, в бытность цесаревной, помолвлена была с другим голштинским принцем. Этот принц приехал в Россию, между ними была любовь, но слепой рок, чьим орудием явилась черная немочь, в двадцатилетнем возрасте оборвал золотую нить его жизни. Говорят, юная Елизавета перед лицом бога дала клятву прекрасному принцу, что ни за кого другого не выйдет замуж. Этот принц приходился родным братом нынешней Ангальт-Цербстской княгине и дядей ее дочери, чем и объясняется особое расположение к ним ее

---

<sup>1</sup> Библейский персонаж, визирь персидского царя — ненавистник иностранцев.

императорского величества, по сравнению с другими партиями для наследника престола. Тем более, что сам наследник прямого голштинского рода. Используя это высочайшее благоволение, а также свой превосходный ум и обаяние, княгиня может сослужить службу целой Европе...

Мать согласно кивала головой, а она вдруг вспомнила отцовскую тетрадь в коленкоровом переплете 'Pro Memoria': «Наипаче не вмещиваться ни в какие правительственные дела».

Шла русская карнавальная неделя — масленица. Ей понравилось это звучное слово. Женщины в раскрашенных платках вместе с детьми и мужчинами катались с гор на маленьких санях, на досках, на старых воротах, на чем попало. Где только была какая возвышенность, взбирались туда и с невообразимой скоростью мчались вниз, падали, хохоча на полный голос, снова лезли наверх. И все при том ели пряники.

Еще ей нравился мягкий покойный звук, который прибавляли здесь к отцовскому имени: о-вич. Он сглаживал грубое, материальное. Уже на другой день стала она произносить его в своей речи. На нее смотрели с одобрением.

В легких каретах выезжали на невский лед. Отсюда весь сразу виделся этот город, вдруг выросший у начала моря. Чья-то могучая рука раздвинула леса и камни, отвердила болота, расчертила землю в ровные квадраты. Помнилось видение: синие солдаты в высоких сапогах, идущие на приступ. Здесь все было наяву. Волшебство не имело обратной силы.

В последний день им показывали путь, которым прошла дочь царя-созидателя, построившего этот город, чтобы освободить отцовский престол от узурпаторов. Мощные, в один этаж, каменные стены стояли квадратом. Сюда, к избранному войску Петра Великого, явилась цесаревна в трудный час...

Здесь распоряжался адъютант бывшей гренадерской роты Преображенского полка, ныне личной лейб-гвардии императрицы Петр Грюнштейн. Она удивилась его саксонскому диалекту. Как-то чересчур уж курчавились светло-рыжие волосы на мощно посаженной голове. Он был среди тех, кто ночью пришел к цесаревне и объявили, что гвардия уходит в поход на шведов, отчего дочь Петра полностью остается в руках желающих ее погибели неприятелей. Потому пусть сейчас решается, а завтра будет поздно. Цесаревна заплакала и долго молилась. Затем сама вышла к гренадерам с крестом в руке.

— Когда бог явит милость свою нам и всей России, то я не забуду верности вашей,— сказала она им и дала целовать крест.— А теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тишости, а я сама тотчас за вами приеду!

Надев кирасу сверх платья, со своим врачом Лестоком, Михайлой Воронцовым да еще музыкантом Шварцем цесаревна явилась к гренадерам.

— Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной! — сказала она.

— Матушка! Мы готовы, мы их всех перебьем! — закричали те дружно.

— Если будете так делать, я с вами не пойду! — твердо отвечала Елизавета. Потом она взяла крест и встала на колени. За ней стали на колени гренадеры.

— Клянусь умереть за вас! Клянётесь ли умереть за меня? — спросила цесаревна.

— Клянёмся! — прогремело в ответ.

— Так пойдёмте и будем только думать о том, чтобы сделать наше отечество счастливым!

Приказав разломать в полку барабаны, чтобы нельзя было простучать тревогу, Елизавета в простых саях, посреди строя гренадеров, поехала к Зимнему дворцу. Двигаясь Невским проспектом, они оставляли отряды арестовывать фаворитов беззаконной правительницы. Самые верные пришли с ней на конец проспекта и сказали цесаревне, что ко двору следует подходить без саней, чтобы не делать шума. Тогда Елизавета вышла в снег и пошла вместе с ними. Но хоть ростом она и в отца, однако же не поспевала за гвардейцами. «Матушка! Так не скоро дойдем, следует торопиться!» — говорили ей. Цесаревна ускорила шаг, но не могла их догнать.

Вот тогда адъютант Грюнштейн взял на руки дочь Петра Великого, и так они пришли во дворец. Она явилась прямо в караульную и сказала солдатам:

— Хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд, и теперь терплю, и народ весь терпит от немцев!

— Матушка, давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем! — отвечали солдаты. Лишь один офицер было задумался, так едва не покололи его штыками.

Елизавета прошла в царские покои, где почивала правительница.

— Сестра, пора вставать! — сказала она.

— Как, это вы, сударыня! — вскричала та, испугавшись солдат, и стала просить милости для себя и всех близких. А цесаревна взяла малолетнего императора Иоанна и поцеловала его, промолвив: «Бедное дитя! Не ты виноват, а твои дурные родители!» После чего посадила всех в сани и отвезла в свой дворец.

В то утро Елизавета провозгласила себя императрицей и полковником гвардии. А гренадерскую роту Преображенского

полка за верность и службу объявила личной своей лейб-компанией, назначив себя ее капитаном. Отныне офицеры ее приравнены были к генералам, а унтер-офицеры — к обер-офицерскому чину. Тем, кто вошел с ней в Зимний дворец, было пожаловано имений по триста душ, адъютанту же Петру Грюнштейну — девятьсот душ...

Совсем одна вышла она к замерзшей реке. Город к утру стих, и все теперь ясно было видно. Безудержная сила не укладывалась в каменные квадраты, и, казалось, содрогаются они от ее избытка. Причудливые шпили неравномерно пронизывали туманное небо. Противоречие таилось в самой ровности домов и улиц. Ей угадывалась прядь волос, беспорядочно падающая со лба набок. На стене во дворе она видела набухшее, сведенное яростью лицо со щеткой усов и гневными выпуклыми глазами. Все в нем было неумолимое движение. Долго стояла она перед портретом царя, давшего святое имя построенному им городу. И имя это было Камень. Ей было необходимо что-то понять...

Но это был уже совсем другой город, стоящий прямо посредине лесов и равнин. Деревянные дома его с причудливыми пристройками, ставнями, воротами были их плотью и продолжением. Сани мчались с такой же скоростью, будто находились здесь все те же лес и равнина. Тьма и свет сменялись за окнами...

Движение было неудержимым, безостановочным. Покой и основательность остались в том лесу, где явился молодой гвардеец с падающей прядью волос. Там уже припрягли к карете десять лошадей по две в ряд и, казалось, неслись они вместе с ветром. Даже когда спали на станциях, движение продолжалось. Оно никак не замедлилось среди каменных квадратов построенной великим царем новой столицы, лишь завихрилось вокруг ее монументов и спилей. Теперь запрягли в карету шестнадцать лошадей, и три дня они летели над белой землей с черными молниями проносящихся деревьев. Где-то возле Твери край саней зацепил попавшийся по дороге дом, отчего мать ударилась коленом. Бревна дома немедленно раскидали, и движение не замедлилось.

Еще двадцать или тридцать саней летели вместе с ними. Четыре фрейлины были приставлены только к ней. Две из них — мадемуазель Карр и княжна Репнина — учили ее делать на свой манер прическу: сверху гладко, а на ушах гнезда от цветов. Она долго думала, но не стала таким образом класть волосы...

— Москва!

Длинное «а-а-а» словно раскатилось по равнине. Сани встали, но полет продолжался. Здесь, в последней станции, их встретил молодой и предупредительный граф Сиверс. Он объявил, что императрица ждет их приезда именно вечером. Отдохнув, они уже в темноте поскакали дальше. И как-то незаметно начался этот не имеющий границ и точных очертаний город. Скакать по нему, казалось, можно было в любых направлениях.

Опять, в которых раз, была тьма, но впереди сияло зарево. Она закрыла глаза. Золотые и пурпурные полосы четко обозначились на каретной стене. К ним можно было протянуть руку...

Через что-то очень важное переступила она в самом начале. Там было окно, к которому подошла она утром. Напротив, у ограды с чугунными шарами, стоял юный гвардеец без шапки, и ветер трепал у него волосы. Когда она садилась в карету, то увидела его в четырех шагах, как в лесу. Некое чувство поднялось у нее из глубины, прилило к сердцу. Она вновь ощутила сильные руки, поднимающие ее из снега. Выше, выше, к самому небу, в счастливую пустоту. И тут пурпурная с золотом лента через плечо у подавшего ей руку генерала перечеркнула все. Не изменив лица, посмотрела она мимо гвардейца, и он исчез так же чудесно, как явился ей...

Она открыла глаза. Сотни ярких огней горели, рядами отражаясь в сверкающем снегу. Карета подлетела птицей, остановилась посредине этих огней. Не чувствуя земли, прошла она в высокие двери. Там, посреди залы, стоял и улыбался ей долговязый мальчик из Эйтина. Это было невероятно: до какой степени не изменилось его лицо! Оно стало еще больше детским, чем тогда, в одиннадцать лет. Подбородок совсем сузился книзу, рот сделался шире. Младенческая припухлость под ним виделась яснее, а посредине лица вялым мячиком закрепился нос с двумя совершенно круглыми отверстиями. В глазах его читалась та же радость, как и в эйтинском доме, когда она разрешила ему играть с собой. Была еще в них некая знакомая выпуклость, но без всякого характера.

Это был ее будущий муж. С самого начала она это знала, а потому присела в уважительном поклоне, протянула ему ладонью вперед руку. Он дернулся, схватил ее худыми пальцами и не выпускал. Человек с живыми умными глазами на белом мясистом лице незаметным движением локтя оттеснил великого князя.

От свечей было жарко. Граф Лесток, лейб-медик, сам подал ей руку. Великий князь подпрыгнул, взял руку матери, и они пошли. Теперь она чувствовала под ногами твердый пол.

Поочередно распахивались двери, пламя в свечах склонялось в одну сторону, золотое с красным сияние струилось от стен и потолка. Она шла, не поворачивая головы. Потом все закончилось, впереди была светлая пустота. Посредине стояла обычная женщина и с жадным интересом смотрела на нее...

Уже потом она увидела огромные фижмы, золото на темном бархане, сверкание бриллиантов в каштановых волосах. Даже черное перо вверху лишь прилагалось к форме. Безмерность красоты была сама по себе в стройной дородности, овальности плеч, мощной нежности высокой шеи. И темно-голубые навывкате глаза на широковатом лице не выделялись никакой особенностью. Только все взятое вместе говорило о природной завершенности.

Глаза императрицы неприкрыто скользили сначала по их фижмам, прическам, талиям. И вместе с тем по лицам. Но вдруг, как бы наткнувшись на что-то, остановились на матери. Полные губы дрогнули, круглые белые руки поднялись к груди, будто желая удержать стон. По щеке скатилась слеза. Императрица повернулась и ушла к себе. Граф Лесток успокоительно кивнул им головой...

Императрица возвратилась. Черное перо плавно покачивалось в вышине, бриллианты слепили глаза, золотое и серебряное шитье струилось по темному бархату. Мать, как было оговорено, склонилась, поцеловала у нее руку, сказала с чувством:

— Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяния, оказанные моему дому!

Императрица, не сводившая с нее глаз, всхлипнула, кивнула головой:

— Я сделала совсем немного в сравнении с тем, что бы хотела сделать для *моей семьи!*

## II

Не просто так он до последнего сидел в столице, когда весь двор уже и большее число иностранных посланников переместились в Москву. Всякий день с утра приходил к нему сутулый немец-академик с исчерпанным морщинами лицом. Не отдавши поклона, глядел с высокомерием, пока он, вице-канцлер, подставлял ему стул. Слуг сюда не пускали. Сдернувши парик, немец хватался рукой за плешивую, с черным волосом возле ушей голову, а другой рукой быстро рисовал арабскую цифирь на бумаге. При этом бормотал что-то, вскрикивал. Сделавши дело, отодвигал от себя бумагу и будто коченел, думая о своем. Если приходилось спрашивать его, немец отвечал коротко и точно.



Дюжина прошитых сбоку конвертов с молниями обычно лежала на столе. Помимо посольской почты приносили по выбору также и частные письма. Службу генерал-почтдиректора нес он в приложении к вице-канцлерской, что само по себе разумело известные действия к пользе государственной. Раньше помогал ему в этом деле верный во всех случаях службы фон Бреверн — свой, русский немец, тайный советник и член иностранной коллегии. Бывши президентом академии, и призвал тот к чтению потаенных посольских реляций этого ученого немца. Полмесяца тому лишь схоронили Бреверна, и теперь пришлось ему одному разбирать шифры с господином Гольцбахом. От науки тут происходила видимая польза. Так или иначе, а в Москву он привез интересные тайности для показа государыне...

Вице-канцлер Бестужев-Рюмин задул свечи, горевшие, несмотря на день, самолично запер дверь ключом, бывшим у него одного. Так всегда он делал, будучи в Петербурге или тут, в Москве. Даже недельная уборка производилась здесь только при нем.

При комнате снаружи стоял на часах гвардейский солдат. Вице-канцлер со вниманием заглянул ему в лицо, постоял в раздумье у выхода. Не слишком важно размещена тут Иностранная коллегия, да бог с этим. Хуже, что дворец полных четыре версты по кругу, и до государыни очень уж далеко добираться. Комнатами да коридорами идти — голова закружится. Половина комнат нетоплены — насморк схватить недолго. Проще ехать улицей...

Он вышел на крыльцо, сел в сани, бережно придерживая потертую кожаную сумку с бумагами. Чиновник для поручений примостился сбоку, и они тронулись в путь. Объезжая сугробы да ямины на дороге, все ехали вдоль окон дворца. Итальянские колонны и стеклянные теремки выдвигались от него к проезжей части, а то и просто это были бесчисленные конюшни да сараи, что достраивались здесь от пожара к пожару. Наконец доехали до большого крыльца с алебастровыми львами, встали в стороне.

Придя в гостиную залу, он велел сказать о себе государыне. У той еще находился парикмахер, так что пришлось ждать. Потом вышли от нее великий князь с цербстской принцессой. Он поклонился ей ниже, внимательно посмотрел в белое лицо маленькой принцессы, которая не отошла еще после болезни. Она улыбнулась ему доброжелательно, и он поклонился еще раз.

У принцессы были вовсе взрослые глаза. Все тут с умильностью говорили друг другу, как в смертной горячке полмесяца назад, когда предложили ей звать лютеранского пастора, она слабо махнула рукой: «О, нет, не надо. Лучше позовите отца архимандрита Симеона Тодорского, что учит меня русскому закону. От его бесед мне обязательно сделается лучше!» Что это,

вправду или игра политическая? Для четырнадцати лет слишком уж глубокомысленный ход. Может быть, княгиня-маменька подучила? Да нет, той хоть уже много за тридцать, да великого ума в ней не заметно: сама лезет во всякий силочок. Неужто впрямь столь добрые чувства внушены девице к вере греческой?

Вице-канцлер так и не дрогнул лицом. Делать приятности он не умел, лишь проводил принцессу задумчивым взглядом. Шла она живым быстрым шагом. Великий князь подпрыгивал рядом, стараясь угодить с ней в такт. «Кильский ребенок» — так звали его здесь остроумцы.

Все так же бережно придерживая сумку, прошел он к императрице, склонился у двери положенным порядком. Она дала поцеловать руку, повела недовольно полными белыми плечами. В голубых с поволокой глазах стоял каприз. Да только не действуют на него подобные пассажи, и государственные бумаги ей надлежит читать в должный час, утвержденный еще великим родителем.

И раньше то же было. Уж сколько шпыняния ей пришлось претерпеть от блаженной памяти Анны Иоанновны все за то, что Бирон на нее засматривался. Да и от правительницы Анны Леопольдовны уже прямо приготовили ей схиму, пока взялась за ум да и произвела революцию. Того женщины не терпят, когда мимо их кавалеры на кого-то смотрят. А уж у этой рожденной от любви дочери Петра одних женихов была дюжина. Только французских трое, считая короля, а там кровные принцы: саксонский, португальский, даже персидский от шаха Надира. Тот, так по магометанскому уставу даже слонов сюда в задаток прислал. И свои, русские, сватались — от сына светлейшего Меншикова и от Долгорукого до малого государя Петра Второго, не отводившего глаз от тетки. Ей же по неосмысленной бабьей верности люб оказался голштинский принц, что приехал да и умер тут от холеры. Что не состоялось и кажется женщине самым желанным. Рассказывают, что как увидела в первый раз государыня цербстскую княгиню-мать, как та с умершим братом удивительно схожа, то речи даже лишилась. Залилась слезами и ушла к себе, чтобы возвратиться в чувство. От того и выбор свой для наследника такой сделала. Только государственное дело обязано совершаться независимо от всякого чувства...

Государыня опять повела плечом, бросила взгляд в стенное зеркало. Ну да, ей бы хоть сейчас в танцы: вон какая вся дородная да прельстительная. От родителя у нее стать, а от ливонской безродной матери особая томливая нежность, так что всякому мужчине и в дураки не долго записаться. Вот лишь радивостью в отца не получилась, все бы ей от дела убежать. Кое-что про это в посольских депешах сказано, так что пусть почитает. А пока что она придвинулась к столу, изволила принять

бумаги. Ему показала место на стуле, откуда способно указывать ей, где читать. Ко всякой бумаге, переведенной с цифири, на полях имелись его разъяснения.

Сверху всего находилась письменная депеша трех лет давности, когда была Петрова дочь еще цесаревной, проживающей у двора. И направлялось сие донесение от маркиза Шетарди к своему министерству. Императрица недоуменно подняла бровь.

— Зачем стбль давнее?

— Тут ключ, какую корысть желали бы приобрести неприятели России от того, что совершилось по воле бога и к славе Вашего императорского Величества! — объяснил он.

Она читала французский курсив, шевеля по привычке губами, а он наблюдал текст... «Если принцессе Елизавете будет проложена дорога к трону, то можно быть нравственно убежденным, что претерпенное ею прежде, также как и любовь ея к своему народу, побудит ее к удалению иноземцев. Уступая склонности своей, а также и народа, она немедленно переедет в Москву. Морские силы будут пренебрежены, и Россию увидят постепенно обращающуюся к старине, которую Долгорукие во времена Петра II и позже Вольнский желали восстановить и которая существовала до Петра Великого. Елизавета должна будет относительно Швеции не только возратить Ливонию, Эстонию, Ингрию и Карелию, но даже покинуть Пётербург...»

Он услышал, как вздохнула государыня, будто пробудилась от сна. Прекрасная белая рука взялась за другой лист... «Если Елизавета будет на троне, то старинные принципы, любезные России, одержат, вероятно, верх. Нам в Европе было бы желательно не обмануться в этом. В царствование Елизаветы, при ея летах, старина настолько успеет укорениться, что голштинский принц, ея племянник, всосет ее и привыкнет к ней в такой степени, что когда наследует корону, то будет в совершенном неведении о других началах».

Руки ее теперь быстро отбрасывали листы, ломая бумагу. То была привычка царя Петра. И пальцы у нее были крупные, лишь жемчужная матовость кожи примешалась от матери. В ряд теперь шло подшитое донесение из Парижа. Французский министр Амелот писал в Вену:

«Свершившийся в России переворот знаменует последний предел величия Росии. Так как новая императрица намерена не назначать иностранцев на высшие должности, то Россия, предоставленная самой себе, неминуемо обратится в свое прежнее ничтожество». И прусский Фридрих вторил тому: «Лышусь надеждой, что с переездом в Москву для коронации русский двор потеряет из виду Петербург и Европу».

Государыня вопрошающе подняла на него глаза. Ленивая половока совсем ушла из них, некая знакомая пылкость засветилась в глубине.

— Коли иностранные радители торжествуют от того, что все иноземное из России гнать собираются, то как рассудить такое? — спросил он.

Уже и наблюдать ему за чтением государыни не было надобности. Самого Шетарди рассказывались тайные мысли, и писано было прямо рукой маркиза. Будто он, вице-канцлер, всенародно радовался, что молодая принцесса Цербстская находилась при смерти. Даже если бы и так, то уж при маркизе он бы не выдавал.

А вот Брюммер из шетардиевой шайки так и не прятал заботы на своей толстой роже: думая, что конец пришел ангальт-цербстской партии, уже и другую, принцессу Дармштадтскую для великого князя припас. И прусский король Фридрих то поспешно одобрил.

Однако же принцесса выздоровела, так еще с большей острвенелостью на него, вице-канцлера, кинулись. Француз тут откровенно пишет, что полагается на помощь матери-княгине Цербстской, которой-де легко будет уломать императрицу прогнать Бестужева.

— Верно тут все? — громко спросила государыня.

Он пожал плечами: уж она-то знала шетардиеву руку. От него, вице-канцлера, там лишь разъяснения... «Бестужев и его партия показывают такую же ярость и против берлинского двора, какую против Франции». Тут же его ответ: «Правда, что вице-канцлер не больше верит прусскому, яко французскому двору, да оный же и опаснее французского по близости соседства и великой умножаемой силе. Однако вице-канцлер ни против одного, но против другого, но только во всем присяжную свою должность исполнял».

Опять в посольской депеше: «В согласии с известными друзьями предлагаю для допроса порочившего Россию лифляндского дворянина назначить близкого нашей партии генерал-прокурора Трубецкого». Им к тому замечено: «Иностранный министр, прибирая себе партии, во все внутренние дела мешается, но уже и до того приводит, что и по делам Тайной канцелярии вмешиваться имеет способ. Предается Ея императорскому Величеству во всевысочайшее рассуждение, что наконец из того впоследствии может?»

Дальше уж прямо шло французское хвастовство... «Я собственноручно написал проект ответа, который послан был генералу Кейту в Швецию по тамошним делам». Им же рядом записано для государыни: «Что иностранный министр российский-императорскому генералу ответ сам продиктовал и сочинял, то весьма непонятно...»

Государыня даже губку в досаде закусила. То ведь она сама советуется во всем с французом Шетардием. Ему и поручила

проект для письма генералу Кейту в Финляндию составить, минуя Иностранную коллегию. Следует дать знать дочери Петра, каково ответственно ее место в мире. Потому и написал он еще крупно на полях:

«Неслыханное в свете дело, чтоб в государевом совете по проекту иностранного министра оканчивалось, и все, что в оном прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кйет в суннении будет, по каким указам ему исполнять: по отправленным ли из коллегии Иностранных дел или, как Шетардиеву составлению, о сентиментах Ея императорского Величества ему знать дается».

Красавица государыня неласково посмотрела на него, в голубых глазах темный петров огонь зажегся. Он же не дрогнул лицом: все к ее же пользе делается. А ему что бояться: уж и к смерти один раз от Анны Леопольдовны приговорен был, да опять вот назад позвали.

И про него самого пусть читает у маркиза государыня... «Елизавета будет поступать вопреки собственным интересам, если не расстанется со своим вице-канцлером, который признает спасение России только в союзе с морскими державами, королевою венгерскою, королем Августом и их приверженцами, и без всякого зазрения объявил себя против Франции, короля Прусского и против всего того, что держится французского и берлинского двора». Он же приписал коротко: «Древняя российская и тем паче государя Петра Великого система!»

Самый опасный из шайки сей маркиз. Еще в прошлое пребывание в России первым собеседником у цесаревны состоял. А то великая сила, когда имеющая власть женщина от любезного и обходительного мужчины многие часы подряд приятности слушает. Вот к тому и пригодится последняя маркизова делеша. Обидно то для государыни, да что поделаешь. Для нее сразу двойная прибыль: правда, какую про себя узнает, да заодно Шетардиевым любезностям цену определит.

Так и есть: руки дрогнули и опять к началу листа вернулась государыня... «Всему тому причиной слабость Елисаветы, ее русская лень, отвращение к делам. Любые мнения принимает, лишь бы не дать себе труд подумать. А доброта ее такова, что всякому обмануть ее способно. На уме у нее только любовь, балы да удовольствия. От того и войны вести не хочет эта царица, чтобы больше денег на наряды оставалось. По пять раз в день туалеты переменяет, а также и поклонников. В любви, как и в прочем, не строга, а в министрах вокруг, и прежде всего в вице-канцлере, находит потворство своей византийской распущенности...»

Теперь уже и слезы закапали у государыни, с обидой повернула к нему лицо. Вице-канцлер взял платочек из ее рук, осторожно утер ей щеки от слез.

Подпоручик Александр Ростовцев-Марьин стоял в порванном исподнем по плечи в воде, скрытый от берега прошлолетним талом, и как мог упирался босыми ногами в скользкую глину, чтобы не вынесло к свободной реке. Рядом возвышался архиерей Дмитрий. Тот был в намокшей рясе на голое тело. Со вздернутой к небу бородой, он держался рукой за пригнутый от обрыва куст, а другую руку сжал в кулак, грозя невидимым отсюда врагам. Сверху слышался многоголосый вой, крики, стук деревянных колотушек. Временами шум приближался. Иерей тогда начинал в голос поносить возвратившихся к идолству, коим пребывать в огне беспредельном. Дубовые да сосновые истуканы будут служить дровами для топления жира из их смрадной плоти.

— Отец, потише! — просил подпоручик, но иерей не внял ничему. Хорошо, что обрыв тут у берега был велик, так наверху слышу но ничего не было.

С Федькой Шемарыкиным расстались они на ливонском берегу. Тот отплывал к шведам, где стояли с генералом Кейтом два русских полка на случай диверсии от датского короля. Только что воевали со шведами, и вдруг замирение такое и дружба, что даже русское войско им в гарантию выделено. Шемарыкина, которому тоже был определен армейский подпоручий чин, командировали туда в офицерское пополнение Ростовскому полку. Заодно с таким пополнением на корабле везли и золото для раздачи жалованья.

Он помахал Федьке рукой и ждал, покуда корабельные паруса не стали одинаковы с туманом. Потом ожидал еще неделю и с подорожною командой отъехал в Россию. Чуть не до весны добирался до места службы, а как приехал, то сразу отрядили его в дело. С сорока солдатами все ловили по верхней Волге беглых, что разбивали торговых людей на дорогах. Потом провожал барки с солью, соблюдая, чтобы приказчики да конвойные не торговали по пути в свою пользу. А когда по весне провел такой караван, то послан был сюда с солдатами помогать нижегородскому архиерею мордву укрощать. Так вот и оказался в реке без одежды да и вместе с архиереем...

— Не в деревяшках сих суть, — поучал его владыка накануне, когда ехали к месту. — Ходили люди без смысла и значения по земле вот как псы дикие ацц, ящеры какие. Лишь в убийстве да насильстве получали радость и удовлетворение. Жертвы кровавые Ваалу из себя приносили, ибо идол тот был подобный тем людям. Возможно ли людьми их было считать по делам их? Но

избрал бог праотца нашего Авраама и взял из рук его занесенный над сыном нож. «Я не слышу — руки ваши полны крови!» — сказал господь отступившимся. Заповеди людям дал такие, что ни прибавить к ним и ни убавить до конца времен, сколько бы ни напрягались для того изощреннейшие умы человечества. А что прекраснее может быть сотворено в мире, когда господь сына своего... сына единственного, любимого на крестные муки и поругание за всех людей послал!

Владыка всхлипнул вовсе по-мирскому, откинул большущей рукой полость крытого кожей возка, стал смотреть вбок, чтобы не увидели явившихся на глазах слез. Бор да чаща с прогалинами все стояли вокруг, будто и не двигались вовсе они. Возок качало на петливой лесной дороге. Никем не пуганная белка сидела у корня сосны...

В храме, составленном из недавно срубленных деревьев, народ стоял плотной массой. Село было большое — все чаще мордва. Только и русских с ближайших деревень не отличить было от нее: одинаковые зипуны да домотканые порты у всех. И лица одинаковые: широкие лбы, скулы да носы будто вырублены из того же дерева, как лесное небо. Лишь бабы у коренной мордвы были больше в раскрашенных полшубках, да вышивка на рубашках та же самая, да поярче.

Архиерей и тут громил идольствующих, с чувствительным проникновением рассказывал о страстях христовых, вставляя при том в речь мордовские слова. Бабы всхлипывали, а потом заревели в голос. С ними плакал и владыка. Подпоручик Александр Ростовцев-Марьян сам не заметил, как стало мокрым у него лицо. Мужики мордовские истово крестились, воздевали руки к сыну божьему и ангелам на передней стене.

А владыка, неослабно громыхая голосом, вдруг пошел к выходу из храма. На улице уже подхватил в руку колун и двинулся за околицу, где среди деревьев подступившего к селу леса стоял погост. Там и тут, все ближе к околице, вкопаны были в землю кресты. Но среди них — рядом или напротив — у той же могилы торчали долбленные из дерева лики: то ли люди, то ли фавны лесные. Дальше в лесу уже совсем не виделось крестов — одни почерневшие от времени деревянные идолы. Они долбились из тех же деревьев, что росли рядом, и оттого будто срослись с лежавшими тут покойниками. Сверху на могилах стояли поминальные миски и чаши из дерева.

Толпа, валом идущая за владыкою, вдруг остановилась перед погостом у некой невидимой черты. Настала тишина, и слышно было только, как глухо шумят верхушки дерев. Но архиерей шел дальше, воздев левую руку с пальцем к небу, а в правой неся колун. Местный священник отец Никифор что-то говорил ему, забегая со стороны, но тот не слушал.

Рука с колуном взметнулась вверх, и тихий стон прошел по толпе. Опять раздался удар, и снова стон, будто людей били по живому телу. Владыка продолжал крушить идолов, сбрасывая их с могил, очищая кресты. Поначалу удары были сухие, громкие, дерево было свежее. Но когда углубился он в чащу леса, они сделались глуше, жалче, темное дерево разлетелось прахом...

Подпоручик не понял сначала, что ж произошло. Кто-то из солдат закричал, и он обернулся. Толпа стала вроде бы темней, ближе. Медленно двигалась она, как одно общее тело. В руках у трех-четырех увидел он жерди и рвущимся голосом скомандовал солдатам собраться в шеренгу. Те разбежались беглым шагом, встали у самых крестов, но толпа все двигалась, приливая, обтекая солдат. Он в отчаянности оглянулся. Иерей продолжал в ярости сечь намогильных идолов, крича хулительные слова. Следовало командовать заряжать ружья, но не мог он того выговорить...

Солдаты в единый миг утонули среди толпы. Его подхватили и понесли по крестам, могилам, по поверженным, изрубленным идолам. Потом уже в чаше столкнуло его с отцом Никифором. Тот тащил под мышки оглушенного архиерея. Владыка был уже без колуна, из уха на бороду капала кровь.

Потом они с владыкой спали при поповской бане. Но опять начался переполох. Дрожащий священник шептал в ночи, что часть новокрещенной мордвы срывают с себя кресты, бросают на улицу иконы. Совсем близко слышались голоса, их искали с факелами. Не успев облачиться, побежали они по лесу с отцом Никифором, затаились у реки. Однако и туда, явилась мордва, громко кричали и по-русски.

— Что же это: природные православные среди них? — грозно спросил архиерей у священника.

— Так оно, так, владыка! — отвечал он сокрушенно.

Пришлось спасаться в реке, под обрывом. Там и просидели весь день, заходя всякий раз в воду, когда являлась опасность...

Только через неделю выручила их команда, посланная из губернии. Премьер-майор Юнгер, из ревельских дворян, расставил роту как требовалось по уставу в виду опасного неприятеля. До тысячи мордвы с окоренелыми русскими, из нее же происходящими, встали у околицы, не допуская солдат к селу. Стояли с пиками и дубьем, да еще с медвежьими луками. Объявились и двое с мушкетным прибором. Чтобы объявить о себе, пальнули с громом в сторону команды. Вот тогда и расставлены были солдаты в боевую диспозицию.

Все совершалось согласно уставу. Первая шеренга пала по



знаку офицера, пока другая изготовлялась к бою, а третья заряжала ружья. Было произведено четыре таких перемены. Мужики бежали в одну сторону, потом в другую, падали, содрагаясь, на землю. Пули до белизны сдирали кору с деревьев. Выли бабы по избам, плакали дети...

Поручик Ростовцев-Марьин смотрел, не отрываясь. Солдаты стреляли, выпуча глаза — они у них были цвета все того же неба. Широкие лбы и носы были такие же. Солнышко светило в вышине, пахло хвоей и прелью...

Мордва повинилась, пала миром на колени. Дали собрать битых да покалеченных. Владыка самолично отпевал покойных яко возвратившихся в веру христову. С огнем в глазах говорил он о спасении через муки сына божьего, и снова плакали бабы, истово крестились мужики. Допущенные к молитве солдаты клали размашистые поклоны. Поручику вспомнилось: «Я не слышу — руки ваши полны крови!..»

Ему от начальства поставлены были в вину мягкотелость и потворство отступникам за то, что не дал решительной команды солдатам. Прибывший с ротой Юнгера капитан Ляпин уже и приказ привез об его аресте.

Еще неделю шло дознание о зачинщиках. Мужиков пороли во дворе приказной избы под подступающими из лесу столетними дубами. Премьер-майор Юнгер, в летах уже, с худощавым костистым лицом, всякий раз устремлял светлые глаза куда-то в подбородок мужику и, не слушая толмача из писарей, делал пальцами знак, кого и сколько наказывать.

— Одного с ними корня, так что понимает! — то ли с завистью, то ли с осуждением заметил Ляпин.

— Как это? — не понял Ростовцев-Марьин.

— А то, что с ревельского берега он выходец. Чухна, как и мордва, одного финского племени. Не все из их разговору, а главное Юнгер понимает. Тут же и вовсе не разберешь: где мордва, а где самая русь...

В том же храме при большой службе владыка провозгласил многую лету богопомазанной государыне и императрице Елизавете Петровне, великому князю Петру Федоровичу и восприявшей благу веру Екатерине Алексеевне, великой княжне.

— Это какая Екатерина? — спросил он у капитана Ляпина.

— Принцесса цербстская, государынина родня, — ответил тот.

Подпоручик Александр Ростовцев-Марьин лишь рот открыл. То была девочка с золотыми глазами, которую увидел он как-то в лесу...

## Третья глава

Большая рука поднялась, осеняя ее. Когда крест остановился на уровне глаз, она твердо и ясно заговорила:

— *...Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого господу Иисуса Христа, сына божия, единородного, иже от отца рожденного прежде всех век: света от света, бога истинна от бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна...*

Свет дневной, вливаясь в широкие парадные ворота и падая из полукруглых окон под куполом храма, смешивался с горячим жаром тысяч свечей по стенам, притворам, углам и закоулкам среди колонн. Тысячекратно отражаясь в золотистых ризах, окладах, иконах, потолке, свет густел, делался осязаемым, будто тек из невидимых рук, и тяжелое золотое сияние наполняло воздух. Все исполнялось, как было предопределено некой назначенной ей, звездой...

Десятикратно ускоренное движение продолжалось с неослабеваемой ровностью. Все, что мешало, отлетало в сторону, как дом у дороги, разваленный санями. С морозной свежестью неведомых пальмовых листьев на стеклах возник широкоплечий, с простоватым лицом человек. Ряса его была без украшений и короче, чем у других здешних богослужителей. Она заметила еще скрашенную ваксой потертость сапог. А человек обыкновенно поклонился матери, с ласковым интересом посмотрел на нее.

— Я есть архимандрит Ипатьевской обители Симон Тодорский, — сказал он по-немецки и, метнув взгляд в сторону взявшей высокомерный вид матери, пояснил. — Прислан к вашей светлости императрицею для ознакомления Вас и дочери Вашей с русской христианской обрядностью.

Когда осталась она одна с законоучителем, тот присел на табурет и спросил, все ли она исполняла из Христианской службы в доме родителей. Она сдержанно ответила, что исполняла. Он вдруг улыбнулся ей вовсе по-домашнему и сказал, что очень хорошо знал пастора Моклера, приходившего к ее отцу. При этом коротко рассказал, что до принятия сана четыре года упражнялся в богословии при университете Галле, так что многих евангелических учителей закона знает. А пастор Моклер — высокий, искренней души человек. Он твердо опустил ладонью на стол большую руку:

— То все в повадках да обычаях разница, а бога люди в душе имеют одного и того же!

В тот же день пришел Ададулов, склонился ниц, спросил, с какого языка легче ей будет узнавать язык русский. Она

сказала, что с французского, и тот с готовностью покивал головой. Мягкие пухлые щеки его покрывались краской, как у девицы Шенк. Оба они — отец Симон Тодорский и Ададулов — вместе с академиком Штелином были учителями и для эйтинского мальчика — великого князя и ее будущего супруга. «Кильский ребенок» — так называли его здесь. От кого это услышала, она и сама не смогла бы сказать. Ей явственно было слышно все даже в дальнем шепоте...

Отец Симон Тодорский ходил широкими шагами из угла в угол, рассуждая как бы сам с собой:

— Что есть вера? Степень совершенства человека. Пока груб он и примитивен, то верит без смысла во всякого идола или ловкого обманщика, от которого ожидает помощи в охоте или беде. Других и нет у него потребностей. А когда душой возвысился человек, то является у него совесть, сострадание к ближнему и прочие чувства, что уже прямо от бога. Тут и возникает вера. Но и слаб человек: даже возвысившись, не может перешагнуть через себя, свою греховную сущность!

Забывшись, он клал ей руку на голову, как маленькой девочке, и она вдруг замирала. Незъяснимое, сладкое чувство малости, своей незащищенности в мире приходило к ней. Там, где росла она, никогда не клали руку на голову, даже когда было ей три года.

Ни разу не сказано было ей о перемене веры. Она все сама знала и по сто раз в день повторяла русские слова, что звучно наговаривал ей Ададулов. Писала она их сразу русскими буквами, а не произносительными французскими. Ночью вставала, приближала тетрадь к ночнику и твердила их, прислушиваясь к своему голосу: «Петр-ович... светелка... печаль...»

Перед сном она подолгу думала о каждом прошедшем дне. Императрица сразу же явила пылкость, но за чувствами было нечто темное, неугаываемое. В глубине наполненных слезами глаз виделась вдруг угроза. В нестерпимом блеске бриллиантов являлась она им, пахло царскими духами, и больше никто здесь не смел пользоваться ими. Красавец в черных кудрях нес алую подушку еще с двумя звездами. Императрица сама прикрепила их к ее платью и платью матери. А потом за случайно открывшейся дверью она видела императрицу, с суетным женским любопытством наблюдающую за ней и великим князем: как обходятся между собой...

Эйтинский мальчик, ее будущий супруг, в радостном возбуждении хватал ее за руки, слова у него обгоняли друг друга:

— Это великолепно, что мы с вами брат и сестра. Мне будет теперь кому открываться душой... Знаете, я влюблен. В ту вон маленькую мадемуазель Лопухину, что стоит у окна. Хотел жениться на ней, да тетка бы не позволила, так что женюсь на вас. А правда, она красива? Вам нравится?

Она посмотрела на толстенькую, с пышно зачесанным волосом девицу, поощрительно улыбнулась ему. А он уже самозабвенно говорил, что заказал у некоего мастера особых железных солдат, которые будут в обычный человеческий рост, и что у него собака, которая больше лошади. Он прибегал всякий раз, схватывая ее влажными руками, и она приспособила его помогать в заучивании русских слов. Ему это быстро надоедало, и он убегал куда-нибудь опять. Ее все удивляло, как он сделался мал ростом. Тогда, в Эйтине он был много длиннее ее...

— Был ветер во дворе, наметая горы снега под окна. К утру печи во дворе остывали. Стоя у ночника с тетрадью русских слов в руке, она кутала ноги здешним прошитым нитками одеялом и никак не могла согреться. Утром, когда шла к завтраку, упала...

Острая боль была все в том же боку. Она слушала, как от собственной дрожи позванивают золоченые шары на спинке кровати, и боялись, что снова опускается у нее плечо. Все ей казалось, что находилась она где-то отдельно от своего тела, но при этом все слышала.

— В этой стране умер мой несчастный брат, и я не позволю пускать ей кровь!

Это говорила мать, а доктор-португалец, путая французские слова, разуверял ее:

— О, нет, нет, мадам. Там плохая, дурная кровь. Это, скорее всего, не оспа...

Потом спрашивали, не пригласить ли патера из здешнего немецкого городка. Она лежала горячая безразличная ко всему. Люди стояли у кровати и еще дальше, у двери. И тогда, собрав силы, она сказала:

— Позовите отца Симона Тодорского...

Люди задвигались, зашептались, передавая дальше, в коридор, ее слова. «Святой дух снизошел!» — громко сказал кто-то. Старик в шитом мундире утирал слезы. Знакомая большая рука легла ей на голову, и она заплакала. Мать так и не касалась ее за время болезни...

Когда лежала, отделившись от тела, она вдруг услышала:

— Принцесса Дармштадтская!..

Откуда явилось ей пронзительное знание того, что выражали эти слова? Она читала их в каждом взгляде, угадывала в шепоте. Другая ждала за пурпурной завесой. Звезда ее падала во тьму, и лишь тусклое свечение обозначало ее след в этом мире...

— Голубушка...

Она не видела никого, только слышала жаркий шепот.

Горячие слезы падали ей на лицо. Она удивилась: ведь императрица далеко отсюда, в Троицком.

— Возможна оспа, ваше величество! — внятно произнес чей-то голос.

Императрица склонилась к ней, теплые губы касались ее сухих губ, пылающих щек, лба:

— Дочка!..

Она все видела. Нос и глаза у ее величества покраснели от слез. Мать стояла в коридоре за стеклянной дверью и смотрела оттуда, вытянув шею.

— Буду молиться за тебя! — твердо сказала ей императрица, и она впервые поняла все, сказанное по-русски.

Ей пускали кровь, и становилось легче. Она лежала, не двигаясь, и все думали, что она спит. Графиня Румянцева, приставленная к ней, тихим голосом говорила кому-то:

— Бедное дитя!.. Вы заметили, что мать боялась заразиться от умирающей дочери? Зато нашла время отстаивать пользу своего прусского амфитриона...

Лежа так, с закрытыми глазами, она многое узнала в эти дни. Принцессу Дармштадтскую готовили в жены наследнику на случай ее смерти. И делали это маркиз Шетарди и посол Мардефельд, которые представлялись им в Петербурге. Толстый швед Брюммер — воспитатель и обергофмаршал великого князя — действовал согласно с ними. А великий король Фридрих их одобрил. С своей стороны вице-канцлер Бестужев-Рюмин упрямо стоял на саксонской партии. Только императрица хотела ее выздоровления...

*...Отцу, им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося от духа света и Марии девы и вочеловечашася. Распятого же за ны при Понтийстем пилате, и страдавши и погребенна, и воскресшаго в третий день по писанием. И возшедшаго на небеса и седяща одесную отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же царствию не будет конца...*

Ровное золотое сияние стояло в храме. Не сводя глаз с креста, она громко, четко выговаривала слова. Слух ее был неспособен к музыке, но некий высший такт ощущала она в плавном чередовании звуков...

— Все одна церковь Христова, и мелко бы делиться между собой. Что по мысли Лютера патер лишь есть толкователь писания, тогда как по греческой вере иерей сам сиян той или иной частью благодати божьей, так это зависит от сущности и манеры жизни в означенной стране света. Блеском и сиянием куполов пленял второй Рим, именуемый Византией, многочисленные народы восточные, кои издревле привыкли к тому от своих самовластных владык. От того избрал святой Владимир Киевский эту веру из трех предположенных ему, что пышностью да торжеством службы утяжеляла державную руку. У много-

опытных народов вера тяготеет к разуму, здесь же больше — чувства и дух, в том лишь разница!

Так сказал в первый урок по ее выздоровлению отец Симон Тодорский. Умные, всепонимающие глаза его были так же печальны, как у пастора Моклера. Потом, уже уйдя от урока, говорил он пониженным голосом, что даже и магометанская вера имеет свое цивилизующее начало, ибо подходит к образу жизни тех народов, кои одним лишь нерассудительным божьим страхом укротить возможно, и где человек вовсе не присутствует в расчете. Потому и позволил бог таковую разность веры, что видит неодинаковость людей. Все же вместе рано или поздно придет к единству и спасению, за что и страдал на кресте сын божий.

Отцу она писала в Штеттин: «Светлейший князь! Осмеливаюсь писать Вашей Светлости, чтоб попросить у Вас согласия на намерение Ея императорского Величества относительно меня... Так как я не нахожу почти никакого различия между верою греческою и лютеранскою, то я решилась — сообразуясь с милостивыми инструкциями Вашей Светлости — переменить религию и пришлю Вам с первою же почтою мое исповедание веры...»

И снова показалось, что замедлилось движение: как будто сани в лете наткнулись на препятствие. Она искренне улыбнулась эйтинскому мальчику — своему будущему мужу, и тот не отходил от нее. Вместе сидели они на окне прицарских келий Троицко-Сергиевской обители и болтали ногами. Великий князь неровными зубами разгрызал орешки и прятал незаметно кожуру в дыру у решетки...

Императрица по обету шла сюда пешком из Москвы. Ровный гул колоколов стоял в воздухе, наполняя каменные стены, деревья, траву, каждую частицу всего живого и неживого вокруг. Гремели земля и небо, отдаваясь разнотонным звоном в ближних и дальних городах и селениях, в полях и лесах этой земли. На версту стояли монахи с черными, изможденными постом лицами. Золото сияло, открытое солнцу, со своего собора, вышедшего навстречу во главе с архимандритом, с облачений и хоругвей, с занявших все небо куполов и крестов. Сверкающих строй лейб-компания знаменовал земной порядок.

Едва ступив в обитель и помолившись, императрица скорым шагом прошла к себе. Через десять минут она сама явилась к ним и, слова не сказав, позвала к себе княгиню ангальт-цербстскую. Мать ушла за ней с недоуменным видом, и два часа уже не выходила оттуда. Они ждали на окне в переходе...

Началось с болезни, когда мать не заходила к ней, боясь оспы. И еще была ткань на платье: голубая с серебряным отливом, что подарил ей при отъезде из Цербста ее дядя. Мать со вниманием рассматривала эту ткань. И в дороге, когда

просушивали вещи, подолгу держала ее в руках. Потом, уже в Москве, прислала к ней свою камерфрау забрать эту ткань. Она велела сказать матери, что слушается, но ткань ей очень дорога как память о дяде. Но мать забрала ткань, а она плакала. О том сразу зашептались, качая головами. В тот же самый день императрица прислала ей много дорогих и прекрасных тканей, а одна из них была точно такая же — голубая серебром...

Однако во всем, что делалось вокруг нее, было что-то другое, более значительное. В одном человеке это сошлось. Его она увидела сразу, среди сотен людей при большом бале, который устраивала императрица. Придворные вдруг переменяли позы. Так или иначе все они повернулись к двери, громкие голоса притихли. Незначительного вида человек с сжатыми, почти невидными губами, шел среди толпы, не останавливаясь и не отвечая на поклоны, только глядя в ответ твердым взглядом. Она улыбнулась ему, и он тоже посмотрел. Ни одна черта не дрогнула в его лице. Лишь на мгновение что-то открылось в нем, когда она обратила взгляд на овальный, с бриллиантами, портрет посредине его груди. Набухшее, сведенное яростью лицо со щеткой усов и гневными выпуклыми глазами было там точно такое, как на стене двора в Петербурге.

Не спрашивая ни у кого, знала она, что это и есть вице-канцлер. Тот самый, о котором говорили матери маркиз де ла Шетарди и посол великого короля Мардефельд. Здесь уже швед Брюммер рассказывал, что господин Бестужев-Рюмин открыто ликовал по поводу ее смертельной болезни, желая заменить ее дочерью короля Августа.

— Я слышала что-то и о принцессе Дармштадтской, — заметила тогда мать на слова Брюммера.

Тот закашлял, замахал рукой:

— Все интриги этого ненавистника, что хочет тень покласть на благородных людей. Никто даже не предполагал о том!

Еще раз встречалась она с вице-канцлером в комнатах императрицы накануне похода той в Троицко-Сергиевскую пустынь. Он опять с холодной внимательностью посмотрел на нее и не ответил на улыбку...

Дверь от императрицы с треском отворилась так, что они вздрогнули. Великий князь застыл с ореховой скорлупой в руках. Держась за голову, выскочил оттуда высокорослый граф Лесток. Как видно, он ударился о притолоку низкой монастырской двери и шел, ничего не замечая. Однако, пробежав мимо, он вдруг услышал смех великого князя и вернулся.

— Вижу, что веселитесь... Только ваша радость преждевременна. — Лесток повернулся к ней. — А вам с матушкой надлежит укладываться и ехать домой!

Они остались одни.

— Если в чем-то виновата ваша матушка, то не вы,— сказал успокоительно зйтинский мальчик, комкая в кулаке скорлупу от орехов.

— Мой долг — следовать за матушкой и исполнять ее волю! — твердо ответила она.

И тут снова раскрылась дверь. Вышла императрица со сведенными бровями. В глазах ее стояло бешенство — то самое, что едва прикрыто было на портрете великого царя. За ней шла мать с красным заплаканным лицом. Великий князь съехал с окна, роняя скорлупу. Она тоже начала слазить, неловко путаясь в платье, и чуть не упала. И тогда через бешенство в синих глазах прорвалось веселье. Императрица громко засмеялась, вдруг побежала, обняла и поцеловала ее:

— Ничего, не бойсь! — сказала она по-русски и ушла скорым шагом.

Мать торопливо поправилась у поясного зеркала и, не взглянув на них, поспешила следом.

*...И в духа святого, господа, животворящего, иже от отца исходящего, иже со отцем и сыном спокланяема и сславима, глаголющего пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века, аминь.*

Нет, ни одной заминки не допускала она. И заготовленные ответы произнесла ровным, высоким голосом. Потом поцеловала крест и повернулась к собору. Будто прорисованы, в густом золотом свечении виделись лица людей. В алом платье и с одной лишь лентой в волосах она смотрела не туда. Вдали, меж рядами колонн, стояли распахнутые ворота храма. Неисчислимое количество народа наполняло землю во все стороны, до самого края. А прямо напротив ясно видимая в синем небе стояла большая яркая звезда...

Менгденское пророчество сбывалось.

*... Благоверная Екатерины Алексеевны!*

Это ее имя, потому что она... русская. Теплые слезы императрицы остались на ее лице. Синие с таинкой бешенства глаза глядели на нее с восторгом. Высочайше пожалован ей был переносный складной алтарь. На темной кипарисовой доске густым золотом обложены были лики: Бога-Отца, Сына и Духа Святого. Дух был с неким блеском в глазах и голубиным крылом за плечами...



Без сил лежала она на спине, слушая гром нескончаемого торжества. И все не могла уловить название тому, что было в глазах молодого гвардейца в лесу. Волосы, падавшие на сторону, лишь оттеняли суть. Оно явно виделось у ангела с крыльями на складне. В синих глазах императрицы угадывался этот особенный блеск. В немецком языке и во французских переливах Бабетты не было ему определения. Оно прямо было связано с неистовым вихрем, что подхватил ее в том лесу и понес через равнины, города, смертельную болезнь и перемену веры к яркой звезде, посредине дня ставшей в небе...

## II

От медного грому ломило в ушах. Лишь привычные галки да голуби привзлетали от сада и снова садились на потертые зубцы кремля. С Охотного ряда тянуло убойной падалью. Когда ветер менялся, из Замоскворечья приносило запахи мытых овчин, навозной прели и еще чего-то такого, чем пахло только здесь. Нигде больше в мире не было такого запаха. Помнилось, как у государя топорщились усы да вздрагивали ноздри, когда подъезжали к Москве. И по приезду сразу бил в ухо, что плохо отхожие места тут чистят. Только запах не проходил.

Не любил великий государь сего места, особо где плоские камни выложены по земле под окнами палат. Сюда бросали стрельцы его родных, принимая на бердыши и расчленя тела для приبلудных псов. Зато потом их головы дико глядели с копьев по всей стене. В том верно есть вековое противостояние. В некой посольской депеше с умом примечено, что знатное число высокородных вельмож сей державы с облегчением сняли бы свое удобное немецкое платье, забралась в отчины и там, в разливах да болотах, вершили бы свою волю. Только так и до самоедского облика дойти можно, уж на что вольней. И свет в окне не в одних тех вельможах. Само тело России неспособно чувствует себя в тех болотах, отгороженное от мира. Царь Петр лишь направляющим орудием явился того необратимого стремления плода из чрева матери, с чем возможно сравнить подобное состояние. Так и станет все происходить в грядущие времена. Набегая все с большей силой, будет идти сей естественный прилив. Некто будет ставить изгороди, прельщая расписными лаптями да болотами, и для того только, чтобы самому вольно было красть без глаза со стороны. Неизвестно, с какой стороны, еще и от Надиршаха явится пришлец, который хвалить станет такое русское окаменение. Да из этого же камня стену возведет так, чтоб и свет не падал в те болота. Только не под силу тому лукавству остановить дело Петра Великого, что дано на тысячелетие вперед, и все какие ни на есть стены будут прорваны живительным паводком...

Вице-канцлер Бестужев-Рюмин как раз ко времени отвел глаза от взлетевших птиц и склонился ниже перед проходящей императрицей. Взгляд его наблюдал за алым бархатным шлейфом, медленно метущим те самые плоские камни подворья, тесно уложенные меж храмов и палат. Очередной победоносный мир со Швецией знаменовал этот парадный выход. А также великие награды и производства для тех, кто имел причастность к такому завершению войны.

Шлейф все еще тянулся, будто кровь текла по древним камням. Показались, наконец, белые чулки камер-пажей, что держали край платья. Он наполовину выровнял спину и увидел великого князя с княжной, в паре идущих за государыней. Тут же, как всегда с недовольным лицом, поспешала «королева-мать», как прозвал он про себя цербстскую княгиню, мать княжны. Хоть на полшага, а должна была числить себя впереди других вздорная немка. Она посмотрела на него и даже дернулась вся от неприязни. Как же, в один сутки выдворили из России ее любезного маркиза. Когда явились к тому поутру да предъявили собственноручные письма, порочившие государыню, то даже рта не смел открыть Шетардий: все шмыгал носом да поглядывал на графа Андрея Ивановича. Небось, наслышан был, как у того в Тайной канцелярии языки бодро развязываются.

Впрочем, княгиня не от того только имеет болезненный вид, что сподвижника ее, француза, выслали да от государыни выволочку имела за сование не в свое дело. Сказывают даже и подробности, сколь пленительными и неотразимыми атурами она обладает. Вовсю наповал сражен стал ими Иван Иванович Бецкой. А как есть он рожденный не в законе Трубецкой, то и не считает в том греха. Что за беда, коль у некоего фельдмаршала в Пруссии рога вырастут. Но ведь на дочь — великую княжну тень от такой матери падает. Тем более, что уж и состояния своего скрыть не способна; вдвойне против прежнего раздражается, Андрей Иванович Ушаков как раз и намекнул ему, что акушерную бабку из Немецкой слободы к Ангальт-Цербстской княгине тайно привозили...

Как и всякое действие в политике, голштинский маневр царя Петра нес с прибылью и убыток. Когда кильский князек союзной Швеции запросил пардону от датского приступа, то надеялся еще на шведскую корону после смерти неугомонного дяди своего Карла Двенадцатого. Его и там ущемили, и тогда он обратился к России. Что до споров меж Гольштейном и Данией, то к России оно не имело касательства. А вот что Голштиния лежит на выходе из Балтийского моря, премного интересовало Петра. Оттого и завещал ему в жены свою дочь, чтобы ключ этот золотой иметь в руке. Да и шведский престол держать на примете.

Все оправдалось, и этот худосочный ребенок, что припрыгивает за императрицей, помимо того, что русский великий князь, еще и наследник шведский. А как нет других близких претендентов, то шведское наследство, по русскому настоянию, переходит к дяде его — нынешнему правителю Голштинии — епископу Любекскому.

То все благие последствия: море под контролем держать да еще на престол к вековому врагу родственного человека посадить. Однако есть другая сторона этого дела. Беспокойная голштинская родня, что с полусотней европейских дворов в родстве или вражде, кругом норовит потянуть с собой Россию. Одна «королева-мать» чего стоит с ее прусским духом. Выходит так по наблюдениям через письма, что она не меньше мужа своего в службе прусского короля. Все мелкие немцы вокруг привержены к нему. Вот и сейчас посланный от шведского двора граф с добрым известием об утверждении голштинского герцога в качестве наследника бездетного короля шведского, заодно привез и известие о состоявшейся женитьбе того на прусской принцессе. Этим со стороны короля Фридриха равновесится русское воздействие на шведские дела. Везде, где имеется русский интерес, обязательно чувствуется его рука.

Да и тут в собственное российское императорское гнездо что за кукушка подложена рядом с великим князем? Прямо в противоречие матери и жениху своему — «кильскому ребенку» — держит себя. То уже, что в болезни позвала не немецкого пастора, а православного иерея, говорит за себя. А как слезы у всех вызвала, когда символ веры наизусть читала. И не мешается никуда, ни в какие сомнительные дела. Оно бы и прекрасно. Только что же это в ней: природный ум или задание от кого получила?..

Великая княжна, заметив его поклон, улыбнулась с серьезностью. Это и ставило его в тупик: серьезность в улыбке. Для пятнадцати лет слишком уж много опытности. А может быть, и впрямь никакой кривизны не имеется у ней в натуре? Для дела хорошо это может быть, а может и вовсе плохо. Однако ж, на святую простоту тут не похоже. Он продолжал холодно смотреть на великую княжну, но даже тени не пробежало у нее на лице...

Звонили колокола, и в перерывах стреляли пушки. Распевно читался высочайший указ. То было отступление от петровой методы читать указы с деловой внятностью. От такой распевности не истинная торжественность получается, а вроде бы коровье мычание. Благо, что уж совсем не поют, как в церкви.

Он слушал вполуха. Произнеслась, поднявшись в высоту палатных сводов, его фамилия с назначением в канцлеры. Императрица сидела недоступно-величественная, пурпуровые волны ниспадали от золотого трона, теряясь далеко вниз, и даже

подумать было нельзя, что плакала недавно в некоей комнате и ей обтирали слезы с лица. Он встретился с ней глазами и не подал ни о чем вида. Ничего, они с ней русские люди, так что с единого разу то понимают, что другому бы век размышлять. Красавица государыня хоть и не сильна в науках, а жизненную суть прямо схватывает. Так и росла без церемоний, а что были у ней Бутурлин, да Шубин, да паж Лялин, и, как сказывают, ездовой Андрюшка, то это бог ей отпустит. Сиротой при отеческом престоле жила, не удобной для прочих. Сейчас вот с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским в тайный брак безнаследный вступила, что и к лучшему. Меньше неожиданностей придется ждать тут от чувственности. То беда, когда женщина на престоле, поскольку всегда у чувства своего в подчинении. На что кремень была Анна Иоанновна, да и то Бирон в шенкелях держал...

Закончилось чтение об его назначении. Сладко улыбался Лесток, по-русски вытянул руки вдоль тела Мардефельд, лишь голштинский швед Брюммер не скрывал досады, с налитым кровью лицом. И еще цербстская «королева-мать» шла пятнами. Шайка эта с высылкой Шетарди и вождя сразу лишилась, и тут же канцлера для себя нерадостного приобрела. Только безразличны они ему, если бы только место свое твердо знали. Иностранцы в России двух видов. Одни так сразу русские делаются, другие во внутренней ненависти держат себя...

Опять уловил он улыбку к себе великой княжны, что сидела при троне. Не может она не знать о маменькиной ненависти к нему. Да и про немецкий интерес наверно понимает, но и намек на то не подает. А смотрит так, будто сама что-то прочесть в нем хочет. Только ничего тут не увидит.

Теперь есть у него забота о более серьезном подумать. Поскольку канцлер он отныне, то и соблюдать себя обязан соответственно. Тот двухфлигельный домишко, что имеет в Петербурге, надо бы хоть шпалерами заново оклеить да зальную пристройку соорудить. Еще и посуды французской или саксонской купить, поскольку политические разговоры в доме важнее бывают, нежели в коллегии или прямо при дворе. Канцлер императорский российский тут не должен уступать хоть бы прусскому или венскому-первому министру. Того, что с назначением и денежно от государыни милостиво пожаловано, не хватит, чтобы от долгов откупиться. Есть еще дипломатский пенсион от английского короля на благое ведение дел меж двумя державами, так и совсем немного тут прибыли. Можно бы, конечно, от французского короля такой же пенсион принять, да и прусский бы вдвое дал. Те же Шетарди с Мардефельдом обращались к нему с этим. Оно и принято так в Европе, что всякий первый министр может принять пенсион от иностранного двора, дабы

способствовать укреплению дружелюбности между двумя державами. Также и другие влиятельные люди могут принимать такие пенсии за содействие, и во многом то способствует миру. Только он ответил господину Дальону, заменившему тут Шетарди, что не заслужил еще у короля Франции таковой награды, но все будет делать к обоюдной российско-французской пользе, как вернейший его слуга. Так или иначе, а к государыне предстоит обращаться за вспомоществованием...

Объявляли графа Михайлу Воронцова вице-канцлером вместо него. Вот из доброго друга и благодетеля новый противник для него получается. Правда, что граф Михайла Ларионович — умный человек, да слабость человеческая всякому присуща. Те же Шетардиевы друзья станут кивать на великие заслуги его в воцарении государыни, а в подчинении, мол у выдвигенца своего вынужден состоять. К тому же и на родственнице императрицыной Воронцов женат. Король Фридрих еще загодя графу Михайле орден Черного Орла презентовал...

Канцлер императорской российской и граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин вздохнул, но никто не увидел ничего на его лице.

### III

Лес был кругом, а ослепительно-белый снег волнами высился меж уходящими к небу стволами деревьев. Девуцу в золоченой шубейке тащил он из этого снега. Она открывала темные с золотом глаза и заводила руки ему за шею. Все крепче прижималась она к нему, тянулась лицом и грудью, так что делалось жарко. А он все нес ее, глубже делались сутробы, ветки опускались к ним, царапая лицо и руки. Но он закрывал ее от острых колючих сучьев и все шел куда-то по нескончаемому лесу...

Огромная, совсем уж низко опущенная ветка вцепилась в плечо. Черные, искривленные лапы тянулись со всех сторон. Он рванулся, не выпуская ноши...

Все тело ныло, саднило от боли. Рубашка клеилась к телу, где кожу пропорол свайка. Кривоглазый, так тот бил гирей на шнуре, норovia в темя. А прочие арестанты затихли по углам, даже лицо сделалось у них одно. Кузнец, который пятак ломал в ладони, вроде бы спал. И солдат, первый прыгнувший на редут при Хотине, сидел с племянником своим — большим черным мужиком — в бессмысленной неподвижности. Никто не тронулся на помощь ему со своего места, лишь Астафий Матвеевич пропал куда-то.

Однако к чему этот сон после вчерашней драки? Да так все ясно, будто сейчас только нес девицу на руках. Подпоручик Ростовцев-Марьин, постовав, повернулся и сел. Лежанка напротив, где спал старик Астафий Матвеевич, была пуста. Двое их тут находилось, в дворянской половине арестного дома. Остальные все: мужики и бабы — распределялись безо всякой постели по сараям и срубам. Арестанты были в колодках и без них, смотря по важности дела.

Пятеро верховодили тут. Главный — плюгавый мужичонка в барском казакине с острым взглядом искосу, а помогал ему рябой инородец персидского виду с желтыми кошачьими глазами. Первый будто бы дворовым у князя был, да своровал что-то, а инородец на здешней ярмарке разбойничал, торговых людей конским волосом душил. Остальные были больше беглые или без роду-племени. Да еще из той мордвы, что бунтовала против архиерея Димитрия, имелись здесь люди. На него смотрели как бы мимо, не замечая. Попросили только на спор пятак, что кузнец взялся согнуть. Да и согнул играя...

Уже на другой день увидел он, как разбойный люд расправлялся с тем самым кузнецом. Они отнимали чего-то, а кузнец не отдавал. Тогда его подсекли под колени, инородец накиннул ему волосяной аркан на шею. Прочие сидели тихо. Подпоручик прыгнул, ухватил перса за шиворот, оторвал от полу. Тот закричал зайцем, барахтаясь под рукой. Полупридушенный кузнец, не оглядываясь, уходил в свой барак.

— Теперь они тебя, Александр Семенович, караулить станут! — сказал ему со вздохом сожитель Астафий Матвеевич.

Лишь двое их сидели в чистой избе при остроге, поскольку проходило еще следствие и не лишены были прав. Не так уж и стар казался бы Астафий Матвеевич, если б не белая борода, что ключьями росла у него из щек, и усталость в глазах. Тоже из беспоместных дворян происходил он, и поскольку учился наукам, да разные языки понимал, то состоял при астраханском губернаторе Татищеве для поручений. Все больше сведения по российским делам с персидскими шахами собирал. Только всячески интриговали враги против Татищева, да и его в доносе прихватили. Четыре года находилось его дело в разборе: принимал или нет для губернатора в подарок аргамака с серебряной сбруей от туркменцев, желавших уйти от Надир-шаха в российское подданство.

— Коли в живых хочешь остаться, не спорь с ними, — объяснял ему старик. — Не здесь, так в дороге пришьют, как на одной цепи в Сибирь пойдём!

Однако, когда в другой раз те опять стали душить человека, он снова не дал. Услышал хрипение и прибежал. Первое, что увиделось, было лицо солдата, стоявшего в углу. Солдат тот

особой медалью и ста рублями от генерал-фельдмаршала Миниха был жалован за то, что первый взбежал на турецкий бастион при крепости Хотине. Под арест угодил, когда в отставке уже к купцу рыбу возить нанялся с племянником, да застрял в придорожном кабаке. Там у него и деньги торговые унесли. Сейчас убивали племянника, а кавалер испуганно пучил глаза, норovia укрыться как-нибудь за углом.

На сей раз, приметив подпоручика, персидский инородец бросил аркан и побежал. Кривоглазый злобно ощерился и лишь закрывался руками от ударов. И помощники их уползли в стороны.

Всю неделю было тихо. А накануне того, как отправляться новому этапу, прихватили и его. Вышел он из избы с рукомойником, и тут что-то пало на голову, острая боль обожгла шею. Он двинул плечом, успел заложить пальцы под язвущий шею жгут. Другой рукой бил вслепую по сторонам. Мешок, что бросили на него, сдвинулся, и он увидел метящего ему гирькой в лоб кривоглазого. Еще один с блудливой усмешкой крался сбоку со свайкой.

Вокруг делали вид, что не видят ничего. Кузнец вроде бы спал, а солдат с племянником одинаково пучили глаза. Ему снова натягивали мешок на глаза. Только Ростовцевы славились в уезде махом, так что не разбирая крушил им зубы. Потом все стихло. Осторожный комендант стоял возле него с Астафием Матвеевичем. Требовал, чтобы указал на зачинщиков, но он молчал.

И день он еще лежал и молчал, не отвечая заговаривавшему с ним сожителю. Потом уснул крепко, и снилась ему девица из леса. Так и проспал, пока боль не заставила проснуться. Морщась, он встал, напился воды из бочки в углу, опять сел на лежанку. Астафий Матвеевич вопросительно посмотрел на него.

Подпоручик спросил глухо, глядя в стену:

— Как же это так?

— Об чем ты, Александр Семенович? — удивился старик.

— Кривоглазый этот с персом, пусть еще двое-трое... Какая же сила в них, что у всего здешнего народа грабят что хотят. Кузнец один их бы согнул. Да и кавалер, что Хотин брал, немалой отваги человек. Все русские мужики, что стенкой драться ходят. Отчего же слабость эта у них?..

Он вдруг услышал странный звук и замолчал, удивленно глядя на старика. Тот еще раз как-то горлом всхлипнул и вдруг закричал тонко, махая руками:

— Рабы они, рабы! От Грозного царя еще у них испуг этот не прошел. Раньше от татар, так на то воля божья. Потом же, хуже татар, сами мы сей испуг народу ежечасно вколачиваем. Он по приказу на Хотин лезет, а при случае от свайки не смеет загородиться. Тем и пользуются кто подлее. То же раб этот

кривоглазый, только хуже еще, дворовый раб. При барине пообтерся, вольностей наслушался. Только внутри все одно раб, и вольности по-своему разумеет. Ну а перс с удушкой, так для того в России готовое поле для подвигов. Снаружи никак не возьмет — как под Хотинем острастку получает, а вот то внутреннее российское рабское состояние сразу улавливает. Ну и выходит в герои. Похуже телесного мора — чумы настагает такой мор духовный. От него, и не отчего иного, уходили народы с поля истории!..

Вроде бы его в чем-то винули, кричал Астафий Матвеевич, не замечая, как слезы текут у него по лицу и белой бороде. И все говорил, говорил. Подпоручик растерянно улыбался, поглаживая избитое плечо.

— А что русский дворянин за правду вступился, так это подобно гишпанскому собрату, который горшок вместо шлема надел да с ветряными мельницами в бой вступал, — уже спокойнее заговорил старик. — Коли так все идти станет, то и дворян придушат, совсем безгласой Россию оставят. Рано или поздно все в услужение пойдем к этим со свайками да удушками. И честью русской будем считать, когда допустят постоять при проезде. Еще и оды станем им слагать. Самое рабское то удовольствие оды про себя слушать!

Много еще говорил Астафий Матвеевич про долговременность пути к совершенству. Василий Никитич Татишев, обширного ума человек, пришел к тому, что лишь терпеливое умопросвещение открывает дорогу народам к счастью. Петр Великий выдернул Россию из невежества и поставил на ту дорогу. Да только рабское состояние вроде палок в колеса на каждой версте той дороги. Когда б хоть на четверть века перестали пугать дыбкой, шпицрутенами, тайной канцелярией. А видя сие несчастное народное бессилие, какому подлецу не захочется поупражняться в безнаказанном злодействе. Вот и будет стократно пугать, так что даже надиршаховы художества игрушкой покажутся. Тот по десятку свежует людей, а тут со всего народа сразу станут шкуру спускать. Выделают, потом набьют соломой, и будет внешне как живой!..

Подпоручик Ростовцев-Марьин встал утром и не мог понять, что же мешают свету попадать в окно. Он подошел и увидел висящие на уровне глаз босые ноги. Из-под потолка улыбалось ему склоненное набок лицо Астафия Матвеевича. Веревка была подвязана к железному крюку над окном, внизу лежала на боку брошенная скамеечка...

— Вот и делу конец, спаси господи! — сказал осторожный комендант и перекрестился. — Тем обыкновенно и кончается,



когда следствие прямой улики не имеет. Идет дело в сенат, потом обратно в суд, оттуда по месту совершения для нового опроса. А к тому месту из Астрахани в три года раз только шхуна ходит. Да и туркменцы сегодня здесь, а назавтра кибитки сняли и, глядишь, уже в Хиве. Выходит, в Оренбург опять надо дело пересылать...

Подпоручик сидел и все пусто было у него внутри. Даже когда и сказали, что по ходатайству архиерея Димитрия его увольняют от всякой вины, он не слышал того. Когда уходил из острога, комендант дал ему дощатый сундучок с книгами да бумагами. На полулисте сверху значилось: «По самовольной кончине моей прошу сии бумаги вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова передать во владение дворянскому сыну Александру Ростовцеву-Марьину в память и поучение...»

#### Четвертая глава

Ничего не произошло...

В ее ожидании не было страха или предчувствия невероятного. Когда накануне многоопытная фрейлина давала подробные пояснения в отношении этого, она все уже знала. Ей трудно было сказать откуда, но с самого детства присутствовало в ней это знание. Еще когда увидела в полутемной комнате некую графиню в любовных объятиях, то понимала, что происходит.

Фрейлина даже легла на обитое голубым шелком канапе, показывая, как следует вести себя испуганной неопытности в ответственный момент. При этом приоткрыла рот, закатила глаза и негромко даже вскрикнула: «Ах!»

А перед самой дверью в приготовленную для них спальную залу императрица обхватила ее руками, жарко зашептала в ухо: «Он после болезни слабенький, наш голубок... В случае ежели... погрей как следует его...» И назвала прямо, по-русски и французски запрещенные слова. От императрицы пахло вином.

А зйтинский мальчик болтал что-то грубым, не своим голосом. После болезни переменился у него голос, и редкие золотые волоски за ушами вдруг поблекли, сделались вроде сухой щетины. Само лицо у него зашершавилось и при детских чертах принадлежало как бы другому человеку...

Та же фрейлина с двумя камеристками перед тем раздели ее, положили по местам что надо. Она лежала в белых кружевах и смотрела на вошедшего супруга. Он все махал руками, громко хохотал, сидя поверх одеяла, и рассказывал, как ловко подшутил над дьяконом в соборе. Стоя близко, он всякий раз, не показывая внешнего виду, трубил вместе басом, а дьякон пугался и сбивался с голоса. Он изображал ей, как это выходило у него, и снова

смеялся. Потом мельком посмотрел на нее, на кружева вокруг и принялся рассказывать, что все уже знает про это: тетка-государыня двух особых фрейлин для того приставила к нему. Одна ему нравилась, и все хорошо получалось с ней, а другая — офицерская вдова — щипала и царапала его.

Она уже много раз слышала от него этот рассказ. И про девицу Карр, как соблазнил ее два месяца назад, он тоже не уставал говорить. Надо было как-то вернуть его в настоящее время.

— Ваше высочество, вам следует отдохнуть от столь волнующего дня! — негромко сказала она.

Он схватился, неосмысленно засмеялся и побежал в боковую дверь. Там послышался его разговор, какой-то стук, потом еще чьи-то голоса, лакейский смех. Где-то за другими и третьими дверями происходило шуршание, доносились приглушенные шаги. Во дворце не спали, откуда-то с дальней улицы слышалась песня...

Мальчик из Эйтина вернулся раздетый, пролез между шелковым пологом. Свечи притухли, и в кремовом сиянии он сделался вовсе чужим. Она чуть отодвинулась, давая ему простор.

А он опять говорил, все махая худыми руками, потом стал трогать ее. Она молчала, не мешая ему, только отвела острый локоть, которым уперся ей в грудь. Что-то, наконец, получилось, он завозился суетливо, обмачивая ей лицо слюной. Сделалось неприятно и слегка больно. Она молча высвободилась, отерла лицо. А он победно махал руками, подпрыгивал ногой, дергался телом. И сразу вдруг уснул, скорчившись и притянув колени к подбородку.

Она не стала никого звать, хоть слышала, как подходили снаружи к самому пологу. Сама привела себя в порядок и снова легла, подстелив запасное белье. Он лежал рядом, уткнувшись длинным узким подбородком в подушку и захватывая кружева мокрыми губами.

«Кильский инфант» — она знала, как называли его тут. Так было ей назначено, и за целый год она подружилась с ним. Знак тайный сделался между ними: когда пили вино, то многозначительно говорили друг для друга: «Пусть скорее будет, что нам обоим хочется?» Все происходящее прямо относилось к звезде, увиденной как-то в голубом небе...

Посланник шведской короны, что привез известие о помолвке дяди ее — епископа Любекского, ставшего ныне шведским наследником, — и сестры прусского короля, был тот самый человек, который говорил когда-то матери: «Это непростое дитя: посмотрите, сколь серьезен ее взгляд!»

Граф Гилленборг сразу же подошел к ней и заговорил так же серьезно, как пять лет назад в Эйтине. Благородное лицо его

с седеющими висками было твердо, прямой взгляд не принимал подделки, и снова она беззаветно доверилась ему. Три часа говорила она с ним и делала знак великому князю, чтобы не подходил. Потом заперлась и писала два дня, сводя в одно все известное про себя, зримое и незримое... «Что сотворено и послано богом, не может не быть разумно. Каждому назначена звезда со своим путем, которым человек должен идти старательно и неуклонно, исполняя тем высшую цель. Коль дано мне высокое рождение и назначено управлять этим народом, то со всей радивостью и чистотой духа буду то выполнять. Стану терпеливо сносить горести и неприятности, превозмогать антипатии, удерживать собственные чувства. А также стараться нравиться сему народу умом и сердцем своим. Для того Провидение вывело меня из тяжелой болезни в младенчестве и теперь!»

Она заглавила тетрадь «Портрет Философа пятнадцати лет». Так назвал ее благородный граф, и она принесла ему эту тетрадь для прочтения. Он возвратил ее со своими пометками и рассуждениями по поводу совершенствования человека, что прямо ведет к общей пользе. Ее характеристические черты он назвал: рассудительность и разумная терпимость, которые всегда должны наличествовать при управлении народами. А не хватает к тому опытности, каковую надлежит занять у древних мужей Греции и Рима. О том писал Плутарх, поучительна также жизнь Цицерона. Новых же мыслителей нужно начать с блистательного Монтескье, чье имя сияет в просвященной Европе...

Гремело и сияло среди каменных квадратов. Осыпанная розами, в белой пене кружев, плыла она над восхищенными толпами, что бесчисленно приливали сюда с неведомых краев земли. Снежно-белые лошади десятью парами плавно влекли коляску с двумя тронами наверху. Все далеко было видно в прямолинейности проспектов. Сверкая оружием и шлемами, шли войска. Всякая колонна перемежалась парадным выездом, ибо точно было указано каждой фамилии и персоне первых четырех классов, сколько и каких надлежит при этом иметь карет, пажей, гайдуков, скороходов, ливрейных слуг и арапов, сколько и какого должно быть допущено на улицы народа и как следует ему быть одету. Императрица с радостным лицом, полуоткрывши рот, самолично занималась этим. Даже ленты к лошадям сама подбирала. А венчальное платье вместе с французской модисткой на колених стократно вокруг нее облезала. Потом, остановившись вдруг и взяв ее за руку, императрица вскрикнула: «Голубушка, у меня ведь той радости так и не случилось!»

Трубили в городах герольды, объявляли на площадях о предстоящем событии. Ко всем дворам Европы посланы были

полномочные люди, чтобы узнать, как составляются там торжества по подобному случаю. Целый корабль с италийской бронзой разгружался в гавани. Мастера цветного огня прибыли из четырех стран...

И опять шли войска, шпалерами расставлялись на площадях. Гролом отдавался стотысячный копытный грохот по распиленному и уложенному в квадраты камню мостовой. Искры высекались из камня от тысяч подков, и синее пламя стояло по земле, когда проходили тяжелые полки кирасир и конной гвардии.

А на десятый день в этом громе и сверкании она поплыла на троне от двора к собору. Рядом сидел зйтинский мальчик. Он, как обычно, дергался, усаживался то одним, то другим боком, чесался, стирая пудру с подкрашенного лица. Она сидела ровно, лишь покачивала голову, улыбалась людям в толпе и гвардии. Гладкое серебряное платье, окаймленное золотым шитьем, как бы розу из бутона, выпускало из себя ее голову с темно-сияющими волосами. Лишь маленькую бриллиантовую корону надела ей императрица.

Ныне уже епископ Псковский отец Симон Тодорский вел обряд. «Перст Провидения указывает на сии отрасли домов Ангальтинского и голштинского, ибо помнить имеем, что пути господни неисповедимы для людей, также для стран и народов!» — сказал он, указывая на них. Венец над ней держал граф Алексей Григорьевич Разумовский с чуть ленивым взглядом умных хитроватых глаз, и все знали, что это тайный супруг императрицы. А над великим князем стоял их общий с ним дядя — принц Август Голштинский, что привез однажды сюда ее портрет. Снаружи собор высился римской колоннадой, и темные лики казанских угодников с чуть скошенными татарскими глазами смотрели с его стен и углов...

Укрытая красными коврами и влекомая галерой, плыла барка, от берегов реки гремело «ура!» Наверху, при карауле четырех адмиралов с обнаженными шпагами, стоял потемнелый бот с малой пушечкой на носе — тот самый, с которым великий царь в пятнадцатилетнем возрасте от равнин и лесов начинал путь к морю. Завещано было в каждое тридцатое число августа выводить его на морскую воду. Через двадцать лет исполнился отцовский завет его царственной дочерью по случаю дела, ведущего к наследованию и продолжению рода, о чем единственном не побеспокоился этот царь. В боте зияли дыры, и не мог уже плыть сам, потому и пришлось, забив шпаклевкой тронутые места, ставить его на барку. Гремела пушками крепость на другом берегу, раз за разом окутывался дымом новый шестидесятипудный фрегат, к этому дню спущенный с верфей, били из пушек идущие за ним другие корабли, стучали барабаны, пели трубы. По-необычному звонко — от присутствия близкого мор-

ского простора — звучали здесь колокола. Архиепископ санкт-петербургский и ревельский взошел на барку вместе с клиром и окропил биток святой водой. На палубе его под громовой крик народа и войска императрица в платье ордена Александра Невского пала на колени и поцеловала портрет своего родителя. Со спокойным бешенством смотрел великий царь мимо всего происходящего куда-то вдаль...

Стоя на барке за спиной императрицы, она даже оглянулась, чтобы увидеть куда устремлен этот взгляд. Там никого не было. В расчерченном шпильями небе громоздились тяжелые черные тучи. Выплывая из глубин этой страны, от неведомых лесов и болот, они двигались плотной массой, оседая на этот необыкновенный город, заволакивая и убирая из глаз само море...

Все продолжалось тут: били вином фонтаны на площади перед Адмиралтейством, с треском рассыпались в черном небе цветные огни, миллионами свечей горели окна. Кем-то направленное движение с ровной стремительностью влекло ее к назначенной цели. Только однажды дрогнула она: среди идущей строем гвардии вдруг показалось ей лицо с упавшей на сторону прядью волос. Она даже прикрыла глаза, ощутила сильные мужские руки, тянущие ее из снега. Горячее томление поднялось снизу, прилило к груди, сладкая покорность охватила ее...

Эйтинский мальчик задвигался рядом на своем троне. Она открывала глаза, с недоумением посмотрела на него. Линия лиц в гвардии не имела перекося. Того и не могло быть, поскольку лишь в походном строю отпускаются там из-под киверов собственные волосы.

Ничего, никакой перемены не почувствовала она в себе. Значит, и нет в том необычайного, о чем так значительно умалчивалось в книгах, читаемых мадемуазель Бабеттой. И в разговорах женских к чему тогда некая возвышающая тайна? Она разглядывала спящего рядом с ней эйтинского мальчика, ставшего в эту ночь ее мужем, и не ощущала к нему ничего нового. Тот почмокивал большими, до ушей, губами, морщил нос и все не отпускал изо рта кружева от подушки.

Она отвернулась, стала смотреть в розовеющий верх полога. По очереди набегали виды прошедшего года, и всякий раз рядом был эйтинский мальчик... Они ехали с императрицей в Киев и все вместе собрались в одной карете: она с великим князем, молодой Голицын, граф Захар Чернышев и ее фрейлины — две Гагарины да Кошелева. Смех не кончался, и потому было особо весело, что в другой карете злились старшие. Больше всех разъярен был воспитатель и обергофмейстер его высочества Брюммер, от которого убежал к ним эйтинский мальчик...

А еще на пути был город, зовущийся Козелец. Великий князь от безмятежности чувств скакал на одной ноге и толкал бюро, на котором ее мать писала письмо в Цербст. С грохотом упала на пол шкатулка, посыпались бумаги. Мать с идущим пятнами лицом наступала на него.

— Вы есть бравый Карл-дурачок! — кричала она визгливо по-немецки, а эйтинский мальчик испуганно пятился, закрываясь руками. Она встала на пути у матери, и тогда та с размаха ударила ее по лицу: один раз, другой и третий. Его высочество, пользуясь тем, побежал к двери...

Здесь уже, в Петербурге, они сидели на театре в своей ложе. Напротив императрица что-то бурно говорила графу Лестоку, кивая в ее сторону. Тот появился у них с поджатыми губами и ехидством на лице.

— Видели, как строго императрица разговаривала со мной? — сказал он ей. — Это по вашему поводу!

— Чем же имела я, несчастье заслужить немилость ее величества? — спросила она.

— Государыня считает, что для великой княжны недопустимы такие долги, которые есть у вас. Когда их императорское величество были цесаревной, то обходились куда меньшей частью и дом с людьми содержали...

Сказано было громко, и эйтинский мальчик, тогда еще жених, сделал строгое лицо. Он даже согласно закивал головой, поглядывая в ложу императрицы.

Приехав тогда домой, она потребовала счета и все сама проверила. Тридцать тысяч рублей было жаловано ей «на карты». Только в Россию она приехала, имея лишь два платья, тогда при здешнем дворе их меняют трижды на день. Да и в белье она долго обходилась старыми цербстскими простынями. Но больше всего отнимали денег подарки, столь любимые русскими. Одна лишь графиня Румянцева, приставленная к ней и специально возившая ее по магазинам, обходилась как целый въезд. Она так усердно хвалила всякий раз какую-то вещь, что необходимо становилось купить и для нее. Тут же и великий князь, растративший свои деньги на игрушечных солдат, много взял у нее взаймы. Также мать не отстает в таком деле, пока не получит своего.

Правда, что и отцу она выслала некоторую сумму, умолив того взять на лечение ее тяжело больного брата. Все же, утя щедрость императрицы, долгов у нее не более двух тысяч рублей. А значило это, что против нее настраивают императрицу. Сразу встало перед глазами замкнутое в непреклонности лицо с ниткой губ и портретом, глядящим с груди непоколебимым, яростным взглядом. Канцлер совсем не терпел мать, а на нее смотрел как бы с удивлением...

Все было переходяще. Она стояла на высоком берегу Борисфена, золотые кресты высились в совершенно синем небе. Как бы ломающим преграду звуком называли эту величественную реку. Днепр — слово шло из древних, неведомых времен вместе с именем города на нем. Здесь было одно из начал этого народа.

Десять раз по времени от Штеттина до Цербста ехали они сюда. Здесь она спросила, сколько дней надо находиться в пути, чтобы доехать до конца России. На нее посмотрели с недоумением.

— Да год, наверно. А может быть два, — сказал ей старый дворянин, распоривающийся их размещением в Киеве.

Оставив всех, она шла под землей в храмах и переходах.

Выступали из тьмы усыпальницы неких древних князей, сумрачные лики смотрели со стен и потолков, не меняя из века в век выражения. Те же самые были они в новом, только что построенном соборе с грандиозной, в сто метров колокольней. Какая-то загадка таилась в тысячелетней застылости лиц, что перекликалась с безмерными расстояниями этой страны. И никак не сочеталась их тяжелая сумрачность с внешним сиянием бронзы, ослепительными белыми стенами, с зеленой, красной, сиреневой яркостью крыш и фасадов при теплом и чистом солнце. Роковое противоречие было в том, что

Она совсем уже, кажется, заснула. Как вдруг совершенно наяву увидела полутемную комнату и судорожное сплетение ничем не прикрытых тел. Никак не кончалась их напряженная неподвижность. Радостный, мучительный вздох услышала она... Нет, что-то еще было там между ними, что вот-вот должно было открыться ей. От того как гордо сидела женщина на лошади. Могучий конь с полированной спиной послушно приседал на круп от одного прикосновения ее колен. Ах, Каролинхен!

Горячая истома охватила тело, передолжила груди. Невозможно стало дышать. В радостном предчувствии, не открывая глаз, повернулась она, протянула руки. Там была пустота, лишь куда-то в мокрое попали пальцы. Это был край кружевной подушки...

Великий князь, ее муж, вдел худые ноги в ботфорты и стоял при откинутом дологе, сосредоточенно показывая самому себе разные гримасы. Он высовывал далеко язык, лучил глаза, потом вдруг принял надменный вид, значительно поводя головой на тонкой шее. Увидев, что она проснулась, муж ее захохотал, замахал руками и побежал в лакейскую. К ней донесся громкий разговор, смех, выкрики. Потом все стихло, и она заплакала беззвучно, без слез...

Канцлер российский Бестужев-Рюмин стоял в единожды определенном месте: позади и налево — в шести шагах от императрицы. Он сам нашел таковую точку, где бы для государыни не было назойливости от его присутствия и одновременно не теряла бы его из виду. К удивлению, свое правильное место сразу нашла и новосделанная великая княгиня: как будто сзади государыни, но неотделимо от нее. Для такого надо ум и особое чувство иметь. Кто бы мог направлять ее? Уж не великий князь и тем более не матушка. Та вон всегда наперед суется, так что вид уже один ее вызывает раздражительность. И недовольство постоянное у ней на лице. Как же: *in dieses barbarisches Land* (в этой дикой России) и качеств ее не оценили. Лишь сегодня сошла у нее с лица эта спесь. Даже растерянно как-то теперь смотрит. Еще бы, коли прямо указали на порог...

Цербстская княгиня и шла неровно: сделает четыре-пять шагов и приостановится. Как вдруг, дойдя уже почти, рухнула на колени, упала перед императрицей, заливаясь слезами:

— Ваше величество... Простите за все!

Темное что-то блеснуло в глазах у государыни, и лицо оставалось непреклонно.

— Прежде надо было думать! — сказала негромко ее величество.

Тут клубок завязался, при котором не этой мелководной гусыне мешаться. Дочь коли пристроила к российскому делу, то к нему и надлежит ревновать всей родне, независимо от подданства. Так оно по-русски принято. Сей корабль плывет своим румбом, и кому-то лишь кажется, что крутит рулевое колесо. Бо всяком разе путь его в глубокую воду, а не на ангальт-церстские да гольштейн-готторпские отмели. Тем более не на прусские камни...

Пока занимались сватовством да свадьбою, король Фридрих мало что Силезию отхватил — в Саксонию вломился. А главное на уме — поставить предел российскому вступлению в число европейских держав. Для того нашему голштинскому родственнику, которого государыня предложила в шведские наследники, прусский король свою сестру в жены отдал.

И кругом, где идет дипломатическая игра, цербстская «королева-мать» суется. К самому Фридриху ее письма, к брату-кронпринцу в Швецию, к голштинским противникам русского родства. Однако нигде в письмах не говорится о дочери, причастна ли к той материнской игре...

Вовсе спокойно распростилась великая княгиня с матерью. Сбивает с мысли подобная сдержанность чувств при одновременной ко всем приветливости. Проста ли безмерно или все маска, ничего тут не решишь...



Словно услышав его мысли, великая княгиня обернулась в его сторону, улыбнулась с серьезностью. Никак не действует на нее его холодность. Прочие от того в амбицию кидаются или в холопью молчаливую злобность уходят. Она же будто не замечает его вида. Некое неудобство происходит от того и приходится отворачиваться, когда вот так она смотрит.

А цербстская княгиня-мать уже вытерла слезы, принялась считать, все ли на месте из представленной ей свиты сопровождения. Тут уж государыня не поскупилась. Помимо сорока четырех человек разных чинов, особый конвой станет провожать ее до границы. Там же будет человек, глаз не спускающий с княгини. Указано задерживать все, что захочет писать вперед, в Европу, или назад, к своим российским адресатам.

Только уж и писать ей сюда станет некому. Шетардия нет уже. Толсторожий Брюммер так тоже скоро отставку получит. А прусского посла Мардефельда — и с самой княгиней вместе — ждет великая неожиданность. Оба чуть не каждодневно писали в Берлин, что при русском дворе все по их слову делается. Да только с княгиней вместе перейдут полки в Курляндию для предупреждения короля Фридриха, чтобы мирился с Австрией. И тут же, на границе, будет вручено ей собственноручно письмо императрицы о том, чтобы просила своего амфитриона отозвать барона Мардефельда назад к берлинскому двору...

Так что один только Лесток останется тут из всей шайки. Без сподвижников куда как трудно станет блюсти здесь французские да прусские пользы. К тому же и пенсию ему от Версаля урежут, когда узнают обо всем, так что и прыти соответственно убавится.

Правда, есть здесь одна особа, которой прямой резон к смертельной к нему вражде. Вроде загадки без ответа сей предмет. Канцлер опять невольно посмотрел на великую княгиню. Сейчас она вместе с супругом шла к карете уезжающей из России матери, чтобы проводить ту до Петергофской заставы. Кильский инфант по простоте своей прямо не скрывал радости по поводу отъезда тещи. Даже кричал что-то и в ладони хлопал. Зато на лице юной жены его нельзя было ничего прочесть, кроме известных наружных чувств.

### III

Небо было покойное, светлое. И на земле все было светлое в ночи: вода, слившийся с ней берег, и тот, другой берег, будто облачком поднявшийся над великой земной ровностью. Подпорутик Ростовцев-Марьян слушал вселенскую тишину и всей плотью своей ощущал неслышаное движение огромной массы воды, наполняющей берега, великую мощь и тяжесть ее. Зарождаясь там, в безбрежности, на которой его Ростовец, река

полнилась от полей и лесов, от неисчислимых ключей, от каждой дождевой тучки в небе, от росы, выпадающей в чистое утро на листьях и травах. Принимая в себя другие реки от ближних и дальних пределов, она двигалась куда-то, где была середина земли.

Он опустил руку в ночную воду, ощутил ее упругость и силу. Вода была не теплой и не холодной, так что показалось ему, что сам он и душа его сливаются с этой водой и землей...

Тихий говор слышался от края дощатого настила. Там в ряд, одна к одной, стояли бочки, пахнувшие смолой и свежим лесом. Их везли к морю, где грузили икрой и рыбой для царицыного стола. За бочками, у самой воды, виделись две светлых тени.

— У нас так лен на то треплют,— говорил молодой голос.— На рубахи да на порты.

— Льё-он...— выдыхала девица.

— Я и говорю: лен!

Второй месяц плыл он Волгой с казенным караваном. На полторы версты растянулись по воде расшивы да баржи. На каждом корабле были солдаты и пушки с припасом. По реке шалили всякие люди, а тут, на подходе к Царицыну, хотели даже баржу с товарами отбить то ли безначальные калмыки, то ли еще какой-то народ. На их корабле, помимо товару, везли еще и людей. Главной промысел при озерах в киргизской степи. Всем управлял нижегородский купец маленького роста с черной смоляной бородой. Народ с ним ехал разный: семей пятнадцать русских мужиков, каким-то способом откупленных у казны, погорелая мордва, вятские да пермские татары. Везли они с собой весь свой скарб, а русские мужики еще и возы с лошаденками, что стояли тут же и жевали сено. Когда приставали к берегу, бабы выбегали с серпами и, покуда стемнеет, косили пойменную траву для коров и телят, что плыли с ними.

Подпоручику Ростовцеву-Марьину с тремя другими офицерами была подорожная в линейный полк. Через день-два предстояло им сходить на берег и добираться дальше с командой на Средней Яик, где значилась линия...

Всякую ночь на том же месте становились эти тени. Мужичий сын был кудрявый, с пробивающейся бородашкой на курносом лице, девка же пермячка. Пермские да вятские татары вовсе были как русская мордва и отличались только разговором. У девки сеялись по носу и щекам рыжие конопушки, а быстрые голубые глаза остро и приглядисто смотрели по сторонам. Тут же великую обманчивую покорность выражали они, как только парень глядел в ее сторону. А ночь напролет стояли они в одном шаге друг против друга и все говорили, понимая как-то один другого.

Кряжистый мужик с дремучей бородой — отец парня — молча смотрел на это, никак не высказывая своего отношения. А мать, маленькая и подвижная, в домотканом платке, уже два или три раза передавала какой-то пирог на татарскую сторону. Там брали и кланялись, угощали в ответ жареным просом в меду. У девки не было родителя: одна лишь мать-старуха да пятеро еще братьев и сестер.

Все тут так жили, как будто уже соседи в городке, что думал ставить купец: бабы одалживались друг у друга, а мужики сидели вместе вечерами, смотрели на широкие закаты. И по всей Волге, где они останавливались, было так. В селениях и городах дома стояли вперемешку: русские, мордовские, чувашские, бог знает еще какие. А на базарах так и вовсе появлялись народы, которых имени даже никто не знал...

«А Русь, как по всему видать, имеет корни в разных народах. Главный из них славянский, а по северу сrostился он с финским племенем, так что язык сделался один и видом уже не разобрать. Отсюда Москва, Ока, Цна да Муром в российском языке. Сюда же и варяжский княжеский корень примешался, поскольку веками ходили через славян, оседали тут да и имя принесли, ибо Русь означает дружину воинскую, сделавшуюся наименованием сему народу. А еще сопрягались с ним печенеги, да половцы, да татары, воевавшие его. Затем и немцы разных земель, что покорялись или шли сюда на службу, и многие прочие другие. Так что даже сейчас этот народ образуется, и в том великая его будущность, что без усилий и спесивости принимает в себя племена и народы, обновляясь всякий раз, богатея телом и духом...»

Так писалось в бумагах у Астафия Матвеевича Коробова, что были сшиты в толстые тетради. Сундук с этими тетрадями да книгами, переданный ему по завету лишившего себя жизни вяземского дворянина, ехал с ним. Всякий день, сидя у кормы под навесом, подпоручик Ростовцев-Марьин доставал и читал их. При каждой тетради на окладке значился год, а всех тетрадей было двадцать четыре, последняя не окончена...

## Пятая глава

### I

Какие же они, русские?.. В прошлой жизни она не предполагала, что есть такие люди, как бы отдельные от прочих. Все везде было одинаково понятно. Если мадемуазель Бабетта учила

ее говорить по-французски, то и это составляло единство. Как и то, что Каролинхен могла говорить по-английски или дядя — епископ Любекский — по-шведски. Также и в России должно было продолжаться такое состояние мира. Замерзающие звуки и вывернутый наизнанку волк представлялись местными особенностями, как круглая колокольня в Штеттине или поющие часы в Гамбурге.

В единый миг все перечеркнул гвардеец с падающим набок волосом. Она поняла это сразу, и не умом даже, а неким чувством, которое помимо ума и всего прочего, чему можно было научиться от опыта и прилежания. Прядь волос трепалась по ветру. Уже потом, продолжая учить язык с Ададуровым, все хотела она найти слово, означающее единственную характеристическую особенность этого народа. Ни по-немецки, ни по-французски такого слова не было...

И еще ветер, подхвативший ее в лесу на границе, что понес с неслышанной скоростью, так что невозможно было перевести дыхание. Дело было не в дополнительных лошадях. Она тогда посмотрела на мать, на девушку Шенк и госпожу Кайен, но ничего не замечали: для них лишь карета доехала побыстрей.

Она же с тех пор непрерывно ощущала этот стремительный полет, которому должна быть цель. Когда-то думала она провидеть будущее на манер колдунов с янтарного берега. Но монах из Менгдена, предсказавший ей корону, был лишь наблюдательным человеком. Ветер был груб и осязаем...

— Раз-два... раз-два-три... пять и шесть, налево!

Упоительно, каждой клеточкой своего тела отдавалась она ритму. Шум скрипок и клавишинов не мешал пленительной точности движений. Тело само находило изгиб и меру, руки обретали небесную плавность. Она летела в танце, и радостно, четко билось сердце...

На ней были специально для того пошитые голубые рейтузы с сапожками и -кавалерская куртка с бранденбургками. Граф Сиверс имел на себе бледно-розовое шелковое платье до полу и с фижмами. На поворотах платье задиралось, и видны становились белые ноги графа с рыжеватым волосом. Всякий вторник проходил часкарад. В который раз уже он предварялся приказом императрицы: кавалеры — в дамском, дамы и девицы — в мужском!

Такое, здесь рассказывают, выделявал великий царь и говорил при этом: «Пусть каждый сиятельный шутом повыглядит, чтобы дурью спесь не плодить!». Однако не затем императрица такое делает. Прекрасные ноги у ней, так что мужской костюм выделяет их стройность. К тому же у других женщин всякий

изъян хорошо виден: кривизна в коленях или чрезмерность в теле...

Она огляделась незаметно. Мужчины, даже и старики, в платьях и русских сарафанах истоиво скакали, уставившись перед собой. Дамы старательно сводили вместе ноги и смотрели ревниво по сторонам. Зато молодые из гвардейцев веселились до упаду, бойко выделявая дамские партии и нарочито вертя бедрами.

Тысячи свечей горели в люстрах и по стенам. Императрица похаживала с разгоряченным лицом, слушая вполуха, что говорил ей мсье Дальон, посланник короля Франции. Он учтиво изгибался, вывертывая плечи, встряхивая головой. Она же без всякой скромности рассматривала костюмы дам, даже пригибалась для того, но каждый раз возвращалась к графу Алексею Григорьевичу. Что венчана с ним она, все знали в подробностях. Граф оставался в своем костюме. Добродушная улыбка не сходила у него с лица, лениво смотрели из-под густых бровей хитрые глаза...

Так же и канцлер стоял в уголке, холодно наблюдая за забавой. Тонкие губы были с надменностью поджаты, и с груди неотступно смотрел на всех великий государь. От этого портрета исходил ветер. Даже пламя свечей было повернуто в одну сторону...

Великий князь выпрыгивал с девицей Карр, с готовностью показывая худые ноги. Кто-то сказал ему, что они у него на еллинский манер, и всякий раз теперь являл он собой Аполлона. Выбрав время, она шепнула, чтобы не открывался столь высоко. Он недовольно фыркнул...

Императрица удалилась с графом Разумовским, за ней и канцлер. Теперь поглядывали на нее с великим князем, чтобы кончить маскарад. Она же не могла приблизиться к мужу в общей толчее, и тут произошло некое событие.

Выделявая па, граф Сиверс наступил на подол своего платья и полетел к полу во весь свой длинный рост, увлекая и ее за собой. При том он головой опрокинул измайловского капитан-поручика, который танцевал с княжной Гагариной. Тот, разъяренный, вскочил и дернул графа за платье. Бросив танцы, они вместе пошли к выходу, за ними побежали другие.

Она прошла коридором в комнату фрейлин, где было окно во двор. Там толпились люди, слышался шум голосов: при падавшем из окон свете дрались кулаками, как сапожники или матросы, граф с гвардейцем. С обеих сторон поддерживали их криками:

— А ну, наддай, Петруха... Сиверсову-шведу!

— Ты под дых его, Карлушка... Вот так!

Голоса были радостные и незлобивые. Потом все перекрыл знакомый бас:

— Будет вам!

Из темноты выступил князь Репнин. Сиверс с гвардейцем нехотя опустили руки, но все стояли боком друг к другу.

— А теперь поцелуйтесь — и делу венец.

Граф с гвардейцем постояли еще какое-то время, шагнули друг к другу, распахнули руки и расцеловались.

— Вот и славно!

Василий Никитич Репнин пошел в залу, остальные за ним...

Теперь она лежала и думала над тем. Делалось нечто непонятное, противное очевидному смыслу. Ветер дул с грозной, пугающей силой. Тут нельзя было оступиться, и она стала отгадывать...

Так произошло с императрицей. У той вспыхивало нечто в глазах, и она начинала ругаться без повода и несправедливо. Вдруг принималась считать ее долги и укоряла, что завела непотребную дружбу с прислугой. Сначала она бралась объяснять, приводила доводы, показывала счета. Но тут-то и раздражалась буря: летело на пол что под рукой, императрица громко кричала русскую многословную брань, а в лице при том выражалось побудительное торжество.

Она стала внимательно наблюдать, как вели себя при таком деле русские. Когда в очередной раз императрица придралась к тому, что много верхом на лошади ездит, она опустила глаза и тихо сказала: «Виновата, матушка!»

Сама не ждала она, что такое произойдет. Императрица, готовая бушевать, осталась с открытым ртом. Даже растерянность была у нее в глазах. Потом молча пошла от нее, а у двери оглянулась с опаской.

И после того императрица бранилась, но только она принимала послушный вид, сразу замолкала. Что-то не понятно русское было в том... Как-то в Царском Селе, гуляя в одиночестве у рва при задних воротах, она услышала женский плач. Подойдя от кустов к кордегардии, она заглянула через открытое окно и увидела вдруг императрицу. Та сидела на дубовой скамье, неприбранная, и что-то рассказывала, горько всхлипывая при этом. Солдат из стариков с пышными усами молча слушал, покачивая головой.

— Ты вот что, Лизавета. Уж за чьи грехи, но бог тебе дитя не дал, потому маешься, — сказал он сурово и вздохнул. — Такова уж доля сиротская, бабе без дитя. Ты лучше выпей, полегчает!

Императрица выпила из кружки, заела хлебом. Такого не разрешил бы себе и младший офицер в Штеттине. А на дню

ее величество по три и четыре раза меняла платье и была портниху, что мало бриллиантов к ним навешивает.

К тому же непонятному относилась и история с Сиверсом. Хоть тот и не говорил еще чисто по-русски, но дрались с ним, считая за своего. С чужим бы шведом или немцем такой бы простоты не допустили...

Все она делала правильно: с великим прилежанием учила язык и так же радиво посещала церковь. Но то была лишь поверхность дела, где-то в глубине таилось сокровенное. В храме она смотрела по сторонам, стараясь добросовестно привести себя к русскому пониманию бога...

О некоей природной русской особенности разговаривал с ней отец Симон Тодорский, бывший сам здесь пришелец.

— Тот граф Сиверс, подобно мне, вовсе уже русским считается. Его признали сразу, только пока кличку «швед» оставили. Не был бы он графом, то стал бы уже Шведовым, а в сыновьях и внуках вовсе бы забыли, откуда явился.— Иерей по своей привычке, утверждая что-то, твердо положил руку на стол.— Нету в русских презрения али высокомерия к иностранцам. Если человек душою честный, то быстро делается своим. Множество тут из немецких земель и Поморья, от шведских да датских командоров, князья от Литвы и цари с Кавказа. Есть даже с черной кожей и именем Ганнибал, артиллерийский генерал, родом от эфиопских владык из четвертого колена Иудова, что от царицы Савской. Он-то Кронштадт строил по повелению царя, а теперь комендантом в Ревеле. Они все уже русские без различия.

И одновременно лишь и разговору, что об иностранцах. Коли об Бироне, то все правда. Но если блудливо да злопакостно шипят из углов, то верно, что своровать чего-то хотят. У русских про то говорят: «Держите вора!»

А что нет в русском характере от Хама идущего человеко-ненавистничества, то лучший пример тому государыня. Не найдешь больше ее герольда русского патриотизма. Только Петр Грюнштейн, саксонский еврей и русский гренадер, внес на руках в Зимний дворец дочь Петра Великого. За что от нее самолично получил генеральский чин и имение почти в тысячу душ — втрое больше прочей лейб-компании.

Она не спрашивала ничего при таких разговорах, только внимательно слушала. Будто отвечая ее мыслям, отец Симон Тодорский с убежденностью сводил большие руки перед грудью:

— Даже и татары, что три века утнели, теперь здесь свои. Вон князья русские оттуда: Юсуповы да Касимовичи. А в мужиках так и понятия нету той ксенофобии. Татаринომ только по исторической памяти величают плохого человека...

Да, это было очевидно. А с Грюнштейном, которого видела

она в казарме Преображенского полка, так из-за другого произошла летом история. На ночной дороге где-то возле Нежина столкнулись его лейб-компанцы с неким Климовичем, оказавшимся женатым на сестрице графа Алексея Григорьевича Разумовского. Говорили здесь, что этот Климович, ехавший от тещи и с женой своей Агафьей Григорьевной, стал кричать, чтобы сошли с дороги и пропустили его, поскольку он родня государыни. Услышавши то, Грюнштейн будто бы ответил, что он головы не жалел для чести государыниной послужить, тогда как Алешка Разумовский из певчих был взят к государыне и каким местом служит при том?

На то Климович продолжал всячески обзывать лейб-компанского командира. Тот поначалу сбил с лошади слугу его, затем усмехнулся и, перекрестившись, самого Климовича сбросил с кареты и бил палкой. А отпустил только после униженной просьбы жены Климовича.

Так про это здесь рассказывали. Однако с дороги Грюнштейн был взят в Тайную канцелярию. Там по всему получилось, что это он напал на Климовича, бил и бесчестил того и даже к матери Разумовских приехал с угрозами. От самого графа Алексея Григорьевича стало известно, что прежде приходил к нему Грюнштейн со своими людьми и грозился, будто убьет генерал-прокурора Трубецкого. Только следователи Ушаков да Александр Шувалов стороной донесли императрице, что приображенцы пришли в волнение. Коль допустить пытку, то может произойти многое. По слову императрицы Петра Грюнштейна с женой и сыном сослали в Устюг, сохранив при том права и имение...

Камердинер Тимофей Евреинов убирал ей волосы. Голова немного болела от вчерашнего маскарада, ласковые движения рук мастера создавали легкий ветерок возле ушей. В зеркале была видна мадемуазель Кошелева, с тяжелым вниманием смотревшая в окно. Две другие ее фрейлины: маленькая Румянцева и младшая Гагарина тихо ссорились между собой то по-французски, то по-русски. Румянцева уже вслух выкрикнула ругательство, которое часто употребляла императрица, выдернула из рук Гагариной коробочку с румянами. Эта живая девочка всегда выходила победительницей. Маленькая Румянцева забиралась к ней в постель и кусала от избытка чувств... Что-то непонятное творилось на половине великого князя. Всегда оттуда исходил какой-нибудь шум. Чаще всего то были команды, что производил тот над куклами и лакеями. Два часа в день отводилось музыке, и сам он истово играл на скрипке, не зная нот. Каждый день бывали там ссоры со слугами и камерпажами, и громче всех слышался его голос. Однако теперь происходило что-то выхо-



дящее из ряда. Дикий утробный вой не останавливался ни на минуту. Камердинер как раз закончил уборку головы, и она пошла на половину мужа...

Даже руки опустились у нее от увиденного. Куклы и ружья валялись в стороне. Там же лежала и скрипка. Посредине комнаты висела подвязанная к крюку собака, и здоровенный лакей размеренно бил ее хлыстом. Великий князь с серьезностью считал удары, отмечая их в особой синей тетради, сделанной для регистрации военных забав. Огромная белая, с черными пятнами собака, которую подарил ему на прошлой неделе английский посланник, была при последнем издыхании. Тоскливый жуткий стон вырывался из ее горла, пена капала на пол, делая кровавую лужу...

— Всякий унтер-офицер или офицер, оставивший пост, подлежит военному суду и казни в течение суток! — закричал ей по-немецки великий князь. В глазах его было торжество.

— Это же... собака! — заметила она, не давая вида чувствам.

Он принялся объяснять ей, что собака произведена в штык-юнкеры, а на сегодняшнюю ночь назначена была в дежурство на гауптвахту, откуда убежала самовольно. Суд был по всем правилам, согласно церемониалу, принятому в прусской, а также голштинской и прочих мировых армиях. Члены суда и он как председатель утвердили приговор...

Она оглянулась. Лакеи в специально сшитой для них форме голштинских офицеров стояли с тупым видом. Шведский драгун Ромберг, учивший князя кавалерийской езде, держал в руке фельдмаршальский жезл. В углу, за поваленными стульями, виднелись пустые бутылки.

— О, я сейчас покажу вам, как это делается... Стройся, на караул!

Лакеи и прочие участники начали становиться в линию. Великий князь, бросив собаку, принялся проверять ровность рядов. Она извинилась и сказала, что у нее болит голова. Муж раздраженно крикнул что-то ей вдогонку. Послышался угодливый лакейский смех...

Она ничего не могла с собой поделать. Слезы текли из глаз, и держать их было невозможно. Это началось с ней через месяц после свадьбы. Всякий раз после ухода мужа что-то поднималось из глубины, прилиvalo к груди, волнующей истомой наполняло тело. Потом начинало гореть лицо, и слезы лились помимо желания. Единственное, что ей удавалось, это плакать беззвучно...

Она не успела обтереть лицо. Мадам Чоглокова, только что назначенная гофмейстерина ее свиты, вошла крупным решительным шагом.

— Вы опять плачете, ваше высочество...

Повисла тишина. Лишь маленькая Румянцева сделала к ней шаг, как бы пытаясь защитить. Она же только молча прижала платочек к глазам.

— Ее величество уже имели повод сказать вам, что плачут в первый же год замужества лишь женщины, не питающие должного чувства к своим мужьям. Вы ежедневно это подтверждаете. Чему же удивляться, если до сих пор не видно результатов совместной жизни вашего высочества с супругом...

— Ах! — она протестующе подняла руки.

— Да, да, сударыня... Подлинно добродетельная, любящая женщина всегда найдет методу добиться от супруга высокого пламени, высекающего искры жизни. Это по вашей вине у России нет наследника престола ее великих государей!

Как уже бывало в таких случаях, она вдруг успокоилась. Удивительно скошен был лоб на красивом лице мадам Чоглоковой, что приходилась родственницей императрице. Весь двор знал об ее необыкновенной и действительной добродетельности, несмотря на молодой возраст и долгое отсутствие мужа, посланного с поручением в Вену...

Мадам Чоглокова ушла. Она встала, спокойным движением достала с приставки книгу с сиреневым переплетом, указала глазами фрейлинам, что станет читать. Все ушли, кроме девицы Кошевой. Было прямо сказано императрицею, что никак нельзя оставаться великой княгине одной даже и при походе в укромное место.

Кошелева смотрела со вниманием в окно. Шестилетняя девочка-калмычка в желтых шароварах, подаренная государыней, примостилась у ног. Она открыла на закладке книгу...

Каменные квадраты укладывались один к другому. С великой страстью и красотой точности занимали они свое место, покрывая мир до горизонта. Малейшей неправильности здесь не было места. Обнаженные, изогнутые в высоком чувстве тела были точно рассчитаны неким строгим, не знающим колебаний расщепом. Белый мрамор светился в навечно застывшем мгновении. Без этого он был бы простым камнем...

Такое видение сразу являлось к ней, как только раскрывала книгу. «Рассуждения о причинах величия и упадка римлян» барона де ла Бред де Секонда, которого назвал ей граф Гилленбург, она читала уже четвертый месяц. Приходили в ум бульжники мостовой в прямых кварталах этого города. Великий царь-строитель утверждал право на вход сего народа в историю. Синее пламя высекали из гранита ряды конной гвардии. Все становилось ясно. Но что тогда этот ветер, который несет ее?..

Так или иначе, она увидела однажды свою звезду в синем полуденном небе.

В положенный час она обедала с великим князем, своим супругом, которого знала еще с детских лет по дому их дяди-епископа Любекского в замке Эйтина. За столом в обеденной зале сидели статс-дама Чоглокова, обергофмейстер великокняжеского двора князь Репнин, а также высокородные дамы и кавалеры. Великий князь громко рассказывал, как много лет тому, будучи еще наследным принцем Гольштейна, по поручению герцога отбил нападение вооруженного отряда на город. Вышло по всему, что знаменитое сражение он выиграл шести лет от роду. Встав от стола, великий князь пошатнулся. Подбежавший камер-паж придал ему равновесие, повел к отдыху...

К вечеру уже она скакала на лошади в манеже у измайловцев вместе с молодой Шуваловой. Слабое солнце золотило мокрый песок. Она научила, сочувствующую ей любезницу-графиню ездить по-мужски. Так сидела когда-то в седле графиня Бентинг. На миг явилась ей Каролинхен. Ноги у той плотно обнимали атласную спину жеребца, гордая порочность светилась во взгляде...

Она оглянулась: из-за решетки кто-то смотрел на нее. Сердце остановилось, потом забилось с необыкновенной частотой. Буйно падающая со лба прядь волос показалась ей. Сделав аллюрный полукруг, она приблизилась к ограде. Между чугунных стрел стоял совсем простой мужик в русском кафтане с широким курносым лицом. Глаза его смело, с интересом смотрели на нее. И крупно вьющийся русый волос свисал почти до половины лица. Она вдруг улыбнулась ему. И он улыбнулся широко, открыто...

Графиня Шувалова рассказывала ей что-то: смешливо кривила при том личико, точь-в-точь повторяя голос и манеры статс-дамы. Потом предложила, что расскажет императрице о грубости, допускаемой к ней при людях. Она только улыбалась в ответ...

Так улыбалась она потом и Чоглоковой, играя с ней и великим князем в фараон. Четвертым был князь Репнин. Чоглокова резко прибирала к себе деньги, опуская их в сумку под стол. Лишь один раз статс-дама с удивлением посмотрела на нее, но тут же отвлеклась расчетом дежурной ставки. Выигрывая, Чоглокова делалась добрее, а лицо покрывалось будто маслом...

И вечером в театре ей не скучно было рядом с великим князем слушать музыку. Два раза ловила она на себе беспокойный взгляд императрицы и все улыбалась...

## II

Канцлер российский Бестужев-Рюмин делал выговор своему доверенному чиновнику. Тот дал в переписку бумагу, коей быть надлежало лишь в одном списке. Дело сие семейное, однако

могут произойти движения в Европе, коли известной станет его суть.

Он самолично разорвал другой список и бросил в топку для бумаг. Свой же перечел еще раз. В самый день случившегося скандала было высочайше поручено ему составить правила для знатной дамы, призванной состоять при ея высочестве великой княгине, новообращенной Екатерине Алексеевне. Первым пунктом разумелось усердие к православной вере. Но то лишь оболочка дела, а суть в том, каковы влияния могут быть на наследника через жену его из Европы. Поскольку отец у нее прусский фельдмаршал, а мать так и вовсе доверенный агент у недругов России, то можно ли допустить для нее почтовое прямое общение? Оттого присутствует здесь пункт: «куда бы ни направилась Ея Высочество, неукоснимо за нею следовать, пресекая всякую фамильярность с дамами и кавалерами, с пажами, слугами и лакеями, особо наблюдая, чтобы не допускали смелости на ухо что-то шептать, письма, цедульки или книги тайно отдавать». Письма же к именинам родительским и рождеству ее высочество обязана только через коллегия иностранных дел сочинять, а к себе лишь может приказать на подписание их приносить.

Такое наблюдение натурально ведется и за великим князем, да у того все на языке прежде, чем делать что-то приступит. С ним проще: свое родное голштинское откровенно выше русского ставит, рожи корчит при церковной службе, вином людей обливает. Однако все это значения не имеет. При правильном направлении дел столь простой умом государь будет к месту. И не такие на российском корабле плыли, и все равно шел.

Здесь же и сказать верно ничего нельзя. С радивостью русский язык учит великая княгиня, посты и говения без пропусков исполняет, благосклонна даже и к прислуге. Но не оказалось бы такое поведение одним расчетом. При пустом муже любомудрая жена может даже всю политику-переселить. Он хоть и грубит ей, а всякую минуту к ней же и прибегает.

Так что правила эти прямую государственную пользу в виду имеют. Но к тому еще особый интерес составляет главный пункт, самолично истолкованный государыней. Поскольку самой великой княгине велено его вслух прочесть, то все совершенство стиля пришлось государыне сюда привлечь... «И понеже при том Ея императорское Высочество достойною супругою дражайшего нашего племянника, Его императорского Высочества великого князя и наследника империи избрана, и она в нынешнее достоинство императорского высочества не в каком ином виде и надеянии возвышена, как токмо дабы Ея императорское Высочество своим благоразумием, разумом и добродетельми Его императорское Высочество к искренней любви побуждать, сердце

его к себе привлечь и тем империи пожеланный наследник и отрасль нашего всевысочайшего императорского дома получена быть могла; а сего без основания взаимной истинной любви и брачной откровенности, а именно без совершенного нраву его угождения, ожидать нельзя: того ради мы к Ея императорскому Высочеству всемилостивейшее надеяние имеем, что она в том рассуждении, что собственное ея счастье и благополучие от того зависят, наилучшее угождение и все возможные способы яще употреблять не преминет...»

Только не там государыня ищет, где истина спрятана. Сия цербстская дочь свою пользу преотлично знает, так что и к великому князю со всей возможной ласковостью обращается. К тому и немецкая твердая порядочность в крови у ней по отцовской, видать, линии. От того и с этой стороны никакого изъяну не наблюдается в поведении. Напрасно государыня велела вдруг лейб-компанских камер-пажей отстранить от молодого двора, поскольку ничего там и не было, одни сплетни. Тут сердце взаперти держится, и тем опаснее может впереди оказаться.

Также и в скандале, что произошел, показана была от великой княгини добрая порядочность и скромность. Его высочество коловоротом просверлил от себя отверстие к тетке и наблюдал, как императрица обедает с графом Разумовским. Добро бы еще сам, так он кавалеров и фрейлин своего двора пригласил смотреть. Одна великая княгиня отказалась от такого кощунства.

Ее императорское величество только что за волосы не таскала своего именитого племянника. Должно быть, не только обед можно было увидеть в ту дырку. К тому же не один граф Алексей Григорьевич, а кто-то другой мог там случаем оказаться. Сказывают нечто уже о молодом Иване Ивановиче Шувалове. Поэтому всем досталось от красавицы государыни, лишь великая княгиня оказалась чистой...

А что ежели и впрямь здесь откровенность чувств? Расчет и порядок при том лишь помогают делу. Только как все это придется к русскому двору?

### III

Шум да ругательства разбудили подпоручика Ростовцева-Марына. Одевшись и пристегнув саблю, он вышел в ночь. Три дома тут стояло и вышка из жердей. Вокруг еще насыпан вал. На тридцать или сорок верст один от другого стояли такие посты.

В неверном свете горящей на палке пакли качались людские и конские тени. Пока что-то выяснилось, пришло утро. Пятеро сидели связанные посредине двора: двое бородатых русских казаков, татарин с бритой головой, одноглазый киргиз и какой-то

человек непонятного виду в солдатской куртке. Татарин кричал пронзительно и все ругался по-русски, по-татарски, как-то еще. В стороне, у караульного дома, жались к стенке девочки в киргизском платье. В черных глазах их стоял испуг.

Оказалось, драгунский пикет на линии перенял жигарей, что возвращались с добычей. Несмирные киргизы да хивинцы приходили на эту сторону, уволокивали людишек без разбору и продавали потом дальше в Персию. А к ним тоже ходили на промысел всякие люди. Жигари так тем и занимались: подплавляли киргизское кочевье и тащили что придется. Этих пятерых приметили, когда уже возвращались из степи. Скота или лошадей они с собой не имели, но везли в одеялах четырех девок-киргизок.

Татарин все кричал.

— Чего это он? — спросил у толмача-ногайца бывший с драгунами офицер.

— Говорит: дьявол-мырза разрешил!

— Какой дьявол-мырза? — удивился офицер.

— Тевкелев-генерал. Так его здесь зовут.

— Что же, генерал Тевкелев позволил по степи разбойничать? — вскричал офицер.

Толмач посмотрел на него с недоумением, развел руки.

— Разбойничать не разрешал. Девка разрешал возить — деньга платить!

Пришел старый вахмистр, ведущий тут канцелярию, и все прояснилось. Еще от Анны Иоанновны — царицы — было указано: для того-де, чтобы приспособить к постоянному житью при заводах и рудниках присланных в работы мужиков, разрешено покупать для них в России души женского полу. Также кто из охочих людей найдет и представит девку-сироту из инородцев, чтобы без изъяна была и не меньше пятнадцати лет, то выдать ему от казны пятнадцать рублей серебром.

— Как же узнать, подлинная сирота та девка или имеет кого из родных? — не унимался офицер.

— Трое для того должны свидетельствовать, и чтобы кто-то от инородцев, — равнодушно пояснил вахмистр.

Офицер оглянулся на одноглазого киргиза. Тот сидел неподвижно, вроде бы спал. Казаки тоже спокойно ожидали конца дела. Их развязали, и они теперь ели деревянными ложками муку-толкан, запаренную кипятком.

— Не тревожься, барин, они теперь уж точно сироты! — усмехнувшись, сказал молодой казак со шрамом возле уха, кивнув на киргизок.

— Все бы так, да только как на ту сторону пойдут, то отсюда, глядишь, русских на продажу прихватят! — пробурчал вахмистр.

— Она смешливая, да такая быстрая. Вроде даже бы и не принцесса. Когда в горелки играли, так скорее всех бегала. Схватит и тут же засмеется, отпустит...

Ростовцев-Марьин слушал, лишившись языка. Драгунский офицер ел сушенную на солнце рыбу, отрывая полоски ее крепкими белыми зубами, и рассказывал.

— Нас, братьев Чернышевых, как лейб-компанских детей, назначили к их высочествам. Камер-пажами это называется. Вроде бы слуги, однако больше для забавы. Великий князь, тот без смысла, больше солдатами нас обряжал да командовал по-немецки. У него еще тряпичных солдат — три сундука. А как ухватит, зло так щиплет, даже синяки на том месте делаются. Только великая княгиня и его развеселит. Так бывало пускались, что до самой государыни шум доходил!

— А какие у ней глаза? — тихо спросил Ростовцев-Марьин.

— У кого? — не понял офицер.

— У великой княгини.

— Обыкновенные глаза, как у всех, — офицер с удивлением посмотрел на него.

— Что ж потом случилось?

Тот нахмурился, подергал рыжие волосы над губой, махнул рукой:

— А в один день вдруг нас забрали, и под арест. Все спрашивали, не было ли чего особого от ее высочества к брату двоюродному Андрею. Ничего там и не было, одна игра. Великая княгиня такая, что и тени не позволит на себя упасть, а не то чтобы что. И ко всякому русскому очень привержена: все по-русски с нами училась говорить, и в церкви ни одной службы не пропустит. За то великий князь ее корил: мол, глупость все то одна. Ну, а с нами как получилось, то это противники есть у ее высочества. — Офицер наклонился к нему, заговорил тихо. — Канцлер главный Бестужев-Рюмин не желает ее в принцессах русских видеть. Говорят на нее каждый день всякое государыне. А она верная и дружбу почитает. В слободку, где под арестом мы содержались, сама даже тайно приезжала. Денег дала и еще кое-чем помогла. Гнева государынина не убоялась... А нас после того сюда, в киргизскую украину!

К обеду драгуны с жигарями вместе отправились дальше. Те уже ехали вольно. Четырех девок киргизских везли в одеялах...

Подпоручик Ростовцев-Марьин стоял на валу и смотрел им вслед, пока не скрылись в горячей мгле. Когда не стало ничего уже видно, он посмотрел с вала вниз. От текущей в полуверсте речки вверх к посту лепились строения: корявые русские избы с озерным камышом вместо соломы на крышах, татарские ма-

занки, киргизские да башкирские юрты, какие-то шалаши. Некоторые дворы были огорожены, и росло там уже три-четыре деревца. У речки виднелись огороды, желтел хлебный клин. За речкой паслись коровы...

Он сошел тропинкой с вала, пошел к речке. От улицы дома загорожены были плетнями из ивняка, камышом. Во дворах одинаково сушились круги кизяка. Женщины поглядывали на него из-под опущенных на лоб платков, и трудно было увидеть, русские то или какие другие лица. Наверно, и тут мужикам привозили жен по пятнадцати рублей...

Все смешалось у него в голове: принцесса с золотыми глазами, явившаяся в снежном лесу, вдруг бегала в горелки и звонко кричала по-русски. На плывущем корабле за бочками все то же говорили парень с татарской девкой. Свистели в ночи жигари, промышляя людей на обе стороны. Лепились к постам дворы, и не разобрать уже было, какой народ там живет...

Ростовцев-Марьин тронул свой лоб, горячий от солнца, и вспомнил, что забыл надеть шапку. Сухой жесткий ветер трепал волосы, набрасывая их на глаза. Что же, про это самое у вяземского дворянина Астафия Коробова в записках говорится... «И то Руси историей приказано: быть объединительницей народов, но только муза сия не пасторали сочиняет, а в кровавой росе лик свой являет человечеству. Не напрасно она женского роду. Евино проклятие на ней, и в муках рождает назначенный плод...»

Подпоручик Ростовцев-Марьин задумчиво стоял у берега. К началу лета речка пересохла и сейчас тянулась через степь обособленными мутными озерцами. Домашние утки вперемешку с дикими плавали по открытой воде...

## Шестая глава

### I

Опять она мучительно провела ночь. Всякий раз это происходило, когда являлся к ней с вечера великий князь. Он отрывисто говорил что-то, подрагивал ногой. Потом начинал жаться к ней влажным телом, мелко дрожал, всхлипывал. Она делала все, чтобы ему было удобно, лишь говорить с ним не могла. Потом он сразу вдруг успокаивался, поджимал худые колени под подбородок и засыпал, обмачивая губами край подушки...

Она привыкла к тому, но долго не могла заснуть: опускала ноги к полу, открывалась вся, охлаждая горевшее тело. Сладкая горечь стояла во рту и никак не успокаивалась грудь. Едва впадала она в сон, как подхватывали ее незримые руки, несли между присыпанных снегом ветвей. Даже дыхание чье-то слы-



шала она у своего лица, все ближе было оно... Она просыпалась и беззвучно плакала...

Великий князь, как обыкновенно, убежал среди ночи. Она смотрела через прикрытые веки, как он с виноватой блудливостью оглядывался, щел от нее, высоко поднимая голые ноги. Она лишь так заставляла себя внутри называть его: «Великий князь». В том была ее звезда.

К утру она заснула и пробудилась точно в назначенный час. Волосы ей прибирал Шкурин взамен отнятого у ней Евреинова. То был болезненный удар, когда отстранили от нее верного камердинера. Так делалось всякий раз: как только привыкала она к кому-то, сразу следовала замена. И не императрица, как видно, была причиной, а человек с тонкими губами и портретом великого царя на груди...

Долго ждали к завтраку великого князя, что возился со своими собаками. Воротившийся из Вены Чоглоков сидел на месте князя Репнина. Важное, полнокровное лицо его с выкаченными глазами не допускало улыбки. Он поочередно рассматривал фрейлин, а боготворившая мужа мадам Чоглокова млеяла вся рядом, не отрываясь от него, как от солнца. Камергеры при великом князе — оба Салтыковы да Лев Нарышкин — сидели при его месте справа. Юный Нарышкин скорчил несусветную рожу, и она рассмеялась. Чоглокова оторвалась от мужа и строго посмотрела на нее...

А после завтрака произошла неприятность. Мадам Чоглокова, со значительностью поджав губы, пригласила ее пройти назад в свои комнаты. Муж ее, тайный советник и гофмейстер Чоглоков, в свою очередь, повел к себе великого князя. Неизвестный ей седой человек с белыми ухоженными руками ждал ее прямо в спальнной зале. Тут же находилась и высокая женщина с живыми глазами и туго прикрученными бровями на голове.

— Во исполнение высочайшей воли особый врач сделает вам осмотр! — коротко объявила ей мадам Чоглокова.

И в прошлый, и в позапрошлый год все был о том разговор. Императрица уже прямо допрашивала ее, как подробно происходит у ней все с великим князем. Блестя глазами, давала ей стыдные советы: «Ты его, лапочку, понуждай... Чтобы кровь у него погорячала!»

— О, вашему высочеству это не причинит особого беспокойства!

Французский врач смотрел ее с ловкой галантностью, занимая разговором. Придворная повитуха молчала, но руки внимательно и бесстыдно ощупывали тело, далитую грудь. Потом улыбнулась ей ободряюще:

— Здорова ты, государыня!

Будто на некий выступ теперь наткнулась она. Такое случилось когда-то: каретные сани задели в полете за край избы. Она впервые ехала тогда с матерью в Москву. Бревна тут же растащили, и сани полетели дальше...

Она приказала себе не терять спокойной ровности. Великий князь, точно пудель, все отряхивался после тайного врачебного осмотра. Взяв его за руку, она стала ходить по комнатам взад и вперед. Тот уже через минуту засиял, стал рассказывать, как в подаренном ему Ораниенбауме построят особый капуцинский монастырь и вместе со всем двором и с ней будут они ходить, как монахи, в сандалиях. Ездить станут на ослух, доить коров, играть на рожке.

Тут он увидел в окно принцессу Курляндскую, взятую ко двору дочь ссыльного Бирона, и, оставив разговор на полуслове, побежал к ней. На прошлой неделе он сказал, что любит принцессу, и советовался, как лучше расставить сети, чтобы заполучить желаемое. Хитрая мышка почувала, что многое может извлечь от такой дружбы, и своей убогой милотливостью пленяла сего дурачка...

И сразу в другой мир перешла она. В невероятной связи гремели там речи Цицерона, лезли на стены Иерусалима рыцари с пламенными лицами, с насмешливой доказательностью обнажалось несовершенство человеческих обществ. Бесстыдные тайности совершались здесь прямо, с влекущей простотой. К платью был сделан карман для книги, и доставать ее можно было в начале и в середине дня, как придется...

Возвращаясь назад из этого призрачного и вместе реального мира, она с хозяйственной внимательностью осматривала комод и раскладной стол с амурами на боках, купленный на мебельном дворе штеттинского немца Шварца. Чтобы не возить по здешнему обычаю из зимнего дворца в летний, а также в Ораниенбаум или Петергоф мебель с зеркалами и посудой, она наметила постепенно обставить там и здесь свои комнаты постоянной мебелью. Так ничего не ломалось от перевозки, и выходило дешевле.

Покупкой она осталась довольна. Стол был сделан на французский манер и хорошо пришелся к их общей с великим князем гостиной зале. Добротный немецкий комод она поставила в спальней.

Затем она рассматривала две прекрасные материи, присланные матерью из Парижа. С ней смотрели фрейлины и весь ее двор. Не было лишь Чоглоковой. Налюбовавшись, она объявила, что оба этих куска лично поднесет ее величеству. После чего

свернула их и отдала камердинеру со строгим приказом никому не проговориться о том...

В обед все еще не было мадам Чоглоковой, которая утром ушла с врачами к императрице. Она явилась только ко второй перемене блюд, и с ней младший Салтыков, чем-то озабоченный.

Чоглокова сидела с тем же значительным видом. Лев Нарышкин сделал женское лицо без всякой мысли, напустил на него важность, даже лоб как-то немислимо скосил. До того похоже все получилось, что пришлось наклониться к тарелке, чтобы удержать смех. И вдруг она встретила чей-то особенный внимательный взгляд. То был младший Салтыков...

Некая молния пробежала в ней. Смутное ночное томление вернулось на миг, чуть даже закружилась голова. Щеки тоже горели...

Еще раз за обедом она посмотрела в его сторону. Салтыков улыбнулся ей глазами, чуть кивнул. Обычно безразличное, красивое лицо его приглашающе открылось ей навстречу. Она невольно оглянулась на Чоглокову. Та сидела с прежним видом. Великий князь громко ругал за что-то лакея, размахивая локтем...

Будто укрываясь от невидимого ветра, потянула она книгу из кармана. И снова проявился мир в обязательном единстве. История римлян становилась первоосновой. Плотно пригнанные каменные квадраты знаменовали незыблемый порядок. Разум и чувства могли явиться лишь внутри их четких граней. «Всеобщая история Германии» отца Барра подтверждала правило. Варварство послушно укладывалось в уготованные формы. Возникал Штеттин, и Цербст, и Эйтин с прямоугольной похожестью улиц, домов, вытянутых к небу храмов.

Пьянящее солнце согрело камень у некоего маркиза. В ряд шли порочная и прекрасная наваррская королева, поединки, Гизы и герцог Орлеанский. Кавалеры умирали с шуткой на устах, а дамы с той же дерзостью награждали их за храбрость. Тут же явилась спрятанная на самое дно ящика в шкафу книга ночных сновидений. Пастушок Дафнис обнимал подругу свою Хлою, не ведая, что есть тому реальное продолжение. Милосердная соседка обучала его сему сладостному искусству, которое на всякой странице было с великим тщанием изображено художником. Также и Селадон не смотрел в сторону трех голых нимф, что каждая в своей позе ждали от него награды. Все тут, даже вера, так или иначе не выходило за грань квадрата, который угадывала она еще в Цербсте, познавая вместе с мадемуазель Кардель благородного Расина...

Наваррский герой из всех влек ее. Париж стоил мессы, и оттого громко стучало у ней сердце. Полнокровность чувства по своему желанию устанавливала общее счастье и справедливость. Сила воли, соединенная с просвещенной властью, устраивала будущее...

Особенный французский словарь подтверждал, что как кометы не предвещают людям несчастья, так и на веру надлежит лишь опереться для достижения благой цели. Также и описавший римлян барон де ла Бред де Секонда, чье имя Монтескье, утверждал материального человека в середине мироздания. А известный господин Вольтер, числившийся почетно в Российской академии, вовсе отвергал бессмертную душу у человека...

Тому противоречили письма к своим детям мадам Савиньи, чье совершенство чувств не могло исчезнуть из мира. И еще... еще некий ветер, о котором ничего не упоминалось у господина Вольтера...

Мадам Чоглокова говорила с доверительностью... О, то от бога драгоценный дар — порядочность у женщины. Ей самой он в том не отказал и наградил по заслуге, поскольку и муж ее Чоглоков высокими достоинствами отмечен, и от государыни к ней доверие. Святыню брака следует блюсти неукоснительно, однако же не своей только воле подчинен человек. И бывает обязанность, как у Юдифи, идущей в шатер к Олоферну для высшей цели...

Она слушала и думала о том, к чему вдруг такой разговор. От себя Чоглокова не в силах была что-нибудь придумать. Какую-то ловушку снова строят здесь для нее...

Вызванный парикмахер мсье Лакри обычно помогал ей подготовиться к балу, но сегодня она все делала себе сама. Лиф был на ней из белого гродетуру, что яснее выделяло воздушность талии, и юбка из той же материи. Темные густые волосы она зачесала назад и перевязала красной лентой, так что образовался «лисий хвост». На голову приколола большой розан и такой же еще — к корсету. Шею у ней обвевал невесомый газовый шарф, манжеты и передник были из того же газу. Почему-то все делала она сегодня с одухотворенностью...

И свечи сияли в зале ярче обычного.

— Какая простота, боже!.. Но почему нет мушки?

Императрица достала из пояса собственную коробочку с мушками, выбрала одну и прилепила ей повыше губы. Дамы, тесня друг друга, высказывали свое восхищение. По блеску в их глазах можно было видеть, что это правда. Она кружилась в

танце, видя при пересмене то одно, то другое лицо, и все искала кого-то взглядом...

Лишь в перерыве она ненадолго вышла из своего необыкновенного состояния. Великий князь, будто потерявшая опору лошадь, стоял, расставив ноги, с посланником от венского двора. Лицо у него еще больше удлинилось, подбородок кривился в капризном недоумении. Так всегда происходило, когда надо было решать нечто серьезное. Она знала, о чем речь...

Еще и прямым государем Гольштейна состоял великий князь после того, как дядя — епископ Любекский — сделался с помощью российской императрицы наследником шведской короны. Только без присмотра там такие совершались дела, что уже и копейки не осталось в казне, чтобы платить сторожу у маяка. Она сама со счетами в руках сидела вместе с прибывшим оттуда министром Пехлином. Тот, маленький, жирный, с умными глазами, молчал при великом князе, ей же говорил всю правду. Императрица дала некую сумму денег, чтобы поправить голштинские дела, но великий князь их пустил на свои какие-то бессмысленные нужды. Четвертый год всё длилась негоция: променять Гольштейн на Ольденбург. Великому князю рассыпали приманки, и он уже клонился к обмену.

Да только не просто все было. То справедливо, что прибыль Ольденбург даст большую, и о долгах не придется думать. Но карта, взятая от академии, стояла у ней перед глазами. Ольденбург там был на другом краю, где-то в середине Ганновера. А Гольштейн лежал проходною дорогою от моря к морю, и в случае нужды Кильская гавань очень будет России к пользе как против шведов, так и в ущерб Дании. Для чего-то как раз Гольштейн из всей Германии избрал великий царь, чтобы отдать туда замуж свою дочь...

Она подошла к австрийскому посланнику и, согнав улыбку с лица, спросила прямо:

— Вы, любезный граф, как близкий друг, сами скажите: есть ли мотив будущему императору российскому к такому обмену?

Посланник тоже сделался серьезным, наклонил седеющую голову:

— Как полномочный посол, я не имею по этому поводу каких-либо предписаний от своего правительства, как граф Бернис скажу откровенно, что вы правы.

Отходя и снова уже улыбаясь, она слышала, как посланник говорил великому князю:

— Вашему высочеству могу одно лишь советовать, слушайтесь своей супруги. Она здраво о том судит...

Вдруг догадавшись, кого весь вечер ищет глазами, она осталась посредине зала. Все лицо у нее горело. Следовало

обдумать происходящее с ней. Она пошла в сторону, остановилась одна возле колонны. К ней шла императрица и еще издали сказала:

— Благодарю вас, милая, за прекрасную материю. Розовая превосходно пойдет мне. Но голубую я отослала вам назад. Жестоко будет лишать моего племянника увидеть свою жену в обворожительном платье, какое может из нее получиться!..

От императрицы пахло анжуйским вином, а она ничего не понимала. Про что бы это могла идти речь? Она присела плавно и вдруг вспомнила. Это же про материи, которые хотела подарить императрице. И камердинера предупреждала, чтобы молчал!..

С неким яростным спокойствием ждала она конца бала. При разезде только спросила Чоглокову, откуда принесли материю к императрице. Та сказала, что сделала это сама, поскольку шла к ее величеству. А так как знала от камердинера Шкурина, что материя назначена в подарок императрице, то и взяла ее с собой. Чоглокова благодушно повела рукой:

— Государыня соизволила возратить вашему высочеству один кусок с самыми добрыми пожеланиями!

Она кивнула в ответ на поклон статс-дамы, твердым шагом прошла в конец коридора, где жили слуги, позвала Шкурина. Тот вышел, остановился с испуганным видом. Изо всей силы она хлопнула его сначала по одной, потом по другой щеке:

— А на следующий раз, коли не выполнишь мой приказ и станешь болтать без разрешения, то велю отодрать тебя на конюшне!..

Сделав это, она прошла к себе, бросила ногой пухетку, посмотрела в зеркало. Даже рот открылся у нее от неожиданности. Прядь волос выбилась из-под развязавшейся ленты и падала на сторону. В глазах стояло спокойное бешенство!..

## II

Вчера сделалось известно о разговоре их высочеств с неким послом. Прямо и недвоягласно было подтверждено мнение великой княгини, что к пользе императорской российской не менять Голштинию на какую другую марку. То по его настоятельному совету государыня доверила великому князю распоряжаться родительским наследством без всякого вмешательства императорского двора. Как лакмусовая бумага этот выбор выявляет, какой интерес ближе каждому из их высочеств: русский или другой. Правда, что у каждого вопроса есть и обратная сторона. Вот она где Голштиния, да при том в постоянной ссоре с соседями. Коли разброситься по разным концам Европы да лезть всякий раз для того в войну, то и России может не хватить. А к тому же невозможно быть русской Голштинии, так что и

не должно тут видеть державного интересу. То лишь ценно, что прямо примыкает к границам империи, остальное можно и уступить. Но делать такое следует ко времени.

А что великая княгиня с такой ревностью блюдет российский интерес, это хорошо. Пока если не видит далеко, так научится. Главное — то здание продолжать строить, что заложил великий государь. Сия цербстская отрасль годится, как видно, к русской службе...

Великий канцлер был в хорошем настроении. Макнув перо в чернила, он приступил писать заключение «О состоянии русских дел в прочих державах и по границам империи». Первая срочность была оттого, что умер шведский король. Держава сия, что каменной пробкой затыкала русский выход к прочему миру, была выбита великим государем. Однако же последняя война подтвердила, какова угроза еще может исходить оттуда. Сама шведская прыткость достаточно укорочена теперь в Финляндии, да за спиной у них много всего. Франция так прямо здесь свою партию имеет. Даже называют они себя «шляпы», поскольку французскую моду в одежде блюдут. Упование версальского двора на то, что опять сможет шведский король на манер Карла Двенадцатого не слушать парламента. Куда как опасней станет усиленная единством власти Швеция для российского интересу. Потому следует императрице всеми способами поддерживать там парламента. А наипаче его патриотическую часть, кои в противовес «шляпам» числят себя «колпаками» и противятся королевскому самодержавию.

То весьма полезно, что королем шведским сделался теперь связанный прямым родством с русским двором прежний голштинский правитель, который приходится дядей сразу великому князю и княгине. Судя по донесению посланника Никиты Панина, новый король не имеет малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие получает в солдатских обрядах. Забавляется ими всякий день с полудня до вечера. Как видно, это природная голштинская страсть — играть в войну с куклами. Граф Никита Иванович так и пишет: «Я говорю — забавляется — для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет. Так что смело сказать возможно, что сей государь своею персоною не будет страшным соседом».

Все бы хорошо, да только женой у сего монарха сестрица прусского короля. Тот не с куклами играет...

Из стопы документов канцлер взял прошлую еще промеморию к венскому двору, принялся переписывать в доклад: «Никак понять не можно, для чего б король прусский в такое время,

когда вся Европа вожделенным покоем паки пользуется и ничего неприятельского опасаться не имеет, такие великие военные приготовления, сильные рекрутские наборы, знатное умножение своей армии предпринимает... Легко понять можно, что ежели бы Швеции с помощью Пруссии введение самодержавства удалось, то бы она тогда с Франциею и Пруссиею в главных делах весьма великую инфлуенцию получила вместо того, что Швеция при нынешней форме правительства всегда связанными руки имеет и за весьма слабое и негодное орудие ее союзников признаваема быть может».

Он всегда так делал: из прошлых бумаг переписывал неизменяемую суть, добавляя новые примеры. А с Пруссией, как и раньше с Францией, вовсе порваны теперь все дела. Король Фридрих не оставил надежду взять себе от шведов Померанию, расплатившись русской Лифляндией да Эстляндией. На другую от себя сторону он прямо грозит Саксонии, чей двор единый с Польским королевством, а слабая Австрия никак не сможет сама противостоять этому умному и нещепетильному королю.

Король же прусский настолько в силе себя почувствовал, что уже посла российского Гросса перестал к себе допускать наравне с другими. Дело к тому пришло, что когда приглашенный Петербургскою Академиею некий астроном собрался с отъездом, то был взят под арест. В вину ему поставлено, что, отправив часть имущества в Россию, послал туда и карты прусские провинций. Также и господину профессору Эйлеру, знаменитому в целом мире, тайно было сказано не возвращаться в Россию. Запрет на возвращение под угрозой военного суда сделан даже остзейским дворянам на прусской службе — прямым российским подданным. Дело тут может кончиться лишь решительным действием...

Далее шли дела польские... «Государство, устройство которого таково, что добро находит всегда препятствия, а зло никогда не может быть отвращено, напоследок должно само собою разложиться. На таком гибельном пути находится теперь и Польская республика: ее вольность представляет только способ, которым враги ее пользуются, чтоб препятствовать всему для нее выгодному и полезному». Эти слова особо у него записаны, и в том Брюль, кабинет-министр польско-саксонский, свою правду разумеет. Соединенный трон лишь в Саксонии какую-то значимость имеет, а для Польши все заключено в сейме. По вздорности характера поляки к такому абсурду любимую свою вольность привели, что если один пан скажет «нет!», то вся Польша ничего не может сделать. Сей постулат 'Libegum veto' никак не даст этому горделивому народу рогов для бодания, что непременно к пользе российской. Не очень давно еще они и в Москву забирались.



Посему надлежит новому посланнику российскому Гроссу, только что передвинутому туда из Пруссии, всеми силами не допускать уничтожения сего 'Libertum veto'. Король Август, хоть и русской поддержке обязан у себя на троне, тем не менее пусть остается в прежнем своем положении. А что там партии обозначаются, то поддерживать из них «фамилию», как зовут князей Чарторыйских, вместе с родственными ей Понятовскими. Поскольку выбрали себе российскую опору, то всячески обнадеживать их, в том числе и деньгами. Тому же коронному канцлеру Чарторыйскому следует пожаловать один орден святого Андрея, тогда как брату его — канцлеру литовскому — пенсию в несколько тысяч рублей, поскольку обременен многочисленным семейством.

На предстоящем же сейме, коли удастся его собрать, все непременно домогаться, чтоб признание императорского титула русских государей внесено было в их конституцию. Если будут затруднения относительно слова «всероссийская», то можно предложить, что императрица довольна будет и старым титулом: всея Великие и Малые и Белые России...

И в делах турецких та же обязательная преемственность от Петра-Великого. По смерти Адриана Неплюева там — поверенный секунд-майор Обрезков, который десять лет при Неплюеве в помощниках ходил, и все тамошние дела коротко ему известны. От него сообщение, что имел конференцию с великим визирем. Тот объявил, что миролюбивые чувства султана величества уже каждому известны: его величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицею всероссийскою; но, к сожалению, усматривается, что между запорожскими казаками и подданными ему татарами день ото дня распри умножаются и казаки татарам несносные наглости и обиды делают.

Обрезков всеестественно отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан, а он как российский поверенный еще прошлой осенью подал блистательной Порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами в русской Украине.

Там, в Константинополе, некая пуповина древняя, что связывала еще младенческую Русь с цивилизацией. До срока была перерезана она неверными, и потому так трудны были здесь государственные роды. Все больше и будет перемещаться туда тяжесть российской политики, поскольку в наследство ей досталось соединять Восток с Западом. Серп цареградский на русских крестах.

Посему надлежит указать российскому поверенному, чтобы

внушил турецким министрам не чинить войны с грузинцами: пусть все происходит там по своей воле. Также пусть настоятельно советует не мешаться в персидские дела. После смерти Надир-шаха там не кончатся раздоры, а Порта все норовит во вред России выйти к Каспийскому морю. К тому же о консуле русском в Крыму надо вести разговор, а от татар пусть присутствует такой человек при кошевой канцелярии у запорожцев. Быстрее от того станут разрешаться споры. Сейчас, в виду столь вредительских действий со стороны прусского короля, никакого нет резону обострять отношения с султаном...

Проходя в присутственную залу к императрице, канцлер Бестужев-Рюмин увидел великую княгиню, что со своими дамами шла от обедни из дворцовой церкви. У нее был торжественно-сосредоточенный вид, но как всегда со спокойной приветливостью ответила на его поклон. И вдруг он почувствовал, как некий мускул сам собой ослабляется в его лице.

— Добрый тебе день, Алексей Петрович! — сказала по-русски великая княгиня.

— И тебе желаю добра и здоровья, ваше высочество! — ответил он с серьезностью.

### III

«Муза сия в кровавой росе лик свой являет человечеству»...

Наяву увидел это поручик Ростовцев-Марьин. Рота солдат была прислана к посту из Оренбурга от генерал-губернатора Неплюева. И еще двести ставропольских калмыков от заместника Дундук-Даши, что смертельно враждовал с киргиз-кайсаками. Подкрепления были выставлены по всей линии, чтобы перенимать мятежных башкирцев. А управлял тут всем генерал Тевкелев, которого звали здесь «дьявол-мырза».

Все придумал этот генерал, сам татарского рода. От некоего знатного магометанского лица в Оренбурге было послано письмо к киргиз-кайсацким старшинам, что радостно видеть ему желание умереть за веру, да только башкирцы. — народ ненадежный и вероломный. Первою жертвой их как раз и могут сделаться киргиз-кайсаки, если присоединятся к ним в состоявшемся мятеже. К башкирцам же этим лицом было писано, чтобы прекратили бунтовать и молились богу, в чем им не будет чиниться препятствий. Те не послушались и, пока пришли войска, многие русские, мерещьяцкие да татар-тептярей селения пожгли...

За три дня перед тем по всему северу засветилось зарево. Оно росло, делалось выше, стало видно уже и днем. Горячая пыль, что постоянно висела в здешнем небе, окрасилась в розовый цвет. Горели леса попеременно со степью. Солдаты ждали на валу, калмыки неподвижно сидели внизу, не отпуская с поводка коней.

На четвертый день небо потемнело, стал слышен гром. Раздался он в одинаковые промежутки времени. Солдаты с заряженными ружьями переступали с ноги на ногу, вздыхали.

— Пушки! — тихо сказал кто-то.

И тут послышался крик: пронзительный, тысячеголосый. Он летел вместе с облаком, быстро приближаясь, нарастая с каждой минутой. Стало возможным уже различать отдельные голоса, стоны, вой, женский плач. И кричали еще лошади: иступленно, совсем как люди.

Все это накатилось навстречу залпам с вала, закрутилось на месте и, обтекая пост на обе стороны, понеслось дальше в степь. Бились на земле застреленные лошади, тут и там лежали убитые люди, плакал, не стихая, брошенный ребенок. Башкирцы быстро удалялись вместе со своими табунами, кибитками, семьями. И тогда вдруг пошел дождь: красный от пожара. У поручика Ростовцева-Марьина захватило дух: по высокой траве стекали розовые капли. То и была роса, что сопутствует некоей грозной музе...

«И в том требование наше состоит, чтобы прогнали от своей орды воров и бунтовщиков из башкирского народа, кои, совершив свои неистовые злодеяния, укрываются ныне подле вас. Помимо милости высочайшей к киргиз-кайсакам, а также следуемой уплаты за поимку бунтовщиков, своей губернаторской властью разрешаю взять себе жен и дочерей и все имение означенных воров и бунтовщиков...»

Генерал Тевкелев, наехавший в пост, самолично рассылал губернаторские грамоты во все концы степи. Всякие люди приезжали к нему. Ростовцев-Марьин узнал одного: то был кривоглазый из пограничных разбойников-жигарей, что воровали киргизских девок для казны по пятнадцати рублей за штуку. Этот тоже повез к киргиз-кайсакам неплюевское письмо...

И снова выстраивались на валу солдаты, только уже на другую сторону. Башкирцы бежали назад не ордой, а кучками и поодиночке. Жен и детей с ними не было, некоторые шли пешком. Генерал Тевкелев, высокий, осанистый, с породным белым лицом, стоял и смотрел, не подавая приказа.

— Дозвольте переловить их, ваше превосходительство! — спросил майор, прибывший с солдатами.

— Пусть идут! — сказал генерал.

На горизонте показались киргиз-кайсацкие отряды. Съезжаясь и разъезжаясь, они догоняли уходивших башкирцев, насккивали на них. Те отбивались и уходили. Дальше поста киргиз-кайсаки не поехали.

Рота ушла в линейную крепость за генералом Тевкелевым, но к концу лета снова вернулась. Майор Прибытков рассказывал за картами с увлечением:

— Сих башкирских мятежников и не ловили. Сами явились толпой в Оренбург к Неплюеву, да еще с ордой родичей. Так, мол, и так: дозвольте идти на кайсацкую сторону, отнять наших жен и детей. Только Иван Иванович, наблюдая договор с киргиз-кайсаками, сказался больным. Переводчики сами башкирцам все разъяснили: «Нельзя генерал-губернатору давать вам на то позволения, но коли без спросу сделаете, то думаем, что не будет с вас взыску».

— Но то же есть прямое подстрекательство! — сказал поручик Ростовцев-Марьин.

Майор, крепкий, черноволосый, с задубелой кожей на лице, с удивлением посмотрел на него. Но не стал спорить, лишь заметил:

— У его превосходительства государственный расчет. От ссоры такой меж башкирцами и кайсаками долгая вражда наступит между ними. Нам же будет спокойствие на линии. То весьма необходимо, когда король прусский придумывает с нами воевать. И часть войск можно будет отобрать отсюда для той войны...

Снова мешалась коварная муза!

Башкирцы теперь что ни день набегали на степь. Там и тут горели кайсацкие кочевья. В том башкирцам помогали и вольные калмыки из-за Волги, давние враги кайсаков. Поступила команда по мере возможности потушить эту междоусобицу. Тем более, что меньшая орда кайсацкая могла откочевать от России. С хивинской стороны ее принуждали к этому опять-таки набегам...

Поручик Ростовцев-Марьин с десятком линейных казаков объезжал озера в степи, примечая, нет ли где воюющих башкирцев. Верстах в десяти от поста увидели столб дыма. Поскакали туда, да было уже поздно: сухим бесшумным пламенем горели кайсацкие юрты у самой воды. Пять или шесть их стояло тут раньше. Плотно скатанная шерсть корежилась на пылающих перекрытиях, испуская черный удушливый дым. Вокруг лежали мертвые люди. Часть их были кайсаки, в том числе женщины, а двое в красных с полоской халатах.

— Хивинцы,— сказал один из казаков.— За людьми на продажу ездят!

Через камыши вели следы. Поскакали по ним. Когда заехали на пригорок, увидели вдали всадников.

— С добычей они, может, и нагоним! — сказал тот же казак.

Пришпорили лошадей. Теперь они неслись по гладкому, как стол, такыру, и расстояние стало сокращаться. Убегавшие повернули к западу, где мутно краснело заходившее солнце.

— Эх, уйдут!..

Поручик с тремя казаками отвернул в сторону, поскакал хивинцам наперерез. Быстро начало темнеть. Уже и не видно стало тех, кто ехал впереди, слышно только было тяжелое конское храпение. Так, в полной тьме, и налетел поручик на кого-то, сбил тяжестью своего коня. Тот, взвизгнув, вывернулся, бросил что-то и ускакал. С земли послышался стон. Поручик слез с коня, казак засветил жгут. Завернутая в одеяло и перетянутая ремнями лежала там кайсацкая девка...

Назад ехали шагом. Девку везли отдельно на пойманном коне. Она молчала и только один раз что-то крикнула, когда остановились у пожарища. Ветер шевелил во тьме догоравшие угли...

Поручик Ростовцев-Марьин разбудил в поселке старуху Марьярьевну, что убирала у него, велел присмотреть за девкой. Сам же долго стоял на валу и о чем-то думал...

## Седьмая глава

### I

Некая раздвоенность, присущая ей, в один миг стала зияющей пропастью. И прежде было так. В одной рубашке скакала она по подушкам в Штеттине или Цербсте, одновременно наблюдая себя со стороны. Носивши корсет у искривленного плеча, не спускала с себя внимательного взгляда. В храме, принимая новую веру, она проверяла себя тысячью глаз, и там явилась ей звезда...

Все было привычно: действие и его оценка, кои разъединялись лишь некой ясно видимой чертой. Теперь по той черте пошла вдруг трещина и быстро делалась шире, пока не стала пропастью...

От того дня все произошло, когда ударила Шкурина, а потом увидела в зеркале выбившуюся из-под ленты прядь волос. В тот вечер она искала Салтыкова...

А он уже не уходил от нее. Живя на островах, к завтраку всегда был здесь. Мужественное, от древних героев лицо его было повернуто исключительно к ней. Он ловил ее взгляд и улыбался солнечно, белыми зубами. Со сладким замиранием ждала она миг, когда садилась на лошадь. Он подставлял под колено ей крепкую теплую ладонь. Обнимая ногами лошадиную спину, она чувствовала все время оставленное от нее тепло и ждала его снова, когда будет слезать с лошади. Стремя в стремя он ехал с ней, рассказывая о том высоком счастье, которое принесит истинная любовь...

Всего остального не существовало. Мадам Чоглокова как-то вдруг перестала смотреть в ее сторону. Происходило это, как видно, от ее поведения с самим Чоглоковым, что тоже принялся подбегать к ней, когда садилась в седло. Только при виде тучного гофмейстера со сливочным блеском в глазах она тут же взлетала на лошадь, а прыгивала так на другую сторону. Чоглокова оценила это, а сей прекрасный муж перевел очевидное внимание на одну из ее фрейлин.

Салтыков, чтобы отвлечь от них внимательность гофмейстера, твердил во всеуслышанье, что у того великий от бога дар к стихотворчеству, а особо к сочинению музыкальных мадригалов. Чоглоков весьма гордился тем и, уходя в угол, по целым часам пламенно вращал глазами, записывая что-то в тетрадь. Салтыков читал и опять хвалил, поминая Федра с Овидием. Лев Нарышкин уединялся с Чоглоковым и пел с ним во все горло. Второй Салтыков — во всем противность брату — хитро кривил свои порочные губы...

Буря и остров были потом. Пропать искусно скрывалась ею от себя самой.

— К чему может привести таковая ваша пылкость, Сергей Салтыков? — спросила она у него с твердостью.

— К счастью! — воскликнул он.

— Но у вас есть жена, на которой вы два года тому назад женились по страсти. Про вас говорят, что безумно любите друг друга. Что она скажет об этом?

— Я дорого заплатил за свою слепоту, — ответил он с чувством. — Мрачные думы посещают меня. Лишь вам дано исцелить мою рану!

Тут он упал на колени, и на миг ей показалось, что где-то видела все это. Но впервые не захотелось смотреть на себя со стороны. И руку не отняла у него, когда осыпал ее поцелуями. Он был несчастлив и прекрасен. Томная слабость возникла в ней, разлилась по телу. Во рту сделалось сухо и жарко.

— Но почему вы знаете?.. — прошептала она. — Может быть... мое сердце занято?

И тут стукнула дверь в начале коридора. Она быстро отобрала руку, но он не вставал с колен.

— Скажите хотя бы мне: неужели в вашем сердце занимаю последнее место? — спрашивал он требовательно.

— Нет, нет... — говорила она.

— Значит, есть кто поближе меня?

— Нет...

— Но тогда... тогда будем вместе помнить про то!

Он резво вскочил с колен и пошел от нее к двери.

— Нет... нет! — шептала она.

— Да, да! — уверенно сказал он, прежде чем уйти.

Три дня не являлся он. Они уехали в Ораниенбаум. Она бешено скакала по полям, стреляя бегущих из лесу зайцев, а ночью лежала с открытыми глазами. Его прекрасное лицо стояло перед ней и все слышалось: «Да, да!..» Чтобы успокоиться, она гладила рукой горячее тело...

Он явился неожиданно, и она даже не посмотрела в его сторону. Готовили собак и лошадей для переправки на остров, где должна была состояться охота. Рваные тучи летели низко над лесом, предвещая бурю, и все же решили ехать. Всем распорядился Чоглоков, которому принадлежал остров...

В шлюпке качало, но она сидела прямо, глядя мимо всех. Сойдя на берег, она тут же села на лошадь и поскакала. Он догнал ее уже в лесу, принялся опять говорить о своем чувстве, но она не отвечала. Гнались за оленем, потом сидели в охотничьем доме. Выл ветер, и видны были мутно-белые волны в заливе. Плыть обратно не было возможности. Он шептал, что небо благоприятствует его счастью. Что-то болтала княжна Гагарина, фыркала ему в лицо.

Стало совсем темно. Буря ударила в дом, дрогнули бревенчатые стены. Так и не взглянув ни разу на него, она встала, пошла наружу. Деревья гудели где-то сверху, ветер долетал вниз лишь порывами.

Она шла меж краснеющих от невидимого заката стволов, твердо ступая по сухой прошлогодней хвое. Неслышные шаги обозначались следом. У корня огромной сосны она повернулась к нему, протянула руки. Он торопливо бросился вперед, начал расстегивать на ней охотничье платье...

Было невозможное. Потеряв себя, она летела в беспредельность. Томительный нескончаемый стон исходил из груди, и ничем уже нельзя было его удержать. Она говорила что-то, захлебываясь, счастливые слезы текли из глаз. И, наконец,

произошел последний, невероятный вздох... Ах, Каролинхен!.. Снег вдруг покрыл все. Сильные руки несли ее по зимнему лесу, и прядь волос падала на чье-то светлое лицо...

Тяжелые капли дождя косо летели мимо стволов. Он говорил виновато-радостным голосом, а она не могла отыскать булавки, которой пристегивала на груди платье. Потом благодарно сдвинула ему руку и пошла к дому. Он остался стоять за деревьями.

В доме все было по-прежнему. Лев Нарышкин громко распевал какой-то чоглоковский мадригал. Княжна Гагарина хохотала до упаду. Сам гофмейстер с упоением слушал, кося сладким взором на Кошелеву, что уткнулась неподвижно в окно. Чоглокова сюда не приехала, будучи на сносях. Когда она вошла, только Петр Салтыков посмотрел на нее с тупой хитростью в глазах. Великий князь, сморенный охотой, спал в углу, захватив губами край перчатки...

Загрэмел гром, и будто море воды сразу обрушилось на крышу. Пришел вымокший Сергей Салтыков, тайно улыбнулся ей от двери. Она опустила глаза...

На другой день из Петергофа приехала императрица, а с ней лишь камергер Иван Иванович Шувалов да близкие дамы. Чоглокову сразу позвали туда, в малый летний дворец. Потом прибежали за ней...

Она шла посыпанной розовым песком алысей, и все внутри было пусто. Одна мысль не уходила из головы: императрица узнала о том, что произошло на острове. Кто-то донес про то. Скорей всего это мог сделать другой Салтыков. Его подлая улыбка, когда вернулась она из лесу, стояла перед глазами. Значит, звезда, что увидела как-то в ясном дневном небе, ее обманула...

Императрица сидела при открытых стеклянных дверях на морскую сторону. На столе стоял лафитник с вином, апельсины и пирожные. А сбоку, как обычно теперь, еще граненый флакон с французской водкой. Младший Шувалов, великий умник, сопровождавший кругом императрицу, чистил ножиком оранжевый плод. Шкурка, белая изнутри, отслаивалась на все стороны равными лепестками...

— Проходи, матушка! — сказала ей императрица хрипловатым голосом, делая знак, чтобы не употребляла этикету. — Здорова ли?.. Вижу, вижу, что в соку...

Теперь она сидела одна за столом с императрицей. Вставший при входе ее Шувалов куда-то удалился. Бойкие птицы скакали и пели по балюстраде веранды. Синее теплое небо стояло над покойным морем, и где-то там был остров...



Она услышала звон от наливаемого бокала. Императрица подавала его, наполненный вином:

— Знаю, что не пьешь. А ты выпей!

Себе императрица налила водки из флакона, взяла тартинку с рыбой, а ей придвинула очищенный апельсин:

— Ну, бог свят!

Она выпила ровными глотками весь бокал, поставила его на стол. Ее величество проследила за ней, запрокинула голову, занюхала французскую водку рыбой и вдруг деловито спросила:

— Твоя Чоглокова что-то путное говорила тебе?

Она лишь недоуменно свела руки, не понимая о чем речь.

— Ну, так и знала. Женщина умная Марья Симоновна, а тухтя! — императрица, уже не глядя на нее, снова налила себе водки, выпила залпом, повернулась к ней. — Не дает и тебе бог детей уже который год... Знаю, что не твоя то вина, врачи сказали. Только... только наследник сей державе необходим, вот как!

Ее величество встала, подошла к окну, и она за ней. За окном был лес, уходящий под гору к самому небу.

— Слышишь! — императрица резко повернулась к ней, больно взяла за плечи. — Выбирай... Салтыков или Нарышкин!

Она стояла остолбенелая. От императрицы пахло душистой водкой. Слова доносились будто издали.

— ...Салтыков так лучше, пожалуй. Уж ты, голубушка, ему не отказывай. Поумерь-то свою честность...

## II

«В Сенате добрых людей всячески мучат и разоряют, сенаторы ворами помогают. Какое в государстве чинится разорение и людям неповинным убийство, воровские сенаторов самовольные власти, чего и в республике не делается! Князь Никита Трубецкой не хранитель — это разоритель наших законов; его мало что написать: генерал — вор, он, генерал-фельдмаршал вор, столп в государстве среди воров... А коли б такое воровство при отце вашего величества, то бы их к казни разве бы принесли, а не привели... Бестужева жена будто бы одна приличилась к воровству — тому нельзя стать, будь бы муж ее про то не ведал!.. Волинского и убийство и кровопролитие, а не экзекуция, экзекуцию назвать грех. Нам за наши верности подмосковная вотчина Камчатка была пожалована по их изменческим советам... Князь Александр Куракин по вашей государственной милости в голубой ленте сенатор — Авраму Лопухину племянник родной; а ему с чего быть верну? Он воровской лопухинской родни корень. Какая Грюнштейнова вина? За что разоряется?..»

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сидел задумавшись. Сви-репой страстностью, будто от древних пороков, веляло от сих слов. Писанные на грубой бумаге, они год плыли да ехали сюда, не теряя жара. Казалось, подуешь на них, и загорятся багрово, сожгут саму бумагу...

Сосланный в Камчатку майор Колачев походя говорил о своей обиде, но прямо обличал все устройство дел в империи. Так выходило, что лишь Петра Великого была правда, а остальное потом делалось вопреки. Но то все буйство чувства, и кристальной правды не присутствует в мире, что и слава богу. Совсем тогда невозможно бы стало жить. Коли истово начинают рваться к правде, то как раз попадают дьяволу в объятия.

И в гневности сего письма есть справедливая основа. Что князь Никита Юрьевич с законами поступает по любой своей прихоти, так и все здесь так норовят, от самого последнего подчаска при въезде в город до того же генерал-прокурора. Каждый самовластвует по собственному чину, ну а коли чин повыше, то и со стороны повидней. Не может кто сверху поступать иначе, если весь народ таково живет. Вовсе бы его тогда презирали и в дураки записали. Тайный умысел еще бы в том нашли, поскольку кому охота видеть кого-то лучше себя. Гнать станут такого, да еще с камнями...

Насчет брата его Михайлы Петровича не знает всего правдолюбивый майор. С женой своей тот и не жил: давно уж сам за границею, и жена у него другая. От того повода и разошелся он с братом окончательно. Опять же и Куракин-сенатор родня Допухиным, да только все тут Рюриковичи да Гедиминовичи, и не могут быть все кругом виноваты. Здесь же и казнь Волынского, чье место кабинет-министра сам он занял по слову Бирона. Драка шла меж Артемием Петровичем да Бироном: кто кого на плаху раньше представит. Да только был тут Волынский обречен. Не потому, что немцы к тому времени засилие взяли, а потому, что идти России по пути Петра Великого. Волынский же оружием против Бирона выбрал стрелецкий бердыш, которым сегодня разве что дрова колотить. Известное у нас дело: как увидит кто в ряду служебных противников немца, то начинает на себя в противность тому лапти да армяк паялить. Только хуже всякого немца такие патриоты.

А правда сего письма в том состоит, что чувствование у нас больше над рассуждением преобладает. Оно и у великого государя чувства играли, да только к делу это не мешалось. После того большое испытание посылает бог этой державе, подряд столько лет назначая ей женское правление. Уж как добра да хороша красавица государыня, да только и тут не может обуздать свою природу. В том же лопухинском деле, что спровоци-

ровал посланник Ботта, не остановилась, чтобы на дыбу поднять беременную Наталью Лопухину да язык ей урезать. К чему и приписала собственной ручкой: «плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтобы и век их не слышать, нежели еще от них плодов ждать». Сказано, что львица куда как мстительней царя зверей. А причина лишь в том, что такие находились, кто красоту Натальи Лопухиной выше государыниной понимал. И с Грюнштейном, что на руках ее к власти принес, не по-государски поступила, а лишь в виду постельных достоинств графа Алексея Григорьевича Разумовского. До сих пор гвардию то волнует, с Камчатки о том майор пишет...

В прочем же вовсе по-русски добра душою матушка-государыня. Вон и смертную казнь отменила, за что преестественно сподобилась имени «кроткая Елисавет». Что же, царь Давид прямой был разбойник, а православный человек рта не перекрестит, чтобы не помянуть всю кротость его.

Возможно ли уйти от такого природного своего плена женщины? Об этом следует поразмыслить, взяв во внимание состоявшийся вчера у него разговор с некоей особой. Может статься, и еще сколько-то лет суждено России материнское правительство...

Не скрываясь, опустила она глаза на царский портрет с бриллиантами, что когда-то повесил ему на шею великий государь. Потом прямо посмотрела на него, и ничего дальше не надо было объяснять. В том была понятная им обоим определенность.

— Знаю, Алексей Петрович, что был противу меня в выборе жены наследнику. Коли рассудить, моя очередь там была последней...

Нет, нисколько не лукавила она, лишь твердо понимала, в чем их общий интерес. У него даже заморгали ресницы: неужто таково мыслит женщина двадцати трех лет, что только восемь из них прожила здесь? Положив перед собой руки, как при докладе государыне, он принялся объяснять ей, какие предстоят действия правительству в виду грозившей прусской диверсии в Саксонию. Подобна напряженной сети теперь вся Европа: потянешь за одну нитку — и все придет в движение. Родственно связанная к России Голштиния беспременно получит в том свою роль.

И опять, не таясь, улыбнулась она такому знанию об ее позиции в сем вопросе, ответила достойно:

— Таково мнение его высочества, супруга моего Петра Федоровича.

Она старательно говорила по-русски, и больше с француз-

ским, нежели с немецким изъясном произносила слова. Только даже и не замечалось того. Вовсе естественно произносила она ему «ты». В нужных местах переходила на французский, и сразу устанавливалась вежливая дальность.

— А как то случилось, Алексей Петрович, что королевские капли изобрел? Когда я маленькой была, сама от кашля ими пользовалась!..

Он вдруг смешался, посмотрел на нее с доверчивостью:

— Да забыл я уж про то, матушка Екатерина Алексеевна!

В первый раз назвал он ее так, и увидел, как довольно потеплело у ней лицо. Он принялся вдруг рассказывать, что молодым еще человеком, будучи послан от государя к королевскому двору в Копенгагене, подружился там с одним аптекарем да и занялся фармацевтикой. Желание имел совсем жизнь тому посвятить, да только долг перед государем посчитал выше. Все же много читал и лекции слушал, где приходилось. Самостоятельно составил эти капли и патент получил. Подспорьем это стало и в деньгах...

Никому раньше такого не говорил он о себе. Она слушала с интересом, и ему было приятно.

— Его высочество Петр Федорович и я станем уповать на твою испытанную мудрость, Алексей Петрович. Дозволь числить тебя в круге наших друзей!..

Прямое лицо в обращении к нему было теперь другого рода. По царскому правилу так следовало. Он низко склонился, произнес с чувством:

— Во всякое время отыщете во мне всенепременного раба вашего императорского высочества!

### III

Поручик Ростовцев-Марьин слез с коня. Отсюда, с возвышенности, был виден подходящий обоз. От самого горизонта тянулись двести телег с лесом да припасами, ехали четыре пушки, полторы роты солдат шли впереди и сзади. Предоставленные кайсаками верблюды с поклажей шли по бокам колонны, связанные веревками. Мерный звон колокольцев слышался из облака пыли. Тут и там маячили кайсацкие отряды. Время от времени какой-то из них приближался к колонне, старшины подъезжали к офицерам, вели разговоры. На привалах выставлялось обязательное угощение...

Здесь было место назначения. Весь год выбирали его, делали измерения. Присягнувшие России кайсаки ездили в Оренбург, просили продвинуть пост дальше в степь, чтобы обезопасить их кочевья от хивинских набегов. Также и немирные киргиз-кайсаки

тревожили их. Просили о том и купцы из Бухары, имеющие в Оренбурге свое подворье. Им без охраны трудно было ехать через кайсацкую степь...

Тут тоже была речка и от нее — озера. Солдаты разбивали вешки. Пройдя чуть не двести верст по степи, обоз втягивался на выбранную для форпоста ровную площадь. Дальше в южную сторону шли пески и где-то за ними — Аральское море.

Ростовцев-Марьян терпеливо ожидал, глядя на выплывающих из пыли верблюдов. С ними двигались возы поселенцев, что решили ехать сюда вместе с гарнизоном. Шли привязанные к телегам коровы, гнали коз и овец. А на старом посту, откуда они уехали, строилась теперь крепость, вокруг нее стоял уже целый город.

Показался, наконец, знакомый воз, крытый от солнца порыжелой кошмой. Кузнец вел лошадей под уздцы, сзади были приторочены горн и прочий приклад. Поручик показал место. Кузнец с Макарьевной и Маша стали сгружать с воза корыта, горшки, прялку, разный домашний скарб. Он помог кузнецу стащить на землю тяжелый сундук. Потом распрягли лошадей, стали на первый раз устраиваться. До зимы кузнецу предстояло поставить земляной дом, соорудить навес для работы.

Приехавшие с верблюдами кайсаки все поглядывали на Машу. В русском сарафане и с длинной косой ничем не отличалась она от прочих девок, да только больно вразлет были темные брови, и глаза на слегка удлиненном смуглом лице излучали некий чудный блеск. С того дня, как отбил он ее у хивинцев, дважды приезжали из степи какие-то дальние ее родичи, хотели увезти с собой. Она выходила к ним, молчала, с тем и уезжали. Кузнец с Макарьевной не имели детей, и с первого дня вроде свету небесного сделалась для них Маша.

А поручик стал учить ее грамоте, благо книги для того нашлись от вяземского дворянина Коробова, не дождавшегося суда. На старом линейном посту квартировал он с другим офицером, а потому сам приходил к кузнецу в поселок и там учил с ней псалтырь да письмо. По-русски она стала говорить как-то сразу и вовсе без ошибок. Теперь уже и писала изрядно...

Через неделю по четырем сторонам на возвышенности наметился вал. Солдаты набрасывали его с лопатами и носилками; углубляя при том наружный ров. Наемные жатаки из киргизов делали у реки саманный кирпич и волочили сюда с верблюдами для будущей казармы. Из того же кирпича лепили дома поселенцы. Их уже вдвое прибавилось по сравнению с приехавшими со старого поста. Нельзя было сказать, откуда они взялись:

беглые русские, туркмены с хивинской стороны, бухарцы, те же лепившие кирпич кайсаки. Паспортов не спрашивали, да все одно ни у кого их тут не было. Уже первая улица обозначилась за валом, да две поперек. Рано поутру звонко кричал петух, мычали коровы.

Ростовцев-Марьин приходил каждый вечер на двор к кузнецу, где ставили дом. Маша, помогавшая Макарьевне месить глину, умывалась к его приходу, надевала сарафан с красными цветами, и они шли гулять к речке...

## Восьмая глава

### I

Как при вспышке молнии в грозу увиделось сразу все. Слепивший ее свет остался, прячась в темных углах, за гардинами у окон, где-то под кроватью. Навсегда уже пребывал он в мире. Первозданная боль рвала на части тело, и как раз тогда пришло озарение. Она не кричала — лишь кусала себе руку...

Теперь ей было холодно, и уже в подробностях оценивала она, что явилось в короткий миг. Лицо его не имело твердого очертания. То вдруг проявлялось в прекрасной своей мужественности, потом будто уходило в воду, размываясь, теряя плотность. Так было всякий раз, когда тошнота начинала подкатываться к горлу.

В первый раз это произошло перед очередным отъездом в Москву, когда почувствовала особенность своего положения. Сразу зашептались о том Чоглокова с приставленною к ней Владиславовой и позвали повитуху. А в его глазах появилась туманность. Он рассеянно смотрел в потолок, не чувствуя ее просительного взгляда. В Москву он тоже приехал тремя неделями позже, объяснивши задержку делами. К тому времени был у ней выкидыш...

И опять стал поворот головы к ней древнего героя. Всякий знак ее был для него приказом, счастливое солнце сияло в небе. Люберцы, что отдала императрица великому князю, сделались их эдемом. Но снова сделался он равнодушным, как только пришло к ней новое положение. Даже зевал с нею тайком. Она кусала платок, чтоб не плакать, но слезы текли сами: горькие, отчаянные. Он говорил, что трудно каждый день ездить к ней с другого края Москвы. К тому же следует притушить разговоры про них. Потом пламя взметнулось к черному небу, осветив кресты с полумесяцем, и она снова выбросила плод...

В третий раз возвращалось к ней счастье. Что только ни

делала она, чтобы задержать его возле себя: завлекать смеялась, требовала, просила униженно. И теперь все поняла, что знала давно, с первого их разговору...

Было еще нечто, холодной липкостью оставшееся в ней...

В то счастливое последнее преобразование они вдруг оказались в задних комнатах нового дворца, что после большого пожара в шесть недель был построен императрицей. Никого не было с ними, и сани с тайной полостью ждали у крыльца. Музыка и гром голосов новогоднего бала неслись им вслед. Они мчались через летящий снег, луна показывалась и ныряла в тучи. Потом на его квартире совсем от всего свободная, с холодными от морозу коленями обнимала его и плакала от любви...

Когда она возвратилась, то увидела, что никто и не спрашивал о ней. Бал расходился. Подошел вдруг великий князь, запрыгал вокруг нее, позвал с собой. По дороге рассказывал, что вовсе уж не дружит с Курляндской принцессой, а вот Марфа Шафировна не понимает его чувств. Шатнувшись, он прошел за ней в дверь, крикнул человека раздеться...

Она находилась будто в бессильном сне. И когда прижался он к ней, вдруг проснулась... Луна опять неслась, ныряя в тучах, снег залетал в сани. Сама собой уже летела она в беспредельность... Как только закончилось это, будто в некую яму провалилась она. Эйтинский мальчик, смотревший с восторженным удивлением, ничего не понял...

От кого же был тот кричащий комок, что унесли от нее на бархатных подушках, бросив ее одну?.. Начиная темнеть за высокими окнами, и никто не приходил к ней. Влажная сырость стояла в комнате, от плохо прикрытой двери тянула ледяная струя. Даже посмотреть не дали ей сына, и она не хотела сейчас этого...

После того разговору у моря императрица при ней бранила в крик Чоглокову, что плохо напоминает ей о наследнике. Все знали об охлаждении с графом Алексеем Григорьевичем, и везде был теперь молодой Шувалов. Еще и юного пажарифмотворца Бекетова с кукольным лицом видели при дворе. Но замечен тот был в любезной связи с другим пажом. Таковой противоестественности императрица не терпела, за что и был тот изгнан полковником в армию.

И Чоглоковой вдруг стало не до чего. Как рыба лишь открывала и закрывала рот, когда открылось все об муже ее и Кошелевой. Сама императрица делала выволочку да мирила их.

Кончилось тем, что Кошедеву послали рожать в деревню. А Чоглокова, сама народив седьмого ребенка, без памяти сделалась от Петра Репнина, так что при всей Москве ездила к нему домой. Чоглоков всем жаловался на жену, потом лег и умер...

Словно ладья в бурю, размахивался характер императрицы. То было русское качество. Ее величество молилась и плакала всю ночь до опухлости лица, лишь показалось ей, что они потонули с великим князем на пути в Кронштадт, когда их там и не было. Теперь же, по рождении наследника, вдруг вовсе забыла о ней. И все это с полной естественностью чувства.

Когда пламя на четыре версты по кругу охватило деревянный дворец, императрица безразлично зевала ото сна. Накануне она ругалась и плакала над разбитой чашкой из версальского сервизу, а тут только рукой махнула:

— Все пустое... Считай, лишь платьев сгорело моих четыре тыщи!

При том посмотрела по сторонам, чтобы слышали. Платьев да кринолинов и вправду было у ней не меньше двухсот, но дарила их направо и налево. Все камер-фрау и даже прислуга шеголяли в перешитых ее нарядах. А что до четырех тысяч, так было то от широты души хвастовство...

Рядом с пропастью все шло... Канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин прямо вдруг сказал Салтыкову, что он ей крепкий друг. В этом сафовнике с портретом великого царя на груди было некое особое упорство. А еще и честность, как от дуба в сравнении со стриженным кустарником, произраставшим в Цербсте...

Великий князь вдруг разогрелся ревностью. Началось это на другой день после разговору ее с канцлером. Входя с ним в дружбу, она принимала на себя и его врагов. Кто они могли быть: Шуваловы, Воронцовы, сохранившиеся креатуры друга матушки маркиза Шетарди?

Великий князь везде ходил и громко намекал, что она с Салтыковым водит вокруг пальца Чоглоковых и саму императрицу, а направление тут политическое. Кто-то научил эйтинского мальчика. Потом он приходил к ней и все хотел добиться чудного полета, что однажды происходил с ней при нем.

Ему тоже был сделан натуральный экзамен. Она знала все от Салтыкова, а тот от Чоглокова. Через камердинера великого князя Брессана отыскалась известная добropорядочным поведением и приятная видом мадам Грот, у которой было двое детей от покойного мужа-живописца. Этой молодой особе объяснили необходимость той жертвы с приложением некоей суммы денег



и обещанием милости императрицы, на что та и согласилась. Увлечь ей достойного мужа не составило трудности. Великий князь сразу заважничал, стал плести что-то о своей неотразимости да тут же ей все и выболтал. Даже щипки показывал, что вдова ему делала в страсти.

Но минули все сроки, и результата у мадам Грог не было. Неспособен к тому оказался эйтинский мальчик. Тогда и сказала ей императрица о Салтыкове...

Только все не имело значения. В тот неистовый миг, когда отделялась от нее новая жизнь, она сама сдвинула пелену со своих глаз. Все она знала раньше, но не признавалась себе. Салтыкову от императрицы было сказано то же, что и ей. Он вернулся тогда с Чоглоковой и в первый раз посмотрел на нее...

Черные окна от полу до потолка лили холод в комнату. Лишь лампадка продолжала желто гореть на дальнем столике у подаренного императрицей складня. Липкая влага текла по телу, ледяными были подушки. Откуда-то слышались гудящие шумы...

Она встала, цепляясь за полог, завернулась во что-то, брошенное на стуле, и пошла через пустые темные залы. Из двери в дверь дул ветер, скользкая сырость натекала от окон. Где-то впереди стал видеться свет...

Жаркая тяжесть встала стеной, невозможно стало дышать. От трех кафельных печей сразу струились горячие волны. Посредине стоял золотой короб, черные с серебром лисы устилали его. Там, среди голубой фланели, лежало нечто маленькое, сморщенное. Она не могла рассмотреть отсюда лицо сына...

Никто не видел ее, когда она вошла. Вокруг были старухи, нянюшки, черницы. Императрица сидела и не сводила с младенца глаз. Под рукой у нее стоял граненый флакон...

Холодом обдало ноги, фланель зашевелилась вокруг распяренного ребенка. Она хотела что-то сказать, но перехватило горло. Комната со свечами, императрицею и младенцем качнулась, поплыла куда-то вдаль.

Она не помнила, как пришла назад. Все, что было в шкафе и вокруг, набросала на себя, но все тек холодный пот. Золотой короб стоял перед глазами. С ею рожденным существом, ее сыном...

Накануне, совсем недавно, играла она с только что родившимся ребенком Чоглоковой: тискала, целовала его, поднимала выше головы. И замирала от идущего из невероятной глубины чувства. Сама плоть ее тосковала по тому, что должна была

произвести на свет. Почему же теперь она отвернулась и ушла?..

Может быть, этот страшный человек, явившийся после Чоголокова, навел порчу, отвратив ее от сына? Неподвижные, со стылой водой глаза смотрели без всякой жизни, правая часть лица дергалась от века до подбородка. Его-то и приставили к ней, когда в третий раз забеременела. Щептались за спиной, это старший. Шувалов любит слушать стоны при своей работе, и не спит уже много лет. Но то была ее отговорка. Другое состояние было причиной...

Все она знала с первого разу, когда некто стал изъяснять свои чувства прямыми словами французской пьесы. Она читала ее с Бабеттой еще в Цербсте. А здесь сама пожелала их услышать. То вечная игра, и женщина хочет, чтобы ее обманывали. Но тут все делалось по чужой воле. Ее любили по слову императрицы. Звезда, которую увидела в дневном небе, стояла дорого...

## II

В том высокий смысл движения жизни, что сходятся неприятели и делаются необходимы, а прежние соучастники изготавливают на тебя копьё. Если по поводу кавалерства или неподделенной прибыли оно происходит, так обычная это интрига. Когда же причиной того есть умственная и сердечная ревность к делу державному, то называется сие политика. А без такого постоянного движения не может состояться народ и государство. Было бы это как зеленой тиной подернутый пруд, где живут бессловесные и ни к чему не потребные твари.

Однако же интрига всенепременно мешается к политике, и если берет верх, то несчастная та держава. Великая мудрость — поставить интригу на службу политике. В том и состоит роль канцлера в этом государстве...

От первого дня, когда устранила брауншвейгскую правительницу с младенцем-царем, все упование государыни на наследника от отцовской ветви. А вокруг такого державного дела несть числа капризам да себялюбью. Всякий для себя норовит урвать. Коли в одной струе с государственной пользой такое делается, то и слава богу. Купец, что заводы по Уралу ставит, немало в мощную кладет, но еще пушки да плуги льет. Также и поселенец, какого бы роду-племени ни был, в российские закрома нечто прибавляет. А что жить ловчится всякий по способностям, то при правильном устройстве опять-таки к пользе для отечества.

Вредоносны лишь те, кто криком да наглостью норовят

прокормиться, поскольку к другому не имеют таланта. Они-то и пугают ежечасно государыню призраком брауншвейгского дома, что подрастает где-то в Беломорье. Сказывают, тот несчастный так говорить и не научился, будучи без людей. А еще подбивают ее лютерские да католические церкви из столицы убраться да иностранцев перестать вовсе сюда пускать. К великой то стало бы радости всех врагов России.

Тому пример в разнице политики и интриги — его метаморфоза с великой княгиней. У ней прямой интерес рядом с мужем сесть на российский престол. А при таком государе стократно увеличится значение умной жены. Его же канцлерский интерес в том состоит, что после тридцати лет растряски нужна здесь в утверждение дела великого царя твердая и не заушательская рука. В десять лет наблюдения как раз и нашел он в этом месте означенные качества.

К уму и ровности поведения немало значит и управление чувствами. Все, до постельной частности, известно ему о ней с красавцем Салтыковым, поскольку сам был в том деле референтом для государыни. А голубушка великая княгиня в силу ума своего все из того хорошо поняла, только вида никому не подала. Разве что некую холодность явила к родившемуся сыну. Однако единодушно все говорят, что как раз удался тот в великого князя.

Также и с презентом государыни показала свою зрелость великая княгиня. Сто тысяч рублей принесено было ей от императрицы в шестой день от рождения наследника Павла Петровича. Только к вечеру уже прибежал к ней кабинет-секретарь Черкасов и за-ради бога просил одолжить правительству эти деньги, поскольку спрашивает императрица, а нет ни копейки. Великая княгиня лишь молча кивнула головой.

Дело же состояло в том, что великий князь не на шутку обиделся на государыню, что и ему за тот великий подвиг производства наследника не дадено награды. Так он бушевал и кричал, что государыня велела и ему выдать сто тысяч. А деньги были взяты от великой княгини. Так что один Салтыков остался ни при чем, да еще в Швецию услали, чтобы глаза не мозолил.

На страже, как водится, здесь и интрига. На другой день после секретного разговору его с великой княгиней к ней сразу приставили старшего Шувалова. Каково сможет граф Александр Иванович различать свои обязанности по пыточной службе в Тайной канцелярии с должным политесом у императорских высочеств? Но великая княгиня Екатерина Алексеевна и здесь все приняла с неизменной приветливостью: только вполне натурально поинтересовалась, отчего у того физиономия дергается...

### III

Кузнец, в вышитой холстяной рубахе и чекмене, стоял молча, опустив руки. Макарьевна, в праздничном салопе и платке, тихо вздыхала. Возок уже стоял готовый, и казак подгребал сена к подушкам для сидения. Вещей было немного: его офицерский сундучок да короб с крышкой, в который поместились платья для Маши.

Когда в весну Макарьевна сказала, что можно бы на старом посту устроить венчание, поскольку там теперь есть храм с батюшкой, поручик Ростовцев-Марьин не стал того делать.

— Надобно позволение родителей и невесту, им следует показать! — твердо сказал он.

— Ну, а коли матушке невеста не приглянется? — спросила Макарьевна.

Поручик посмотрел на нее с удивлением: о таком даже подумать было невозможно. Он писал уже обо всем в Ростовец...

Маша поклонилась в пояс, кузнец с Макарьевной благословили ее. Лошади все стояли. Маша плакала, не отрываясь от названной матери. Вдруг и поручик заслонил глаза рукой, махнул рукой вышедшим провожать его солдатам.

Настоявшиеся лошади рванули с места, легко понесли возок через проезд у вала к речке и дальше — в степь. Конвойные казаки скакали по-кайсацки, опустив поводья. Дул ровный свежий ветер...

Город на старом посту продолжался уже вдоль реки, тут и там стояли каменные дома. На другом берегу шумела конская ярмарка. Кайсаки из степи везли шерсть, кошмы, пригоняли табуны. Здесь скот и лошадей перекупали, гнали в Россию. В лавках продавались сукна да ситцы, посуда, лопаты, сбруйный товар.

Писарь при воинском начальнике написал ему подорожную. Туда же была вписана девица благородного киргиз-кайсацкого роду Марья Найденова. На другой день поехали дальше.

Уже недалеко перед Волгой ночевали в постоялом дворе при соляном городке. В хозяине его поручик узнал того молодца, что плыл как-то с ним вниз по Волге. Тут же хлопотала хозяйка-пермячка, с которой тот когда-то все говорил за бочками, бегали дети.

Волгу проехали уже в осеннюю грязь, за Симбирском пересели в сани...

Звякнул в последний раз и утих колокольчик. В оконце дома показалось чье-то лицо. Они продолжали стоять у возка. Маша глядела прямо перед собой. Он нашел через варежку Машины пальцы, слегка пожал...

Дверь с крыльца отворилась. Отставной майор Семён Александрович Ростовцев-Марьин, в поспешно надетом старом мундире, и супруга его Анастасия Меркурьевна сходили к ним навстречу. Старик подошел к сыну, пристально посмотрел ему в лицо, удовлетворенно кивнул головой. А жена присткрыла платок у приехавшей с сыном девицы и даже руками всплеснула:

— Ах, да какая же ты красавица!

## Девятая глава

### I

«Когда дикари Луизианы хотят добыть плоды, они под корень рубят дерево, на котором те растут,— это и есть деспотическое правление». Господин Монтескье, барон де ла Бред де Секонда, чья недавняя смерть искренне опечалила Европу, по римской классной инженерии строил фигуру логики. Два раза возвращалась она к сему постулату, чью ясность крепил Тацит. Быстро сменявшие друг друга цезари наносили секущие удары по этому дереву, пока даже столь идеальное творение государственности не рухнуло, увлекая с собой театры, храмы, высоту мыслей и чувств. Неистовый Вольтер, по очереди живший у королей и сбжавший под конец от своего прусского мецената, звал к полному равенству, поскольку оно залог крепости государства и народа. А неравенство талантов, не зависимое от людей, выражалось бы только в имущественном владении. Таковому положению прямо соответствует просвещенное правление монарха — гаранта исполнения законов.

Все ясно делалось в голове. По временам лишь приходило знакомое видение. Легкие и изящные, это были все те же римские камни, укладываемые в фигуры. А еще у Монтескье бралось во внимание пространство, занимаемое народом. Тут лишь угадывался невидимый ветер, подхвативший двенадцать лет назад каретные сани, в которые она села...

Что же такое этот ветер?.. По римским камням стекала кровь веривших в бессмертие души. Может быть, от той святой крови распались они, сделавшись грудой обломков? Вольтер деловито оставлял веру сапожникам и служанкам, уповая строить все одним разумом. О ветре там и не упоминалось...

Сомнения мелькали и забывались. Римская дисциплина и

ясность мысли, еллинское чувство меры и равновесия в союзе с просвещением — вот для чего явилась ей звезда. Послышался колокол к завтраку, и она захлопнула книгу. На английский манер она ввела у себя при малом дворе раннее вставание, гуляние с книгой и колокол...

Ничего не читалось в лице канцлера, но только не для нее. Некая жилка напрягалась там возле глаза, и означало то внутреннее волнение. В Царском Селе при церковной службе императрице сделалось дурно и, выйдя наружу, упала без чувств. При ней доктора: француз Фусадье и грек Кондоиди. Императрица при падении прокусила язык и не говорит.

Канцлер докладывал ей с приватной доверенностью, а не в силу службы. Такого не предусмотрено было делать, но он подчеркнуто это исполнял. Императрица болела уже второй год: харкала кровью, тело сделалось рыхлым и расплывалось, наливалось водой.

Генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, близкий ей с канцлером человек, сокрушив войско прусского короля в Гросс-Егерсдорфской битве, вместо преследования неприятеля вдруг принялся отводить русские полки назад за Неман...

Недавно лишь прискакал в Царское Село с трубящими почтальонами курьер генерал-майор Петр Иванович Панин с вестью о той великой победе. Взявши Мемель и Тильзит, генерал Фермор шел на соединение с главными русскими силами. Сто один раз гремел по этому поводу в столице пушечный салют. И тут таковая несуразность.

По всем статьям приводил свои резоны главнокомандующий. Пошли осенние дожди. Не имеющий жалости даже к своим подданным, прусский король сжигает все припасы на пути отступления своей армии. Оставшиеся без фуража лошадидохнут тысячами. Плохо приготовленные магазины не в силах обеспечивать ушедшее вперед войско. И не один фельдмаршал, а военный совет единогласно решил о прекращении в этот год кампании.

Однако же о ретираде здесь и слышать не хотят. С прошлой осени все торопили войско с переходом границы, а в замедлении винили одного Апраксина. Зная приближенность того к великокняжескому двору и к самому канцлеру, теперь многие замыслы спешат увидеть в том отступлении враги. Также и болезнь императрицы к тому привязывают, что хочет быть сейчас Апраксин с войском ближе к Петербургу...

Она знала о тех разговорах. Еще и к Степану Федоровичу Апраксину писала так, чтобы было всем известно. В тех двух

письмах, помимо личных благополучий, настоятельно звала к наступлению и скорой победе над высокомерным врагом. Генерал-фельдмаршал искренне к ней привязан, так же как старый канцлер. То ее личное завоевание.

Теперь же особливая трудность настала для канцлера. Только что добился он субсидного договора для Англии, как рациональный Альбион вдруг заключил прямой договор с Пруссией. Причиной тому война их с французами в американских колониях, вот и решили на континенте оторвать Пруссию от Франции. А французский министр Берни, аббат и поэт, что всем обязан госпоже Помпадур, обратился с дружбой к извечному врагу — австрийскому дому. Впрочем, причина к тому основательная, так как ни к чему Франции взамен слабой Австрии увидеть напротив себя сильную Пруссию в Европе. На том сходятся с версальским двором и интересы России. Да только в прах рушится любимый канцлером союз северных держав, завещанный Петром Великим. А вместе с ним и канцлеров кредит у императрицы...

Уже уходя, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин посмотрел на дверь и на окно, незаметным движением передал ей некую бумагу. Когда, сделавши поклон, он удалился, она спустила ее за корсаж...

Два часа сидела она с голштинским министром Штамбке, поскольку от великого князя ей были доверены тамошние дела. По-прежнему с упорной мелочностью грызлись там друг с другом партии, причастные к датскому и шведскому интересу. Ей знакомо было это мелкозубое добропорядочное пожирательство без какой большой цели, память о котором шла от цербстского детства. Сияние талеров переплеталось с высокомерной надутостью. Некие фон Инкварты претендовали на налоговый сбор с округа Гросслибенталь, поскольку те, кому этот сбор доверен, злостно утаивают крупные суммы. Она вспомнила, что год назад в том же обвиняли самих фон Инквартов...

Елендсгейм!.. Она выпрямилась, увидев это имя среди взятых под стражу в городе Киле. В прошлый раз она сказала великому князю, что нет для того достаточных оснований. На аресте настаивал Брокфорд. Эта личность явилась именно из Килия в продранном камзоле и долго не называла своего настоящего имени. Потом целая толпа голштинских проходимцев набежала следом, и все недели тут офицерские мундиры. А советник Елендсгейм прислал из Гольштейна письмо, что означенный дворянин Брокфорд виновен в шантаже и присвоении казенных денег...

Она решительно встала и пошла на половину великого князя.

Дверь оттуда на ее сторону была заперта, пришлось обходить боковыми коридорами. Из внутренних комнат слышался громкий немецкий разговор, звенела посуда. Зайдя в кабинет с задней двери, она остановилась. Такого здесь еще она не видела. Посредине свисал с потолка длинный шнур, и к нему за хвост была привязана мертвая крыса. Рядом в полной форме голштинского войска, с ружьем в руке стоял Франц — привезенный из Киля лакей великого князя. Она коротко приказала ему позвать мужа. Тот, оставив ружье, дернулся было исполнять, но потом подхватил ружье и побежал с ним вместе.

В комнате было набросано что попало: кивера, перевязи, собачий хлыст, у стены стояли ширмы. Пахло псиной и чем-то кислым. На стене, прямо против двери, висел портрет прусского короля. Три года назад по заданию великого князя его написали с другого портрета в Берлине и привезли сюда. Она смотрела, узнавая. Резкое, словно из камня, лицо поворачивалось к ней. «Вам четырнадцать лет, принцесса, но судьбе угодно положиться на вашу рассудительность. Кто знает, не зависит ли от нее будущее Европы».

Да, и было нечто еще четырнадцать лет назад. Этот король взял ее на руки, когда разодралась с его рыжей сестрой Ульрикой: «Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царпать друг друга!» Ульрика пять лет уже на шведском троне рядом со своим мужем. Лишь у нее ничего не сбывается...

Громкий шум раздался уже поблизости. Дверь распахнулась, и вслед за бегущим Францем ворвался великий князь. Он злобно бранился и колотил здорового слугу кулаком по лицу, норовя попасть побольнее. За ним прибежали другие голштинцы, но, увидев ее, остановились в дверях. Впереди стоял Брокфорд, отбросив ногу в высоком сапоге и холодно наблюдая за происходящим.

— Что тут происходит, мой друг? — спросила она по-французски.

Великий князь оставил лакея и принялся с жаром объяснять, что сия крыса пробралась через посты устроенной им крепости, повредила бастионы и объела двоих его солдат, слепленных на крахмале. За такую диверсию, на основе военного устава, она приговорена к повешению. Караульный же солдат при ней оставил пост, за что также подлежит наказанию.

Она слушала со вниманием, рассматривая занявшую письменный стол картонную крепость и двух мундирных кукол с погрызанными боками. Раздвинув ширмы, великий князь показал на другом столе особенным образом устроенный плац, на котором ровными рядами стояли искусно сделанные солдаты. Все у них было, как настоящее, даже маленькие ранцы с ремнями.



На офицерах впереди колонны трепетали прусские плюмажи. Великий князь дернул проволоку, резкий неприятный звук повис в воздухе.

— Беглый ружейный огонь! — с восторгом крикнул он.

Она кивнула, повернулась от плаца:

— Я пришла узнать, по чьему приказу арестован Елендсгейм.

Великий князь сразу как-то сжался, забегал глазами.

— Вот... У него спроси! — он ткнул пальцем на Брокфорда и отбежал в сторону, как будто это его не касалось.

Она повернулась к Брокфорду.

— Этот мещанин осмеливается чернить благородных людей. К тому же он известный в Гольштейне вор и мошенник! — прокричал тот лающим голосом.

— Кто же обвиняет его? — спокойно спросила она.

— Все знают про это!

— Да, да,— мелко закивал головой великий князь.— Мне говорили!

— Но если так поступать, мой друг, то в целом мире не найдется невинного человека. При точном исполнении закона одних слов для обвинения недостаточно. Нужны достоверные свидетельства.

— Будут свидетельства! — вмешался от двери Брокфорд.

— Так делают варвары, мой друг: сначала арестуют, а потом ищут свидетельства вины.

Она говорила с великим князем, нисколько не обращая внимания на Брокфорда. Тот еще больше задрал голову:

— Но позвольте...

— Пошел вон! — сказала она ему по-русски, и тот вдруг понял, стал отступать в глубину коридора. Гольштинцы за его спиной тоже неслышно исчезли, будто и не было их вовсе. Она даже дунула от губы себе на лоб, где показался ей упавший от прически волос...

Великий князь, как ни в чем не бывало, ходил с ней взад и вперед, рассказывая, как сам станет во главе голштинского войска и отберет у Дании Шлезвиг. Мало того, он утопит всех до одного датчан в море и станет великим королем, подобным Фридриху.

— Но ваше высочество ждет более высокий, императорский трон,— заметила она.

Он скривился, как от зубной боли, зашептал с искренним чувством:

— О, это совсем не для меня... Не люблю здесь ничего. Этих попов, не приученных к порядку людей. Бегают, скачут куда хотят, во все стороны...

И тут же сообщил, что Воронцова назвала его дураком. Это принцесса Курляндская рассорила их, так как сама когда-то имела к нему чувство. Но он человек военный, и женщины ему ничем. А из фрейлин больше всех ему нравится девица Теплова, которая в самое близкое время сделается его добычей...

Она ходила ровно, и он послушно примерял к ней свой прыгающий шаг. Всякий раз приходилось отклоняться и обходить висящую крысу. Из того, что он рассказывал, все было несерьезно. Разве что с Воронцовой достаточно затянулось у него дело. Эта надутая дурочка хотя б научилась белье свое содержать в порядке. А два раза в неделю к нему привозили певицу из театра, которую звали Леонорой. С тех пор, как та ездила, у него открылись всякие постельные прихоти...

— Вы как думаете: если над канопе повесить накрест венгерскую саблю с прусским палашом, так понравится Тепловоу? — спрашивал между тем у нее великий князь, приставляя к стене оружие.

— Думаю, это очарует ее, — ответила она с серьезностью. Он даже зарозовел от радости.

— Кроме того, ваше высочество, настоятельно советую вам снять отсюда портрет короля Фридриха, — твердо сказала она.

Великий князь вдруг принял убежденный вид:

— Это великий человек, во всем и везде я равняюсь по нему!

— В этой ситуации он бы посоветовал вам то же самое.

— Вы так думаете? — спросил он неуверенно.

— Среди будущих ваших подданных идут разговоры о вашей приверженности к Пруссии. Если дойдет такое до ее императорского величества...

Тут он не на шутку испугался, даже сам потянулся снимать портрет.

— Перевезите его назад в Ораниенбаум, где он находился, — твердо сказала она. — И не держите вокруг себя одних немцев!

Великий князь заморгал ресницами, махнул рукой:

— Бросить бы все и уехать!..

Она с сожалением смотрела на него и думала, что там, в Гольштейне, ему и место. Уходя коридорами, она услышала перекрывававший других голос Брокфорда:

— Эту змею нам надо раздавить!

Шум немецких голосов раздался в поддержку.

Придя к себе, она открыла секретер и поставила перед собой небольшой овальный портрет, что дал для нее списать со своего ордена канцлер Алексей Петрович. Великий государь смотрел

с непреходящим бешенством, неукротимое движение было в его лице. Казалось, стоит он против ветра и даже усы чуть шевелятся от полноты жизни...

По просьбе канцлера она взялась писать еще одно — третье — письмо Степану Федоровичу Апраксину. Так надо было сделать, чтобы все повторялось из прежних писем, а добрый друг генерал-фельдмаршал пусть поймет, отчего их беспокойство. Самолично канцлеру никак нельзя предупредить его об интриге, которая соединяет вместе болезнь императрицы и поспешное отступление армии. Французский и австрийский посланники прямо требуют объяснений, а канцлера и ее заодно открыто связывают с действиями Апраксина...

Закончив с письмом, она теперь только достала из-за корсажа переданную канцлером бумагу, развернула вширь. Прямо без заглавия почерком секретаря Пуговишникова была она исписана до самого низу. Подписи тоже не было. Ей сразу увиделись слова: «и поскольку стоящим у кормила державы мужам надобно предусмотреть всякое, то в случае некоего происшествия с ея величеством все поперву оставить как было и на своих местах. Немедля лишь объявить императором великого князя Петра Федоровича и при нем участницей в управлении великую княгиню Екатерину Алексеевну, что согласуется и с принятым в государствах законом...»

Что же, таковая озабоченность непредусудительна для канцлера столь обширной державы. К тому же, где-то в неизвестном месте содержится другой претендент на престол, имеющий такие же права. Ее же позиция здесь наблюдательная. Это уже третий список предполагаемого манифеста на случай кончины императрицы, и канцлер считает необходимым представить его не великому князю, а ей. Не исправляя текста, она свернула бумагу, тронула колокольчик. Верный Шкурин, не допуская к ней никого в такое время, неслышно явился рядом. С той стычки, что некогда произошла у них, камердинер знал только ее одну. Она отдала письмо и бумагу для канцлера. Такое она доверяла ему одному...

Никакой пропасти больше не было. Хлоя разгадала своего Дафниса, и пропасть сомкнулась. Значилась лишь твердо очерченная линия, через которую она по необходимости переступала. Лишь по ту сторону черты волновали ее любезные слова. Здесь они повторялись на театре и в жизни, пусть даже и казалось говорившим, что идут от пламенного сердца...

Ровно в семь, когда сделалось темно, раздалось кошачье мяуканье. Уже одетая, она подошла к окну на переулок, чуть

стукнула в окно. Потом прошла к задней двери. Там ждала карета без фонарей. Лев Нарышкин, сидевший за кучера, еще раз мяукнул, и они помчались боковыми улицами.

Знакомые стрельчатые ворота были приоткрыты. Она сошла. Карета загрохотала во тьме по каменной мостовой в объезд дома. К ней протянулась рука...

Три свечи горели в высокой подставе. Темной бронзой отливали зеркала. Она лежала, утомленная. Он стоял при ней на коленях и целовал руки, плечи, пальцы на ногах.

— О, светозарна панна... Кохана моя!

Не в силах сдержаться, он положил голову к ней на слегка увеличенный живот, а она гладила его мягкие разбросанные волосы. Пламенная страсть его была искренней, и она улыбалась в бронзовой полутьме...

Кошкин ждал ее при двери. Она прошла к себе, сама привела себя на ночь в порядок, легла. Ей вспомнилось, с какой безыскусной пылкостью ласкали ее некие руки, и она опять улыбнулась. Потом отстранила это от себя и стала думать об Апраксине. Сегодня вечером сделалось известно, что императрица распорядилась отозвать главнокомандующего от армии...

## II

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин болел. Хворь привязалась еще третьего дня и заставила сидеть дома. Завернутый в старый шлафрок, он пил английский отвар с сухой малиной, что сам придумал от простуды, но дел не оставлял.

Понятовский!.. После того, как молодой красавец поляк, бывший здесь как личный секретарь английского посланника Уильямса, все же должен был покинуть Россию, то остался здесь уже как полномочный посол от саксонского и польского двора. Такого никак нельзя было делать. Чарторыйские с Понятовскими, коих прямо именуют там «русской партией», стоят в открытой оппозиции к королю. Но великая княгиня сказала лишь со своей приветливой улыбкой:

— Всем известно, Алексей Петрович, что Брюль в Варшаве хлеба куска не съест, пока не сделает, чего хочет великий российский канцлер. К тому же, не я одна обязана Понятовскому...

Да, по протекции великой княгини Понятовский во всем содействовал российскому интересу в английских делах. Есть даже и его, великого канцлера, тайная обязанность перед ним. Но для политики все должно пренебречь, когда бы не желание

великой княгини. Если она так улыбається, то напротив говорить не приходится. А Понятовский для нее лишь предмет чувства, что входит в круг ее интересу. Даже и Салтыков, который сидит теперь в Гамбурге, применяется ею как пересылщик писем для матери в Париж. Из того урока с ним она вывела правильный результат. Самое это необходимое в науке правления: отделить всякую чувствительность от дела.

А ему-таки пришлось употребить свою волю к польско-саксонскому кабинет-министру, чтобы тот именно Понятовского назначил в Россию. Только сразу две интриги произошли от того. Поляки кричат, что русского агента послали в Петербург, здесь же Воронцовы да Шуваловы вкупе с французским посланником прямо видят в том английскую игру. Будто бы он с великой княгиней привержены английскому, а следовательно прусскому интересу, да и Апраксина подговорили к тому. Императрица в болезненном своем состоянии всему может поверить...

Канцлер придвинул к себе лист, исписанный круглым почерком Пуговишникава. Ни одной пометки рукой великой княгини не значилось там. Лишь чуть заметно острием ногтя были снизу придавлены слова: «участницей в управлении».

### III

Ровный вой слышался еще с ночи. Ни на минуту не затихающий, он раздавался со всех сторон: от леса, от поля, от реки, текущей через Ростовец, от синего, с бегущими тучами неба...

Поручик Ростовцев-Марьян, в дорожном плаще и ботфортах, присел на лавку у стены. Отец, Семен Александрович, и мать, Анастасия Меркурьевна, сели на стулья по обе стороны от стола. И Маша с выдающимся под теплым платком животом села рядом с матерью. Еще на лавке присели домашние: незамужние сестры и тетка Аграфена — единственная их крепостная душа, вскормившая самого Семена Александровича и сына его, поручика. Потом все встали, перекрестились на угол, вышли во двор. У ворот уже стоял возок, где в такой же офицерской форме сидел Федька Шемарькин. Обоих их вызывали из годового отпуска...

Как и следовало, поручик поцеловался с отцом и матерью, с женой, поцеловал прочих.

— Помни... государыне и отечеству! — сказал отец.

И здесь вдруг Маша метнулась к нему, ухватила за шею, заговорила быстро, стонуше, не по-русски. Она произносила отрывистые слова и вроде бы пела. Все стояли молча: никогда она здесь не говорила по-своему. А поручик гладил ее по разметанным волосам и тоже что-то сказал, будто по-татарски...

Вой приблизился вплотную. Они ехали в возке с Федькой Шемарыкиным, а справа и слева шли рекруты с ростовецкой округи. С ними шли жены и дети. Бабы кричали ровно, безостановочно, ничего не видя перед собой. Дети плакали тонкими голосами, цепляясь за подола. А мужики шагали молча, поднимая пыль. С тропинок, с боковых дорог вливались все новые отряды, и не различить уже было отдельных голосов.

Они поехали обочиной, обгоняя нескончаемую рекрутскую колонну. Обоих, ёго и Федьку, назначили в один полк. Кузьма, человек Шемарыкиных, привстал на облучке, щелкнул вбок кнутом, спросил с недоумением:

— Значит, не под шведа?

— Под пруссака,— сказал Федька.

— Хм, пруссака... В какой же стороне народ такой живет?

## Десятая глава

### I

«Вчера вечером арестован граф Бестужев, лишен всех должностей и чинов. Арестован также ваш брильянтик Бернади, Елагин и Ададунов...»

Не отнимая книгу от глаз, она еще раз прочитала принесенную записку, которую положила между страниц. Рука Понятовского, как видно, дрожала: конец строчки загибался книзу. Она коротко скомкала бумагу... Что может быть поставлено ей в прямую вину? Итальянец ходит во все дома и редко где не получает женских заданий особого свойства. Иван Перфильевич Елагин до конца ей предан и не скажет вредящих ей слов. Также и Ададунов, который лишь знает о ссорах ее с великим князем. Но взяли почти всех близких ей людей...

От Бестужева прежде всего станут искать выход к ней. Письма ее к Апраксину — с ведома канцлера, не таят ничего преступного. Главное, манифест: тот самый, писанный Пуговишниковым. Хоть и нет там ее руки, однако если с должным объяснением представлено будет императрице, то возымеет свое действие...

Она закрыла глаза, увидела изнутри храм в золотом свечении. Вдали, меж рядами колонн, были распахнуты ворота. Неисчислимое количество народа стояло в солнечном сиянии, а прямо напротив, в синем небе, светилась звезда...

Она отодвинула книгу и велела все делать по намеченному вчера распоряжению. Доложили о карете, приготовленной для выезда в академию.

В коридорах было сыро и полутемно. Господин советник Шумахер, забегая вперед, отодвигал вывалившееся из печки полено, делал выговор служителю. И, объясняя ведение различных наук, удивительно правильно говорил по-немецки. В холодных комнатах почти не было людей, стояли глобусы, шкафы с колбами, звериные чучела. К концу лишь осмотра услышала она живой шум голосов и поспешила в конец здания. Советник бросился вперед, загораживая проход, но она твердо указала ему пальцем на сторону.

Из комнаты пахло теплом. Войдя в дверь, она сразу увидела младшего Шувалова. Известно было, что тот свое свободное время проводит здесь, к неудовольствию императрицы. По болезни та сделалась ревнивой даже к научному занятию своего любимца.

Граф Иван Иванович при виде ее растерянно опустил тетрадь, которую держал в руке, породное, красивое лицо его зарделось. На стульях возле большого стола сидели еще люди. Огромный человек подкладывал дрова в раскрытую голландскую печь. Посмотрев мимо нее и увидев сзади советника Шумахера, он выпрямился во весь рост и громоподобно прокричал трехсловное русское ругательство.

Все застыли. Бывшая с ней фрейлина Измайлова отступила назад. Но она, будто ни в чем не бывало, шагнула в комнату. Как ей показалось, другой, такой же большой человек с гривой белых волос и в потертой немецкой куртке, спрятал в этот момент под стол бутылку...

Она сразу определила их. Тот, у печки, был великий русский, о котором сам Эйлер писал, что нет сейчас в Европе столь сильного ума к распространению истинного естествоведения, не говоря уже о даре слова. Немец же — его антипод, с которым ведет постоянную войну. Тот тоже знаменит пользой от исследования Сибири. Говорят, что и побоища случаются между ними, но всякий раз первый пишет похвальную оду императрице, и все прощается. Зато оба ненавидят ведущего канцелярию академии советника Шумахера, донимающего их службистской ревностью и тупоумием, за что и объединяются против него... Все склонились. Русский профессор смотрел на нее с виноватой хмуростью. Тут могло быть и мнение меценатствующего при нем младшего Шувалова. Она улыбнулась и стала говорить стихи:

Расти, расти, крепися,  
С великим прадедом сравнися,  
С желаньем нашим восходи.  
Велики суть дела Петровы,

Но многие еще готовы  
Тебе остались впереди.  
Когда взираем мы к востоку,  
Когда посмотрим мы на юг,  
О коль пространность зрим широко,  
Где может загреметь твой слух.  
Там вокруг облег дракон ужасный  
Места святы, места прекрасны  
И к облакам сто глав вознес!  
Весь свет чудовища страшится,  
Един лишь смело устремиться  
Российский может Геркулес.  
Един сто острых жал притупит  
И множеством низвержет ран.  
Един на сто голов наступит,  
Восставит вольность многих стран...<sup>1</sup>

Читала на память она вовсе чисто по-русски. И выбрала не недавнюю оду к рождению дочери, а ту, согласную с ее мыслью, на рождение сына-наследника. Все глядевший исподлобья русский великан как бы первый раз слушал свои собственные стихи.

Она вдруг вспомнила о главном предмете спора у того с немецким собратом: чего больше в корне русском — норманского или славянского. Некий злослов утверждает, что названная битва с немцами оттого набирает ярость, что у самого профессора жена-немка. Только у Петра Великого оно не сказывалось. А ученый немец за столом, с львиным волосом и глазами сатира, как-то не со своим — с заезжим германцем — до дуэли разодрался, когда коснулся тот чести России...

Опять все склонились на ее уход.

— Ваше высочество! — у советника Шумахера мелко дрожали губы, и все оглядывался на оставленную комнату. — Непочтение и грубость их ни с чем не сравнимы...

Не взглянув на него, она села в карету.

Ей передали в руки младенца, и что-то горькое и теплое поднялось из неведомой глубины, затуманило глаза. Она держала этот живой комок плоти и ощущала стук маленького сердца.

...Крестные матери Екатерины Алексеевны... нареченного раба божия Бориса...

Иерей Измайловского полка — отец Алексей Михайлов — со строгостью выполнял обряд. Вода в купели была чистая и чуть

---

<sup>1</sup> М. В. Ломоносов. Ода на рождение великого Павла Петровича.



синева. Солдат Савельев с восторженной преданностью смотрел на нее. Потом, по обычаю, сидели за столом в его доме, в Калинкиной деревне при полку, ели пироги с рыбой. Чуть ли не третью часть комнаты занимала огромная печь, раскрашенная в желтые и голубые тона, знаменующие солнце и небо. В этом году она уже четвертого ребенка крестила у измайловцев...

Ей сказали, что великий князь, безмерно испуганный, бегал к императрице. Говорил, что Бестужев и жена всякому его учили, а он лишь виновен, что голштинских офицеров к себе выписал. Только ее величество слушала немилостиво, а по уходу племянника сказала: «И в кого только удался этот урод!»

Она дотронулась до вспухшей груди. Молоко горело в ней. Ей вдруг до боли захотелось побежать, взять на руки родившуюся недавно дочь, прижать к сердцу, губам, к лицу. Даже сделалось жарко от такого желанья. Лишь два раза увидела она ее за месяц. Ей, а также и великому князю, было дарено за то высочайше по шестьдесят тысяч рублей, а дочь нарекли в память любимой сестры императрицы Анной...

Был исход масленицы, и она пошла к обедне.

Вечером она танцевала в бале, поскольку сразу три фрейлины императрицы шли замуж: Анна Воронцова — за графа Сроганова, Закревская — за Льва Нарышкина и Мария Воронцова — за графа Бутурлина. За спиной ее у колонны громогласно спорили на английский манер граф Кирила Григорьевич Разумовский и датский посланник Остен, кто из трех женихов раньше других сделается рогат.

Она отделилась от своих фрейлин и подошла к посаженному отцу свадьбы, Никите Трубецкому, будто бы посмотреть ленты на маршальском жезле.

— Что все это значит? Чего больше вы отыскиали: преступников или преступлений? — спросила она прямо.

— Мы сделали, что было приказано, а преступлений еще ищут! — ответил он.

— Бестужев арестован, но доказательств нет! — сказал ей, не таясь, фельдмаршал Бутурлин.

Оба были следователями по делу Бестужева.

Уже ночью, после бала, Шкурин неслышно впустил к ней голштинского министра Штамбе. Тот прошептал, что получил от арестованного канцлера Бестужева записку. Для нее там были слова: «пусть не беспокоится великая княгиня о чем ей известно... Было время все бросить в огонь». Она послала тут же

камер-фрау Владиславу к секретарю Пуговишникову: «Вам не надо опасаться — успели все сжечь...»

Наутро арестовали Владиславу. Постоянный надзор поставили за Понятовским. К кому она ни подходила, с кем бы ни заговорила, брались под подозрение. Ее стали сторониться, и она решила никуда не ходить из своих комнат.

На другой половине великий князь устраивал музыкальные концерты. Ей говорили, что фрейлина Елизавета Воронцова по своему вкусу передвинула там мебель и держит себя хозяйкой. К ней заходил лишь старший Шувалов и молчал, дергаясь лицом. Она смотрела на его руки — беспокойные, с синеватыми пальцами, думала, как распоряжается он пыткой у себя в Тайной канцелярии.

Потерялся счет дням. Даже когда на другой половине было тихо, ей все слышался музыкальный шум. Дважды она писала императрице с просьбой объяснить. Шувалов брал и уносил письма.

Все спокойно обдумав, она написала третье письмо... «Ничайше и дочерне благодарю Ваше императорское Величество за все милости и благодеяния, оказанные мне от дня моего приезда в Россию. По несчастью, оказалось, что я не заслужила этих милостей, поскольку навлекла на себя только ненависть супруга моего, великого князя, и явную немилость Вашего Величества. Видя свое несчастье и оставаясь одна в целом свете, лишенная друзей и самых невинных развлечений, умоляю Ваше Величество прекратить мои невзгоды, отправив меня к моим родителям под тем предлогом, какой признается более приличным. Что же касается детей моих, то хотя я и живу с ними под одною кровлею, но вовсе не вижу их, и поэтому мне все равно, быть ли в том месте, где и они, или в нескольких сотнях верст от них. Я знаю, что Ваше Величество печется о них несравненно более, нежели сколько позволяли бы мне мои малые способности. Дерзаю просить о продолжении этих попечений и, убежденная в этом, проведу остаток дней у своих родных, моля Бога за Ваше Величество, за великого князя, за моих детей и за всех, сделавших мне добро или зло...»

Она отдала письмо в синие пальцы Шувалова и сказала, чтобы тот прочитал. Отвернувшись, прижала платок к глазам. Слезы опять лились помимо воли...

За спиной послышался какой-то звук. Она обернулась и увидела, что Шувалов плачет вместе с ней. Лицо его страшно подергивалось, слезы стекали на служебный мундир. Это было до того неожиданно, что она взяла его за руку, успокаивая. Такого

не могло быть ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии — нигде, кроме России...

Императрица при чтении письма тоже плакала. О том ей рассказал сам Шувалов. Только никакого ответа не было и ничего не менялось.

В вербное воскресенье, когда она, по установленному для себя правилу, двести раз проходила из угла в угол комнаты, к ней вошла новая камер-фрау Екатерина Ивановна Шаргородская, упала на колени:

— Ваше высочество, все мы боимся, что вы умрете с горя. Дозвольте переговорить с дядей моим, который ваш и государыни духовник!

Она дала согласие. В третьем часу ночи, как было договорено, она объявила себя больной и послала за духовником. Обычно осторожный и неговорливый, отец Федор Дубянский со вниманием слушал ее, потом твердо сказал, что все сегодня поведает ее величеству. Прямо от нее он пошел в покои императрицы и сидел там до утра...

Ее предупредили, чтобы ждала, и она прилегла на кушетку одетая. Во втором часу ночи пришел за ней Шувалов и объявил, что ее величество ждет ее к себе...

В передних комнатах у императрицы никого не было. Вдруг она увидела, как из дальней двери вышел и побежал впереди их великий князь. Они вошли следом.

То был малый приемный зал с тремя окнами и ширмой у внутренней двери. По стенам жарко горели свечи. С гневом и сожалением смотрела на нее императрица. Она прошла и упала на колени, заливаясь слезами.

— Как мне отпустить тебя?.. Тут же твои дети! — спросила императрица.

Подняв голову, она увидела, что та сама плачет, ладонью утирая слезы.

— Дети мои в ваших руках, и нигде им не может быть лучше, — твердо сказала она.

Императрица потянула ее с пола, но она не вставала.

— Какой же причиной объявить твой отъезд?

— Коль найдете приличным, то объявите всему свету, что же навлекло на меня вашу немилость и ненависть супруга моего.

Императрица вздохнула:

— Чем будешь жить у своих родных? Отец твой умер, а мать в бегах в Париже.

— Тем, чем жила до того, как вы призвали меня к себе.

— Хорошо, встань! — уже новым голосом сказала императрица, и она послушалась.

В комнате находились четверо: она с императрицей, великий князь и Александр Иванович Шувалов. На минуту ей показалось, что пошевелилась материя у ширмы. Там еще кто-то стоял. А на туалетном столе лежали свернутые листы. Она узнала свою руку: то были письма ее к Апраксину...

Императрица в задумчивости стояла перед окном. Высокая фигура ее болезненно расплылась, заметно дрожала голова. Великий князь на другом конце комнаты шептался о чем-то с Шуваловым. Ширма чуть сдвинулась с места, и она увидела край французского кафтана, в каком ходил здесь только один человек. Шуваловы со всех сторон окружили ее императорское величество...

— Твоя непомерная гордость всему причина. Даже мне едва кланяешься!

Теперь императрица громко обвиняла ее.

— Боже мой, осмелюсь ли я, ваше величество! — тихо сказала она.

— Воображаешь, что нет человека умнее тебя, — оборвала ее императрица. — Ты мешаешься во многие дела, которые до тебя не касаются. Как смела посылать приказы Апраксину?

— То были одни дружественные письма.

Императрица показала рукой на туалетный стол:

— Вон они: все здесь лежат!

— Значит, ваше величество могут убедиться в моей невиновности. Ошибка моя лишь в том, что кому-то писала, несмотря на запрет для меня всякой переписки.

— Бестужев говорит, что было много других писем.

— Если Бестужев говорит это, он лжет!

— Хорошо же, прикажу пытать его.

В голосе императрицы была усталость. И тут подскочил великий князь:

— Видите... видите, как она зла. Я говорил вам... Все напротив делает. И с Бестужевым вместе!

Императрица покривилась, словно от зубной боли, махнула ему рукой, чтобы отошел в сторону. Потом оглянулась на ширму, тихо сказала:

— Ты, голубушка, не дури... А сказать тебе больше сейчас не могу, чтобы все вы вконец тут не передрались. В другой раз, без людей...

— Я буду ждать того, матушка, чтобы открыть вам свою душу и сердце! — прошептала она.

— Давай... ломи, гвардионцы!

Сенявина и Измайлова рядом с ней кричали вместе с народом. Тысячи празднично одетых людей стояли на этой и на той стороне реки. А на крепком припорошенном снегом льду стенка на стенку сошлись бойцы; с той стороны мещане и корабельи, с этой — разный служивый люд. Впереди в белых нательных рубахах бились пятеро братьев-гвардейцев. Они клином вошли в противный ряд, тесня его к другому берегу. Когда кого-то сбивали с ног, тот, по правилу, вставал и уходил в сторону. С синего неба сыпалась сверкающая на солнце крупа. Ровный сильный ветер дул в сторону залива. Гудели колокола...

С того берега сбежали новые бойцы. Громадный мужик с черной бородой и еще двое с ним заменили упавших. Братья-гвардейцы остановились, стали пятиться назад. Один из них, подросток, пошатнулся. Толпа на этом берегу зашумела.

— Гляди-тко, сдают гвардионцы...

— Теснят мещанишки!

Она вскочила на приступку кареты, звонко закричала:

— Вперед, Орловы!..

Первый из братьев обернулся к ней, улыбнулся слепяще, алая кровь стекала с белых зубов. Ветер трепал между глаз у него витую прядь волос. Потом, чуть присев, он с крутого маху ударил чернобородого мужика. Тот зашатался и рухнул.

— Ур-ра!.. Вперед! — подхватили в толпе. Противная стенка дрогнула, стала отступать к тому берегу.

Она вдруг вспомнила, что нашла слово, какого нет ни в каком другом языке. От древнего, исконно русского корня оно, означавшего мужскую природность. Много понятий от него: удача, удивление, удовольствие. И еще — удаль...

## II

«Ее императорское Величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и не прямое совести и долга очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем!..»

Секретарь тайный Дмитрий Волков читал высоким строгим голосом. Самый опасный и есть он из четырех, поскольку умен и к сорока годам чина и места, достойного своего таланту, не приобрел. Также и Александр Иванович Шувалов опасный, да

лишь с боку своей натерелости в розыске. Двое остальных: князь Никита Юрьевич Трубецкой да Бутурлин, сидя на стороне, только хмурили брови.

Волков еще больше возвысил голос:

— Для чего ты предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много князя?.. Для чего скрыл ее переписку с Апраксиным?..

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин смотрел в поперечную балку потолка допросной комнаты и отвечал, как на заседании, ровным тихим голосом:

— У великой княгини милости не искал, паче же старался с веления ее императорского величества открывать ее письма... Только ее высочество переменяла совсем свое мнение и возненавидела короля прусского, также и шведского, коего любит лишь по родственному правилу токмо как дядю. Я же старание имел не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, чтобы и великого князя к тому привела. О чем и трудилась великая княгиня, да только труды те разрушались от природного пруссака Броуна, обер-камергера их двора Брокдорфа и прочих около великого князя находящихся людей. Там бы и искать следует, отчего королю Фридриху, что тут решается, все быстро известно становится...

— Есть захваченная от тебя уже из-под ареста записка к великой княгине, коей совет даешь держать себя твердо, поступать смело и с бодростью, присовокупляя, что подозрениями доказать ничего невозможно. Так не прямо ли означают сии слова, что и скрывать было что?

Волков даже привстал от усердия. Кому-то желается все на великую княгиню переложить, да только дальше своего носа не видят. При царе-дураке, конечно, вольготней будет житься, да как бы сама Россия от того не кончилась...

Он, по своему правилу, переждал минуту и другую, выводя из равновесия допросчика, и опять спокойно ответил:

— Великой княгине поступать смело и с твердостью советовал, но только для того, что письма ее к фельд-маршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержат.

Секретарь тайный Волков вдруг расслабился, невинно повел глазами в сторону:

— При получении графом Понятовским отзыва от нас зачем через саксонского и польского кабинет-министра Брюля удерживал его здесь?

Так и есть, прямо на великую княгиню предлагают ему указать, тогда и вина его будет наполовину снята. Только не этому рыбарю ловить его в сеть. Когда государственный ты человек, надобно вперед уметь видеть, что произойдет в державе.

И не кильский инфант, а рисуется там некое иное правительство. Так что и всю вину для того он примет на себя.

Опять переждал он, пока покраснеет шея у Волкова, и заговорил тем же голосом:

— Подлинно, что сам и без чьей-то просьбы старался задержать тут посланника Понятовского. А для того так делал, что, видя на себя гонение перед государыней со стороны полномочного министра австрийского Эстергази и французского Лопиталья, хотел хоть одного дружественного к себе человека среди иностранных послов сохранить, который сообщал бы мне об их замыслах.

Волков даже позеленел с досады, пальцы его выбивали бесшумную дробь по столу. И вдруг, схватив лежащий в стороне лист бумаги, стал громко читать:

— Известно тебе, что сентября 8-го числа в прошлом годе имела ее величество некоторый припадок болезни. Памятно также тебе, что Апраксин, стоя под Тильзитом, вдруг 14-го и 15-го числа, все бросая, начал с поспешением назад уходить. Дает это справедливую причину подозревать, что об упомянутом припадке уведомлен был. И потому имеешь показать, не ты ли его о сем уведомил, или хотя не ведаешь, что кто-либо другой такое сделал?..

Секретарь Тайной канцелярии не закончил еще читать, как вместе встали со своих мест князь Никита Юрьевич Трубецкой и граф Александр Борисович Бутурлин. Даже и Шувалов тяжело дернулся лицом, замахал руками.

— Нет, то не пойдет! — сказал Трубецкой.

— Таков вопрос не может быть поставлен.— Бутурлин потряс головой.— Всем известно, что еще заранее происходил военный совет, и генералы сообща подтвердили отступление. Там и Фермор был, что сейчас командование на себя взял...

— Что же ты, Александр Иванович, допустил такой подлый вопрос сановнику и дворянину поставить? — недовольно спросил Трубецкой.

Шувалов молча подошел, выдернул из руки секретаря лист, положил назад на сторону. Все молчали, не зная, что дальше говорить. Арестованный канцлер Бестужев-Рюмин холодно смотрел мимо них...

### III

Армия с ночи строилась на позиции. Передавали слова главнокомандующего: «Вершинки, вершинки кругом занимайте, бугорки. Сверху-то идти на врага сподручней!» Роте капитана Ростовцева-Марьина отведено было место у ручья. Здесь кончались лесистые холмы, а по ту сторону ручья виделась ровная

пашня. Это был левый фланг армии, а правый, скрытый лесом, доходил до реки Одера.

Все же и здесь нашли возвышенное место, а сзади недалеко виднелась деревня Кунесдорф. Среди редких сосенок встали ростовцевская рота и рота капитана Шемарькина. Полковник фон Визин, трижды объезжавший позицию, лишь подергал серые усы и ничего не сказал. Солдатам разрешили отдохнуть, и они так и сидели при ранцах колонной на посыпанной хвоей земле. Съехавшиеся к ручью офицеры сошли с лошадей и говорили, что, может быть, ничего и не произойдет: король Фридрих до сих пор все трепал австрийцев, так, может быть, и теперь бросится в сторону корпуса генерала Дауна. Тот сам не исполнил обговоренный в петербурге план и не пришел в назначенное место к Одеру, чтобы соединиться с русской армией. Пусть теперь и пеняет на себя...

Послышалась труба. Офицеры попрыгали на коней и поскакали к своим ротам. Солдаты по команде встали, выровняли колонны. От большого леса, где стоял авангард, ехали генералы. Издали узнавали высокую фигуру генерал-поручика князя Голицына. Только потом увидели рядом с ним на маленькой лошадке главнокомандующего, и сразу все заулыбались: и офицеры, и солдаты.

Сейчас граф Петр Семенович Салтыков хотя бы мундир правильный генеральский на себя надел, а то к армии приехал вовсе в каком-то белом ландмилицком кафтане, что носил в пограничной с Крымом Украине. Однако же и генеральская одежда на нем была как бы домашняя. И сам он — маленький, седенький, с предобрыми глазами и стеснительными движениями никак не походил на настоящего генерала. Поддерживаемый едущим рядом полковником, главнокомандующий слез с лошадки, вроде бы приехал в гости, замахал руками, чтобы не давали никакой команды, покивал головой солдатам.

— Это хорошо, что на вершинки встали. Сверху оно и виднее, и идти легче! — похвалил он. Потом посмотрел направо и налево, оглядел поле впереди и задумался.

— Вот что, батюшка Александр Михайлович, кабы батарейку туда поставить, — он показал князю Голицыну на лошину между двумя возвышенностями. — Как ты думаешь, хорошо ли будет? Пруссак, он прямо ходит...

В лошину повезли пушки. Главнокомандующий опять всем покивал, сел на лошадку и поехал к авангарду.

Скоропостижный король и впрямь появился внезапно. Будто из-под земли выросли ровные колонны, быстро катились пушки, стремительно двигались по полю значки и штандарты. Казалось,



со всех сторон готовится он атаковать русскую армию. Ростовцеву-Марьину было видно, как прямо напротив пруссаки устанавливают двойную батарею. Но колонны прусские беглым шагом все маршировали направо, строились там в ордер-баталии. Будто бы знал хорошо король, что у Одера слабейший фланг русской армии. Как вдруг столб черного дыма поднялся высоко за лесом. Прискакавшие адъютанты сообщили, что по приказу главнокомандующего генерал Тотлебен поджег там мост через болото, затруднив тем атаку противнику. И тогда сразу вся прусская армия повернулась сюда, стала маршировать к левому флангу. Не успели здесь разобраться в пыли и грохоте барабанов, как ударили с поля пушки. Где-то сзади упало ядро, послышался долгий крик боли...

Совсем уже близко видны стали идущие плотно прусские колонны. Они выходили где-то из продолжавшего лоцину оврага и шли прямо на русскую линию. Капитан Ростовцев-Марьин различал уже черные стрелки усов у прусских офицеров и приказал изготавиться для стрельбы.

И тут загремели пушки из лоцины. Будто уперлись в невидимую стенку неприятельские колонны, замедлили движение и встали. Роты Ростовцева-Марьина и Шемарькина стреляли залпами, меняя шеренги. Однако то длилось недолго. Послышались свистки, заиграли трубы, и колонны, повернувшись влево, беглым шагом пошли на замыкающий русский фланг гренадерский полк. Туда же повернули стрельбу и прусские батареи. Было видно, как атакванные сбоку гренандеры дрогнули, стали отступать. Передовая неприятельская колонна прошла глубоко уже в русскую линию.

Выехавший открыто на холм генерал-поручик Голицын строил из двух мушкетерских полков новую линию, за ней другую такую же. Все медленее шли пруссаки. И опять неприятель начал перестраиваться: из другого фланга и центра, от дальнего тыла стали беглым шагом маршировать сюда его отряды, все вливаясь в раздвинутую русскую позицию. Потом уже и земли стало невидно от плотно стоявших прусских полков. Русские выстраивали сзади уже третью линию.

Ростовцев-Марьин от своей возвышенности с интересом наблюдал за сражением. Как внезапно заиграли трубы, вся прусская армия повернулась вдруг направо и одной общей колонной пошла прямо на него...

Он стоял и смотрел, не в силах отвести глаз от ровного огромного ромба, от одного края горизонта до другого занявшего все поле. Будто единое существо двигался он: страшно, неумолимо. Черно-красный штандарт чуть покачивался посредине. Там шагом ехала кавалерская группа с рослым человеком впереди.

Белый конь играл ногами, и султан подрагивал на треугольной шляпе...

Кто-то дернул его за рукав. То был Шемарыкин. Они закричали команду, и солдаты побежали строиться на другой край холма. Артиллеристы в лощинке поворачивали пушки...

Что было дальше, он не помнил. Все пролетело как бы в единый миг. Весь огромный ромб, воняя потом, кровью, полыхая огнем, прошел мимо, ломая с угла русские линии центра и другого фланга. Но, как и здесь, на вершинках, кругом оставались батальоны и роты, из низин вразнобой стреляли пушки. А когда единая прусская колонна, окровавив себе бока и потеряв силы, дошла почти к Одеру, по ней раз за разом стали ударять спрятанные назад свежие корпуса и полки генерала Фермора, генерал-поручиков Румянцева и Вильбуа, генерала Панина, бригадира Брюса, австрийский корпус генерала Лаудона, союзные императорские германские полки генералы Компителли. Ромб все таял. В последнюю помощь ему скакали черные королевские гусары. Но впереиз им бросились чугуевские казаки. Когда в действие была приведена русская и австрийская кавалерия, ромб начал распадаться...

Капитан Ростовцев-Марьин вдруг заметил, что уже заходит солнце. Когда проходил рядом прусский клин, ротная колонна распалась. Солдаты припали к земле и продолжали стрелять, передавая вперед заряженные ружья. Он с удивлением подумал, что, может быть, оттого многие и остались живы. Соседние колонны, стоявшие в рост, были полностью выбиты...

Пушки больше не стреляли, лишь где-то за лесом глухо ухали особые «шуваловские» гаубицы, бросая тяжелые ядра на одерскую переправу. Вдалеке по полю кучками убегали пруссаки. Неожиданно раздался крик. Совсем близко по паханому полю за ручьем мчались всадники. Штандарта и шляпы с султаном больше не было, но Ростовцев-Марьин узнал крупную белую лошадь.

— Фе-едька... король! — закричал он что было силы и побежал к коню. Он скакал без шапки и без оружия, с одним палашом в руке. Волосы трепались на ветру и падали на глаза, мешая смотреть. Рядом скакал Федька Шемарыкин и свистел, вроде на зайцев. Еще трое или четверо увязались за ними. Кони у пруссаков стали приставать. Король убегал, пригнув спину и не поворачивая головы. С ним скакали черные гусары. Пятеро из них придержали коней, повертели их и шагом поехали к ним навстречу. Ростовцев-Марьин, изготовив палаш, уже примерился к одному. Слепящий луч ударил ему в голову, и он увидел угасающее, клонящееся к земле солнце...

Пахло ростовецким сеном, что складывали для коровы при дворе. От того двора, наверно, он и дворянин. Рядом слышался чей-то разговор. Он открыл глаза и увидел главнокомандующего. Они лежали в ряд при каком-то сарае на сене, в повязках и корпии, а тот шел с другими генералами, останавливался всякий раз. И возле него остановился и вздохнул:

— Молочка... тепленького молочка им достаньте. Тут обязательно есть...

## Одиннадцатая глава

### I

Когда она вошла с траурным крепом на глухо закрытом платье, лицо императора собралось в комок: подбородок сближился с носом, а влажные губы со злой капризностью растянулись до ушей. В первый раз она это увидела у мальчика в Эйтине двадцать два года назад, когда суровый и злобный воспитатель потащил его за ворот к углу и велел смотреть оттуда, как другие едят его любимое кушанье. Теперь этот мальчик — император. Шесть месяцев назад она сама стояла в числе прочих, когда в день смерти императрицы Елизаветы гвардия, сенат и сановники давали ему присягу. Ни слова не говорилось о ней и о сыне, а право наследования утверждалось словом государя. Лишь потом вписали их в манифест, лишь как супругу-императрицу и великого князя. Дочери Анны — великой княжны с тонким польским профилем к тому времени уже не было. К двум годам девочка не перенесла фланелевого кутанья и безудержно жарких дворцовых печек, лицетворивших невосполнимую императрицыню тоску по детям. Не значилось там и другого ребенка, который бился и стучал в ней, скрытый траурным платьем, в час присяги новому императору всероссийскому...

То был уже впитанный в ее плоть и кровь русский способ жизни. Начался он тогда, когда вместо нудных логических объяснений по поводу своих долгов она тихо сказала: «Виновата, матушка!» Дочь Петра Великого даже испугалась такого ее проникновения в характер. Теперь она покорно слушалась богом определенного ей супруга, и все делала по-своему. Креп, надетый ею, знаменовал дочернюю и верноподанную любовь к почившей шесть месяцев назад императрице, но означал он и другое. Большой портрет родового врага России висел сейчас, украшенный золотой рамой при входе сюда. Умное, словно бы точенное из камня лицо было знакомо ей. И за столом на четырехеста персон начиналось здесь трехдневное празднество по случаю

трактата вечного мира и дружбы с Пруссией. Все тут были в светлых, сверкающих бриллиантами платьях...

Все продолжало оставаться по-прежнему, когда она вошла, однако находившиеся тут сделали некий к ней поворот. Так было, когда являлся в бал прежний канцлер. Он так и оставался в изгнании, когда даже Миних с Биромом возвращены были вместе в столицу. Всепрощение происходило при каждом новом воцарении, но по поводу Бестужева-Рюмина его императорское величество сказал: «Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моей женой. И тетушка строго наказывала не освобождать Бестужева из ссылки». То было фантазией, и никогда так не говорила покойная императрица...

Прусский мир был объявлен императором при еще не остывшем трупе государыни. Эйтинский мальчик кричал, что готов быть полковником у великого прусского короля. Он сшил себе прусский мундир и надевал перед гвардией и двором. А потом прусскую армию, которая только что заходила в Берлин, отдал под команду этому королю. Крахмальные куклы маршировали по проволоке...

Она вела свой, внутренний, счет. Когда он бежал по церкви, стуча сапогами, вся в черном, она молилась у гроба. Рассудок тут сливался с чувством, и печаль в лице не была поддельной. Императрица перед концом все чаще звала ее к себе и подолгу молчала, будто пытаясь разглядеть что-то за смутным пологом.

Пять недель ее прошли у гроба, даже когда пахло уже нестерпимо. От того запаху мутилась голова, но она взяла из рук побледнелого мужа и надела корону на голову покойной императрицы. В храме она слушала службу, не вставая с колен, и при выходе ее люди в лаптях снимали шапки. А в заметенный снегом вечер, когда в безмолвии кусала руки, от нее навсегда унесли тайно рожденного сына. Ей хотели показать его, но она плотно закрыла глаза...

Император широко и нервно размахивался во все стороны. Граф Шверин, взятый русскими в плен и вдруг ставший полномочным министром прусского короля, осторожно следил за его рукой, которая уже один раз попала ему в лицо. Присланный в помощь ему барон Гольц с холодным вниманием наблюдал происходящее. Эйтинский мальчик кричал им по-немецки, что сотрет в порошок Данию и вернет принадлежавший его предкам Шлезвиг. Датчане еще будут лизать им зады, а великий Гольштейн покроется новой славой. Уже сделана команда графу Румянцеву для русской армии поскорее выступить и утвердиться в Мекленбурге. Даже верховые лошади его туда отправлены.

А отпраздновав тезоименитство, он выступит на датчан еще и с русской гвардией...

В ряд сидящие на правую сторону от императора голштинские офицеры троекратно прокричали «хох!» Русские за столом посматривали в ее сторону. Она улыбалась с усталой приветливостью...

Покойная императрица еще лежала в церкви, когда к ней явилась юная княгиня Дашкова. Бледная, с горящими глазами, она больно стиснула ей руку... «Против вас замышляется подлость. Моя родная сестра Елизавета Воронцова готова, по тупости своей, опозорить всех нас. И отвратительный муж ваш не стесняется строить по отношению к вам преступные планы. Всем это известно. Необходимо спасти вас, наследника и Россию!»

Никаких сомнений не было у нее в отношении молодой графини. Та открыто выражала неприязнь к ее супругу, а к ней была привязана со всей русской пылкостью. Но она только опустила глаза: «У меня нет никаких планов. Мне остается одно: мужество несчастной женщины и упование на Всевышнего!»

Еще и еще раз приезжала графиня, звала к действию. Император говорил ей: «Будьте к нам хоть чуть любезнее. Придет время, когда будете жалеть, что столь пренебрежительно обращались со своей сестрой!» — «Но есть же у вас супруга!» — прямо возражала та. «Супруге моей нравится молиться, так что монастырь ей станет впору!» — отвечал император. Все при дворе знали о таком его мнении. Графиня рассказывала о том, не выпуская ее руки: «Верные чести и отечеству люди не будут сидеть сложа руки!»

Она слушала со вниманием и знала больше юной графини...

Не все вопреки правильному смыслу делал эйтинский мальчик. Замышляя против нее, он, по устоялой привычке, исполнял, о чем говорилось, когда еще прибежал к ней и ходили вместе по комнате. В один вечер объявил он вольность дворянству. Получая от государства для содержания и прокорма ленные поместья, эти люди кровью обязаны платить за то. Только одни имеют много, другие — мало, а большое число уже никаких прибылей не имеет, кроме как от службы. Так что имеющим открывается воля бежать от нее, а неимущим — за них служить и воевать.

С великой тщательностью должно было такое готовиться, поскольку дворянство выражает тут смысл и дух. Чтобы родиться ему, проникнуться честью, научиться грамоте и обиходу, многие века прошли в бедствиях и крови. И нельзя транжирить такого богатства, решать с учетом оборотной стороны дела...

Также и с церковью. Пример великого царя тут перед глазами. В надобности возможно колокола на пушки переливать, только зачем иконы из храмов выносить или не ко времени требовать укорочения одежды у священно-служителей. Великолепие православной службы суть политика, знаменующая чувства этого народа.

С Тайной же канцелярией его императорское величество прямо сделал, что ею с опальным канцлером намечалось. В нынешнее цивилизованное время «слово и дело» стало позором перед целой Европой. Да только ничем дельным не заменена необходимая в государстве розыскная служба. Как в персидском серале, на нашептывании и клевете все строится...

Знакомый скоросый голос один звучал в наставшей тишине. Его императорское величество провозглашал здоровье императорской семьи, и сразу затем короля Фридриха. В первый раз она отпила из бокала, а в оба других лишь приблизила вино к губам. Эйтинский мальчик смотрел на нее в упор со злобной плаксивостью. Все притихли. Он оглядел стол, нашел глазами Елизавету Воронцову. Та отвела круглые локти от стола, высокомерно надула губы. Император схватил за руку стоявшего за ним адъютанта Гудовича, зашептал что-то ему в ухо...

Она не смотрела, как идет к ней длинный Гудович, сгибается в поклоне:

— Его величество спрашивает у вас: почему не изволили встать, когда был сделан тост за императорскую фамилию?

— Но императорская фамилия — это его величество, я и наш сын! — отвечала она тихо, так и не взглянув на адъютанта.

Тот пошел назад. Но не дошел до места, как император закричал:

— Скажи этой дуре, что к императорской фамилии принадлежат также голштинские принцы, которые тоже здесь!

Она сидела, не поворачивая головы и словно бы не слыша. Тогда эйтинский мальчик, ставший императором, наклонился, сбивая бокалы, уперся руками в стол и закричал пронзительно:

— Дура... дура!..

Она могла бы сдержать слезы, но не стала этого делать. Лишь повернулась к графу Александру Сергеевичу Строганову и попросила развлечь ее. Все покрыло голштинское «ура»...

Из-за стола она встала, когда император закричал, чтобы все выходили на двор. Елизавета Воронцова, окатив ее торжествующим взглядом, первая поплыла за ним. Круглое и белое, с короткой шеей лицо ее выражало тупую важность. Сановники,

молодые и старые, бросились следом. Тогда она повернулась и ушла в другую дверь.

— Арестовать ее... В крепость!

Голос эйтинского мальчика будто сверлил уши. Она посмотрела из коридора в приоткрытое окно. Император на дворе размахивал руками, а голштинский дядя Георг в чем-то тихо убеждал его.

Император нехотя махнул рукой Гудовичу, отменяя свое решение, потом вдруг захохотал, запрыгал на одной ноге, толкнув огромного генерала с лентой через плечо. Тот упал на землю, он быстро поднялся, тонко захихикал и, встав на одну ногу, поскакал за государем. Через минуту уже все, бывшие во вдоре, скакали на одной ноге, сталкивая других на пути. Император схватил с подноса у лакея бутылку и обливал мужчин и женщин английским пивом. Некоторые утирались, отходили в сторону. Голштинцы хохотали во все горло. Иностранцы посланники стояли неуверенной группой на лестнице и переглядывались друг с другом...

— Урод опять от Лизьки Воронцовой убежал...

— Видать, с Куракиной?.. Тогда новых указов жди!

— А Куракина что ж... от Гришки да к уроду?

— Ну, Гришка с ним за то в полном расчете!

Она лежала свободно, как хотела. Голоса, даже малейший звук стаканов шли снизу беспрепятственно. А отсюда ничего не было слышно. Так здесь строилось на русский лад, чтобы в светелке обособлена была спальня...

А уродом они называют ее супруга. Когда от своей пассии убежал он на целую ночь с Куракиной, то оправдывался потом, что с секретарем Волковым указ о дворянской вольности сочинял. Потому и был объявлен этот указ столь скоропалительно...

Ровное, сильное дыхание чувствовалось рядом. Протянув в полутьме руку, она отвела у него со лба мягкую прядь волос, тихо позвала:

— Криша...

Он задвигался, с ленивой силой потянулся, так что скрипнул пол возле кровати. Потом, не глядя на нее, сел, спустив голые ноги, и волосы снова рассыпались ему на лоб.

— Чего это у тебя: язык подрезан? — он хмыкнул снисходительно. — Гриша... Разве же трудно?

Пройдя к буфетничку, он налил в кружку черного ревельского пива, долго пил, запрокинув голову. То был не нарисованный воображением, а чуть пахнувший потом живой могучий бог из плоти и крови. Красавица Куракина недаром гонялась за ним по

всем домам и трактирам. А в расстройстве уступила вниманию зйтинского мальчика...

Она рассмеялась своим мыслям, с чувством повторила:

— Криша...

Он возвратился, без всяких разговоров передвинул ее удобней. Не прикрывая своих желаний, обращался он с ней. Она подчинялась с расчетливой готовностью, бурно приближаясь к мигу, когда открывается небо и вся жизнь вдруг заключается в одном мучительно-радостном и необъяснимом вздохе. Потом уже спокойно она слушала его нараставшее дыхание. Это большое тело защищало ее от окружающей угрозы...

Все он делал естественно, никак не скрывая временной пресыщенности от нее. Помнился другой, с благородным сарматским профилем, который сразу после всего заставлял себя ласкать ее с преувеличенной пылкостью. Подобная воспитанность чувств свидетельствовала о слабости...

Она заговорила о том, что невидимой нитью связало их навеки. Тайно рожденный сын, в котором не было сомнения, был назван его отчеством. На лице его не виделось волнения. И одевался он, не стесняясь того, с удобством натягивал исподнее, выправлял рубаху. В движениях была надежность.

Потом он с ожиданием посмотрел на нее. Она достала из висящего при кровати платья свернутый пакет, отдала ему. Пока этой части из взятого у некоего лица стотысячного займа было достаточно. Английский посланник на ее просьбу так и не дал ничего. Деньги назначались для дела, а коль прокутит что-то с товарищами, то тоже на пользу...

Перед уходом вниз он оглянулся. И вдруг улыбнулся ей с открытостью, как когда-то мужик в лаптях через решетку сада. Она любила эту его улыбку.

— Кришка!

Он не пошел назад, лишь светло сверкнул глазами. В первый раз на речном льду засмеялся он так, перед тем как ударить противника своим особым, орловским ударом...

Внизу уже громче сделались голоса. Раньше там разговаривали Алексей Орлов и Пассек. Сейчас прибавились другие. Она различала их без ошибки: старший Рославлев, Бредихин, Хитрово, Баскаков. Молодой сильный голос кричал:

— Видишь, каков сей герой: нашими руками воюет Данию...

Ему с насмешливым спокойствием отвечал Алексей Орлов:

— А что же, и выступишь, коли повелел.

— Как бы не просчитался!

Она не знала этого голоса: дерзкого, напористого, но совсем мальчишеского. В детстве она старалась представить себе чело-века по голосу. Ей было интересно угадывать.

— Ты не бунтуй, Потемкин. В срок все надо делать...



Гришка говорил ей про этого. Потемкин из гвардии, которому вовсе немного лет. Зато за ним унтер-офицерство пишется.

— Фридриху-королю до Немана все вернул!..

— Фельдмаршалом русским своего дядю-немца...

— В прусские мундиры гвардию одеть...

Из общего мужского шума она выделяла только отдельные фразы. Юная графиня говорила ей про умного Панина, про расчетливого Волконского, даже что архиепископ Новгородский в числе соумышленников, да только все это не выходит на форму римского квадрата. Есть некая другая сила, с самого начала угаданная ею. Она уже знала: русские скачут на одной ноге, они терпеливы, как первые христиане, льстят безоглядно и гибнут в поясе, но только все это неправда. Есть еще некий ровный, неослабевающий ветер. А ей уже тридцать три года, и это услышанное из сказок древнее русское число...

Раздался стук подъехавшей с задней стороны дома кареты, тихий двойной удар в дверь. Одетая все в то же темное платье, что на похоронах императрицы Елизаветы Петровны, она спустилась по другой лестнице в ночную тьму.

## II

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин смотрел в окно. Несмотря на лето, черная вековая грязь простиралась во всю улицу, прерываемая омутами стоячей воды. Телеги ехали не посередине, а жались к домам, забирая и пешеходные мостики. Люди прыгали там с доски на доску, проваливаясь выше сапог в прогнившие тротуарные дыры. Каждый день он видел это с самой пасхи, когда от нового императора ему дозволено было для лечения переехать из Горетова сюда, в уезд. Один лишь он не был вызван в Петербург после кончины государыни...

Третий день уже на той стороне улицы мужики-артельщики мостили тротуар. Старые плахи сгнили и ушли под грязь, и новые доски настилали прямо на них. Так тут делали из года в год, и коли усердно копать, то обнаружится настил еще князя Юрика.

А проще всего было бы прокопать от улицы дренажную канаву. Он специально ходил и смотрел за домами овраг, куда бы и стекла вода. Летом и зимой тут было бы сухо. Но только думать здесь не приучены. Еще царь Иоанн Васильевич за самовольное умствование головы снимал. От пуганого народа не жди подвижности ума. Петр Великий подтолкнул к рассудку, да только наследие его, наподобие этих досок, под грязь уходит. К тому прибавить, что и городничему на пользу всякий год заново улицу мостить...

Ничего, кроме здравого смысла, не нужно России. Всего в

ней достаточно, лишь бы отваги у начальства поубавилось. А то все наслаивают да наслаивают на вековое болото тротуары, а вместо жилищ монументы ставят. Лишь канавы, чтобы отвести то болото, не хотят выкопать. Рожденному здесь так и представляется, что нету другого способа жизни...

Отошедши от окна, он достал из-за печки сложенное письмо, что причезли ему утром, начал вторично его читать. Все происходило, как предвиделось с самого начала. Кильский ребенок по общему немецкому образцу в высокий пример ставит себе прусского короля, а вместе и Россию принуждает к службе природному врагу. Такого никак не может долго происходить. А со здравым смыслом возле него лишь один человек. И того не может быть, что только молится она да ждет ссылки в монастырь. Сей характер он достаточно изучил. Даже и конец может угадать...

### III

Корпус генерала Чернышева в пятнадцать тысяч человек с тысячею приданных казаков скорым маршем шел на соединение с прусской армией, приготовленной атаковать австрийцев. К концу дня был объявлен общий привал. Роте капитана Ростовцева-Марьина определен был бивак между дорогой и лесом. Пока составлялись ружья в козлы и устраивался ночлег, он не смотрел по сторонам. Потом вдруг увидел лес; за ним поле, пошел между деревьев...

Да, на том самом месте он стоял. Даже куст рябины был прежний, только разросся в стороны. Тогда, погнавшись за зайцем, он обирал с веток промерзшие ягоды. Сейчас рябина начинала цвести.

У него вдруг забилося сердце. Почудилось: лишь обернется, и все возвратится назад. Снега станет по колено, и молодой, без шапки, будет нести он на руках принцессу с золотыми глазами. А может быть, и не было ничего того, и только услышал сказку...

Он резко повернулся. Там, где располагалась его рота, слышались громкие голоса. Отводя рукой ветви, чтобы не задела голову, где рубанул его пруссак, капитан Ростовцев-Марьин поспешил из леса.

Посредине дороги стоял их полковник Фонвизин и молча пучил глаза. Ему что-то кричал, не слезая с лошади, прусский майор с аксельбантами. Плотной группой теснились королевские гусары на крупнозадых немецких лошадях.

— Чего он хочет? — спросил полковник у едущего с пруссаками русского штабного офицера. Тот с недоумением посмотрел на полковника, сказал коротко:

— Говорит, что это русское лентяйство — по сорок верст в день идти. Хочет, чтобы скорей...

Пруссак продолжал что-то выкрикивать отрывисто, будто отдавая команду. Съехавшиеся к дороге русские офицеры хмуро приглядывались к гусарам. Фонвизин послушал еще немного, повернулся и пошел дальше по лагерю. Майор осекся на полуслове, помянул тойфелья<sup>1</sup>, и пруссаки поскакали назад к реке, откуда приехали.

— Что же это, Петр Иванович немца не понял? — удивился Ростовцев-Марьин. — Тот ему все: фон Визин да фон Визин!

Шемарыкин подумал лукаво:

— А может, и не хочет вовсе понимать его Петр Иванович...

## Двенадцатая глава

### I

Стена вспыхнула золотом и пурпуром. Раннее, прямо от короткой летней ночи, солнце било в венецианское стекло, преломляясь в два цвета на светлых шпалерах. Она одна была в Монплезире...

Так теперь совершалось часто. Двор с его величеством и дамами шумно проезжал в Ораниенбаум, а ее оставляли здесь, в Петергофе. Император отложил на неделю войну с Данией, чтобы отпраздновать в день Петра и Павла свое тезоименитство.

Какая-то особенная первозданная тишина стояла в мире. Но она знала, что это не так. Неслышный ветер продолжал дуть с неослабеваемой силой. И когда застучали колеса по гранитной брусчатке, она не удивилась. Протяжно и гулко заржали кони...

Вошла запыхавшаяся Шаргородская, и сразу за ней — гвардеец со спокойным лицом. То был Алексей Орлов. Он посмотрел на приготовленное ею парадное платье к завтрашнему тезоименитству, на другое — траурное, висящее при ширме, потом на расписанный амурами потолок:

— Все готово к началу... матушка-государыня!

Он говорил с серьезностью, даже тени двусмысленности не было у него на лице.

— Что же случилось? — спросила она спокойно.

— Пассек арестован...

Через четверть часа она уже мчалась в дорожной карете. Рядом сидела немая от волнения Шаргородская. Алексей Орлов с кучером нахлестывали лошадей, а на запятках стояли Шкурин

<sup>1</sup> Черта (нем.).

и камер-юнкер Бибииков. Ей казалось, что один только миг прошел с тех пор, как ветер от границы понес ее в неопределенную даль...

Уже сияли лучистые при солнце шпиди, когда увидели встречную коляску. Юный Федор Бярятинский осадил свежих лошадей, выпрыгнувший Гришка Орлов взял за руку, перевел ее к себе. Коляска сделала полукруг и покатила впереди кареты. Люди бежали навстречу: мужики, бабы. Первое лицо, что разобрала она, был широконосый солдат Савельев, чьего младенца она крестила. И сразу пришла уверенность...

Они скакали солдатской слободой Измайловского полка. Народ бежал с ними. Едва галопом влетели на квадратный мощный камнем двор, барабаны ударили тревогу. С неба отзвывался усиленный камнем гром.

— Ур-ра-а!.. Матушка-государыня...

Коляска будто вкопанная стала на песчаном плацу посредине двора. Сразу несколько рук подняли ее, поставили на землю. В запыленном траурном платье она улыбалась солдатам, всем видом свидетельствуя о своей правоте. Им, излюбленным полкам великого царя, отдавалась она под защиту.

— Матушка-государыня... Присягу!

Она оглянулась. Гришку оттерли от нее. Одни измайловские мундиры были вокруг. Ей целовали руки, крестились, плакали.

— Присягу!..

Широкое пространство освободилось впереди. Мелкими шажками, в чуть набок надетой епитрахили и с просветленным лицом к ней спешил отец Алексей Михайлов, иерей Измайловского полка.

*...В верности... Екатерине Второй, императрице и самодержице всероссийской, и прочая...*

Ветер лишь сделался слышнее. Она не удивлялась. Полковник измайловцев и гетман малороссийский Кирила Разумовский, опоздавший к сбору, твердо подошел, преклонил колена, поцеловал ей руку. «С богом... к семеновцам!»

Теперь вся в черном, одна стояла в старой истертой коляске. Впереди с крестами шли отец Алексей и отец Андрей из слободской церкви. Рядом ехал граф Кирила Григорьевич с офицерами, по бокам и сзади коляски плотной толпой шли солдаты. «Ура» слышалось в каждом квартале, набирая все новую силу. По Сарскому мосту навстречу, не выпуская ружей, бежали ликующие семеновцы. Не переходя уже Фонтанки, они вместе повернули по Садовой улице к Неве. Сзади догоняли преображенцы.

— Майор Воейков, матушка, задержал нас, так мы его в речку затолкали! — крикнул ей какой-то солдат.

И опять катилось «ура». Елизаветинские лейб-компанцы,

которых раскассировали и подменили голштинцами, явились в полной своей форме. Подковный гром нарастал, синим пламенем пытал во всю ширину улицы гранит. Конная гвардия, подойдя на рысях, приняла эскорт и в парадном строю двигалась к Невской перспективе. Все лица были повернуты к ней.

— Всем нам любезной императрице и государыне — ура! — крикнул красавец вахмистр, и она узнала голос. То был Потемкин, которого слышала у Орловых.

— Благословение... благословение божье! — слышалось по рядам. Оберегаемая с боков и сзади, прошла она в золотую тьму храма. Лишенный плоти, непреклонный в своей правоте лик божьей матери проступал из-за кадильного дыма. Тень самой великой в мире муки убрала с доски все человеческое...

*...Государыне императрице и самодержице Екатерине Второй и государю великому князю и наследнику-цесаревичу Павлу Петровичу многая лета!..*

Небо из глубины храма казалось сине-розовым. Звезду нельзя было увидеть дважды...

Воздух дрожал от колокольного гула. Измайловский и Семеновский полки беглым шагом распределялись вокруг Зимнего двора, преображенцы занимали внутренние караулы. Вдоль улиц строились роты Ямбургского, Невского, Копорского полков. Она знала всех их по значкам и командирам. С грохотом катилась артиллерия. Подходили и становились сзади двора полки Астрханский и Ингерманландский.

От дальних улиц нарастало «ура». Теперь она ехала шагом. Справа на подножке-коляски стоял Гришка Орлов, слева — генерал-поручик Вильбуа, прибывший прямо от армии. Сзади ехали граф Кирила Разумовский, князь Волконский, граф Брюс...

Коляска встала перед дворцом. Она не произнесла еще ни одного слова. Все совершалось чьей-то одной волей.

*...Божьим промыслом... императрице и самодержице Екатерине Второй...*

Просвященный Вениамин, архиепископ Санкт-петербургский, в шитых золотом ризах и с полным клиром обходил по площади войска для присяги. В крепости из-за реки били пушки. Голуби беспорядочно носились в теплом воздухе...

Она восходила по пустым ступеням. В новый дворец не завезли еще и мебели. В нишах темнели провалы. Снизу догонял ее граф Никита Иванович Панин. Он вел за руку восьмилетнего мальчика в белых рейтузах и голубых башмаках. Мальчик дернулся, давая ей руку, нос сморщился в кружок, и некая брезгливость пробежала в ней. Всякий раз происходило узнавание, когда видела сына. Она вывела его на балкон, подняла рядом с собой. Стонущий звук прошел по толпе. Внизу кто-то громко плакал. Она посмотрела туда и чуть не уронила наследника от удивления. То был Алексей Орлов...

Посредине белого зала теперь сидела она, и чуть сзади, на стульчике, ее сын. Преосвященный Вениамин со светлым лицом принимал присягу у сената и синода, у членов коллегий, сановников, служителей дворца, всех случившихся тут людей. Они шли затем к ней, и она кивала, как научила себя тому много лет назад: всем вместе и как бы всякому отдельно.

*...Божиею милостию мы Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая... Всем прямым сынам Отечества российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась... Церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности... Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие, заключением нового мира с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение... Принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видя к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной...*

Раз за разом читался манифест от ее лица. Печатанные листы его, привозимые из подвала академии, раздавались народу. От Калинкина моста прибыл стоявший за городом личный лейб-кирасирский полк императора, арестовавший своих немцев-офицеров с командиром Будбергом, и в строю принял присягу...

Все!.. Она встала с трона и твердо пошла к выходу. Граф Панин вел за ней наследника. Войска делали дислокацию к старому Елизаветинскому дворцу на Мойке. Когда она явилась туда, служители и лакеи еще несли с той стороны Полицейского моста мебель и посуду от графа Строганова. Она прошла в комнату, где жила великой княгиней, сама показала, куда поставить письменный стол. Ей сказали, что отправлены адъютанты в Лифляндию к графу Чернышеву и к Румянцеву с присяжными листами и приказом к русской армии закрыть заставы и не пускать никого, невзирая на чье-то достоинство.

— А Кронштадт? — спросила она.

Сановники и генералы переглянулись. Она подошла к столу, взяла четверть бумаги и с твердостью написала: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадт и, что он прикажет, то исполнять. Екатерина». Потом прошла к окну и остановилась, не сразу все понимая. Полки на улицах расстроились. Тысячи людей в подштанниках окружали военные повозки-футы. Каптенармусы принимали новую императорскую — на

пруссский манер — форму, и взамен давали старую, петровскую. Прусские каски катили ногами, сбрасывая в речку. Она одобрительно кивнула.

Через солдатскую толпу, провожаемая конногвардейцами, ехали сюда карета с императорским вензелем. Из нее вышли канцлер Михайла Ларионович Воронцов, Александр Иванович Шувалов и князь Трубецкой.

Она стала и ждала их у стола. Михайла Ларионович отдышался, выставил вперед ногу и заговорил, словно бы читая с невидимого листа:

— Препоручено мне помазанным государем нашим, самодержцем и императором всероссийским Петром Федоровичем...

По ее знаку он послушно замолчал, пошел за ней к окну.

— Видишь, граф, не моя на то воля,— сказала она ему, показав на улицу.— Иди, присягай!

Граф поцеловал ей руку и чуть не бегом заспешил в залу к преосвященному Вениамину.

— Ну, а тебе так сказано убить меня? — спросила она у Шувалова. Лицо у того исказилось по шраму и снова сделалось мертвым.

— Ладно, идите, присягайте! — разрешила она.

Когда проходила она к наспех устроенному обеду, то увидела в коридоре бледного человека. Тот был чем-то знаком ей.

— О, моя госпожа,— зашептал он по-немецки.— Там солдаты вашего дядю Георга убивают!

Теперь она вспомнила. Это был лакей того самого принца Георга-Людвига, назначенного вдруг главнокомандующим русской армией. Она целовалась с ним когда-то и обещала стать женой. Как видно, проклятие лежало на всем мужском роде голштинского дома. Особую страсть имели там к игральным солдатам. Только солдаты вдруг сделались живые. Пройдя в залу, она повернулась к стоящему здесь офицеру:

— Нарядить караул к домам нерусских немцев. Пусть едут, кто захочет, к себе. Чтобы не сказали в Европе, что тут случился варварский бунт!..

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего».

Она четко подписалась: Екатерина. Потом проверилась в трюмо: семеновский мундир, наспех подшитый на ней Шкуриным, сидел не морщась. Вспомнив что-то, она улыбнулась и прошла в камердинерскую. Там, закутанный в голландскую ска-терть, сидел корнет Александр Талызин, совсем еще мальчик.

— Вам принесут одежду, шевалье,— сказала она по-французски.— А эту, когда верну вам, будете хранить. Она становится историей!

На белом коне, с лентой Андрея Первозванного через грудь и саблей в руке, она делала смотр гвардии. Рядом, также на коне и в гвардейском мундире, сидела юная графиня Дашкова. Той до сих пор представлялось, что это пылкие разговоры привели к революции. Гвардия проходила повзводно, двойными шеренгами, и она улыбалась всем и каждому. Два часа назад ушел к Петергофу Александр Орлов с гусарами и казаками. Следом выступила артиллерия под командой князя Мещерского. Объявив себя, по примеру великого царя, полковником, она вела гвардию. Стояла белая ночь все того же первого дня, но фланговые роты и эскадронов зажгли факелы. Казалось, дымные звезды движутся по земле...

Теперь она снова была в той самой комнате Монплезира, куда приехал за ней вчера утром Алексей Орлов. На какую-то минуту перестал дуть ветер. Солнце прошло на другую сторону, горевшая накануне пурпуром и золотом стена сделалась одноцветной шпалерой...

Никто здесь ничего не в силах сделать, кроме самой власти. К такому абсурду должна она прийти, чтобы уже ничего не оставалось, как сразу всем выйти на улицу. Столь же легко построить тут новый абсурд, поскольку другого не знали. Любой охотник может объявить себя избранником судьбы, и сразу два императора будут к его услугам: один в Шлиссельбурге, а другой скоро к нему прибавится.

Письмо за письмом слал ей эйтинский мальчик. Она правильно сделала, вспомнив о Кронштадте. На яхте императорской и с голштинской галерой приплыл он туда, да только прогнали его, пригрозив пушкой. Еще через Курляндию хотел он бежать, пользуясь подставами лошадей, но и к этому необходима решительность. Все он делал, как ходил, с нелепостью движений. Грозным и неистовым российским ветром сдуло его на сторону...

С первого шага здесь услышала она этот ветер. Связанный с общей природой мира, дул он ровно и неотвратимо. То лишь приспособливалась к нему, когда учила язык и меняла веру. И что в полках давали чарку водки от нее солдатам, было той же детской игрой, что разговоры юной графини. Некий высший смысл имеет сей ветер, и абсурды скатываются и отлетают от него, как мертвые листья с дерева...

Она видела черную, глухо закрытую карету, что проехала полчаса назад к кордегардии. Зашел Алексей Орлов, как и вчера утром посмотрел на потолок. Красивое, как у брата, лицо было



у него, только некая ироничность таилась у губ. И еще светлые глаза были холодней. Он не ждал от нее приказаний.

— Так что, матушка-государыня, со мною там будут Пассек да Баскаков, да князь Барятинский. Ну, и гренадеры. Укараулим, в случае чего...

Во рту и возле глаз у нее стало сухо. Ей показалось, что Алексей Орлов усмехнулся. Но тот смотрел прямо и словно бы глуповато.

— Он, правда, в Ропшу хочет? — спросила она.

— Сам выбрал. Скрипку туда просит привезти.

Она с трудом вспомнила заросшую лесом мызу, каменный дом с квадратными окнами. Один только раз была она там, когда покойная императрица подарила его великому князю. Эйтинский мальчик хотел быть у себя...

Опять ей почудилась усмешка в глазах Алексея Орлова. Она громко сказала:

— Пусть едет в Ропшу, пока готовят место в Шлиссельбурге. И чтобы солдаты не являли грубости!

— Все будет исполнено по твоему желанию, матушка-государыня...

Холодная прозрачность была у него в глазах. Она прошла к окну и смотрела, как от кордегардии отъехала все та же закрытая карета. Впереди и с боков скакали гвардейцы. Шум колес удалился и быстро затих, что снова слышен дующий с залива ветер...

На восьмой день в тот же час прискакавший офицер потребовал немедля пропустить себя к ней. Она была в старом дворце, в своей рабочей комнате. Офицер вошел, и она тотчас узнала его. То был поручик Баскаков из Ропши. Он подал ей пакет. Она разорвала его и нашла в середине помятую бумагу с пятнами разводов. Наискось по ней неровными буквами было написано: «Матушка милосердая государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руку на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек...»

Ей почему-то сейчас вспомнилось, как плакал недавно Алекс

сей Орлов. Она сложила бумагу назад в пакет и положила на самый низ в шкатулку. Потом постояла и широко перекрестилась — точно так, как делала это Елизавета Петровна.

## II

*Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия и тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие...*

Он смотрел перед собой, а видел все по сторонам. Такое качество вырабатывается при долгой службе государственной, и когда нет этого таланта, ни к чему все остальное. Явственно представлялось движение лица у Михайлы Воронцова, бывшего первым источником его опалы и ареста. Одновременно видел он, как Александр Иванович Шувалов, главный по нему следователь, внутренним усилием держит щеку, чтобы не дернулась ненароком. Также и Трубецкой с Бутурлиным являют радостную одобрительность, понимая, что не их теперь время.

Он же, вторично в жизни приговоренный к смерти, стоит первым к престолу и с постоянным своим лицом слушает читаемый двору и сенату высочайший манифест о своем оправдании. Шесть недель назад прискакал в Горетово измайловец Колышкин и закричал с порога: «Ваше сиятельство... с именным повелением, не теряя часа!..»

Высокая политика в том, что оставлены при троне Воронцов и Шуваловы, хотя первые неприятели были государыне. В такие минуты следует объединить все — прежнее и новое для одного державного интереса. С тем большим старанием будут служить, что понимают свою ущербность. А там с почетом пойдут в отставку, когда минует надобность в их внешнем присутствии. В таком шаге очевидна государственная зрелость, чтобы без болезни менять румб корабля. Лишь слабый и нерассудительный ум стал бы с места врагам головы рубить, определив тем самым правительственную несостоятельность на будущее.

Также и чувствам не позволяет новая государыня явиться в политике. Известное лицо, будучи награждено за заслуги при воцарении, строго знает свое место. А что о женитьбе будущей говорят, так это завистники стараются. Тут скорее чувствительность используется для дела, и такое для мужчины-государя великая редкость. Кто знает, не подходит ли более для России материнское правление...

Все высочайшие милости знал он уже наперед...  
*...За долг христианский и монарший мы приняли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетки нашей, бывшей его государыни, доверенно-*

сти... возвратя ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионом по 20000 рублей в год...

Что же, и ему правильно обозначено место. Тут фельдмаршальство — пустая высота. Великим ядом власти навечно отравляется человек в службе. Хоть и от себя скрывал, все помыслы были к возврату в великие канцлеры. Даже и силу он чувствует в себе для прежнего дела, однако призрачно это. Не потому, что на семидесятом году медлительней делается ум, а только лица вокруг уже все почти новые. Будто в некоем другом мире живешь.

Впрочем, эта государыня такова, что великому канцлеру быть лишь секретарем при ней. А что дипломатии она обучена, так своевременная кончина супруга-императора в том удостоверяет. Приказу никому не давалось, и все сделалось само собой...

То его произведение — сия монархиня на троне. Правда, что и материал соответствовал. Обуглить сердце в первом чувстве и потерять двух детей стало необходимым, чтобы закалить алмаз. А то уж сама Россия так устроена, что все преобразует в свой образ, и стократно истовой природных апостолов становятся ее прозелиты...

### III

Донеслись из ночи выстрелы. Кто-то скакал от мельницы, кричал:

— Пруссаки... пруссаки!

В лагере простучали тревогу, потом отменили...

Утром узнали, что было нападение на казачий пикет у мельницы: не то пруссаки, не то какой неизвестный отряд. Увели четырех отпущенных пастиль лошадей...

Ростовцев-Марьин с Шемарыкиным шли к мельнице, где разместились маркитантская лавка, когда увидели толпу солдат.

— Что тут? — спросил Шемарыкин.

— Да вот казачка наказывают, а он не кричит.

— Как так не кричит?

— Не хочет, значит, прощенья просить. Казак вольный...

Ростовцев-Марьин шагнул на мельничный двор. Там на вкопанной в землю скамье лежал человек с задранной рубахой. Вытянутые вперед руки были прихвачены ремнем так, что нельзя было отвернуть головы. Здоровенный солдат с добродушным лицом раз за разом отводил руку с ногайской плетью и с маху опускал ее на голую спину лежавшего. Багровые следы вспухали

и тут же пропадали после каждого удара: спина была как подушка. Напротив на принесенном из дома табурете сидел полковник Илья Денисов, командовавший казаками, и смотрел в одну точку.

Непонятной была тишина, при которой все происходило. Молчали стоявшие во дворе казаки, молчали солдаты, молчал полковник. И человек под плетью молчал, только смотрел от скамьи темными, без зрачков глазами.

— Третью сотню уже принимает! — тихо рассказывали возле ворот. — Ординарцем он, только коня у полковника не укараулил.

— Так парень лихой, головастый...

Светило солнце. Кони у забора мотали головами. Время от времени где-то кричал петух. Немец, хозяин мельницы, на крыльце как вынул трубку изо рта, так и стоял неподвижно. Плеть взлетала и опускалась беззвучно.

— Забьет он его, если голоса не подаст!

— Не-е, молчать будет. Вольной...

Полковник Денисов вдруг встал с табурета, ни на кого не глядя пошел в дом. Солдат растерянно посмотрел ему вслед, нерешительно опустил руку с плетью. Хорунжий, стоявший у скамьи, подождал еще немного и стал развязывать ремни. Казак поднялся, пошатнулся, отправил рубаху и пошел к воротам...

Ростовцев-Марьин удивился, что казак оказался совсем молодой: даже борода еще не росла на лице. Только плечи были широкие и черные густые брови круто разбегались от носа по широкому выпуклому лбу. Он шел прямо на них и смотрел все такими же, без зрачков, глазами. Они с Шемарыкиным расступились, пропуская его. Хорунжий из двора окликнул казака:

— Емельян... Слышишь, Пугачев?

## Часть вторая

### Первая глава

#### 1

Пурпурно-золотое свечение вдруг пропало из глаз. Она оstanовилась, подняла голову, медленным взглядом обвела все вокруг. Невидимое небо сливалось с землей. Бурые глинистые холмы неясно выделялись на одинаково серой размокшей земле, и трудно было узнать, пашня это или продолжение леса. Настойчиво каркала невидимая ворона. Набухшие сыростью деревья жались меж холмов, уходя в перелески, за которыми угадывался уже вечный лес...

Такое случалось с ней в другой жизни, когда девочкой в панталончиках с оборками носила железный корсет для уравнивания искривленного плеча. Люди и вещи оборачивались тогда другой стороной, и становилась пронзительно ясно видна их скрытая суть. Она начинала смотреть на все как бы со стороны, отделяя от происходящего свои желания и чувства...

Вдоль черной расплывшейся дороги стояли ветхие плетеные заборы. Где-то они были повалены, и впереди поставлены новые, из зеленого еще хвороста, закрывавшие грязные обочины. Она знала, что это делалось наскоро к ее походу. За плетнями тут и там стояли мужчины и женщины, но больше было женщин. Они кланялись ей до самой земли. Она сразу выделила ту, одну, стоящую как бы в стороне от других. На ней тоже был сдвинут на глаза платок и запашная кофта из грубой материи напущена на холщовую юбку. Только глаза смотрели со спокойным интересом, и даже в статности фигуры не было подобострастия. Кстати, что означает это русское слово: «подобно страсти»?

Она вспомнила, у кого видела этот прямой, открытый взгляд. Прядь волос упрямо выбивалась из общего порядка у первого встреченного ею русского. Можно ли навеки привыкнуть к такому сокрытию сути? Прямо, упрямо...

Крестьянка поклонилась ей в пояс, но и это было сделано иначе. В серых, чуть навывкате глазах оставалось то же выражение некой уверенности. Высокая грудь виднелась под полукруглым запаски. Ребенок со светлым, мягко разбросанным волосом свободно держался у ее ноги. Женщина не была красивой, а была в ней лишь законченность, не допускающая бьющей в глаза яркости...

Она поклонилась в ответ народу, как и следовало русской царице, идущей в богомолье. Но смотрела на эту крестьянку. Ничто не изменилось у той в лице, словно так и должно было быть. Все уходило в какое-то неведомое прошлое. Поклоны до земли, заискивающие взгляды, варварская лесть — только атрибуты, привнесенные историей...

Бабы продолжали истово кланяться. Неизвестно почему, она не приняла этого слова и употребляла другие: крестьянка, простолудинка. Крестьяне — в этом слове был сокровенный смысл...

Дорога разъезжалась на многие колеи, огибая бугры и выбоины, снова сходилась, подобно речке, текущей своевольно, без вмешательства человека. Посредине был насыпан песок, а в топких местах специально к ее походу положены бревна. Она вышла в понедельник, 12 мая 1763 года и шла от Москвы к Ростову Великому по десять верст в день. Затем садилась в карету и ехала назад, к месту ночлега. На следующий день она приезжала на оставленное вчера место и продолжала путь. Так

делала Елизавета и до нее — все русские цари. Покойная императрица заказала новую серебряную раку для мощей святого угодника Димитрия Ростовского, но не успела освятить. Завет тетки выполняется ныне ею, и это первое ее действие после коронации. С полной честностью называла она так усопшую дочь Петра Великого. Когда природный племянник веселился со своими голштинцами, одна она стояла дни и ночи при ее гробе. Слезы ее вовсе не были актерскими...

Пошел мелкий холодный дождь, и все вокруг еще больше потемнело. Только церковь на холме светилась белизной стен и сверху золотились кресты. На миг смутно явилось видение кирпичи, тянущей из узких каменных переулков к небу тонкие шпили...

Да, она знала, что это должно было произойти, хоть даже про себя не произнесла рокового слова. В льдистых глазах Алексиса была написана судьба эйтинского мальчика. На чистом, с металлическим отливом лице бескровно белел след от вырванного в драке куска мяса. В основании шрама виднелась сухая кость, и лицо от этого почему-то казалось еще больше красивым. Лишь она одна называла так Гришкиного брата — Алексис, и тот смотрел с некой высокомерной иронией. Так же бесстрастен он был, когда она предупредила, чтобы солдаты не являли грубости к Карлу-Питеру Ульриху, который звался здесь Петром Третьим. Алексей Орлов и не думал перекладывать на нее вину за то, что обязано было случиться. Даже некая глуповатость показала ей в нем тогда. И пьяно-умоляющее письмо его о несчастном событии дышало простодушием. Она тогда вслух прочла измятую записку при трех людях. Приказав забыть о ней, спрятала то оправдывающее ее письмо в тайную шкатулку, для истории.

— Все будет исполнено по твоему желанию, матушка-государыня! — сказал ей перед отъездом в Ропшу Алексис, и холодная прозрачность стояла в его глазах. Он давал ей возможность не мучиться совестью даже перед собой. Но ей того не требовалось. Несмотря на заботу сената о ее чувствах, она все же тайно приехала в ту церковь. Эйтинский мальчик лежал в гробу, несуразно вытянувшись, и острые локти от насильно сложенных на груди рук торчали в стороны. Глухой шарф закрывал у мужа шею. Голубой мундир голштинских гусар был на нем и непомерно большие кожаные краги. Она постояла несколько минут, повернулась и ушла.

В Европе писали нелепости, меньше всего осуждая усмотренное царевубийство. Недоумение вызывала лишь логическая сторона случившегося. Свергается прямой наследник, внук государя, а императрицей объявляет себя вовсе чужая династии и

народу некая ангальтинка из средней Германии. А притом единодушно утверждают, что главная причина переворота — природная русская ксенофобия, и рассказывают об избитых на улицах русской столицы немцах.

К тому же всей Европе известно, что когда в России царь, то он вправе воевать с кем захочет, резать сановникам бороды и даже менять народу платье. Только пример великого деда был тут не к месту. С внуком все происходило в карикатуре, вопреки смыслу. Для России же сей непонятный другим смысл имеет тем большее значение, и она угадала это с самого начала.

Это нестерпимая в претензии молодая Дашкова считает, что поднесла ей корону. Так же, как всякий измайловец или преобразенец в отдельности мыслит себя счастливым виновником. Никита Панин да Кирила Разумовский с Волконским — все числят себя в голове революции. И любой пивший на радости вино мещанин не держит себя в стороне от совершенного дела. А все правда, поскольку в нарушение некоего исторического рока, назначенного сей державе, поступалось до тех пор. Отдельно от восторженной княгини знала она, отчего ярится гвардия, а помимо гвардии, про что думает Панин, воображает Разумовский и размышляет сенат. На нее смотрели с ожиданием на улицах и в полках, куда ездила крестить детей, вне зависимости от ее природного или династического родства. Такова была назначена ей роль, и исполняла ее с твердостью.

Еще за два дня до всего Кирила Разумовский отдал манифест на печатание в академию, а когда печатник испугался, спросил: «Так ты, братец, того не ведаешь, что никак нельзя больше быть такому царю?» «Все про то ведают», — отвечал печатник. «Ну, вот видишь!» И тот пошел в свой подвал к станку. Не зная вовсе о том, свое делала гвардия. Также и молодая княгиня отражала общий дух, поэтому не надо ей третировать других и являть из себя орлеанскую девицу. Лишь неглубоко думающие люди представляют так, что собрались пять или шесть человек, стоворились между собой и совершили революцию...

Но и не просто это было. За всем тайлось главное, открывшееся некогда ей в заснеженном лесу. Прядь волос падала со лба, не принимая искусственного зачеса. Тут и там замечались вдруг признаки этой первозданной сути: в Гришкином размахе, льдистых глазах Алексиса, упорстве старого Бестужева или спокойном взгляде крестьянки, даже у той же княгини с ее идеальностями. Сквозь исторические нагромождения тем истовой взыскует правды этот народ. И потому на целых полгода надела на себя скорбное платье, полностью отдаваясь ему на суд. Всегда проиграет тот, кто хоть на миг помыслит себе, что тут нет мнения общества. В десять раз опаснее оно, чем там, где обо всем говорят свободно.

Ей, подхваченной ветром со стороны, все было видней. Тот ветер дул с портрета, который всегда находился при ней. Великий государь смотрел с гневной требовательностью. «Отец своего Отечества, блаженные и вечно незабвенные памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбезнейший Дед», — написала она в манифесте своим твердым почерком.

Величайший ум Европы писал ей, что философы призваны управлять народами. Только они в состоянии, отрешившись одинаково от злых и добрых страстей, содержать мир в разумном равновесии. Как искусный инженер строит по чертежу, так и просвещенный государь вооружается философией для строительства счастливого эдема своим подданным. Шведский граф называл ее философом в юбке. Пятнадцати лет она писала для него свои наблюдения жизни и сожгла их с другими бумагами, когда взяли под арест Бестужева...

Некогда читала она, что общества и народы живут по тем же законам, как звезды и планеты. У каждой своя орбита, и всякая играет свою роль в мироздании, являя общую стройность. Также и люди имеют свою судьбу. И сколь ни причудлива может быть она, но подвластна некоему высшему порядку. Ее звезда показала ей как-то в полуденном небе.

Но больше чту сию заслугу,  
Что ты, усердствуя к нему,  
Достойную дала супругу  
Любезну отчеству всему<sup>1</sup>.

То Петр Великий говорит из гроба Елизавете, именно ее прискавшей племяннику в жены. Писано это, когда и мысли не случилось, что меньше чем через год сама она делается русской императрицей. Что же тут: подлинное чувство или точный расчет планетных систем?

То же и к ее воцарению написал этот автор торжественную оду, не преминув здесь же поколоть своих врагов-немцев по академии. И уж в русских чувствах великана-ученого, чье имя громко и в Европе, сомневаться не приходится. Но как только подумала она наградить, так поднялся на дыбы граф Кирила Разумовский, коему сей ученый всегда пенял на плохое управление академией. Она промолчала тогда, в первые дни революции, но собственной рукой написала на представлении ученого, чтобы дать находящемуся при мозаичной фабрике мастеровому гамбургцу Цильху чин коллежского регистратора. То было непонятное для мастерового отличие. Она же помнила, что этот Цильх приходится братом жене российского великана. Видать, оттого же у него обратное чувство к немцам.

<sup>1</sup> М. В. Ломоносов. Ода к восшествию на престол Петра III.



Стихи она заучивала наизусть, так как при том без акцента выговаривала русские слова:

Слышал ли кто из в свет рожденных,  
Чтоб торжествующий народ  
Предался в руки побежденных?  
О стыд, о странный оборот!...<sup>1</sup>

Все тут было справедливо. Противный русскому интересу мир с поверженной Пруссией, в которой чувствовали длительного врага, стал приговором ее супругу.

Услыште, судии земные  
И все державные главы:  
Законы нарушать святые  
От буйности блюдитесь вы  
И подданных не презирайте...<sup>2</sup>

Природная готовность была в ней к тому. И если назначено ей место в планетном строе, то будет исполнять его с непреклонной радивостью. Та твердость в службе, как видно, в ней от отца. Заботливое наставление «Pго memoга» в клеенчатом переплете до сих пор лежит среди старых бумаг. И еще запах сукна в памяти, не уходивший, даже когда тот надевал домашнюю куртку. Христиан-Август, князь Ангальт-Цербстский и фельдмаршал, умер много лет назад. Покойная императрица запретила ей плакать больше трех дней, поскольку был тот не прямого королевского роду.

Что же у нее от матери, что под именем княгини Ольденбургской умерла в Париже, оставив четыреста тысяч ливров долгу? Ей приписывали даже шпионство в пользу Фридриха. Только была это живая и вздорная женщина, к которой и в долголетней разлуке относилась она с обязательной дочерней почтительностью. В неосязаемом где-то пространстве остался сожженный войной Цербст и живущий вдали некий владетельный князь Фридрих-Август, ее брат. То уже прошлые имена и термины...

Дочь Петра Великого по смерти простила ее мать и спасла ее честь, приказав посланнику выкупить из заклада фамильные драгоценности, которые и отдала ей. То было чисто русское свойство характера, и никогда такого бы не сделали в остальной Европе.

Когда еще при жизни императрицы хлопотала она перед французским правительством по устройству дел нынешнего цербстского князя, герцог Шуазель написал своему посланнику Бретелю: «Можете уверить великую княгиню, что я всегда буду

---

<sup>1</sup> М. В. Ломоносов. Ода к восшествию на престол Екатерины II.

<sup>2</sup> Там же.

внимателен к делам, интересующим ее брата. Хотя великая княгиня и не имеет теперь большого значения, все-таки ее нужно беречь, но делать это следует с большой осторожностью, чтобы не возбудить ревности в императрице и ее министрах». Граф Бретель показал ей это письмо, вместе со своим правительством провидя нечто в будущем...

Дождь не переставал, не по-весеннему мелкий, нескончаемый. Дорога теперь шла полем, но лесные дали проступали сквозь туманную пелену. Там виделась еще деревня: те же разбросанные по склону избы и белый каменный храм с золотом крестов. Звон, близкий и дальний, слышался отовсюду...

Верный Шкурин, уехавший вперед, ждал с каретой точно на том месте, где было указано. Она запретила кому-нибудь идти рядом с ней или ехать с караваном следом. Лишь шестерка коногвардейцев в отдалении провожала карету — столько же было, когда только приехала в Россию. Обтерев сама дорожные полусапоги, она села в карету и поехала назад...

В попутном дворянском доме после постного обеда и часа отдыха она сидела с бумагами от сената, от иностранной коллегии и с приватными письмами. То был нерушимый распорядок, установленный ею для себя во всякий день, хоть и в богомолье. Десять месяцев назад на белом коне впереди гвардии она въехала в Петербург, и от первого часа правления пришлось с твердостью устанавливать равновесие. Уже в первый день орлеанская девица учинила скандал с Гришкой, увидев того разлегшимся на диване в приемной комнате и надрывающим конверты с сенатскими печатями. Когда же было всенародно объявлено о скорой кончине императора по причине геморроидальных коллик, то все с молчаливым пониманием приняли известие. Только эта юная фурия при всем дворе громко заявила, что отныне не знается с Алексисом, поскольку святое дело не должно иметь на себе хоть одного пятна. Пришлось тогда с твердым тактом дать узнать ей, что есть границы для ее тщеславия. Трудней всего, что и при том Катрин Дашкова продолжает видеть в ней свой составленный для себя идеал. С Орловыми было проще. Гришке точно было отведено место для куражу, а Алексис все понимает без слов.

Затем Панин, а больше Кирила Разумовский с Волконским, а тут же и прочие, вздыбились на Воронцовых с Шуваловыми, прямо желая отсекания голов. Только она вела себя со спокойствием, будто ничего в государстве не произошло. Лишь улыбку свою не отдавала своим прежним недругам да сделала так, что

великому канцлеру Михайле Воронцову естественно пришло в ум отъезжать на лечение за границу. Даже и вальяжного Ивана Ивановича Шувалова, коего не терпела до чесотки в пальцах, демонстрационно выделила своим вниманием. Предстояло навсегда кончать варварский обычай по личному чувству поступать с людьми, пригодными для государственного виду. Она и тайного секретаря Волкова, с псовой послушностью служившего мужу, определила губернатором в Оренбурге, и враг его — старый Бестужев — принял то с понятливостью. Также Гудовича, мужнина адъютанта, с которым эйтинский мальчик думал убежать в Голштинию, безо всяких оглядок использовала в службе. Противовес в государственном круговращении столь же обязателен, как в планетном.

А сподвижникам она самолично определила награждение, формулярно разнеся на четыре группы. В первую были вписаны лишь трое: Кирила Разумовский, Панин и сенатор князь Михаил Никитич Волконский, которым и пожалованы пожизненные пенсии в пять тысяч рублей. Вторая группа — из семнадцати лиц гвардии, всякому дано по 800 душ крестьян, что, исходя из цены по 30 рублей за душу, составило по 24 тысячи рублей. Одиннадцать лиц получили по 600 душ, или по 18 тысяч в денежном переводе, и девять лиц — каждый от 300 до 500 душ. Все же вместе составило в деньгах 1 066 000 рублей. В манифесте было особо указано, что пенсии определены из ее личной комнатной суммы.

На четвертый день по восшествии на престол явилась она в сенат, заседания которого для быстрого ведения дел перевела к себе в летний дворец. Ей было сделано представление, что восемь месяцев армия в Пруссии не получает жалованья, а цена на хлеб в столице выросла вдвое. У нее были оставленные еще Елизаветою те собственные царские деньги, и выслушав все, она негромко сказала: «Принадлежа сама государству, числю принадлежащим к нему даже и то, что надето на мне!» У сенаторов тогда на глазах показались слезы.

Таково сразу вернулась она к методике Петра Великого, не имевшего комнатной суммы. С того же царского миллиона снизила она цену на соль, кредитовала торгующее с Европой купечество, что впало в убыток от портового пожара, улучшила стол в полковых дежурствах. И потом с полной честностью обратилась к обергофмаршалу с письмом, что девушки ее с голоду помирают: три дня ничего не ели. В карманах ее было пусто.

Тем делался лишь пример. Как Петр Великий брал топор в руки, так всякий день сидела она с сенатом, выявляя, где и как найти можно ресурс для решительного пополнения бюджета. Не глядя на близкие и дальние к себе лица, напрочь отменила

убыточные казне монополии на торговлю смолою, холстом, тюленьим жиром, упразднила таможенные, рыбные, табачные и прочие откупа, позволила свободно торговать хлебом. Дома со счетами в руках проверяла итоги.

«Не снискание высокого имени Обладательницы Российской, не приобретение сокровищ, которыми паче всех земных Нам можно обогатиться, не властолюбие и не какая иная корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание понудили нас принять сие бремя правительства». С теми словами она требовала решительного конца взяткам и лихоимству...

Она сидела неподвижно, глядя мимо свечи, и думала про то, о чем ни с кем еще не говорила. Даже в письмах к властителю европейских умов, коего зачислила себе в наставники, не открывала прямо широты своих замыслов. Пока лишь начало — не допускать фабрикантам и заводчикам покупать людей от поместий, а чтобы пользовались вольными наемными по пашпортам людьми за договорную плату. И еще от монастырской крепости надо забрать людей. Про то читала и обдумывала, что вольный труд пятикратно выше труда раба...

Аккуратной стопой по левую руку, как учила секретарей, лежали распечатанные дела с сенатским вензелем, доставленные сегодня поутру. Она взяла сверху и положила перед собой первое из них. Сообщалось, что повеление о панихиде и публичном поминовении о муже ее, бывшем императоре Петре Федоровиче, было исполнено в Архангельском соборе. Только архиепископ Амвросий высказал сомнение, как бы в народе об этом иначе не стали толковать, да и церковь святая от раскольников не без поношения останется. Она твердо надписала наверху доклада: «И об злодее бог приказал молиться, наипаче о заблужденной душе; а о непоименовании в народе толки были б, что он жив».

Отложив дело направо, она открыла другое. Купцы приносили жалобу на статского советника Яковлева, что долгими ревизиями задерживает дело. Сама она указала проверять купцов, чтобы не обходили закон, а по всему выходило, что с тайной целью затягивается решение дел для взятки. Она приняла на заметку имя чиновника, а к докладу приписала: «Коммерция есть дело по натуре своей такое, что одного часа непорядочным учреждением кредит ее повреждается, который многими годами трудно напоследок бывает восстановить. Сего ради извольте сие дело в конторе Сенатской немедленно рассмотреть».

От Канцелярии опекунства иностранных поселенцев шел доклад об их числе на текущую неделю. То начатое Петром Великим дело она исполняла с упорством. Нужны были не

искатели легкого хлеба, а умелые люди, чтобы селились среди всех колониями да местечками на свободных землях. Со своим породным скотом ехали они и везли семена и рассаду в кованых железом фурах. Вчетверо больше молока дает ганноверская и датская корова, так что станут питомниками и примером в хозяйстве. В том очевидная державная польза. И русскими быстро сделаются, только бы не шпыняли их в подлой зависти да силком бы к тому не волокли. Она улыбнулась, увидев старательную роспись внизу доклада. Стояло там: Президент Канцелярии, генерал-адъютант и действительный камергер граф Григорий Орлов...

Шли дела о войне мценского воеводы с мещанами, при которой с пушечным снарядом осаживали магистрат и до смерти били воинского начальника, об мздоимстве регистратора новгородской губернской канцелярии Ренбера. Этот настолько тут освоился, что сумел брать деньги даже за присягу ей в верности. Еще говорилось про сражения усмирительных команд с работными людьми на уральских горных заводах; о заведении корабельной верфи в Камчатке, о необходимости караулов на охрану иностранных послов от разбоев на улицах.

В Комиссии о дворянстве опять не было ясности. Еще в феврале передала она им собственноручный указ, заставив делопроизводителя Теплова зачитать вслух перед ее членами: фельдмаршалом и графом Бестужевым-Рюминым, канцлером графом Воронцовым, сенаторами князем Шаховским и Никитой Паниным, генерал-адъютантом и графом Григорием Орловым. А было там сказано: «Бывший император Петр III дал свободу благородному российскому дворянству. А чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества». Они же, с лстивым лукавством обходя ее мысль о необходимости выборной службы для дворян, предлагали поставить ту службу в зависимость только от доброй воли да честолюбия. Но коли на одну голую совесть полагаться, то недолго сему саду цвести. Дворянская на сегодня эта держава, и должны выполнять назначенный им историей подвиг.

Тут сразу видно, что о своей лишь прихоти думают. Чтобы вольно было с отеческой службы в заграницу сбегать, пишут: «Ничто так не приводит военнотружущего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и честолюбие, как многие добрые от заграницы примеры». По выучке Бестужева, который сейчас во главе сей комиссии, она и приписала: «А ничто так, как в Париже, по спектаклям и в вольных домах шататься».

«Беспрекословно все согласуют, что дворянин, во многих

армиях служа, почитается за генерала искусного», — не унимаются они. «Есть бродяга!» — прибавила она и резко отложила дело. Пусть по Петру Великому всякой службе и искусству у Европы учатся, да только никак не должен российский офицер чужому королю служить.

Последнее дело было особое, и недавно еще занималась им. Все об ученом великане шла речь. Придвинув ближе, она снова взялась читать его меморандум к ней: «В службе вашего императорского величества состоя тридцать один год, обращался я в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое знание, что, по свидетельству разных академий и великих людей ученых, принес я ими знатную славу отечеству во всем ученом свете, чему показать могу подлинные свидетельства. И таковым учением, одами, публичными речьми и диссертациями пользовал и украшал я вашу Академию пред всем светом двадцать лет... Благоволено было бы сие мое прошение принять и меня для вышеупомянутой болезни уволить от службы вашего императорского величества вовсе: а за понесенные мною сверх моей профессии труды и для того, что я многократно многими в произвождении молодшими без всякой моей прослуги обойден, наградить меня произведением в статские действительные советники с ежегодною пенсиею в 1800 рублей по мою смерть».

Когда осенью было подано ей это, начальствующий над академией Кирила Разумовский со своей кратурой Тепловым как раз теснил Ивана Ивановича Шувалова, который был высокий покровитель великана. Она же негласно отстаивала Шувалова еще и потому, что тот был корреспондентом господину Вольтеру, державшему в своей власти мнение всей Европы. Поэтому избегала тогда решения, лишь произведя в государственный чин мастерового Цильха.

Тут ясно было, что не по болезни ищет русский великан ухода от науки. Такие умирают у дела. А что просит себе чина, так лишь высокая наивность в том, свойственная увлеченным душам. Генеральства хочет как способа жизни, ибо всякий дворник прогонит здесь без чина хоть бы и Сократа.

В Академии, как слышно ей стало, продолжалась война, и даже младшего библиотекаря Тауберта, зятя Шумахера, возвысили над великаном. А у того Разумовский взялся отнимать географический департамент, оставляя в смотрение лишь университет с гимназией. Для своих мелких дел пускали даже слух, будто вместе с Шуваловым задумала его кратура привести на трон несчастного безумца, что без имени проживает в Шлиссельбурге. Только не в Академии таковые дела делаются. Перед богомольем писала она записку к кабинетскому советнику Олсуфьеву: «Я чаю, Ломоносов беден; сговоритесь с гетманом, неможно ль ему пенсион дать, и скажи мне ответ». Кирила

Разумовский с радостью пошел на то, и 2 мая дала она именной указ о вечной отставке великана с оставлением по смерти половинного жалованья и производством в статские советники. Но в первый день пути к Ростову потребовала тот указ назад из сената.

Вспомнились опять стихи, коими пикировались российские барды со всей присущей им размахистостью. Будто в праздник на невском льду это было, когда дерутся стенками:

Чтоб обманством век прожить,  
Общество чтоб обольстить  
Либо мозаиком ложным  
Или бисером подложным...  
Ты преподло быв рожден.  
Хоть чинами и почтен;  
Но безмерное пьянство,  
Бешенство, обман и чванство  
Всех когда лишат чинов,  
Будешь пьяный рыболов<sup>1</sup>.

То тамошний профессор элоквенции обличал своего великого собрата. Этот возвращал сторицей:

Безбожник и ханжа, подметных писем вралы!  
Твой мерзкий склад давно и смех нам, и печаль:  
Печаль, что ты язык российский развращаешь,  
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.  
Но плюем мы на срам твоих поганых врак;  
Уже за тридцать лет ты записной дурак...<sup>2</sup>

Тоже и более способные кидались на великана. Российский Корнель не удерживался от едкости, пародируя у того планетное видение мира:

Гром, молнии и вечны льдины,  
Моря и озера шумят,  
Везувий мечет из середины  
В подсолнечну горящий ад.  
С востока вечно дым восходит,  
Ужасны облака возводит  
И тьмою кроет горизонт.  
Ефес горит, Дамаск пылает,  
Тремя цербер гортаньми лает,  
Средьземный возжигает понт...<sup>3</sup>

Бедный Иван Иванович, что также и Корнелю друг, пытался их помирить, да только на скалу налетел. Шувалов и показал ей ответ великана: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого

<sup>1</sup> В. К. Тредиаковский. Эпиграмма на М. В. Ломоносова.

<sup>2</sup> М. В. Ломоносов. Эпиграмма на В. К. Тредиаковского.

<sup>3</sup> А. П. Сумароков. Пародия на стихи М. В. Ломоносова.

господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым».

Да то ведь и хорошо, что ссорятся между собой барды, хоть на первый взгляд и по пустякам. В государстве необходима полемика. Лишь Надир-шаху приличествует одно рабское воспевание. Может быть, и ей включиться в то ристалище, и чтобы не знали имени...

Нет, не второстепенное дело даже и стихотворные упражнения великана, хоть сам, как видно, так считает их в сравнении с науками. Следует показать твердый знак своего внимания и по возвращении в Петербург с двором и сенатом посетить принадлежащую к нему фабрику стекла и мозаики. А с делом надо кончать, и не может быть речи о той отставке. Проверив надо, стекла ли чернила, она четко вывела: «Невозможно быть Ломоносову без Академии, а русской Академии без Ломоносова».

В вечер еще она написала два письма во Францию: господину Вольтеру и женщине, чей салон влек к себе знаменитые имена Европы, письмо в Польшу к своему давнему и нежному другу и пять писем приближенным людям. Потом коротко записала в дневник обо всем, что происходило в восьмой день пути.

Постелено ей было в горнице на русской кровати. Отослав девушку, она вынула из-за лифа записку. Рисованными буквами там значилось: «Душа моя, Катенька, государыня-матушка! Дозволь хотя бы на час приблизиться, никто, ей-богу, не увидит. Очень уж стосковалось во мне все. Ждать буду твоего знака от спсылыщика. Раб твой и Купидон верный...»

Она улыбнулась себе в зеркало и порвала записку. В виду имелся, как видно, Адонис, а Купидоном она звала его, когда гладила кудри: шелковыми и волнистыми были они у Гришки. Только богомолье она, как и все, делает с серьезностью, так что пусть потерпит до его конца.

Пошла снежная крупа, что к концу мая и вовсе было сюрпризом. Совсем близко вдруг проступали перелески и все так же рассыпанные по оврагам избы. Деревья совсем сделались черными, даже листья на них не имели цвета. Потом все уплывало в холодный туман, и только звон доносился откуда-то из глубины этой земли: мерный, тяжелый и, обгоняя его, легкий, радостный, на различные голоса. Будто свой характер был тут у каждого города или селения:

Насыпанный на дороге песок расплывался ледяной кашницей, стали мерзнуть ноги. В какую-то минуту захотелось обернуться, махнуть рукой, сесть в карету и проехать оставшиеся на сегодня



версты. Вокруг было пустынно, и все равно никто бы не увидел. Но она не стала откликаться на минутную слабость и продолжала мерно ступать в мокром снегу, заслоняясь рукой от ветра. Следовало все делать честно. С падавшим снегом приходило другое видение...

Рассыпались в морозном небе фейерверки, зажигая синий, красный и зеленый огонь в сугробах. Снег валили в реку, и он высылся горами чуть не вровень с кремлевскими стенами. Оттуда катились вниз на чем попало, падая и хохоча в простодушной радости. Кресты на башнях горели тяжелым византийским золотом. Оно было в храмах, на одеждах священнослужителей, в платьях и на кирасах гвардии. Из золота была неимоверной величины медаль. На лицевой стороне чеканился ее бюст, а спасенные Православие и Российское отечество возносили украшенный дубовыми листьями щит с ее именем. Провидение божие спускало с небес императорскую корону, а на жертвенник лился фимиам во изъявление всенародных молитв и благодарностей. «За спасение веры и отечества» — значилось сверху, на обороте же стояло: «Коронована в Москве, сентября 22 дня 1762 года».

Даже и памятник ей хотели учредить золотой. Эйтинский мальчик когда-то со смехом отказался от такого, она же молчала. Помпезная обильность была здесь только внешним знаком. Этот народ жаждал идеала во всем, и в ней тоже. Эта слепая жажда вскормлена тремястами лет татарского плена и усугублена тридцатью годами сумбурного метания, воровства и скверного лакомства, что прошли от кончины великого государя. Она же все знала и сама согласилась на эту роль.

Только к чему же ведет столь неоглядное стремление к идеалу? Всякая девушка в свое время обманывается так, и неизвестно еще, что от того родится. Путь к идеалу — прямая линия, и не движутся так планеты. Идеал есть конец, и, сказывают, у индусов весь смысл жизни направлен к тому. По дороге в Москву, где-то за Тверью, она услышала, лихой голос пел: «Коль любить, то не на шутку!»

Нечто завершалось в ней. Совсем естественно стала она переходить черту, когда все видится с оборотной стороны. Раньше это делалось как бы по наитию, теперь она сама легко уходила от себя в некое чуждое состояние. Здесь она была сама собой: твердо и православно верующей Екатериной Второй, русской императрицей. Там же вдруг обнажалось прошлое, и девочка Фике с искривленным боком сумрачно и серьезно давала оценку всему, что происходило. Даже и самой себе в нынешнем ее преображении. С самого далекого детства в ней эта роковая раздвоенность...

С осени до весны шло громозвучное торжество коронации, а вершина его сделалась масленица. Посередине комнаты стоял высокий человек с сияющими озерными глазами, и никак не могла вспомнить она, где же еще видела это лицо. Она самолично участвовала в сценариуме народного действия, коим задумано было охватить всю Москву с ближними и дальними посадами. По Мясницкой, Покровке и обеим Басманным улицам проходили греческие боги и герои, громко провозглашая гнусность пороков и славу добродетели. Торжествующая Минерва ехала в колеснице во главе. А еще прямо под небом играли театры, танцевали куклы, неслись тройки в лентах и колокольцах, искусники в персидских одеждах выдували огонь изо рта. Как дети, наперебой придумывали они, чтобы рядом с Диогеном выступали природные московские знакомцы Взятколюб да Кривосуд, из короба выскакивал разнузданный Враль, злобно щурясь от света наук, уползало Невежество...

Из частного дома при выходе на Лубянку наблюдала она маскарад. Открыв в изумлении рты, смотрели на Минерву, и никакого смысла не было в лицах. Но вдруг все засветилось. Громко ударял в литавры человек на быке, пронзительно трубили в трубы скоморохи на верблюдах. Едкий пронзительный голос объяснял живые картины:

В карете сидя, он не смотрит на людей,  
Сам будучи своих глупее лошадей,  
Иль баба подлая, природу утая,  
Нарядом госпожа, поступками свинья...

Спотыкаясь, с красным носом из тыквы, брел совсем русский Бахус в лаптях и шубе. Другой колотил его бутылкой по голове. Вприсядку плясали сатиры:

Шум блистает,  
Шаль мотает,  
Дурь летает,  
Хмель шатает,  
Разум тает,  
Зло хватает,  
Наглы враки,  
Сплетни, драки,  
И грызутся как собаки.  
Примиритесь!  
Рыла жалеите и груди!  
Пьяныя, пьяныя люди,  
Пьяныя люди,  
Не деритесь!

То пиита Хераскова были вирши. А человек с сиянием в глазах, который представил Мольера на российской сцене, все бегал, не замечая еды и постели, до надрыва в голосе изображая топчущимся мужикам, какво рыкает громовержец Зевс и как

надобно метать Посейдонов трезубец. Аллегория Несчастья и Лизоблюдства в собачьем виде испуганно заслонялась лапами.

Никак не могла оторвать она глаз от светлого страдающего лица с вьющимся русым волосом по краям и вдруг поцеловала у него руку. Он посмотрел на нее с растерянностью, но тут увидел в окно, что в репетиции что-то не так. В одной рубашке побежал на холодную улицу исправлять дело. Вдруг вспомнила, что он тоже был в Ропше, с Алексеем Орловым, когда случилось неизбежное с эйтинским мальчиком...

Она стояла потом в церкви, а он лежал в гробу, все такой же светлый и недоступный тлению раб божий и артист Федор Волков, что бросил свое доходное купечество ради идеала. Простудившись в дни торжества, умер он возле своей мечты. Она подняла глаза и вдруг увидела его в углу храма, только что снятого с креста. То же озерное сияние было там, и русый волос вился вдоль худых щек...

Теперь она шла в прямом лесу, и деревья с двух сторон приступали к дороге. Снег мокрыми наледями окружал каждую ветку, тянул тяжело вниз потускневшие скрученные листья. Было мокро и тихо...

Не к тому ли идеалу сбивает ее от дела Панин, когда придумывает в соправители некий совет? То от долгого посольского сидения в Швеции оторвался он от здешней реальности. Этот совет уже был при первой Екатерине и втором Петре, а сенат от того сделался уже не «правительствующим», как задумано при великом государе, а только «высоким». Опять же в ущерб сенату явился он при Анне Иоанновне в форме Кабинета, а у покойной императрицы назывался Конференцией по внешним делам. Однако в прежнем виде вершила все управление, внутреннее и внешнее, та Конференция по желанию и к выгоде своих сиятельных членов. Государыне-тетушке ох как скучалось заниматься государственным делом. И до того довела, что при Шуваловых свое истинное слово даже сама вслух боялась сказать. А те и с другими сочленами свое воровство на полной воле вершили, так что и самодержавность на том кончилась.

Теперь же Никита Панин, насмотревшись шведского порядку, возмечтал на тот же манер ограничить её царскую и императорскую власть. С чувством и примером говорил ей все эти годы о пользе такого устройства для нее и отечества, и она соглашалась. А сразу после переворота представил проект об императорском совете не меньше шести членов, чтобы правили с нею вместе...

Та же природная русская жажда правды присутствовала тут. Согласись она, так кого в тот императорский совет определять?

Чистый помыслами Панин и других таких мыслит. Но будет там совсем один, разве что орлеанская девица станет ему в помощь. А еще тот же своенравный Кирила Разумовский, мерзавец Теплов, Орловы — Гришка с Алексисом да прочие не хуже и не лучше. Эти и станут лакомиться у пирога во весь русский размах, как было уже и будет. И когда даже бы пятеро их было таких, как Панин, то непременно найдется шестой, который, ухватившись за тот их идеал, в некий час ссечет им головы и установит себя на пьедестал Иоанна Грозного. А тем самым и державу свернет с ее назначенного пути, нарушив вселенское равновесие...

Того нельзя допустить, и не для себя охраняет самодержавие. В нем только исполнит Россия свою провиденциальную судьбу, и рано еще быть другому. У нее нечто намечено. Великой княгиней еще она думала о том, и ближе это ведет к цели. А чтобы воспитались люди к будущему, вовсе молодые будут назначены для выучки к службе: камер-юнкер Федор Орлов пусть сидит в сенате рядом с генерал-прокурором, а другой — Григорий Потемкин — навывает делам в синоде, благо грамоте подучен. Оба они — ее младшие сподвижники и награждены с щедростью, так что всегда будут чувствовать к ней признательность. Тот юный красавец Потемкин, когда благодарил за четыреста душ, столь выразительно смотрел на нее, что она ощутила волнение...

Лес кончился сразу, и с опушки начался город. Деревянные кружева вились от ступеней и до гребней крыш. Тут тоже кланялись, и опять двое или трое смотрели с достоинством...

«А в доме было у княгини Хилковой. Тот конногвардейский секунд-ротмистр и камер-юнкер Хитрово спросил у меня: «Слышал ты новый марьяж?» На что я ответил, что не слышал. Он же наступал: «Как тебе не слышать! Я с тобою политичесествовать не стану: за Орлова государыня идет». «Слышал и я этот слух, а правда ли или нет, того не знаю», — говорил я. «Что ты против этого думаешь делать?» — спрашивал он, а я сказал: «Больше делать нечего, как нам собраться и идтить просить Ея Величество, чтобы она изволила отменить, рассказав резоны, какие нам можно будет...»

Со спокойным вниманием перечитала она допросные листы вплоть до подписи: «Я обещаюсь самим Богом и святою присягою, что спрошенного от меня никому не скажу. Сие писал и подписал своею рукой Михайла Ласунский». Ничего она не чувствовала сейчас, кроме холодной уверенности. Так с ней бывало, когда с тузами на руках наблюдала расклад на карточном столе.

Она откинулась в кресле, обвела горницу глазами. За высо-

ким французским буфетом и хрустальными стеклами бежал таракан. Из Амстердама привезли ей порошок, чтобы вытравить их из дворца. Пора бы уже и тут это делать, чтобы хоть в воеводском доме по воле не скакали...

Этой осенью, назавтра после коронации, она необходимо должна была показать, что не будет допущен малейшее посягательство на назначенную ей власть. По великому пьянству офицеров гвардии говорены были речи об возможности посадить на трон кого-то другого, хотя бы и бессмысленного Иоанна Антоновича, что с детских лет обитает в Шлиссельбурге. Следственная комиссия так и определила: сумбурно кричали за водкою что на язык попадет. Только все было в напряжении тогда: Панин приступал, как с кандалами, с императорским советом. Гришка откровенно бахвалился, что может кого захочет русским царем сделать. Великое колебание происходило в ней, и когда новый английский посланник Букингом спросил на куртаге о причине ее задумчивости, она прямо ответила: «Ах, граф, вполне счастливы только те, кто не имеет власти быть жестоким помимо собственных чувств!» Французскому послу Бретелю же сказала, что от этого дня прибавит к своему возрасту десять лет. Они не знали, что и думать. В тот самый день она приказала пытать болтливых застольщиков, а потом из тех же чернил своими руками написала указ, что «тайных розыскных дел канцелярия уничтожается от ныне и навсегда».

Сенат приговорил главным виновникам — Хрущеву и Гурьеву — отсечь головы, других же в каторгу. От себя она вынесла помилование и сослала их в Камчатку. Все, мешающее исполнению, к чему призвана, не должно иметь цены. Таково поступал Петр Великий и не смотрел на сантименты...

Однако в этот раз она сама сделала встречный шаг, чтобы вызвать те толки. Гришка в самом деле уверился, что может сделаться ей мужем, и стал держать себя так, будто и дело уже решено. То правда, что лежал с ногами на диване в ее личной комнате и сенатские конверты распечатывал, когда вошла Дашкова. Оттого и поругалась с ним орлеанская девица, что один идеал наскочил на другой, тоже не знающий границы. Ума в нем небольшая палата, и с товарищами в гвардии так же нетерпимо стал обращаться. Алексис молчал, и в льдистых глазах его таилась опасность.

Только Гименеевы узы не имели для нее ценности. Навсегда шагнула она через роковую женскую слабость много лет назад, когда первозданная боль рвала на части тело и отделялась от нее новая жизнь. В тот миг пришло озарение, и поворот головы к ней древнего героя был подделкой. Ее любили по слову покойной императрицы, чтобы дать державе наследника. Такого она себе не простила...

Но другое, куда более материальное, не совпадало с тем марьяжем. Вовсе правдивыми были ее слова, что принадлежит государству. Гришкино присутствие так близко к ней будет мешать назначенной цели, о которой никому еще не сказала.

А Гришка уже прямо требовал, чтоб венчалась с ним, хотя бы и тайно, как покойная императрица с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Она сделала удивленное лицо и предложила послать к старому графу кого надежней, чтобы узнать, каково все происходило. Тогда и пошел с поручением сам канцлер Михайла Ларионович Воронцов. Когда тот приехал, граф Алексей Григорьевич сидел у камина и читал святое писание. Услышав вопрос, он отложил божественную книгу, посмотрел направленный ему по этому поводу указ и пошел к комоду. Все то он делал молча. Достал ларец черного дерева, выложенный перламутром, отпер его и взял оттуда завернутые в розовый атлас бумаги. Атлас положил в сторону, а бумаги принялся читать, словно бы и не было никого в комнате. Слеза скатилась при том по его лицу. Прочитав и поцеловав те бумаги, он перекрестился на икону и бросил их в горящий камин. Потом сел назад в кресло и сказал: «Я не был ничем более, как верным рабом ея величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями выше заслуг моих. Пусть люди говорят, что им угодно; пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям, но мы не должны быть причиною их толков».

Без всякой от нее подсказки была сыграна та роль. Когда Михайла Ларионович подробно все ей пересказал, она с чувством подала ему руку и сказала: «Мы понимаем друг друга: тайного брака не существовало, хотя бы то и для усыпления боязливой совести. Шепот о сем всегда был для меня противен. Почтенный старик предупредил в этом меня, но я того ожидала от собственного малороссам самоотвержения!»

Гришка все слышал за ширмой и в досаде изломал золотую табакерку — ее подарок. А когда на неделе обедали у гетмана Кирилы Григорьевича, то вдруг ослепительно улыбнулся: «А что, матушка-государыня, захотел бы я, то через месяц тебя бы снес с престола!» Кирила Григорьевич с хитровой, как у брата, ленивостью посмотрел на него и сказал добродушно: «Быть может, и так... Но, друг мой, не дожидаясь месяца, мы через две же недели повесили бы тебя».

А все же Гришка не унимался, и не в одной гвардии стали с неудовольствием говорить об возможности их брака. Тогда и призвала она в помощь Бестужева. Умудренный жизнью старик понял ее без слов. Даже и имени ее не приплетая, сговорился он с Гришкой и принялся от себя обходить сенат, духовенство и генералитет с всеподданнейшим прошением к ней от всех сословий, чтобы вступила во второй брак. Только с самого начала

не имело успеха такое дело. Каждый сенатор ссылаясь, что не достоин ставить свою фамилию прежде других достойнейших особ. Зато по обеим столицам и в провинцию покатилося эхо, да все на Орловых. Как видно из допроса, конногвардеец Хитрово и не таится нисколько, что в случае-угрозы такого марьяжа готов с другими в гвардии еще до возвращения ее из богомолья убить Орловых.

В продолжение дела уже самому действительному камергеру Григорию Орлову пришел донос об неуспехе той подписки на марьяж. Якобы Панин собрал вместе Кирилу Разумовского и Захара Чернышева, и втроем решили то бестужевское прошение уничтожить. Потом будто бы позвали Репнина, Рославлева, Ласунского, Пассека, Барятинских, Хованских, Апраксина, Ржевского и многих еще, которым сообщили, что Орловы придумали завладеть императрицей, но дело это нехорошее и отечеству вредно. Всякий патриот должен вступиться, искоренить и опровергнуть таковое намерение. Для убедительности там говорилось, что в заговоре на Орловых состоит и княгиня Дашкова...

Она прочитала этот донос, старательно переписанный Гришкиной рукой и поспешно к ней посланный. При некоторых словах улыбнулась. Там походя говорилось: «Григорий глуп, а больше все делает Алексей, и что он великий плут и всему оному делу причиной». Потом нахмурилась. Предлагалось у них, что если хочет второй раз замуж, так пусть за романовский корень. Хотя бы за братьев Иоанна Антоновича, который в Шлиссельбурге. Дело переходило установленную границу.

Что же, Гришка теперь не от нее получил необходимое предупреждение. Не зная о том, все они работали на нее: оба Разумовских, Михайла Воронцов и прочие. Знал только Бестужев. А Орловы пусть и будут на своем месте. Теперь же надо установить всему конец.

Никакого здесь законного суда не следует делать, чтобы не плодить слухов, а обойтись одной комиссией. Хитрово выслать пока в свою деревню, а еще Рославлева, что предлагал для нее разных мужей, в службу при крепости святой Елизаветы. Взяв из стопы отдельный лист, она написала сверху: «Генерал-поручику и сенатору Суворову... Василий Иванович. Все сие служит вам во известие... Трактуйте дело секретно, а естли найдете за нужно Хитрово арестовать, то конная гвардия караула не приставьте к нему, но с другова полку». Писала она такие бумаги только по-русски и от других требовала...

Положив обе руки на стол, десять минут она отдыхала. Тараканы все бегали за буфетом. С внутренней усмешкой подумала она, что русское название им прусаки. То не лишнее наблюдательности сравнение. Твари эти рыжеватого колера, поджарые и с весьма большими аппетитами. Прозвища общие и

приватные, тут даются навеки. Любопытно, как ее когда-нибудь назовут...

Следующее по порядку дело было представление о Петербургском генеральном гошпитале. Больных там находится 671 человек, из коих более двух третей одержимы франц-венерией, полученной от непотребных женщин. Предполагалось ко всем воинским командам послать указы: которые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких допрашивать, от кого ее получили. Тех женщин велеть сыскивать и, если найдутся одержимы той болезнью, лечить их на казенный счет. По излечении же отсылать в Нерчинск на поселение или в другое место. Солдатских жен отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтоб их содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и прочих посылать к их владельцам... Она подумала и написала сенатору об особом смотре, чтобы женщины при том не были по-пустому оклеветаны. А кто сделает это, пусть посекут.

Еще 6 февраля был от нее направлен именной указ: «Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Иркутской области положенный ясак с тамошних жителей с крайним отягощением и беспорядком собирают или, справедливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дворяне, козаки и дети боярские не настоящие положенные ясаки в казну нашу собирают, но бессовестным образом всех таковых безгласных и беззаступных ясачных, как-то: якутов, тунгусов, чукч, братских козаков и прочих народов грабят и до конца разоряют...» Все они суть россияне — бесчисленные эти народы, только рознятся по языку. Раньше или позже придут к единству, и держава сия от Петра Великого призвана обезопасить их в своем отечестве наперекор тому, что делалось диким образом в прошлые веки. Не может тут быть ни одного народа гадкого или поганого. Гвардейский капитан Щербаков, которого повелела отправить в Сибирь для суровой ревизии и отвращения всех тех вредностей, до места еще не доехал. «Всемерно ускорить и держать в постоянном нашем внимании», — написала она.

С Киргизской Украины двое яичких козаков явились к канцлеру и привезли письмо почему-то от султана Младшей киргиз-кайсацкой орды, который просит за них, что, мол, «козаки за великую себе обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду Могутову, да и брат мой, и я, и весь киргиз-кайсацкий народ будут этим недовольны». Вон как уже близки сделались украинные козаки с ордынцами, что общий интерес в чем-то имеют. Она направила дело на разбор к президенту Военной коллегии, приписав: «Только сумнительно весьма, что киргисцы об них просят».

Еще вдова калмыцкого хана Дундука-Омбы, что при покойной императрице вместе с тремя сыновьями приняла крещение



и назвалась Верою, живет теперь в Енотаевске, где знается с калмыцкими попами. Хотя при первой неделе великого поста она и говела, но бригадир Бехтеев, коему доверено надзирать за калмыками, сомневается, что не ела скоромное и не отступится ли от православия. Дело тут было сложнее, чем понимает бригадир. Она подробно разъяснила на полях: «Когда княгиня Дондукова жила в Кадетском корпусе, с сыновьями, она всегда ела мясо, и доктора того корпуса знают, что рыбы есть не может. Итак, надлежит весьма острожно быть, чтоб не конфондировать закон с тою политикою, которую они, может быть, употребляют для приласкания калмык».

С южной Украины пришло известие, что не по-пустому приезжал в Киев старший канцелярист генеральной войсковой канцелярии Туманский. Подтвердилось, что не только с митрополитом и с архимандритом шла у него речь об утверждении нового гетмана из сыновей Кирилы Разумовского. Получалось вроде наследственного королевского правления в этой Украине, что в самой глубине противоречит историческому смыслу. Держава эта едина, и тем паче родственные малороссы не должны выделяться из общего порядку. А что Разумовские — ближайшие к ней люди, так и примером пусть станут для других. От постели заработанное гетманство и доживает с ними свой век.

Тем более это важно, что в той Украине предстоит первейшее дело. В Новую Сербию, что образовалась там при покойной императрице, бегут с турецкой стороны болгары, валахи, молдаване, сербы и греки, даже армяне с понтийского берега. Также и раскольники возвращаются из польских пределов, услышав об остановке к ним гонительства. Все теснятся возле крепости святой Елизаветы. Тут же и Сечь топчется с ними. А к морю на тыщи верст в обе стороны пустая земля, на которой лишь татарам разбег. Расклад во времени такой, что обязательно идти России к тому морю...

Долго еще сидела она с фискальными бумагами. Коли все будет исполняться, как ею повернуто, то вместо восьми прежних миллионов бюджет российский в текущем году уйдет миллионов за пятнадцать. То лишь начало...

Прочитав также прибывшие сегодня письма, она принялась писать ответы. «Ветры, холд и непрестанные дожди с происходящей от того грязью», — сообщала она Панину. К генерал-прокурору Глебову доверительно приписала: «Я получила все ваши послышки и надеюсь последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастье и скука в Переяславе равны; дом, в котором живу, очень велик и хорош и наполнен тараканами...»

Помогающей раздеться и привести себя в ночной порядок девушке она, как водится, сказала: «Спасибо тебе, голубушка!» Много лет назад ударила она Василия Григорьевича Шкурина.

И однажды еще было, что такую же девушку обругала. Через час она позвала ее и попросила извинения за расстройство в чувствах. С тех пор лишь тихим голосом говорила с кем бы то ни было, а главное всего, с прислугой...

Уже в постели она подумала о Гришке. Потянулась и снова улыбнулась...

Там вокруг облег дракон ужасный  
Места святы, места прекрасны...

Един лишь смело устремиться  
Российский может Геркулес.

Звезду сего народа ясно обозначил великан. То священный завет Петра Великого, и в этом направлении движется цивилизация. Так расчислен исторический ход, что в Европе только оборонительную войну назначено вести России, и в сохранении там равновесия ее задача. Главное же приложение ее потенции — на юг и восток, и никакому другому народу не дано совершить тот подвиг. Тамерланова угроза во всякий век оттуда миру не должна продолжаться.

Восставит вольность многих стран...

Да, Малая или Белая Русь, Казань, те же калмыки или кайсаки всякий в отдельности не смогут противостоять тому многообразному дракону. Дело тут, не в том или ином народе, а в идее вселенского истребления и убийства цивилизации, таящейся в первобытном инстинкте. И греки с валахами и болгарями, прочие бесчисленные народы в Море и в Кавказе не в силах сами сорвать удушающее ярмо, набрасываемое всякий раз на них еще со времен персов. Македонский герой так и не исполнил до конца назначенную ему роль. Обезопасить и обжить эту великую равнину для мирного хлебопашества, чтобы негде и прорасти было драконовым зубам, составляет русскую державную политику на века...

Так же, как все прошлые дни, шел дождь. Водяная пыль наполняла небо и землю, серым покрывалом кутая деревья с темными нераскрытыми листьями. И редкая трава была бесцветной и холодной. Белели сквозь туман церкви на холмах. Дорога становилась ровнее и шире...

А Европе надлежит не мешать такому тысячелетнему подвигу. Поэтому и не сделала возобновление войны с Пруссией, что многие неудобства виделись от того в будущем. Хотя бы, что

от прусского упадка Австрия отточила бы зубы не в ту сторону. Пускать на Европу калмыков с козаками — противоестественно высшей российской задаче. К великой пользе и желанию надиршахов был бы только такой поворот, чтобы принять России на себя драконово дело. И аннексии в улежавшейся после гуннов Европе всегда прорастут в истории ядовитыми плодами. Опрокинув разбойную Швецию, Петр Великий от того удерживался.

Только для Пруссии всегда должен находиться крепкий намордник. Потому, подтвердив с королем Фридрихом мир и сделав вслух сентенцию, что то по ошибке русская армия вдруг вошла в прусские пределы, она с тем же курьером послала старому фельдмаршалу Салтыкову тайную записку: «Вы увидите из присланной при сем депеши, что я для света декларировала. Однако ж будьте уверены, что и я и все верные сыны отечества весьма довольны вашим поступком, что велели занимать королевство Прусское... Не спешите, да будьте осторожны: естли король Прусской графа Чернышева не отпустит, чтобы нам плацдарм верно в руках досталось». А корпусу Чернышева, что по глупости ее мужа воевал вдруг на стороне Пруссии с Австрией, приказала маршировать в Россию. Не будет отныне такого, чтобы русский солдат не свое историческое дело исполнял.

В этой части она все природно знает. И то умнокаменное королевское лицо хорошо помнит, когда, будучи кронпринцем, брал ее на руки и со своей сестрой мирил. А потом, уже королем, объяснял ей таинство европейского равновесия на взгляд из Берлина. Этот, как сталь отточенный, незаурядный человек тогда уже провидел ее звезду. Не знал он только того, что же такое русские, и никогда не могла она остаться некой Софией-Фредерикой. Только крошечная девочка Фике затаилась где-то в складках судьбы...

Две главных угрозы назначенному историей подвигу ясно выделились с этой стороны: Швеция и Польша. Теперь посередине возникла третья — Пруссия. Другие находились дальше и только через эти три ложементы могли действовать к русскому империальному убытку.

Пруссия сейчас на какое-то время выведена из расчета. Но и на тех двух имеется узда. В Стокгольме есть король, но только парламент при нем, без которого даже повернуться на другой бок не может. В парламенте шляпы и колпаки воюют между собой. Шляпы дворянские да военные, больше французского образца, настроены против России и хотят сильного короля. А колпаки из свободных землепашцев всегда воевали с королем за собственные вольности и не желают того допустить. Патриотизм этот в пользу России, поскольку не дает королю усилиться, и следует всяко подпитывать отсюда такое шведское свободолюбие. Пока

имеется оно, не в силах Швеция приступить к России за балтийский берег и Финляндию. К тому же и благородное то дело — поддержка народоправства, с чем согласны лучшие умы Европы. Никите Ивановичу Панину, что промышляет таковую вольность, было к месту сидеть там.

Король нынешний шведский, дядя эйтинскому мальчику и ей самой, большой опасности не содержит. По роковой голштинской тупости лишь в живые солдатские куклы играет, к тому же и на престол посажен из Петербурга. Зато из Берлина к нему приставлена вовсе противоположного рода особа: та самая рыжая Ульрика, которую она в драке когда-то, несмотря на свой вдвое младший возраст, повалила на пол. До сих пор возле глаза виден след от ее ногтей. Того не может быть, чтобы не тянула эта королева все в прусскую сторону и против России.

Не меньше и Польша в сплыве с Литвой мешала историческому ходу. Поляки в Москве совсем недавно были, стремясь перетянуть обратно к себе центр тяжести. Той же уздой для них стал заносчивый характер этого народа, воплощенный в «libegum veto». До такого уж бессмыслия дошло тут стремление к вольности, что один пьяный шляхтич может своим голосом зачеркнуть мнение пятисот других, а король и вовсе делается манекен. Так что там и здесь короли будут стремиться ограничить те вольности, а России надлежит громко защищать у них демократию.

Тут еще есть сюжет, что курфюрст саксонский и король польский Август Третий, исчерпав в амурных битвах свои, как сказывают, богатые возможности, со дня на день ожидает кончины. Так не предложить ли им не чужого человека, а из природного корня древних польских королей — Пястов. Еще великой княгиней думала она о нем. Кажется, единственная в ее судьбе была тут не расчетливая и чистая к ней любовь. Никому больше в письмах не пишет она с такой доверительностью. Даже приехать он рвется к ней, только мешать это будет делу, да и как же с Гришкой?..

К тому же вопросу принадлежит и судьба Курляндии. Особой заботой Петра Великого было, чтобы сидел при начале Балтийского моря родственник герцог. Нечего к тому месту прилаживать саксонского принца, чего желает Август. Хоть и русской военной силой, но станет опять там герцогом старый Эрнст-Иоганн Бирон. Этот никогда теперь уже с Россией не развяжется. А что бессильный польский двор грозитя у себя всю «русскую партию» судить, всех Чарторыйских, Огинских, Масальских и ее Понятовского, то весной уже написала в Варшаву послу Кейзерлингу: «Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кенигштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу запорожских козаков,

которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбления, наносимые мне королем польским». Для того и с Пруссией сейчас удобней иметь мир, чтобы остуживать поляков...

Еще по английским, датским и турецким делам предстоит ей сегодня писать к Панину. Что, не дав канцелярской власти, приспособила его к иностранным делам, то правильно. Твердости и направления он бестужевского, но современной в суждениях...

Уйдя за черту, не поняла она сразу, что же происходит. Чьим-то мановением сдвинулось облако, распалась завеса тумана, сияюще-золотой луч солнца вспыхнул из-за туч. И сразу все переменялось: нежным цветом зазеленела трава, невыносимо заблестели омытые дождем деревья, стеной встала густая зеленая плотность листьев. А за ними, там, где падал солнечный луч, расширились дали, гряда за грядой открывались синие, голубые, лиловые леса, матово-жемчужные равнины стелились между ними. И в некой природной симфонии, достигая чудной и невыносимой высоты, тут и там ослепительно белели храмы. Веселое, легкое золото сыпалось с крестов...

Никогда не бывалый с нею восторг стал подниматься из глубины, наполнил все тело. Совсем птичью легкость ощутила она и даже руки чуть развела, глядя в манящий лазурит неба. Синие молнии ласточек расчерчивали его свободно, во всех направлениях. Она опустила глаза, посмотрела вокруг. Открытые, светлые, праздничные лица смотрели на нее со всех сторон: мужские, женские, детские. Никто не кланялся, и было в них ожидание чуда...

Гром колоколов ударил навстречу. Впереди, на возвышении, среди зеленой рамы лесов и долин, стоял белый и золотой город. Будто невесомый сказочный пряник он был, голубые и зеленые купола как угодно теснились в некоем высшем порядке. Смутно явилось что-то в памяти. Прядь волос падала на сторону, разрушая примитивную симметрию...

В солнечном свете тонко и мощно парила земля: трава, деревья, дорога. До конца совершалось преобразование, и она никто больше, а лишь Екатерина Алексеевна, русская царица. Звезда не обманывала ее. Она широко, истово перекрестилась.

Колокольный гром все продолжался. Димитрий Ростовский, бывший когда-то здешним митрополитом, выделялся праведностью и радением за весь православный народ. Неутомимо обличал он жадность и любостяжание богатых, гордость и немилосердие имеющих власть, неправду в судах. Братьев своих, служащих богу при причетах и в монастырях, бичевал за многое лакомство и скверну. Великий подвиг также совершил он, что

наново собрал и осмыслил «Минеи четьи», чтобы в правильное время поминать святых угодников. Еще и при жизни его стали происходить вокруг чудесные дела и знамения. А когда умер, то через годы после того явленные мощи остались нетленны, и продолжали совершаться от них исцеления...

В грубом платье и пилигримских сапогах стояла она впереди всех, а ее православный народ наполнял сзади город и поле за ним до дальних лесов. Вынесенная наружу рака чистого серебра видна была отовсюду. Службу вели сразу двенадцать архиереев и епископов. Набегавшие тучи то закрывали, то открывали солнце...

Петр Великий запретил являться мощам. При богоприверженной дочери его восстановилось это древнее почитание. Эйтинский мальчик потом громко хохотал в церкви и дразнил попов. Она же назавтра после коронации пришла сюда пешком и беспокоилась, чтобы перенесение мощей этого святого человека ни в коем случае не совершилось без нее.

В такт мерным ударам больших колоколов низкими густыми голосами пели дьяконы, ароматная смола курилась и уплывала в небо тонкими голубыми струйками. Она вдруг вспомнила шифрованное донесение посланника. Сольмса к королю Фридриху: «У императрицы обычай каждого выслушивать, и через это она подчиняется различным влияниям. Люди неблагонамеренные нашли слабое место, которым пользуются при каждом случае: они уверяют Екатерину, что в том или другом случае она не угодит народу. Страх потерять любовь нации вкоренился в ней и делает ее робкою». Что же, все тут истинно: она вправду не жалеет времени, чтобы выслушать каждого. И влияниям подчиняется, да только тем, каким хочет. Так удобнее: пусть на этих людей складывают вину за то, что не станет нравиться. А страх потерять народную любовь в ней не от чего иного, как от великого желания исполнить назначенный долг. Потому и пришла сюда на великий бой...

Во всем ей заканчивать дело Петра Великого, и в этом тоже. Только не станет запрещать, и те же суеверные мощи приспособит к делу. Суть не в потревоженных костях. Димитрий Ростовский и точно был человек высокой души и немалой учености, но тоже восстал на государя-преобразователя, когда тот стал причитать церковные имения к государственному бюджету. В давние веки было, когда русские князья по смерти завещали свои наделы и имущества митрополиту московскому, а от того выигрывал московский князь и собиралось государство. Теперь же столько насобрано, что как бы втрое государство стала церковь. Главной задержкой становится это для дела.

Когда твердо и недвусмысленно объявила свою волю по этому поводу, то первым как раз и закричал здешний митрополит

Арсений, что прямой наследник Дмитрия Ростовского. Она не имела намерений прибегать к вящей крутости, но сам шел на то. Во исполнение петровского завета назначила она переписывать церковные имущества, без чего нельзя посчитать общую возможность сего Геркулеса для грядущего подвига. А наипаче вызвало тот крик повеление переводить церковных крестьян на оброки. «У нас не Англия, чтобы едиными деньгами жить и пробиваться, и благочестию наступит конец!» — слышалось из архиерейских вотчин. Митрополит Арсений Мациевич прямо грозил, что не допустит ее к раке Дмитрия-чудотворца. Она еще крепилась и писала к директору кабинета Олсуфьеву: «Понеже я знаю властолюбия и бешенства ростовского владыки, я умираю боюсь, чтоб он не поставил раки Дмитрия Ростовского без меня!» Пока что к раке приложили кабинетную печать и велено было поставить солдат.

Дело в том еще состояло, что хоть православный иерей значился сей Мациевич, а все же польская в нем кровь, и природно ближе это к римскому взгляду на суть и место церкви. Уже после коронации ее, когда всем рассудительным умам стал досконально виден незыблемый размах на будущее, митрополит ростовский отправил в синод доношение. Вовсе прямое указание пальцем на нее было там: «В мировой истории первым отнимателем церковных имений был Иулиан Богоотступник; в русской же, не токмо во время царствования благочестивых и великих князей, но и во времена татарския державы Россия имела свободные имения церковные, в первоначальной власти архиерейской содержащиеся». А в преамбуле того доношения открыто вытаскивался старый заржавелый меч от Лойолы: «Говорят, что имений у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто бы отсекая излишество; но и этому образец Иуда Искариотский, который, желая предать Христа и видя его помазуема от жены многоценным миром по теплоте веры и любви, говорил: «Чесо ради миро сие не продано бысть на трех стех пенязь и дано нищим?»»

Все они в синоде думали таково и теперь в безмолвном споре с ней получали возможность прикрываться этим откровенным доношением. Но время было с ней, и не осмелился никто из митрополитов выделить рядом с тем непробудным упрямым свой голос. Ни с какой другой, как могли бы, а только с государственной стороны принялись они обсуждать нерегистрированное письмо, давая ему тем самым официальный ход. А по укоре-ненной от тех же татарских времен исторической практике к ней и обратились с сообщением, что, мол, в доношении ростовского митрополита «все, что ни есть, следует к оскорблению ея императорского величества, за что он великому подлежит суждению; но без ведома ея императорского величества святейший синод

к тому приступить не смеет, а передает в высочайшее благорассмотрение и высокомонаршую ей императорского величества бесприглядную милость».

Она холодно вернула синоду то доношение, чтобы сами решали, каково надлежит вести себя истинно православному иерею по отношению к православному государю, тем более что в означенном доношении ясно можно усмотреть превратные и возмутительные истолкования многих слов святого Писания. Обо всем этом должен быть их недвусмысленный приговор; а к нему еще будет иметь место присущее ей снисхождение и незлобие. Больше и не касалась она их, - и даже когда старый Бестужев обратился в защиту провинившегося пастыря, твердо пресекла ту инициативу.

Они сами все сделали в синоде: через военную коллегияу взяли под арест своего злоречивого собрата и под конвоем семеновского полка капитан-поручика Николая Дурново привезли в Москву. Обер-секретарь Остолопов прочел там указ святого синода, иеромонах Гавриил снял с Мациевича мантию, панагию, белый клобук и отобрал посох, а самого его под смотрение постоянного караула из четырех солдат и унтер-офицера заточили в Корельский монастырь со строгим запретом разговаривать с другими монахами, а также отнятием бумаги и инструментов для письма. Выговоры за прежнюю переписку с ним получили костромской епископ Дамаскин и переяславский Сильвестр.

От нее к синодскому приговору была лишь поправка, что «для удобнейшего покаяния преступнику, по старости его лет, монашеский только чин оставить, от гражданского же суда и истязания мы, по человеколюбию, его освобождаем». Тут важно было, что сами руководители церкви осуждали одного из своих членов за устройство некоего противовеса необходимой здесь самодержавности. Она столбиком выписала к себе лиц, подписавших к ней от синода этот знаменательный для истории доклад:

«Смирные

Димитрий, митрополит новгородский,

Тимофей, митрополит московский,

Гавриил, архиепископ петербургский,

Гедеон, епископ псковский,

Амвросий, архиепископ крутицкий,

Афанасий, епископ тверской».

Кесарю тут отдавалось выше положенного, но и место было дальше от холмов галилейских. Речь свою к синоду она заучила наизусть и потому говорила по-русски четко и правильно: «Если спрошу вас, кто вы и какое ваше звание, то вы верно дадите ответ, что вы — государственные особы, состоящие под властью монарха и законов евангельских, призванные на проповедывание



истин религии и наставления в законе, служащем правилом нравов. Все ваши права и обязанности состоят в ясном предложении догматов веры, в убедительном истолковании их доказательствами, а не спорами. Но от чего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способы жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему знанию? Вы преемники апостолов, которым повелел Бог внушать людям презрение к богатствам и которые были очень бедны. Царство их было не от мира сего — вы меня понимаете? Я сама слышала эту истину из уст ваших. Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям?.. Вы просвещены: вы не можете не видеть, что все сие имения похищены у государства; вы не можете владеть ими, не будучи несправедливы к нему. Если вы повинуетесь законам, если вы вернейшие мои подданные, то не умедлите возвратить государству все то, чем вы неправильным образом обладаете!»

Они молчали, скробию опустив головы, и, как видно, вспоминали только что преданного ими митрополита Арсения. Его жертвой думали они откупиться от времени. Только ей нужно было все. 12 мая, в день начала этого богомолья, она подписала указ об учреждении Коллегии экономики, призванной секуляризовать те церковные имущества.

А они отныне и навечно будут делать общую с нею задачу, куда их ни позовет. Не в одних имуществах вопрос. Вечный Рим рухнул от принципа, что не должен кесарь касаться духа человека. И католическая та логичность здесь не к месту. Еще и орденские ленты от нее будут носить митрополиты за службу государству...

Гремели колокола. Она стояла и думала, что как у любимого ею наваррского короля Париж стоил мессы, так у нее двойное увеличение российского бюджета стоило запрещенных великим царем мощей...

Потом она честно молилась со всеми, целовала крест и видела слезы в глазах у людей. Она верила в бога с необоримой рассудочностью, и коль требовалось тут в утверждение общей веры разукрашивание храмов и сохранение мертвых костей для народного поклонения, то не колеблясь примет в руку это оружие...

Единый вздох прошел по земле до дальних лесов: даже колокольный звон сделался тише. Что-то необъяснимое происходило в мире. С удивлением вдруг ощутила она, как само по

себе задержалось дыхание. Дальше все уже делалось помимо нее: куда-то пропал вес у собственного тела, слезы освобожденно потекли из глаз. Вперед и вверх протянула она руки, приподнялась и поплыла к серебряному ящику. Сухие чистые кости лежали там на лиловом бархате, и она прикоснулась к ним губами. Страшно, восторженно закричал, поднимаясь к нему, женский голос. Оборвалось земное пение...

Это продолжалось целую вечность, и не было тут конца и начала. Шуршали, касаясь лица, стремительные крылья, невидимые хоры пели в вышине. Будто проснувшись, она встала с колен, посмотрела вокруг. Неисчислимые толпы людей плакали и молились вместе с ней. Голубой дым уплывал в небо, и по-прежнему носились там, снижаясь к самой земле, синие ласточки.

Потом ей сказали, что прозрела вдруг от природы слепая черница Марьюшка и увидела сонмы ангелов, летающих и поющих над новой ракой святого Димитрия. Она на то ничего не ответила, а когда предложили послать врача, чтобы удостовериться чудо, отрицательно покачала головой. Управляющий всем торжеством новопожалованный митрополит новгородский Димитрий Сеченов хотел унести раку в церковь, но от того могли произойти слухи, что мощи укрылись от нее. Бродячие попы на дорогах предрекали такое. Она велела, пока находится здесь, оставить мощи на дворе, лишь приставить на ночь солдат, чтобы не покрали...

На другой день Сеченой, как с дружелюбной приветливостью звала она митрополита, при раскрытой раке и толплении народа держал к ней речь. Это было повторение сказанного при коронации, а она слушала и думала, что же вчера с ней было. Девочкой она считала, что может угадывать будущее. Здесь происходило другое. Ей явственно представлялось, что летит над землей к раке, невидимые крылья трепетали в вышине. Русская она была со всеми и видела чудо. В храме из детства с ровно направленными к небу линиями ей было бы узко и душно...

Отец и владыка Димитрий читал с достоинством... «Господь возложил на главу твою венец. Знает Он благочестивые от напасти избавляти; знал он пред Собою чистое сердце твое, знал непорочные пути твои. Знаем и все единодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни рука твоя державы поискала славы ради, или снискания высокой власти, или приобретения временных сокровищ; но едина матерняя ко отечеству любовь, единая вера к Богу и ревность к благочестию, едино сожаление о страждущих и утесняемых чадах российских понудили тебя прияти великое сие к Богу служение. Будут чудо сие восклицать

проповедники, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость не книжные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величие Божие...»

Она лишь внутренне поморщилась, когда одновременно с непорочной Еленой и решительной духом Юдифью сравнил ее красноречивый митрополит. С Еленой-то ладно, и от непорочности нечего отказываться. А вот с Юдифью, что собственно-ручно голову отрезала Олоферну для народного спасения, так тут мало ли что на ум может прийти. Между тем, по чрезмерному усердию, один раз сказанное здесь упорно тысячу раз произносятся, пока абсурдом не сделается. Вон и речь свою митрополит повторяет слово в слово от коронации. В том неосознанном лукавстве опасность...

Она скакала в Ярославль верхом. Больше всего в жизни любила она эту езду и всегда сидела в седле по-мужски, без жеманства. Дорога подсохла, теплый воздух пахнул травой, и она пустила коня в курц-галоп. Этот мощный и рассчитанный скак убирал из головы все заботы и сомнения. Отдавшись поводьям, она летела вровень с ветром, что захватил ее когда-то в сказочном зимнем лесу и нес не уставая.

Победно загремело и раскатилось в небе. И вправду казалось, что ехала там пророческая колесница. Набежавшая из-за леса туча закрыла солнце, но тут же оно снова открылось и ослепительно засияли белые стволы берез, вспыхнули цветы в полях, в мгновение поменяли тени на свет дальние леса. Дождь шумно ударил по земле, по дороге, тяжелые крупные капли били в лицо. Только был это другой дождь: теплый и радостный...

Гришка в третий раз уже заглядывал из дальней, за две комнаты двери и скрывался на сторону. Он встретил ее здесь, в Ярославле, впереди всех, как и надлежит генерал-адъютанту и действительному камергеру. Потом представлял со служебными лицами доклады от сената, кабинета и по коллегиям. Она спокойно смотрела мимо, и он переставал водить плечами, с незаметностью одергиваясь. А при том кипел, так что рука белела вместе с ногтями. Там в руке было у него перебитое сухожилие при Цоридорфе, когда наскакивал на прусские пушки.

Она и тут не изменила распорядка: до конца посмотрела бумаги, сделала все резолюции, написала письма. Потом прошла на половину, где был отведен для нее личный апартамент. Камердинер со всегдашней тщательностью исполнял волосочесание, девушка готовила все к ночи. Слышны были Гришкины неровные шаги и какие-то удары: будто на стены там бросался. Но когда вошла в спальную, он стоял на своем месте и младенческое было что-то в приоткрытом рте. Она остановилась,

прождала еще, отмеривая его чувства, и сказала себе переступить черту.

Одновременно оставшись там, за этой незримой чертой, продолжала она наблюдать превращение: свободны делаются в движениях руки, ослабляются мышцы в лице, перестают тянуть к углам губы. Некое потепление разливается по телу, и приходит высокая, идущая от чуда слабость...

С покорной беззащитностью улыбается она ему, и вмиг куда-то девается его вынужденная послушность, с грубой силой дергает он ее и тащит к себе. Не скрывая злости, мстит он за такую мужскую униженность, рвет и терзает ее. И чем грубее все делает, тем выше счастье...

В перерыве она говорит ему нежные слова, перебирает мягкие кольца волос, целует. Потом долго лежит, лаская пальцами шершавый рубец у его плеча. Еще такие есть на его сильном теле, и все она хорошо знает. А он, уже полный своей мужской значимости, что-то рассказывает ей про врагов, которые тшятся уменьшить его достоинства. Вон как вскинулись, когда решил было согласиться стать ей мужем.

— Купидон, Кришенька, то младенец с крылышками, что стреляет любовными стрелами,— говорит она ему.— Также Амур он называется. А у грехов — Эрот...

Снова всяким желаемым способом унижает он ее, громко и презрительно говорит солдатские слова. С девкой из слободы или захваченной маркитанткой было у него точно так. Она же, готовая и послушная, терпит все, и ничего нет слаже этого его мучительства.

Утром она мягко освобождается от него, набрасывает пеньюар. Он уже знает, что сейчас произойдет, и остается у постели. Рассветная синь попадает в окно. На том же месте стоит она и твердо оставляет все за чертой. Плечи у него подрагивают, будто связан канатами и не может уже развязаться. Нет, ничего снаружи не изменилось между ними.

— Так что, Кришенька, не упусти про дом воспитательный чтобы проследить от комиссии,— с негромкой приветливостью говорит она.

— Все как есть уже и исполнено, матушка-государыня!

Бодрая услужливость в его голосе. Она смотрит внимательно, нет ли в глазах там некоего тайного огонька. Только не рожден этот великолепный герой для ироничности. Лишь недоумение по поводу такого своего бессилия и вскипающую раздраженность можно там разглядеть. Чувствуя твердо натянутые углы губ, она кивает ему подбородком и уходит.

Неужто он, Григорий Орлов, да какого-то Федьку Хитрово или Рославлева не смог перевозмочь?.. Так все складывалось, что ему становиться мужем для Катрин. Первый он из первых был со всеми кровными Орловыми, когда уroda с царства сбрасывали. И сын у него с нею есть спрятанный. Кажется, и разговору тут никакому против не быть. Тем более, что все бы сделалось закрыто, вон как у графа Алексея Григорьевича с покойной государыней. Про царя из себя он наперед не мыслил, хоть Лексашка намекал. В остальном же все у него на месте. Первый генеральский чин и графское достоинство от государыниной ласки, и при том не из хохлацких он певчих, как некие графы, а столбовой русский дворянин. Сам Бестужев, довереннейший у Катрин человек и первый дока при дворе со старых еще времен, взялся привести к концу то дело. Как же так получилось, что все сильные: и Разумовские, и Панин, и Чернышев, и генерал-прокурор Глебов сделались против их марьяжа. Гвардионцы — так сплошные оказались враги. В донесении князя Несвицкого, что с виною пришел к нему, весь букет измайловцев да преображенцев с семеновцами оказался налицо. Когда допрашивали Николая Хитрово и вошел Лексашка, так тот нагло спросил у брата извинения, что хотел убить его с остальными Орловыми. И подтвердил, что не отступится с прочей гвардией, если будут приводить к исполнению свой заговор...

Катрин не велела даже докладывать себе о том деле, но только через него, Григория Орлова. А пока ходила в богомолье, все и совершилось. Лексашка говорит, будто от начала известно было ей все, сама и соорудила ту бестужевскую подписку, чтобы предупредить сановников и гвардию об орловском замысле. Только из чего это видно? Никак не возражала она в разговоре с ним против марьяжа, да и любит его сильней драной кошки. Какой бабе не прелестно иметь такого мужа?

Только зачем наказаны столь нестрого возмутители против него, то непонятно. А что не станет с ней пред аналогом венчаться, так и без того обойдется. Чего хочет с ней делает, когда одни остаются. Вот только та манера не видеть его в сенате и на приемах, не русского она свойства. «Кришенька» — это потом, а на людях подбородка не приопустит...

Он бросил в угол болонку с кресла, зашагал от двери к двери. Черт бы их взял те ярославские палаты: сто комнат в доме, и всякая меньше собачьей конуры. Не сдержавшись, опять выглянул в дверь. Катрин по-прежнему сидела с пером в руке, и стопа писем была еще высокой. Протянув руку к чернильнице, она подняла голову, и он поспешно отступил за косяк двери:

— Эк... твою мать!

Сами сжались кулаки. Стоять следовало твердо в дверях да пальцем ее поманить. Сейчас нет никого вокруг, так что нечего комедию ломать. Вон и в богомолье отказывалась его принять. Ведь не боится он ее, так что же такое происходит с ним?..

Вот опять: услышал, что закончила писать, так перегнувшись заспешил в спальную. И тут еще полный час ему ждать, пока сделается волосочесание. Чего бы проще — плюнуть, да в возок и к Алинке. Та безотказно принимает его все дни, что тут они в Ярославле. Вечером лишь не может, пока у мужа на виду. А ночью — так даже и вино всегда на столе готово...

Нет, сегодня он все этой прохуди заявит. Слова не говоря, в морду, и в последний раз потом, чтобы ноги ставить прямо не могла. Пусть побегает за ним, поплачет. Всем ему обязана, и императорством своим, а каково обращается...

Только ноги его зачем-то отступают на некое обозначенное место. Она вошла и чуть шурится, глядя в полутьму. Он же не двигается. Хоть в пеньюаре она, но не может к ней подойти, пока так держит голову. Неужто задратый подбородок тому причиной? Еще и губы твердым подукругом...

Немыслимо долго стоит она там, и кровь начинает стучать в голове. Даже шею душит, так сильно ненавидит ее сейчас. Сколько еще тянуться тому делу?..

В единый миг все переменяется. Ямочка появляется у ней в подбородке, теплеют губы, с томной слабостью упадет маленькая белая рука. Покорно-и ласково глядит она на него. Пеньюар даже сам сползает с плеча, золотистая тень у нее под рукой...

Как и не было ничего, действует он теперь. За руку притаскивает к себе, сдирает с нее все и не встречает ни в чем отпора. Лишь охает она, когда делает больно. А он и не жалеет: с долго таившейся злостью мнет ее всю, выворачивает, словно на дыбе, и еще больше разъяряет его та беззащитная податливость. И вдруг понимает, что ей того и надо...

Неподвижно он лежит, а она нежит всяко его и называет ласковыми словами, какие матери говорят детям. Он угрюмится, но вдруг начинает много и горячо говорить, будто прорвалось в нем что-то. Она слушает с дружеским вниманием, как он грозит сенаторам и гвардионцам, ставшим ему поперек пути. Полностью она на его стороне, и другому быть невозможно. Потом с новой злостью тащит он ее к себе, вспоминая день...

Ранний свет льется из-за гардин. Она уже надела пеньюар, поправляет разорванный рукав. А он знает, что сейчас будет, и уже не приближается к ней. Та метаморфоза вовсе незаметна.

Приподнимается у ней особливо подбородок и губы делают овалом. Ровным негромким голосом говорит она о воспитательном доме, что предположено открыть в Москве для дворянских и солдатских сирот, над чем ему поручено наблюдение. Он лишь открывает рот, и слова вылетают сами:

— Все как есть уже и исполнено, матушка-государыня!

### III

— То все идеал, мой друг!

Это она сказала ему с самой обворожительной своей улыбкой. А маленькие белые руки ее совершенно ровно разорвали лист глянцевиной сенатской бумаги на четыре части: сначала в длину, потом поперек. Подпись ее осталась на второй четверти. Он стоял в оцепенении, не зная, что говорить. А через три дня наступил новый одна тысяча семьсот шестьдесят третий год...

С постоянным рвением трудился он над тем проектом от самых ликующих и тревожных дней, когда ночи стали вовсе белыми и никто не спал в России. Нынешняя революция знаменовала торжество здорового смысла. Никогда тут не было твердой законности, и теперь засияла надежда установить великую русскую хартию. Задолго перед тем, когда по возвращении из Швеции приставлен он был воспитателем к цесаревичу, то говорил с великой княгиней по этому поводу. От нее всегда происходило неизменное сочувствие тем идеям.

— Le comte Панин из того порядка людей, что представляют надежду России!

Так она со всей убежденностью сказала о нем французскому посланнику Бретелю, вовсе не зная, что сам он, Никита Панин, стоит за колонной и все слышит. Для нее только открывалась его замкнутость. Подробно объяснял ей правомерность прихода ее к правлению в качестве регента при малолетнем сыне-императоре. Правила русского престолонаследия происходят от византийских Мономахов, и там имелись соответственные примеры.

Случилось вовсе непредвиденное. Никто в целой России и понимать не стал того регентства, а в один голос закричали ее прямо императрицей. Вот уж не имеется в русской национальной душе малейшей высокомерности, как и чувства приверженности к династии. Сам Петр Великий на то и другое смотрел как на назойливые препоны при главном деле. Потому, видно, татары да немцы у него без лишнего разговору делались русскими...

Все же он еще в манифест Шестого июля вписал обдуманную

мысль: «Наиторжественнейше обещаем Нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело». Этим ясно говорилось, что при необходимой для России самодержавности будет некое узкое собрание государственных умов, направляющее ход державного корабля. Даже и монархине в таком случае нельзя будет капризно менять закон или слать на войну Россию без всякого видимого резону.

Сразу же после переворота сел он составлять тот проект по реформе всей правительственной жизни. Она с нескрываемой благожелательностью отнеслась к тому. И всем своим поведением показывала, что не будет терпеть сенаторов лишь яко попугаев, повторяющих заученное или одни ею сказанные слова. Совет, про который он мыслил, обязан был бы высказывать собственные мысли.

Да только в сенате ли дело, когда большая часть тех законов составлена случайными и недостойными людьми в наивредительнейшие для отечества времена. Даже в своем нынешнем праве сенат никак не в состоянии что-либо дельное произвести. Было время, что говорили сенаторы. Да после казни Воынского откуда такому разговору взяться...

Чуть паралич его не хватил, когда читал то дело. Кабинет-министр и первый докладчик при Анне Иоанновне был Артемий Петрович Воынский. И тоже составил тогда «Генеральный проект о поправлении государственных внутренних дел». Его и позвали в Тайную канцелярию. Это кто же поверит, что такого упорства и проверенной честности человек мог так на себя говорить. Громко и внятно произносил на суде, что является лютей враг российской державе и народу. Еще и казни мучительной сам для себя просил. Делали-то все при свете дня, нагло и сатанински. На триста лет вперед был научен русский сенат говорливому молчанию. Со слезами патриотическими в голосе черное назовут белым, а белое — черным.

Все хорошо было ему известно, когда приступил к проекту. И опытом не только здесь заимствовался, а также от Европы, где двенадцать лет нес российскую дипломатическую службу. Ближе всего для сравнения тут Швеция, откуда и почерпнул некоторые примеры. Что же привело этот проект к столь непредвиденному результату, что порвали его на четыре части?..

Никита Иванович Панин подошел к открытому окну, стал смотреть. Окно выходило на заднюю сторону дворца. Где-то там громко гоготал индейский петух, как видно, привезенный для продовольствования сената, тоже находившегося в Москве. Императрица ушла в богомолье, но и с дороги регулярно шли от нее



письма и резолюции. Больше всех к нему, поскольку кроме того, что воспитатель и обергофмаршал двора великого князя Павла Петровича, так еще и возглавил Коллегию иностранных дел.

Она сразу, по воцарении, пришла в сенат и была там еще одиннадцать раз за три месяца. В первое же ее присутствие, в Москве вышло распоряжение сенаторам находиться тут от половины девятого до половины первого часа и посторонних речей отнюдь не говорить. Было видно стремление возратить смысл именно этому Петрову детищу. Но что же бесполезного нашла она в его проекте?..

Первый день случился за год, что не прислано от нее фельдъегеря с почтой. Сейчас она в Ярославле, и это значило, что завтра сама прискачет. А Павел Петрович занят в манеже с липипутскими английскими лошадами, так что выпало и ему свободное время. Он вернулся к столу, машинально притянул к себе список с проекта и, хоть помнил его наизусть, в который раз принялся читать... «Взяв эпох царствования императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой тогда первую часть своего прокурорства производил по дворскому фаверу как случайный человек. Следовательно, не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей...»

Императрица всегда утвердительно кивала головой, когда читал ей про это, и от себя давала примеры. Все лучше его знала, двадцать лет живя при этом дворе. Саму ее фаворитство Воронцовых да Шуваловых чуть не привело к аресту. А слабые стороны Елизаветы видела еще и с женской пронизательностью... «Ее величество вспамятовала, что у ее отца-государя был домашний кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить. Тогдашние случайные и припадочные люди воспользовались сим домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно превратилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде фавер и старшинство людей определяло; не было выбору способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присваивал государственные дела, как кто которыми думал удобнее своего противника истребить. Фа-

ворит остался душою, животворящею или умерщвляющею государство. Таково истинное существо формы или, лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве».

Тут все без лукавства и с достоверностью написано. А мысль самая понятная: когда вставший у власти человек начинает прямо от стола своего и от постели, минуя государственные учреждения, собственным чувством назначать и возвышать людей, то все катится к пропасти. Без дела и таланта возвышенные люди занимают государственные места и уже не о законе и государственном интересе пекутся, а чтобы только угодить высшему лицу. Всякая противная закону и здоровому смыслу глупость, сказанная оттуда, и делается законом. Сам же закон становится как бы театральным правилом для комедии, которая с серьезным видом показывается своей публике и просвещенной Европе. А если к тому сама эта публика да вместе с Европою роковым образом расположена к такому обману, так и превращается все в некий бесовский шабаш.

Но отечеству-то каково? Каждый попавший в случай ласкатель государя, получив место не по заслуге, сам тут же ищет себе ласкателей, и так идет до самого низу, наподобие гангрены. Вот оно что такое — фаворит. А Петр Великий на то не оглядывается: по зоркому глазу назначал возле себя дельных людей, так думалось ему, что и дальше все будет идти правильно. Скорее всего, вовсе о том не думал: некогда ему было. А правило, годное лишь для чрезвычайных времен, осталось. И Петр Великий рождается лишь один раз в тысячу лет...

Уже с первого чтения заметно ему стало, что не спешит она с принятием его предложения. В проекте стоял риторический вопрос: «И не может ли сие злключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, в которые не только установленного правительства, но и письменных законов не было». На что она приписала: «Кажется мне, что употребление столь сильных слов неприлично нашей собственной славе, да и персональным интересам нашим противно такое на всю нацию и на самих предков наших указующее поношение».

Во второй раз, когда убрал из текста «варварские времена», она нашла другое: «Слово *министры* не можно ль переименовать русским языком и точную дать силу?» А когда в третий раз переписали проект, то напротив места, где предложено было поставить императорский совет из шести персон, она написала: «До осьми». Он с терпением и настойчивостью выполнял все, и уже невозможно было дальше ей откладывать решение.

— Скажи, Никита Иванович, а разве и вправду государыня

Елизавета Петровна была столь нехорошая и недобрая, как оно у тебя получается? — спросила вдруг она, потом покачала головой и тихо, будто для себя, сказала: — Это тоже русское томление по идеалу!

Он тогда не понял, что думала этим словом сказать. А проект отдала читать неизвестным людям, не указывая автора. Когда же он попробовал возразить, то с нарочитой удивленностью взглянула на него:

— Так сам ты, Никита Иванович, о Совете тут хлопочешь. Почему же мнения другие тогда не послушать?

Три месяца затем читали его проект. Писали всякие несусветности, и все он опровергал перед ней. Прямее всех написал напротив генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа: «Не знаю, кто составитель этого обширного проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, тонким образом склоняется больше к аристократическому правлению. Влиятельные члены обязательного и государственного законом установленного Императорского совета (особенно если они обладают достаточным к тому своеволием, честолюбием и смышленостью) весьма удобно могут вырасти в соправителей».

Опять он подробно и с примерами излагал ей, как все то происходит в других просвещенных государствах. Она с постоянной своей внимательностью слушала, хотя не хуже его о том знала. Потом попросила назвать главнейшие добродетели, которыми обязан будет обладать член такого Императорского совета. Он с готовностью перечислил: это должен быть муж твердый и неподкупный, чтобы был умен, правдив, некорыстолюбив, с добрым сердцем, ставящий чужое выше своего и паче блюдущий государственный интерес. К тому же не ласкатель и угодник, не сластолюбец...

Она остановила его коротким движением руки:

— Ну, одного такого мы с тобой знаем, Никита Иванович. Назови кого второго!

И тут он запнулся.

— Разве что граф Григорий Орлов? — сказала она в раздумье, как бы помогая ему выбирать.

Он молчал.

— Или, может быть, граф Кирила Григорьевич... Также Яков Шаховский... Еще Теплов, Чернышев, кто-то из Воронцовых...

У него дух захватило. Так и не понял он, вполне серьезно говорила она или смеялась над ним. Все названные были таковы, что пробы негде ставить, а Теплов, так, будучи шестнадцати лет от роду, своего благодетеля, того же самого Волынского и продал. На нее даже саму этот человек доносил по бестужевскому делу...

Опять было сказано переписать проект, да тому же Теплову поручено подготовить его к подписи. Утром 28 декабря она и подписала манифест об учреждении Императорского совета. А перед самым вечером позвала его к себе. Подписанный накануне манифест лежал на ее столе. Прямо и без улыбки посмотрела она на него и сказала:

— А ведь и среди апостолов не было такого, каких предполагаешь членами моего совета.

Потом она встала и разорвала манифест на четыре части. Он стоял окаменелый. И тогда снова услышал от нее это слово:

— То все идеальность, мой друг!..

#### IV

Все умерло для нее и просто не существовало. В этом мире был только маленький, открывающий в крике рот и сосущий из нее молоко, немислимый предмет — ее сын. Четыре дня назад он отделился от нее, но она продолжала ощущать его сердцем и кровью, каждой клеточкой своего существа. До той высокой и мучительной минуты она только предчувствовала его. А все направление ума и чувств, безо всякого исключения, было сосредоточено на муже. Тот, огромный и беспомощный, лежал на другой половине дома, чтобы не заразить ее своей постоянной ангиной, а она, отменяя всякие резоны свекрови и других его родных, упорно сидела подле него и ставила горячие примочки к горлу. Большая и добрая свекровь лишь беспомощно разводила руками. И муж смотрел на нее кроткими, как у матери, глазами, без ропота подчиняясь всем ее действиям. Она любила его, как и все в жизни делала, беззаветно и до конца. Когда он два года назад так же заболел, а она опять была беременной, и уже начались схватки, то жестоким усилием сдержала их и через весь Петербург тайно ехала к нему на февральском морозе. Так же абсолютно любила она свою свекровь, всех его многочисленных родных, всех людей вокруг себя. Но всякий раз на чем-то одном и без остатка собиралось ее чувство. Таковыми предметами были ее дочь Анастасия, потом сын Михаил, умерший на другой год после той знаменитой февральской ночи, а сейчас этим предметом стал четыре дня назад рожденный ею другой сын, которому не было еще имени...

Уже некоторое время доходили до нее с улицы голоса, но, занятая сыном, она только отмечала их в своей памяти. Кто-то спрашивал: «Здесь князь и княгиня Дашковы?» Потом тот же голос сделался тише: «Нет, ее не надо, позовите сюда лишь князя!»

Тут она вспомнила, что князь болеет, и подошла к окну.

Сенатская карета стояла не возле их крыльца, а на стороне, перегораживая узкий московский переулок. Рядом стоял Теплов, коварнейший в свете человек. Сама императрица рассказывала, как интриговал против нее, когда арестовали Бестужева, а теперь взяла его к себе в делопроизводители. Напротив Теплова стоял ее муж с фланелевой повязкой на горле и читал какую-то бумагу. Она хотела пойти и сказать, чтобы не смел больной находиться на улице, но сдержалась. Что-то непонятное было в поведении Теплова. Почему в дом к ним не является, а зовет князя на улицу? Наверно, не желает невзначай встретиться тут с дядей ее, Паниным, который открытый ему враг?..

А муж уже прочитал бумагу и стоял ровно, во весь свой гвардейский рост. Затем вдруг, протянув вперед руки, разорвал эту бумагу, коротко поклонился Теплову и пошел в дом. Теплов сел в карету и уехал...

Она быстрым шагом полетела на половину к мужу, молча достала у него из кармана куртки порванную бумагу, подбежала к окну и стала складывать. Он с растерянной послушностью ждал, хлопая длинными и густыми ресницами, которые она так любила. С первого взгляда узнала она твердую руку императрицы. В записке дословно значилось: «Князь! Я искренно желаю не быть в необходимости предать забвению услуги княгини Дашковой за ее неосторожное поведение. Припомните ей это, когда она снова позволит себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз».

Дата в записке стояла 15 мая. Это был третий день богомолья императрицы. Значит, Теплову предусмотрительно приказали не заходить в дом, а отдать записку князю. Было уже известно о рожденном ею сыне, и об этом тоже подумали...

Все сразу просветилось в памяти от первого дня, когда увидела и полюбила ее. Это было в доме у дяди Михайлы Ларионовича, канцлера. Великая княгиня тоже выделила ее из других и, мягко взяв за руку, спросила:

— Говорят, вы много читаете, графиня. Во всяком случае, все иностранные министры при этом дворе рассказывают мне, что вместе с поручениями вашего дяди обязаны выполнять и ваши собственные, разыскивая книги по всей Европе!

Тот вечер они сидели только вместе: обсуждали трактат «О разуме» Гельвеция, смотрели купленную ею энциклопедию и исторический словарь Морери. Великая княгиня имела у себя эти книги и по всему высказывала свое суждение. Но это было лишь канвою их внутренней близости. Все сразу решила особенная улыбка, единственная в мире. Двойная разница возраста не

имела никакого значения. Она отдала свое сердце, как и все делала в жизни, навсегда. Действия самого предмета любви уже не имели значения...

Все наоборот было с великим князем. Тот подошел, почему-то раньше захохотал и сказал:

— Это, как видно, и есть моя дочь, которую крестили мы с ея величеством-тетушкой. Скажу вам с кавалерскою прямою: в купели вы были совсем голенькая и много лучше!

Может быть, не потому, что плоско иронизировал, не понравился он ей. У него был вороний голос. А еще открыто говорили про любовную связь у него с ее родною сестрой Елизаветой. Даже ночи те проводили вместе. К ней же с этих пор он обращался по-родственному: «дочь моя». Она не скрывала своего неприятного к нему отношения, но он ничего не замечал.

Уже когда сделалась замужем и всякий день спешила со своей дачи в Ориенбаум видеть старшую подругу свою — великую княгиню, он как-то взял ее за руку, отвел на сторону:

— Я желаю, чтобы вы были больше времени со мной, а не с моею женой!

Как всегда, он говорил таинственно и с важностью. А она и ответить сразу не могла от удивления. Пять минут назад те же самые слова сказала ей сестрица Лизбет в своей увешенной рогами и шпагами комнате. Даже и голос у великого князя был тембром от ее сестры. А среди разбросанных вещей там прямо валялся мужской голштинский шарф. Ее почему-то охватило физическое отвращение.

И опять он повторил слова Лизбет, отведя ее к тому же окну:

— Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон!

Великая сестрица зависть прямо читалась тут. Та с детских лет во фрейлинах так и не нашла свою судьбу, в то время как у нее был в целом мире лучший из лучших муж — князь Дашков. А еще, в отличие от Лизбет, в доме у дяди-канцлера Михайлы Ларионовича росла, откуда не рога и шпаги, а геометрия и Плутарх с Гельвецием больше пленяли ее. Так что интерес к ней общества происходит не от возраста и миловидности, а от более высокого. Сама она и слышала, как сестра с надутостью говорила: «Наша умница опять к своей сербской королеве побежала!» Про великую княгиню был пущен слух, что Цербстская означает ее маленькое княжество якобы немецких сербов, которые и вовсе цыгане...

Тогда она ответила великому князю, что не понимает смысла его слов, а двор великой княгини ей приказала посещать их тетка — императрица. После этого она прямо пошла к сестре

и спросила, зачем учит великого князя говорить ей несурзные вещи. Лизбет испугалась, заморгала своими короткими ресницами и вдруг зашептала ей: «Государыня очень болеет. Ты нас... меня держись: всякое может произойти!»

И тут она все поняла. Ведь эта толстая подушка — сестра ее — сама метит в императрицы. А в комнате вокруг по вечной неряшливости ее валялись нижние юбки, таз туалетный выглядывал из-под кровати. И лицо у Лизбет от вчерашних румян было еще не мытое...

Великий князь с того случая стал уж совсем по-родственному покровительствовать ей: приподнимал при всех от пола, как маленькую, грозил пальцем и продолжительно хохотал при этом. И всякий раз ее охватывала та же гадливость.

В большом праздничном обеде, когда сто человек сидели за столом, великий князь вдруг принялся осуждать известную в свете интригу конногвардейца Челищева с императрицыной племянницей Гендриковой.

— За такую дерзость следовало бы отрубить виновному голову, чтобы не смели офицеры завлекать фрейлин, а тем паче дам из царской семьи! — заявил он с важностью, и все замолчали. За столом там сидели одни военные, но лишь голштинские генералы их них — все больше бывшие капралы и сапожники — одобрительно закивали головами.

— Ваше императорское высочество! — возразила она громко. — Я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание!

Великий князь снисходительно покивал ей:

— Вы еще ребенок и не понимаете, что когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо водворяются неповиновение и всевозможные беспорядки.

Она даже отставила бокал от себя:

— Ваше высочество! Вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением ваших почтенных генералов, все мы, имеющие честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь в России уже не применялась.

Разговаривали они одни, все остальные слушали. Великий князь с искренней удрученностью покачал головой:

— Это-то и скверно. Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает основу жизни — дисциплину и субординацию.

Гвардейские офицеры, и среди них ее муж, смотрели на нее с ожиданием, и тогда она сказала ему в лицо:

— Сознаюсь, ваше императорское высочество, что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что

ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива!

Он отряхнулся, как попавшая в воду собака, скорчил рожу и показал ей язык. Голштинцы, ничего не понимавшие по-русски, захохотали, как над доброй шуткой. Великая княгиня говорила ей, что еще в Эйтине, десятилетним мальчиком, делал он так за спиной у учителя. Потом, уже русским императором, он у гроба тетки таким же манером высовывал язык митрополиту...

Но все происходило от улыбки, которой невозможно было не плениться. Она сама видела, как граф Александр Иванович Шувалов, коим пугали детей, вдруг дергался калеченым лицом и делался ягненком, когда великая княгиня улыбалась. Старый Бестужев завороченно смотрел на императрицу отнюдь не из-за придворного холопства. Григорий Орлов, при всем его подлом нахальстве, открывал непонимающе рот. Говорили, что наедине ему позволялось быть совсем другим...

И уже в первую встречу она видела, как пропадала та улыбка и некое второе лицо гляделось за ней. Не было оно уродливым или недобрым, а как бы из холодного мрамора. Улыбка при том не уходила с губ, а только каменела на мгновение.

В первый раз второе лицо показалось, когда заговорили об короле Фридрихе.

— Этот монарх выражает не сегодняшнюю, но будущую угрозу высшему назначению России! — сказала великая княгиня, и вдруг пропала улыбка. Губы были твердо сжаты и особым образом выставлен подбородок. Такое видела она в шуваловской коллекции древних монет. В ту же минуту опять утверждалась улыбка.

К ней это не относилось. Голубая с золотом карета оставалась всякий раз перед дачным домом на полпути от Петергофа, она бросалась, зажмурив глаза, внутрь и попадала в маленькие и сильные руки. Некая властная уверенность чувствовалась в их мягкой ласковости.

— Ах, моя милая Катрин, это такая несуразность: видеть собственного сына один раз в неделю. Но таково желание ее величества, и для меня это равно божьей заповеди!

Именно эти слова она помнила. Они целовались в полутьме, и от великой княгини пахло дубовыми почками. Что это были за такие духи, она не знала, но именно этот запах запомнился ей от тех дней. Муж — князь Дашков — скакал следом, и в Ораниенбаум приезжали к ужину. Их все звали Екатерина Гранд и Петит...

Второе лицо больше не являлось, сколько она ни наблюдала. Великая княгиня твердо уходила от разговора о своем муже, которому предстояло стать императором. В тот зимний вечер



снега намело под самые окна. Она лежала в простудной горячке, когда пришли от дяди и сказали, что императрице Елизавете — ее крестной матери — осталось жить не больше четырех-пяти дней. И вдруг до конца увиделось будущее. Император с высунутым языком вставал во весь свой несуразный рост...

Карету она оставила в переулке, а сама шла в глубоком снегу по берегу Мойки. Тело под наброшенной на нижнее платье шубой было мокрое и горячее, волосы слиплись под капором. Она знала во дворце маленькую лестницу, но запуталась в темном коридоре. Встреченная ею камеристка привела ее к великой княгине.

— Впустите ее, ради бога! — слышался знакомый грудной голос.

Великая княгиня, уже раздетая, ступила к ней от постели:

— Господи, да у вас руки, как лед. Я не буду вас слушать, пока не отогреетесь!

Они лежали вместе под одеялом, и Екатерина большая грела ее своим телом. Оно было сильное и теплое. Дрожь у нее прошла.

— Теперь говорите, княгиня, что привело вас ко мне в столь поздний час. Ваше здоровье драгоценно для меня так же, как и для вашего супруга, храброго Дашкова...

Это ее особенно трогало, что никогда не отделяла ее от мужа. Она выпрямилась, встала с постели и стала горячо говорить о их будущей судьбе, об отечестве. Сумасбродные планы ее сестры и того, кому предстояло быть императором, прямо вели к всеобщей гибели. Упав на колени, она протянула к великой княгине руки:

— Ваше высочество, ради бога, откройтесь мне. Я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть — несколько часов жизни; могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать?

Великая княгиня залилась слезами: она прижала ее руку к своему сердцу и сказала:

— Я не умею выразить, насколько я вам благодарна, моя дорогая княгиня. Поверьте мне, что я доверяю вам безгранично и говорю чистой правду; у меня нет никакого плана, я не могу ничего предпринять, и я хочу и должна мужественно вынести все, что меня ожидает; единственная моя надежда на бога, предаю себя в его руки...

Нет, все это было не так. Она-то именно эти слова говорила, но великая княгиня какие-то другие. И не заливалась при том

слезами; лишь одна металлическая слезинка блеснула в глазах и тут же высохла. Что-то еще сказала большая Екатерина о ее семнадцати годах и широком русском сердце, а потом только молчала и слушала. Но это не имеет значения: если она так все увидела, значит, так и было на самом деле. Вот и с мужем она твердо знает, что безумно его любит, а муж так же безумно любит ее. От той веры и идет их действительная любовь. Если бы так верили в хорошее все люди, то и всем было бы хорошо!..

— В таком случае за вас должны действовать ваши друзья,— сказала она великой княгине,— и я не останусь позади других в рвении и жертвах, которые готова принести вам.

— Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте на себя несчастий, о которых я буду вечно скорбеть,— отвечала та.— Да и что можно сделать?

— Пока я, конечно, ничего еще вам не могу сказать, но смею вас уверить, что я вас своими действиями: не скомпрометирую и если и пострадаю, то пострадаю одна, и вам никогда не придется вспомнить о моей преданности к вам в связи с личным горем или несчастьем...

До половины ночи говорила она, как всегда в волнении, мешая французские, итальянские, немецкие, русские слова. Все эти языки она знала, только русский выучила немного позже других. Потом поцеловала у великой княгини руку и сказала:

— Я не могу дольше остаться с вами, не рискуя подвергнуть неприятностям нас обеих?

Великая княгиня бросилась ей на шею, и они сидели так несколько минут, крепко обнявшись. Наконец она встала с постели и, оставив великую княгиню в сильном волнении, сама едва добрела до кареты...

С великим князем, сделавшимся императором, все происходило по-другому. Здесь не было разницы в том, что она видела и что видели окружающие. Ни одного слова или поступка невозможно было тут представить в высоком свете. Он играл в карты и деньги не платил. Она прямо сказала ему про то, когда приказал ей играть. Потом в пятидесятый раз рассказывал австрийскому послу, как еще в Голштейне ему было поручение от отца изгнать неких богемцев из города, что и сделал с одной ротой карабинеров. Граф Мерси краснел и бледнел, поскольку богемцы всегда были лучшими солдатами австрийской короны. Она негромко сказала императору по-русски, что это, очевидно, были кочующие цыгане, с которыми справилась одна полиция.

Тем более, что в то время его величеству было не больше одиннадцати лет.

— Вы маленькая, упрямая дурочка, вечно говорящая наперекор! — сказал он в раздражении.

И вдруг вовсе сдернулся флер. Император, хохоча и подрыгивая ногой, кричал секретарю Волкову:

— А помнишь, как смеялись мы, что великий король Фридрих все раньше наших дураков-генералов Салтыкова да Апраксина узнавал!

Волков сделался блее стены. Про то открыто говорили шесть лет войны, что всякий раз прусская армия находится точно в том месте, где следует ждать русских. И смотрели в сторону великого князя...

Ее била крупная дрожь. Мать у нее умерла на втором году ее жизни, и поэтому она вспомнила свою свекровь. Куда-то отлетели французские и итальянские слова, остались только русские. Она была урожденная Екатерина Романовна Воронцова, а по мужу Дашкова, и больше никто. Русские армии шли на черные прусские колонны и падали в огне и дыму. Впервые она ничего не сказала императору...

Она металась из конца в конец и прямо заходила на квартиры, где сидели офицеры. Числя в своих товарищах ее мужа и зная близость ее к несчастной императрице, они не скрывали своих чувств. Братья Рославлевы, Пассек, Бредихин, Ласунский, Баскаков, князь Барятинский, Хитрово — все болеющие за справедливость и отечество слушали ее с пламенем в глазах. Глазненные ею, они привлекали в дело фельдмаршала и гетмана Разумовского. С дядей своим Паниным она сама говорила и, хотя по врожденной своей манере он молчал, объяснила ему, что следует иметь на своей стороне Теплова: тот умеет писать указы. Ей передали также, что новгородский архиепископ Димитрий сочувствует их планам. И дядя ее мужа князь Волкомский, приехав из армии, сообщил, что все там недоумевают, почему русское оружие вдруг повернуто против австрийского союзника на стороне прежнего врага. Было понятно, что и князь думает так же. Потом она заболела, и невидимая рука Провидения привела к счастливому концу ее замысел.

Незабываемые те дни слились в один непрерывный ослепительный мир. Она подталкивала нерешительных, в выброшенной на плечи мужской шинели бежала к дому, где жили Рославлевы, чтобы предупредить об аресте Пассека. Окликнула на счастье неизвестного офицера, который оказался младшим Орловым, и велела ему, не теряя времени, скакать к измайловцам и объявить.

чтобы встречали императрицу. Самому же с братьями поручила стрелой лететь в Петергоф и как можно скорее привезти ее величество в Измайловский полк, где и будет объявлена всероссийской государыней.

— Скажите ей также, что необходимо спешить,— крикнула она ему вслед.— Я даже не пишу ей, чтобы вас не задерживать. Сообщите ей, что я остановила вас на улице и умоляла ускорить ее приезд: тогда она поймет необходимость своего немедленного прибытия. Прощайте,—я, может быть, сегодня ночью выеду ей навстречу!

На беду горничная объявила ей, что портной не принес для нее мужского костюма. Она распекла еще одного явившегося к ней Орлова за медлительность в исполнении ее приказаний и потом только прилегла отдохнуть. В шесть часов утра, узнав, что ее величество приехала в Измайловский полк, она приказала заложить карету, надела свое парадное платье и поспешила в Зимний дворец. Карета не могла туда проехать, и она решила идти пешком через огромную толпу. Ее тотчас же узнали солдаты и офицеры. Подняв высоко на руках, понесли они ее вперед. «То княгиня Екатерина Дашкова, спасительница нашей матушки-государыни! — кричал народ. — Ура Дашковой!»

Они бросились в объятия друг другу. «Слава богу! Слава богу!» — только и могли они проговорить. Императрица рассказала, как произошло ее бегство из Петергофа, а она сообщила все, что знала, и сказала, что, несмотря на свое сильное желание, не могла выехать навстречу, так как ее мужской костюм не был еще готов. Заметив, что на императрице была только лента ордена святой Екатерины, она подбежала к своему дяде Панину, сняла с него голубую андреевскую ленту и надела на плечо государыни, знаменуя тем ее императорское право. Потом императрица взяла мундир у капитана Талызина, она же — у поручика Пушкина, и вместе, во главе гвардейских полков и армии, выступили на Петергоф...

Как раз в те дни опять показался мрамор в лице императрицы. Обнявшись и не раздеваясь, лежали они на одном плаще, взятом у капитана Кара, вместе спали, ели и ехали стремя в стремя впереди гвардии. Им кричали «ура», и они отвечали улыбками и поклонами. Но еще накануне ее величество совещалась с сенатом, а она, похожая на четырнадцатилетнего мальчишка в офицерском мундире, подошла и шепнула ей в ухо, что необходимо поставить заставы в устьях рек, чтобы предупредить неожиданный приезд свергнутого императора. Вот тогда на мгновение твердо очертились губы у императрицы. Но тут же снова возвратилась улыбка.

— Юная княгиня Дашкова, благодаря своей горячей пре-

данности, предупредила нас о некоем важном обстоятельстве, ускользнувшем от нашего внимания,— объявила она сенаторам. Почтенные мужи встали все как один и поклонились ей.

Опять по возвращении из похода она бегала с этажа на этаж во дворце, проверяла охранявших входы и выходы гвардейцев, давала приказания офицерам. И неожиданно увидела старшего Орлова. Тот лежал на канапе в задней комнате у императрицы, выставив на стул ушибленную ногу. Ножом с костяной ручкой он открывал правительственные конверты. Точно такие видела она у своего дяди-канцлера.

— Что вы тут делаете? — громко вскричала она.

Он посмотрел на нее с удивлением и вдруг улыбнулся:

— Императрица велела, я и слушаюсь.

Больше всего задела эта его снисходительность к ней.

— Сомневаюсь,— ответила она сухо.— Эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников. Ни вы, ни я не годимся для этого!

Он даже не сказал ничего и продолжал с усердием делать свое дело. Она хотела тут же бежать к императрице, но что-то отвлекло ее. А когда вернулась, то императрица была уже здесь. Рядом с канапе, на котором лежал Орлов, был накрыт стол на три куверта.

— Вот и хорошо, графиня, пообедаете с нами! — сказала ей императрица.

— Я не спала вот уже пятнадцать дней, ваше величество! — ответила она изменившимся от волнения голосом.

Императрица бросила короткий взгляд в ее сторону, и вдруг опять пропала улыбка. Будто некая холодная тень набежала на лицо.

Нет, не о себе она думала. Совершилось великое в истории дело, и ни одного грязного брызга не должно быть на императрицыном платье. Как удастся скрыть ее величеству столь недостойную любовную связь?..

А затем она отправилась к своему дяде — великому канцлеру, чей дворец был рядом, а от него к отцу. Тот, волнуясь и охая, ходил по комнате.

— Что с вами, батюшка? — спросила она.

— Ах, ваша сестра Елизавета совершенно сведет меня с ума,— ответил он.— Зачем вдруг поселили ее ко мне?

В соседней зале плакала Лизбет, которой не было другого убежища после ареста императора. Она успокоила сестру, твердо пообещав милость императрицы, после чего возвратилась к отцу.

— Зачем здесь столько чужих людей? — спросил он, указывая на солдат. Те стояли у каждого окна и двери.

— Нас прислали для безопасности дома! — сообщил ей командовавший ими офицер Какавинский.

— Оставьте лишь пятнадцать человек, а остальных пошлите для охраны дворца! — приказала она. Офицер не перечил ей, но когда она потом снова пришла во дворец, от императрицы как раз выходили Григорий Орлов вместе с этим самым Какавинским.

Императрица вовсе не улыбалась, но и не гневалась. Только озабоченность была в лице, когда обернулась к ней и спросила:

— Зачем, графиня, вы своей властью отослали солдат, назначенных охранять ваших сестру и отца? Вы же знаете, что рядом гвардейские казармы и сколько настроены там против Воронцовых. К тому же вы объяснялись с офицером по-французски, вызвав подозрение у солдат.

И тут она сама вскинула голову:

— Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после вашего восшествия на престол ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне, на каком бы языке я ни говорила!

— Успокойтесь, милая графиня. Вы должны, однако, сознаться в том, что были не правы, удаляя солдат.

Непонятное сожаление было на лице у императрицы и грусть в голосе, когда говорила это. Кажется, было сказано еще, что лишь прямые начальники должны приказывать солдатам. Но она стояла на своем:

— Действительно, ваше величество, я теперь вижу, что мне следовало дать свободу действий этому глупому Какавинскому и оставить вас без солдат, которые смогли бы сменить караул, охранявший вас и дворец!

— Ну, будет, довольно об этом.— Императрица улыбнулась и махнула рукой.— Я вас упрекнула за вашу раздражительность, а теперь награждаю за ваши заслуги!

С этими словами ее величество возложила на нее свой собственный орден. Но она не встала на колени, как полагалось в подобных случаях, и ответила:

— Простите мне, ваше величество, то, что я вам сейчас скажу. Отныне вы вступаете в такое время, когда, независимо от вас, правда не будет доходить до ваших ушей. Умоляю вас, не жалуйте мне этого ордена: как украшению я не придаю ему никакой цены. Если же вы хотите вознаградить меня им за мои заслуги, то я должна сказать, что, какими бы ничтожными они ни являлись, по мнению некоторых лиц, в моих глазах им нет цены, и за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами!..

Так все и продолжалось. А когда вернулся из ссылки бывший канцлер Бестужев, то у ее величества невольно вырвались слова:

— Вот княгиня Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова!

И снова все было несколько иначе. Кажется, говорились другие слова и делались жесты, но только так она это видела. Точно лишь, что было сожаление на лице императрицы, которую, невзирая ни на что, продолжала любить безмерно.

Ее величество сразу же милостиво возвратила князя Дашкова из поездки в Константинополь, куда отправлен был при императоре. Ее же саму неожиданно отнесла только во вторую категорию награжденных за участие в революции, тогда как к первой причислены были дядя ее Панин, граф Разумовский и князь Волконский. Назначенные ей двадцать четыре тысячи рублей, чтобы не выделяться из других, она взяла, но не дотронулась до денег, а все их перевела на мужнины долги.

Еще раз менялось лицо императрицы, когда на следующий день после кончины несчастного императора нашла ее величество в тревожном состоянии. Императрица с некой затуманенностью в глазах посмотрела на нее и тихо сказала:

— Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!

— Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей! — ответила она.

И опять нечто вроде удивления появилось во взгляде императрицы. А когда вечером в присутствии множества людей она громко выразила надежду, что Алексей Орлов отныне никогда не посмеет ей кланяться, ее величество вдруг подняла голову. Знакомая мраморность проступила в подбородке и сжатых губах.

То мелкодушная ложь была, распространенная Орловым, что она впала в немилость у императрицы. Вместе с ней в карете ехала она в Москву на коронацию, и муж ее был первый в свите. Всю дорогу ее величество была к ней более чем милостива и, когда не было чужих, держала ее руки в своих, как любила это делать в прежнем знакомстве. У нее сердце разрывалось от счастья этой высокой человеческой ласки. А в имении графа Разумовского, где остановились перед въездом в Москву, императрица, видя ее беременность, все отговаривала сразу ехать к маленькому сыну Михаилу, который жил с бабушкой. Потом позвала ее с мужем к себе и осторожно сообщила об его смерти. Не сдержавшись, она зарыдала, а императрица обнимала и

целовала ее. В глазах ее величества стояли действительные слезы...

Теперь она стояла посредине комнаты со сложенной из кусков запиской в руках. Мраморная холодность шла от четко написанных слов. И одновременно, ввиду ее болезни, не к ней была эта записка отправлена, а к мужу, чтобы предупредил ее по-домашнему...

Ничего преступного не совершила она, лишь сорвала орловскую интригу. Когда старый граф Бестужев стал обходить сенаторов с подпиской, чтобы ее величеству взять себе в мужья Григория Орлова, она прямо при всех сказала, что надо спасти отечество и императрицу. А если придется, то даже сделать это помимо воли ее императорского величества. Сенаторы и офицеры послушались ее, и никто не стал подписывать такую просьбу. Говорили, что по тому делу арестовали одного из Рославлевых и Хитрово. Поскольку сами Орловы и ведут следствие, то представили ее слова в ложном свете...

\* \* \*

Каким-то образом императрица казалась здесь ростом выше всех: ее дяди Панина, большого и ленивого Кирилы Разумовского, убеленного сединами Бестужева и даже великанов-гвардейцев, застывших шпалерами по бокам зала. Тут заметила она, что сам Григорий Орлов тоже смотрит с недоумением и руки его вытянуты по швам. Преступный брат его Алексей стоял, не двигаясь, лишь бесцветные глаза таили усмешку. Где-то за колонной скрывался Сергей Салтыков, с которым была у императрицы первая любовь. Ей она прямо и просто рассказала об этом.

Но вдруг сама она ощутила необъяснимое. Идя сюда, уже видела, как пройдет между приближенными к ее величеству людьми, кивнет приветствующим ее офицерам и склонится перед императрицей с достоинством и преданностью. Однако стояла вместе с другими и не шла с места. Не робость присутствовала в ней, а некое другое чувство...

Через час после того в задней комнате ее величество с материнской теплотой взяла ее руки в свои и спросила:

— Здоров ли мой маленький крестник — ваш великолепный сын, милая графиня?

И следа не было той мраморности, а посланной недавно записки словно бы не существовало. Они два часа проговорили о книгах, что им обеим присылала мадам Жоффрен из Парижа, о неудачном замужестве графини Строгановой, о воспитательном



доме в Москве. И понимали друг друга, как близкие люди, с полуслова, с кивка головой. Муж ее — князь Дашков, вчера приехавший из Дерпта, где стоял его полк, таращил глаза и только поддакивал, когда обращались к нему.

И вдруг опять все переменялось. Отчетливая мраморность явилась в лице ее величества, когда повернула голову к ее мужу и сказала:

— Князь, мне хорошо известны ваша исполнительность и военное умение. Умер польский король Август, и нам придется защищать там русские интересы. Я назначаю вас командующим нашими войсками, что, возможно, принуждены будут вступить в эту страну. Ваша дорожная карета готова, и вы отправитесь туда прямо отсюда, не заезжая домой и никому о том не объявляя. Милая графиня простит меня, что я задержу вас для разговора наедине.

Она послушно, как девочка, вышла и терпеливо ждала мужа в передней комнате. Из окна была видна ожидавшая карета с готовым эскортом. Через комнату, на ходу кланяясь ей, поспешно приходили и уходили от секретарей ее величества фельдъегери и курьеры...

## V

Один и тот же сон стал ему сниться, и нельзя было различить, сон это или воспоминание о бывшем некогда с ним на самом деле. В солдатской куртке и сапогах лежал он в темном углу, где пахло свиньями, и смотрел в узкий просвет между досками. По широкому двору ходили люди в таких же куртках и громко говорили между собой. То были прусские солдаты — это он различал не по одежде, а по выговору, что различался от немецкой речи, какою сам объяснялся в пять лет своей тамошней учебы.

— Ломонософф!..

Он вздрогнул, когда фельдфебель громко назвал его. Это был тот самый человек, с кем он сел пить черное пиво на постоялом дворе рядом с домом своего покойного тестя в Марбурге. Жена два раза заглядывала в открытую дверь, потом приходил портной Готлиб, ее дядя, что-то долго и обстоятельно говорил, но он отмахивался и все пил с этим самым фельдфебелем, которого звали Фриц. Тот хлопал его по плечу и кричал: «О, я есть Фриц, как и мой отважный король, который тоже Фриц!» И еще измерял рост и ширину его груди: «Настоящий русский riese!... О, твое место в наших славных рядах!»

---

<sup>1</sup> Rieser — (нем.) исполин, гигант.

Потом он сам был уже в этой куртке где-то далеко от Марбурга. А когда стал сбрасывать ее с себя, то его связали. Но он не выпускал из виду узел со своей прежней одеждой. Там были сапоги, что носил еще в России. Когда настала ночь, он поднатужился, растянул узлы и освободился от веревок. Затем бежал всю ночь по полям и спрятался в этом сарае...

— Михель Ломонософф!

Фельдфебель все тыкал в бумагу, и другой немец в пелеринке послушно кивал головой. Бумага была с черным орлом: ее он подписывал в корчме, продаваясь в прусскую службу.

Что было дальше, он уже сам хорошо помнил. Они тогда не нашли его. Куртку и высокие прусские сапоги он оставил в сарае и в одном исподнем, держа свою старую одежду над головой, переплыл реку. Вода была холодной, да только не холодной той, где купался в юности...

То было постоянное его время после долгой болезни. В два часа пополудни он ложился и спал один час, отдыхая от ночной бессонницы. И всегда являлся именно этот сон. Тогда он убежал от прусских вербовщиков, пробирался пешком через польские леса и, еле живой и ободранный, пришел в Россию. Да только и здесь его жизнь продолжалась в том же порядке: будто сквозь густой и холодный лес продирался всю жизнь...

Что же мешало ему? Неужто одна всегдашняя мысль о деньгах, которых и назавтра уже не хватает? Не на деликатесы, а прямо-таки на хлеб и чтобы заменить сапоги вместо разбитых. Профессор академии и фабрикант, для монархов оды пишет, значит, и платье обязан в порядке соблюдать.

Только с деньгами экономно поступать приучен он был с малолетства. Мачеха ему и пятаки отменила, что когда-то мать давала к праздникам. Тем же хлебом его корила, что не мужицким делом занимается, а по матерней родне — поповским: с книгами сидит. А отец, крепко его любивший, рубля на дорогу не дал, поскольку желал единственного сына оставить при своем довольном хозяйстве. И в Москве, в заиконно-спасских школах, где назвался поповичем, чтобы не прогнали, имел алтын в день жалованья. Из того никак нельзя было больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, чем и питался пять лет. Да еще мелкота дразнилась, что такой здоровый болван в двадцать лет с ними вместе латине обучается...

А чем лучше была остальная жизнь? Еще пять лет в немецких университетах мог ходить нелатаный, поскольку тесть был портной. А коли говорить про русский грех — бражничанье, то ему как раз у немецких буршей научился. Потом ничего, что

великий Эйлер числит его здесь первым, и что в химии, физике, астрономии многие полезные для отечества дела совершил, а только всю жизнь просителем состоял. Такова российская форма существования, что не с гордостью деньги за дело получаешь, а все милости у кого-то просишь. Став профессором, челом сенату бил об жалованье в 660 рублей по причине вредительного воздействия химической науки на здоровье, а что в год из тех денег сделаешь? И таково каждый раз: за свою работу проси и унижайся. Сколько великий царь ни ломал баскакство в России, а все по-старому: главное не талант, а какво ко двору пришелся. Так что, если бы оды не писал, то и вовсе бы с голоду помер. За одну лишь оду на восшествие Елизаветы Петровны было ему высочайше пожаловано 2000 рублей. За другие похуже платили, да имя зато помнили. А при шумствах, что случались у него, вовремя писанные оды от наказания спасали. Однако же, и в одах многое говорил, что хотел...

Так что не в одних деньгах дело, а в том же баскакстве. Триста лет было иго, так еще шестьсот лет приучены будут к азиатскому порядку. Если еще и немецкая радивость сюда, так вовсе монстр может получиться. Оттого тут какой-нибудь камер-лакей, что ночные горшки убирает, в большем значении, чем будь хоть бы русский Платон. А коли так, то полная воля всякому проходимцу, и уж не преминет лягать да топтать всех вокруг, кто в чем-то выше его. Оттого только подлый Разумовский и подлеший Теплов к каждой ноге ему гири вешают, да к тому же и дружелюбность Ивана Ивановича Шувалова не могут простить. Тут же, как водится, и немцы с услугой: Шумахер со своим канцелярным умом, теперь зять его Тауберт...

А Ивана Ивановича, который единственно поддерживал его и помог в получении имения с людьми и фабрикой, Разумовские при новой императрице вовсе от дела оттеснили, отчего заболел и за границу уехал.

Впрочем, даже Иван Иванович беспокоился, не станет ли новое богатство мешать научным трудам. На то он ответил, что «музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно: они кого хотят, того и полюбят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример, с одной стороны, Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Боила, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы; Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше пяти сот тысяч и сверх того баронство».

Поморство, откуда он тут взялся, баскаков не видало, а с немцами во все времена на равных обращалось. Рабье долготер-

пенье, в чем даже русское достоинство находят некоторые патриоты, не в его природе. Тому же Шумахеру ни в чем спуску не давал, а надо, так и фельдмаршалу Разумовскому не уступал. Вон сколько хотел тот взять от него географический департамент. Теплов уже в личных секретарях у императрицы ходил, однако он удержал у себя директорство. Находясь в болезни, своего добивался: соединил студентов в общежитие, снабдив обедом да приличным платьем, денежной прибавки к стипендии им достал. И для себя, пусть не сразу, но вытребовал статского советника и жалованье в одну тысячу восемьсот семьдесят пять рублей. Перед тем шурина своего Цильха, который фабрикой занимается, в статский чин произвел.

Сказывают, сама императрица спросила, чей родственник Цильх из Гамбурга. Услышав, что имеет отношение к Ломоносову, в нарушение всех порядков написала производство. С того времени, как великой княгиней еще застала его с Миллером у печки, не видел больше ее вблизи. Тогда она удивила, громко прочитав его оду, так что не знал, каково себя с ней держать. До сих пор все думает, слышала или нет те русские слова, что крикнул он в дверь Шумахеру. Даже ведь и бровью не повела...

Что же, департамент ему вернула, шурина в чин определила, отставки его не приняла, но только пока Теплов при ней да здесь Тауберт, то все придется брать с бою. Не оттого ли и русский грех его со многими шумствами, что всю жизнь вынужден с бессмысленностями сражаться? Кругом фаворитства, и во всяком месте проходимец свил гнездо. Им не российская наука надобна, а чтобы парики носили да некое место лизать умели по примеру Васьки Тредиаковского. И коль заметят мысль в глазах, то первым врагом тебя почитают.

В том закономерность. При торжестве мысли случайному человеку не то что в карете разъезжать, а в дворники не возьмут по причине врожденной ленивости и подлости чувств. Всякий день с этим встречаешься и терпишь для пропитания. Жизнь на то уходит, и каждую минуту понимаешь, что во стократ больше мог бы полезного для отечества сделать. Тут поневоле заскукаешь и побежишь в кабак. Недаром русским грехом такое состояние души зовут, когда кабак ближе службы и родного дома становится.

Только враги все раздувают да анекдоты про него придумывают. Вон Семен Андреевич Порошин, что назначен воспитателем к наследнику Павлу Петровичу, рассказывал. Когда принял ся цесаревичу из оды к государыне Елизавете Петровне читать, его высочество изволили засмеяться: «Это, конечно, уже из сочинений дурака Ломоносова!» На то Семен Андреевич со строгостью ему выговорил: «Желательно, милостивый государь, чтобы много

таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россиянине отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен!» Только великий князь продолжал прыгать и кричать: «Дурак Ломоносов! Дурак Ломоносов!»

Однако он знает, что не от императрицы такое мнение о нем идет. Как бы не от умника Панина, который тоже Ивана Ивановича Шувалова не любил, а отсюда и к нему предубежден. Все равно простой мужик в науке для всех них вроде красная тряпка гишпанскому быку.

А что с немцами он дерется, так тоже от великой скуки. Это еще посмотреть, с какими немцами. Не с Эйлером же, которого чтит своим отцом в науке. Интригами того же Шумахера оставили Россию профессора Крафт, Вильде, Гейнзиус, Гмелин и прочие. Зато быстро уживаются Шумахеры с густопородными Тепловыми да Разумовскими. Миллер, так особая статья. Вражда или дружба влечет его к этому кудлатому немцу, сам не знает. Тот Россию со всей немецкой честностью любит. Свидетельством об том документы о Дежневe или когда «Историю Российскую» Василия Никитича Татищева через рогатки тянет в печать. Сибирь он после Ермака заново открыл и, как вина накушается, то изъясняется затейливее тамошних варнаков.

Спор же у них об норманнах: сделались ли третьим элементом для чуди и славян, составивших русский народ или только пробежались по Руси до греков. Тут свидетель — язык, а кроме пяти-шести имен, где в нем норманнские слова? В том споре и до рукоприкладства у них доходит, только общий грех тогда и мирит.

Если в корень глядеть, то есть еще причина для его войны с немцами. Когда дома пият весь день по-немецки, то поневоле на все немецкое станешь бросаться...

С минуту лежал он оцепенелый. Потом поспешно принялся натягивать чулки, надевать шورتук. Это уже явно было не во сне. Ее императорское величество стояла на дворе перед отворенными воротами на фабрику, и его долговязый шурип Цильх открывал и закрывал рот, силясь что-то произнести. Гурьбой теснились напуганные работники. Двор и вся улица перед домом полны были карет. Фельдмаршалы, камергеры и сенат наполняли пространство за императрицею. Он вдохнул воздуха, высоко поднял голову и пошел с крыльца, склонился в трех шагах от ее величества...

Тогда пловущим Петр на полночь указал,  
В спокойном плаваньи сии слова сказал:

Какая похвала российскому народу  
Судьбой дана пройти покрыту льдами воду!  
Хотя там, кажется, поставлен плыть предел;  
Но бодрость подают примеры славных дел.  
Полденный света край обшел отважный Гама  
И солнцева достиг, что мнила древность храма.  
Герои на морях Колумб и Магеллан  
Коль много обрели безвестных прежде стран!  
Подвигнуты хвалой, исполнены надежды,  
Которой лишены пугливые невежды...

Она читала звучным голосом, и великая серьезность была в пленяющей улыбке. Это он определил сразу. Тут природная женская сила органически поставлена была в службу власти. Таковой сплав разнородных свойств много расширяет качества предмета...

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,  
Меж льдами новый путь отворят на Восток,  
И наша досягнет в Америку держава!

Да, она помнила их первую встречу, и знала о нем помимо сплетен. И Цильха вовсе не случайно произвела в чин. А читала его поэму не от вздорного каприза слышать свой голос. Расчет был во всем самый продуманный, что мужчине-государю даже в ум не придет...

Они ходили по фабрике, и он давал объяснения. Цветное стекло лили в слободе, а сюда привозили готовую мозаику. Она внимательно смотрела раскладку синей, голубой, смешанной кафели для монумента Петру Великому. Незаметно для себя он пустился в тонкости свойств минералов. В глазах ее читалось восхищенное женское поощрение его рассказу. И хоть понимал, что то все делается с расчетом, не мог удержать в себе честолюбивого мужского куражу: петушился изнутри, она же улыбалась...

Вспомнилось вдруг злосчастное недавнее царствование. От бывшего императора, ее мужа, была сделана ему милость: 29 января тогда вышел высочайший указ отобрать из ведомства Кабинета этот самый фарфоровый завод и передать в его собственное смотрение. А в феврале сделался новый указ: отобрать от него завод в смотрение Кабинету. Все тогда происходило случайно. По рабочей привычке он сощурил глаза, со вниманием посмотрел на императрицу. Эта была тут не случайной.

Она поняла его взгляд и так уже улыбнулась, что начал весь краснеть.

— Думаете, Рюрик с братьями следов у нас не оставили?  
Ее величество перевела разговор, будто коня повернула на

всем скаку. Он принялся говорить о случайном том элементе в русской истории, наподобие как мадьяры или авары проходили через русские земли. Она задумчиво смотрела куда-то вдаль, сведя брови на красивом выпуклом лбу.

— Ну, а кто оставался на пути из тех народов, так сами делались русью?

Она спрашивала и как бы сама себе отвечала. Он уверенно кивнул и принялся излагать то, что уже писал по этому поводу. Славяне и чудь, по нашим, сарматы и скифы, по внешним писателям, были здесь древними обитателями. Эти народы и положили в разной мере свое участие в образовании россиян. Множество разных племен, составивших Россию, никак нельзя поставить ей в уничтожение. Ни о едином языке и народе на земле утвердить невозможно, чтоб он изначально стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными беспокойствами, переселениями и странствиями, в таком между собой сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество. И с норманнами все так же, а потому не нужно считать их неким главным народом для здешней государственности. Князья влились в общий порядок. Уже через век после своего прихода сами сплошь все сделались русскими...

Ни одного жеста не делалось ею без значения, и каждое слово точно поворачивало разговор в необходимом ей направлении. Он говорил теперь про старые обычаи, что мешают умножению и сохранению народонаселения. Государство российское строится по народной методе. Когда здесь есть государь и рабы его, то взято оно от мира, общины, что и дает основание этому порядку. Такова крестьянская семья, где правит патриарх, не терпящий ослушания. В том единстве народа и государя великая сила — Россия, и ломать такое с ходу не следует. Но от того же происходят и многие слабости, усугубляемые дурными нравами и невежеством. Самодурство при отсутствии просвещения не встречает ни в ком препоны, отсюда зверства и беззакония.

А суть тех дурных обычаев в полном небрежении души человеческой. Хоть бы насильная женитьба часто малолетнего мальчика на такой, что годилась бы ему в матери. Но там, где нет любви, невозможно и плодородие, к тому же чаще дураки рождаются. От церкви надо требовать, чтобы разрешила даже четвертый и пятый брак, а молодые чтобы не стриглись в монахи...

Разволновавшись, он громко кричал. Потом побежал и достал неоконченное когда-то письмо к Ивану Ивановичу Шувалову, принялся читать: «Пожирают у нас Масленица и Святая неделя множество народа одним только переменным употреблением

питья и пищи. Во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно... Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри — рвут, ломают, валят, опровергают, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством; там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники...»

Когда она говорила об отсутствии народа для освоения столь обширных пространств, опять читал: «Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не только одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насилия удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное недра целые народы и довольствоваться всякими потребностями».

Когда-то через Ивана Ивановича писал он то для Елизаветы. Ничего за десять лет не изменилось в Европе и России, и теперь уже прямо говорил обо всем этой императрице. Двор и сенат молча слушали.

Она не дала ему идти сзади. Так и прошел с нею рядом один среди всех через двор на улицу. Лишь здесь сделала ему знак остаться и кивнула, вроде бы послушная ученица.

И совсем другой ее голос услышал он, когда садилась в карету. Некое льющееся серебро вдруг отвердело в нем, сделалось металлом. Кому-то с властной озабоченностью сказала:

— Мой визит к господину Ломоносову и с перечислением сената и правительства непременно публиковать в завтрашнем номере «Санкт-Петербургских Ведомостей»!.. —

Выходившие со двора сенаторы и правительство кланялись ему...

## Vi

Владыка рубил дрова. Легкие и светлые березовые поленья раскалывались от одного лишь касания отточенного железа, и с мерными взмахами топора приходила покойная сосредоточенность. Собрав сухую, припачканную растоптаным снегом щепу, занес ее внутрь, высыпал в углу, принялся раздувать огонь. Тут он все делал сам: разоблачался без помощников, топил печь, подметал келью. Озерные волны мерно ударяли в уходящую к



самой воде монастырскую стену. Мир отдалялся: блекли краски, утихали громы, и всем существом своим ощущал он реальность бога. Сюда приезжал от торжественных литургий и соборной пышности, когда накапливалось смущение души.

С прошлого году не был он здесь. Ровно и неслышно горели дрова. За окном стало темнеть, и он зажег на столе свечу. Другая свечка перед образом горела весь год, пока его не было сменяемая послушником. Столь долгого отсутствия его здесь еще не случалось. Такое это было взбудораженное время...

Все было готово к раздумью и покаянию, которое сам накладывал на себя перед лицом Господа. Для того была им избрана молитва святого Макария Великого. На колени не опускался и не утруждался стоянием, поскольку не имеют значения атрибуты для искренней откровенности, а сидел обычно в покойной сосредоточенности.

*Боже, очисти мя, грешного, яко николеже сотворих благое пред тобою; но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхваляю имя твое святое, отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...*

Беззвучно прошептав начало моления, он остался в неподвижности и почувствовал, как холодеют ноги. Не от стужи это было, и он знал, от чего. Весь год не уходило это от него, не покидало ни на миг: вначале предчувствием, а затем, когда все произошло, незримой печатью совершившегося. Его подпись стояла первой под меморандумом Синода, обвиняющим Арсения Мациевича, ростовского митрополита, перед светской властью. Обвинение было в дерзостном забвении права кесарева на плоть и имение подданных, и отсюда уже в богохульстве, так как главный постулат и краеугольный камень здания веры в том состоит, что «кесарю кесарево». Сейчас это действие его и синода открылось ему во всей своей кровоточащей обнаженности. Помнил пример с синедрионом, выдавшим сына божьего на суд и поругание.

Нет, и здесь, наедине с собой и с Господом, не было в нем отречения от случившегося. Высшая закономерность была в том, что, состоявши князем церкви, не только был посвящен в светский заговор, но участием и примером своим способствовал переменам на троне. А еще делал это, зная, к чему направлены мысли императрицы. Только ничего другого, кроме как от Петра Великого, не совершает она в отношении церкви. Лишь самой вере придает большее практическое значение.

А устранный император прямо из голштинских принцев, как кур в ощиц, попал в крутую мельницу русской жизни. Даже и качества некоторые добрые в нем были, да только колы божья

воля, то и добро становится во зло. Неисповедимы пути господни так же и для народов, как для людей. Если назначено какому-то из них идти тем путем, то все, что мешает, будет развезено и станет прахом. Не то что гвардия и народ, даже актеры с театру участвовали в революции против Петра Третьего. Федор Григорьевич Волков тогда в столице шел рядом с ним впереди императрицы, а умер, подобно Христу, — тридцати трех лет, готовя апофеоз к ее коронации.

То и в пророчествах угадать можно, что Россия — Новый Иерусалим, а в удивительном укреплении ее ясно виден божий промысел. Как избранный некогда богом Израиль, так этот народ теперь источает свет в сторону полунощи, и на Магогов, и на полуденные страны, что ждут освобождения и где каждый камень свидетельствует о Господе. Подобно державе Соломона и Давида божье и царское слились здесь воедино, так что прямо к славе божьей служит укрепление земной власти. Что же тогда угнетает его?..

Нет, не корысть двигала им, когда со всеми вместе епископами в душе не соглашались на царскую секуляризацию. Это правда, что многие иереи живут в довольстве и праздности, владея рабами и землями, большими и лучшими, чем земные цари. Тому следовало поставить предел, и что не успел царь-преобразователь, с разумной деловитостью совершает сейчас эта императрица. Но есть древняя притча, где с водой вместе выплескивают ребенка...

Ведомо из писания, что не в одних имуществах тут дело. Отдавая кесарю материальное, церковь оставляла себе и людям независимость духовную. И помазаннык божий — православный государь — всепременно обязан блюсти тот договор, если даже римские кесари соблюдали его. Человек из рук бога воспринял свободную совесть — в том суть его и отличие. Коли власть земная посягнет на то, значит, не человек это уже будет, а некая лишенная смысла тварь, которую в загородке следует держать.

Тут сама власть подсекает сук, на котором сидит, ибо не может быть постоянно сильного народа, составленного из таких духовных скопцов. Примером тому — бесчисленные языческие империи. Дух всегда делался победителем в борьбе с ними, как случилось то в самой римской державе. Незыблемо стояла она, пока безразличен был кесарь в вере. Когда же сокрушил храм и принялся травить львами восприявших свет господень, то дни сего Вавилона были сочтены так же, как и Вавилона настоящего. Обманчива та власть над духом человеческим, однако всякий раз властители, идя прямо за Сатаной, не удовлетворяются материальным, но хотят изнасиловать и душу. В том ищут для себя крепости, а находят гибель для себя и для своего народа.

Спаси Господи, как близко у нас от такой варварской решимости — в месте и во времени. На том лишь духе и держалась Русь три века татарской ночи, в нем нашла силу освободиться из плена. А только стала обретать себя, как грозный царь принялся истязать этот дух дыбами и фарисейством. Делалось все с божьим именем на устах, что подлее всех мыслимых подлостей. В том как раз великая опасность для сего народа, что веками привыкал к такому расщеплению духа.

Так вот, как бы нынешняя императрица, отбирая у церкви материальное, не замахнулась бы на дух. В той Европе, откуда к нам взялась, государи сдерживают себя, относясь к церкви как к божьему имуществу, сия же монархиня не только что обрусела, а сделалась русским знаменем. Опасность в том, что манеры великоцарские русские посчитает для себя обязательными. Тем более, что и по рождению, сказывают, она близкого сѣрбского роду. Цербст как раз посредине лужицких сербов, и цербстская есть иначе сербская королева от славянских корней, что проросли среди немцев. О том в один голос говорят и иллирийские сербы, бегущие из-под турков на нашу Украину. А он забыть не может ее глаза, когда шла к раке ростовского святого Димитрия. В сиянии их была святорусская отрешенность, и как бы летела над землей. Однако тут же сама потушила в себе этот огонь и приказала ему поставить солдат у мошей, чтобы не украли...

Ничего нет тревожней, когда человек иного роду проникается русской отвагой. Когда это вместе с немецкой честностью, то что может родиться. Русский какой ни на есть свирепец, а позлодействует да простит. А если к отваге да аккуратность, то на земле можно ад построить. Приложимая к Руси немецкая стройность мысли обязательно насильством обернется. Впрочем, и Мамаева струя, каковую представил Иоанн Грозный, еще к большому самоистязанию способна привести. Дальше уже прямое азиатское богдыханство, когда бог и хан в одном лице; и беда для России, если когда-нибудь с той стороны подует ветер.

А государыня с первого дня ясно дала понять, что дух берет к себе на службу. С Арсением Мациевичем так жестко было ступлено не от мстительного каприза, но для того, чтобы всей церкви указать место в государстве. Так ее и Петр Великий видел: прислуживающей опорой для самодержавности. Задача в том, увидит или нет у церкви эта монархиня ее другую, глубочайшую суть. Тут уже от ума и чувств зависит, чтобы обуздывать себя. Хватит ли на то смертной женщины? Может быть, в том и тайна, что лишь Еве такое доступно, и как раз не хватает здесь матернего здравого смысла.

Велик искус. Вот и его самого сделали митрополитом лишь за то, что брал участие в перевороте. А теперь прямо распоря-

жение о солдатах делает ему императрица. Говорят, ордены за божью службу станут выдавать. Каково же истинный дух святой может себя при этом чувствовать?..

Что-то невесомое пролетело в воздухе, даже пламя у свечи качнулось. Губы его шептали молитву... *Господи, иже многую твою благодтию и великими щедротами твоими дал еси мне, рабу твоему, мимошедшее время нощи сея без папасты прейти от всякого зли противна...*

Владыка вышел из кельи, знакомой каменистою тропой прошел к озеру. Оно темнело возле ног покойной тяжестью, и лишь невидимые волны, родившись где-то в его глубинах, раз за разом ударяли в древнюю кладку стен. Здесь, у этой воды, было начало этому народу и этой державе.

Неба тоже не было видно: такая же смутная глубина, вместе с водой сливавшаяся в одну непроницаемую мглу. Кое-где серели в ночи островки скудного осеннего снега. Лишь высоко по берегам видны были недвижные монастырские башни, до боли знакомые очертания храмов, молчаливые колокольни. Золото кровель и теперь источало некий свет, и был он подобен легкому пару. Будто нимбы стояли над уснувшими божьими воинами.

Он любил свою церковь и чувствовал ее всю от начала в потной толпе рабов в катакомбах, которым давала надежду и ставила их дух выше сильных мира сего. В том и состоит ее назначение, ибо подлинный раб божий уже не раб. В этот народ, помимо света господня, принесла она буквы и счет времен. Храмы ее служили крепостями, и люди ее были воинами. В какое же состояние приведена теперь? В чем задачи искренних ее служителей, и чем станут в грядущие времена все эти производные от нее Успенские, Добролюбовы, Вознесенские, Чернышевские, Протопоповы и Победоносцевы? Сделаются ли одни радивыми кесаревыми прислужниками, или другие из них, как Христос внутри иудейства, взбунтуются сразу и на кесаря, и на самый храм?..

Предвещая рассвет, где-то далеко-далеко в городе запел петух. Владыка стоял у самой воды и думал, что вся жизнь его тоже служба. В той службе был он наследующий отцов иерей, архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий, за услуги земной власти сделанный митрополитом. А пред божьим престолом он лишь Даниил Алексеевич Сеченов, коего со значением зовет императрица Сеченым. И кем станут они, Сеченовы, что плоть от плоти и дух от духа этой в веках не сходящей с креста церкви?..

Подскакав почти вплотную, молодой князь слез с коня, протянул к нему обе руки:

— Александр Семеныч... В самое время подошел!

Капитан Ростовцев-Марьин посмотрел на дорогу, ведущую от лесу. Вскать ехали по ней разнородные повозки, двуколки, фуры, полные солдат. За ночь, день и еще ночь его пехотный отряд вместе с пушками одолел сто сорок верст, стороной обойдя топи и болота. Получив приказ направляться сюда, он посадил солдат на колеса, заплатив за то мужикам и жидам-балагулам мукой из провиантского магазина. Без того и пары лошадей нельзя было найти в этом лесном крае, так способно умели укрывать их тут от любой власти.

Руки у князя были горячие как огонь и лицо багровое. Казалось, тот ничего не видит и через силу говорит сухим, высоким голосом: — Теперь, как казаки возьмутся с его кавалерией, тебе их к реке не пропускать. А всего прежде — пушки!..

Он молча кивнул. Не потому, что годами и службой был старше этого лейб-кирасирского командира. Со всеми он так говорил больше себя чином, майор то значился или фельдмаршал. Сам он в тридцать четыре года все оставался капитан, а государыне слуга, но не холоп...

Укрыв солдат в тальнике при броде, ждал он появления неприятеля. Собственно, и не неприятель это был, а нечто неопределенное. Когда с пруссаками сражался, так точно знал, отчего это так. Здесь же все было непонятно. Король у поляков вроде и не король, а выбирают кого захотят. Когда же их Август Третий умер, то началась среди них драка, кого делать королем.

Получается, что не от бога помазанник тут государь, а по людскому выбору. Всякий коронный шляхтич может крикнуть королю отвод, и все остальные обязаны слушать его голос. Если же не станут слушать, то шляхта соединяется в конфедерации и войну объявляют друг другу. Русскому человеку этого никак не понять. От солдат своих услышал он ту сентенцию: «Дела как в Польше: у кого больше, тот и пан».

С отрядом своим после войны стоял он в польской Пруссии: охранил оставшиеся русские магазины. Потом с генералом Хомутовым придвинулся уже прямо к Варшаве. А поскольку свободно говорил по-польски, то наряжен был в охрану поляков, что просили помощи у императрицы против своих врагов. Те же в свою очередь звали против них австрийцев и саксонцев. В прокламации о русской помощи было сказано: «Мы, не уступающие никому из наших сограждан в пламенном патриотизме,

с горестию узнали, что есть люди, которые хотят отличиться неудовольствием по поводу вступления войск Вашего императорского величества в нашу страну. С опасностью для себя мы испытали с их стороны притеснение. Нам грозило такое же злоупотребление силы и на будущих сеймах, когда мы узнали о вступлении русского войска, посланного Вашим величеством для защиты наших постановлений и нашей свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение возбуждают живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке...» А подписали эту прокламацию известные среди поляков люди: помимо епископов Островского и Шептицкого, князя Черторыйские, Замойский, Понятовский, Потоцкий, Соллогуб, Любомирский, Сулковский и Велепольский.

Тогда и услышал он некий разговор, что вели между собой едущие с прокламацией русский посольский офицер и фельдъегерь.

— Сказывают, наша матушка-государыня такого хочет польского короля, чтобы мужем ей стал,— говорил фельдъегерь.— Сама она в Варшаву к нему уедет, а трон передаст по достоинству: сыну своему Павлу Петровичу или Ивану Антоновичу, что в Шлюшине содержится.

Так между собой называли крепость Шлиссельбург.

— Языков теперь не режут, вот и болтают, что в голову забредет! — строго отвечал посольский чин.— То, братец, высокая политика. Здесь, помимо русского, еще прусский, да австрийский, да султанский интерес. Паны сами растаскивают Польшу, и коли не смогут королевский порядок поставить выше своего гонору, то не быть этой державе. А государыня наша и без мужа прекрасно обойдется.

И раньше он слышал те разговоры о Станиславе Понятовском. Только никак не мог связать услышанное с собственной судьбой, что подарила ему золотую сказку в некоем зимнем лесу...

Поляки, каждый со своим войском, съехались на сейм в Варшаву, а поскольку королевского войска по их закону нельзя было держать больше, чем тысячу человек пехоты и двести кавалерии, то всякий магнат имел силу больше правительственной. Коронный гетман Браницкий привел с собою саксонцев, а воевода виленский Радзивилл заглядывался в прусскую сторону. Но что-то вдруг произошло, и король Прусский прислал орден Черного Орла графу Понятовскому, русскому избраннику. Это означало договоренность России с Пруссией в этом деле. Браницкий с Радзивиллом вышли из Варшавы и объявили конфедерацию. Князь Дашков с кавалерией устремился за Радзивиллом, который повернул в Литву.

Его отряд поступил под княжескую команду уже под Слонимом, где преградили путь конфедератам. Те постреляли издали и повернули на юг, в Подолию. Кавалерия князя ушла вперед, и лишь теперь он догнал ее у этой переправы...

Шляхта выкатилась из леса разными дорогами, каждый со своим штандартом. Даже в ровном поле они не смешивались, ехали независимо друг от друга. Самые убогие из них, за которыми на костлявых клячах гарцевали лишь по четыре-пять холопов, держались на одной линии с теми, чьи жупаны были от верха до низу расшиты позументами. Качались обязательные гоноры на отороченных мехом шапках. Солдаты глядели из тальника, и некое смущение было в их глазах. Нужно было дать команду к стрельбе, но он медлил. Так было уже у него когда-то при усмирении мордвы.

А конфедераты вдруг стали поворачиваться назад к лесу. Выхватывая сабли, они вразнобой поскакали на строившихся там русских драгунов. Было очевидно, насколько регулярное войско превосходит таковых партизан, несмотря на всю их отчаянную смелость. Как об стену разбились они об единое русское каре и в беспорядке поскакали назад к реке. Кто-то в малиновом жупане, как видно сам князь Радзивилл, махал посредине поля саблей, зовя их остановиться, но все было напрасно. С маху въезжали они в реку и, держа коней в поводу, сотнями плыли к тому берегу, в турецкую Молдавию.

Солдаты не стреляли по ним. Лишь когда с другого конца леса съехали к реке польские пушки и повалили пешие конфедераты, он приказал не пускать их к броду. Бросив пушки, они ушли назад в лес. Было видно, что это не шляхта, а привлеченные к раздору мужики...

На опушке леса, среди спешившихся драгун, лежал на калмыцкой бурке князь Дашков. Он вытянулся во весь свой кирасирский рост, и глаза его были закрыты. Князь был в смертельной горячке. Взяв на себя командование авангардом, капитан Рстовцев-Марьин приказал положить князя в повозку и везти в подольский Могилев.

— Последний из Ягеллонов, Ян Казимеж, рассудительный круль польский, сказал как-то вещи слова высокому сейму: «Дай бог, чтобы я был ложным пророком. Но если не обуздаете свой треклятый гонор, славная республика станет добычей соседей. Московия отберет Литву, Бранденбургия овладеет нашей Пруссией и Познанью, Австрия захватит Краков и Великую Польшу. Каждое из этих государств предпочтет разделить такую бессмысленную республику, чем владеть ею единолично, но с со-

хранением пресловутой вашей вольности. Та бессмысленная вольность камень на шее у самих поляков во время плавания в бурном море!» И сказал он то не в беде и несчастье, а когда Сапега и Чернецкий в прах разбили русского князя Хованского у Слонима и Долгорукого в Пронске. Трубецкой с Шереметьевым поспешно отступили с Украины, и Георгий Хмельницкий, чей отец отвоевал для себя временную самостоятельность, признал наш патронат. Было это ровно сто лет назад.

Однако безрассудный сейм, как обычно, не слушал даже победоносного короля, предлагавшего найти ему достойного преемника и вольности иметь не ради вольностей, а чтобы служили отчизне. Ян Казимеж бросил тогда этот оплетенный терниями трон и уехал во Францию, где утешился сразу с высокороденной красавицей Ниной де Ланкло и равной богиням прачкой Мари Миньон...

Высокий, худой, с седыми усами и впавшими скулами, точно такой, как вырезают здесь из дерева святых при дверях у костелов, пан Мураховский громовым голосом обличал шляхту. Сам потомственный шляхтич, он не жалел для нее грозных слов. Кто в первый раз слушал, то вздрагивал от его очевидной свирепости, а был это самый мягкий и добрый человек на земле. С первого же слова понял это капитан Ростовцев-Марьин, который второй месяц квартировал у него в маленьком польском местечке.

У пана Мураховского стояли в шкафу книги на многих языках, и все он знал. Доставая то одну, то другую, он звучно читал оттуда по-французски, по-английски, по-латински, и тут же переводил. По-немецки и по-польски Ростовцев-Марьин сам уже знал.

— Так оно и совершается, как предрекал мудрый круль — Пан Мураховский остановился, горестно вскинул глаза к бревенчатому потолку. — Также и Ян Собесский, коего сейм назвал героем и спасителем отечества, ничего не мог сделать с потерявшими всякую рассудительность поляками. Как только попытался укротить губительную для страны анархию, тут же закричали, что «деспот, тиран, разрушитель свободы нации». Роковое противоречие в том. Магнаты, что хуже Нерона властвуют в своих уделах, с гордостью зовут себя «избирателями королей и губителями тиранов». Таковая республика с рабами внизу уже две тысячи лет назад не смогла удержаться в Риме, как же может удержаться теперь в кипящей от самого дна Европе!..

Ростовцев-Марьин молчал. То был новый для него разговор, и не хотел показаться невеждою. Вольность, республика, сейм — все было неприложимо к его Ростовцу и к солдатам, которыми командовал. Тут в Польше, как он понимал, эти слова тоже



имели свое, другое назначение, отличное от первоначального. Солдаты сразу угадали смысл насчет того, кто здесь — пан. То же самое по существу с горькой яростью говорил этот человек.

— Почему вдруг обессилела Польша? — гремел пан Мураховский. — Нечего искать вокруг обидчиков. От внешних побед лишь разлагается народ, а все утверждает его внутреннее состояние: каково сопоставлены там рассудок и чувства. Лишь снаружи по образу и подобию божию создан человек, но так же устроен и дьявол. Тут равновесие необходимо, чтобы человек и управляющая им власть осознали свою смертельную зависимость друг от друга.

От шведов уже должны были получить наужу в полной мере, когда те гуляли по Польше, как по своему дому. Так нет же, шляхетский гонор дороже даже матери-родины. А что смешной уже становится такая вольность для всей Европы, так нас не трогает. Вот уже войска присылает русская царица для защиты нашей вольности и свободы. Какой еще может быть удивительней парадокс!..

— Где видите для себя выход, пан Людвиг? — тихо спросил Ростовцев-Марьян.

Старик сразу потускнел, сгорбил плечи, долго молчал. Когда, казалось, и не заговорит уже больше, глухо произнес:

— То жестокая и непреклонная дама — муза истории. В львицу превращается, у которой хотят отнять добычу, когда кто-то становится на ее пути. Можно идти осмотрительно за ней, при должном умении — идти рядом, но не дай бог забегать вперед. Так же опасно тянуть сзади за хвост, стремясь задержать ее поступь. Эту опасность должны осознать всевозможные пророки, что плодятся ныне в Европе и норовят уловить ту львицу в свои рукодельные капканы...

Как обычно, не мог он спать после позднего сидения с паном Мураховским и, глядя в окно, смотрел, как приходит рассвет. Очертился, принял желтый осенний цвет близкий лес, раздвинулась мгла в той стороне, откуда всходило солнце. Неровными темно-бурыми бороздами проступила пашня. Согнутый мужик шел по ней за сохой...

Где-то он уже читал про музу истории, о которой говорил старый шляхтич. Только ни он и никто в России не задумывался о том, что и их это касается. Будто по Европе только ездит та придуманная немцами муза, а у нас все идет своим чередом: убираются нивы, скачут фельдъегери, маршируют солдаты. Лишь когда из границы выходят, как он сейчас со своими солдатами, то имеют к той музе какое-то отношение...

Он встал, достал из походного рундука потемнелые тетради, которые возил с собой. На полулисте сверху крупным и ровным

почерком было написано: «По самовольной кончине моей прошу сии бумаги вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова передать во владение...»

Взяв из середины тетрадь, он принялся читать... «Хоть одинаково грозного нраву были эти цари, но прямо противная была направленность у их грозности. Все завоеванное при Иване Васильевиче не от его ума и таланта случилось, а лишь мощью российской, что стала с быстротой увеличиваться, как крепнет вдруг юный отрок, переходя в мужество. Истинных исполнителей того подвига на дыбе переломал, наветом извел или убежать заставил в чуждые пределы. Все же их заслуги себе приписал. На Красной площади живых людей развешивал и, разъезжая с сыном, пиками брюха прокалывал. Все вокруг Москвы на все стороны со своими псами-опричниками кровью залил, так что дома и имущества бросали люди, бежали куда глаза глядят. И спросим себя: что оставил русским? Через сколько времени после него поляки были на Москве, так что из Нижнего Новгорода пришлось Козьме Минину да князю Пожарскому спасать эту державу от исчезновения?»

Но перед своею кончиною подлинно сатанинский удар родному отечеству нанес, как если бы с маху посадить человека задом на плотную землю, отчего горбатым навеки становится. Русские Псков и Новгород наравне с венецианами себя в Европе понимали. Много бы раньше этот народ преуспел среди других народов земли, если бы оставался этот пример. Но сей новоявленный Ирод, подсунув через своих клеветников поддельные грамоты, обвинил не людей уже, а целые города в измене. Не как царь, а как душегубец, ночью пришел в Новгород и три дня мученически убивал его: рубил головы, терзал на колесе, топил матерей с младенцами в Волхове. И делал так, пока не осталось там хоть одной человеческой души. Рабский ужас после того безраздельно утвердился по всему лику земли. На сколько времени в фараонову тьму отбросило то Россию?..

И прямо вперед смотрел великий царь Петр. Не токмо умом или чувствами, всем существом своим являл подлинную Россию. На себя брал не одни победы, но и поражения — никого в том иезуитски не винил. А что кнутом выгонял к свету, так нельзя иначе проникнуть то большое рабье самоудовольствие, в котором пребывали от татар и собственных Неронов. Россия после него стоит, недосыгаемая для противников, даже и когда несильные умы управляют ею.

Никак нельзя двух этих монархов ставить на одну доску, хоть на первый взгляд многим были похожи. Сына одинаково казнили оба, только один по бессмысленной злобности души, а другой для высшего державного порядку. Тот в пакостном любострастии

жен' своих душил и травил, этот же, хоть буйное, но имел человеческое сердце. И только в силу великорусской народной деликатности прозвали того Грозным, но этого Великим...»

Капитан Ростовцев-Марьин прикрыл тетрадь и сидел в задумчивости. Оно лишь кажется, что муза истории не касается России. Может быть, как раз там и мостится теперь дорога для ее колесницы. Надлежит многому научиться этому народу, чтобы в ослеплении гордыней не ползть самоуверенно под ее колеса. Голая отвага тут плохой советчик. Вон деспотия одинаково с безрассудной вольностью к пропасти ведут. Где выход из такого круга?..

За окном стало совсем светло. Он вышел на малую галерею, окружавшую шляхетский дом с соломенной кровлей. Небо уже розовело за лесом. Мужик все пахал бурую торфяную землю. Глухо мыча, шли по смоченной росой пыли нерослые коровы. Польские бабы выгоняли их хворостинами из дворов. Пастух, как и в Ростовце, шумно хлопал кнутом, только вместо круглой шапки был у него старый переломанный картуз. Солдаты, что чистились и умывались на подворьях, опустили руки, молча провожали глазами неспешно идущее стадо.

— Мир на земле, и в человеках благоволение!

Он обернулся. Пан Людвиг Мураховский, который тоже не засыпал, стоял рядом, дымя своим большим вишневым чубуком. Глаза у старого шляхтича смотрели с умной печалью...

И вдруг все ему сделалось необыкновенно близко: этот мудрый старик со своей яростной любовью к родине, пахущий бурую землю мужик, пастух в переломанном картузе, его солдаты, с тоской глядящие тут на все. Ярko возникли в памяти не имеющие края кайсацкие дали, теснящиеся к валам крепости избы и юрты. Люди разного виду: татары, хивинцы, киргизы, башкирцы, неизвестно кто еще — жили в них. Вниз по Волге плыли расшивы, и в тедлую ночь на корме, говоря каждый по-своему, понимали друг друга парень и девица. Неразличимая с русскими мордва бежала на солдат, не давая ломать родительские погосты. Все они были в нем самом: мятежные конфедераты, прусские гусары, которые рубили его и которых он рубил. И даже те за ними, о которых только слышал: французы, цезарейцы, испанцы. И за кайсацкими степями жили люди, и дальше, в полуденных странах, где они черные и ходят совсем без одежды, — все они были близки ему. Он любил их всех и жалел одинаково, как свою жену, детей, отца и мать, как всех в Ростовце и в огромной, не знающей конца и начала России.

Не понимая, что происходит с ним, он, как и солдаты, стоял, опустив руки. Некие другие зрение и слух открылись у него. Солнце взопло из-за лесу, и ветер прошуршал в камышах.

Коснувшись лица руками, он с удивлением увидел, что оно у него мокрое. Такого не бывало с ним: даже в детстве он не плакал.

Капитан Ростовцев-Марьи́н посмотрел на пана Мураховского. И у того в глазах блестели слезы. Старый шляхтич по католическому правилу почти незаметно перекрестился...

## Вторая глава

### I

Она не улыбалась. Это было у нее особое состояние, когда видела себя со стороны. Но не так, как в зеркале, когда лицо послушно выполняет то или иное выражение. Некая другая отдаленная от нее половина наблюдала за ней без всякого вмешательства чувств, холодно оценивая каждый жест и движение. Как бы одновременно тысячью глаз различных людей смотрела она на себя. На ней были длинная императорская мантия и малая царская корона на просто зачесанных волосах. Восемь белых лошадей по четыре в ряд вывели карету от фронтона Головинского дворца и, сдерживая мощь, катили ее по недавно уложенному камню московской улицы. Впереди в шестнадцати экипажах ехали двор и сенат. Сзади нее, горяча громадных коней, во главе со своим шефом, генерал-фельдцейхмейстером и графом Григорием Григорьевичем Орловым скакали кавалергарды. У всех, как и у нее, были серьезные лица. И даже народ, что обычно являл шумный восторг при ее проезде, в этот раз лишь степенно кланялся. Какая-то женщина из толпы перекрестила ее, и она в ответ поклонилась сдержанно, со значительностью...

В громе колоколов с храмов вокруг Ивана Великого и бесчисленного множества дальних, сливающихся в единый голубой с золотом звук, она въехала в узкое, зажатое белыми стенами подворье. Лишь такт различала она, и всякое звучание этой державы, звук темнел, делался вовсе синим и, десятикратно усиленный, падал прямо с неба. Как будто из века в век сбегались храмы под защиту этих стен. Каждый помнил свой пожар и смертоубийство, многократно повторявшие утвержденный канон. Ровно смотрели с притворов их святые покровители: мужчины, женщины и дети. Кровь, текущая из тела великомучеников, была густой и ненастоящей, каковой ее и хотели видеть в великом и сострадательном простодушии.

Твердым шагом прошла она в золотую тьму собора к месту помазанника божия. И видела себя на темной доске среди спускающихся с потолка ангелов с трубами. Ровный и жаркий

восковой свет выделял только белизну и тени. Ничего и никому она не приказывала: все делалось само. Ярче вдруг вспыхнули свечи, ветер ворвался в распахнутые двери храма, некая звезда прилетела и встала напротив в солнечном небе...

Она не улыбнулась про себя и без всякого сожаления подумала о своей детской химере. Никакой звезды не было, а ветер дул от раскрытой сзади двери. Через уложенный неровными каменными плитами двор шли по двое в ряд депутаты. Их вел небыстрым шагом генерал-прокурор Александр Алексеевич Вяземский с жезлом в руке. В храме они располагались по занимаемому в державе месту: от правительственных служб, дворянства, городов, от однодворцев и служилых людей, от поселян, казаков, инородцев. А внутри себя уже делились по значительности губернии: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская и прочие. Не состоящие в православной вере остались снаружи храма, где и давали присягу...

Потом она стояла уже во дворце на тронном возвышении. Справа был накрытый красным бархатом стол, на котором лежала переплетенная кожей с золотым тиснением тетрадь, и депутат от Синода, новгородский митрополит Димитрий Сеченов обращался к ней: «Прославлялася иногда Древняя Греция, прославлялся Рим своими законодателями; но к полной их славе недо- ставало того, что не просвещены были евангельским учением. Но ты, сиим светом путеводима, из источников истины христианския почерпаешь воду животную...»

Вице-канцлер Александр Михайлович Голицын говорил к депутатам от собственного ее имени: «Начинайте сие великое дело и помните при каждой строке оного, что вы имеете случай себе, ближнему вашему и вашим потомкам показать, сколь велико было ваше радение о общем добре и блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравия и человеколюбия. От вас ожидают примеры все подсолнечные народы; очи их на вас обращены».

С утра на другой день в Грановитой палате четыреста двадцать восемь депутатов от всей России избирали своего маршала. Она не приехала туда, чтобы не влиять своим присутствием и не мешать избранию действительно достойного, пусть и неизвестного ей человека. Однако без нее депутаты выдвинули двух Орловых да графа Захара Чернышева, а еще от Сената князя Волконского, московского депутата Петра Ивановича Панина и костромского Бибикова. Неизвестных ей людей среди них не было. Не то чтобы они не понимали, что сама от них требует независимости решения, или права своего не знали, а только искренне хотели сделать ей приятное. Единогласно и со слезами на глазах просили они ее принять звание матери отечества.

Потом опять плакали и честными глазами смотрели на нее, когда стали читать из тетради первые слова ее «Наказа»: «Господи, Боже мой! вонми ми и вразуми мя, да сотворю суд людей твоим по закону святому твоему судити в правду. Закон христианский научает нас взаимно делати друг другу добро, сколько возможно. Равенство требует хорошего постановления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих... Все сие не может понравиться ласкателям, которые по вся дни всем земным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако ж мы думаем, и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как оне быть должны. Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания его законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле. Намерение законов наших было бы неисполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю».

Она слушала плод своего многолетнего труда со стиснутыми руками. Все, до малейшего слова, было выверено там. Но они как бы слышали и не слышали. Избранный маршалом Комиссии Александр Ильич Бибииков, огромный и могучий, похожий на древних князей, в русском размахе простирал к ней руки: «Став делами твоими удивление света, будешь «Наказом» твоим наставление обладателей и благодетельница рода человеческого. Потому весь человеческий род и долженствовал бы предстать здесь с нами и принести Вашему императорскому величеству имя матери народов, яко долг, тебе принадлежащий. Но как во всеобщем благополучии мы первенствуем и первые сим долгом обязуемся, то первая Россия в лице избранных депутатов, предстая пред престолом твоим, приносяще сердца любовию, верностию и благодарностью исполнения. Воззри на усердие их как на жертву, единые тебя достойную! Благоволи, великая государыня, да украшаемся мы пред светом сим нам славным титулом, что обладает нами *Екатерина Великая*, премудрая мать отечества. Соизволи, всемилостивейшая государыня, принять сие титуло как приношение всех верных твоих подданных и, приемля оное, возвеличь наше название. Свет нам последует и наречет тебя матерью всех земных народов. Сей есть глас торжествующей России! Боже сотвори, да будет сей глас — глас Вселенной!»

Она ответила сама письменно: «О званиях же, кои вы желаете, чтобы я от вас приняла, — на сие отвечаю: 1) на *Великая* — о моих делах оставлю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) *Премудрая* — никак себя таковою назвать не могу, ибо един бог премудр, и 3) *матери отечества* — любить богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимую от них есть мое желание».

Не импульс случайственный женский и не тщеславие были причиной ей взяться за такое неслыханное дело. Великой княгиней в манеж для верховой езды носила с собой графа де Ла Бред де Секонда. И он, который звался в просторечии Монтеस्कье, не умер для нее двенадцать лет назад, поскольку не умирают истинные умы. К госпоже Жоффрен, чей парижский салон стал главным штабом таких умов для всей Европы, она писала про этого графа: «Его «Дух законов» должен быть молитвенником монархов со здравым смыслом». И никак не делала из себя самостоятельного пророка, а прямо стала прилежной ученицею у тех умов. К Даламберу было ее признание: «Я вам хотела послать некоторую тетрадь, но требуется время, чтобы сделать ее разумною; при том она еще не окончена. Если вы ее одобрите, то я тем останусь довольна. Вы из нея увидите, как там я на пользу моей империи обобрала президента Монтеस्कье, не называя его. Надеюсь, что если бы он с того света увидел меня работающею, то простил бы эту литературную кражу во благо двадцати миллионов людей, которое из того последует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться тем...» И, разумеется, господину Вольтеру, с юношеской пылкостью взявшемуся руководить ею, постоянно сообщала о своем труде.

Едва месяц миновал с ее утверждения на престоле, когда приехала в сенат и объявила о Комиссии для составления уложения. Тогда она поспешила со своей мечтой и пять лет еще готовилась к этому дню. В том было ее предназначение, и изо дня в день, штудирова философов и привнося каждодневные случаи из жизни государства и народа, собственной рукой написала пятьсот двадцать шесть параграфов наказа. Не к сенату с синодом, тем более не к правительству, а обращалась ко всей России. По примеру просвещенных народов, от всех сословий, вер и языцей, в меру их значительности в государстве, должны были по большинству голосов выбраны депутаты.

Все самолично рассчитала она, даже жалованье депутатское на время работы комиссии: дворяне по 400 рублей, городовые представители — по 122 рубля, прочие же, от пахотных солдат и служивых людей, от государственных крестьян, казаков, крещеных и некрещеных некоекующих инородцев — по 37 рублей. Несмотря на недостачу бюджета, 200 тысяч рублей было ассигновано на это великое дело. Свободная человеческая воля, как то говорилось у философов, обязана была привести к истине.

Во всем проверяла себя и самоуверенно не оракулствовала с трона. Не объясняя сразу всего замысла, как можно больший круг людей вводила в сюжет дела. Мнение всякого рода ума и характера следовало учесть, от героического до холодно-рассудительного. И потому первая показала свои записи столь

разным людям, как Гришка Орлов да Никита Иванович Панин, а за ними уже и другим. Прежде еще, не объявляя себя, послала вопросы к Вольному экономическому обществу: «Не полезнее ли для земледелия, когда земля находится в единичном, а не в общем родовом владении?» А в другой раз: «В чем состоит собственность земледельца, в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может?» К тому приложила награду в тысячу червонных, и был назначен конкурс для своих и иностранных.

И что ежедневно по четыре с половиной часа лучшего утреннего времени без всяких уклонений сидела над тем «Наказом» — лишь видимая была часть работы. Сенат и синод, все департаменты и губернаторы исполняли для нее статистику и обзорение фактов, сами не ведая великой цели. А чтобы не впасть в умозрительное прожектерство, сама перед тем проехала насквозь Россию. Начав с Твери, где села на корабли, она смотрела в Ярославле уже знакомые ей фабрики. В Костроме, чтобы не было парадности, отпустила от себя иностранных послов. В Нижнем Новгороде слушала купечество про его беды, после чего писала к новгородскому митрополиту Сеченову: «Приехав сюда, требовала я справки. Пришли того села раскольники и говорили, что православные священники с ними обходятся, как с басурманами. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы в сей Нижегородской епархии при случае вакансии: было весьма осторожно поступлено в выборе персоны...» К Панину сообщала: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода». И из Казани писала ему: «Отседе выехать нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idee же на десять лет здесь собрать можно. Это особое царство, и только здесь можно видеть, что такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи».

На всем пути от Казани к Симбирску она корреспондировала Вольтеру: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях... Вот я и в Азии: мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако, им надобно сшить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело...»



Сразу все резко и бесповоротно отклонила она от себя. В одну минуту поняла, что в предприятии с «Наказом» сама же и поддалась идеальности. Звезда из детства продолжала гореть в полуденном небе, и она исполняла свое назначение, уже понимая всю ее призрачность...

Гришка, когда читала ему на слух параграфы из «Наказа», делал глубокомысленный вид и со всем соглашался. Никита Иванович Панин холодно поджимал губы, вспоминая, как видно, свою неудачу с проектом Государственного совета. Тогда, сразу по ее восшествии на трон, он думал найти лекарство в ограничении монархической власти. Здесь, в «Наказе», через пять лет ответила ему в десятом параграфе: «Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит». Кто бы еще вовсе лишенный рассудка придумал делать Россию республикой!..

Все пять лет составления «Наказа» то незримое и страшное стояло рядом. Она не пугалась изуверства, только необходимо высчитывала, от каких начал происходит. Всякий раз возвращаясь к тому делу, сиделась она представить, какова же эта женщина — молодых лет вдова ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова. Имя и отчество были у нее святые, русские: Дарья и Николаевна. Она ставила голую молодую холопку перед собой и медленно лила на нее кипяток...

Гришка с Паниным были лишь пробою. Тонкоязычный Сумароков — русский Софокл — безусловно зная, чей то вопрос скрывается за маской экономического общества, ответил вдруг со смелой и язвительной решительностью: «А прежде надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода?.. Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит».

Раньше еще российский великан, когда в последний раз приехала к нему с двором и сенатом, ответил на тот вопрос угрюмым молчанием. Она спросила, что думает о семи с половиной миллионах соотечественников в том же образе и подобии божьем, кои в наши просвещенные времена до сих пор в состоянии бесправного скота обретаются. Так посмотрел куда-то у ней над головой и громко стал читать о пьянствах да дикостях в масляную неделю. Кристальная орлеанская девица так и вовсе не представляла для России какого-нибудь иного порядка.

Лишь Беарде де Лабей от Дижонской академии ответил в объявленном ею конкурсе, что крестьянин должен быть свободен и владеть землею, от чего происходит наибольшая в труде производительность. Но только одиннадцать человек из двадцати семи, что входили в конкурсную комиссию, дали голос, чтобы публиковать сие сочинение по-русски. Да и то потому, что она была среди них. Вон Гришка Орлов тоже был за публикацию и восторгался ее «Наказом», а ставши депутатом от копорского дворянства, и слова не упомянул о крестьянах. Дурак, а умный, когда до его интересу что относится.

Понимая несуразность для себя проводить насильственно то, что касается глубины национальной жизни, она еще перед открытием Комиссии об уложении собрала в Коломенском дворце разных персон весьма противоположных мнений и дала им чернить и марать, чего хотели, в ее «Наказе». В этом все они сошлись единогласно: и слова такого прямо нельзя оставлять о крестьянской свободе. А слова там были только рассуждающие, коими думала положить начало делу: «Два рода покорностей: одна существенная, другая личная, то есть *крестьянство и холопство*. Существенная привязывает, так сказать, крестьян к участку земли, им данной. Такие рабы были у германцев. Они не служили в должностях при домах господских, а давали господину своему известное количество хлеба, скота, домашнего рукоделия и прочее, и далее их рабство не простиралось. Такая служба и теперь введена в Венгрии, в Чешской земле и во многих местах Нижней Германии. Личная служба, или холопство, сопряжена с услужением в доме и принадлежит больше к лицу. Великое злоупотребление есть, когда оно в одно время и личное, и существенное». Ни одна рука не прошла мимо: все вычеркнули.

Да и не это одно. Никто не оставил и других ее мыслей: «Есть государства, где никто не может быть осужден инако, как 12 особами, ему равными,— закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч...» Об жестокости в законах зачеркнули фразу: «Благодарно предостерегаться, сколько возможно, от того несчастья, чтобы не сделать законы страшные и ужасные. Для того, что рабы и у римлян не могли полагать упования на законы, то и законы не могли на них иметь упования». Известно, чем то и кончилось для Рима...

Единственный только раз она всплыла и написала по поводу общего мнения: «Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек; но его тогда скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света к нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и

скотиною делано!» Потом поняла свою идеальность и замолчала...

Даламберу об «Наказе» она еще из Петербурга загодя писала: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и бог весть, что станется с остальным». С первого же дня собрания стали вовсе в немыслимую сторону толковать уже то, что осталось. Однако, что бы ни говорили, все требовали себе рабов: дворяне, мещане, купцы, козаки, даже сами крестьяне, что удачливо занялись каким-то промышленным делом. На том пока они держались все.

Но главный камень лежал глубже. Он как бы слился с животворящей землею, впитанный ею, и только зеленоватый мох выделял его среди полезного окружения. Лемех истории наехал и заскрежетал здесь, оставляя белый безжизненный след...

Высокорослый и дородный, с дебелостью в лице и руках, с чистым сиянием в глазах, он уверенным взглядом обвел собрание, поклонился ей по-старинному, достав рукою земли, и заговорил проникающим в сердца и куда-то еще дальше баритоном: «Обстоятельства времени и разные случаи принудили Петра Великого сделать для нашего же благополучия такие положения, которые ныне от изменения нравов не только не полезны, но скорее могут быть вредны. Государство тогда становится прочно, когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на твердых и непоколебимых столпах, которые не могли бы снести тяжести обширного здания, если бы были слабы, невзирая на свою многочисленность...»

Дело не в том было, что выделяет древние роды в ущерб служащему люду. От породных, если ум и чувства в порядке содержали, и Петр не отказывался. Здесь было нечто другое, органичное, кующее по рукам и ногам. Будто прозрела вдруг и увидела, почему же столь яростно великий царь резал бороды, шубы сдирал, наряжал шутами. Не причуды то были. Вековечной тяжестью тянет этот камень к земле, не давая лететь вровень с историческим ветром. А князь Михаил Михайлович Щербатов — депутат от ярославского дворянства, все говорил, не желая ничего видеть в остальном мире. И в этом тоже состояла русская идеальность. Только не станет она натужно выдерживать тот камень. Как и с церковью, его же возьмет себе в службу...

Все время помнилось некое веселое письмо. Генерал-полицмейстер московский Николай Иванович Чичерин показывал его ей, поскольку прислано было от брата его Дениса Ивановича, сидевшего сибирским губернатором, и об избрании полномочных депутатов от тамошних народов шла речь: «Поехали от меня два

принца: один Обдорский, другой — Куновацкий, кочующие к самому Северному океану. Вы найдете в сих моих принцах двух дикенских зверьков, странных видом, странных и одеянием. Ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь, фигуру сделают при дворе не хуже французских...»

Сразу и решительно оставила она интерес к этому делу и лишь час в день читала отчеты. Дела там и не было, но виделось устремление умов. Впрочем, и практическая польза проистекала из всероссийского депутатства: в первый раз хоть собрались и посмотрели сами на себя. Даже и частности приносили пользу. Например, чтобы учреждать училища для бедных дворян и отдельно для девиц, или что надобно ограничить известными правилами рубку леса, ловлю зверей и птиц, на двести верст вокруг Москвы не ставить металлические заводы и винокурни. А рядом было и совсем серьезное, когда клинские дворяне вдруг вступились за крестьян, что сложить надо с них подушный сбор, «яко по земледельству их первое благополучие государству доставляющих». Взамен же для неубытка бюджету предлагали прибавить цены на вино, пиво, чай, кофе, сахар, табак, карты, псовую охоту и платье с золотом. И тут была некая особенная идеальность: нигде в Европе дворяне не заявляли так против себя...

Она подвела черту: «Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно. Она все части закона собрала и разобрала по материям и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поехали в армию...»

Она сама устанавливала у себя на столе их сегодняшнюю очередность: дела английские, французские, шведские, датские, Пруссия и Австрия. Не меняясь в чувстве, читала письмо от польского короля к сидящему в Петербурге графу Ржевусскому: «Если есть какая-нибудь возможность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, делается для меня одеждою Несса: я створю в ней, и конец мой будет ужасен. Или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать указания Репнину, чтоб он не двигал войска, находящиеся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владения республики. Сила может все — я это знаю; но разве употребляют силу против тех,

которых любят; чтоб принудить их к тому, на что они смотрят как на величайшее несчастье... Погибнуть — ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой — ужасно!»

На одно лишь мгновение возникла в памяти затемненная комната, три горящие свечи и нежно-ласковые руки, глядящие ее увеличенный живот: «О светозарна панна... Кохана!» Никуда дальше не пустила она это воспоминание. Сделанный ею король Станислав-Август был обезоруженно бессилен для ее сердца, как и для исторического дела. Та сарматская самоотверженная чувствительность — вечный знак слабости.

Даже и Репнин из Варшавы кричит, что нельзя уговорить нацию и сейм дать православию и лютеранству наравне участвовать в законодательстве с составляющим абсолютное и убежденное большинство католическим народом. Мировоззрение и духовная связь этого народа с Европою осуществляется через ту воинственную приверженность к западной церкви. Только и Россия не с луны в Европе взялась, а сейчас таково делается ее место, что поднимается выше церковного формального деления. Даже полумесяц и Будду принимает в круг своего интересу, и нельзя допускать половинность в действии.

Что же до теплоты ее сердца приходится, то здесь в обоих смыслах невозможно снисхождение. Любовь всегда является страдательной стороной; то она на себе испытала. Так что не только с государственной обязанностью, но с победной жесткостью женщины сделала она резолюцию: «Если король так смотрит на дело, то мне остается вечное и чувствительное сожаление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств».

В шифрованном донесении к своему двору нового английского посла лорда Каткарта она бесстрастно прочитала, что по превосходству ума русская императрица не может ничего и никого опасаться и что все идет великолепно в России. Для аттестации глубокомысленный лорд цитировал стих Виргилия о Дидоне, что дала приют троянскому герою и основателю Рима. А от себя добавлял, что удивительно бескровно проходит ее царствование. Лишь слухи идут по поводу трудно объяснимых случайностей...

Она отвела руку с перлюстрацией английской депеши, вздернула голову. Незачем ей скрываться от истории. Глядя Алексею Орлову в его льдистые глаза убийцы, знала она, что ждет эйтинского мальчика. И другая венцелюбивая смерть прошла мимо нее, коснувшись холодом рук и лица...

В первый месяц от революции в карете без знаков и с шестью лишь конными гвардейцами выехала она в ночь. Крепостной

камень скрадывал яркость свечей на столе и по стенам. Таковым же, под цвет этих стен, было лицо человека без имени и возраста. Она говорила с ним ровно, силясь угадать в выражении лица что-нибудь близкое тому, великому, с покойным бешенством в глазах, который являлся ему двоюродным дедом.

Никакого выражения не было. Несчастный глухим и резким голосом произносил пустые фразы, глотал окончания слов, и трудно было уловить связь между ними. Она вспомнила зловещую комету с хвостом над другою крепостью, когда только въезжала в Россию. Этот человек имел тогда имя и был вовсе младенец. Вместе с матерью ждал он решения своей участи. Сейчас, в другой уже крепости, он ничего о себе не знал.

Она внимательно прочла бумагу от бывшей императрицы, чтобы двум офицерам содержать сего узника до самой смерти и без общения с людьми. Если же кто проявит намерение освободить его, то живого в руки не отдавать. Подумав, она ничего не сказала изменить и поскакала с эскортом назад в столицу.

Все случилось, когда ездил в Лифляндию. Счастьем обоюдный подпоручик захотел менять историю. Только не в случае тут дело, поскольку все необходимо должно сойтись и созреть для такового поворота. То Вольтер боялся за нее, что сменит ее на троне полоумный неуч, и в забвении тогда останется практическая философия. Она не боялась, даже из Риги не приехала, узнав о шлиссельбургском происшествии. Только самым подробным образом рассмотрела дело: не протянуты ли куда дальше нити. Что в Европе намекали, будто сама провоцировала Мировича к ложному освобождению Иоанна Антоновича, то вздор. Просто знала, что такое может произойти, и мер к предупреждению не взяла. Ей назначена цель, и не ее обязанность предотвращать то, что наметила к гибели истории. Обоих офицеров, что исполнили приказ еще Елизаветы Петровны над брауншвейгским принцем, она наградила и послала в дальние концы империи, чтобы не приезжали оттуда. А что пишет английский посол, что все тут спокойно, так это с его дома только на Мойку видно...

С тем надо было решать в пример и назидание. Пять лет шло следствие, и всей России было известно дело. Подвластные люди обвиняли дворянку Дарью Салтыкову в зверском убийстве 75 человек и во многих калечениях. По рассмотрении от Юстиц-коллегии написано было, что «яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительною, во изыскание истины надлежит пытаться».

К ней принесли решать, но в «Наказе» она отстаивала запрет на пытку, тем более к женщине. Когда и священнослужители говорили за ее необходимость, она писала: «Употребление пытки противно здравому рассуждению. Чего ради, какое право может кому дати власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав он или виноват. Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорити правду. Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали».

Дважды не соглашалась, чтобы такое производили с Салтыковой. Велела пытать при той уже приговоренного злодея и убийцу, чтобы видела, каково ее ждет, но та упорствовала в признании. Юстиц-коллегия обвинила сию помещицу положительно виновной в убийстве 38 человек и относительно 26 человек оставила в подозрении. Записаны были подробно рассказы, что лила на голых девок кипяток, рвала горячими щипцами груди, сыпала соль на содранные спины...

Она придвинула приготовленный указ сенату, принялась со вниманием читать: «Рассмотрев поданный нам от Сената доклад об уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительную. Чего ради повелеваем нашему Сенату: 1) Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа; 2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на Красную площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столу и прицепить на шею лист с надписью большими словами «*мучительница и душегубица*»; 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерти ее содержать таким образом, чтоб она ниоткуда света не имела. Пищу ей

обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять у нее гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь».

Это специально обдумали и составляли для нее, поскольку не смогла бы еще столь проникновенно учитывать всякую сторону и грань воздействия такого наказания. Смысл и форма его тоже таились в плоской глубине икон, цветистой причудливости храмов, немыслимой шири и безбрежности... Она твердо подписала: «Екатерина».

Сколько то длилось, не знает она: минуту или мгновение, и не в том дело. Некая другая жизнь произошла с нею совершенно явственно, будто все совершалось наяву. В той жизни идеальное обретало плоть...

Это случилось в Москве, когда до конца прочитан был «Наказ». Она опустила взгляд к депутатам, и вдруг закружились черные ветки со снегом и с ними весь мир, сильные руки подняли и понесли ее, незащищенную, запутавшуюся в сугробах. Не было теперь падающей со лба пряди волос, но все равно она видела ее. Он стоял в мундирной, как у большинства дворян, куртке, и через суровую возмужалость на его лице, как и тогда, стала проступать краска. От того сделались блее шея и твердый широкий подбородок. А он продолжал смотреть на нее, как делал то всю жизнь: прямо и не отводя глаз...

Опять встал перед нею выбор. Не чувствовалось уже обязательной тяжести на плечах. Будто выпущенное из руки радостно забило сердце, великая, намеченная для женщин слабость стала разливаться по телу. Нужно было только продолжать смотреть, и жизнь, которая была предназначена ей, вступила бы в свои права. Но она уже смотрела мимо...

Другая жизнь зачеркнула бы необходимую реальность, поставив свои законы. Английский лорд не понимал сути. В Карфагене все было буколически просто: царица Дидона искала себе мужа в троянском герое, а тот, по назначению богов, обязан был строить Рим. К ней же не подходила четвертая песня Виргилиевой поэмы, ибо Рим здесь назначено строить ей самой. Оттого и Орлова не захотел видеть мужем рядом с собой. Но здесь был не Гришка или упоительно нежный Станислав, даже не бывший первым у ней Салтыков. Другое, высшее и отличное, содержалось в лице юного гвардейца, что следует за ней со дня въезда в Россию всю остальную жизнь...



В тот день, когда через четверть века увидела опять его, она не могла спать. Ночью горела вся и хотела послать узнать среди депутатов его имя. Уже готова стала пойти и позвать его, но вдруг испугалась, сидела и плакала, как последняя горничная девушка. Не спала так вторую и третью ночь, а затем уехала из Москвы.

Гришке она не разрешила прийти. Прилетев в Петербург, целый месяц ходила будто облитая светом, а внешне оставалась ровной и улыбалась...

Потом позвала к себе некоего кирасира, что год уже играл к ней красивыми преданными глазами. Тот делал все, дрожа от страха чем-нибудь не понравиться ей, и только по необходимости и привычке все произошло. Когда заснул, она разглядывала его тело. Все повторяло эллинский мрамор, лишь не было того, от чего не спала и плакала в Москве. Какая-то высшая тайна состояла в этом...

Проснувшись, кирасир кинулся опять исполнять свою обязанность, потом суетливо кланялся и одевался, опасаясь хотя бы боком повернуться к ней. Больше она его не звала. С Гришкой все было по крайней мере без лакейства...

## II

В душе кипело, и справедливая досада толкнула составленную в кулак руку к холопской физиономии. И этим он, от Рюриковых сподвижников ведущий свой род, уронил себя. То какой-нибудь служивый, дворянством пожалованный, может собственноручно учить раба. Князю и столбовому дворянину такое не пристало.

В Рюриковы времена, когда созидалась держава, произошло распределение людей. Одни, коих немного, но дела их были громки, стали называться *жуки*. Другие, которые лишь служили для обеспечения первых, получили звание *жукики*. Что справедливо произведено историей, нельзя изменять волонтарным действием...

Князь Михаил Михайлович вытер платком розовую мокроту с пальцев. Филька-конюх глядел с тупым страхом, и кровь стекала от его носу на сапоги. Вот она, наследная глупость: английскую породную кобылу без смыслу зеленым зерном загубил. Сколько бы ни было поколений у него за спиной, все дураки. Хоть в фельдмаршалы его пожалуй — того не исправишь!

Сделав в отношении Фильки распоряжение мажордому, князь дал переодеть себя. Пока производили это, думал, что негоже

истинному русскому дворянину звать так старшего слугу. Ма-жордом-то не русское понятие. И дворецкий лишнее теплое слово. Как звали таковых слуг в стародавние времена, следует посмотреть в летописях. Что, если дать ему звание *старинушка*?..

Князь со вниманием посмотрел на своего управителя Петра Хвостова. У того была окладистая борода и покойное достоинство в лице. Даже и хитринка в глазах отвечала образу.

— Старинушка! — произнес он звучно, прислушиваясь своему голосу.

Петр Хвостов, как и положено верному слуге, понял направление его мыслей и тут же отозвался:

— Благодарствуем за ласку и доверие тебя, князь!

Это он запретил называть себя «сиятельством», а чтобы все было по древней простоте чувства. Не имеет значения, что отменно знает он немецкий, французский и латинский языки, еще и науки превзошел. Свое, исконное, необходимо наперед двигать. Больно смотреть, как родовитые люди не то что во всем превосходные русские костюмы на немецкие платья поменяли, но и рассуждают уже на общий с Европой лад. А Русь, между тем, на первородстве держится. Вот народ то лучше понимает: платья иностранного не носит и скрипки с пианинами не слушает...

Его пока раздевали. Стащили узкие штаны, аккуратно сняли с рук голландскую подстежку с кружевными манжетами, что с прошлого году вошли в моду в Петербурге, также и белье тонкое французское унесли. Вместо того поддели, крупнотканое исподнее, облачили в одежду, что сам специально кройку делал по старым рисункам, поднесли медового квасу. И все с земным поклоном, как научил всех в доме и своей ярославской усадьбе. Слуги одеты у него соответственно: в рубахи длинные белые и с просторными рукавами, как на досках старинных. И не окрестр, как у других, а добрый молодец для услаждения слуха за обедом на гуслих играет...

С кабинету, куда пошел размышлять перед обедом, было видно в окно, как повели Филимона-форейтора на конюшню. Туда же понесли лохань с моченными в воде прутьями. Конюх шел покорно, с бесчувствием на лице, будто и не ощущал своей вины. Вовсе упали нравы в народе...

Князь Михаил Михайлович взял с секретера и разложил на столе выписки из разных книг, необходимые ему по депутатскому делу, стал листать записи своих там речей... «Государство тогда становится прочно, когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях».

Тут содержится краеугольный камень его диспозиции. Царь Петр принизил те фамилии, поставил их в общий ряд с остальными и тем нарушил природный русский порядок вещей. Он

вовсе не сторонник боярской невежественности да потения в шубах. Вот у него шкафы по стенам переполнены книг. Важна порода, кровь, способности, к чему приучается человек многими поколениями от своих предков. Тот Митька Щербатый, от которого род его числится, был уже муж велик: постельничим у великого князя московского состоял, в Орду с поручениями ездил. Во многих славных делах потом Щербатовы участвовали, и все в великокняжеской и царской службе. Также и он теперь от ярославского столбового дворянства первый муж в собрании. Можно ли равнять его с каким-то служивым, чье благородство происходит от деда, что потешным солдатом у царя состоял.

Оно и раньше бывало, что государь кого-то за особенного рода услугу вдруг дворянством жаловал. Но то было случаем и делалось от прямой царской милости. С петровского порядку иное пошло: выслужится кто-то без роду и племени в офицеры, так и дворянин. В Сибири губернаторы дворянами жалуют. Из калмыков и грузинцев сплошь явились князья. Кто только не наслоился теперь в русском дворянстве. Царь вице-канцлера даже себе из жидов выбрал и в бароны произвел, арап в генералах ходил. Нерассудно в нынешнее время против того выступать, чтобы иностранцы в русской службе находились, но каждого надлежит проверить: подлинный ли дворянин, откуда родом, благородная ли в нем кровь.

А когда того недостает, то сразу видно. Ростовецкий депутат, что клинских дворян одобрял и против его позиции говорил, так именно без роду оказался. Доискались подлинные дворяне, что дед у того Ростовцева как раз и происходил из потешного полку. А прибавка Марьин к фамилии, так на подлой девке женился. Сам этот майор, сказывают, тоже неизвестную жену себе привез. Где же тут взяться благородству в рассуждении!..

А должно так быть. Кто в начале этой державы управлял и мужем был, так и род его должен на том месте оставаться, поскольку к чести приучен. Также и купцы: если прадеды и дед торговым делом занимались, так и у внуков к тому рвение и способности. От духовного звания происходят священники, от мещан — мещане. А кто от мужиков, так обязан в этом звании дело свое малое исполнять. От того имя ему второе дано — крестьянин. И не должен один лезть в дела другого: дворянин — вдруг торговлей заняться, купец — владеть крепостными людьми. Только дворянин имеет на то право, так как всегда способен рассудить раба и за нравственностью его присмотреть, чего не сумеют купец или мещанин...

Вот тут, в главной речи его на собрании, и меры предусмотрены, чтобы укрепить ту общественную нравственность... «Итак, первым объяснением имени дворянина будет то, что он такой

гражданин, которого при самом его рождении отечество, как бы принимая в свои объятия, ему говорит: ты родился от добродетельных предков. Рожденный в таком положении, воспитанный в таких мыслях, человек не будет ли употреблять сугубые усилия, дабы сделаться достойным имени своего и звания? Эта политика у римлян столь далеко простиралась, что они приписывали начало знатных родов своим героям, о чем, по свидетельству блаженного Августина, знаменитый римский писатель Варрон говорил, что для государства весьма полезно, чтобы знаменитые люди почитали себя происшедшими от героев, хотя это и неправда».

Императрица посмотрела вдруг на него, когда читал эту речь,— с улыбкой и внимательностью в глазах. Радение ее ко всему русскому общеизвестно. Только словно еще что-то увидела в его словах...

В приоткрытое окно слышался некий звук от конюшни: равномерные свисты и вздохи. Он распорядился, чтобы наказывали конюха со снисхождением: часть ударов пусть примет теперь, остальные — отдохнувши и пообедав. А также, чтобы масла конопляного приготовили: спину смазывать. Тут справедливая суровость обязана сочетаться с отеческой заботливостью. Раб почувствует сердцем и во всякое время готов будет живот свой положить за господина...

Обедал он тоже по-старинному. Сначала умывался из ковша, промокал лицо утиральником. И слуги подавали блюда с поклоном. Только пищу ел легкую, которую готовил научившийся от французов повар. У князя-родителя покупные повара были, и сам, когда в Семеновском полку служил, привык к той кухне...

Пообедав, он отдыхал в кабинете на софе, и не позволялось никому беспокоить его. С задней двери явилась Агашка: крупная пышнотелая, в сарафане, с белеющей оттуда грудью, улыбнулась с ленивостью, забросила за спину тяжелую пшеничную косу. Серые глаза ее всегда полны были будто влажного туману. Выражение их не менялось хоть и в самый чувствительный момент...

После ее уходу вспомнил, что буфетчик Тимофей шептал ему об Агашке и Хвостове. Не в первый раз он слышит об управляющем, что при благообразии своем всякой девки мимо не пропустит. Оно и простить бы можно по домашнему делу, только не положено смерду залезать, где благородство находит себе приют. Агашку можно бы в птичницы, да привык и всегда с собой берет, когда в Москву ездит. Некая сладкая бесстыжесть у нее,

что сильно физическое чувство трогает. А вот со старинушкой надо придумать, как поступить...

Снилось то ему, или просто было мечтание, но великая легкость духа посетила его. Все происходило как наяву: даже потрогать захотелось шелк и атласы, что были на добрых молодцах. Синие, красные и вовсе фиолетовые сафьяновые сапоги с загибами составляли радугу, золотым огнем горели пояса. Солнце стояло как раз посередине неба, и белыми лебедями выступали девы: все были томные, крупчатые, вроде Агаши, только без всякого туману в глазах. Серебряным шитьем сияли кокошники, кораллы розовели, и жемчуги матово белели на высоких шеях. Девки при этом стыдливо опускали взоры.

Все вокруг процветало и радовалось. Также и мужики бодро шли за сохой в удобных плетеных лаптях, и кони у них были сытые и крепкие. В городах и слободах сноровисто трудились ткачи, кузнецы, кожевники; купцы везли товары в расшивах и богатых возах. А в праздник все надевали сапоги, ели медовые пряники и катались в каруселях. Шуты да скоморохи на ходулях увеселяли народ. И все потом пристойно и в должном порядке шли в храм. Только был тот храм словно бы не такой, не было там тех страдальческих лиц с удлинненными оливковыми глазами. Посредине вместо всего виделся один дубовый монолит с ясно и навечно очерченным ликом, и лишь молнии посверкивали у него из глазниц...

Нет, не так уж он глуп, ярославский потомственный дворянин и князь Михаил Михайлович Щербатов, чтобы не понимать очевидного. Не было все так любезно и благодно до царя Петра Великого. Документы в этих его шкафах про дыбы с колесами, и как братья друг другу глаза кололи. Знает про целые города сожженных, утопленных, в стену вмурованных. И про предательства перед печенегами и татарами, друг перед другом. От той свирепости и разбою на тысячи верст города и веси безлюдели и даже псы голодные убегали, птицы улетали. Да не так, чтобы случаем, а без перерыва, из века в век.

Но только не хочет он этого помнить. Не разумом только, но и сердцем, всем своим естеством не желает того знать. Пример народу обязан быть впереди, и негде тут его брать, как из прошлого. Ничего сильнее сказки нет для такого дела. А поэтому и самому надо поверить безоглядно, не рассуждая, чтобы до слез манило то благое прошлое. Убедить должно себя, чтобы вроде досадной случайности виделись те дыбы да колеса. Тем более это

надо делать, что такое забвение плохого свойственно человеку. Только неужели императрица проникла в его мысли?..

Пробудился он от того же звука из конюшни. Свисты не менялись, но вздохи сделались продолжительнее. Это означало, что конюх Филимон проникался своею виной и в другой раз не будет кормить кобылу сырым зерном. Тысячу лет назад было и теперь продолжается, что мужу назначено учить мужиков.

### III

Сказка вернулась, и будто пропала куда-то действительная жизнь. Может быть, снилось ему все, что было до сих пор. Минута только прошла, как сказал за зайцем и спрыгнул с коня. Золото таяло у нее в глазах, они делались обычными, синими. Черные ветки в лесу гнулись от тяжелого, чистого снега, и никого, кроме них, не было в мире...

Но она уже смотрела мимо него. И опять усомнился он, существует ли на самом деле. Как и тогда, захотелось тронуть себя, чтобы это узнать... Вспыхнули свечи в притворах и по стенам, сдвинулась громадность храма, засияло по стенам тяжелое золото. Временно отпущенный из службы майор и депутат от ростовецкого дворянства Александр Семенович Ростовцев-Марьин отвел взгляд от сидевшей в вышине императрицы и прошел на установленное ему место...

Они заседали всякий день в Грановитой палате, высказывая каждый свое мнение, и стремились определить действительное умоначертание народное. На другой уже год переехали в Петербург, где читали и обсуждали относящиеся к юстиции законы. Он с обыкновенной своею серьезностью исполнял полученный от ростовецких служивых дворян и разных чинов наказ, согласуя его с общим «Наказом» императрицы. Тут ему кстати оказались тетради лишившего себя жизни в остроге вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова, где находились рассуждения об русской истории. Еще и от Василия Никитича Татищева, у которого тот служил в Астрахани, содержались там записи о практических делах Петра Великого. Также и все читанное им в доме ученого шляхтича пана Людвигу Мураховского способствовало объемности понимания устройств и правлений у разных народов в древние и самоновейшие времена. В Ростове у себя собирал он книги, привозя их всякий раз в долговременный отпуск, назначенный имеющим усадьбу офицерам.

А антиподом ему в собрании сразу стал некоторый ярославский князь, что все видел, будто через кулак на солнце глядел. Когда о царе Петре говорил, то морщился даже весь, не смея прямо обругать того. Крупные слезы текли у князя из глаз, как

только боярскую народность вспоминал. Ею звал очиститься от всех бед. Да только народность та в том заключалась, чтобы самому блаженствовать, а остальные бы все в разной службе холопами у него состояли. Та мудрость никак в современную жизнь не пишется, а только с пути сбивает истинного радателя своему отечеству. Хуже, что весьма это увлекательно — на старину с умилением смотреть, и куда только народ и государство в неопытности ума завести можно!

Нет, в том истинная правда сына отечества состоит, чтобы прошлое без предубеждения, тем более слепого почитания увидеть. Когда хлебы умело печь или сердечную ясность сохранить, также и примеры воинского подвига во имя обороны отчего дома от врагов, так все это твердо надо выучить. Но и того не забывать, какие мучительства этот народ перенес в том прошлом от своих же нелепостей и что надо когда-нибудь положить им конец.

Что же до иностранного, которое от времени царя Петра сюда хлынуло, так нечего бояться. Лишь от вселенского общения народы великими делаются, а когда сторонятся всего, то быстро в обдоров превращаются. Вот и рожь даже вырождается, когда долго вдали от других полей растет. А что костюмы да науки заимствуем, то не надо злобствовать, а таково у себя устроить, чтобы от нас заимствовали...

В собрании он внимательно слушал, записывая всякую интересную для себя сентенцию. Тому ярославскому князю выпшел убедительный отпор. «Достоинство дворянское не рождается от природы, но приобретает добродетелью и заслугами своему отечеству!» — сказал депутат Терского семейного войска подьесаул Мыронов. И восполнил сию мысль дворянский депутат от Изюмской провинции Зарудный: «Как многотрудна во флоте и как тяжела в сухопутной армии служба, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен; не знающим этого могут рассказать все там послужившие. Из этих рассказов можно удостовериться, что полученные ими чины и дворянское достоинство нелегко им достались». Как раз и говорили о равенстве в дворянстве те, кто собственными трудами и доблестью его выслужили: Днепровского пикинерного полка депутат Козельский, выборные казачьих войск, а депутат от города Рузы Смирнов прямо предложил, чтобы по наследству не числилось дворянство, а пусть каждый сам заслуживает.

Его же другое больше интересовало. Он сразу поддержал наказ клинских дворян, что предлагали сложить подушный сбор с пахотных крестьян. И от псковского служивого дворянства депутат встал на защиту русского пахаря, поскольку нет той беды на свете, которая бы не преследовала этого всеобщего

кормильца. От козловских дворян депутат Коробын объяснял, что от жестокости да самодурского грабительства ограничить для помещиков размеры оброков. От олонецких черносошных крестьян депутат Чупров то же говорил. Только втуне остались их редкие голоса...

А вот князь Щербатов вдруг поддержал их в том, что нельзя крестьян без земли и поодиночке распродавать. Он же и подсчитал, что один пахарь в государстве пятерых кормит и ежели еще уменьшится их количество, то хлеб придется не от нас уже, а в Россию везти. Только для того князь это умножал и складывал, чтобы доказать невозможность разрешить купцам иметь крепостных людей на фабриках, а лишь дворянское это право. И так красноречиво излагал, что глаза утирали многие.

Однако, когда говорил это князь, то подумалось, что и с ним можно в чем-нибудь общую платформу найти. В одном деле тогда голосов прибавится, а в другом с другими можно искать большинство. Как видно, тут и начинается политическая наука, коей не присутствует в России...

Императрица уехала в тот же день, и с тех пор он ее не видел. А потом поскакал на Днепр, к своему полку.

## Третья глава

### I

...В вашем Смольном монастыре принимаются самые существенные меры для сохранения здоровья детей, их природного характера, их невинности и веселья, таланты их развиваются без всякого стеснения, вкус к домашнему хозяйству образуется не в ущерб идеальным стремлениям; одним словом, из них готовят хороших жен и матерей, образованных, честных и полезных гражданок.

В их воспитании, по-моему, упущен единственный важный с некоторых точек зрения пункт — они не проходят маленького курса анатомии, по восковым и инъецированным моделям, дающим понятие о натуре, не возбуждая никакого отвращения.

Наше тело составляет ведь такую значительную часть нас самих! Хрупкий организм женщины так подвержен порче! Рано или поздно она станет матерью; краткие сведения из анатомии необходимы для нее и раньше, и позже, во время материнства!

Кроме того, я именно анатомией вырвал с корнем опасную любознательность моей дочери. Когда она все узнала, то нечего



больше было и узнавать. Воображение ее успокоилось, а нравы остались чистыми.

Благодаря анатомии, она поняла, что такое стыд и приличие, почему лицам обоего пола необходимо скрывать такие части своего тела, обнажение которых повело бы к развитию порочных наклонностей.

Благодаря анатомии, она узнала цену тем соблазнам, которые могла встретить на жизненном пути.

Благодаря анатомии, она подготовилась к выполнению супружеских обязанностей и материнству.

Благодаря анатомии, она узнала те предосторожности, которыми следует обставлять беременность; она подготовилась к безропотному терпению при родовых муках; она изучила положение ребенка в матке. При первых же родах она выказала такую твердость, которая в невежественных женщинах не встречается.

Знание анатомии послужит ей на всю жизнь, для сохранения здоровья в целости, для определения места заболевания, для себя, для мужа, для детей, для домашних.

Но, спросите вы, может быть, у кого же могла она брать уроки анатомии, не подвергая испытанию своей стыдливости? У одной пожилой девицы, очень способной и порядочной, у которой учились анатомии и я, и мои друзья, двадцать девиц из хороших фамилий и до ста светских женщин.

Господин Гримм, также прошедший эту школу, может рассказать о ней вашему величеству. Прингль и Пти — наши знаменитейшие анатомы — одобрили те модели, по которым мы учились.

Учительница показала наш мозг и мозжечок со всеми их частями, глаз, ухо, грудную полость, легкие, сердце, желудок, кишки, печень, мочевой пузырь, матку, половые органы мужские и женские (но только замужним дамам), мускулы, вены, артерии и прочее. Нет ни одного иностранца, проехавшего через Париж, который бы не посетил нашей учительницы и не полюбовался бы ее моделями.

Как бы то ни было, я не поколебался бы ввести уроки анатомии в курс последнего, перед выпуском, года для девиц из хороших семейств. Уроки анатомии должна давать женщина, так как девицы не должны отвыкать краснеть перед мужчинами — это их красит.

И вот тогда ваши взрослые девицы узнают, что им думать об ухаживаниях мужчины, тогда к ним можно будет держать такую речь: «Если за вами ухаживают, сударыня, если вам льстят, указывая на ваши прелести и таланты, если на вас нежно смотрят и уверяют, что любят вас до сумасшествия, то знаете ли

вы, что хотят сказать этим? Вот что: «Если вы, сударыня, найдете приятным забыть ради меня стыд и совесть, пожертвовать мне вашей невинностью и репутацией, обесчестить себя в чужих глазах и в своих собственных, заменить имя честной девушки прозвищем куртизанки и погибшего создания, отказаться от всякого общества, краснеть всю остальную жизнь, убить ваших батюшку и матушку и позабавить меня в течение четверти часа, то я вам буду очень благодарен».

Ваше императорское величество совершенно справедливо думаете, что девушкам неприлично слушать лекции анатомии, читаемые мужчиной. В силу этого я постараюсь упрощить мадемуазель Бихерон приехать в Петербург со своими анатомическими моделями, которые отличаются большой прочностью и вовсе не ломки. Если их держать в порядке, то и через десять лет они будут так же свежи, как теперь...»

С двух до пяти часов пополудни было его время. Она с улыбкою, внимательно слушала этого человека. Но что же он говорит?..

Все это очень рассудительно и полезно для благородных девиц в сделанном ею Смольном институте. И анатомия — первая для них наука: это на своем организме испытала. Только получается у него, что девица лишь некоторое инертное и страдательное существо, так что сама и желания того не имеет — идти и пылать навстречу мужчине. Вовсе это не так.

Впрочем, все она знала заранее, еще и не видя его. Восхищение и разочарование сразу происходило уже от его искрометных и глубоких сочинений. А когда явился ей, как некий легкий кузнечик и мощный Вулкан в едином образе, то оба чувства убедительно завладели ею. В том противоречии содержалась закономерность...

Первые пять минут тончайшей гальской галантности, на каковую способен был лишь сын ножовщика, испарились и без всякого перехода сменились чудовищной простотою, на которую и анжуйские герцоги бы не потянули. Он бил ее по плечу, стучал по колену, заливался смехом над только что пришедшей к нему и еще не высказанной мыслью. На второй день он сдернул парик, чтобы сравнила его голову с отлитым бюстом. То был длинный и покатый череп с редкими волосами на макушке.

В первом знакомстве она объявила ему, что как раз в эти часы всегда найдет ее в кабинете, так уже на другой день пришел лишь в половине четвертого. Иной же раз появлялся раньше времени и заглядывал к ней из-за спины гвардейцев, когда сидела с государственным советом. Часы у него имелись — большие,

серебряные, да просто не заглядывал в них. Совсем неожиданно для нее обрадовался, что к корреспондентству в Петербургской академии художеств, где заочно состоял еще с шестьдесят седьмого года, назначен был также членом Академии наук. Когда передала ему про то назначение, то вскочил и прямо у нее на ее столе написал туда благодарственное письмо: «Мне было бы весьма лестно заслужить чем-нибудь честь считаться собратом Эйлеров, но в жизни приходится получать так много незаслуженных милостей, что одна лишняя уже не в счет. Вот мой титул: Дионисий Дидро, член Берлинской академии и Петербургской академии художеств».

Уже на второй день их постоянного собеседования она велела незаметно повернуть стол, чтобы быть недосыгаемой для летающих рук и острых колен автора великой энциклопедии...

Самые первые и дорогие четыре часа из дня у нее занимали занятия литературные и исторические: два часа одни и два часа вторые. Гостя-философа просила фиксировать для нее их беседы, и вот что по первому поводу там было написано: «Нужно, чтобы у монарха был в одном рукаве — священник, а в другом — писатель, преимущественно драматический поэт. Кто помнит хоть одно слово из философских записок Вольтера? Никто! А тирады из «Заиры», «Альзира», «Магомета» у всех на устах от мала до велика. Проповедей никто не читает, а хорошую комедию или трагедию перечитывают по десяти-двадцати раз даже люди мало образованные.

Если ваше величество поговорите разок-другой с вашим Сумароковым, весьма посредственным поэтом, да зададите ему тему для будущей поэмы, так сделаете из него, может быть, человека. Ваша милость пробудит в нем гения, проповедника ваших мнений...

Во время составления кодекса законов, перед его появлением в свет, так же, как и после, я бы велел представлять на сцене пьесы, в которых доказывается разумность главнейших из этих законов — о престолонаследии, о заговорах и о прочем. Нет ни одного закона, который не мог послужить темой для трагедии, вымышленной или взятой из истории».

Она вспомнила: когда говорил это, вдруг остановился, как задержанный на бегу мальчик, посмотрел на нее пронизательно...

Да, так она и поняла, несмотря на высокую искусность выражений. Одно то, что в рукавах рекомендуется держать сии карты, достаточно говорит за себя. Но чтоб философ прямо требовал государственной литературы и театра, так осмелился бы такое произнести во Франции? Парнас преобразовать в депар-

тамент — весьма прельстительное для власти дело, да только сразу заполнится свиньями. Или только для России предполагает возможным такое примитивное революционерство?

Угадав ее недоумение, он воскликнул:

— Ваше величество прекрасно знает пороки и смешные стороны вашего народа: я бы натравил на них парнасских собак!

И принялся распространяться о том, что имеет в виду лишь воспитательную сторону, чтобы молодые девицы и юноши из заведений могли бы учиться по тем пьесам практической жизни:

— Если бы ваше величество сделали это сами, то эффект получился бы громадный. А я знаю, что вы это можете. Одна хороша пьеса упредила бы счастье этих детей!

Все он говорил прекрасно, только не рекрутским набором поэтов и философов такое дело производить. Однако этот хитрейший и простодушнейший из людей правильно угадал, что сама пять лет уже тем делом занимается. Таким способом влиять на нравственность только и допустимо правительству. Даже Гришка или Панин не знают, точно ли ее тут авторство. Пьесы на театре идут и публикуются под именем Неизвестного, что сочинил их во время чумы в Ярославле...

В это утро она собрала вместе все, ею сотворенное по разделу муз, чтобы систематизировать и положить в особый тайный ящик. Первый номер занял перевод Мармонтелева «Велизария», которым занималась в поездке по Волге шесть лет назад накануне открытия Комиссии об Уложении. Сразу за ним шел «Антидот», где отхлестала по щекам некоего бесчестного аббата. Этот служитель бога и член Французской академии еще в конце предыдущего царствования проехал от Петербурга до Тобольска наблюдать прохождение Венеры через диск Солнца и попутно запомнил все анекдоты, что рады рассказать о своем отечестве досужие недоросли. А издал у себя книгой «Путешествие в Сибирь», где все служило к оскорблению русских, разве только канибальства не было упомянуто. Ее опровержение на сей пасквиль тоже вышло безымянным и печаталось в Европе.

Потом в ряд лежали комические пьесы, поставленные на театре: «О время!», «Именины г-жи Ворчалкиной», «Г-жа Вестникова с семьей», некоторые прочие, что сама посчитала невозможным довести до сцены.

Она стала бегло читать: недоросль Молокососов желает жениться на девице Христине, приходящейся внучкой госпоже Ханжахиной. Тут же и Чудихина, чья страсть — расстраивать свадьбы, а еще госпожа Вестникова, служанка Мавра да Непустов. Все московские лица, как и разговор... «Мачеха ей сонной в живот шуку впустила, а в спину — собаку. Вот они и грызутся между собой!»

Затем уже госпожа Ворчалкина с дочерьми, дворянин Дремов, замоскворецкий купец-банкрот Некопейков, судья Спесов да Таларикин с Фирлюфюшковым, какового за долги бьют палкою. И опять по классическому закону умная и ловкая служанка Прасковья, за коей ухлестывает молодец Антип.

Еще в один акт сцена из передней знатного боярина, так тут, помимо старухи помещицы Выпивайкиной, еще и иностранцы: барон фон Доннершлаг, турок Дурфеджибасов да француз Оранбар, что мыслит русских ходящими на четвереньках и вменяет себе в задачу просветить их, каково ходить следует...

Одновременно здесь находились и журналы, где критики на те ее пьесы. Вверху всех приписка к «Живописцу» по поводу «О время!». Как знала она, то сам редактор Новиков написал: «Государь мой, я не знаю, кто вы. Вы первый сочинили комедию о наших нравах. Вы первый с такою благородною смелостью напали на пороки, в России господствовавшие. Продолжайте, государь мой, к славе России, к чести своего имени, к великому удовольствию разумных единоплеменцев ваших. Перо ваше достойно равенства с Молиеровым. Не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании достоин презрения...

Ко счастью России и по благоденствию человеческого рода владычествует нами премудрая Екатерина. Ея удовольствие, оказанное во представление вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ея таким, каким вы, писателям...»

Что же это: доподлинный пафос или коварная насмешка над разгаданным автором? Сей журналист в своем «Трутне» даже и приличествующие границы перешел, когда всем известных сановников в дурацком виде аттестовал. От них и получилась на него правительственная атака, а вовсе не от того, что с ее «Всякой всячиной» соревновался. И в «Пустомеле» он нимало никого не щадил, как и в том же «Живописце». Но вот пьесу ее весьма шумно хвалит...

Она отсылала ту пьесу к Вольтеру и получила полное сарказма назидание. И тут уже от гостя-философа произошла такая двусмысленная похвала, что лишь самодовольный балбес мужского рода не почувствует своей законченной ущербности в писательстве. Потому и решила все это положить в ящик и больше не соперничать с присяжными Аристофанами...

Но гость-философ еще одно замечание обронил: что у молодого Фонвизина, коего рекомендовал ей надеждой русскому театру, нашел прямой уход корнями в ее пьесу. Может быть, то и Новиков увидел. А что французскому изоощренному опыту кажется неважным, как раз и трогает здесь чувства.

Если же и смеются над ней из «Живописца», так пусть. Она ведь вызвала к жизни эти журналы и смех тот предрекла, а

парнасской славы не ищет. Твердою рукою сложила она журналы в ящик, закрыла крышку.

Исторические занятия вдруг получили ясный смысл. Это произошло, когда гость-философ считывал ей свои мысли о становлении Французского королевства и народа от первых Пипинов и Хлодвигов до современной высоты мысли и чувства. По поводу русской истории он делал снисходительные вставки, будто ее вовсе не было. Та необходимость единства в осмыслении веков зримо стояла перед нею. Когда вдруг поняла до конца, что не готовое в истории то дело, которое затеяла с депутатами и Комиссией, тогда и наметила строить здание не с изящных фигур на фронтоне, а с самого начала, с тех грубых и неудобных камней, что валят в фундамент для будущей основательности.

Она существовала лишь в мозаике, та русская история: хоть бы Татищев или российский Великан с его Аяксом — Миллером. Даже и Вольтер нацелился на постижение Петра Великого, да только что увидишь здесь из бургундских виноградников. Нет, тому месту в планетном ходе, что предназначено этой державе и народу, обязана соответствовать твердая историческая система. Утверждение своей истории в собственных глазах и глазах Европы и есть тот фундамент для дальнего и тяжкого пути к блистательному фронту, который силою одного своего чувства захотела сразу возвести на вовсе не готовом месте.

А для того и ярославский князь пригодится с его слезною любовью к старине. Петр отряхивался от них, чтобы не мешали строить, она же, в той Комиссии присутствуя, сразу поняла пользу от такого причитания. Зримую идею и дух даст это использовать для пути к великой цели. В сочетании с той истовостью к правде, что заключает в себе русская церковь — пусть даже и с мощами, — здание получит осмысленность, доступную для простейшего ума. Тем патриотизмом схвачены станут опоры от самого фундамента, так что и порохом будет не расшатать...

Еще несколько минут она сидела, неосознанно глядя на гладкую зеленовато-серую выпуклость. Через множественность волнистых линий проступили четкие прямые меридианы. Огромный глобус с медной поддержкой между окном и внутренней дверью был повернут к ней Россиию...

Переложив из крайнего шкафа переплетенные в черный коленкор листы, она принялась читать, производя время от времени выписки в тетрадь. То были старые рукописные своды и летописи, что разыскивали для нее по монастырям и с каких делали секретарские дубликаты для удобного ей прочтения...

— А разве все эти лица не суть одинаково поданные и граждане? Зачем распространять на оподлевших потомков награду, данную их знаменитым предкам? Станут ли они избегать низости и бесчестия, если вместе с кровью будут получать прерогативы добродетели? Пусть лучше слава восходит, как в Китае, от живых к мертвым, чем нисходит от мертвых к живым...

Как мудро поступили ваше величество, дозволив каждой провинции своего государства самой избрать своего представителя! Но хватит ли у вас решимости предоставить провинциям самим же подтвердить или отозвать этих представителей? Вы сделали так много удивительного, что трудно сказать, чего вы не в состоянии будете сделать. Если ваше величество желаете увековечить свои законы и воздвигнуть непреодолимое препятствие деспотизму в будущем, то ничего лучшего сделать не можете.

Разум и широкие взгляды вашего величества соответствуют величию вашего сердца. Вы умеете хотеть, и хотеть сильно; у вас есть вполне обработанный план; вы создали на совет всю свою страну и можете пользоваться всем опытом стран соседних. Монтескье писал как бы исключительно для вас одной...

Она смотрела на себя вместе с ним со стороны. Гость-философ широко вскидывал почему-то левую руку, достигая глобуса, а она сидела со свободной ровностью и улыбалась. Сглаженный снежными рисунками на окнах, долетал сюда звон с ближнего собора и барабанный стук из дальних гвардейских слободок.

Провинции... Конфирмовать... Прерогативы... Добродетели!.. Да хотя бы с пятью Орловыми сопоставимы все эти слова? А насчет свободного избирательства, так его бы с обдорскими принцами-депутатами свести, которых сибирский Чичерин для Комиссии снаряжал. Впрочем, и тогда бы ничего не увидел. Вон тех же Орловых за свободомыслие и широту взглядов хвалит. Не знает, каково талантлив русский человек представить иностранцу все, что тот сам желал бы в нем увидеть. То уж правда от доброй широты сердца: «Коль хочется тебе хорошее тут найти, так и пожалуйста: мне не жалко!»

Даже конкурсы предлагает ей учредить на замещение государственных да сенатских должностей: чтобы три или четыре человека претендовали на место, и всякий всенародно доказывал свой талант к делу. Любопытно, как бы это Гришка или тот же свободомыслящий Панин с каким-нибудь безвестным ассессором да в диспут вошли. Не говоря уж об ярославском князе, но безродный Теплов разве позволил бы тому ассессору до места конкурса живым доехать: лошади бы вдруг сбили, или в прорубь невзначай провалился. Да сам ассессор тут же бы в лес убежал,

если бы объявили ему такое несчастье: конкурсировать с Орловыми. Пожалуй, что даже ее бы вмешательство того асессора не спасло...

Она внимательным взглядом осматривала знаменитого гостя. Когда приехал, был на нем вытертый черный костюм, какой носили в прошлой половине века. В первый же выход его здесь зашептались об этом. Она купила ему другой: сама советовалась с портным и выбирала материю. Надели на него как бы между делом. Костюм был по нынешней моде и подходящий для его шестидесяти лет. Он, кажется, и не заметил, что ходит вдруг в другом костюме.

Но три месяца он уже тут. Ведь то умнейший человек Европы и столетия. Могущество ума и тонкость чувств здесь неоспоримы. Она все принимала у него с благодарным пониманием: страдания чистой женской души, заключенной в каменные стены, изящную фривольность нескромных будuarных тайностей, раскованную остроту разума, очерчивающего просветительный круг для целой эпохи. Неужели совсем ничего здесь не понимает, кроме отсутствия чистоты в домах или ассигнационной необходимости. Вон шут гороховый Нарышкин, у которого живет, там тоже видится ему серьезным человеком.

Теперь он говорил уже вовсе о другом...

— Я желал бы, чтобы ваше величество — если в вашем государстве брак столь же нерасторжим, как у нас, — нашли какое-нибудь средство сделать его нерасторжимым, без всяких печальных последствий.

Нерасторживость брака противна непостоянству, лежащему в натуре человека. Меньше чем через год тело женщины, нам принадлежащей, становится для нас столь же безразличным, как наша собственность. Домашний мир нарушен, и начинается ад. Дети несчастные и портятся, благодаря разрыву между родителями. Нравы изменяются к худшему. У римлян развод был дозволен и не сделался более частым.

Если я стою за развод, то за такой, который дозволил бы вступление во второй брак. Развод, обрекающий разведенных супругов на безбрачие, отвратителен. Он портит нравы, толкая мужа и жену в разврат. Он хуже в этом отношении, чем полная нерасторжимость брака.

Право на развод уменьшит число холостых людей, на которых в благоустроенном государстве следует смотреть как на развратителей по ремеслу. Одна знаменитая куртизанка справедливо говорила: «Я очень важная персона, потому что одна занимаю целых двадцать мужчин, а стало быть спасаю честь по крайней мере девятнадцати порядочных женщин».

Для чего же она это сделала: позвала его сюда? Не только



его. Она настойчиво звала Вольтера и д'Аламбера, хотела, чтобы кто-то из них воспитывал ее сына — наследника российского престола. Со всеми с ними, а еще с Гриммом, с мадам Жоффрен и с мадам Бельке, с дюжиною других ведет постоянную и дружественную переписку. Ей они жалуются на своего короля и правительство, гость-философ прямо ей говорит, что числят ее философы в Европе своей сестрой. Есть ли тут в ней природная женская суетность?..

Да есть! Но, кроме того, есть и все остальное. Не танцевальщиков же и менестрелей зовет сюда, а философов: Так же, как Петр Великий звал плотников и инженеров, от каковых она тоже не отказывается. Просто философы так же становятся когда-то матерьяльно необходимы, как мануфактуры и военные корабли. А для славы ее или России то делается, так разве это не одно и то же!

Вольтер к ней не приехал по возрасту, а д'Аламбер и прочие испугались Вольтерова опыта общения с королем Фридрихом. Правда, Гримм ей доверительно рассказывал, что мнение есть у друзей фернейского старца про истинно спартанский стоицизм прусского короля, смогшего три года терпеть сей неординарный характер. Парижане когда-то оказались нетерпеливее...

Так или иначе, а не одну духовную пользу или утешение собственной суетности имеет она от них. Этот же гость-философ уже десять лет трудится для нее в Париже: приобретает картины для Эрмитажа, договаривается с мастерами и архитекторами, закупает книги. Того же маэстро Фальконе, своего друга, отыскал ей для сооружения монумента Петру Великому. Касательно картин, то самое меньшее вчетверо дешевле обошлись ей Рафаэль, Тициан, Веронезе, Рембрандт да Рубенс, чем если бы русский посланник их приобретал. Об вкусе и говорить не приходится. Квартира философа в Париже — прямая русская справочная контора для всех желающих предложить свои услуги.

То она сама диктовала когда-то Бецкому для Гримма: «Сострадательное сердце государыни было тронуте тем, что столь знаменитый философ принужден пожертвовать родительским чувствам предметом своих наслаждений, источником своих трудов и компаньоном свих досугов. Поэтому ея императорское величество для того, чтобы дать господину Дидро доказательство свего благоволения и поощрить его к дальнейшим занятиям прямым его делом, поручила мне приобрести библиотеку за предложенные вами пятнадцать тысяч ливров, но с тем, чтобы господин Дидро оставался ее хранителем до тех пор, пока ея величеству она не понадобится».

Тут была тройственная польза: одинарная для философа, что сможет дать приданое единственной дочери и пребудет до смерти

среди своих возлюбленных книг. И двойная для России, поскольку не может эта библиотека не быть из лучших в Европе. А еще она станет выдавать ему деньги на приобретение всего важного, что продолжает там публиковаться. Такого библиотекаря ни один монарх в свете, числа здесь и царя Соломона, не имел. Еще и Вольтеру библиотеку, даст бог сроку, оставит она за Россию!..

А гость-философ продолжал говорить:

— Вы берете по восьми копеек пошлины с пуда железа. Налог небольшой, но он портит все дело. Для того, чтобы увеличить доход казны, заводчиков заставляют увеличивать производство. Что же из этого выходит? Железа выделяется больше, но оно плохое. Ваше железо пользуется дурной репутацией; его никто не берет, предпочитая покупать в Швеции и Германии...

А с десяти часов, после дел литературных и исторических, производились военные и иностранные разборы. С начала войны сам собой образовался возле нее правительственный совет, где все говорилось с полной откровенностью, но разумелось ее последнее слово. В то даже у Панина не являлось никаких сомнений...

Как ничего до сих пор в жизни, ждала она мира. Планетарное движение к югу все равно исполнялось подобно Ньютону закону. Русские армии стояли в Крыму и на Дунае. Однако командующий первой армией Румянцев, перейдя Дунай двумя колоннами генерал-поручиков Унгерна и князя Долгорукого, нацеленных схватить Варну, вдруг возвратил их назад на этот берег. Отбой был сделан также осадившему Силистрию генерал-поручику Потемкину и идущему к нему на соединение генерал-поручику Глебову. В донесении говорилось об отсутствии припасу и опасности вести столь малыми силами зимнюю кампанию на территории противника. Она сама заявляла в совете: «Требуете вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет шестой. Во всех наборах близ 300 000 человек рекрут собрано со всей империи. В то я с вами согласна, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю». Нужно было уметь подавлять в себе историческую поспешность...

То Григорий Орлов набедокурствовал прошлым летом, когда уехал из Фокшан, где должен был с послом Обрезковым вершить мир с турками. Подстегиваемые интригой, турки заупрямились и как раз сослались для откладывания мира на отъезд главного

российского представителя. Только граф Орлов потому от переговоров и армии скоропостижно уехал, что была в том она сама причиной. Затем и взялась с достоинством его защищать перед врагами Паниным и Чернышевым...

Зато второй Орлов при такой же природной отваге воли себе не дал. Тот Ньютонов закон для России он доказал со всей математической холодностью. Втрое меньше русских кораблей было при Чесме, когда увидел соединенный турецкий флот, а свои корабли были наполовину таковы, что текли по швам и назад бы в порт уже не приплыли. Еще и адмиралы Эльфинстон со Спиридовым были поругавшись между собой. Тогда Алексей Орлов, даже и не смысла в морском деле, взял на себя команду. К экипажам только сказал: «Ну, с богом, ребята!» — и шпагу вынул. А когда флот турецкий от того безумства в бухту убежал, то в нарушение всех морских наук туда вошел и брандерами до одного турецкие корабли пережег. Третий из братьев — Федор — тоже там на мостиках сражался и в последний лишь момент с горящего корабля спрыгнул. Нет, не промахнулась она в Орловых, когда на невском льду их увидела...

По всему получается, что если бы не морейские греки, что от долгого турецкого плена в рабском состоянии духа пребывают, то твердой ногою можно было бы встать за спиною у султана. 1 900 000 рублей потратила она на флот. Не переставая делал он разорение и тревогу туркам по всему левантийскому берегу, где содействовал египетскому паше, восставшему на Портку. Рядом со святыми местами осадили и пленили Бейрут, который за 250 000 пиастров передали принявшим покровительство России друзьям, а деньги разделили на корабли. Задолго перед тем уже высадились в Аркадии, где бригадир Ганнибал, подвезя свой отряд на фрегатах к самой стенке, взял Наварин — лучшую там крепость и гавань...

На Черном море тоже все совершалось закономерно. Крымские Гирей противились отложиться от султана, она же им диктовала вольность. Один из них, Шагин-Гирей, наиболее сметливый и переполненный честолюбием, уже пожил у нее в Петербурге и теперь прямо тянул русскую сторону, надеясь в будущем сделать из того Чингисханова осколка вдруг современную и самостоятельную державу. О крымской вольности, которую она гарантировала, и шли переговоры с Портою, а также о крепостях и портах Керчи, Еникале, об Очакове и Кинбурне...

Только мир был сейчас нужен, как воздух. Но также и не польские дела были тому причиною, где все бурлило после трехстороннего раздела. Тот раздел назревал от начала века, ибо никто из соседей не намерен был видеть возле себя таковую стихию, которая могла бы, присоединившись к кому-то из трех,

перевесить все на одну сторону. А потому всем вокруг была необходима обессиленная Польша, или совсем бы ее не было. Даже и с турками война у России началась с польского дела. А когда Австрия и Пруссия зашевелились друг перед другом прибирать к себе польские земли, то как можно было оставаться в спокойствии России? Белая Русь православно и исторически склонялась сюда, а в Ливонии и не жили никогда поляки...

Она листала пахнущие духами польские письма... «Более шести лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекущей меня входить в Ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на Ваше императорское величество, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к Вам...»

Да, такие слова он умел говорить безукоризненным французским языком. И целовал когда-то ей пальцы по одному. Это ему и вредило...

Она собственноручно составляла меморандум от трех дворов королю Станиславу-Августу: «Что касается конституции республики, то должно быть возобновлено и утверждено навсегда правление избирательное. 'Liberum veto' остается законом неизменным. Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, Сената и шляхты. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гетманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством».

Только в таком состоянии торжества и неизбежности вольностей оставшаяся Польша не станет служить источником опасений для каждого из ее соседей... На миг представились ей летящие в бездне пространства планеты, и вдруг одной из них не оказалось на своем месте. Что-то же там должно остаться, и что сгустится из того тумана в будущем? А пока здесь происходило некое высшее движение истории. Это согласно с ним атаковал со шпагой в руке турецкие корабли Алексей Орлов у Чесмы, французские короли помогали безродным колонистам в Новом Свете освободиться от английских лендлордов, а сама она упрямо защищала татарские и европейские вольности. Тому необратимому движению и Польша становилась жертвой...

Неожиданная опасность вдруг явилась за спиной. Рыжая Ульрика, с которой подралась когда-то, явственно помнилась ей. «Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царапать друг друга!» Это сказал им кронпринц, будущий великий

король Фридрих. То было в минувшие времена. Злопамятная Ульрика пошла с тех пор замуж за епископа Любекского, ее дядю, которого императрица Елизавета для спокойствия России сделала шведским королем. Тот король умер, и место занял Густав Третий, их сын, для которого французские идеи совпали с призраком шведского величия. Таковое состояние шведского дела не переставало беспокоить. Даже и денег не жалела она при всей скудности российской казны на поддержку там республиканского духа. И все же оно случилось...

Пять лет назад ей говорили, что записывал в свой журнал молодой шведский принц: «Ах, Станислав-Август! Ты не король и даже не гражданин! Умри для спасения независимости отечества, а не принимай недостойного ига в пустой надежде сохранить тень могущества, которую указ из Москвы заставит исчезнуть...» Теперь, сделавшись королем и зарядившись свободоблием из Версаля, сей молодец стал практически учитывать для себя польский урок.

Молодой король в один день поднял готовые к тому гарнизоны в Свеаборге и Христиании, арестовал в Стокгольме Сенат и разогнал Секретный комитет, призванный следить от парламента за его действиями. Затем объявил сейму новую конституцию и обязал персональною присягою армию и чины. Мать его, вдовствующая королева Луиза-Ульрика, услышав про то, вскричала: «Узнаю свою кровь!» Старый лис Фридрих в Потсдаме делал мину неодобрения действиям своего племянника.

В первый же день переворота русскому послу там было сказано, что укрепление шведской самодержавности будет лишь способствовать русско-шведскому согласию, и король Густав по-прежнему жаждет посетить Петербург, чтобы лично излить свое восхищение и обновить родственные чувства к русской императрице. Но это было кушанье для детей. Тот же всеобщий закон действовал здесь. Поскольку вольности будут притушены и королевская власть станет способной принимать решения, северная беспокойная соседка снова делается значительною державою. А так как шведская обида на Россию еще кровоточит, и к этому прибавить французское золото, прусские чувства Ульрики и занятость России с Портою, то здесь необходимо ждать новой войны. От Петра Великого та мысль, что аннексии в тесной Европе непременно чреваты будущими войнами, и Финляндия всегда будет служить для этого камнем преткновения. Ею двинуты уже туда четыре русские полка.

Но даже не это убедительно звало ее к установлению мира с турками. На столе ее отдельно лежала некая депеша в синем конверте с молниями...

«Народонаселение Российской империи исчисляется одними в 18 миллионов, а другими в 20 миллионов. Отчего такая разница? Как велико народонаселение?»

Посредством вопросов и ответов работала она с гостем-философом. Он заранее писал, а она обдумывала, что сказать. Здесь она написала: «Эта разница зависит от того, что никто не знает подлинной цифры населения». Далее объяснила, что такое подушная подать, ревизские переписки и что только по ним можно пока приблизительно сосчитать население. Поскольку эти переписки происходят лишь через двадцать лет, то в живых подолгу числятся мертвые души, с которых берется подать. Многие же, родившиеся между двумя ревизиями, как бы и не существуют, достигши и двадцати лет.

Другой вопрос был о количестве монахов и монастырей в связи с указом Петра Первого, что в монахи разрешено поступать лишь мужчинам в тридцать, а женщинам в пятьдесят лет. На то привела цифры, что число монахов и монастырей значительно уменьшилось после того, как монастырские земли начали управляться коллегией.

«Евреям въезд в Россию был воспрещен с 1764 года. Затем этот запрет был снят. Есть ли теперь евреи в России? Если есть, то в каких условиях они живут? В таких ли, в какие поставлены другие иностранцы? Сколько их, приблизительно, в России?»

Здесь следовало уточнить, что воспрещение евреям проживать в России последовало в 1742 году, когда императрица Елизавета стала даже невольна для себя уходить от деловитости Петра Великого. Тогда и писали с надеждою иностранные послы, что назад в Московию возвращается эта империя. При ней в 1762 году шла уже речь, чтобы отменить тот закон, но признано несвоевременным. А в 1764 году при ней как раз и разрешено евреям селиться и торговать в Новороссийских губерниях, где предстоит строительство городов и широкий товарный обмен. В Белоруссии же они проживают издавна.

А несвоевременно пускать сюда евреев потому, что двухтысячелетний опыт оборотистости в делах непременно повредит русским мелким торговцам, которых среди купцов и предпринимателей главное число. Так что — наряду с очевидной выгодой такого дела — для государства возникнет неминуемая вражда, которая при отсутствии просвещения перевесит все пользы.

Что же до самих евреев, то если крещеные, со всеми здесь такие же русские, как православные татары или мордва. Саму Елизавету саксонский еврей к трону принес. Да и некрещеные, как она хорошо знает, находят тут приют. Трое или четверо живут в доме ее духовника-архиерея, и никому нет до них никакого дела. Деление людей по сивым, хамовым да яфетовым признакам не присуще русской натуре...

Четвертый вопрос был о условиях, каковых насчитал философ в России четыре: духовенство, дворянство, однодворцы, или свободные люди, и крестьяне. Она подробно разъяснила, сколь произвольно такое деление.

Пятый вопрос был об иностранных купцах, что якобы испытывают здесь множество затруднений при открытии контор и совершении торговли. Тут была прямая клевета, так как от Петра Великого идет самое хорошее правительственное отношение к иностранному предпринимательству. Изложив это, она подумала и приписала: «С другой стороны, в Европе принято смотреть на Россию и на торговлю в ней иностранцев, как на какое-то Перу — приходи и обогащайся».

Она гуляла с гостем-философом в Эрмитаже, и к ним присоединился великий князь с супругой-принцессой Гессен-Дармштадтскою. С сыном у нее была в обиходе постоянная ровность, но, как видно, француз нечто заметил и принялся преувеличенно восторгаться острым умом наследника. А тот с упорством продолжал пыжиться и недовольно морщить губы: точь-в-точь эйтинский мальчик, каким всегда его помнила. Даже прыганье при ходьбе и нелепое махание рукою было как у отца. И еще ослиное упрямство. Что великий князь не чей-то другой сын, а именно покойного мужа, она ощутила чуть не при самом его рождении. Каждую минуту жизни помнилась та ночь, когда после любящих объятий явился к ней чуждый, противный ее естеству человек и вызвал такое же невысказанное чувство...

Может быть, и пересилилось бы в ней это непреодолимое состояние гадливости к собственной своей плоти, если бы держала его на руках, давала бы из груди молоко, прикрывала от опасностей. Но тетка-императрица отстранила ее так, что лишь раз в неделю могла посмотреть на сына. А потом уже никакой Панин не был в состоянии переделать натуру...

Натужно поклонившись и дернув головой, великий князь Павел Петрович удалился, поспешая чуть впереди супруги. Гость-философ заговорил, что наследнику престола надо бы сидеть рядом с нею при решении государственных дел, чтобы приучался к будущей роли. Потом, на счастье, вдруг увидел на стене два знакомых полотна и подскочил к ним:

— Ах, ваше величество, эти Пуссены сделали меня мошенником. Мое оправдание лишь в том, что они висят здесь, перед глазами величайшей женщины всех времен, которая оставит их вместе с другими великими картинами в наследие своему народу!

Она уже слышала про то, как сосед господина Дидро, известный в Париже мот и игрок маркиз Конфлан приказал своему управляющему продать эти картины в течение одного дня,

чтобы уплатить долг чести. Узнав про то, господин Дидро, посоветовавшись с известным знатоком Менажо, предложил за них тысячу экю. А когда привели их в порядок и очистили от вековой копоти, то захотели уже перекупить на месте за девять тысяч. Но великий ее библиотекарь уже запаковывал их для нее. В ее эрмитажном каталоге Пуссеновы полотна теперь значились под номерами 1414 и 1415. На первой видится играющий на флейте Полифем, а внизу луг с пастушками. На другой — пещера и Геркулес, занесший палицу над поверженным Какюсом<sup>1</sup>.

Не только с Пуссенами, а по поводу лучшей во Франции и Европе коллекции Кроза, купленной для нее гостем-философом лишь за 460 000 ливров, выражают недовольство в Париже. Господа де-Бетюн и де-Брольи прямо обвиняют господина Дидро, что в угоду своей подруге — русской императрице — задешево вывез оттуда целый корабль бесценных шедевров. Она же подчитала, что усердие к ней господина Дидро только лишь на картинах оставило в русской казне не менее двух миллионов ливров, не считая, в какую цену сделаются потом...

— Конкурсы положат конец несправедливостям, называемым протекцией и милостью. Ваше величество будете раздавать только почести и богатства, а остальное станет достоянием заслуг и добродетели. Все сословия сблизятся. Дочь и сын Цицерона, вчерашнего выскочки, вошли в лучшие семьи Рима...

Но что всего важнее, мне кажется, так это то, что, пока конкурсы существуют, золото перестанет пользоваться первенствующим значением в стране. Отец скажет сыну: «Если ты хочешь быть только богат, то будешь. У тебя будет дом в городе, прелестная деревенская усадьба, собаки, лошади, любовницы, лукулловский стол, всевозможные вина — одним словом, все земные блага в изобилии. Но, несмотря на все мое богатство, я не могу тебя сделать даже судебным приставом...»

Все с той же улыбкой смотрела она на знаменитого гостя. Занятая мыслями, она пропустила начало очередной его тирады. Он опять говорил по известному ей конспекту Монтескье. У всех них есть где-то невысказанная, может быть, даже и непродуманная снисходительность ко всему, что не достигло мыслительной отметки Франции. Они и короля своего ругают, и общество высмеивают, но на других смотрят как на лишенных всякого понимания. Поэтому самоуверенно учат, не спускаясь до обстоятельств другого народа. Господин Дидерот, как зовут его здесь, не исключение.

---

<sup>1</sup> Персонажи древнегреческих мифов.



Разбежался и ударился в нее, так что едва на ногах удержалась; спасла крепость стана, которая происходит от каждодневной верховой езды. Этот Александр Данилов Оспенный поступал так, когда было ему пять лет. Сколько же ему сейчас? Выходит, что все десять. Она привлекла вдруг к своему животу голову мальчика, погладила по жестким стриженным волосам...

Они тогда все возились с этим ребенком. Граф Григорий Григорьевич Орлов совсем забывался и катался с ним по полу, хохоча и разбрасываясь, будто сам в том же возрасте. А мальчик был неописуемо резов и дерзок. Ничего и никого не боялся, поджидал ее и прыгал из засады, делая синяки. Временами она застывала и смотрела на него остановившимся взглядом. Волос трепался у него по лбу, сбиваясь набок...

Она тогда несколько не колебалась, даже тени страха у нее не было. Неделю сидела и изучала предмет. Потом писала к королю Фридриху: «С детства меня приучили к ужасу перед оспой, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом, целые пять месяцев, была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него...»

То она писала ему в поддержку духа, потому что воинственный и просвещенный Фридрих до смерти испугался прививки. В Европе против нее возражало большинство медицинских факультетов, и все колокола гудели против такого противного разуму дела: взять кровь от больного и перенести здоровому. Здесь вокруг нее крестились и вздыхали, когда завела о том речь.

Она призвала из Англии доктора Димсдаля, у коего из шести тысяч привитых умер лишь один. Безо всякого ажиотажа привила себе болезненную кровь, взятую от этого самого мальчика. И сразу же весь Петербург бросился делать прививки, проталкиваясь вперед по чинам и дворянству. Через неделю, проверив себя, она привила оспу сыну. Граф Орлов сразу же за ней принял прививку и, несмотря на докторские запреты, поскакал в тот же день на охоту. Да только ничего с ним не случилось...

Потом все было обиходно для государственного смыслу. В соборной церкви Рождества богородицы при сенате, правительстве и народных депутатах, что в преддверии войны кончало тогда свои заседания, старший из сенаторов и депутат Кирила Разумовский говорил к ней речь: «Прими, все милостивейшая императрица, из уст наших усерднейше приносимое тебе от всего народа поздравление о исцелении твоей собственной особы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и благодарение чистосердечное за спасение на будущие времена бесчис-

ленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе божию ко спасению своему посредницу и, твоим примером научая, призывает бога в помощь, да исцелит он и дом его от неминуемой язвы посредством врачевания, тобой ныне оживотворенного». Она же отвечала: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не зная пользы сего способа, одного страшая, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга знания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете быть уверены, что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо».

А мальчика этого она тогда взяла на время к себе и возвела в дворянское звание, заменив ему фамилию на Оспенный. Только никак не предполагала, чтобы так быстро вырос: чуть не до плеча ей достает. Она справлялась о нем прошлым летом, как поживает в кадетях, а сегодня вдруг позвала его к себе. Нечто неясное при его виде стиснуло ей грудь...

В одиночестве будуара подошла она к зеркалу. Долго и спокойно смотрела: в матово-белом лице той женщины, которую там видела, не отражалось никакого чувства. Все было в нем изучено ею до последней черточки. Неужели ей уже сорок четыре года?..

Мальчика с разбросанным волосом больше не было. Этому, который вытянулся ей до плеча, она дала гостинцев и велела отвезти назад в корпус. Он опять прыгнул на нее из засады, но совсем не так. И тот, кто катался с ним по ковру, где-то в другом месте...

Граф Григорий Григорьевич Орлов — совершеннейший из мужского рода. Ослепительная улыбка его никогда не пропадала. Не в кабинетах ему, а в цорнсдорфской свалке и на невском льду место. И что древних героев телом и статью повторяет, все правда. В московскую чуму, когда дома с мертвыми грабили и архиерея забили кольями, бесстрашно на коне въехал и в три дня порядок навел. Говорить тоже способен твердо и образно. А умом не изощрен, так разве не таковы мужчины? Когда редкий из них действительный ум приобретает, то как вы уже и не мужчиною делается...

За ту чуму ему была выбита золотая медаль, и князем империи его сделала. Будто торопилась осыпать его наградами, готова к неизбежному. От одного ее женского чувства такое бы не произошло. С первого же года он не имел для нее некоего высшего значения и входил в обиходную необходимость. И

далее все бы продолжалось, но только не один Панин или Чернышев с Румянцевым, но в народе и дворянстве обозначилась оскомина от того орловского самомнительного успеху. Черта, через которую переступала, и теряла четкости, и она минуту не колебалась в своем решении. Почему же где-то внутри будто некая струна дребезжит?..

Дверь отворилась, и он вошел. Она с тем же спокойствием смотрела на него. С этим и не надо было назначать себе черты. Улыбнувшись по-доброму, во весь рот, он приступил раздеваться...

Она мысленно повела плечом, с легкой иронией вспоминая, как Панин с Чернышевым и партия Разумовского хотели втолкнуть ей в постель каждый своего Аполлона. Но то она сама сделала между ними выбор, а где-то в стороне искать не было времени и желания. Князя Орлова, в молчаливом согласии с другими, она направила в Фокшаны. Оттуда прискакал весь встрепанный, со злой растерянностью на лице. Она знала, что в здешнем народном обычае установлено бить разлюбившую женщину кулаками по лицу или учить вожжами. Гришка подбежал и замер у черты, которую некогда наметила между ними. Она вела себя с ним с обычной ровной приветливостью, будто ничего не произошло. А он встряхивался и недоуменно оглядывался, так ничего и не понимая...

— Базилка... милый... Ах!

Это все, что она говорила, вынужденная чувством. И он не претендовал на большее: лежа, большой, белый, улыбался всем своим добрым, открытым лицом. Его так и звали все гвардейские друзья и даже прислуга между собой. То было производное не от имени, а по фамилии: Васильчиков. По всей вероятности, от младших князей он происходил, откуда передался и характер...

Безо всяких ухищрений распоряжалась она с ним: руководила перерывами, назначая их продолжительность, потом лежала и думала о других делах...

То она вдруг поняла когда-то, сидя в Комиссии по уложению и слушая депутатов. Теперь же опасность встала перед ней во всей своей реальности. Когда идеи гостя-философа, которые и для Франции не до конца вызрели, соединить с орловским размахом, то что могут родить, соединившись, такие две идеальности? А мир необходимо с Портою иметь не из-за Польши или Швеции, и даже не от общей французской интриги. В синем конверте на ее столе лежало письмо московского губернатора

князя Михаила Никитича Волконского о том, что самозванец занял Самару...

Монтескье с Орловым опасно соединять из-за исторически обусловленной разности их чувств и устремлений. Ну, а как найдется кто-то придумавший соединить графа де Ла Бред де Секонда с маркизом Пугачевым, то что может из того выйти для человечества!..

## II

Он оставил весело настроенного владельца дома и побежал наверх в свою комнату записывать, чтобы не упустить слово из состоявшегося при нем разговора. Такое редкое наблюдение, безусловно, составит ценность для императрицы. Ему же, странствующему философу, даст материал для постановки ей вопросов, направленных к дальнейшему познанию этой страны и народа. Долг порядочности не позволяет ему называть имя гостеприимного хозяина и поэтому составит как бы отвлеченную драматическую сцену между неким вельможей и его кредитором.

Вельможа. А! Это вы!

Кредитор. Я пришел за тем...

Вельможа. Садитесь, пожалуйста!

Кредитор. Много чести, ваше превосходительство. Я пришел...

Вельможа. Садитесь же, коли я говорю! Что, вы озябли?

Кредитор. Я насчет срока векселю...

Вельможа. А не хотите ли чаю? Выпейте чайку!

Кредитор. Ваше превосходительство так добры...

Вельможа. Вы любите музыку?

Кредитор. Да... немножко, ваше превосходительство.

Вельможа. Может быть, и сами играете на каком-нибудь инструменте?

Кредитор. Нет, ваше превосходительство.

Вельможа. Но ведь вам же музыка доставляет удовольствие?

Кредитор. Точно так, ваше превосходительство.

Вельможа. Подайте мне скрипку!

Кредитор. Но я пришел, ваше превосходительство...

Вельможа. Да, да, я знаю. Зайдите в другой раз.

Дело здесь состояло не в том, что благородный человек, за неимением в данный момент денег, избегает заплатить долг. Такие казусы каждодневно происходят в Париже, Лондоне и Мадриде. И попавший в столь неудобное положение тамошний вельможа тоже изыскивает способы отсрочить расчет по векселю, однако делает это со всей серьезностью и пониманием неотвратимости расплаты. А мсье Нарышкин как будто и не чувствовал

свою вину, но совершенно открыто третирует человека, от которого был зависим.

— Эй, Денис Иванович!

То был голос любезного амфитриона, с первого знакомства звавшего его так на русский манер. Когда по приезде его сюда господин Фальконе, бывший его друг, у которого предполагал остановиться, показал непонятную и не заслуженную им холодность, он оказался в весьма затруднительном положении. И тогда, по личной рекомендации ее величества, он поселился у одного из близких к ней сановников, а именно в доме у господина Нарышкина, человека больших достоинств, но с несколько неожиданными привычками.

Господин Нарышкин ждал его внизу в том же атласном с серебряными звездами халате, в котором разговаривал с кредитором.

— Позвольте осведомиться у вас, дорогой друг, какие мотивы или обстоятельства тому причиной, что столь необыкновенно поступили с человеком, одолжившим вас необходимою суммою? — спросил он.

Амфитрион вытаращился на него с удивлением, потом громко захохотал:

— А такая причина, что пошел вон, и все!

— Но этот человек, безусловно, опять вернется за принадлежащими ему деньгами.

— Ну и пусть вернется, — хладнокровно отвечал господин Нарышкин.

— Однако у него есть возможность прибегнуть к закону, которому обязаны повиноваться и монарх и самый ничтожный его поданный.

— Ну и пусть прибегает.

Здесь было что-то непонятное.

Он и прежде с друзьями, не бывая еще здесь, удивлялся, как живет этот народ, по существу, без сословий. Когда в государстве одно лишь сословие, то его таковым и числить нельзя. Понятие «сословие» в самой сути своей предполагает наличие еще одной или нескольких паритетных сторон. Тут же всевластно было лишь дворянство, а перед тем — боярство, да и то царь Иоанн Четвертый попытался его снивелировать с прочим народом, оставив в качестве преторианцев при себе безродную и внесословную опрочину. Петр Великий тем же византийским усилием наметил пути для торгового и предпринимательского сословия, да только вон как с ним поступает господин Нарышкин...

Однако, тем не менее, эта держава живет и процветает. Ее величество, может быть, и увлекается, когда рассказывает, что

сама наблюдала у поселянина в повседневном супе индейку, поскольку на курицу уже и смотреть здесь не хотят. Так поступает она, вероятно, от болезненного в ней патриотизма, который, кажется, является единственным недостатком этой удивительной и великой женщины. Но сам он видел стройные железные ряды гвардии на Марсовом поле, смотрел доки и ездил специально в санях рассматривать дворцы и бездействующие зимой фонтаны в окружающих столицу поместьях. А в рождественские праздники народ, хоть и грубо одетый, катался со снежных гор, громогласно выражал удовольствие и веселился от всего сердца.

Однако не только здесь подтверждался этот феномен. Недавняя угроза всей Европе, непобедимая Порты сдвигалась и пылилась с захваченных стран под ударами нового российского колосса. В прошлом веке еще не существовавший флот поджигал и топил знаменитые султанские армады в собственных их водах. И то неоспоримо, что при всей еще очевидной общественной неразвитости именно эта держава исполняет цивилизаторскую миссию в немыслимых континентальных пространствах, откуда волнами являются Чингисханы и Атиллы.

А патриотизм ее величества уже точно идет от ревнивого женского чувства. Если всячески унижает он французские законы и своего короля, то вовсе не значит, что философ и человек Дени Дидро не любит своей Франции. То, может быть, высшая форма любви и уважения, и когда народ достигает ее, значит, созрел для истории. Самолюбованием занимаются лишь варварские народы.

Но императрица забыть не может незадачливого аббата и астронома, который имел несчастье дурно отозваться о русских нравах. Еще и господин с полным именем Пьер-Поль Ле-Мерсье-де-ля Ривьер-де-Сен-Медар, которого сам он имел несчастье рекомендовать в качестве экономического гения ее величеству, стал по приезде сюда держать себя, как на Мартинике, где исполнял когда-то королевскую службу среди индейцев. Императрица с достаточно серьезной шутливостью отозвалась о нем, что явился с проектом научить русских ходить на двух ногах, поскольку предполагал их находящимися на четвереньках.

Даже на него самого, как стал он замечать, ее величество смотрит с некоторой двусмысленностью. Но он повторяет ей чуть не каждый день: «Я философ такой же, как и все другие, то есть благородный ребенок, болтающий о важных материях. В этом наше извинение. Все мы хотим добра, почему и говорим иногда весьма зло. Тиран при этом хмурит брови, а Генрих Четвертый и ваше величество улыбаются». Выражение ее лица не меняется при этом, но он хорошо знает ее слабость к не имевшему предрассудков королю, от которого и взяла пример народного

довольства в образе куриного супа. Индейка в этом случае как раз пропорциональна размерам страны...

Как-то в беседе с ее величеством он все-таки попытался поделить русское общество на четыре сословия. Она ничего не ответила, только загадочно посмотрела на него. А потом как раз и принялась рассказывать об индейке в крестьянском супе...

Все до сих пор написанное им было лишь рассуждениями. Тут же возникла реальная возможность победоносного опыта. Этот народ поразил его первоначальной мудростью...

Кричал и бесновался начальник, а они стояли, держа шапки в руках, с лицами древних греческих мыслителей. Ни одна черточка на их лицах не выражала ни восторга, ни осуждения. В глазах сохранилось природное тысячелетнее спокойствие, и эта мудрость была выше любого книжного аргумента. У него даже сердце остановилось от радостного предчувствия. Именно с ними четко обозначилась возможность прийти к практическому результату. И справедливый случай назначил сюда руководительницу с философским складом ума и характера. Такое стечение обстоятельств выпадает раз на миллион лет, и нельзя было проходить мимо...

Эту многозначительную картину он обнаружил уже во второй день пребывания здесь, когда заглянул в соседнюю с домом господина Нарышкина улицу. Мужики, как называют этих людей, стояли недвижимой массой, а было их человек до двадцати. Начальственное лицо в образе кавалера с круглым багровым лицом стремительно ходило перед ними взад и вперед, отрывисто произнося неизвестные ему короткие слова. Вдруг щеки и лоб у кавалера еще больше побагровели, он подбежал к крайнему в ряду мужику и что есть силы ударил его кулаком по лицу. Тот не защитился руками, даже не отклонился, и продолжал стоять с истинно олимпийским спокойствием и невозмутимостью в глазах. А кавалер подошел к другому и произвел то же действие. Здесь тоже спокойствие не было нарушено. Так же повторялось с третьим и четвертым. Но перед пятым начальственное лицо вдруг повело себя по-другому. Оно занесло далеко назад руку, но остановилось в этой позе, словно бы в вольном беге натолкнулось на некую преграду...

То был такой же мужик в свободной русской одежде и с плетенной наподобие корзин обувью на ногах. И взгляд у этого мужика был спокойный. Но что-то в нем содержалось непонятное, от чего кавалер прибрал руку и заметался в разные стороны, продолжая кричать неестественно высоким голосом, но больше не пользуясь руками...

Это был превосходный материал для строительства практической фигуры: природное терпеливое великодушие не испорченное развратом многовековой европейской метафизики, и присутствие внутренней силы. Когда каждый пятый такой, то этого в избытке хватит для развития общественного организма по установленной разумом схеме. Размахивающему руками кавалеру придется подчиниться тогда законам логики.

И в высших общественных классах повторялась традиция. Тут братья Орловы были великолепеннейшим примером природной потенции этого народа. В поступки и поведении, в повороте головы чувствовались начальное патрицианство и отвага, свойственные высоким душам. Он сам беседовал со старшим Орловым о своих схемах переустройства русского общества, и князь со всем соглашался. Ее величество опять как-то странно посмотрела на него, когда рассказал о том разговоре. Не только императрица, но некоторые другие, даже слуги, временами так смотрели на него. Будто знали некую тайну, которую ему невозможно постичь.

Неужто он говорит какие-то непонятные вещи. Ведь все это по человечеству очень просто. Хоть те же конкурсы, чтобы двое или больше людей претендовали на одно правительственное или другое место и соревновались друг с другом, объясняя свою программу. Последствия такого назначения на должности очевидны. На отдельном листе он написал это ее величеству: «Я знаю одно только средство спасти народ от пустоты и посредственности. Вот оно: я делал бы, чтобы все должности в государстве, даже самые высокие, замещались по конкурсу, не исключая канцлера...» И, учитывая человеческое несовершенство, прибавил потом: «Удоставляйте конкурсы своим присутствием, но остерегайтесь высказываться за кого-либо: ваш голос тотчас же потянет за собою голоса льстецов, а этого рода скотина повсюду водится».

По методу учителей древности он отстраненно и холодно провеил свои ум, чувства и устремления. Ничего, кроме искреннего желания принести пользу этому народу, который еще издали манил его некоей недосказанностью, в нем не было. Как всегда, когда брался за какую-то проблему, сейчас это чувство настолько выросло в преданность, что без него невозможно стало понятие ДИДРО. Еще во Франции он яростно спорил, если кто-то говорил что-то уничижительное о России. Каковы корни такого сравнимого с любовью отношения к другому народу, когда даже недостатки предмета, вопреки реальности, возводятся в достоинство? Он поймал себя на том, что думает о себе, как о Дидероте...

С тем кредитором-портным, снабжающим гардеробом господина Нарышкина и его домашних, все продолжалось с прежним



логическим несоответствием. Не называя имен, он сделал приписку к драматической сцене: «Заходят в другой раз, и вельможа говорит, что ему это надоело; заходят в третий, и вельможа сердится; заходят в четвертый — и он уже бранится. А в пятый раз кредитора принимают так, что в шестой он уже не придет».

Господин Дидро сидел и грыз перо, вспоминая своего отца, верного цеховой чести ножовщика из Лангра. Кровь вдруг ударила в голову. Он отбросил скомканное перо, схватил новое и записал: «Такая сцена может возбудить смех, но над ней в сущности стоит задуматься. Я не люблю, чтобы люди платили долги игрой на скрипке: это хорошо для сцены, а в обществе никуда не годится».

Когда он показал всю сцену вместе с припиской императрице, то снова ощутил на себе тот загадочный взгляд...

«Государыня!.. Вы мне запретили прощаться с вами. Я должен подчиниться Вашей воле и избавить Вас от зрелища моей скорби. Да, государыня, большой скорби; могу уверить Ваше величество, что расставаться с Вами мне так же горько, как было горько расставаться с своей семьей, когда я уехал сюда, чтобы засвидетельствовать Вам мою благодарность и уважение. Никогда родные и друзья не получали и не получают от меня более сильного доказательства любви и привязанности, как то, что я отрываюсь от Вас, чтобы вернуться к ним. Я возвращаюсь, осыпанный благодеяниями Вашего величества и полный восхищения перед вашими редкими качествами. Всю жизнь буду радоваться тому, что собрался приехать в Петербург.

Повторяю Вашему величеству свои горячие пожелания доброго здоровья и процветания; да не встретитесь Вы с вашим другом Цезарем, раньше, чем в восемьдесят лет, как Вы мне обещали, тем более, что и спешить Вам незачем — Цезарь Вас ничему не научит.

Я не прошу для Вас у судьбы ничего, кроме простой справедливости. Если она меня послушает, то история, не указывающая нам в прошлом ни одной женщины столь удивительной, как Екатерина, не укажет нашим потомкам ни одной и столь счастливой...»

Накануне он едва не упал в обморок при мысли о предстоящем с нею расставании. Она крепко сжала ему руку и со своей неизъяснимою улыбкой сказала, что никакого прощания не будет, так как ожидает его опять к себе в самое ближайшее время. Когда он писал это прощальное письмо, то держал платок у глаз, чтобы не замочить слезами бумагу.

Он знал, что неизменные души, имеющиеся при каждом дворе, говорили здесь, что приехал кланяться за прошлые благодеяния и выпрашивать новые. Правда, что после настойчивых

уговоров, равноценных приказу, взял от ее величества три тысячи рублей, равных двенадцати тысячам шестистам французским ливрам, но на них тут же купил две картины и редкую эмалевую брошь ей в подарок, а также подарки петербургским друзьям. От нее он захотел взять лишь чашку, в которой ему ежедневно подавали у нее молоко.

— Нет, чашка разобьется, и это ранит вашу чувствительность! — сказала ее величество и в день отъезда прислала к нему на сердоликовом камне свой великолепный портрет. Он твердо намеревался сам оплатить обратную дорогу, но от нее был предоставлен экипаж, необыкновенных размеров русская шуба и прожогатый — господин Баль...

Нет, он не заснул, покачиваемый на тающих под мартовским солнцем дорожных сугробах. Просто в уме и чувствах продолжался диалог с самим собой и с теми, кто оставался в русском полугодии его жизни. Он с пылом говорил:

— Невозможно не согласиться с тем, господа, что конкурсы, как и свободный обмен словом, есть необходимые предпосылки развития народа, государства и общества, обязательное и ничем не заменимое условие их совместного и гармонического движения к национальной и общечеловеческой цели. В чем же причина, что не воплощается это в вашей практике?

Кто-то, ему показалось, зевнул даже от его непонятливости:

— А такая причина, что пошел вон, и все!..

Это было сказано даже без злости, а так, будто отмахиваются от назойливой мухи. Голос был удивительно знакомый: то ли господина Нарышкина, то ли князя Орлова.

— Но это не соответствует элементарной логике! — крикнул он.

— Ну и пусть, — ответил все тот же безразличный голос.

И тут же он ясно увидел на себе загадочный взгляд императрицы...

Очнувшись, господин Дидро оглянулся назад: там, слитая с лесами, стояла густо-синяя завеса. Потом он посмотрел вперед. Одинаковые деревца были аккуратно посажены вдоль ровной линии домов с черепичными крышами. Ему вдруг сделалось скучно...

### III

Ростовцев-Марьин ходил по горнице медленным, утвердившимся шагом. Прошлым годом перестеленный пол не скрипел. Правда, годовое офицерское жалованье ушло на поддержку усадьбы, зато все сейчас на месте: крыша, пол, новые, с ростовцевкой резьбой ворота.

Едва заключили с турками мир, как на другой день его полк спешно замаршировал в северо-восточную сторону. Поскольку маршрут находился вблизи его отчизны, он отъехал сюда на неделю с тем, чтобы догнать их на подходе к Волге...

Тот пожар, что разгорелся с Яика, не вызвал у него удивления. Там, на воле степей, скручивалось в вихре и размахивалось все, стиснутое здесь острогами, лесными завалами, воинскими кордонами. Подспудно он ожидал этого и знал каждого из них, кто увлекался тем вихрем под знамена самозванца. Здесь могли быть и известный ему кузнец, бравший Хотин солдат, насильно крещенная мордва, перессоренные друг с другом кайсаки с башкирами, русские и татары с соляного городка, беглые неизвестного рода и имени, что селились вокруг степного форпоста. С ними же обязательно находились Кривоглазый и перс с удушкой, или ворующие девок жигари. Кто же из всех возьмет между собой верх и что будет делать с Россиею, если бог дозволит совершиться такому случаю? Он невольно потрогал руками шею, где сохранился узкий след от сплетенного волоса, которым душили его когда-то в остроге...

Теперь он стоял у окна и гладил рукою знакомый круглый предмет, теплеющий от прикосновения его пальцев. Во дворе мать с девкою-племянницей ошипывали гуся — ему в дорогу. Пух вырывался из-под их рук и улетал ввысь со свежим, пахнувшим близкою осенью ветром...

Куда бы он тут ни смотрел и где бы ни находился, всегда чувствовал спиною, всем существом некое место. Там от угла с образами, по всей стене и к двери были в ряд протянуты доски одна над другой, прикрытые сверху резными дверцами. Их он сам делал. Даже и в отдалении, у стен Силистрии или в польской Пруссии, это присутствовало с ним. «У вас русское чувство к книгам!» — сказал ему когда-то пан Мураховский, наблюдая, как он бережно укладывает их в рундучок. И пояснил: «У народов свободных отношение к книгам более легкомысленное. Библию обоготворили рабы».

Здесь, вдоль стены, и лежали книги. В сентенции старого шляхтича содержалась некая правда. Собранные вместе, они ощущались, как выстраданная человечеством высшая истина. Даже и легкомысленные из них обогащали опытом от противного. Тут составлялся *диалог*, при котором обязательна победа разума. Лишь в безоглядном монологе прячется глупость. Об этом тоже говорится в тетрадах вяземского дворянина, что лежат здесь в общем ряду.

А еще они соединяют людей — хоть та же книга, обоготворенная рабами. Высокая мудрость Астафия Матвеевича Коробова или пана Мураховского произошла не из пустого места. Никогда

не видевшие друг друга, они думали и чувствовали одинаково благородно. Представленная в образе рыкающей львицы история хоть с той же Польшей ныне являет свое свирепство, как являла его в обратном порядке — от Польши к России полтора века назад. Только никогда не разделит сей царственный зверь его с паном Мураховским, и книги тому первой причиной. Как видно, тут путь единения человечества, чтобы вместо рыканья посредством чувства и разума говорить друг с другом...

Смерч, что катился сейчас по Волге и Яику, как раз и дул навстречу той львице. Их правда была в невыносимости дальнейшего терпения, когда кипятки льют на голое тело, но с тем эта холодно-рассудочная муза никогда не считается. Ей они мешали идти дальше, так как ни на минуту не должна задерживаться на месте. Где-то впереди у нее была цель. Держава российская еще не исполнила свое назначение, чтобы разрушать этот порядок жизни. Не самому убогому порядку, а той высшей цели честно служили все Ростовцевы-Марьины, служит он сам. А название всему — Россия...

Серебро в руке сделалось горячим. Он долго смотрел на овальный браслет, лежащий на ладони. Чуть намеченные линии загадочно кружились, повторяя вихри кайсацкой степи. Маша умерла прошлым летом, как раз когда обновляли усадьбу. Вот и ее судьба неотделимо вошла в то общее круговращение мира, об которое ударится и разобьется гуляющий ныне по Руси смерч. Зато ускорит сей случай соединение в истории тех разных народов, что закружились там вместе в яростном и справедливом размахе...

Он писал свои мысли в тетрадь, и были эти тетради как бы продолжением записок вяземского дворянина Коробова, переданных ему в память и поучение. Зачем делал это — он не думал. Может быть, сыну сгодится, что сейчас заканчивает классы в кадетях, или внуку, но писать было необходимо.

## Четвертая глава

### I

Она любила ощущать коленями мощь великолепного животного и сидела в седле как влитая. Та мужская посадка всегда ей ставилась в укор, в европейских газетах даже об этом писали. И любимый аллюр ее был курц-галоп. Пятнадцать верст в день обязательно скакала так после сорока лет, а перед тем ездила больше. Великою княгиней когда-то по полному дню не слезала с лошади. Ветер гудел в ушах...

Да, то бессмысленное и беспощадное революционерство вдруг обнаружилось перед нею зияющей бездной. Не в одном самозванце оно, а в каждом окружающем и даже в ней самой. Такова она есть, подлинная русская царица Екатерина Алексеевна, и тем только рознится от остальных, что может смотреть на себя из-за черты. В остальном у нее тот же размах, который отличает этот народ. А в нем и смертельная опасность.

Исходящая из идеала крайность здесь во всем: в каждом из Орловых, в боготворящем старину ярославском князе, в безмерной солдатской отваге. Даже в превосходном от всех прочих народов терпении, каковому дивится Европа. Не поддающееся смыслу обожание к ней орлеанской девицы из того же ряда. Базилка со своей добродушной ленивостью лишь подтверждает с другого конца все ту же природную особенность. Великий ум Европы, не пробыв тут и полугода, поддался этому русскому неотразимому чувству...

Горел храм, корчились и кричали объятые тяжким дубовым огнем дети. И когда выползали из пламени, матери втаскивали их назад. Старцы, поднявши к небу пылающие бороды, пели ровными тягучими голосами. Всякую неделю читала она писанные безразличным слогом донесения о том, хотя с первых дней повелела не трогать староверов...

Всякая проникшая сюда умозрительная идея найдет готового к действию инсургента. Тут достаточно формальной логики, оглушения криком и приманки правдою в будущем. Те же люди и станут революционерами — от Гришки Орлова до ярославского князя, других нету. И исполнять все будут с той же природной отвагой. Впрочем и все другие тут революционеры — стоит только приказать. Ну, а каково будет, если такую простейшую программой оснастить следующего, более широкого умом самозванца? Примеров предостаточно, сколь легко здесь схватить власть...

Теперь она ясно видела врага. Не в интригах вокруг, не во французской или австрийской ревности и даже не в самозванцах дело. России, которую выражает, идти общим с человечеством путем, терпеливо настигая пропущенное и не оталкающаяся на лукавые обещания какого бы то ни было чуда. Ее способность смотреть из-за черты здесь к месту. А посему всех, кто в наличии, привлекает она к делу. Хоть того же поврежденного князя, что бредит стариной, или орлеанскую девицу, очаровывающую сейчас в Европах королей и философов. Ну, а Гришка Орлов с Чернышевым да упрямствующий Панин давно уже этому служат...

На таком пути неоспоримо ее право твердою рукою устранять какие бы то ни было препятствия. Сама судьба закономерно помо-

гает ей, ибо, что бы там ни происходило, не давала она приказа ни об эйтинском мальчике, ни об Мировиче. Вот со лже-Таракановой был ее приказ. Своею рукой написала «Поймать бродяжку!» А еще велела Алексею Орлову бомбардировать италийскую Рагузу, если не захотят выдать сей твари, что представляла себя в Европе за дочку Елизаветы Петровны от Разумовского. Лишь путалась в отцах, не различая графа Алексея Григорьевича, впрямь повязанного с императрицей гражданским браком, от гетмана Кирилы Григорьевича.

Только Алексей Орлов — законченный революционер: влюбил нарочито эту мерзавку в себя, и сама прибежала к нему на корабль. Газеты морщатся по этому случаю, ну да пусть. Самозванка докашливает кровью в крепости. Сам бог вот-вот распорядится ею, так что и здесь ничья в этом вина.

Ровный устойчивый ветер нес ее вместе с конем, облаками, летящими птицами. Даже не ветер это был, какой смутно помнила из детства. Там, разделенный на части скопищами городов, теряющий силу в их каменных закоулках, он дул порывами, как рвущаяся из сети птица. Здесь не ограниченная струя, а весь воздух сразу двигался от края и до края земли. Когда-то, въехав сюда, она сразу уловила это могучее и неотвратимое континентальное движение...

А с самозванцем она поступила, как и обещала гостю-философу. Только не в три месяца был пойман, а почти год еще гулял на воле, задерживая исполнение предназначенного этой державе. Полк за полком с лучшими генералами отрывала она от главного дела, и, словно в тесте, вязли они в разбегающихся и снова сходящихся за их спиною десятикратно увеличенных толпах. Все там было лишено логики, и невозможно оказывалось предвосхитить такого противника. Уже и Суворова приготовила, сама рвалась ехать в Москву противостоять узурпатору. Тут среди ночи бог подал ей некую мысль...

Без сна лежала она и думала, как поступить дальше. Одна и та же картина вставала перед глазами, которую рассказал ей бывший в плену у бунтовщиков офицер. Самозванец силился вести себя с превеликим достоинством: подавал вид, что понимает французскую речь, со вниманием читал депеши, не разбирая грамоты. Также где-то взятый ее портрет и наследника возил с собою. В один из вечеров, будучи пьяным, плакал искренними слезами и, простирая к портрету руки, с подлинною горестью восклицал: «Катяка... изменница!»

Вот тогда поняла она, что надо делать. Не генерал Кар, не даже Голицын или Бибиков с Петром Паниным постигнут

ту невероятную стратегию. Здесь необходим ум, оснащенный опытом, одинаковым с теми, противу которых действует. У римлян она читала, что никого нет лучше раба для разговору с рабами. Среди остзейских офицеров у нее был некий неулыбчивый подполковник с круглым лицом. Его имя и прочитала, когда под Уфою был разбит один из главных сподвижников самозванца. А помнила то имя из бумаги, которую дважды уже откладывала в сторону, не давая ей ходу. Там значилось, что оный заслуженный офицер в самом деле беглый крепостной мужик от эстляндских имений, и требовали возвращения его назад в то же состояние. Она взяла снова к себе эти бумаги и написала резолюцию: «Произвести в полковники!»

В два месяца было все кончено. Полковник Иван Михельсон не давал бунтовщикам минуты покоя и со своим отрядом из кавалерии, пехоты и артиллерии всякий раз оказывался точно на том месте и в то время, когда туда приходил самозванец. А после окончательного разгрому окружавшая того сволочь выдала своего вождя, как и обязано было случиться.

Сама она от начала до конца руководила и читала следственное дело. Хоть и были в рядах бунтовщиков три или четыре поляка, но ни от какого европейского двора не пахло здесь интригою. Состоялся лишь тот самый без расчета русский размах. Не дай бог, явилось бы откуда-нибудь злое желание вооружить таковой бунт политическим лукавством, то и Европе бы не поздоровилось...

Когда решался способ лишения жизни для самозванца, она с полминуты думала. Вдруг послышалось: «Катка... изменщица!» Она подписала приговор и без всякой улыбки сказала уезжавшему для исполнения в Москву генерал-прокурору: «Никогда не попадитесь мне на глаза, если станут говорить, что заставила кого бы то ни было претерпеть мучения!» Потом говорили и в европейских газетах писали, что бунтовщику и разбойнику Эмилиану Пугачеву палач по ошибке вначале отсек голову и четвертовал уже безжизненное тело...

На середине восьмой версты, у столетнего дуба, конь сам привычно вздернулся на дыбы, подержался так некоторое время, подобно Фальконетовой фигуре, долженствующей стать на гранитной скале перед Невой. Затем, не опуская копыт, конь заплясал в полукруге и поскакал обратно. Ветер теперь дул в лицо, наполняя грудь и теребя вольно отпущенные в езде волосы. По этой дороге никто не ходил, когда проезжала здесь, а где-то по сторонам были расставлены караулы. Самозванцы один за

другим являлись в эти два года, и разного можно было ждать. Еще Гришка Орлов позаботился обо всем...

День ее не менялся. Только писательство оставила в сторону с того дня, как гость-философ в изящно-превосходных степенях возносил ее пьесы. То стоило усилий — тушить в себе муки отверженности от Парнаса. Зато все первое утреннее время отдавала историческому розыску. Целая комната была занята старыми манускриптами, и все секретари ее работали на то.

Здесь тоже было дело Петра Великого. Для самоутверждения народа и державы и чтобы не сбивался на сторону политическими лукавствами, необходимо было составить цельную и логическую картину его истории от самых древних корней. С великой тщательностью вела она точный счет старорусских князей от трех летописных братьев в дальнейшем перемешивании их с прибывающими от запада и востока знаменитыми мужами и женами. Загадочные пробелы в множественности княжений, являвших Русь, требовали терпеливости и упорства для точного установления истины.

Те споры между российским Великаном и Миллером-Сибирским не имели смысла, поскольку не так все было здесь одну и две тысячи лет назад. По всему выходило, что некий общий народ с условным именем варягорусы обживал эти края в содружестве с финскими народами, и тут же находились родственные им славяноруссы. Когда пришли Рюрик с братьями, то не были среди славян вовсе чужими. В те времена ни для чего не имелось границы: ни для какого государства, народа и языка. Все еще только собиралось в единый народ, и самые разнородные части составляли его, добавляясь из века в век. Такое понимание необходимо сейчас для империи, когда на новом, высшем размахе повторяется здесь собирание в единую человеческую общность. От калмыков и до обдоров это делается. Таково обыкновенно и происходит история...

Сойдя с коня, она давала теперь себе час отдыха и еще тридцать минут на переодевание. Мир был непрочный: Польша не успокаивалась, подогреваемые со стороны турки не могли осмыслить необратимость российского прихода на древнее Русское море, с севера злился заносчивый сын рыжей Ульрики. Но следовало использовать даже и эфемерное спокойствие на границах для внутреннего устройства. Еще четыре часа до вечера обговаривала она с советом преобразование и укрепление губернии. Из двадцати теперь их становилось пятьдесят, с относи-



тельно равномерным числом жителей. Губернаторам и канцеляриям при них следовало становиться как бы малыми правительствами, поскольку невозможно все усмотреть отсюда через такие дали. Тем самым, однако, укреплялось и делалось действительным истинное самодержавие, без которого никак невозможны спокойствие и порядок в столь обширной державе. К нему ведут республики, уже известно, и если когда-то обретут устойчивость, по поначалу в государствах с незначительной территорией. Чем необъятней страна, тем больше обязано быть сосредоточенности власти. Особенно, если она из многочисленных народов составлена. Древние империи тому подтверждение...

Много лет уже сидело это в ней, хоть знала химеричность такой подмены. Вьющаяся по ветру прядь волос вдруг мелькнула ей, когда увозили эйтинского мальчика в последнее недолгое пристанище. Юный сержант из конной гвардии стоял на запятках глухо закрытой кареты. А голос его услышала еще раньше, из орловской светелки во втором этаже дома. Гришка сказал тогда ей, что это Потемкин...

Так было, что, еще будучи с Гришкой, позвала его к себе, и пришел, будто только и ждал этого. Она же смутилась, что никак почему-то не могла устранить его за черту, которой отделяла происходящее в государстве от постели. Поэтому оставила те встречи, чтобы не нарушить правило. То было «Pro memoria» от отца, продолженное ею самой...

Прядь волос, когда-то выпавшая у него из-под кивера, не имела никакого отношения к сказочному, заснеженному лесу. Говорил он и в постели, не горячася, с некой хваткой рассудительностью. И смотрел неповрежденным глазом с постоянным прищуром. Когда подарила ему золотую табакерку, принял и незаметно взвесил на руке...

Не было острой скуки по нему. Лишь заметила в себе вдруг некое чувство, над которым смеялась у других. Не хватало чего-то каждодневного, обыденного, в чем необходимо было ей утвердиться. Где-то читала, что прачки имеют внутреннюю потребность штопать белье мужчине, и в том признак простонародья. Только в ней почему таковая тоска? Ева была куда как ловчее и жизнеспособнее Адама, но только без него лишалась смысла. Как видно, женщине нужен для чего-то муж...

Тогда она опять позвала его. Не стесняясь, вставала и ложилась, когда было нужно, жаловалась ему на Брюскино нахальство и самомнение, поскольку только с ним звала так четвертьвековую подругу-графиню Прасковью Александровну. А еще рассказывала о трудности исторического поиска. Он

слушал и снисходительно говорил советы. Ей нравилось, когда какой-то из них можно было приспособить к делу. Той же графине Брюс с некой гордостью тогда рассказывала, что это не ее, а Потемкина значительная мысль...

Она лежала, приподняв подушку к изголовью. А он вздергивал покалеченным глазом и утверждал необходимость конца запорожской вольницы. Никак не улягутся те в своих спорах с поселенными там сербами, кроме того ссорят без необходимости Россию с турками и поляками, коварствуют с властями. И от самозванца недаром шли к ним письма. В доказательство мысли приводил латинские крылатые слова, чему научился в классах при университете. Она со вниманием слушала, зная все наперед, так как сама вызвала и направила тот разговор. Теперь он проникался этим мнением как бы уже собственным, а она поощрительно внимала его мудрости. Так поступала когда-то еще с зйтинским мальчиком, и лучший это способ управлять в доме и государстве. Обыкновенно с холодным презрением смотрела на тех гусынь, что не в состоянии исполнить такого простого дела.

Про Сечь она все тщательно продумала. Пока угрожал Крым, несомненная была польза от такого военного ордена при границе. Так же и Польше всегда могла пригрозить карательным набегом. Теперь же, оказавшись внутри державы, запорожское воинство теряло государственный смысл. Выделение их в правах перед другими никак нельзя было терпеть...

Потом он замолчал. Так же привычно, как говорили, они нашли друг друга, и будто век жила с ним, испытала покойное, расчетливое удовлетворение. Лишь для приличия закатывала глаза и произносила: «Ах... мой друг!»

У него своя комната была недалеко от нее, откуда приходил открыто. Награждения и производства принимал он так же, как табакерку, быстро хватая, и ноздри красивого прямого носа чуть вздувались при этом. Говорил ей по-домашнему: «Ты, матушка-государыня», — и при других держался свободно. Она звала его Григорий Александрович и со спокойствием смотрелась в зеркало. Разделяться надвое, чтобы видеть себя со стороны, тут не было необходимости.

## II

С вечера кричал коростель: будто сломанное дерево все никак не падало к земле и скрипело под ветром. Только деревьев тут не было, и ветер утих еще у Черного яра, когда с малым кругом спасшихся верных людей переплыл Волгу и скакал сюда день и ночь, бросая по пути загнанных коней. Волки неслись следом, поедая их еще живыми. Рычание, костный хруст и покорные

вздохи слышались всякий раз из лунной тьмы, потом все кончилось. Стояла мутная горячая тишина...

То была небольшая, рыжеватая птица, которую трудно увидеть среди травы. И она продолжала кричать дурным голосом. Он только раз или два в жизни видел ее во младенчестве, когда с отцом в станице выезжал к Дону на сенокос. Крик тот и запомнился: резкий, наводящий тоску.

Так потом случилось, что вовсе никогда уже не видел больше птиц. Коня у Денисова-полковника он не крад. И немцам его не продавал, а только выгнал в поле и отпустил в тумане, чтобы досадить полковнику. Когда бы это был барин в парике, то, может быть, и не сделал такого. А если полковник из казаков, то пусть не гордится между своими. Денисов уразумел и велел пороть его, пока голосу не подаст. Да только умер он там...

Ему и вправду казалось, что тогда он умер в Пруссии, а ходил по земле кто-то другой в его облике. Тот, другой воевал еще потом с турками, по болезни списывался из войска, жил у черниговских староверов в скитах, сидел в Казанском остроге, ходил, не находя себя, по Волге и Дону, по Тереку, пока не сделалось ему тридцать три года. Как раз тогда пребывал он на Яике. И на заимке у казака Пьянова вдруг ему и другим само собой стало известно, что он и есть государь Петр Федорович...

Еще он подумал, что конец пришел лету, в сухую жесткую трубку скрутилась трава, и не может здесь сейчас по-весеннему кричать птица-коростель. Даже вода тут в озерах соленая, и только волки живут, так как пьют кровь вместо воды.

Но птица все кричала. От самой Казани слышал он ее крик, когда впервые увидел против себя мерно скакавшего на коне широколицего человека в плотно надвинутой шляпе и с полковничьей лентой через плечо. Тот не дергался, не торопился, не махал палашом, как другие виденные им в жизни генералы, а лишь как бы присматривался к его, государеву, стану. Но вдруг махнул платочком, и стоявшая невдалеке пехотная колонна, сделав общий артикул, быстрым шагом двинулась вперед, отрезая его с казаками от мужичьего войска. Толпою в двадцать тысяч оно стояло с пиками и дубьем на ровном волжском берегу и, не видя рядом казачьего примера, побежало, топча и спихивая в воду друг друга.

А он сидел в кресле под императорским штандартом с привязанным снизу конским хвостом и с пригорка смотрел на идущих бегом солдат, не зная вдруг, что ему делать. Обычно, встретившись с царицыными генералами, он знал, каково они станут себя вести. Так было с Каром и с самим Бибиковым, от которого уходил из-под Татищевой и от Сакмарского городка,

всякий раз вдвое набираясь сил. Но этот плотно сидевший на коне непонятный полковник поступал так, как сам бы он и делал на его месте. И упорство у него было такое, с каким землю пашут...

Будто чей-то вредительный глаз положен был с того дня на него. Не успевал отбежать с оставшимися конными к Кокшайску, чтобы набраться сил, как полковник был уже там. Направился через Волгу к Курмышу, однако и костров не успели здесь зажечь. Тогда бросился назад от Московской дороги к Волге, но опять в Алатыре преградил ему путь Михельсон, и пришлось уклониться на Саранск и Пензу.

В Саратове, как с Каром, воспользовался офицерским препирательством — кто из кого главнее, и зашел в город. Но не смог до конца принять обывательской присяги и повесить ослушников, как застучали барабаны идущего Михельсона. Также и Царицын пришлось пройти в спешке. Уже открывался путь на Терек. При Сальниковой ватаге зажгли костры, будто остаются на месте, всю ночь двигались без шума и разговору. А к утру, съехав к Черному яру, увидели строившихся в колонну солдат и изготовленные к огню пушки. Полковник в плотно надвинутой шляпе махал платочком. С кругом близких людей тогда переплыл Волгу и заскакал напрямую через солонцовую степь к Бударинскому форпосту при Яике, откуда впервые выехал в императорском звании...

Раз и два еще дернул коростель возле самого уха. Тяжесть, слепая и мертвая, навалилась на сердце. Тело еще без мысли забилося, заметалось, освобождаясь. Жгучий обруч обвился вкрут шеи...

Мутный горький туман стоял перед глазами. Из этого туману глядели на него желтые немигающие глаза. Он узнал: то был человек персидского вида, которого признал за своего бывший где-то в каторге с Хлопушей атаман с кривым глазом. Они вместе сразу и занялись наказанием тех, кто не хотел узнать в нем государя. У перса был волосяной аркан, которым ловко душил вредительных дворян и прочих, на кого указывал народ. Тем арканом и был он сейчас повязан...

Кривоглазый атаман стоял тут же, рядом со своим помощником. Где-то должны были быть те, кто шел с ним с самого начала, от Яика. Он громко позвал их.

— Ты прости нас, Емельян Иваныч... За ради Христа!

— Сам понимаешь, что выходу нам нет. Пострадай уже за всех за нас...

— Что не государь ты подлинный, так и тебе то известно. Сдадим твое величество, и простит нас матушка-царица!

Все они были здесь: казаки и другие, с которыми шел вместе: Чумаков, Творов, Федульев...

Больше он не рвался из пут, поскольку знал, что так оно и должно быть. С той ночи, как закричал коростель, ждал этого во всякий день. Но от войска своего не уходил. И их понимал: в том, что сделали, была у них необходимость.

Ему развязали ноги, и встал в рост. Пятеро или шестеро посеченных лежали на белой от соли, потрескавшейся земле. Это значило, что не все согласились с таковою необходимостью.

Мгла стояла над степью, и не видно было за ней встающего солнца. Пересохшая речка Узень осыпалась высоким правым берегом. Возник и закружился небольшой вихрь, серый от соленого пуха, сломался и рассыпался. Он искал взглядом, где бы тут могла быть птица...

### III

Первым увидел он перса. Эти желтые немигающие глаза на мертво-белом лице он помнил всю жизнь. А тот теперь ехал на повозке сзади самозванца в свободном состоянии и даже недовольно что-то приказывал солдатам. Скрученный жгут из конского волосу держал открыто при себе. Этот везде был необходим. Кривоглазый находился тут же и наблюдал, как ставили деревянные столбы с поперечиной для простых бунтовщиков, которых ловили по сторонам Волги...

Он спросил об них у Федьки Шемарыкина, который командовал охраной самозванца, на что тот пожал плечами:

— Да вроде они и скрутили злодея. Видишь, как стараются!..

Иначе и быть не могло. Только бросилась вдруг в голову некая мысль, от которой стало холодно спине. А что, коли бы добрались эти двое до Москвы с Петербургом, а там бы сами уже тайно придушили самозванца? Пожалуй, что потом этот желтоглазый на самый перед бы вышел...

Лишь затем он поднял глаза на клетку с самозванцем и оторопел. Гулкое имя держалось в памяти с туманного утра в Пруссии. Тогда впервые назвал его хорунжий: «Емельян... слышишь, Пугачев?» И еще взгляд казака, от которого расступились они с Шемарыкиным. Тот шел от порки будто бы мертвый, и глаза были без зрачков...

Это был он и словно бы не он. Все оставалось прежним: широкие плечи, черные густые брови, которые круто разбегались от носа по широкому выпуклому лбу. Только глаза были не его: они мягко лучились, и зрачки совсем обыкновенно отражали мир. Некая стеснительность была в них, что сидит тут на виду у всех.

И еще тихая печаль, какую рисуют на образах. Словно бы не видел он клетки и цепи...

## Пятая глава

### I

Просыпалась сразу и лежала, не двигаясь, с открытыми глазами. Вместе являлась память о потере...

Это повторялось теперь каждую ночь. Двенадцать лет прошло с тех пор, как перестала уходить за черту, чтобы посмотреть на себя со стороны. Само собою так произошло, поскольку не являлось необходимости. Как-то вдруг опять захотела это сделать, но ничего не вышло. Сейчас она думала о себе не раздвигая взгляда.

С отдохнувшею утреннею силой острою неприязнью охватило все ее существо.

— Лозы должны быть железные, и все одинакового виду и гибкости. По всей стране дабы наказуемые ощущали неотвратимость возмездия, но и справедливость в его распределении!

Это он ей говорил с важностью на лице, будучи теперь уже осьмнадцати лет отроду. Гордость светилась в глазах, что самостоятельно додумался до столь значительной мысли. И еще виделось в выставленных вперед ноздрях знакомое идиотическое упорство. Тут был пример, каковы практические плоды способно дать панинское волномыслие, да на этой почве. Не таков же из самого общества и государства монстр рождается, если принудительно сложить столь разнородные части?

В малейшей мелочи узнавался эйтинский мальчик. Глядя на сына, она никак не могла представить, что от ее природы это произошло. Никакого соединяющего чувства между ними не было, кроме презрительной настороженности. Отца он повторял в своей Гатчине, только вместо голштинских капралов призвал к себе, как назначенный генерал-адмирал, шестьдесят матросов. Затем из них сделалась рота, потом две, а теперь уже батальон. С ними и производил свой революционерские опыты.

Однако при куклах он не думал оставаться, но, подобно отцу, всю Россию намеревал превратить в куклы. Для того и вылезал наперед. С нею вместе жаждал совершить вояж через историю в Тавриду и Херсонес, которые навсегда теперь уже Новая Россия. Даже с безгласной вюртембергской женою объединился просить взять их с собою, а не одних только внуков, но не позволила. Здесь другие были планы, и короли и министры из всей Европы обязаны увидеть рядом с нею не этого уroda, но истинных наследников великого дела...

Думала еще о себе, каково выглядит в глазах Европы и своих поданных. Что же, держит себя с тою же простотой; играет в карты и на бильярде, даже на лошадь садится, пренебрегая годами. Любит посмеяться и пуще всего не терпит ханжества. С прислугою, как и с первым своим сенатором, одинаково любезна. Нелюбезна бывает с противниками России на политическом театре, но такова уж назначена ей там роль. Все происходит одинаково в эти двенадцать лет, как и в предыдущие двенадцать лет ее императорской службы. Почему же сама поделила так свое царствование?..

Могло сделаться иначе. И сын мог быть другой. Когда-то в глухую ночь унесли от нее отделившийся комок плоти. Эйтинский мальчик тогда уже был император, и ждала или монастыря, или короны. Ровно через двадцать лет, в канун той ночи, написала по некоторому адресу письмо: «Известно мне, что мать ваша, быв угнетаема разными неприятными и неприятельми, по тогдашним обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашлась скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 года». Алексей Григорьевич Бобринский неизвестного происхождения с детских лет живет в заграницах. Иногда она смотрит его портрет в медальоне. Орловская правильность в чертах там несомненна, но улыбка ее...

Удары колоколов к заутрене здесь были другие, чем в Москве. Они раздавались с большими промежутками и слышались как бы из некоей дали. В Петербурге колокола тоже били иначе: звонко и четко, словно выполняя приказ...

Она писала к себе в личную тетрадь: «Вот приблизительно мой портрет: я никогда не признавала за собой творческого ума. Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне мысли, несравненно лучше и основательнее моих: тогда я была послушна, как агнец. Причина этого заключается в крайнем моем желании блага государству. Я испытала и большие невзгоды, происшедшие от ошибок, в которых я не имела никакого участия, а может быть, и оттого, что предписанное мною исполнялось не в точности. Несмотря на мою природную гибкость, я умела быть упрямою или твердою (как угодно), когда это было нужно. Я никогда не стесняла ничего мнения, но, в случае надобности, имела свое собственное. Я не любила споров, убедившись, что каждый всегда остается при своем мнении; притом же я не умею говорить особенно громко. Я никогда не была злопамятна, потому что так поставлена Провидением, что не могла питать этого чувства к частным лицам и находила обоюдные отношения

слишком неравными, если смотреть на дело справедливо. Вообще я люблю правосудие в его юридической смысле, но нахожу, что вполне строгое правосудие не есть правосудие и что одна только справедливость в широком понимании этого слова соразмерна со слабостью человека. Во всех случаях человеколюбие и снисхождение к человеческой природе предпочитала я правилам строгости, которые, как мне казалось, часто превратно понимают. К этому влекло меня собственное мое сердце, которое я считаю кротким и добрым. Когда старики проповедовали мне строгость, я, заливаясь слезами, сознавалась им в своей слабости, и случалось, что иные из них, также со слезами на глазах, принимали мое мнение. Нрав у меня веселый и откровенный, но на своем долгом веку я не могла не узнать, что есть желчные умы, которым ненавистна веселость; не все люди могут переносить правду и искренность...»

Она задержала письмо и подумала, что самый верный способ убедить в чем-то мужчину, тем паче если он в сенаторских годах, это слезы. К тому с успехом и прибегала. Значит ли то, что актерствовала? Нет, тут и подлинное чувство обязательно присутствовало. А когда актриса играет, так разве нет в ее плаче искреннего горя, от чего и успокоиться долго не в состоянии. Как разделить в женщине искренность от игры, а если разделить, то уже это будет не женщина. Если играла она свою роль, то для народа и государства, себе законно оставляя сценическую славу.

Впрочем, самые высокие женские слезы ни к чему бы не привели перед мужчиною или народом, не будь у нее на голове короны и твердо зажатого в руке скипетра. Уж то ей досконально известно. Она кончила писать и закрыла тетрадь. Отсюда она и брала к случаю заготовки, когда садилась писать письма в Европу. Тетрадь имела прямую причастность к делам литературным, которыми занималась здесь, как и дома, с раннего часу. Чтобы не растерялись с утра мысли, неслышно вставала, умывалась, сама убирала себя и садилась к столу.

А писательство возобновила, посчитав несправедливым ограничивать себя в сильнейшем своем пристрастии. К тому же невозможно было удержаться при виде людских несовершенств да гнустостей. Лишь инкогнито строго соблюдала.

В четыре года написала многие пьесы. Все больше про людскую вздорность, что происходит от пустоты ума и бездельного тунеядства. В каждой пьесе действительный был адресат, так что и актеров можно было заранее наметить. Сейчас по примеру некоего известного в Петербурге семейства легко определились Прелеста Собрина и любящий ее Добрин, которым по пленительности молодого чувства соответствовали актеры господа Баранова и Шушерин. Великовозрастного балбеса, что прочат



Прелесте в женихи, мог бы представить господин Чертков или кто другой. Ну, а ядовитого сплетника Двороброда, который слухи про всех, не исключая высшую власть, по гостиним разносит, точно играть господину Дмитриевскому. Даже и корпусом похож на того враля. Когда же знатно сыграют, то, как и в прошлый раз, сделать среди актеров подарки и раздать две тысячи рублей...

Да, тут себе все позволялось. В пьесах да операх смеялась над собственными сенаторами и европейскими королями. Хоть над тем же сыном рыжей Ульрики, что никак не успокоится миром в своих скандинавских скалах. Ему приготовила арию горе-богатыря Косометовича, что по наущению матери-вдовы отправляется в поход в доспехах картузной бумаги и сопровождается советчиками Кривомозгом да Торопом. А придраться невозможно, поскольку дело поется в городе Арзамасе...

Напрямую против Калиостры, обольтившего всю Европу и к ней прибывшего завершить триумф, целых три комедии выставила. И опять все в рамках приличной терпимости, поскольку шарлатан в пьесах был шаман сибирский и подпевали калмыцкие хоры. Также и франмасонов с их глубокомысленной глупостью не оставляла в покое. Здесь даже первую свою любовь — пустого чувствами человека с профилем античного героя — не удержалась выставить в жалком виде...

Не только сама: всем способным к тому людям, своим и иностранным, едущим с нею в Крым, поручила написать по пьесе для Эрмитажного театра. Они и трудились также по утрам: обер-камергер Шувалов, посланник австрийского дома граф Кобенцель, французский полномочный министр Сегюр, свой русский француз Дестат, графья Мамонов и Строганов, принц и генерал австрийский де Линь. Тот самодеятельный конкурс оживлял дорогу, и меньше ей мешали заниматься делами.

В журналах теперь уже не сражалась, лишь внимательно читала все, что возможно было, поскольку стало их большое множество. Новиков, давний ее приветствователь и противник, уехал в Москву, где издавал «Московские ведомости», открыл народную библиотеку-читальню и книжные лавки в шестнадцати городах России. Крайний чувствами русский от немецких дедов Денис Фонвизин с русским же напирательством шел на приступ, имея в мыслях немедленное, с одного маху решение о крестьянской вольности. Сама когда-то была за то, да и в один день очнулась от сна. Прекраснодушие и размах пером по бумаге никак не совпадают с течением жизни, зато поводы противникам представляют. К тому и Пугачев явился чему-то наукой. Так что пока только на сцене способна побеждать фонвизинская правда. Сейчас, наездившись по Европе, где в укор ей напечатал апокриф

чистоте чувств и мыслей учителя своего Панина, ею же рожденный и призванный к делу российский Аристофан просит разрешить издавать ему журнал «Друг честных людей, или Стародум». Где-то в середине предложенного проспекта значилась «Всеобщая придворная грамматика», что давно уже ходила со списками из дома в дом в обеих столицах. Все там было верно, и сама сардонически улыбалась, читая, да только не станет ли противоречить главному делу? Когда из шестнадцати теперь уже лавок начнут читать про то, каковы главные начальственные лица современной русской истории, то не убавится ли сил у Геркулеса для совершения подвига?

Вспомнив про то, что сардоническая маска на лице у древних происходила от горькой травы, что растет на острове того же имени, в задумчивости открыла одну из первых своих тетрадей. Она начиналась с давнего и непререкаемого ее убеждения: «О печатать! Конечно, сам бог просветил того человека, кто тебя выдумал! Тобою сохраняются описания великих дел человеческих; Тобою летают мысли человеческие от востока до запада, от полудни до полуночи; Ты истребляешь вредные роду человеческому предрассуждения; Тобою открывается истина; Тобою из примеров научаются цари царствовать, министры охранять отечество, полководцы искусству воинскому, судьи разыскиванию правды. Жаль только того, что нет такой печати, которою печатались бы совести человеческие!..»

Явственно чувствовалось мощное и неукротимое движение огромной массы воды, стекающей из приподнятой на тысячи верст лесной равнины. Никакого шума не производила она, укрытая льдом, но где-то внизу вся накопленная в той равнине сила неукротимо двигалась к морю. Во второй раз была она здесь, на берегу древнего Борисфена. Тут было место, что в летописях зовется Праматерью русских городов.

Занятия исторические и литературные слились в одно. В который раз перекраивала в подражание Шекспиру объявленные исторические представления без сохранения театральных обыкновенных правил. Все до сих пор собранное и угаданное легко у ней в основу. «Из жизни Рюрика» было только общее определение. От единого и древнего рода Гостомысла из глубины этой равнины шли вместе варягоруссы и славяноруссы. В доисторическое время еще роднились они с финскими народами через короля их Людбрата и с урманскими — через княжну Едвинду — супругу Рюрика, имевшую от первого мужа сына Аскольда.

Та великая общность, наподобие большой планеты, притягивала и принимала в свою плоть все малые вокруг, через века и тысячелетия двигаясь к установленному ей месту. Щит князя Олега, прибитый к цареградским воротам, стал возвестителем намеченной цели.

Война тут была лишь необходимостью, а все решалось этим мощным движением подо льдом, которое неудержимо, ибо сообразуется с высшими законами. Вся ее мечта — мир. Великий ум европейский не случайно разглядел это основополагающее ее качество в образе матери посредине пчелиного улья. Разве не соответствует там все людскому устройству, и каков тогда случается избыток меда, когда мир вокруг. Подумав, она приставила к «Начальному управлению Олега» два хора, лицетворящих Мир и Войну.

Царей и царств земных отрада,  
Возлюбленная тишина.  
Блаженство сел, градов ограда,  
Коль ты полезна и красна!  
Во круг тебя цветы пестреют...

Великана она писала по памяти, уверенно не делая тут в русском языке обычных своих ошибок. Тоже и неотвратимость войны написала до конца:

Необходимая судьба  
Во всех народах положила,  
Дабы военная труба  
Унылых к бодрости будила,  
Чтоб в недрах мягкой тишины  
Не зацвели водам равны,  
Что вокруг защищены горами,  
Дубравой, неподвижны спят,  
И под ленивыми листьями  
Презренной производят гад.

Еще поразмыслила, каким образом представить в такой драматической повести прохождение венгерского народа мимо Киева. Так и оставила: идут угры со своим королем по дальним холмам, а со стен города смотрят на них люди, говоря между собой, что это добрый и благородный народ...

Затем она придвинула свой постоянный труд, первые томы которого, опубликованные в журнале, приготовлены были к книжной печати. И здесь посчитала наилучшим не называть при издании автора, а обратиться отвлеченно к читателям: «Сии записки касательно Российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем Истории Российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными, ибо каждый лист свиде-

тельством служит, с какой ненавистью писан...» Закончила же вступление своим портретом: «Собиратель сих Записок касательно Российской истории не в числе змей, вскормленных за пазухой; он век свой чтился выполнить долг благородного сердца».

Сколько же человек, хоть и в шестнадцати городах, ведают что-то про собственную историю, кроме песен про Еруслана Лазаревича? Само и слово история тут обозначает сказку. Однако же нельзя без этого строить здание государства, ибо, подобно цементу, связывает в нем камни. От того приступала с самого начала:

«История есть слово греческое: оно означает *деи* или *деяния*...

История есть описание дей или деяний; она учит добро творить и от дурного остерегаться...

Всякому народу знание своей собственной Истории и Географии нужнее, нежели посторонних; однако же без знания иностранных народов истории, наипаче же соседственных дей и деяний, своя не будет ясна и достаточна...

История вообще разделяется на Священное писание и на Светское описание деяний тех, кои в Священном писании не вмещены...

Российскую историю разделить можно на пять эпох или времен...»

То отношение к истории, как к сказке, наличествует и в летописи. «Един Князь славян с братом своим Скифом» — сведения баснословные. Правда лишь, что многие земли покорили около Черного моря и Дуная. А народы — скифы и славяне — разные. Сказка и про князя Вандала, будто бы владевшего потом славянами. Как и об Рюрике с братьями, что якобы происходили от Пруса, брата кесаря Августа, и предки приплыли из Италии купно с Полемоном или Публием Ливоном, а с ними двести пятьдесят благородных римлян.

А предполагать в истории лишь можно, что здравым смыслом допустимо и обстоятельствам современным созвучно. Отсюда вполне можно утверждать, что славяне задолго до Рождества Христова имели собственную письменность, только не сыскано. Сюда следует прибавить и точные сведения, что славяне воевали пеши, имея в одной руке малый щит, в другой невеликое копье, и то короткое. Лицом были не весьма белы, волосы имели темно-русые.

Русь и Россия — малая часть народа, но многое повоевала и дала стране название. Были ли государи русские — неизвестно, но как могло быть без власти? У греков имя Русь задолго до Рюрика знаемо было, а латины Русь именовали Рутении. Сла-

вяне, придя, руссами овладели. Руссы со славянами смешались, за один народ почитаются. Славяноруссы чрез признание варяжских князей, по кончине Гостомысла, со варягоруссами соединились, каковые жили по берегам Варяжского моря и над оным господствовали...

Есть еще вовсе баснословные сюжеты. Сказывают, будто руссы Филиппу Македонскому в его деяниях помогали, а также Александру, когда Восток воевал. Об этом есть писанная золотыми буквами грамота и якобы лежит в архиве у султана турецкого. А у турков архивными бумагами бани топят...

Здесь же и легенда о князе Кие, что с братьями Щеком и Хоревым и со сестрою Лыбедь пришли на берега Днепра. Некоторые писатели производят Кия с братьями от персиан и скифов, другие, что были они славяне. Только имя «скиф» древнее, и ни один народ так себя сам не называл. Греки всех вокруг называли скифами: в Африке, Азии и Европе. Сюда же включали славян, сармат и татар. Государей их именовали: кахан или каган.

Отсюда и спор будто бы возник между скифами и египтянами: кто древнее. И скифы говорили: мол, если вначале был огонь, то раньше остывало на севере; если же вода, то тоже у них выше, чем в Египте. Только все напрасно, поскольку все народы земли — Ноево отродье, а посему гордиться следует не древностью, но добронравием...

Важнее для назначенного ей дела крещение Руси, так как здесь находится ему правовое и нравственное основание. А потому с подробностями из летописи списано, как все происходило. Сперва болгары, что у Волги, прислали послов с искусом магометова закона. Князь святой Владимир ответил: «Ваше учение в странах сих весьма неудобно». Потом римские послы говорили ему по-латински о своей вере, на что сказал: «Идите вспять, отцы наши не приняли сего». За этими пришли ко Владимиру жиды-козары, живущие постоянно в Киеве, и начали сказывать про свой закон. «Где есть земля ваша?» — спросил князь, а они ответствовали: «Во Иерусалиме». И рек Владимир: «Тамо обитаете?» Они же отвечали: «Разгневался Бог на отцы наши и расточи нас по странам грех ради наших». Владимир же выслал их, с гневом молвивши: «Как вы иных закону вашему хотите учить, его же не сохраня сами!» А тогда приехал от царя греческого философ Кир, который и убедил князя в православной вере, связав на будущее Русь с греками...

Посему не прихоть — ее исторические занятия. И когда первого внука назвала Александром, а второго Константином, во всем следовала предназначению этого народа и державы. Через неудачного отца суждено им перескочить к великой цели,

а для того полностью отторгла их от него, и все лучшее, что есть в Европе, призвала к их совершенствованию. По тому же проекту, что исполняла двадцать пять лет, с австрийским императором опять приготовилась встретиться в этом путешествии...

Движение великих планет, которое видела с непреборимой ясностью, составляло закономерность. Рим был только один и разделен по некоторому древнему роковому меридиану. «Второй райх», что лицетворит ныне собой в виде австрийской короны Священная Римская империя, лишь половина единого целого. Другая половина, знаменуя собою тот же второй Рим, была у греков, но состоялось вмешательство чужеродного тела, нарушившего с турками необходимое равновесие. Посему, сообразно с историческими законами, явился здесь третий Рим. В лице старшего ее внука будет он доминировать в мировом небосклоне, и Александрово соединение с Востоком станет ему путеводной нитью. Константиново наследство в этом случае составит лишь часть великого целого, и для того второго внука с первых слов учила греческому языку, пище и навыкам. В то наследство, помимо самой Греции со Святою землей, должны номинально вступить еще Валахия с Молдавией в виде древней Дакии и близкие славяне.

А императору австрийскому, наследующему другую половину Рима, предоставлено будет все к западу от того меридиана, а именно подлежащий ему Рим, Белград и взятые от Венеции славяне, Венеции же в компенсацию отданы будут побережье и острова, оставшиеся от турков. Соответственно императоры станут курировать и свои церкви, стабилизуя общий мир. Тут, конечно, закипит все в Европе, противодействуя этому, да только что смогут сделать противу двух мировых империй. Впрочем, французам возможно из того предложить Египет...

Все идет, каково следует. В санях приехала в Киев, где в святорусских древних местах дожидается весны и тронется в Тавриду. Досадно лишь, что великий князь Константин приболел сыпью, и обоих внуков оставила дома с тем, чтобы к лету встретили ее уже в Москве. Отца их, злобствующего противника «греческого проекта», поэтому и не брала с собою. Тот уже вовсе на Пруссию молится, подобно всякому прирожденному голштинцу. А вместо великого короля Фридриха на престоле там с прошлого году вполне соответствующий тому голштинскому идеалу Фридрих-Вильгельм, чей глазомер дальше кончика сапога не распространяется. Еще и франмасонство будто бы их роднит...

Вспомнила вдруг, как приехала в сенат в первый раз после объявления ее императрицей. О том самом и пошла сначала речь. Петра Великого карты были куда-то заброшены, так дала пять

рублей и послала курьера в академию, чтобы купил карту Российской империи и с соседями...

Провести вечер для себя, как сегодня, разрешала себе не часто. Ужинали без чужих, вдвоем: напротив князь Григорий Александрович Потемкин и по левую руку при ней юный «l'habit rouge» — «Красный Кафтан». Таково с первого дня прозвала своего пылкого и любезного адъютанта Мамонова.

Но глубокая скорбь не уходила. Она пряталась в тайниках сердца и вдруг обозначалась неожиданными слезами. Лишь двадцать шесть лет было ему, кого потеряла два года назад. Лежал в гробе совсем такой, как писала о нем последнему оставшемуся в живых другу-энциклопедисту Гримму: «Если бы вы видели, как генерал Ланской вскакивает и хвастает при получении ваших писем, как он смеется и радуется при чтении! Он всегда огонь и пламя, а тут весь становится душой, и она искрится у него из глаз. О, этот генерал существо превосходнейшее. У него много сходного с Александром. Этим людям всегда хочется до всего коснуться...»

Да, все то сразу видела она в нем: внука, неизвестного сына и возлюбленного — как видит это женщина в каждом мужчине. Никакого значения не имели ее годы. То была поэма о любви, почти равноценная Петрарковой. Днем под ее материнским руководством он усердно трудился над своим образованием, усваивал ее вкусы, разделял семейные огорчения и радости. Ночью же это был подлинный Феб, властительный и прекрасный...

Она впала в горестную немочь, не ходила к обедне и не могла видеть человеческого лица. Ночами напролет лежала с уставленными в пустой потолок глазами, а при том всем твердо делала распоряжения по внутренним и иностранным делам. Тем не менее тогда и явились в первый раз предположения в Европе о скорой ее кончине...

Лишь князь Григорий Александрович, прискакавший с юга, да Федор Орлов спасли ее в то время от помешательства. Они пришли вместе и взялись плакать да сочувствовать, вспоминая добрые качества потерянного друга. Она разрыдалась с ними вместе, и будто спущенная завеса раздвинулась перед нею вновь. Только щемительная память навсегда осталась в сердце...

И еще одна безвозвратная потеря значилась в душе. Князь Григорий Орлов, отошедший от двора, жил некоторое количество лет в Ревеле. Как видно, судьба ему была, что женился все же на Екатерине, и, коль правду молвить, первойшей из красавиц России. С нею поехал в Европу, а когда княгиня Екатерина Николаевна, урожденная Зиновьева, умерла, вернулся вовсе не

в себе. Приходил к ней во дворец и шел мимо людей, будто в лунатическом сне. Увидавши ее, становился истуканом, бормотал что-то, как бы с кем разговаривая внутри себя. Потом умер в Москве почти в один день с Паниным, что помешало ему когда-то сделаться ей мужем. К Гримму же писала о том событии: «В нем я теряю друга и общественного человека, которому я бесконечно обязана и который мне оказал существенные услуги. Гений князя Орлова был очень обширен; в отваге, по-моему, он не имел себе равного...»

И об Гришке она плакала; все казалось ей в белой рубахе на льду; оборачивается и смеется ослепительно...

Князь Григорий Александрович, как видно, заметил своим сощуренным глазом ее минорность и весело взялся рассказывать про графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, про которого составляются многие армейские анекдоты. Не в пример прочим офицерам, годами живущим вдали от дома и чьи жены прославлены в столице громкостью поведения, супружница генерал-фельдмаршала являет прямо-таки образец добродетели. Самые злоречивые Двораброды не имеют возможности назвать ее амуров. И таковы ее христианские правила, что на Рождество прислала знатные подарки не только к мужу, но соболью муфту и модное платье к его пассии, живущей с ним при лагере. Старик даже заплакал от умиления и с чувством молвил: «Когда бы знал имя ее любовника, то непременно бы одарил ответно!»

Ей было покойно следить за потемкинским лицом. Не скрывая никогда намерений своих угодить ей, в то же время так же открыто не отпуская из виду свой интерес, в чем был необыкновенно умен. Семь лет назад безо всякой трудности разошлись они с ним постелями, а остался верный и близкий, лучше иного мужа. Даже и по Красному Кафтану советовалась с ним: брать ли к себе. Такова была тут идеальность в отношениях, что об тайных мужских качествах своего избранника писала ему. Князь на это отвечал метаморфозами Апулея...

— Каково ты, Григорий Александрович, разумеешь про дорогу на Крым: развезет ли в половодье? — спросила она.

Князь по привычке приподнял голову, будто разглядывал что-то вдали другим своим поврежденным глазом, ответил с основательностью:

— Там от порогов до Крыма степь, яко стол, ровная и реки не текут. В одночасье просохнет.

— Так и поохотиться можно будет! — взвился с юной горячностью Мамонов. — Ведь есть там олени?... Я слышал, что есть!



Князь с благодушною отцовою снисходительностью поглядел на генерал-адъютанта, переглянулся по-родственному с нею, сказал успокоительно:

— Теперъ полювать неспособное время. Зайцы да лисицы линяют, а лани вовсе худые за зиму становятся и в случку вступают. Мясо от них с собачьим духом.

Строящий Новороссию друг ее употреблял в разговоре черкасские слова. Она примечала в служивших при границах офицерах: говорили турецкие, калмыцкие, кайсацкие слова, носили вдруг мягкие татарские сапоги или бурки, башлыки и газыри, как казаки на Тереке.

Мамонов все подправлял большим пальцем сюрмленные брови и расхохотался весело, когда светлейший князь Потемкин рассказал, как фельдфебели из малороссов учат барабанщиков правильному счету.

— Как вы сказали, князь? Дайте, я заучу! — и радостно повторил в такт барабанному бою:

С... баба перцем,  
С... баба перцем,  
Перцем, луком, часныком!

За окнами губернаторского дома давно сделалось темно. Весенний уже снег липнул снаружи к высокому италянскому стеклу, где-то на крыше скрипел флюгер от менявшегося ветра. Долго играли втроем в карты. Ей было хорошо в Киеве, и ясность мысли не покидала ее...

Спать шла уже поздно. Князь крепкою рукою поддерживал генерал-адъютанта, который в ходе вечера вдруг перестал смеяться, смотрел в одну точку и начинал крупными глотками пить белое вино. Кадык обозначался тогда и ходил красиво и мощно по нежно-белой мужественной шее. Когда остались вдвоем без князя, Мамонов ухватил ее за руку, заговорил путано и поспешно, что в ее окружении странно смотрят на него, а прежние товарищи из офицеров смеются в рукав.

— Сами вот как бы хотели на мое место, а злословят! — горько жаловался он, пьяно всхлипывая. Потом стал говорить, что она его плохо любит. Довел до того, что сама разволновалась и расплакалась.

Он уходил раздеваться и долго не приходил. Она лежала и думала, что имеет на то право. Для великого дела отодвинула от себя другую жизнь, какую могла прожить в спокойствии и утехах. На миг даже показалось, что доброю гроссмуттер в Цербсте прогуливается по стриженной аллее и аккуратно причесанные мальчики в тужурочках и девочки с букольками и в панталончиках — ее внуки и внучки — степенно идут с нею, взявшись за руки. Но ведь была еще сказка в зимнем лесу...

Он вернулся, и принялась жарко ласкать его, пока не загорелся во тьме и забыл про все.

Древние костры пылали на берегах Борисфена. С правого, высокого берега они отражались в воде и продолжались на другом, низком берегу, уходя за дымный горизонт. Казалось, что неисчислимые в веках народы тронулись с места, сдвигая страны, мешая царства, рождая империи. Но буйные огни вдруг меркли, разноцветные гирлянды симметрично вставали в небе, повторяя прямые контуры дворцов на берегу. Плывущие в огне галеры плавно приставали к ним, гремели барабаны, и невидимые оркестры играли французские менуэты.

С галерами вместе плыли все те же народы, которые взяла с собою в провиденциальное движение к югу. Завязывался новый узел истории. Здесь плыли с нею и с послами всей Европы грузинские царевичи и лифляндские бароны, калмыцкие князи и башкирские мурзы, камчадалские волхвы и обдорские принцы. И навстречу выходили к ней другие народы, которые принимали под свою руку. День и ночь в монистах и лентах крутились и пели по обе стороны пути малороссийские поселянки, усатые молодцы в барашковых шапках и необъятных синих и бордовых шароварах гулко убивали сапогами землю. Ногайская орда с пиками и бунчуками строилась полумесяцем через всю степь, приветствуя ее визгами и завесою стрел в солнечном небе. Выходили разодетые в вышитое платье сербы, болгары, греки, арнаулы, прибежавшие на русскую сторону. В дубовом молчании стояли возвращенные из Польши староверы. Вестфальские и фрисляндские колонисты кланялись издали и чинно кричали русское «ура». Благонаравные евреи в черных одеждах и других, во французском платье, говорили к ней речь на каком-то вычурном языке из времени Барбароссы со вкраплением польских, русских, малоросских и бог его знает каких еще слов. Цыгане стучали в бубны и плясали по-испански...

Будто об некий камень споткнулась на ровной дороге, ударились в этот город. Он стоял перед нею вечный и великий, каково и надлежало ему быть посредине планетного круга. За много времени до того светлейший князь представил ей соображение, чтобы город этот родился «в знак, что страна сия из степей бесплодных преобразена попечениями Вашими в обильный вертоград, и обиталище зверей в благоприятное пристанище людям, из всех стран текущим» Говорилось, что прежде всего тут обязан быть университет, поскольку с соседством

Польши, Греции, земель Волошской, Молдавской и народов иллирийских множество притечет в Новороссию юношества обучаться. Все здесь стояло по великому образцу: храм в подражание святому Петру в Риме, судилище наподобие древних базилик, термы и лавки полукружием наподобие пропилей или преддверия афинского. Двенадцать фабрик, в числе их суконная, шелковая, шерстяная и прочие, приготавливали товары для заселявших доселе пустую степь россов, а также на вывоз внутрь империи и наружу. Посредине находились биржа и театр, а на холме — музыкальная академия или консерватория. Вместе с другом своим — князем — выбирала она из Петербурга то место: до порогов, на изгибе Днепра, откуда равно близко из Киева, в Крым, к Дону и к Дунаю. С потемкинского голоса давно уже и выстроила в уме *Екатеринослав...*

Когда же открыла глаза, то с послами и народами увидела пустое место. С некоторыми начатыми строениями и шалашами стоял там единственный двухэтажный дом светлейшего князя. Она и бровью не дрогнула, словно впрямь видела перед собою город. По настеленному ковру прошла на середину, положила первый камень в основание храма, который целым аршином обязан был быть длиннее, чем великий римский храм. За нею положили камни съехавшиеся здесь с нею австрийский император и прочие персоны вплоть до обдорского принца. Вышла стенка: два шага в длину и до колена высотой. В раскинутом на берегу Днепра шатре, являвшем собою походную церковь, отслужили молебен...

В княжеском доме вечером, услав даже и Мамонова, негромко спросила:

— Каково успел за два года такое множество настроить, мой друг?

— Так писал к тебе, матушка, что весь кирпич уже и сделан в селе Половице. Только ехать туда не захочешь: распутица!

Друг отвечал с записною, как всегда, наглостию, когда ловили на очевидном. Она сидела со счетами и говорила:

— Триста сорок тысяч на чулочную фабрику, так где они?

— В слободе избы для мастеровых — двести штук, — отвечал он, не задумываясь.

— Остаток ли есть?

— Сто тысяч, так сама знаешь, куда деньги идут. Всех тех послов в Киеве и по дороге на свой счет держим. Тако ж одежды бархатные для народа, иллюминация.

— Десять миллионов на то отпущено...

Таково, она когда-то слышала, спорили между собою супруги Чоглоковы, только суммы были мизернее. Здесь же досадно было не одно лишь казнокрадство. Оно и в Европах неистребимо,

да прямоты и размаху такого там нету. Но хуже, когда даже и не воруют, а само без пользы и смысла пропадает. Вон университета в помине еще нет, а жалование идет наставникам студенчества. Уже и канцелярия при нем, яко действующая, расходует 1284 рубля на год. И профессора числятся: де Гюсин по истории, Легонов по экономии, Прокопович на земледелии, Неретин да Бухарев на искусствах. Одинаково и великий маэстро Сартти определен директором консерватории с жалованием 3500 рублей, а пока у князя дома на правительственный счет играет. 300 000 рублей, что отпущены на Новороссийский университет, тоже к концу идут, а камня еще не положено.

Ничего больше не сказав, пошла к себе.

Все великолепно она видела: беленные в сторону тракта станции, сады с только что воткнутыми деревьями без корней, с журавлем и пятью тополями, что повторялся по обе стороны от дороги. Однажды, когда остановился каретный поезд, сама пошла к селению со свежесвязанными плетеными заборами. Внутри стояли одни передние стены с окнами. Танцующие поселянки с краскою на щеках, которых узнавала всякий раз, начинали с первой балетной позиции, а хоры крестьянские в полях пели с греческими паузами. Заметила, как умно переглянулись австрийский император с принцем де Линем, но то не имело значения. Она во всем знала больше их.

В Херсоне зато дома уже стояли грубые, из известкового камня, и тысячи людей возились на верфях. Всю дорогу виделись двигавшиеся через степь телеги, едущие с ними мужчины, женщины и дети. Они останавливались и с высоты сложенного домашнего скарба смотрели на пляски и иллюминации.

Здесь содержалось то, ради чего ехала и тратила десять миллионов, не считая княжеских и прочих опустошительных по отношению к казне действий. Светлейший князь в панике обращался к ней, что турки вот-вот нападут и надобно уходить из Крыма. Она, как могла, душевно бодрила его. «Вперед, Потемкин!» — писала еще из Петербурга.

Кругом это повторялось. Посреди Тавриды голые до пояса солдаты, возводящие для себя поселение, оставляли работу и смотрели с высоты недостроенных домов. При въезде в бухту, где обязан был встать город, что звала уже Севастополем, мужики бросали резать камень и смотрели с горы на ее проезд. Им назначались эта торжественность, иллюминация, пальба из пушек, поезд из сотен карет с тысячами челяди, подтверждающие ее державное присутствие здесь, у Понта Эвксинского и забранного у варваров Херсонеса. Остальное они сделают сами, не смотря на все немыслимые воровства и безалаберности. В том она была уверена, и та непоколебимая уверенность в ней была от всех русских царей...

В Севастополе австрийский император продолжал улыбаться, но глаза сделались серьезные. От одного края бухты до другого с приподнятыми парусами стояли корабли. Ровные линии пушек торчали из бортов. Французский посланник, которого за любезность к туркам прозвала Сегюр-эфенди, смотрел в трубу и дергал плечом.

В Херсонесе еще, когда вызвала из Константинополя своего посла Булгакова, вместе с императором Иосифом Вторым и послом австрийским при Порте бароном Гербертом подробно обсуждала всемирное римское наследство, что никак не определится полторы тысячи лет. Западная империя требовала к себе Валахию с Молдавией, ссылаясь на романские их корни, но только ведь славяне тоже оставались по ту сторону меридиана, и не говорила пока про них.

Ночью слышала бурную и стремительную музыку из порта. Ей сказали, что то лезгинский танец, каковой танцуют здесь все. Русский голос в такт пел:

Чем турка будем резать?  
Чем турка будем бить?  
Ножиком будем резать,  
Ножиком будем бить!

Подумала, что при многих обывательских и дворянских домах с той войны остались пленные турки, которые не захотели домой возвращаться. У сына ее турчонок-брадобрей Ванька Кутайсов любимым другом и наперсником сделался. Это, кажется, в нем единственное чисто русское качество — не питать анимальной злобы к инородным людям. Всегда кто-то со стороны ту злобу в русских подстрекает.

Наутро, когда с императором и послами должна была плыть из Херсона в Кинбурн, бесчисленные белые и синие паруса замаячили в тумане. То были турецкие бриги и фрегаты. Они тяжело вплывали в лиман, располагались полумесяцем, как раз там, где светлая днепровская вода, принимая в себя полуденный Буг, сливалась с темно-зеленою массою моря. Кинбурн просматривался отсюда на низкой, слившейся с морем косе. А напротив, на высоком скальном берегу, отчетливо возвышались квадратные бастионы последнего оплота Порты на этом берегу.

— Отложим до другого разу, чтобы посмотреть сразу и Очаков! — пошутил Иосиф Второй.

Было ясно, что грядет новая война. Она распрощалась с австрийским императором, что спешил к себе назад из-за неприятностей в Нидерландах, с послами и свитою, расцеловались по-родственному со светлейшим князем Таврическим и, сопровождаемая одним эскортом, в карете без вензелей поскакала в Москву...

Качаясь от дорожных неровностей, думала, что все движется попутно с тем ветром, который придумала для себя при въезде в Россию. Как видно, и случай с юным гвардейцем, что нес ее на руках в снежном лесу, тоже был выдумкой. Все делала сама, назначенное историей: всех, и бывших с нею мужчин, заставляла служить делу. Даже поврежденного стариною ярославского князя, что не перестает охать по поводу порчи нравов от времени Петра Великого, приспособила к службе. Идеальности орлеанской девицы нашла место во главе российских академий. Каторжников, которые бежали с Камчатки, вернула по неистовости их чувства к России, назад, к общей судьбе...

Мимолетно вспомнилось, как на первой остановке от Киева, в звонком от птиц весеннем Каневе, приехал к ней на галерею польский король. У него были печальные глаза, и теплая слеза скатилась ей на руку, когда прижался долгим поцелуем. «Кохана моя... панна!» — донеслось из тридцатилетней давности и утасло, как опущенная в воду звезда. Она без улыбки смотрела на синюю от седины голову не носившего парика Станислава Понятовского. Благородный сарматский профиль взят был словно из музея. Люди, как и страны, или притягиваются большими, чем они, массами, или улетают в холод космического небытия...

Глядя ровно в переднее стекло кареты, она тем не менее все видела по сторонам. Едущие в телегах и идущие к югу люди были бледные и худые, их одежды составляли ветхие домотканые рубахи и древние постолы. Тут и там стояли в поле кресты из свежего срубленного, с неободранной корою дерева; взлетали, кружились невысоко и садились на новое место вороны. То начинался очередной русский голод, про который знала из донесений правительства и сената и который уже трижды видела тут в своей жизни...

## II

Было томливое состояние, каковое испытывал и в картах: надобно с риском открыть их, да холодно в животе — а вдруг да проиграешь. Но там минуто это только длится и о золоте идет разговор: всегда можно где-то еще добыть. Здесь же целый год такое у него чувство, и не золото на кону, а все разом может рухнуть куда-то в темную бездну. Что он светлейший и Таврический и матушка-государыня с ним целуются, ничего еще не говорит. Уж ее-то он хорошо знает. Вон Гришку Орлова тоже князем сделала и медаль выбила как раз перед тем, как в Ревель ему отправиться уток на досуге стрелять. Для него тоже уже отчеканена медаль, так что всякого ожидать приходится. Тут, под Очаковым, ему выйдет решение...

Поэтому ничего здесь не делал без крайней осторожности. Это оглашенный старик, за которым, разинув рты, бегут солдаты, ничего не потеряет при проигрыше. Что, два раза раненый, отстоял Кинбурн, так то счастье привалило. А после этого вовсе фыркать стал в его сторону. И подруга-государыня в каждом письме ему это имя называет: Суворов да Суворов!

Только ему лучше известно, что у него тут на руках и что у султана. Теперь вся Европа в Стамбуле железные подпорки для Порты сооружает. Флота русского с морейской стороны нет и не будет, поскольку в Балтике занят со шведами. Здешний же флот раскидан бурей, так что все линейные корабли пошли на дно, а головной фрегат без парусов утащило к самому Босфору, где и спустил флаги. «Бог бьет, а не турки!» — писал к императрице.

Только она стояла на своем и на новое его предложение отодвинуться пока что от Крыма прислала вовсе уже недовольное письмо. Те ласковые да ободрительные слова если употребляет, то он умеет читать в истинном их значении...

Светлейший князь и генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин-Таврический придвинул к себе итальянскую шкатулку, отпер ее, осторожно посмотрел на горку голубых конвертов с вензелем «Г. Р.» — графиня Рейнбек». От них шел знакомый запах дубовых почек. И сразу явился некий образ: не обворожительный и всем известный, с постоянно улыбкою, а другой, будто из гладкого белого камня. Зная ее досконально и со всеми женскими пустяками и капризностями, тот образ видел постоянно и каждый час опасался его. Не в том боялся, что давала ему знать, когда девался куда-то миллион, а в чем-то так и не понятном ему...

«А вот как я о сем сужу: что ты нетерпелив, как пятилетний ребенок, между тем как дела, порученные тебе в сие время, требуют непоколебимого терпения. Пишешь ты о выводе войск из полуострова. Чрез то туркам и татарам открылася бы паки дорога, так сказать, в сердце империи, ибо на степи едва ли удобно концентрировать оборону, а теперь Крым в наших руках...

Что же будет, и куда девать флот Севастопольский? Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу покрыть может. Все сие пишу к тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более еще имеет расположений, нежели я сама...»

Все тут ему не новое, что пишет. С первого дня уразумел ее подходы, когда сама наталкивает человека на то, что хочется ей, а потом говорит, что слушается его. Таково это бабье иезуитство, которое в политику впустила. А он стал угадывать, что думает, и впереди ее говорить, будто собственные мысли.

Когда в первый раз это произошло, проницательно посмотрела и улыбнулась ему. После того, как добрая жена, все свои планы и пристрастия раскрывала перед ним. И с голштинским мужем каково у ней было, и с уродом-сыном, и с Польшею как намеревается поступить. Когда ударялся в амбицию и делал по-своему, допускала с улыбкою, а после все опять возвращалось на указанное ею место.

И вдруг получилось, что отъехал сюда. Даже сам не заметил, каково это произошло. Сказала, что лишь он один способен построить Новороссию. Они остались близкие друзья, и продолжает быть ей как бы вместо мужа, но не дальше и не ближе.

Что это ему в силах строить Новороссию, он без сомнительности знал. Те чесменские да кинбурнские герои лихие в приступах, а управлять да рассчитывать — не их дело. Здесь надобен правительственный ум: с высоты смотреть и одновременно все ухабы под ногами различать. А тех героев надлежит гнуть и ломать, чтобы не рассуждали и исполняли, что приказано. Знать неукоснительно, что все геройство их и слава только от одной милости зависят. Кому объявят, тот и славен, хоть и на будущие времена.

Из римских авторов видать, что вечная полемика между правительством и героями. Суворов прискакал к нему и даже поклон не пожелал сделать. Сразу потребовал приступа. Побежал смотреть стены. Только он преспокойно все это невежество принял: через неделю созвал совет. Суворова посадил сзади других генералов и слушал, подстригая ногти. Тот и нагрубил самому себе в убыток.

Так и продолжалось. Суворов уже не кричал, а только смотрел с открытою дерзостью. Донесли, что прямо и среди солдат называет его «таврическим вором» и что задницы скоро ему не хватит, чтобы орден вешать. Как раз сделалось известно, что турки целою армиею готовятся напасть на Кинбурн, вот и послал туда героя с одним корпусом. Только что-то случилось у турков, и не смогли получить Кинбурна.

Тем временем, однако, ревизия обнаружила, что сей прославленный генерал незаконную прибыль помимо государственного жалованья имеет: в чины за мзду таких-то и таких-то офицеров произвел и на пятьдесят возов купленного сена для кавалерии извел оправдательных документов. Офицеры того не признали, но разговор уже шел...

Вдруг из лазарета явился к нему с палкою. Бросил ее в сторону и встал на колени:

— Прости, светлейший князь, меня, старика глупого. Милости прошу: дай взять Очаков. То правда, что не одну тысячу душ под стенами здесь положим. Брать все одно будем, но завтра уже положим второе и послезавтра — впятеро!..

Не отвечал тогда ему и только чистил ногти. Еще неизвестно



ему было: станем брать или нет. Тогда герой встал с колен и лишь долго посмотрел на него. Потом повернулся и побежал, будто слепой, через комнаты, мимо адъютантов, куда-то в степь...

Сейчас, сидя на укрытой коврами тахте в богатом караимском доме, что взял себе под ставку, князь Григорий Александрович не знал, что ему делать. В прорубленные шире окна с новыми стеклами видны были стылое море и небо с низкими тучами. Как бы отдельно от всего висели в воздухе желтые башни и башни Очакова. От веранды, где летом рос виноград, начинались ползущие откуда-то из-под земли дымы. Будто весь берег над кручею и дальше в степь напиток был затаенным жаром. Русская армия, зарывшись в древний песок, полгода уже ждала приказа к отступлению или штурму.

Он продолжал сонно смотреть в письма... «На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу; об нем идет война, и если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь и все труды и заведения пропадут и паки восстановятся набег татарские на внутренние провинции. Кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем и не будем знать, куда девать военные суда, как ни во Днепре, ни в Азовском море не будем иметь убежища. Ради бога, не пушайся на сии мысли, кои мне понять трудно, и мне кажутся не удобными, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгод и пользы. Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтобы держаться за хвост?..»

Слышал, как заглядывал адъютант. Только знал, когда видят его в таком полусне, то не лезут с докладом...

Громыкнуло, раскатилось что-то за окнами, звякнули стекла. Слышалась отдаленная ружейная пальба. Он как поднял голову, так и сидел, наливаясь кровью. Чувствовал даже, как тяжелеют складки под подбородком. Что-то мешало ноге. Он посмотрел, увидел раскрытую французскую книгу. Она здесь была при нем, чтобы рассказывали императрице и другим, что при поле брани просвещением и полезными человечеству переводами занимается. Все, что надо для того, делал тут ученый грек, которого держал при себе...

Швырнув ногой книгу, так что листы разлетелись, он вскочил, крикнул одеваться. Прямо на архалук натянули шинель и, незастегнутый, бросился к возку, ударил в спину ездового, полетел к передовым редутам. Там дым еще рассеивался, а на турецком окопе стелилось под морским ветром русское знамя. В дороге адъютант сообщил, что произошло. Нарушив приказ, солдаты сами подлезли к туркам, подложили фугас и захватили ложемент как раз напротив главных очаковских ворот...

Двое полковников стояли на командирском пункте и смот-

рели в его сторону. Подъехав, он соскочил с возка, давясь криком, бил в зубы, справа и слева,— круглое бессмысленное лицо. Потом бросился к другому...

Что там произошло с ним, он не сообразил. Прямой и высокий полковник спокойно смотрел на него. В глазах не было угрозы, но не было и страха. Только он вдруг понял, что никак не может ударить. Лишь потом он разглядел, что тот из стариков, по возрасту долженствовавших уйти на покой и задержанных в связи с войною. Полковник с холодным неприятием в глазах продолжал смотреть на него. Что-то заняло в печени, и непроизвольно сделал от него шаг назад. Повернулся к Очакову:

— Завтра приступ!

Возвратившись в штаб, узнав фамилию полковника, оказавшуюся почему-то двойной. Продиктовал в приказе ему и с полком первым идти завтра на стену...

### III

Вдруг перестало болеть в груди. Сделалось совсем тихо в мире. Он лежал и смотрел в морозное звездное небо. Слышно было, как солдат-ездовой спрашивал дорогу на Ростовец. Он и сам мог бы сказать солдату, но лежал, не разрушая этой ниспосланной божьей тишины.

Их, побитых под Очаковым офицеров, везли обозом, на устланных сеном телегах. По одной, по две всякий день сворачивали в сторону, пока не осталось их четверо. Теперь надо было сворачивать ему. Где его Ростовец, он видел по небу, но объяснить бы свое чувство не мог. Наверное, так птицы определяют путь домой...

Все, до каждого мгновения, помнил он из того времени, даже пустой колосок, трепетавший под жгучим морским ветром. Когда аскеры отбросили четвертую лестницу от стены и солдаты поставили пятую, он сам полез вверх со шпагою в руке. Тогда и увидел этот сухой колосок, который рос на самом верху между двумя плитами известняка. Его удивило, как мог там вырасти...

А накануне стоял с Шемарыкиным и смотрел, как солдаты подрывали турецкий окоп. Ничего не могли они сделать против этого, поскольку солдаты их и не спрашивали. Вся армия гудела на таврического князя, что неспособен к войне и только людей морит, пугаясь решительных действий. Одинаково и флот его не принимал. Адмиралы прямо говорили, что фрегаты не от шторма потонули, а сырое дерево для них покупал, на парусине да канатах миллионы нажил.

Целый год спокойно смотрели, пока инженеры из Европы

очаковские бастионы укрепляли, аскеров правильной обороне учили и припасы везли. В лимане и на Тендре флотские тоже без разрешения князя с мальми судами турков громили. Суворов требовал с ходу Очаков брать, так светлейший возражал, что о солдатах беспокоится. А за год от одного тифу да гнилых сухарей, что потемкинские интенданты снабжали, половина армии стаяла. Так все тут и называлось: «потемкинские сухари», «потемкинские дома», а если был без мяса, то «потемкинский суп». И повторяли суворовскую фабулу про «светлейшие потемки», куда закатилась русская слава.

Знали, что государыня тоже требует скорее приступ делать, да когда в человеке по многим грехам его дурная опасливость все прочие чувства превозмогает, то сам себе уже не верит. И на выстрелы турецкие из крепости велел не отвечать, чтобы большого сражения не получилось. Ждал, что война сама собою успокоится. Пока, что ни день, балеты устраивал, и в виду армии содомские мерзости и бесчинства с навезенными фаворитами да графинями совершал. Говорили: в вине с ними на афинский манер купается и римскую тогу носит. Все дозволяется ему, как никому другому раньше...

С Шемарькиным опять тут встретились, и полки их стояли в одной диспозиции. С утра в этот день все с ним не разговаривал. Тот по своей манере солдату за что-то кровь с лица пустил, а он этого не любил. Тут и случилось, что солдаты самовольно в турецкий ложемент залезли, а затем светлейший князь прискакал. Шемарькина же по зубам и съездил, а тот лишь пучился от страха. То обычное дело: кто как с меньшими себя держит, так же и с собою позволяет...

На него светлейший князь смотрел с удивлением. Голову откинул и заморгал вдруг единственным глазом, прежде чем сверкнуть опять на целый свет. Потом закричал про приступ...

В грудь ударило уже наверху, когда приколол шпагою янычара, вставшего на пути. В последний момент увидел, как снап огня вырвался из пушки, что поставлена была по европейскому правилу от противоположного края бастиона. Падая уже, смотрел, как прибежавшие суворовские солдаты из Кременчугской дивизии штыками кололи канониров...

Телега дернулась, заскользила железным ободом по снегу. Но ничего не болело, и дышать было просто. Другие раны у него дольше болели: те, что получил в Пруссии, со шведами, в Польше и когда-то еще с турками. Он думал о доме, куда его везли, о том, что происходило с ним в эти дни и во всю его жизнь...

## ЭПИЛОГ

Она прошла совсем светлыми, несмотря на ночь, комнатами. Фавны и генералы смотрели со стен, будто зная ее замысел. В странной белизне ночи картины излучали тайную жизнь. Потолки сделались выше, и бронза получала суровый смысл. Только статуи омертвевали этим равномерным и призрачным светом, при котором мрамор умирал и делался обычным камнем.

На заднем дворе ее ждала карета, каких сотни ездят по трактам и дорогам. Без чьей-то помощи она села туда, и карета сразу тронулась в приготовленные ворота. Когда выехала, шесть конных гвардейцев без знаков полка на одежде пристроились в полуста шагах за нею.

Проскакав улицу, выехали к Неве. Ни единого человека не было видно в городе. Звон копыт по мостовой скрадывался близкою водою. Она велела сделать полный круг возле всадника на скале, остановилась в правом углу площади. В белой ночи голова Петра смотрела отвлеченно от земли, как бы напрягши все чувства, чтобы увидеть непостижимое. Она вспомнила, как спорила с Фальконетом, идти ли за сюжетом святого Георгия и ставить змею под копыта. Как видно, гений всегда входит в противоречие с расчетом, чем и прав. Царственный всадник не видел этой змеи. Лицо его никак не содержало красоты и бравости. Оно оторвано было даже от коня и туловища.

Поглядев еще несколько времени из кареты, она поехала дальше. Летняя ночь безо всякой границы переходила в утро. Закончились каменные стеснения улиц, пробежали заборы слободок, и роса заблестала в лугах и деревьях. Широко и бесконечно открылись виды.

Давно забытое волнение ощутила она. В нарушение собственного правила даже выставила руку из окна. Нет, то не почудилось когда-то ей: ветер продолжал дуть все с тою же ровной силой. Она задумалась, вспоминая, когда же перестала замечать это. Карета летела с ветром куда-то в неизвестную глубину равнины...

Удар был столь неожиданный, что не могла уже опомниться. Потемкин прямо намекал ей на то, что ничего не хотела понимать. Неужто, подаривая радость любви, бог взамен отнимает все другие чувства? Когда что-то уразумела, то, не веря себе, позвала его и сказала:

— Дорогой и любезный мой друг! Я, как то, очевидно, стало заметно, уже в зрелых годах, и все может случиться. Вы же в цветении молодости и одарены всеми достоинствами, необходимыми к счастью. Надобно уже подумать об устройстве вашей судьбы. Размышляя про это, я отыскала достойную вас девицу, каковая отвечает всем требованиям положения вашего и воспитания...

Он смотрел на нее с испугом, и тогда неправильно истолковав такое выражение, она назвала ему юную графиню Брюс. Ожидала, что упадет на колени, станет отказываться и говорить о счастье быть только с нею одной. Мамонов вправду упал на колени и прошептал:

— Так я уже помолвлен, матушка!

— Как... помолвлен?

Она говорила совершенно спокойно, хотя все уже поняла.

— С княжной Щербатовой, матушка. Мы год уже, как любим друг друга!

Она отпустила его и все стояла на одном месте час или два. Когда пришел секретарь ее Храповицкий, то даже отшатнулся, такое у ней было лицо. Потом тихо спросила:

— Зачем же он не сказал откровенно? Год ведь, как влюблен...— и твердо заключила: — Пусть будут счастливы!

Перед вечерним выходом она сама обвенчала их. Стоя на коленях, они просили у ней прощения. Она же смотрела далеко через их головы, видела некий лес в снегу...

С удивлением говорила секретарю:

— Я простила их и дозволила жениться. Они должны бы быть в восхищении, но, напротив, они плачут. Тут еще замечается и ревность. Он больше недели беспрестанно за мной примечает, на кого гляжу, с кем говорю. Это странно...

В приданое к нему дала деревни в 2250 душ, купленные у князя Репнина и Чельшева. Потом не думала ни о чем и не смотрела в мужскую сторону. Являлись по вызову на ночь и исполняли свое дело некоторые пареньки. Так, услышала она, звали их между собой секретари. А где-то посередине груди стала казаться дыра, такая же, как в детские годы была в боку...

— Графиня Рейнбек!

Так объявили ее на почтовой станции, но лошади были уже

готовы, впряжены в две минуты, и карета полетела дальше в поля и леса...

Почти вместе оно и произошло. Четыре года того несообразного с планетным ходом, что происходило во Франции, соединились в один дымный, с кровавыми потеками, европейский день. Умершие философы свободно разбрасывали угли, и теперь вспыхнули все сразу, раздуваемые слепым вихрем человеческих порочностей и страстей. Галльский Пугачев перешел в Вандее на сторону короля, но того это не спасло.

Она ходила потяжелевшим, но твердым шагом. Залетевшие сюда из Европы угли прожгли бы только дыры в наружном платье. Этого она не страшилась. Когда вдруг увидела удвоенную возле себя охрану и сказали, что из Парижа могут прислать убийцу с кинжалом, то страшно рассердилась и велела ту охрану от себя прогнать.

Но воду надо было лить заранее, чтобы до тела не дошло. Адвокатов и прокуроров тут немного найдется, чтобы якобинство сделать правилом, но вот перевернутое наизнанку, да с русской идеальностью, можно все от Петра Великого и ею сделанное в одночасье погубить.

В тот уже день, когда поступило из Франции страшное известие, увидела она, как чудовищный ее сын пнул ногою подставу с вольтеровым бюстом. В другой раз, читая газету об якобинских ужасах, он прямо резонерствовал к сыновьям:

— Вы видите, мои дети, что с людьми следует обращаться, как с собаками!

Кажется, и под кроватью у себя он искал якобинцев и всякий раз утверждал, что только королевская слабость духа и отсутствие железной палки привели Францию к такому положению. Услышав, что собирается конгресс европейских государей говорить о том, какво дальше действовать, великий князь вскипел:

— Что они все там толкуют? Я тотчас все бы прекратил пушками!

Голос его вдруг сделался на два тона выше, и на нее при этом смотрел со значением. Тут же находились внуки, и она с серьезностью ответила:

— Разве ты не понимаешь, мой друг, что пушки не годны воевать с идеями!

Не посмев ей возразить, он убежал во двор, и послышалась яростная его команда над солдатами, что несли при нем постоянный караул. Так он всегда успокаивался. Но когда с пеной

возле рта кричал о пушках, то как раз ясно увидела в нем кристального российского якобинца. То ведь не в идее коренится смысл, а в способе действий. Постулат великого немца пришел на ум:

Ссылаться может даже черт  
На доводы Священного писанья...

Покажи ему на другую сторону, так и туда замарширует с палками и клюшками.

Над теми качествами ее сына иронизирует орлеанская девица, и первые они с великим князем враги. Но та же прямолинейная идеальность у наставницы российских академий. Когда безвестный директор таможни написал и распечатал у себя дома ниспровергательную на общество и государственный порядок книгу, то граф Воронцов выразил сомнение: «Если таковая *etourdirie*<sup>1</sup> оказывается достойной смертной казни, то каким образом должно наказывать настоящих преступников?» А княгиня Дашкова, ни минуты не колеблясь, заклеила радищевскую листовку набатом революции и требовала крайних мер. Любопытно, каково вела бы себя, окажись волею судьбы в одном стане с будущим российским Робеспьером? Там тоже безо всяких колебаний нашла бы себе место. «Коль любить, так не на шутку!»

Нет, она и без них знала, каково ей действовать. Вольтера приказала унести в запасник, сама обратилась к европейским государям с призывом на якобинцев, дала широкий приют французским беглецам. Но когда те взъярились на учителя ее внуков Лагарпа, продолжающего дружбу с разрушившим Бастилию Лафайетом, даже готовились его убить, она пресекла их слепую мстительность. Лагарп продолжал свои занятия с внуками. В будущей великой задаче их нельзя было оставлять в однозначном понимании мира...

Одновременно поступала внутри со всей решительностью, выметая даже соломинки залетевшего сюда не к месту и времени робеспьерства. Сама объявила о Радищеве, что хуже Пугачева, о чем лично писала на книжке: «Сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выискивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальника и начальства». Автора велела приговорить к смертной казни, после чего услала в Сибирь. Степану Ивановичу Шешковскому, что по тайным делам находился при ней, приказала усилить наблюдательность, и тот вместе с московским генерал-губернатором

<sup>1</sup> Шалость (фр.).

князем Прозоровским такую идеальную сеть раскинул, что даже фран-масоны в нее попались. Одного из них, ее старого ответственного Новикова, она особым указом повелела взять в крепость. И не мартинистов испугалась, а твердо дала понять некой партии при собственном дворе, что все ей известно и не позволит поступить вопреки своей воле. Те масонствующие заговорщики из московских стародумов обратились к ее сыну, великому князю Павлу Петровичу, чтобы сделался у них магистром. На том и замкнулось их революционерство. Только не сыну, а воспитанному ею внуку наследовать назначенную этой державе задачу...

Пока же продолжала громко провозглашать в Европе союзы против якобинской революции. Поскольку Австрия с Пруссией невольно повернулись в ту сторону, обвинила поляков в якобинстве и окончательно поделила их в свою пользу. Также справилась с шведами и сильнее поприжала турков, развязав себе руки в Тамерланову сторону, для защиты единоверных христиан Кавказа от персов. Но ни один русский солдат не появился в Европе воевать с якобинской Францией...

— Графиня Рейнбек!

Опять в две минуты, ничего не спрашивая, перепрягли лошадей, но от тракта теперь поехали по меньшей дороге, к видневшейся за лесами колокольне...

Само время смецалось. Такое стала замечать за собой в этот несообразный с правилами год. Другие люди наполняли залы, а прежние, что были в ее молодости, казались куда-то уехавшими. Она с недоверием смотрела порой на человека из того времени, вспоминая, на самом деле видит его или тот тоже уехал, а этот вовсе другой. Гость-философ некогда напрозорчил жить ей восемьдесят лет, и отстраняла от себя всякие об этом мысли. Некто похожий на лежавшего в гробу молодого генерала, по которому плакала, и одновременно на другого, неверного, кто звался «Красный Кафтан», явился возле, подавал с ловкостью руку, безо всякой черты заходил и уходил от нее...

Из прежних лет вдруг прискакал светлейший князь и друг ее, но расхаживал большими шагами по комнате, разбил любимого амура и называл русским словом, означаящим *vielle putain*<sup>1</sup>. А потом размахнулся на нее...

Она позвала другого, с льдистыми глазами и вырванным на лице куском мяса. Тот никак не изменился и смотрел вроде бы

<sup>1</sup> Старая б...ь (фр.).



глуповато. Так же смотрел он тридцать лет назад, когда просила не допускать грубостей к ее арестованному мужу. Теперь он слушал, как пространно жаловалась ему на светлейшего князя, что переходит в дружбе все границы, и вдруг спокойно сказал:

— Что же матушка, я... могу.

Она умолкла на полуслове, заплакала, замахала руками. Взяла клятву с него, что не сделает поступка. Тот пожал плечами и уехал к себе назад за Москву разводить лошадей...

И светлейший князь уехал. Больше его не видела и тоже плакала, узнав об его кончине. Опять, как и во всю ее жизнь, выдумывали что-то несуразное, но ее уже то не трогало...

Даже днем теперь закрывала глаза, и являлся к ней некий образ. Все до мелких подробностей видела она: даже иголки от хвои на обшлаге его рукава. Тогда позвала секретаря и велела то, чего боялась сделать всю жизнь. Через месяц ей принесли имя с отчеством и фамилию, что вдруг оказалась двойной. А также назвали место, которое с трудом нашла на карте. Там текла река и была такая же равнина, как и вокруг. Она велела приготовить приватную карету и никому о том не говорить...

Тут все границы были пренебрежены, и ни один даже ее любовник, в том числе великий в мелкой хищности своей таврический избранник, не смели таково говорить с нею. Этот, между прочим, и в мыслях не зарился на те фаворитные лавры. Лишь с грубой прямолинейностью первородца требовал той самой идеальности. Раз и навсегда определив ее Ф е л и ц е ю , он и ждал от нее точного и неукоснительного исполнения образа.

В том была самая что ни на есть русскость его, даже что и дальше родство от татарина. Теперь она хорошо это понимала и сверху, и изнутри, поскольку сама сделалась православная безо всяких отклонений. Тут доминировало чувство молодого, несмотря на тысячу лет, народа: поставить на пьедестал и требовать, требовать требовать.

Подай, Фелица, наставленья:  
Как пышно и красиво жить,  
Как укрощать страстей волненье  
И счастливым на свете быть?<sup>1</sup>

Не больше, и не меньше. То им мимо ушей, что многократно и со всей честностью говорит о себе, что лишь обыкновенных способностей женщина, больше слушающая здравомысленные суждения, нежели сама их рождающая. И все человеческие слабости в ней присутствуют, разве что обладает умением при необходимости управлять ими. Чувствительность здесь не в счет,

<sup>1</sup> Г. Р. Д е р ж а в и н. «Фелица».

и что рассуждать о возможности преодоления той естественной виной слабости есть лицемерие, уже писала...

Только не стрекозиными крылышками обладает этот язвительнейший слагатель од. И не изящно разукрашенной бабочкой французского обворожительства порхает вокруг ее имени, как и нет здесь стародумного рабского пышнословия. Тут истинно парнасский размах крыл их обнаженной природности. Изю всех компонентов: легендарных и предметно осязаемых происходит новорождение великого языка, так что идущая от высшей сложности простота здесь напрямую сродни Гомерам и Вергилиям. Впрочем, не туда, а в кипящую русскую реальность направлены молнии. Так же и младенческая жажда идеала обязательно присутствует здесь: не от себя и в себе исправлять пороки, а чтобы был пример, равнозначный приказу.

Когда десять лет назад прочла это впервые, то даже всплакнула по-русски, все уже прозрачно видя. То была так или иначе составленная сказка, где в противность злым ей назначено быть доброй. На сказку же тут смотрят со всей политической серьезностью. Она сама когда-то выбрала это место, и деваться ей некуда.

Мурзам твоим не подражая,  
Почасту ходишь ты пешком,  
И пища самая простая  
Бывает за твоим столом;  
Не дорожа твоим покоем,  
Читаешь, пишешь пред-налоем  
И всем из твоего пера  
Блаженство смертным проливаешь...

Не слишком любишь маскарады,  
А в клуб не ступишь и ногой;  
Храня обычаи, обряды,  
Не донкишотствуешь собой;  
Коня Парнаска не седлаешь...

Да, этот церемониями не жалуется, как некогда французский гость-философ, а прямо говорит: не пиши, коли нет очевидного таланту. Ни единой слабости не желает в ней видеть и другим не позволяет. В первую голову ей самой.

Зная превосходно тот крайний характер, почему же сделала его своим кабинет-секретарем? Может быть, безоглядная русскость и привлекла ее в нем? Сей бард — и начало, и производное назначенного ей подвига. Солдатом-преображенцем возводил ее на престол, с убежденной радивостью укрощал несущий гибельность державе и всей Европе бунт самозванца; добивался идеальности в управлении Олонецким и Тамбовским краем, воевал за то же в Сенате. Даже фамилия его лицетворит необ-

ходимость. И не верхний глянec, но самую душу ее правительственного портрета ввел в русскую историю:

Стыдишься слыть ты тем великой,  
Чтоб страшной, нелюбимой быть;  
Медведице прилично дикой  
Животных рвать и кровь их пить.  
Без крайнего в горячке бедства  
Тому ланцетов нужны ль средства,  
Без них кто обойтися мог?  
И славно ль быть тому тираном,  
Великим в зверстве Тамерланом,  
Кто благостью велик, как бог?..

Положим, тут тоже требование от нее идеальности при собственном самозабвении. Известно, что пиит в тогдашнем своем офицерском чине пугачевцев безо всякой даже нужды на суках развешивал. Так и на себя готова она взять свою часть вины. Однако не позволяет!

До страшного иной раз у нее с ним доходит. Гремит голосом, размахивает руками и наступает, требуя, чтобы не меньше, чем весталкой, была в поведении. Приходится звать другого секретаря или дежурного офицера, чтобы заградится от той верно-подданной ревности...

В том величие и одновременно ахиллесова пята этого народа. Сотворение сказки, начатое от первозданных костров, влечет все к той же ирреальной справедливости. Тут и делаться все обязано по волшебству: золотая рыбка к месту удачно явится и ведра с водой к дому побегут по щучьему велению. Также и царь добрый, придуманный, обязан появиться и дать приказ, чтобы все было хорошо. Ей как раз и была та роль уготована.

Такое хитроумное ожидание чуда лишает инициативности, зато внутри чуда великую талантливость проявят. У чернозема будут сидеть голодные и умом раскидывать, каково так жизнь обустроить, чтобы все произрастало «по слову». Пшеница чтобы кустилась сам-сто, а волк бы с ягненком вместе пасся. И считать тут не требуется, как приходится голландцам или японцам, поскольку ширь тоже вполне сказочная. К этому еще удаль да неоглядная отвага оборотной своей стороной и вовсе все по ветру пускают. А как законный результат всему случается, то все вокруг становятся виноваты: немцы, татары, доктора, но только не сами. Мы-то, известно, что молодцы. Если же дома, то жена виновата. Так и ей ведь за многое не от себя, а прямо за них назначено в истории отвечать. И вдвойне еще, как женщине. Из летописей видно, что своими же руками сотворенных идолов потом и секли, если вовремя дождя не было.

Тому некоторое оправдание есть, что история научила: все добуденное от того чернозема тут же и отберут до зернышка

князя с дружиною, орда или Тарас Скотинин с сестрою своею Простаковою. Поневоле считать здраво разучишься и руки опустишь, али прямо побежишь от той богатой земли. Отсюда уже и в сказках не добрые сюжеты роятся, а все больше про людоедствующего Кощея да Змея-Горыныча.

Ко многим будущим бедствиям может служить такой выковавшийся в сказках характер. Любой политичесствующий калиостра сможет какую захочет сказку рассказать да клич кликнуть. Побегут, не оглядываясь, и с той же отвагою. Оно и не сложно, раз покаяние за чужой счет.

Только сколько же она сама прибавила к этому характеру? Тут, все делала, что они хотели. С тем ветром летела ровень и лишь приглядывала, чтобы паруса ровно стояли. То тоже обманчивая мысль, что можно хоть и герою их поперек ветра ставить или рулевое колесо крутить как хочешь. Ни один правитель, будь хоть Нерон, хоть Александр Великий, ничего не совершит в одну только силу своего желания. Римляне были готовы к неровной гнусности, как и греки с македонцами к вселенскому подвигу.

В том и было ее назначение, что поставила державный корабль твердо по ветру царя-преобразователя, когда начал уже этот корабль опасно крутиться на месте среди камней и водоворотов. Куда б ни увлекло его, если бы сразу не потонул, на прусские ли камни или на вековые отмели Смутного времени, повсюду ждали одни лишь голые чудеса заместо основательной реальности.

Так что, хоть держалась исторического ветра, но есть и филицины заслуги в том планетном плавании. Розу без шипов не обязывалась доставать, поскольку не бывает идеалу в природе. Руководствовалась здравым смыслом и в полную меру своих сил и способностей честно делала все в пользу этой державе. А посему и к пользе человечества, ибо таково место в нем этого народа и державы. Бард все правильно угадал насчет направления ее тридцатилетней работы. Первая она тут от Петра Великого, кто ту лукавую сказочность терпеливо обуздывал и делом заставлял заниматься. Само явление этого барда тому свидетельством, что не втуне остались труды просветительства. Будет ли кто следующий работник на этом месте?..

Каковы же станут движения этого народа и характера в веки грядущие? Где-то Европу в обратную сторону повторяет, что бросилась в Новый Свет. Там через голый океан идет дорога, а здесь к той же Америке навстречу — континентальное движение. Только не вобрали бы в себя на той исторической дороге рассеянные там в избытке драконовы зубы, чтобы сделаться вдруг новой тамерлановой угрозой человечеству. Свободно вы-

плеснувшаяся за океан Европа восстала теперь на сюзерена и новую практику жизни устанавливает. Так ли будет и здесь когда-нибудь поступлено с сюзереном и какую практику придумают? От сказки пойдут или от реальности? С той же тамерлановой опасностью все это и связано. Терпеливое просвещение и здравый смысл лишь способны укротить буйство исторических стихий. Не на один век такое состояние, и точные должны соблюдаться сроки, ибо выкидыш или урод с зубами от дракона может родиться...

Так каково же ее тут место? Неужто и впрямь все предопределенно некой звездой, вставшей вдруг посередине дня в небе? Это не имело значения. Даже если бы не было той звезды, все происходило бы так же. Та же синяя мгла впереди, куда въехала пятьдесят лет назад, и невозможно прозреть грядущее...

Она работала. Копия древнего списка лежала перед ней...

Да, то было несомненно. В летописи прямо говорилось, что сын князя Ярослава Галицкого, Владимир, претерпев многие жизненные бури и мытарства, нашел приют у зятя — князя Северского Игоря. И происходило как раз за год до злосчастного похода того на половцев. Таким образом получалось, что песенная Ярославна, плакавшая на городской стене по мужу, именно была дочь галицкого князя Евфросинья. А приходилась князю Игорю второй женой и мачехой его сыновьям. Она аккуратно записала свое открытие в тетрадь...

Продолжалась белая ночь на равнине. И в этой дороге она не могла быть без дела. В походный ящик под сидением положили необходимые выписки из летописи и список поэмы, снятый ее секретарями с оригинала, отысканного графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным в дальнем монастыре. Все те годы она твердила графу, что обязательно где-то должна быть такая поэма, как у всякого великого народа. Таково и найдена была «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича».

Этого она ждала, а другого быть не могло. Как и в Роландовой песне для Западной Римской империи, поражение и плен героя легли тут в сюжет. Это если нетвердый духом и без будущего народ, то обязательно о победах поет, подобно бабуину, что стучит себя в грудь. Такая же тема для главной своей песни — знак могучего народа...

Так и не зажигая свечи, сидела она перед окном в пригтовленном для нее доме. Белое, без звезд, небо стало постепенно

светлеть, розовый цвет явился на деревьях. Неслышно подъехала карета. Она сама сложила записи, вышла и села на кожаные подушки. Никого больше с ней не было. Шесть конногвардейцев оставались тут ждать ее.

Кучер в суконном дорожном архалуке тронул лошадей. Карета покатила по дороге, у развилки свернула на сторону. Сияюще-золотой луч солнца вспыхнул из-за туч, расширились дали, гряда за грядой открывались синие, голубые, лиловые леса, матово-жемчужная равнина находилась между ними, и там текла река.

Высокая старая женщина будто ждала ее. Проворная девка отворила ворота, и карета въехала в небольшой двор. Женщина молча поклонилась, пригласив в дом, а она все смотрела на нее, сразу узнав. Лицо, глаза, держание головы знакомы ей всю жизнь.

В тот день и умер, когда привезли из Очакова. Посмотрел на нас с невесткою, на дом, на деревья и закрыл глаза. Так и снаesi с телеги, в которой приехал, прямо на стол.

Тепер она видела, что женщина обыкновенного роста. Сколько же ей должно быть лет, если сын тогда был вовсе мальчик, когда оказался как-то в снежном лесу? И она была там девочкой...

— Зовут-то как тебя? — спросила женщина.

— Екатерина, — сказал она тихо.

— Значит, Катенька... А откуда знала его, Сашеньку моего?

— Видела его... давно.

Непонятную робость чувствовала она и одновременно внимательно смотрела на стол, лавки, буфет, на книги в самодельных шкафах у стены. Они были на разных языках, и лежали там знакомые ей журналы. Значит, ходил он тут, брал эти книги из шкафа, делал что-то свое. Окна были закрыты ситцевыми занавесками, и стояли герани.

Все время оглядывалась она на мальчика, что сидел с часословом в углу и старательно выписывал оттуда буквы. У него были серые глаза и прядь волос падала со лба, когда склонялся к тетради.

— Петр Александрович, отец вот его, теперь уже капитан. Персы бунтуют, так пошел вызволять от них Кавказ, — рассказывала женщина.

Вошла невестка, принесла молоко и хлеб. Она ела с удивительным аппетитом, слушала про то, что как раз и родился этот мальчик в год смерти деда, а потому назвали в память его Александром. Тепер тоже в царицынские кадеты готовится, и

туда без знания счета и букваря не берут. А учит его батюшка — отец Прокофий. Внукова капитанского жалованья на подержание усадьбы не хватает, а так хорошо живут, сад, корова, овечки есть. Не хуже других Ростовцевых или Шемарькиных, чьи дома за рекою...

Потом она ходила к погосту у каменной побеленной свержу церкви. По подписям там тоже лежали все Ростовцевы да Шемарькины, а от края начинались Ростовцевы-Марьины. Вровень с другими вокруг стоял на равнине деревянный крест, рядом другой — поменьше.

— Машенька, святая душа, царство ей небесное! — перекрестилась женщина. — Александр Семенович, сын мой, поручиком еще откуда-то из кайсаков привез. Раньше его умерла...

Она плакала горько, навзрыд, и Анастасия Меркурьевна, как звали мать полковника Александра Семеновича Ростовцева-Марьины, утешала, гладила ей плечи:

— Поплачь, Катенька. Оно всегда, душа моя: наплачешься, и полегчает. Такая доля сиротская!

Вовсе, как девочка, жалась она лицом в теплый пуховый платок, и никогда еще в жизни не испытывала такого счастья. Она чувствовала запах молока, печного дыма, хлеба, травы и леса. Ничего в целом мире не было у нее, кроме этой старой женщины с теплыми руками, которая ни о чем не спрашивала и все как будто знала...

Вдруг пришла мысль, что может в одночасье дать им другой дом с мраморными колоннами, а капитана сделать генералом. Но устыдилась сразу того, даже посмотрела на них с извинением, настолько здесь это было не к месту...

Младший Александр Ростовцев-Марьин все смотрел от своего места, где сидел с книгою. Когда уезжала, то подошел, не отводя с нее глаз. Она положила руку мальчику на голову, почувствовала мягкую густоту и буйность волос. И вдруг произошло необъяснимое...

Раздвинулось время. Она увидела знакомое здание сената и площадь перед ним. Войска что-то кричали, строились в каре, и среди них впереди находился некий поручик. Был это тот самый мальчик, кому гладила сейчас голову. Навстречу им из проездов дворца выкатывали пушки. Ветер трепал у поручика выбившуюся прядь волос...

Когда ехала назад, то все не уходила из ума эта площадь с войсками, которую на мгновение увидела, коснувшись детской головы. Она вспомнила, что когда-то хотела угадывать будущее. Это умели люди с побережья, где море выбрасывает на берег легкий, наполненный древними солнцами камень. Мать ее была родом оттуда и думала наследовать такую способность...

Какая же связь присутствует между временами, людьми и событиями в мире? Каково обойтись без лукавства и насильственности? Одно только она знала точно. Эта мятежная площадь перед сенатом, которая показалась вдруг ей, прямо будет проистекать из ее жизни и действий. И кто будет судить ее за все, пусть сам будет судим тем же судом.

*1982—1987.*





## ПОВЕСТЬ

Мои товарищам из 11-й, Военно-Авиационной школы пилотов.

Липкая, осклизлая плотность вдруг придвигается к лицу. Холод от нее ровный, устранивающий все, даже страх. Далеко-далеко внутри где-то держится остаток тепла. Так далеко это, как будто в другом мире, куда немислимые расстояния. Если не двигаться, то все-все станет одинаково холодным, спокойным...

Удары горячего металла, чуть сотрясающие холодный пласт. Равномерные, дырявящие землю — ближе, ближе, у самой головы. Слышно, как вязнет металл, остывая. Эта особая чуткость не от сознания, а от той капли тепла, которая заставила только что опустить голову. И подступающий к горлу теплый комок отвращения. Все тот же запах от этой земли.

Тряпкой из шинельного кармана вытираю с лица грязь. Не со всего лица, а только от глаз, чтобы можно было что-нибудь увидеть во тьме. Тряпка мокрая и пахнет от нее так же. От рук, от шинели, от слипшегося в кармане хлеба этот запах. Его не знал я в прежней жизни...

Крутится, вёртится ВИШ<sup>1</sup> — двадцать три... Я смею, кажется, равнодушно смотрю в близкую темноту. Не в серую даль, где видны расплывающиеся тучи и даже две или три звезды мутно пробиваются в ледяной испарине ночи, а именно в близкую темноту. Совсем-совсем близкую, так что даже ночью видны неровности от вздыбленного торфа. В школе я бегал стометровку: от флажка, где подавали корнер<sup>2</sup>, до другого флажка. Но это ближе. Наверно, вполовину ближе. А может быть, и всего тут сорок метров. Я даже точно знаю, откуда ударила очередь. Это справа от оплывшего торфа, чуть сзади от него, где низом кверху торчит вывороченное дерево. Самого дерева нет: только искривлённый корень в небе, если смотреть от земли. Иначе я его

<sup>1</sup> ВИШ (авиаци.) — винт изменяемого шага.

<sup>2</sup> Корнер (футб.) — угловой удар.

не видел. А кучки торфа на буграх, как видно, сложены здесь еще перед войной. Они размякли, потеряли всякую форму, и все же виден в них какой-то порядок. Сразу отличаются они от другого торфа, размятого в грязь, выброшенного из земных глубин. Впереди и рядом со мной лежит он нервными, не имеющими каких-то определенных очертаний горами. Снаряды по многу раз падали в одно и то же место, так что воронки накладывались одна на другую, перемещивая землю. Непонятно только, как сохранились там, впереди, эти пять или шесть прямоугольных холмов. Ничего больше не осталось здесь, связанного с жизнью.

Один миг это длилось. Локтем правой руки поправляю сдвинувшийся немецкий карабин с металлическим флажком у затвора. Бок у него гладкий и холодный — холоднее даже земли, на которой я лежу. В правом кармане у меня обшлага — тоже гладкие, массивные, не как у трехлинейки. По привычке сдвигаю чуть набок мокрую, туго обтянувшую голову пилотку. В недоумении задерживается рука. Пальцы ощущают жесткую кромку суровой ткани, шов поперек лба. Там что-то не так. На пилотке нет звездочки...

Снова режущий воздух звук горячего металла. Это хуже, потому что бьют теперь сзади. Со спины я открыт: мокрая земля нарута только у моего лба. Очередь проходит наугад, цепляя верх торфяного холма. Даже ветерок как будто чувствую спиной. Но голову уже опускаю медленней. Снова вытираю грязное лицо, подкладывая под себя руки, стремясь сохранить остаток тепла. И думаю, все время думаю, но не о том, что случилось, а о другом, не имеющем уже значения...

А день очень жаркий. Даже при штабе, где сзади армяк и обстриженные туговники стоят в ряд над хаузом с водой, термометр показывает тридцать девять. Значит, на разлетке сорок два. И ветра у нас почти не бывает, так что посадку с боковиком пришлось отлетать в третьей эскадрилье, в Красноармейске. Ветер у них такой, что поезда останавливает...

— А, Тираспольский!

Я вижу выходящего из штаба старшего лейтенанта Чистякова, командира нашего отряда.

— Значит, едешь?..

Пожимаю плечами, медленно поднимаюсь со ступенек, на которых сижу. Чистяков — летчик, и у нас не принято тянуться, как пришлось мне целый год в пехоте. «Авиация — мать порядка». Это любят повторять старые авиационные волки. А еще: «Где кончается порядок, начинается авиация». Старший сержант Кудрявцев и Шурка Бочков остаются сидеть. Они из другой

эскадрильи. Впрочем, нам теперь ни к чему приветствовать начальство.

— Еду, — говорю.

Чистяков еще в дотимошенковских синих, с голубым кантом, галифе. У каждого довоенного летчика обязательно есть что-нибудь синее от старой формы, которая приказом наркома обороны была заменена в авиации на общевоинскую. Или штаны, или фуражка, или темно-синяя шинель с крыльями на рукаве. Это молчаливый протест. Когда-то перед войной я тоже пошел в восьмой класс военно-воздушной спецшколы из-за формы. На углу Дерибасовской и Ришельевской стоял летчик во всем синем и ел мороженое. Правда, были еще Дни Авиации и фильм «Истребители». А перед этим еще челюскинцы, еще и еще...

Командир отряда переступает ногами, как бы пробуя мягкие брезентовые сапоги с низким по моде голенищем, протягивает руку:

— Счастливо тебе, Борис.

И бросает взгляд на окна штаба. Там в новой должности помощника начальника школы по строевой части — подполковник Щербатов. С ним приехали четыре «красноперых» лейтенанта — на запроту и по одному на эскадрилью. Хотят все же навести порядок в авиации.

Кудрявцеву и Шурке Бочкову Чистяков только кивнул: «И вам... счастливо!» Сел легко, чуть боком, в «виллис» и рванул с места в отворенные на улицу ворота. По имени назвал меня командир отряда. Это с ним редко бывает. Только когда в зоне красиво отлетаешь. И вот сейчас...

Я беспокоюсь за Вальку Титова. Уже десять часов. Вот-вот после облетки приедет Бабаков. Это похуже Щербатова, если под дурной глаз у него попасть. А мы трое сидим здесь, на ступенях штаба, вовсе без охраны. Валька получает на нас документы, двое других сопровождающих нас от эскадрильи еще не явились, а Со пошел к Лидке в АМС<sup>1</sup>. Со это Ленька Соболев из ворошиловградцев.

Валька, наконец, выходит из штаба. Винтовка у него висит на локте, документы он запихивает в карманы гимнастерки. И тут на «Додже — три четверти» в ворота влетает полковник Бабаков. Почему-то всегда на этой машине ездит начальник школы. Как и все летчики, он сам за рулем.

Длинный, весь подавшийся вперед, с жесткой сединой в темных волосах, полковник как ворон торчит на высокой открытой машине. Круто развернувшись, он осаживает у самых ступеней и бежит вверх, чуть не наступив на нас. Вылупившийся на него Валька Титов едва успевает шагнуть в сторону.

<sup>1</sup> АМС — Авиаметеостанция.

Мы переглядываемся. Значит, погода сегодня хорошая. Полковник Бабаков, несмотря на нынешнее наше положение, в которое попали мы трое без его участия, пользуется нашим уважением. Еще в двадцать девятом году участвовал он в китайском конфликте, потом на Халхин-Голе и Финской кампании. В начале войны был подбит и в генеральском звании стал командовать военно-воздушным округом где-то в Сибири. Вот уж для чего это был неподходящий человек. За полгода, говорят, при нем так разворовали округ, что до сих пор еще работает там комиссия. А Бабакова — в полковники, и командовать нашей школой.

Здесь он тоже ничего не видит, и тогда всем хорошо. Вот и нас сейчас не заметил. Но вдруг что-то соскакивает у него. Тогда все запирает. Три или четыре дня он носится из эскадрильи в эскадрилью, проверяет службы, склады, столовые, рвет и мечет. Даже караульные посты полковник проверяет с воздуха. В тяжеломоторной авиации ему летать нельзя по ранению. Он садится в «УТ-2» и вдруг вылетает над каким-нибудь постом из-за ближней чинары. Такой же сгорбленный торчит из кабины выше козырька, виражит в пяти метрах от земли и грозит кулаком. Один раз он так и записал в дежурной книге: «При проверке с воздуха обнаружено: в 8.15 часовой у прачечной бросил винтовку и жрал дыню. Трое суток ареста». Какой там — ареста! Тогда еще, в начале школы, губы при штабе не было. Капитан Горбунов отбирал у курсанта ремень и выгонял на три дня в сады, в старый город. С условием, чтобы на глаза тот не показывался. Это уже подполковник Щербатов по приезде ввел настоящую губу с караулом и прочим. В том его и специальность.

Помню, как сам я прибыл в школу. Она только образовалась, и меня откомандировали сюда, как бывшего военно-воздушного спецшкольника. В пехоте я был сержантом и понимал дисциплину. Капитан Горбунов, маленький, с изрытым оспой лицом, посмотрел с насмешной, когда я вытянулся по форме. Рука моя сама собой ослабела, отлипла от козырька. «В эскадрилье казарму достраивают. Так что пока походи», — сказал он. «Как походить?» — не понял я. «На довольствие тебя ставим, ходи кушать в запроту». «А спать где, товарищ капитан?» — «Что же я тебе еще и бабу пойду искать? Спать ему летом негде!»

Капитан вдруг встрепенулся, вскочил и, сделав мне знак рукой, побежал за дверь. Какой-то непонятный шум слышался во дворе: голоса, топот ног. В открытую дверь я видел, как по штабному коридору бежали люди: писарь — сержант, какой-то офицер в белом кителе, девушка-машинистка с погонами и в сапожках. Я ее заметил, еще проходя сюда. В какое-то мгновение коридор и комнаты сделались пустыми. Я ничего не понимал.

И тут большой черный человек появился в коридоре и, ни минуты не задерживаясь, побежал прямо ко мне. Он-то не бежал, а шел огромными шагами, высоко переставляя ноги, но казалось, что человек бежит. Подойдя вплотную, он закричал: «Бардак развели!..» И тут я по-настоящему испугался. Не того, что полковник кричал — я уже в службе что-то понимал. У него дергалось лицо, и рукой он как-то странно греб воздух. Кричал он, глядя на меня и не видя.

Все так же быстро и кончилось. Полковник повернулся, скачками пошел по коридору и скрылся в комнате напротив входа. В ту же минуту в коридоре появились люди: штабной офицер, девушка в сапожках, писарь с бумагой. Они шли и разговаривали между собой как ни в чем не бывало.

Вернувшийся откуда-то капитан Горбунов взял мои бумаги со стола, бросил в ящик:

— Давай, чеши отсюда, сам видишь...

Вечером в летнем кино вместе с Валькой Титовым, который прибыл сюда уже неделю назад, сидели мы на крашенной зеленой краской скамейке и ждали начала картины. Городок был небольшой, и из мужчин сидели тут только военные: офицеры и редкие курсанты недавно организованной школы. Да еще три-четыре человека с темными топографическими погонами. Тут стоял топотряд, а наш полковник был начальником гарнизона.

У нас с Валькой были аккуратно подшиты воротнички и сапоги до блеска начищены солидолом. Рядом сидели две девочки в светлых платьях, и мы, конечно, заговорили с ними. Картину все почему-то не пускали, так что мы познакомились.

— Ну, как вам понравилась наша школа? — спросила у меня пышная, чуть курносенькая девочка, видимо, еще ученица. Ее звали Рина.

Я не обратил внимания на эти ее слова «наша школа».

— Все ничего, да только полковник вроде из леса прибежал! — сказал я и принялся рассказывать в лицах о том, что произошло утром. Девочки слушали, переглядываясь, потом Рина вздохнула:

— Да, папа контуженный. Он очень нервничает, что летать по-настоящему не может.

Потом я с компанией раза два бывал у Ринки. Все в городе знали, что дома полковник Бабаков ходит по струнке, боится жены и даже Ринки. Нам он там никогда не показывался. А в гостинной висела карточка: совсем другой, молодой человек с тремя шпалами, орденом Ленина и двумя — Боевого Красного Знамени старого образца. Глаза у него были живые, веселые...

При всем том в школе почти не было серьезных происшествий. Только один раз разбился курсант с механиком во второй кабине — старшина Найденов. Говорят, он дрянь какую-то на-

учился тут курить и на трехстах метрах стал плести без газа делать. Дисциплина была, но какая-то другая, не строевая.

— Там Горбун точит, чтобы все такое сдали. Ценности если есть, награды,— говорит Валька.— Под расписку.

Кудрявцев думает с полминуты, лениво лезет в карман, достает что-то позванивающее:

— На, возьми.

На ладони у него медали: «За отвагу», еще что-то и орден — звездочка.

— Нет, сам отнеси. Под личную расписку требуется,— говорит Валька.

Кудрявцев идет в штаб, а мы с Бочковым и Валькой переходим через двор на ту сторону хауза, садимся на скамейку, вбитую между двумя деревьями. Через открытое окно нам видно, как Кудрявцев сдает Горбунову награды. Мне сдавать нечего. Разве что парашютный знак, так это не обязательно.

Кудрявцев возвращается, и Валька с ожиданием смотрит на меня.

— Ну, пошли,— говорю я.

— Ничего не забыли? — спрашивает сменившийся утром начальник караула Рыбалко.

Я оглядываюсь на крытый кусками дюраля сарай с двумя окнами: слева караульное помещение, справа — губа. Раза три или четыре я сам ходил сюда начальником караула, а в последнюю неделю сидел на губе. Вечерами мотался, конечно, в город: все же здесь свои.

Мы прощаемся с Мишкой Рыбалко и через стертый до блеска пролом в дувале идем на соседний двор. В женской казарме при метеослужбе открыто окно. На кровати лежит младший сержант Лидка Артемьева, укрытая шинелью поверх одеяла. Она болеет. Рядом на табуретке сидит Со, маленький, насупленный как всегда. И молчит.

— Эй, Со! — кричу я.

Со подбирает вещмешок, винтовку и выходит. Медленно, вразвалку, идем мы все по улице. У двоих винтовки, трое с заправленными в брюки гимнастерками, без погон. Мы часто ходим так, и на нас никто и не смотрит. Азиатское солнце уже раскалило пыль посредине улицы. На арбе с огромными колесами едет ака<sup>1</sup> в зеленом халате, Серый ишак трусит, взбивая копытами мелкую горячую пыль. Мы переходим на другую сторону, где тень от тополей.

Возле кирпичной церкви, где вечером клуб и городские танцы, сворачиваем направо, в сквер. Здесь это называют парком: четыре ряда кустов с деревьями и посыпанная еще до войны песком

<sup>1</sup> Ака (узб.) — уважаемый человек.

аллея. Вода бежит в арыке. Слева, через дорогу, летнее кино, и сразу после него, за деревянным забором — столовая запроты. Мы заходим туда, проходим на склад. Валька подает старшине Паломарчуку документы. Тот, несмотря на жару, в диагональных бриджах и новенькой шерстяной гимнастерке с офицерской портупеей. На груди у Паломарчука до блеска начищенные медали. Старшина уже знает, что мы придем, и молча выдает сухой паек: для сопровождающих — на три дня, нам только на два.

— Чего же так, старшина? — спрашивает Валька Титов.

— Так им же на обратный путь не требуется, — говорит Паломарчук. — Там встанут на довольствие.

Валька виновато оглядывается на нас.

Потом мы идем в столовую, садимся под навесом от солнца за длинный дощатый стол, укладываем продукты. До обеда еще далеко, столовая пуста. Слышно только через раздаточное окошко, как на кухне стучат посудой и громко переговариваются поварихи. Старшина Паломарчук выходит к нам, садится напротив.

— Так-то вот, — говорит он.

Катька-буфетчица, из вольнонаемных, разбитная бабенка лет под тридцать с быстрыми глазами, выносит нарезанный крупными кусками белый хлеб, блюдо с растопленным от жары маслом. Мы понимаем, что не совсем для всех это угощение. С нами Кудрявцев из «стариков», ему двадцать пять лет. Он рослый, статный, с костистым лицом и чуть ленивым выражением в серых глазах. Катька крутила с ним, когда тот был в запроте. И все знают, что постоянно она сейчас живет с Паломарчуком. Говорят еще, маленький капитан Горбунов из штаба имеет к ней отношение. Паломарчук не смотрит на нас, сидит молча. Кудрявцев тоже не глядит ни на кого, неторопливо макает хлеб в масло. Катька вдруг всхлипывает.

Повариха из кухни приносит нам рисовую кашу с мясом от завтрака. Все знают про нас. Вчера читали по школе приказ...

Из эскадрильи приходят, наконец, еще двое сопровождающих: Мучник и Мансуров. С ними Мишка Каргаполов с моими вещами. Мы все теперь идем дальше через сквер, к речке, садимся на камнях напротив базарчика, смотрим документы, выданные Вальке Титову. На нас троих — конверт с сургучом. Сверху лишь номерной знак части.

— Тут бритвой сургуч только приподнять, и все, — говорит Мансуров. — Все как было.

— Зачем? — лениво отзывается Кудрявцев. — А то не знаешь, что там.



— Командир отдельной части имеет право на месяц без суда,— веско поясняет Мучник.— Больше только трибунал может.

На него смотрят с презрением: умник.

А еще в руках у Вальки Титова зеленая бумага с полосой и гербом.

— На тех, кто из тюрьги, не дали питание? — спрашиваю у него.

— У них, наверное, свое,— с сомнением в голосе говорит Валька.

Все мы смотрим через речку. Там, за деревьями, высокие беленые стены с колючей проволокой поверху и вышками на углах. За ними виден верх темного кирпичного здания с глухой стеной, еще какие-то строения. О здешней тюрьме рассказывают всякое. Она построена еще до революции, а в тридцатые годы тут будто бы сидел убийца, стрелявший в известного вождя. И что даже выпустили его по истечении десяти лет. В это мало кто верит, хоть называют и фамилию.

Я перебираю свои вещи: канадскую куртку, еще весной обмененную у инструктора из третьей эскадрильи, брюки-бриджи, хромовые сапоги. Все это свое, не казенное. Что же, пожалуй, сапоги можно будет новые достать, когда вернусь... Когда вернусь... Иначе ведь никак не может быть.

Сапоги я отставляю в сторону. Тем более, что они мне жмут в подъеме, и я полчаса снимаю их, когда возвращаюсь с танцев. Остальные вещи завязываю в вещмешок.

— Отдашь Золотареву,— говорю я Мишке Каргаполову.— Пусть у себя положит.

Тот кивает головой. Ванька Золотарев, хозяйственный парень и мой друг, отвечает по совместительству за отрядную каптерку. Она у него в самолетном ящике, где хранятся учебные парашюты. Там же лежат и личные вещи курсантов.

— Это тебе, Кульбас!

Даю Мишке Каргаполову нож с наборной ручкой из цветного плексигласа. Такие делает из лент расчески только механик Кочетков из второй эскадрильи. А у меня есть другой — иранский нож, еще от прежней моей службы.

Базарчик тут небольшой: полдесятка стариков сидят с поставленными на землю мешочками с кишмишом, русский дед продает зеленый чилим<sup>1</sup> стаканами, женщины с мацони в стаканах и лепешками. Тут же крутятся люди, большей частью известные нам. Возле меня сразу появляется Сенька-Кривоглазый, с дурными зубами.

— Эй, курсант, сапоги твои?

Он начинает мять кожу, щелкает ногтем по подметке, за-

---

<sup>1</sup> Чилим — крепкий табак.

глядывает в голенища. Наши ждут в стороне, у часовой мастерской.

— Полкуса даю!

Я забираю сапоги, поворачиваюсь к нему спиной. В полторы тысячи они самому мне обошлись. Сапоги почти не ношенные. А он третью часть предлагает.

— Эй, триста пятьдесят бери. Вишь, туфта на подошве, картон!

Маленький человек на костыле с нашивкой за ранение те-ребит мои сапоги. На подошву я отдал крышку от полевой командирской сумки еще довоенного образца. Там кожа такая, что пуля не берет.

Подходит еще третий в тюбетейке:

— Ну, бери четыреста, больше не дадут...

Это нам знакомо. Барыги все заодно. Они теперь на Сеньку-Кривоглазого работают. Больше никто не даст. Чуют, что мне безразлично как продать сапоги. Однако не за такую же дешевку. Пусть за дурака меня не считают.

— Пошли в старый город! — говорю, подходя к своим.

Валька нерешительно смотрит на солнце.

— Пошли, чего там. Времени — весь день до вечер! — замечает Кудрявцев.

Мы уходим с базарчика. И тут опять появляется Кривоглазый.

— Эй, Тираспольский, шестьсот даю. Цена настоящая. По дружбе только. — Он простодушно смотрит здоровым глазом. — Я всех вас знаю, ребята. И тебя, Титов, и Ваньку Золотарева, что с вами ходит. Старшина ваш Рашпиль — друг мне хороший.

Ах ты, сука... Это он дает понять, что сапоги, наверно, толкаем левые, с казенного склада, или снятые с кого-то. На неприятности намекает.

— Оборвисы! — говорю я ему.

Он смотрит в лицо мне, Вальке, оглядывает всех, втягивает голову и делает шаг назад:

— Я же ничего. По дружбе, ребята...

С нами опасно связываться, это он знает. И понимает теперь, что зарвался.

— Иди, — очень тихо говорит Валька. — Ну, слышишь...

Барыга пятится и пропадает в толпе.

По камушкам мы переходим речку. Сейчас осень, воды в ней немного, и арбы переезжают по дну, не замочив колес. Потом идём садами, через большое поле. Женщины, закутанные платками, в цветастых платьях, что-то делают в хлопке. Их немного в рядах. И еще дети. Дома тут стоят далеко друг от друга, и на плоских крышах видны желтые и красные прямоугольники. Это сушится курага, персики. Во дворах на натянутых между стол-

бами нитях висят нарезанные пластинами дыни. В воздухе стоит сладкий и горячий запах гниения.

Проходим мельницу на большом арыке. Мутная вода спокойно вытекает из-под широкого дувала. Лишь один раз, проходя здесь, видел я, как она работала, и вода тогда бурно кружилась, подмывая берега. Сразу за мельницей я чуть заметно поворачиваю голову. По ту сторону арыка площадка и растут два больших старых туговника. Плодов уже не видно среди листьев. Они были здесь в начале лета, и деревья стояли, усыпанные черными жирными ягодами.

Знакомый гул слышится над деревьями. Мы поднимаем головы. Серебристая машина с номером «14» на боку пронесется наискосок к дальним телеграфным столбам, где проходит железная дорога.

— Шамро полетел, — говорит Валька.

— Чего он так рано?

— Комэска за чем-нибудь послал.

Мотор вдруг стихает, и машина резко парашютирует куда-то в сады. Ну да, по посадке Шамро, инструктор из третьей летной группы.

Словно по команде мы трое: я, Шурка Бочков и Кудрявцев, поворачиваем головы и смотрим в ту сторону, откуда прилетел Шамро. Там, за двенадцать километров от центрального аэродрома, разлетка, учебное поле. Видно, как в ближней к нам зоне кто-то выполняет боевой разворот. Маленькая светлая точка все быстрее летит к земле. Потом по КУЛП-у<sup>1</sup> — газ до отказа, ногу с педалью вперед, ручку к себе и в ту же сторону. Только плавно... скорость, стрелка, шарик...<sup>2</sup> Светлая точка опять медленно плывет в белом от жары небе, набирая высоту.

На базаре в старом городе я сразу продаю сапоги.

— Нич пуль?<sup>3</sup> — спрашивает у меня высокий старик в теплом синем халате.

— Бир мин без юз сум,<sup>4</sup> — говорю я.

Старик приподнял сапоги за голенища, мельком посмотрел на подошву:

— Бир мин.<sup>5</sup>

Старику, наверно, за семьдесят. Халат распахнут и под белой полотняной рубахой видна могучая загорелая грудь. Мы встречаемся с ним глазами.

— Давай, ака, — говорю.

Старик отсчитывает мне тридцать три красных тридцатки

<sup>1</sup> КУЛП — «Курс учебно-летной подготовки».

<sup>2</sup> Показания прибора «Пионер».

<sup>3</sup> Сколько? (узб.)

<sup>4</sup> Полторы тысячи. (узб.)

<sup>5</sup> Тысяча.

и синюю десятку, заворачивает сапоги в платок, кладет на высокую арбу.

— Эй, бала!<sup>1</sup> — слышу, когда иду уже к своим. Возвращаюсь, не понимая, в чем дело. Старик достает из мешка на арбе кишмиш и в сложенных вместе ладонях протягивает мне. Я снимаю пилотку, и он сыплет кишмиш туда. Ладони у него твердые, коричневые от солнца. Он смотрит на остальных, стоящих в стороне, и досыпает еще одну пригоршню. Пилотка полна до краев.

— Рахмет, ака! — говорю.

Старик поворачивается спиной, поправляет мешки на арбе и больше не глядит в нашу сторону. Мы рассыпаем крупный черный кишмиш по карманам и идем в ряды.

Сегодня день не базарный, но народу достаточно. Накупаем гору лепешек, халвы, мешалды<sup>2</sup> в больших пиалах, едим, сидя у арыка, макая горячие лепешки в белую густую массу.

— Может... возьмем? — говорит Кудрявцев.

У Со английская манерка с крышкой. Я иду в магазин, и мне за триста рублей наливают что-то желтое, пахнущее остро и приятно. По очереди мы пьем из крышки. Пью я, наверно, третий или четвертый раз в жизни. Меня это почему-то нисколько не берет. В пятнадцать лет пришлось мне впервые выпить пол-литра водки на троих. Было это за месяц до войны. Нам в спецшколе как раз выдали форму. Пили мы из горлышка. Тогда даже не понял, что я выпил: воду или что-то еще. Вкуса в этом я до сих пор не понимаю. Но то, что пьем сейчас, сладкое и пахнет печеньем: Мать, когда пекла что-то в день моего рождения, клала в печенье ваниль...

Валька Титов смотрит на солнце, на «Омегу» на своей руке. Пора двигаться. Когда идем назад, над нами опять пролетает Шамро — в обратном направлении. Пять дней назад привезли бензин, и летают сейчас у нас в две смены, до вечера. С нашими из эскадрильи я уже вчера попрощался...

Так близко я еще сюда не подходил. Отсюда, с улицы, видна лишь белая стена забора. Низ ее из тяжелого кирпича, а выше — плотный дувал. Все вместе покрашено белой известкой. И сверху колья с переплетенной колючей проволокой. На земле, метров за пять от стены, тоже колья и проволока. Между стеной и проволокой пустое пространство: даже колючки здесь не растут.

Пока мы ждем в стороне, Валька и Со подходят к глухим железным воротам, стучат в окошечко. Их выпускают во двор. Мы

<sup>1</sup> Бала — мальчик, ребенок.

<sup>2</sup> Мешалда (наст. машалло) — густой сбитень из яиц, муки, меда.

долго сидим у кривого, с сухими листьями дерева напротив этих ворот. Почему-то молчим, никто ни о чем не говорит. Выходят Валька и Со. С ними двое с мешками. Один долговязый, в халате, и черная седеющая борода клочьями торчит на узком, худом лице. Другой — помоложе, полный, бритый, с пухлыми щеками. И костюм на нем шевяотовый, только мятый и грязный. Лишь сапоги у него местные — красные, с косыми голенищами.

Долговязый глядит в землю. Полный, наоборот, подходит, спокойно осматривает нас коричневыми, чуть выпуклыми глазами. Оба становятся со своими мешками впереди. Теперь и нам как-то неловко идти вразброд. Мы с Шуркой Бочковым топчемся на месте, не зная, что делать. Идти-то ведь через весь город. Как же с этими? Валька приставляет к тюремным Мучника с Мансуровым, а мы общей группой идем сзади. Только Кудрявцеву вроде наплевать. Он идет не с нами, и не с ними, где-то посредине.

— Кто будете? — спрашивает Кудрявцев у тюремных.

— Бухгалтер, — говорит полный. — В райпо бухгалтер.

— А ты?

Долговязый молчит.

— Бригадир он. Совсем по-русски не понимает, — отвечает за него полный.

— За что подзалетели?

— Ай!.. — Бухгалтер неопределенно пожимает плечами.

— Растрата, — говорит тихо Валька Титов. — По десять лет вломили.

— Это значит по два месяца. За каждые пять лет — один месяц, — объясняет Мучник. А то мы не знаем...

На минуту отхожу в сторону, опускаю в ящик два письма: одно — родителям, другое... другое той, которую люблю. Ничего, конечно, про это не пишу.

Все же у штаба сворачиваем в боковую улицу. Идем напрямик, между дувалами, садами.

— Смотри, чтобы не оторвались! — негромко говорит Кудрявцев Вальке.

Бухгалтер оглядывается: видно, услышал. Мы придвигаемся ближе. Валька теперь идет впереди, снял с плеча винтовку. Листья из-за дувалов касаются моей головы. Совсем близко вдруг паровозный гудок. Выходим из узкой кривой улицы прямо к вокзалу.

Так и есть. Надька с Иркой ждут уже в станционной беседке.

— Твои! — с легкой насмешкой кивает на них Кудрявцев.

Я оставляю своих, иду к ним. Девочки наперебой начинают говорить, что сорвались с химии и уже три часа ожидают здесь. В штабе Мишка Рыбалка сказал им, что мы ушли еще утром.

— Поезд через полтора часа, — говорю я.

— Опаздывает на пять часов, я узнавала! — сообщила Ирка.

У нее перевязанный ленточкой пакет с чем-то там. У Надьки в мешочке яблоки. Это из ее сада. Надька живет рядом со штабом, на второй улице. Там как раз тупик и темнота между деревьями.

Мне неловко с ними, когда они вместе. Я целовал сначала одну, потом другую, и обе знают об этом. И о Тамаре Николаевне, наверно, знают. Все, что делается в школе, известно в городе. Уж Ирка наверняка знает.

До вечера сижу с ними в беседке, потом прогуливаемся по перрону. К Кудрявцеву тоже пришла женщина с кольцом на руке, пышная, с голубыми навязателем, глазами. Платье на ней с бантом.

У нее корова два ведра в день молока дает! — насмешливо шепчет Ирка, и черные татарские глаза ее искрятся в темноте.

Поезд все опаздывает, и Кудрявцев с женщиной уходит на время в пристанционные сады. Потом возвращаются. Женщина идет победной походкой, а Кудрявцев чуть сзади, с тем же ленивым выражением на лице. Девочки молча наблюдают за ними. К Шурке Боковой никто не пришел...

Протрел в очередной раз маршрутный с нефтью, и тут же завыл колбкол. Пассажирский поезд подкатывает медленно. Долго со скрипом, дергаются вагоны, пока окончательно останавливаются. Со всех сторон лезут с узлами, ящиками, корзинами. Проводники с жезлами и тяжелыми ключами в руках стоят на тушениях, загорожив двери. К нам это не относится. Валька прикладом сдвигает здорового проводника в сторону. Маленький Со прижимает его к стенке. М проводника багровеет лицо, торчком встает ярнык ушей от удивления. Он удивлен тем, что

Воинский третий! — кричит он, когда видит, что

— Ладно, жди, когда спросят! — кричит он, когда видит, что

Проводник косится на догоны с широкой золотой каймой по краю. Курсантов знают на дороге.

— Купе освобождай!

— Откуда купе, товарищ? Все занято.

— Найдем!

Мы знаем, где искать. Обычно это первые купе от служебного. Так и есть. Все там доверху заставлено одинаковыми ящиками, под полками и в проходе лежат тяжелые ящики. Двое каких-то — один в теплых фетровых сапогах — расположились внизу, пьют в полутьме чай с бубликами. Видно, что едут издали. Берем тяжелые корзины с верхних полок, бросаем в проход. Туда же летят мешки, что мешают под ногами.

— Освобождай!

Те смотрят с испуганным удивлением. Проводник делает им знак, тихо говорит что-то. Втроем они начинают перетаскивать мешки и корзины куда-то в другое место.

— А это пусть тут полежит, ребята! — искательно говорит барыга в фетровых сапогах.

— Не беспокойся, дядя, охранять будем.

Под полками и наверху остается еще целая тонна груза. Что-то прибыльное везут. Ну, да нам лишь переспать: четырех подок хватит. Одну, внизу, отделяем тюремным, на других устраиваемся сами. Пока что выхожу из вагона.

Надька с Иркочкой стоят, не уходят, хоть давно уже темно. Стою с ними еще полчаса, пока не приходит встречный. Наш поезд, наконец, трогается. Вагоны плывут мимо, а я не знаю, что делать. Потом решительно обнимаю Надьку, целую. Она прижимается ко мне, губы ее мягкие, послушные. Теперь я целую Ирочку. Губы ее дразнят, чуть покусывают меня.

Вагоны уже мелькают один за другим. Бегу, достаю ручки какого-то тамбура, подтягиваюсь и машу рукой назад, в светлый удаляющийся перрон...

Минут через пятнадцать, на полустанке между двумя сошедшими горами, перебегаю в свой вагон. Там уже светло, проводник ввинтил лампочку напротив нашего купе. В проходе, на сидячих местах, спит какой-то мужик с брезентовым портфелем, с другой стороны — девушка. Отвернувшись, она смотрит в темное окно. Я ее сразу заметил, еще когда зашли в вагон. Светлые волосы с челкой, платье в горошек, жакет. И наведенные карандашом брови. Студентка: из ТашМИ или Фармина...

Мы начинаем ужинать: достаем из вещмешка сухую твердую колбасу, хлеб, сахар. Предлагаем тюремным, но они отказываются, едят свое. У них все из дома: лепешки, коурма, какие-то коржи. По целому мешку у них продуктов. Зачем?...

Я все глажу на девушку: что же видит она в темном окне? Такое же купе отражается там, и все мы сидим, едим колбасу, зажав ее в кулаке. И вдруг что-то словно толкает меня под руку. Я вижу тоже там, в окне, как девушка сглатывает слюну...

Валька и Со перестают есть, смотрят в ту же сторону. Быстро вынимаю из вещевого мешка колбасу, режу хлеб.

— Девушка, — говорю, но она не поворачивает головы, и я трогаю ее за локоть.

Она высокомерно смотрит на нас.

— Пожалуйста... с нами, за компанию.

— Спасибо, я не хочу!

И не глядит на расстеленную газету. Я беру хлеб с колбасой, толкаю ей в руки:

— Возьмите, что же вы!

— Нет-нет!

---

ТашМИ, Фармин — Ташкентский медицинский институт, Фармацевтический институт.

Девушка отталкивает мою руку, но я больно сжимаю ей пальцы и заставляю взять этот хлеб с колбасой.

— Спасибо...

Она начинает есть, откусывая маленькими кусочками. Слезинка скатывается у нее по щеке, растворяя черную краску в уголке глаз. Мы молчим, уничтоженные. Нам стыдно, хоть мы ни в чем не виноваты. Господи, это так тяжело — видеть голодную девушку...

Потом я стою с ней у другого окна, возле веников и бака с водой, стою всю ночь напролет. Ее зовут Люда и она из ТашМИ, со второго курса. Едет к тете в Самарканд, верней, это сорок километров еще за Самаркандом. Билетов сейчас не достанешь. В Урсатьевской ее высадили, и четыре дня она ночевала на станции, не могла попасть на поезд. А хлеб в Ташкенте выдают по карточкам лишь за день вперед. И продать было нечего...

Да, продать ей нечего... У нее пустая сумка в руках. Девушка красивая, мне кажется, очень красивая, в другое время, особенно вот так, ночью в поезде, я обязательно вел бы себя иначе. Но не теперь. И мы стоим с ней у окна, прижавшись плечами, и тихо рассказываем о себе друг другу. Я не дотрагиваюсь даже до ее руки, чтобы она чего-то не подумала.

Сидит на краю скамьи в купе рядом с тюремными Со с винтовкой в руке, поглядывает в мою сторону. Потом его сменяет Мансуров и тоже смотрит на нас...

Долго стоим на какой-то станции. Водонапорная башня видна в темноте, рядом деревья, и вдруг понимаю, что это Красноармейск. Сейчас тут совсем тихо, ветра нет и в помине. Лишь три или четыре огонька видны в спящем поселке. Только неделю назад уезжал я отсюда на открытой товарной площадке. Кто-то стоял у водонапорной башни. Синий комбинезон и шлем были на мне...

Утром, в Самарканде, все мы, кроме оставшегося с тюремными Шурки Бочкова, выходим на перрон. Девушка среди нас с буханкой хлеба и банкой тушенки, которую дали мы ей. По очереди прощаемся за руку. Потом она все смотрит и смотрит вслед поезду. Мы машем ей руками из окна, из тамбура...

Уже днем за голыми, поросшими колючкой холмами сияет вода и даже какие-то строения видны на том берегу. Такое здесь бывает под горячим, ослепительным солнцем. Но мы знаем, что это не мираж, и молча смотрим в окно. Это — Водохранилище. Бухгалтер из тюремных, что-то увидев на наших лицах, беспокоится, тоже заглядывает в окно и ничего не понимает.

Медленно ползет поезд между холмами, и полчаса еще проходит, пока, наконец, показывается станция. Мансуров и Мучник поедут дальше. У Мучника родители где-то не доезжая



Бухары, а у Мансурова мать в Чарджоу. Потому и напросились они в сопровождающие. Мы же ходим на горячий, залитый асфальтом перрон.

Комедантский патруль проверяет у Вальки Титова документы. Лейтенант в повседневных погонах мельком глядит на нас:

— Сегодня уже до Водохранилища не доберетесь. Можете тут оставаться. Только чтобы на базаре не болтаться!

Лейтенант строжится как по-настоящему. Валька даже не отвечает ему, забирает документы, и мы идем дальше. Все, кто сошел здесь с поезда, сплошь военные. На вокзальной площади кипит торговля: толкают все с себя: сапоги, шинели, белье — в обмен на всякую рвань. К нам тоже подкатываются: «Махнем, солдат... Сотню приплачиваю. Тебя все равно сменят!» И кивают на гравийное шоссе, что идет от станции. Мы знаем: это дорога на Водохранилище. Только не являться же нам туда кусошниками...

— А ты бы вправду махнул, дядя,— Кудрявцев показывает на щегольские красные сапоги бухгалтера. По форме не положено.

Бухгалтер весь как-то поджмается, выдвигает подбородок.

— Ладно, поноси еще ночь,— усмехается Кудрявцев.

На привокзальном базарчике покупаем лепешки, самсу и холодец с непонятным белым наваром по краям тарелки. Сидим и едим тут же, в тени.

— Из ишака делают. Чеснок добавлякт и вкусно,— говорит Цурка Бочков.

Кудрявцев жует лениво:

— Это еще ничего. Знаешь, ногти находят...

Аппетита у нас не убавляется.

Отдыхаем в садике на площади, лежим под чахлыми пыльными кустами. К вечеру переходим в вокзальную чайхану, устроиваемся на свободное место у стены.

До войны тут, видно, был склад. Длинный сарай с деревянными стенами тонет изнутри в мутной полутьме. На нарах у стен и на тахте посредине лежат люди. Многие, как мы, армейские. Тут же семья с детьми, какие-то женщины с потухшими глазами. Некоторые пьют чай. В углу, при свече, играют в карты.

Лампочка горит лишь на одной стороне, при двери. Там, на деревянном помосте, стоит самовар на десяток ведер. Здоровенный чайханщик льет кипяток из крана в большие и малые чайники. Двое помощников: мальчик в больших галошах на босую ногу и старый польский еврей с пейсами и неподвижным, как маска, лицом разносят чайники, собирают зеленые трехрублевки.

Чайханщик словно бы и не смотрит в сгустившуюся тьму зала, но все видит. Между нарами идет торговля: из-под полы

предлагают часы, кольца, белое английское мыло из Ирана. Самогон носят в корзинах, прикрытых тряпками. Гонят его из белой сахарной свеклы, бурты которой стоят вдоль путей.

Позже появляются женщины, присаживаются к компаниям, с солдатами.

— Шалашовки с масложиркомбината, — говорит мужик с вывороченными губами. — Смена у них кончилась.

Одна — совсем молодая, крепкая, с расстегнутым на груди ситцевым платьем, садится к барыгам. Те, как видно, с Кавказа. Ей наливают в пиалу самогон, она пьет и как давно знакомая сама берет хлеб, долму. Ей о чем-то говорят в ухо, и она лезет на нары, за груды сложенных мешков. Туда же скрывается маленький, вертлявый, с короткими усиками человек. Через некоторое время он возвращается, поправляет пояс. За мешки переваливается другой: толстозадый, с бритой головой и железным зубом во рту. Потом — третий. Она снова сидит с ними спиной к стене, с вовсе открытой грудью, пьет еще самогон...

Нас женщины обходят, как и курсантов-танкистов, которые на тахте. Лишь одна, лет уже к сорока, с растрепанными волосами и сиячком у глаза, останавливается напротив наших тюремных:

— Чернявый, угостишь чилимом?

Бухгалтер брезгливо отвернулся. Зато другой, бригадир, поднимает голову и не мигая смотрит на женщину.

— Ладно, отойди... Не видишь? — сумрачно говорит Валька Титов. Он сидит с зажатой между колен винтовкой.

— В самый бы раз напоследок! — смеется женщина, но отходит.

Возле чайханщика появился милиционер: как видно, пришел из дежурки при вокзале. Они мирно о чем-то разговаривают. Я с интересом смотрю на него, давно почему-то не видел милиционера. Как-то мало их стало в войну. А тот пьет чай и поглядывает на тахт, где старый терьякеш<sup>1</sup> с невидящими глазами разговаривает сам с собой.

— Опять тут отираешься, Ксанка! — обращается добродушно милиционер к той, что сидит с барыгами.

— А где же мне? С общежития погнади, — отвечает она.

Милиционер уходит. Остается один чайханщик. Самовар остыл, чайники сложены, и он сидит, зевая, на подушке в углу. Становится тише, лишь у дальней стены, где играют в карты, слышатся азартные выкрики.

— Эй, тише там! — кричит Со.

Зеленые лица поворачиваются к нам, смотрят недобро. Но молчат, в спор с нами не вступают. Становится тише.

<sup>1</sup> Терьякеш — наркоман.

Ночью выхожу оправиться. Стена чайханы провоняла мочой. Ночь холодная, ледяная, как бывает здесь в начале осени. Когда возвращаюсь, слышу чей-то вопль. У дальней стены непонятная кутерьма. Какие-то люди пробегают мимо меня.

— Убили... подрезали! — слышится возбужденный, ликующий голос.

— Кто?.. Чего?

— Это Артюшка-парикмахер, что на базаре! — слышится в темноте.

— Кто же?

— Фрайер какой-то, из Самарканды! — слышится в темноте.

— Да нех, проиграли. Помните...

Появляется милиционер потом военный патруль светит карманными фонарями. Прямо на полу, в аллювийной жиже от насвайных плевков и сливков зеленого чая извивается человек, почему-то босой, в майке. Он судорожно поджимает колени к подбородку. Лицо у него белое, из прорезаний в майке цели в левой части живота струится выталкиваемая кровь.

Подрезали... Артюшка-парикмахер..

Приносят носилки из медпункта, и раненого уносят. Там, где играли в карты, никого нет. Мы опять засыпаем. Лишь один из нас по очереди не спит. Мое время — под утро. Сижу с винтовкой на краях нар, смотрю куда-то в стену. Бухгалтер, как видно, тоже не спит, просится во двор. Бужу Со, и тот с другой винтовкой на руке, выводит его. Сны возвращаются. Бухгалтер укладывается на бок и больше не шевелится. Нет, сбегать, они как будто не собираются.

Мутнеет утро в окнах под потолком. Мы начинаем собираться. Да и другие уже встали. Вчерашняя женщина с синяком под глазом причесалась и собирает остатки еды на нарах. Она ждет, когда мы уйдем, чтобы взять себе остатки хлеба и кусок холодца, что лежит на бумаге между нашими вещами. Со отдает ей весь холодец, который оставался у нас.

— Спасибо, сынок, — говорит женщина.

Мы идем по гравийному шоссе, от станции к холмам. Острые каменные осколки шуршат под сапогами. Чуть впереди нас идут танкисты, которые ночевали с нами в чайхане. Четверо у них тоже без погон, другие в погонах с винтовками. Кто-то еще движется сзади. Тихая утренняя синь в воздухе...

Часа полтора идем мы так быстрым утренним шагом. Тк-ремные устали, тяжело дышат со своими мешками. Собеиню бухгалтер: временами он почти бежит, стараясь не отставать. Г от течет с него градом.

Насвай — тертый со специями табак, закладывается за губу.

Холмы раздвигаются, и справа, совсем близко, открывается целое море воды. Какие-то птицы плывут, взлетают и снова плывут невдалеке.

— Утки! — говорит Шурка Бочков.

И тут мы замечаем идущий вдоль шоссе ряд колючей проволоки. Когда он начался, мы не заметили. Все это: вода и утки — с другой стороны. Целый километр еще идем мы вдоль этой проволоки, проходим один пропускной пункт — полковой, потом, уже внутри части, другой. Охрана тут усиленная: двойное ограждение, и через каждые пятьдесят метров — часовой.

У приземистого, в четыре окна, дома приходится долго ждать. Присаживаемся на сухом арыке. Здесь сидят уже другие, кто явился раньше нас. Разбираемся по погонам: Полтавское танковое, Третье Харьковское самоходных орудий, Ивановская Высшая Школа штурманов, Ташкентская военно-авиационная школа стрелков-бомбардировщиков, Туркестанское пехотно-пулеметное. И еще отдельные по четыре в ряд сидят на корточках тюремные — со своими конвойными.

Со шарит в вещевом мешке, вытряхивает крошки. И у Вальки в мешке пусто. Ничего, как-нибудь доедут обратно. Толкнут что-нибудь с себя, хоть те же мешки. А мы... мы уже на месте. Идем через внутренний КПП<sup>1</sup> и сразу попадаем в перегороженную барьером комнату. Тут какие-то шкафы с ящиками, заляпанный чернилами стол с облупившейся краской. И ничего нет больше. Стены тоже голые, без лозунгов.

За столом сидит капитан в повседневной гимнастерке с отекившим, невыспавшимся лицом и какими-то безразличными глазами. Еще лейтенант — тоже в каком-то затрапезном виде, старшина с тетрадю. Бокон сидит старший лейтенант. Этот — выглаженный, с крахмальным подворотничком и портупеей вперехлест на спине. Погоны у него узкие, нестробые.

Капитан с полминуты смотрит на нас, берет у Вальки Титова документы. Бумаги с зеленой полосой, которые на тюремных, он бросает старшему лейтенанту, а конверт, и не взглянув на печати, рвет по краю. Три отдельных листка там, на каждого из нас.

— Так, Бочков.— Капитан безошибочно смотрит на Шурку Бочкова, хоть в бумагах нет наших фотографий.— Непочтение родителей... Месяц.

Это он говорит старшине, передавая бумагу. Шурка Бочков подрался с лейтенантом Кононенко, техником из второй эскадрильи. Там и драки-то особой не было. Кононенко не из тех, чтобы качать дисциплину: сам же Шурку обложил. Да дознался как-то подполковник Щербатов, стал нудить Бочкова, так Шурка,

<sup>1</sup> КПП — контрольно-пропускной пункт.

по спецшкольной вольнице, что-то ему и сказал. А у Бабакова как раз подошло настроение...

— Кудрявцев,— капитан читает, недоуменно пожимает плечом.— Кому он нужен, с крыши, что ли, прыгать?

Кудрявцев молчит. Он толкнул кому-то списанный парашют. Его послали сдавать их в склад МТО<sup>1</sup>, а он сказал, что один потерял. Через день парашют нашли у барыги, порезанный на куски. Старый парашют — это пятьдесят метров шелку, не то что новый, перкалевый. Весь Ташкент ходит в парашютных рубашках-бобочках.

— По заповеди,— говорит капитан старшине.— Месяц...

Теперь он смотрит мою бумагу, и вдруг чувствую на себе его удивленный взгляд. И старшина задвигался, поднимает на меня глаза. Даже лейтенант, который сидел без дела, уставился на меня. Что же там такое про меня написано? Полковник лично диктовал, я знаю.

— Так, Тираспольский... Месяц.

Делаю шаг за барьер, где ждут уже Шурка с Кудрявцевым. Капитан останавливает меня.

— В пехоте ты помкомвзвода был?

— Был,— отвечаю я вместо «Так точно!»

Тот, что с узкими погонами, передает теперь старшине документы тюремных. Они тоже идут к нам. Капитан подписывает пропуск, отдает его Вальке Титову.

— Все, можете ехать!

Валька и Со подходят, и мы из-за барьера пожимаем им руки. Потом они уходят. Лейтенант встает из-за стола.

— Подожди, Ченцов, еще подберем,— останавливает его капитан.

Теперь очередь танкистов. С ними то же самое:

— Непочтение родителей...

— По заповеди... месяц.

— Непочтение родителей...

— Непочтение родителей...

Это все известное: непочтение — ссора с начальством, а по заповеди — кража, продажа казенного имущества. Отдельно — самоволка, если больше суток. Что еще может быть? Разве, как со мной...

Теперь идут артиллеристы из Ферганы:

— Самоволка...

— Непочтение родителей...

В каждом городе тут по три-четыре эвакуированных училища. Кроме того — военные академии, не считая строевых частей. И одно на весь округ — Водохранилище...

<sup>1</sup> МТО — служба машинно-товарного обеспечения.

Нас уже пятнадцать за барьером.

— Выходи строиться! — говорит лейтенант. Выходим через другую дверь на широкий двор. Здесь нас уже ждут старшина, сержанты и ефрейтор. Становимся в два ряда.

— Вещи оставить... Ножи... Деньги, часы сдать под расписку! — говорит лейтенант.

Кто-то сует деньги в сапог. Наш Бригадир из тюремных не выпускает мешок с продуктами. Бухгалтер что-то тихо говорит ему, и тот послушно кладет мешок на длинный, врытый в землю стол. Ефрейтор бросает его в общую кучу:

— Все, теперь на казенные харчи переходите!

Нас ведут к приземистому зданию, как видно, дореволюционной постройки. Снаружи непонятно, что это: ровные голые стены. В середине становится видно, что тут был чей-то клуб. На деревянном помосте, где сцена, стоит несколько железных кроватей. На одной сидит сержант, клеит лычки к погону. А в зале человек сорок вроде нас: сидят на длинных скамейках или спят на посыпанном соломой полу. Большинство из военных. Тюремные сидят отдельно, у стены. Мы трое находим себе место на незанятой еще скамейке, недалеко от них. Бухгалтер с Бригадиром устраиваются рядом, на полу. Мы теперь вроде как земляки.

Тюремные, которые прибыли до нас, играют в карты. На полу за скамейками расстелен ватник и все они сидят кругом. Как только лейтенант уходит, они снимают наброшенное сверху одеяло. Там гора бумажных денег. Очко...

Перед обедом приводят еще одну группу уголовных — тех, кто накануне ждали с нами у КПП. Они сразу идут к своим... Среди них есть знакомые. Слышно, как шумят, приветствуют друг друга. «А, Фонарь... Жмота тоже замели?.. В Красноводске, на прыгалке. Без права на искупление...»

Обедать выходим без строя. Во дворе — кирпичные столы в ряд и к ним такие же скамьи на уровне земли. Бланду разливаем из бака в миски.

— Ну, суп ППЖ, — говорит кто-то из танкистов. — Прощай Половая Жизнь.

Да, это не наши девятая или седьмая норма со стартовым завтраком в дополнение.

После обеда осматриваемся: во дворе, кроме летней столовой, только уборная и еще дверь в канцелярию, где сидит капитан. Там часовой. С другой стороны плац и нарыты учебные окопы. За ними стрельбище. И тоже часовые у проволоки: через пятьдесят метров.

Сержанты, которые на помосте, где сцена, поедут с нами до места. Они катаются так каждый месяц: туда и обратно. Мы лежим на узких скамьях, слушаем, как ссорятся за картами

уголовные. Всякий раз возникает между ними какая-то ссора. Мы уже знаем, барахло тут толкают через вольнонаемного дядю Колю и через некоторых часовых. Через них же достают, что надо.

— Так, ворье непутевое,— говорит Кудрявцев.— Один вон только в настоящем законе, из Ташкента. Говорят, больше ста лет на нем с побегам.

Смотрю на сидящего в стороне от всех парня: ничего особенного: белобрысый, с широким лбом. Правда, плечи у него широкие, литые, на руке буквы — «Валя». А так и лет ему немного, пожалуй, на год или два только старше меня. Когда успел он столько лет нахватать? Однако уголовные к нему с каким-то особенным почтением, даже обходят за три шага, когда бегут по своим делам. Сидит он, прислонившись спиной к стене. Почему-то и обедать не ходил...

Играющие вдруг притихли. И на нашей стороне тоже наступила какая-то непонятная тишина. Поворачиваю голову. Рядом, возле нашей скамейки стоит долговязый уголовник с большим покатым носом на узком лице. Он не смотрит на меня, как бы не имея к нам дела. Мы по себе, они сами по себе. Длинными цепкими руками уголовный держит за сапог Бухгалтера, не давая тому подняться с пола:

— Эй, ака, колеса одолжи. Они у тебя фасонные!..

Бухгалтер все поджимает ногу, хочет встать, но Долговязый дергает, и тот опять валится на спину.

— Давай, Баул, чего тянешь с каким-то фазаном! — кричат с места уголовные.

Полный Бухгалтер пыхтит, отбиваясь, растерянно смотрит на нас:

— Курсант... э, курсант...

У него получается «кюрсант».

Поднимаюсь со скамьи... Так, задвигались, сели на своей скамье танкисты. С ними мы не раз дрались в Самарканде, когда ездили туда на танцы. Вражда у нас старая. Но тут — другое. И артиллеристы повернули к нам головы, опустили свободно руки. Чувствую: чего-то не хватает в ладони. Да, в драке мы наматывали кожаные пояса на руку, пряжкой наружу. У меня и сейчас еще шрам на голове от этого. Только пояса у меня теперь нет.

Говорю негромко:

— Оставь его, слышишь...

Долговязый перестает дергать сапог с ноги Бухгалтера, но не отпускает, угрюмо спрашивает меня:

— Чего тебе до этого фазана?

И оглядывается на вора-рецидивиста, который так же сидит, прислонившись к стене. Даже не смотрит сюда.

— Эй, Баул, кончай,— шумят уголовные.— Что там этот когут лезет!

Говорю все так же безразлично:

— Ну... сказали тебе, сука волчья.

Бухгалтер перестал дергать ногу, затих. Долговязый выпускает сапог, делает шаг назад и опять смотрит на белобрысого вора в законе. Тот не шевелится.

— Я ничего... С фазаном только, не с тобой же,— говорит Долговязый.

Нет, мы знаем правило. Так, на половине, оставлять не полагается. И счета с ними есть у нас. Только надо быть настороже: тут и финаря можно получить. Делаю шаг вперед и бью его длинно, с оттяжкой. С запрокинутой головой падает он прямо на Шурку Бочкова, и тот встречает его снизу так, что Долговязый крутится на месте. Шурка умеет драться. Он добавляет еще раз — слева, и уголовный валится на Кудрявцева, который коротко, страшно опускает сцепленные руки ему на ребра.

— За что... за что караете? — всхлипывает Долговязый.

В жесткой тишине продолжаем бить его, и он летает от одного к другому из нас, стараясь заслонить только лицо. Из разбитого рта, большого покатога носа хлещет кровь, руки у нас липкие. И он ничего уже не говорит, не просит. Это длится долго, и иначе нельзя.

Когда мы оставляем его, уголовный сидит на полу, а голова его лежит на скамейке...

— Конечно, кормят вас... масло хаваете ложками!

Это с рыданием в голосе говорит черный, со шрамом у рта, уголовник, который играл с Долговязым в карты и науськивал его. Но когда мы смотрим в его сторону, он опускает глаза.

— Встать!

Все встают. В дверях стоит капитан, который принимал нас. Он видит сразу все: сидящего на полу уголовного, испуганного Бухгалтера, надевающего стянутый до половины сапог. Кто-то, видно, позвал его. Но капитан лишь кивает пришедшему с ним сержанту.

— Выходи строиться! — командует тот.

Мы стоим во дворе неровным прямоугольником — что-то вроде полуроты: впереди — военные, сзади — тюремные. Капитан подходит к строю, как раз на половине делит его рукой:

— Эта часть — напра-во!..

Теперь мы разделены на две группы. Кроме нас, в нашей группе танкисты, несколько человек из строевых частей и половина уголовных. Бухгалтер с Бригадиром тоже остаются у нас: они быстренько встали нам в спину.

— Это будет первый взвод,— капитан указывает на тех, кого отвел в сторону.— Селезнев!



Из строя выходит спокойный, медлительный парень с веснушками на лице: мы знаем, что он из пехотно-пулеметного училища.

— Будете старшим! — говорит ему капитан.

Возле нас он стоит и будто раздумывает о чем-то.

Потом говорит резко:

— Старший — Тираспольский!

Выхожу из строя, беру у старшины тетрадь, начинаю составлять список. Трудно держать карандаш: болит большой палец, ушибленный полчаса назад.

Вор-рецидивист тоже оказывается у нас.

— Иванов Валентин Николаевич, — говорит он, спокойно глядя на меня. В его глазах — серо-голубых, прозрачных, даже какое-то добродушие. А он действительно здоровый парень, короткие рукава у майки натянуты так, что вот-вот лопнут по шву.

— Иванов, почему не пообедал и не завтракал? — спрашивает капитан.

Тот с чуть виноватой улыбкой пожимает плечами. На нем легкие парусиновые брюки, сандали с дырочками.

Другие уголовники отвечают хмуро, не смотрят в глаза. Когда список подходит к концу, из помещения выходит Долговязый. Он идет неуверенно, закрывая рукой разбитое лицо. Увидев меня с тетрадью, останавливается и потом уходит к другому строю.

— Сирота, — окликает его капитан. — Сюда встаньте!..

Долговязый вздрагивает и послушно возвращается к нам.

— Фамилия? — спрашиваю, подходя к нему с тетрадью.

— Сирота...

— Имя-отчество?

— Лева.

— Как это, Лева? — теряюсь я.

— Лев значит...

Кто-то один засмеялся, но остальные молчат.

— Так... а отчество?

Долговязый не отвечает, и капля крови падает у него из разбитого носа на землю.

— А у него нет отчества, — говорит из другого строя уголовный со шрамом, который укорял нас маслом.

— Как это нет?.. А по паспорту?

— У него никогда не было паспорта.

Никто теперь не смеется.

— Иванович записали мы, — вмешивается старшина.

Пишу «Иванович». Что-то мне не по себе.

Колонной, повзводно, мимо окопов и стрельбища идем за холмы, в степь. Впереди сержант с автоматом, и по краям

четверо. Километра через полтора расходимся цепью, собираем сухую верблюжью колючку на топливо. Сбиваем ее ударом сапога под корень, потом катим кустик к кусту, трамбуем, пока не получается охапка. Смотрю на Иванова — ему в сандалетах трудно сбивать колючие кусты: он поворачивается всякий раз и бьет по корню каблуком. Набрал он порядком и правильно трамбует колючку. Значит, местный, среднеазиатский. Тут все топят колючкой.

Нести нам тоже легче, чем тюремным: у всех есть брючные ремни. А у них кто во что горазд: некоторые волокут колючку, обхватив ее голыми руками. Сирота тащит еле-еле, спотыкается, теряет половину по дороге. Стараюсь не смотреть на него.

Сбрасываем колючку у полковой кухни, откуда получаем питание. Идем к себе кучей, пыльные, усталые. Садимся во дворе у стены, вытянув ноги, ждем ужина. За забором, в полку, лихими голосами поют:

Знает Сталин-отец,  
Знает Родина-мать,  
Что советский боец  
Не привык отступать.

На третий день нас ведут в санпропускник, на форму — восемь. За два дня прибыло еще человек пятьдесят, так что стало четыре взвода. Сидим голые после бани, ждем обмундирование с вошебойки. Военным оставляют прежнее: на складе не хватает «б/у»<sup>1</sup>, особенно обуви. Мы получаем свое, еще горячее от пара обмундирование, а тюремные все сидят, мотают обмотки.

Подхожу к Сироте, смотрю. Он втягивает голову в плечи, нагибается все ниже.

— Не так... Слышишь, Сирота, ногу разотрешь.

Он и портянку не может мотать. Объясняю ему:

— Под палец угол закладывай. И тяни крепче, понял?

— Я вот... уже... видите...

Искательное захлебывание в его голосе. И страх в глазах. Мне становится противно, до тошноты. Встречаю спокойный взгляд Иванова. Как-то непонятно он улыбается: то ли с насмешкой, то ли с грустью. Вроде бы всех жалея.

Всем нам раздают одинаковые пояса: брезентовые, с провололочной пряжкой. И парусиновые под сумки к ним.

— Вот и хомут правильный! — говорит Куравцев, пробивая гвоздем дыру в брезенте.

Почему-то забеспокоился, начинает громко причитать Бухгалтер. Оказывается, он спрятал под подоконником деньги, те-

<sup>1</sup> Б/у — «бывшее в употреблении».

перь их нет. Еще кто-то кричит, что обокрали. Уголовные, молчат, будто их не касается. Смотрю на Иванова. Тот отрицательно покачал головой. Да, мылись вместе и выходили все сразу.

— Они тут специально щели готовят,— Кудрявцев показывает на дыру под окном.— Для дураков.

Вольнонаемные при санпропускнике заходят и выходят с охапками одежды. Иди, узнай, кто из них это сделал.

Вечером переписываю в канцелярии сведения на взвод и слышу, как капитан Правоторов посылает за Ивановым. Тот приходит, становится перед столом, сложив за спиной руки. Капитан молчит, думает о чем-то. Потом спрашивает своим бесцветным голосом:

— Чего же ты не ешь, Иванов... Не обедаешь, не ужинаешь? Иванов смотрит на капитана как будто виноватым взглядом.

— У нас голодуха не положена, сам понимаешь.

Иванов пожимает плечом, потом говорит вдруг совсем отчаянным голосом:

— Мне в Ташкент на один день нужно.

Капитан опять молчит, потом достает из шкафа фляжку, наливает из нее в стакан:

— Выпей...

Голос у капитана Правоторова все такой же тусклый, без всякого выражения. Мы знаем, что у него восемь орденов, и в четвертый раз приезжает он сюда за пополнением.

Иванов выпивает водку. Капитан наливает себе и тоже пьет. К вечеру он всегда на хорошем взводе, и лицо его, с мешками у глаз, делается темным. Кто ему что скажет. Мало найдется желающих на его должность.

— Вот что скажу тебе. Отпущу, как поедем...

Иванов стоит неподвижно, потом поворачивается и уходит.

— Хочешь, Тираспольский? — говорит капитан Правоторов.— Выпей.

Пью теплую водку из стакана и вдруг чувство, как начинает кружиться голова. Когда иду, земля во дворе покачивается... А суп тут, правда, ППЖ. Есть хочется до невозможности...

В казарме ложусь на набитый соломой матрац, и все стараюсь что-то вспомнить. Сюда перевели нас уже после бани: нары здесь из кирпича, посыпанные галькой и смазанные глиной, а сверху уже матрац. Откуда тут галька? Даже ракушки морские среди нее попадают. Ну да, здесь было море. В школе мы про это учили. Черное соединилось с Каспийским и шло дальше...

Каждый день мы теперь на стрельбище. В основном тут морока с тюремными. Есть такие, что и ружья близко не видели. А на взвод для стрельбы у нас по две винтовки. Бухгалтер когда стреляет, зажмуривает глаза. Когда растрату делал — не боялся.

— В трубу хочешь! — говорю я с угрозой.

Есть такой пехотный способ, чтобы грома солдат не пугался. Посадить в стальную трубу, и дать залп по ней отделением. Ну, это старые сержантские сказки. Однако Бухгалтер, хоть и не знает что это такое, широко открывает глаза, когда тянет курок. Через неделю уже в щит попадает. И задница из окопа не торчит.

То же и с Сиротой. Тот вообще за курок боится взяться. Лежу рядом, зажав его пальцы, и вместе стреляем. Потом уже он стреляет сам. Собственно, не мое это дело. Такой же я, как и он. Это Правоторов переложил все на нас. А сержанты из полка, которые должны этим заниматься, стоят и курят. Оба лейтенанта, Ченцов и Хайленко, появляются от случая к случаю.

Хорошо стреляет Иванов. Рука не шелохнется и пули ложатся кучно, одна к одной. Все улыбка на его лице, даже детская какая-то. Только глаза смотрят прозрачно. Теперь он ест вместе со всеми. И как будто стесняется при этом: рукой он прикрывает миску, когда сгребает со дна затертую в суп крупу.

Узнаем, что скоро едем. Нас выстраивают на плацу. Приходит какой-то высокий полковник. С ним майор из комендатуры и старший лейтенант с юридическими погонами, который принимал тюремных. Два раза зачем-то проходим строем. Без песни: нам не положено.

Полковник совсем старый, с провисшими сзади на сухом теле брюками, но злой. Неизвестно даже, откуда он появился: то ли местный, то ли инспектор из округа. Вытянув большие фиолетовые губы трубочкой, он вслух считает ряды. При этом он помахивает в такт рукой.

Мы идем плохо, без чувства. Тюремные вообще топчутся как попало. Капитан стоит, будто это его не касается.

— От-ставить! — громко кричит полковник и поворачивается к капитану Правоторову. — Чем вы занимались с ними все эти дни?! Я вас спрашиваю, товарищ капитан!

Капитан Правоторов с удивлением поднимает глаза на полковника, будто впервые его увидел. Потом что-то негромко говорит. И рот у полковника вдруг делается совсем круглым.

— Вы... рапорт...

Но капитан уже не слушает его. Полковник идет к калитке, проделанной в заграждении из проволоки, и его пышные брюки-галифе мотаются под ветром из стороны в сторону, будто ничего нет под ними. В строю довольны. Кажется, мы слышали, что сказал инспектору капитан Правоторов...

В последний день мы, взводные, сидим в канцелярии и пишем списки: кто, откуда, по приказу или по суду, на сколько. Входят конвойные, ведут еще двоих. Перестаем писать, смотрим с удивлением. Старшина и ефрейтор поднимают и тут же опускают головы.

Те, которых привели, совсем еще пацаны, можно сказать. Одному и шестнадцати, наверно, нет, а другому и вовсе тринадцать или четырнадцать.

— Так... Хрусталеv, Рудман.— Капитан Правоторов медленно читает сопроводительные документы.— Групповое хищение со взломом. На всю катушку. Что же похитили вы там?

Пацаны переглядываются.

— Муку,— глухо говорит старший.

— Так, муку...

Оба худые, в каких-то опорках. Старший совсем бледный, так что синие жилки видны на лице. Другой — маленький, черный — всякий раз вздрагивает от вопросов. Вместо рубашки у него какая-то кофта с розовыми полосами, как видно, перешитая из женской одежды.

— Эвакуированные? — спрашивает капитан.

Оба почему-то опускают головы.

— Где же вы... это?

— На станции...

Старший уже смелее рассказывает: вагон стоял. Он, Вадька, маленький, с крыши полез и торбу с мукой мне передал. Тут как раз и милиция, вохра<sup>1</sup>...

Приходит старший лейтенант с узкими погонами, за которым послали. Он читает документы, поглядывая на пацанов. Потом они с капитаном тихо говорят о чем-то.

— Сколько вам лет? — спрашивает лейтенант.

— Восемнадцать! — поспешно, в один голос отвечают пацаны.

Капитан нетерпеливо постукивает рукой по столу. Старший лейтенант еще раз смотрит на пацанов, быстро подписывает документы и отворачивается.

— Так.— Капитан смотрит на нас.— Тираспольский, к себе возьмешь!

Мы с ефрейтором идем на склад «б/у», подбираем им комплекты обмундирования, ведем в баню. Оба они тонут в армейских брюках, а младшему приходится подворачивать рукава гимнастерки. Пилотки висят у них на ушах, приходится ушивать их сзади. На остальное нет времени.

— Правоторов всегда таких берет,— рассказывает мне ефрейтор.— Тут считай — кража социущества: сколько лет загорать. С бородой выйдут. А так: раз-два, и готово. Хорошо в войну: долго не сидеть. Вот и прибавляют себе такие пацаны годы. Если человек жалостливый, конечно, найдется... Вас кто научил?

Это он спрашивает у пацанов.

---

<sup>1</sup> Вохра — военизированная охрана.

— Адвокат Илья Евсеевич сказал: говорите, что восемнадцать — потом, после суда, — охотно рассказывает старший — Хрусталеv.

— Говорить-то все можно. Как посмотрят. А Правоторов всегда их берет!..

Мы уже в вагонах. Их в эшелоне полсотни. Лишь штабной — пассажирский, остальные — красные, товарные, с трубами утепления наверху. Первые два вагона после штабного — наши. Нары в два этажа, и дверь так задвинута, что не может открыться шире, чем для одного человека. В каждом вагоне у нас сержант с автоматом и часовой. Снаружи на нашем вагоне мелом написано: «...дец немецким оккупантам!» Это кто-то от души.

Взводным разрешено выходить. Стою и смотрю, как грузятся два маршевых батальона: с оружием, минометами, боекомплектом. На разъезде тут один запасной путь и вокруг голая степь. Командиры торопят: крики из конца в конец эшелона, команды, ругань. На Западе в горячей песчаной мгле мутно расплывается солнце. Мы поедem в другую сторону. Наш капитан подходит к вагону:

— Иванов!

Тот выпрыгивает на землю. Капитан Правоторов делает мне знак, и втроем мы идем на другую сторону пути, мимо паровоза, к стрелке. Там лишь какой-то железнодорожник возится с фонарем.

— В Ташкенте будем завтра к ночи. Найдешь там, — говорит капитан Иванову.

Тот смотрит своим прозрачным взглядом и прислушивается. Рельсы гудят. Среди желтых холмов появляется черная паровозная туша. Она стремительно растет в оранжевом диске заката.

— Смотри там... патруль!

Иванов утвердительно кивает головой.

Гром нарастает, и вот уже, полая горячим ветром, несутся мимо тяжелые темные цистерны маршрутного. Иванов бежит рядом. Руку его дергает, рвет, тело подхватывает ветер, он подтягивается и исчезает в будке между цистернами. Через минуту ничего уже не видно, рельсы и земля затихают.

— Пошли, — говорит капитан.

Ночью едем, долго стоим, опять едем. Качается фонарь у двери. Кто-то плачет во сне, тонко скулит. Сапогом бы пустить, чтобы заткнулся...

Днем задувает в открытую дверь дым от паровоза. Сквозь летящие угольные зерна видны сады, речка, прямоугольники кураги на крышах. Это же старый город. Где-то тут за деревьями — аэродром...

Больше не смотрю, протираю тряпкой засорившийся глаз. Не тряпка это, а большой мытый платок из парашютной ткани.

И буквы крупно вышиты в углу: «Б. Т.».— Борис Тираспольский. В мелких квадратиках шелка остается черный след...

Едем уже без остановки. Закат теперь слева. Поздно ночью яркие электрические огни поочередно высветляют внутренность вагона. Щурим глаза от света. Наконец останавливаемся. По пустой платформе гулко стучат сапоги.

— Ташкент...— говорит кто-то.

Все задвигались. В дверь к нам грузят мешки с хлебом, консервы, заливают титан водой. Это воинская площадка, я здесь грузился когда-то. Капитан неподвижно стоит напротив нашего вагона. Никого больше нет на платформе. Трогаемся только к утру.

Потом еще долго стоим на Чирчике, в черте города. Как и в прошлое утро, делается проверка. Лейтенант Ченцов опять не называет фамилии Иванова. Выставляю голову из вагона, смотрю налево, потом на мост через пути: никого нет. И капитана не видно. Трогаемся...

Мы отворачиваем все ближе к закату. Пламенно-желтые полосы наискось ударяют в дверную щель, просвечивают вагон до самой дальней стены. Ночью опять кто-то плачет. Лезу в угол, в темноту. Это, оказывается, пацаны.

Плачет старший, и не во сне, а с открытыми глазами.

— У него мать больная,— говорит младший, Вадик, и обращается к напарнику.— Ты не бойся. Линка за ней посмотрит. Продадут чего-нибудь, если что.

Мне он объясняет:

— Линка — моя сестра. Мы в бараке с ними, в комнате одной. Днепропетровские...

Под утро опять стоим. Тишина такая, что, кажется, вся земля уснула. Лишь где-то в лунном свете блеет козленок: должно быть, на разъезде. Тяжелый грохот наваливается неожиданно, качаются вагоны. И проходит тоже сразу, как будто исчезает из этого мира. Маршрутный наливной пропускается даже раньше воинских.

Медленно, почти незаметно, трогаемся. Кто-то касается моего плеча, обрывая утренний сон.

— Тираспольский... Это я.

Пахнущий ветром и нефтью, еще тяжело дыша, укладывается рядом со мной Иванов.

— В облаву попал. У самого вокзала,— говорит он и затихает. Потом, через некоторое время, снова говорит возбужденно, торопясь все объяснить.— Жена у меня в Ташкенте, понимаешь. На Текстильном работает. Два года девочке. Вот...

Смотрю в предутренней тьме на карточку. Молодая женщина с сильно завитыми, как у Орловой, волосами, в платье с прямыми плечами. Иванов тоже в пиджаке с плечами и расстегнутой

бобочке, смотрит куда-то, откинув голову. И девочка между ними с широким любиком, вся подалась вперед. Ручка на колене у отца.

— Верка обрадовалась. Ну, вот, солдат ты, говорит,— шепчет Иванов.

Утром на проверке, будто ничего не случилось, называют его фамилию. Капитан только коротко здоровается с ним. И другие молчат, хоть все знают про то, что отпускали Иванова.

Будто сломалось что-то между нами и уголовными после того, как вернулся Иванов. Раньше Левка Сирота заискивал перед нами. Теперь он уже не боится нас, сидит, как-то странно согнувшись в три погибели на нарах, и рассказывает мне:

— Вот лафа была перед войной. По Житомирской ветке или от Бахмача. Сажусь в поезд: в чистой рубашке мальчик, даже платочек для носа. По плацкарте, чин чинком, никто и не скажет ничего. А под утро, через другой тамбур уже с чемоданом. Пахан у нас в Дарнице был. Посмотрит сверху на чемодан и определяет: сто рублей тебе за него или двести, а то сразу пятьсот. Знаешь, что тогда пятьсот рублей были!..

— Ну, а хозяин? — спрашивает Кудрявцев.

— Что хозяин? — не понимает Сирота.

— Да чей чемодан спер. Ему какóво?

Сирота моргает короткими ресницами:

— Ну, а ты, когда парашют толкал?

— Дурак, он же казенный.

Капитан Правоторов теперь вовсе перебрался к нам: лежит на нарах с закрытыми глазами, но не спит. К обеду уходит в офицерский вагон. Приходит оттуда уже тяжелый: поднимается по железной ступеньке, стараясь точно ставить ноги. Ужинает с нами, из котелка. Хлебнет две ложки и снова ложится. Никто у нас громко не говорит и не матерится при нем.

К вечеру, когда спадает жара, лезем на крышу. Нам негласно позволяется. Лишь тюремные не делают этого: сами понимают свое положение. Еще пацанов мы берем с собой. Вот уже третий день вокруг ровная степь: серая, с желтыми пятнами колючки. Ночью вдруг пахнет морем и даже слышится прибой. Наутро все та же степь, и верблюды стоят у горизонта.

Мы с Шуркой Бочковым сбрасываем рубашки, лежим на жесткой крыше, обсыпаемые жгучей паровозной пылью. Кудрявцев не снимает даже гимнастерки, сидит, лениво привалившись к трубе утепления. Утром, когда приходится, моемся у водокачки, пока паровоз набирает воду. В маршевых батальонах это не разрешается. Из эшелона смотрят на нас без завести, понимая наши нынешние права. В вагонах у них поют песни. Мы же песен не поем...

Остальное все проходит без задержки. Железный грохот



прерывает солнечный день. Сквозь мелькающие пролеты моста видна река. Темный косой дождь сечет стенку вагона. Становится холодно и сыро. Вечером опять грохот: только более долгий, устойчивый. И река шире: берега тонут в пелене дождя. Когда мост кончается, вдруг открывается край неба. Закат тут совсем другой: красный, в черно-синих тучах. Мы едем теперь прямо в этот закат.

Россия... На станциях женщины продают горячую картошку. Они суют ее к нам, в вагон, мимо часовых. Одну только картошку. Стоит она недорого, но без соли. Соль у нас есть. Мы едим и греемся.

Дождь еще не кончается. Красные и желтые полосы плывут вместе с нами. Близкие деревья роняют листву, а в проемах видны поля, с которых убрали хлеб. Потом все краски вдруг пропадают, остается только серая. Печные трубы без домов то приближаются, то исчезают за дождевыми полосами. Черная вода стоит вдоль пути.

— На триста метров немцы жгли от дороги,— говорит Кудрявцев.

Ночью выгружаемся. Синяя лампочка горит где-то на разбитой станции. Чтобы не околеть, бежим с часовыми строем по невидимой дороге. Тяжелая грязь липнет к сапогам. Потом спим в сарае без света, и всю ночь со двора доносятся команды. Где-то режут танковые моторы. Потом они стихают, и опять становятся слышны далекие глухие удары...

Утром строимся во дворе. Не двор это, а военная зона километра полтора в длину. Сейчас здесь тихо, лишь следы от колес и гусениц остались в черной непролазной грязи.

— Быстрее, быстрее разбирайся со своими, капитан! — кричит с подъехавшего «виллиса» майор с красной повязкой на рукаве и коротко, мельком, смотрит на небо.

Нам выдают шинели «б/у». Старшина на грузовике, который привез их, поднимает каждую шинель, примеривает на глазок и бросает кому-нибудь из нас подходящую по росту. Шинели разномастные: серые, розоватые, мягкие и зеленые английские. Смотрю свою на свет и хорошо вижу через нее небо. Ворс вытерся без остатка, и она как старый мешок. Шурка Бочков трогает меня за руку:

— Смотри!

У его шинели, как раз на груди, кругло заштопанная дырка. Рассматриваем спину: там все цело.

Где-то далеко все не прекращаются глухие равномерные удары, будто вагоны на станции стучаются тяжелыми буферами. Время от времени кто-нибудь перестает возиться с шинелью, прислушивается. Никто ни о чем не спрашивает. Мы знаем, что это на станции.

— Хрусталеv, Рудман!..

Пацаны, путаясь в шинелях, спешат к капитану. Тот стоит возле грузовика и говорит о чем-то со старшиной, показывая на них. Старшина кивает головой:

— Давай, лезь, недоростки!

Пацаны лезут в кузов, и машина трогается.

— Поторапливайся, — слышится команда.

Едим горячую баланду в длинной, укрытой дерном землянке. Потом строимся и быстрым шагом идем через ворота и дальше к синееющему неподалеку лесу. Только приближаемся к нему, слышится прерывистое «гу-гу-гу». Забытый холодок появляется где-то внизу живота.

— Воздух!

Рассыпаемся в подлеске, среди мокрых кустов. Один из часовых, курносый парень с белыми бровями, остается стоять с винтовкой в руке, озирается на нас растерянно:

— Эй, куды вы, куды?..

— Ложиьсь, туды твою маты! — говорит ему капитан, и тот поспешно опускается на корточки, прячет голову в воротник шинели. Бьют откуда-то зенитки в невидимое небо. Самолеты вываливаются из невысоких туч прямо над станцией, идут в полупике: «мессершмитты». Бомбы отрываются, описывают короткую медленную дугу. Неслышные разрывы, и только потом вздрагивает земля. Когда-то я уже видел это. В сорок первом прикомандированным к запасному полку пацаном-спецшкольником шел я по Украине от летних лагерей на Куяльницком лимане почти до Ростова. Только все тогда было иначе...

Почему-то твердеют у меня руки, только потом слышу другой, знакомый гул. Четыре слитых с облаками тени проносятся над нашей головой, ложатся в вираж. И еще два, круто — с другой стороны. «Ла-пятые!»..

«Мессершмитты» — то ли семь их, то ли восемь — разлетаются в разные стороны. Бомбы летят теперь куда попало. Одна ухает в лесу. Вокруг моторы на форсаже. Это наши. Бой идет у нас над самой головой. Вздрагивает, будто надламывается по длинному фюзеляжу немецкая машина и валится, дымя, куда-то за деревья. Два «Ла-пятых» делают разворот и, набирая высоту, уходят в серые облака вдогонку за другими...

Перевожу дыхание. Шурка Бочков стоит на коленях с побледневшим лицом. Правая рука у него так же, как и моя, где-то у солнечного сплетения. Левая — на отлете. У Кудрявцева руки сведены вместе. Он был стрелком-радистом на «Илах».

Заметив мой взгляд, Кудрявцев разводит руки, начинает отряхивать шинель. Ему досталась танковая, короткая для его роста...

Весь день идем вдоль черной, с блестящим грязевым накатом

дороги. По самой дороге идти нельзя. В низинах и ямах бурая торфяная жижа наливалась в голенища, не говоря уже о тех, у которых ботинки. Да и движение частое на дороге: в ту сторону — нескончаемый хвост трехосных крытых брезентом «студебекеров». Нет-нет, между ними мелькнет еще довоенная заплатанная полуторка с уложенными снаряжными ящиками. Навстречу — одиночные машины. Перебинтованные люди обязательно орут нам что-нибудь, машут руками. И хохот их непонятный, общий. Вроде бы ничего смешного не крикнул мужик в пилотке поперек и с забинтованной до плеча рукой, но сам он тут же валится от смеха, не отпуская здоровой руки от борта машины. И внутри все хохочут — громко, до слез, держась за борта, вскидывая к небу забинтованные руки, ноги. Из тех машин, где лежат на дне кузова, прикрытые до подбородков шинелями голоса не слышно...

Мелкий, с туманом, дождь идет весь день. Шинели мокрые, но не впитывают воду, пропускают ее к телу. Зато не слышно самолетов. Воронки разной величины видны тут и там — старые, с обвалившимися краями, и совсем свежие, где белют по стенам срезанные корни деревьев. И все ближе, явственней глухие равномерные удары. Грома почти не слышно за сеткой дождя. Звук идет будто из-под земли... Тогда, в сорок первом, это было не так. Сады были полны яблок. Стлались пожары по далекому горизонту. Начинало вдруг греметь то впереди, то сбоку, то сзади. И быстро стихало...

Ночь спим в лесу, в старых блиндажах, как видно, немецких. Дзот стоит амбразурой в ту сторону, откуда мы пришли. Встаем задолго до рассвета и часа два еще идем во тьме. Дождь не кончается. Теперь гремит уже совсем близко — кажется, сразу за ближайшими деревьями. Лес тут чахлый, с выгоревшими участками. Сворачиваем налево, и вдруг видим, что идем по деревенской улице. Все тут есть: плетни, приступки у домов, колодец со срубом, только нет самих домов. Даже труб печных не осталось. А люди есть: посередине улицы едет телега, и человек без руки, в накинутах на плечи мешке, от дождя, правит лошадю. Здесь живут где-то в земле.

Теперь мы на широком, огороженном колючей проволокой дворе среди землянок. Все здесь добротное, устоявшееся.

Над поднявшимися точно на полметра от земли оконцами бревна в три наката, везде стрелки с обозначением служб, даже песком как будто посыпаны дорожки. Все это укрывает лес.

И солдаты здесь во всем новом: почему-то на них суконные гимнастерки и фуражки с цветным околышем. Они стоят, смотрят, к нам не подходят. Пахнет кашей с мясом, и мы бесконечно долго стоим, хмурые, переступая мокрыми, тяжелыми сапогами.

Наши пацаны, Хрусталеv и Рудман, уже здесь: бегают, носят дрова для кухни. Хотя это нас утешает.

Наконец идет наш капитан Правоторов. С ним другой капитан с красивым нерусским лицом в хорошо пошитой шинели и надетой чуть к глазу фуражке. У всех у них здесь того же цвета околыши. Приводят откуда-то еще человек двадцать таких, как мы, без погон, в шинелях и ватных бушлатах, распределяют по взводам. Ко мне попадает четверо. Новые стоят независимо, курят, поплевывают, громко переговариваются между собой.

— Хозяин, время вроде бы обедать,— говорит один, невысокий, плотный, без двух зубов впереди.

— А, Даньковец,— отвечает с легким акцентом здешний капитан.— В третий раз уже к нам.

— Это к тебе, радость моя, в третий.

Капитан как будто не слышит тона. Они стоят с нашим Правоторовым и смотрят бумаги. Тут же, кроме своих лейтенантов Ченцова и Хайленко, еще три чужих офицера и старшина. Два раза проводится переключка. Потом караульные солдаты и сержанты, которые ехали с нами, по команде отходят, выстраиваются в стороне. Больше мы их не видим. К нам становятся автоматчики в фуражках, но уже не рядом, а шагах в двадцати.

В казарме из свежесрубленных бревен едим щи из котелков, Хрусталеv и Рудман притаскивают бак с горячей кашей.

— Рубай, братва, на месяц *вперед*,— говорит Даньковец.— Очка правильная!

Голос у него хриплый, неприятный. И выговор жлобский. Очень уж давит он на это «вперед». Я сам когда-то так говорил, когда мы, припортовые, затевали между собой драку. «Што ты пригаешь, на свой лоб приключений ищешь?!»

Капитан Правоторов и наши офицеры едят с нами.

— Теперь отдыхать,— говорит капитан.

Ложимся где попало: на нарах, где есть место, на полу. Новые, видно, отдохнули, держат себя шумно, как дома. Особенно Даньковец. С нашим капитаном он ведет себя, как старый знакомый, зовет его на ты. Они сидят вместе, долго о чем-то говорят.

— Так ты с Одессы, Тираспольский! — громко говорит мне Даньковец, возвращаясь от капитана.— Большой Фонтан знаешь? Как Леня в концерте фронту поет: «Моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда».

Меня коробит от его нахальства, от грубого хриплого голоса, а главное от того, как он давит на слова. Я молчу, но он как будто не видит этого.

— Песни родные знаешь? — Даньковец придвигается ко мне плечом, кладет мне на колено руку с короткими пальцами.— «На

Фун-дук-леев-ской открылася пивная...». Вот настоящая песня — наша, одесситская!

Родился и вырос я, что называется, в Одессе. Жил на Канатской угол Греческой. Не будет настоящий одессит говорить с таким нажимом: лишь чуть смягчит нужное слово. На Молдаванке и Пересыпи, даже на второй линии Чубаевки так не говорят. По тому, как играют под Одессу, как раз и определяют жлоба необразованного. В Одессе говорят вежливо... И что это такое — «одесситская»? Это в Раздельной даже так не скажут, за сто верст от Одессы. А Фундуклеевская, что он поет, так это в Ростове или в Киеве, тоже, кажется, есть такая улица...

Даньковец хлопает меня по колену:

— Мы тут, Боря, им такую заваруху закрутим!

Валька Иванов прозрачно смотрит на него, вроде бы даже с уважением.

— Выходи-строиться, получать оружие!..

Наматываем не успевшие просохнуть портянки, выходим наружу. По списку выдают нам винтовки, что лежат кучей на брезенте, записывают номера. Винтовки тоже старые, с обтершимися до голого дерева прикладами. Потом раздают обоймы — по три на человека.

— Не заряжать! Не заряжать! — чужой лейтенант отчаянно машет рукой.

Кладем обоймы в подсумки, прилаживаем ремни.

— Огурцов бы пару десятков! — говорит Даньковец и вопросительно смотрит на офицеров.

— Не положено. Только стрелковое оружие, не автоматическое, — отвечает местный капитан. — Сам знаешь.

Даньковец усмехается:

— Ладно, придумаем что-то.

Теперь мы идем уже без охраны, только впереди рядом с нашим капитаном, их лейтенант. Зато сзади нас идет рота при полном снаряжении, с автоматами, пулеметами, с выдвинутым в обе стороны боевым охранением. Едет еще полевая кухня. На ней повар-сержант и наши пацаны. Они закрылись от дождя брезентом и выглядывают из-под него будто мыши.

Теперь явственно слышится гром слева.

— Это у Григорьева в дивизии, — говорит Даньковец, шагая рядом с капитаном Правоторовым. — Третий день наступают.

— Тут как?

— Здесь пока тихо. Но если нас сюда, значит, тут и начнем.

— Пора.

— Полгода топчемся. Зимой, слышал, что тут происходило? Дивизию целую в неделю положили. Все на этом месте мудочались: ни взад, ни вперед.

Сейчас Даньковец говорит вроде нормально, только хрипло. Откуда берутся у людей такие голоса? Как тупым серпом...

Слышится тугой свист, и сразу разрывы: один, другой, третий.  
— Рассредоточься... Ложись!

Отбегаем в стороны от дороги, садимся. Снаряды падают далеко, метров на двести сзади... На пятый день войны, когда мы, спецшкольники, перегружали боеприпасы для полка, нас тоже обстреляли из-за Прута. Тогда убило Вовку Хуторецкого, из нашего класса...

Рота, что идет за нами, все делает по уставу: лежат в углублениях, ждут команды. И строятся ровненько, несмотря на грязь. У их офицеров и даже сержантов — специальные накидки от дождя. Курят они папиросы.

— Эй, кацо,— кричит Даньковец их солдату, догоняющему боевое охранение.— Угости «Беломором»!

Солдат неуверенно останавливается, не зная, как поступить. Совсем русский этот парень, с широким добродушным лицом. Оглянувшись на своего лейтенанта, он спохватывается и идет дальше, будто не слышал просьбы. Даньковец сплевывает:

— Жопа с ручкой!..

Еще раз попадаем под артналет. Сейчас снаряды ложатся ближе, в лесу. Снова за минуту-две несколько разрывов. Живой болезненный звук повисает в воздухе. Не сразу даже понимаю, что это дерево. Надломленная сосна клонится медленно, почти с человеческим стоном рвутся связывающие ее с землей нити...

Дальше леса уже нет: оголенные деревья лежат как попало, расщепленные пни торчат острием к небу. Ставшая совсем узкой дорога петляет, обходя старые воронки. Заходим в глубокий окоп сообщения и идем с полкилометра среди мокрых, обтертых локтями стен. Небо с низкими тучами кажется отсюда бесконечно далеким. Тут и не высочишь в случае чего: окоп вырыт в полтора человеческих роста.

— Давай, шевелись... Бегом!

Лейтенант Ченцов стоит у развилки, направляя нас направо. Это уже не команда. Мы и сами вдруг слышим, как застучал пулемет, заныла и оборвалась где-то внизу мина...

Сидим теперь в большой глинистой яме. Это, как видно, приспособленный для дела старый овраг. От него — укрепленные досками ходы в ту сторону, откуда время от времени слышны очереди.

— Селезнев... Тираспольский... Гришак... Саралидзе!..

Нас зовет лейтенант Ченцов. Идем за ним, выходим к блиндажу с продольным ходом сообщения. Здесь все оборудовано, как надо: вдоль траншеи видны еще блиндажи, от них проходы к первой линии окопов, на КП и к дзотам. Все укрыто бревнами с землей. Лишь кое-где следы старых попаданий. Как видно, оборона тут была недавно подновлена.

Рота, находившаяся здесь, сдает позиции. Это все пехота,

солдаты уже в возрасте. Идем за лейтенантом на НП. Там сержант с усами показывает капитану Правоторову что-то впереди, за окопом:

— От туточки у него как раз и есть гнездо. Где дерево сломанное и колья. А второе там за орудием, что потонуло, еще в весну. Мы в четвертый раз уже здесь...

Капитан смотрит в бинокль. Рядом с ним Даньковец — полез на бруствер и высматривает что-то свое:

— А скажи, дядя, что там у него? Справа от орудия, где колья?

— Ни, туда не совайся. Мины на каждом метре. Везде у него тут мины. И искатель их не возьмет. Тут, в болоте, все кругом железо пополам с торфом. С того года идут бои.

— Я зимой тут был, пушки этой не было,— говорит Даньковец.

— Зимой? — Сержант внимательно смотрит на него.— Я ж и говорю, весной оно потонуло. Думал он, твердо еще там, на болоте.

Встаю на носки, смотрю через мокрые ветки маскировки и в первый раз вижу это поле. В серых полосах дождя оно черное, с бурыми пятнами. Где-то в середине поле совсем бурое: хорошо видны штабеля оплывшего торфа, фундамент какого-то строения, утонувшее орудие колесом вверх, сгнившие колья с остатками проволоки. И какие-то окопчики — черточками тут и там перед самыми этими кольями. Дальше все теряется в дожде, и только где-то в тумане темнеет косогор, и на нем снова полоса поднявшегося леса. Будто гигантская яма в земле: километра полтора шириной и в длину километра два. Ничего, никакого двояжения. И вдруг я ощущаю запах: странно удушливый, ни с чем не сравнимый, он идет от этого поля. Дурнота подкатывается к горлу. Ищу глазами: что же это может так пахнуть?

— От здесь и есть тот самый выступ: никак его не возьмешь,— рассказывает сержант.— Там, на возвышении, у него доты такие, что никакая артиллерия не берет. А к ним невозможно подлезть. В болоте, где твердые места, врыты пулеметные точки, и минировано все, как есть. Когда снизу сунешься к ним, он сверху бьет, на колени даже не встанешь. Танки, технику опять-таки не используешь, из-за болота. Считай, сколько времени укрепляли они тут. Даже в газетах все одно и то же направление вот уж полтора года указывается. А из-за этого выступа и на других участках нельзя далеко продвигаться. Вот и сейчас; попыхали, попыхали и встали. Целый фронт тут тянем...

На той стороне гулко стучит пулемет. Видно, крупный калибр: где-то сзади пуля с тяжелым стуком ударяет в дерево.

— Это он для порядка, с той стороны. Снизу, с болота, он попусту не бьет, маскируя,— говорит сержант.

Мы все стоим и смотрим. Из веток маскировки, где проход в бруствере, головой и плечами вперед вываливается к нам какая-то фигура, медленно разгибаясь, встает на ноги. Ноги, руки — все у человека в бурой грязи, так что и не видно под ней ватного бушлата. И лицо бурое, с синими, сведенными холодом губами. Относительно чистый лишь автомат ППШ, что держит боец на весу.

— Хлопцы в секрете находились, где ваше место будет,— поясняет сержант.— Там старые лазы. От прежнего еще остались.

Второй человек вываливается в окоп, третий. От них исходит этот запах: резкий, невыносимый.

— Все, Андрушак? — спрашивает сержант.

— Все.

— Тогда пошли.

Сержант с бойцами уходит. Мы наблюдаем, как на их место устраиваются эти, в суконных гимнастерках: оттирают от смазки пулеметы, прилаживают их к амбразурам, проверяют прицелы. Солдаты прилежные, знают дисциплину. На нас они как-то не обращают внимания, будто и нет нас совсем.

— Ну, посмотрю: что там и как...

Даньковец обматывает ремень винтовки вокруг локтя и, весь подобрившись, став вдруг ниже ростом, головой и плечами, ныряет в ветки, закрывающие лаз из окопа. Мы смотрим в поле и ничего не видим. Лес на той стороне стал даже ясней. И тут ближние к нам люди и предметы стали выступать из тумана. А там, внизу, уже ночь.

— Утром все пойдем,— говорит капитан Правоторов.

Ночью спим кучей в траншее. Сверху ходят автоматчики. Просыпаюсь сам, неизвестно от какого чувства. Другие тоже не спят. В темноте нам раздают хлеб — по полбуханки на человека и по куску сала — бекона. Класть это некуда, и сую просто в карман. Слышу, как Даньковец разговаривает с капитаном:

— Двести метров отсюда. Там у нас в тот раз тоже КП был. Подвал там и есть укрыться где от огня...

Когда же он вернулся? Темная ночь, только мутный просвет где-то в небе, наверно, луна. Стучит пулемет, и разноцветная стайка пронесится высоко над головой. Далеко слева полыхают какие-то зарницы.

— Давай, давай... Тираспольский, второй взвод!

Командуют тихо, вполголоса. Пропускаю винтовочный ремень под локоть, втягиваю голову и ныряю в темноту. Мокрые неживые ветки бьют по лицу...



«Крутится, вертится ВИШ — двадцать три, крутится, вертится с маслом внутри...» Почему-то эта песня на довоенный знакомый мотив никак не оставляет меня. Уплывает — и вдруг возвращается, ходит кругами.

Мне нужно оправиться, но лежу неподвижно. Кажется, если сдвинусь с места, то уйдет из тела остаток тепла. Это тепло не в груди, а глубже, дальше...

Все же нужно двигаться. Пропускаю ремень карабина под локоть. Ремень узкий, кожаный. Этот немецкий карабин вечером, как выползали сюда, сунул мне Даньковец:

— Возьми, Боря, тут это способней будет!

У него у самого уже автомат ППШ и немецкие гранаты с длинными ручками за поясом. Где-то успел тут раздобыть. Пояс у него свой, с желтым якорем. И все не перестает говорить «за Одессу-маму».

Оpravляюсь метра три позади, стоя на коленях. Днем это приходится делать на боку, вовсе не отползая из окопа. А ночью не следует только вставать в рост, а то услышат. Из-под корня вывороченного дерева они бьют на каждый шорох. К тому же сразу вешают ракету. Если застают кого-то, начинают чесать в упор из болота и из дотов на гребне. Они уже поняли, что тут появился кто-то постоянный. В первую ночь убило двух в третьем взводе у Глушака и зацепило одного у Селезнева, тоже когда оправлялся. Его уже передали назад, как искупившего кровью...

Заползаю обратно в окоп, долго прилаживаюсь, находя то же самое положение, в котором лежал. И не окоп даже это, так, ямка, чтобы быть вровень с землей. Глубже здесь рыть нельзя: проступает вода. Она черная и ледяная. И почему-то очень чистая, если взять в ладони.

Отчего же тут этот запах? Может быть, оправлялись так полтора года? Окопы, в которых мы лежим, старые, неровные, принявшие очертания лежавших в них людей. Даньковец здесь два раза уже был. Но запах — не просто от людских отходов, он сладковато удушливый, чем-то напоминающий гниение кураги на крышах. С ним нельзя смириться.

Дождь перестает, и даже небо как будто светлеет.

Явственно, совсем рядом, слышу разговор: спокойный, уравновешенный. Голоса: молодой и старый. Потом третий голос зовет кого-то. Различают даже имя: Франц и что-то вроде *тринк*. Ну да, *тринкен*. Это же пить спрашивает. До восьмого класса я учил английский, потом в спецшколе — с самого начала — немецкий. *Вир баун моторен, вир баун машинен, вир баун тракторен, вир* — это только и успел узнать. Всю ночь, там, за кольями, говорят тихо, вполголоса, но когда перестает дождь, все хорошо слышно. А мы молчим.

Виснет ракета, высветляя ярким нежным светом каждый уголок среди воронок, каждый прутик. И сразу очереди: близкие, в упор, и дальние, с бухающим звуком, оттуда, где ровной полосой поднимается лес. Чуть бы раньше, и застали бы меня на коленях за окопом.

Когда ракета начинает меркнуть, с нашей стороны раздается длинная пулеметная очередь. Это бьют оттуда сверху. Пули идут веером от края до края, над самой нашей головой. Если там возьмут чуть ниже, то со спины мы открыты. На мгновение вижу лица этих, в суконных гимнастерках...

Опять разговаривают между собой немцы. Говорят они долго, какими-то ровными голосами. И строго по очереди, сначала минуту говорит один, потом другой. Злоба поднимается во мне: внезапная, неистовая. Даже не к немцам, а к этим размеренным голосам. Красный круг плывет перед глазами. Сейчас поднимусь в рост, пойду к ним и буду стрелять, стрелять... Каким-то последним усилием воли удерживаю себя, теплый пот проступает у меня на лбу...

Лишь один раз я видел близко немца — тогда, в Сорок первом. Уже в пехоте, в особой части, стрелял в них. И они стреляли, но все было не так. В чужой восточной стране проходил Большой пороховой путь. Грузенные доверху тяжелые машины — по триста-четыреста в колонне — рева моторами, шли через жаркую соленую пустыню, взбирались на красные, уходящие в небо горы, и мощные резиновые скаты дымились у самого края пропасти. Тут и поджидали их люди с закрытыми платками лицами. Стрелять начинали неожиданно: сверху с горы, и машины все быстрее сползали набок. В темноту катились, пылая желтым фугасным светом, прямоугольные двухпудовые ящики из белой английской жести с вязким светлым маслом ежду стенками. Порох не взрывался, а горел, поджигая камни...

Нас выбрасывали на пути этих людей, и когда все заканчивалось, мы собирали убитых. У кого-нибудь из них под цветистым или полосатым халатом обязательно была под мышкой четкая накладка с готическими молниями. Но там все происходило быстро, открыто, без этого тягостного, убивающего душу лежания. На скалах и в пустынях стояли невиданные полуразрушенные башни с голубыми куполами, и пахло тающим льдом и цветами. Мы подкладывали полоски артиллерийского пороха в костер: он горел с легким гудением, как кинолента. И спали мы в шатрах из черной шерсти, уверенные в себе и в людях, потому что были у них гостями...

Мне вдруг делается страшно. Только что я потерял себя. От смертного холода, идущего из глубины земли, или от липкого неотвязного запаха это произошло, но мне показалось на какое-то мгновение, что я уже умер. Чтобы снова сделаться живым,

мне нужно было двигаться, стрелять. Наверно, я терял сознание... А как же те, которые с начала войны так лежат? Смотрю налево, потом направо будто можно увидеть тех, которые лежали здесь, в этом болоте. Ничего не видно в ночи.

Теперь я осознаю, что не один здесь в ночи, как показалось вдруг мне в какую-то минуту. Шагах в десяти от меня лежит Шурка Бочков, за ним Бухгалтер, Иванов, где-то лазает Даньковец. Я знаю их всех...

Опять начинается дождь: тяжелые холодные капли ударяют в спину. Втягиваю голову под мокрый, жесткий воротник, подбираю под себя карабин. Сколько же прошло времени с тех пор, как я здесь лежу? Где-то на левом фланге грохает взрыв. И тут же стучат очереди, опять виснет ракета. Потом, уже под утро, где-то рядом опять стрельба, дикий, истощный крик. Снова взрывы — один и через некоторое время другой.

— Ну, Боря, как обстановка?

Хриплый шепот раздается у самой моей головы. Даньковец приподнимается на руках, смотрит через колья. Видны лишь очертания его широких плеч. Все в мире делается проще.

— Где-то он, паскуда, проход тут имеет. Это уж точно, — говорит Даньковец. — Ладно, пора отчаливать.

Ползем назад — он впереди, я следом за ним, и уже не попадаю в ямы с водой и руками на жесткое, торчащее из земли железо, как было вечером, когда полз сюда. Минуем во тьме ряды мокрых окопов, разбитый тягач, обгорелые доски. Здесь уже суше, и колени не расползаются в жидкой грязи. Потом между двумя буграми протискиваемся вверх и спрыгваем на ровное место.

— Это ты, Тираспольский?.. Давай, грейся. Чай нам приперли.

Кудрявцев сидит с котелком, обхватив его ладонями.

— Да, с кофею вдогонку! — зло говорит кто-то.

— Было б тепло...

Обтираю тряпкой из кармана задубелые руки, беру котелок. В него льют кружкой что-то горячее, еще и еще. Пальцы вначале не чувствуют ничего. Придвигаю край котелка к губам, держу некоторое время и лишь потом обжигаясь. Это вода, просто горячая вода, но я пью ее с жадностью, широкоими хлюпающими глотками. Начинает жечь руки, я подтягиваю к ладоням рукава шинели и пью, пью, чувствуя, как согреваюсь, возвращается к жизни все мое тело. Никогда еще не ощущал я такого присутствия жизни. Теплая испарина проступает под мокрой, холодной шинелью. Больше уже не вмещается в меня, но я опять подставляю котелок, прижимаю его к себе и пью...

Все возвращается на свое место. Я четко вижу, слышу, чувствую каждую мышцу своего тела. Здесь, повыше болота,

стояли когда-то дома, проходила дорога. От всего этого остался большой рухнувший до половины подвал, видно, служивший складом, и кучи оплывшей, перемешанной с кирпичом глины. Они прикрывают нас со стороны болота. В подвале перекинута между лежащими в воде кирпичами доска, на которых спят капитан Правоторов и Ченцов с Хайленко. Им можно находиться наверху, где блиндажи, но капитан не уходит отсюда. Мы, кто отдыхает после ночи, сидим возле подвала, под прикрытием упавших когда-то с крыши, засыпанных землей бревен. В других местах тоже есть щели, где можно укрыться от дождя. Не следует лишь разжигать огонь.

Еще темно, но можно различать лица. Через бугор над нами волокут кого-то, завернутого в шинель. Ее тянут за воротник артиллерист Саралидзе из четвертого взвода и Бутенко, тюремный, который ехал с нами от Водохранилища.

— Э, встал и пошел. Зачем пошел?!

Саралидзе, маленький, крепкий, резко и коротко вскидывая руки, кричит, обращаясь непонятно к кому. Капитан подходит, откидывает полу мокрой, грязной шинели. Сразу видится белое лицо человека. Глаза у него закрыты, и губы дрожат, все время дрожат. Только потом перевожу взгляд туда, где только на лоскуте от штанов держится у тела нога. Кровь почти не течет, смываемая дождем, и мякоть с торчащей костью блеклая, чистая.

Я опять смотрю в белое лицо, вижу метку у рта и вдруг узнаю его. Это же Чурилин, из уголовных, который укорял нас маслом, когда мы били Сироту. И Сирота стоит тут же, как-то странно опустив руки и вытянув длинную шею. В глазах у него недоумение, большой покатый нос виснет книзу.

— Почему пошел? Встал, понимаешь, и пошел. Два шага прошел — и все, мина тут...

Саралидзе говорит теперь с жалобной ноткой в голосе.

— Где другой? — спрашивает капитан Правоторов.

— Не достанешь, товарищ капитан. Только потянули, а там опять как ахнет, — объясняет Глушак, из третьего взвода. — Да тот у нас совсем убитый, даже и головы уже нет.

— Как это случилось с ним?

— Да тоже, встал и побежал. Сумасшедший вроде. Бежит и стреляет... Из танкового училища он со мной.

Я опускаю голову. Мне понятно, как это вдруг может получиться. И капитан ничего больше не спрашивает, тоже, наверно, знает. Он отходит от раненого и говорит нам:

— Давайте, пока еще темно...

Мы с Шуркой Бочковым подходим, беремся за полы шинели. Даньковец, который стоял все время покуривая, берется вместе с Саралидзе спереди.

— Не так, вы споднизу руками держите! — говорит он нам каким-то вдруг тихим голосом. Мы с Шуркой послушно сводим руки под шинелью, и оторванная нога у Чурилина теперь лежит вровень с телом. Он все не приходит в сознание.

Идем, пригибаясь, в рассветной полутьме. Я все боюсь, чтобы не оторвался лоскут, на котором держится нога у раненого. Холодный туман закрывает все вокруг. Глухо стучат очереди, и мы вместе с раненым приникаем к мокрой земле. Это где-то в стороне, и мы двигаемся дальше. Небольшая ложбина, поросшая кустами, уходит кверху. Даньковец уже поднимается в рост, чтобы что-то сказать, и вдруг громко в упор стучит автомат. Мы падаем вместе с тем, которого несем. Автоматные очереди уже слышатся с разных сторон, затем гулко и долго бьет пулемет.

Когда все смолкает, мы долго еще продолжаем лежать. Потом Даньковец приподнимает голову, говорит негромко:

— Эй, кацо!

Снова короткая очередь и голос:

— Кто идет?

— Из роты, позови лейтенанта!

Сверху молчат. Теперь я различаю наверху бруствер, ветки маскировки. Это тот самый лаз, через который мы все позавчера выходили сюда в болото.

— Кацо! — зовет Даньковец.

— Что там? — отвечает уже другой, уверенный голос.

— Раненый здесь.

Даньковец поднимается с земли и мы встаем за ним. Тот же голос наверху командует:

— Шепитько, Алиев, принять раненого!

Ветки раздвигаются, упираясь сапогами в мокрую землю, к нам сходят сержант и два солдата в новых шинелях. Сверху стоит лейтенант в накидке от дождя и фуражке с околышем. Сержант расстегивает шинель, прячет в кармане суконной гимнастерки личный знак Чурилина. Солдаты берут раненого и тащат вверх.

— Эй, лейтенант... — Даньковец стоит внизу, оставив ногу. — Скажи ему, дураку, а то подкину в другой раз!

И он показывает на немецкую гранату с длинной ручкой, что приложена у него за поясом.

Солдаты опять закрывают проход ветками.

— Бывай, кацо...

Мы идем обратно. Саралидзе косится на всех, шумно дышит:

— Зачем так говоришь? Где у них кацо?

Даньковец внимательно смотрит на него:

— Принято так их звать у нас.

— Почему принято?

— Кто его знает...

— Не говори больше так!

Даньковец молчит, потом успокоительно кладет руку на плечо Саралидзе:

— Хорошо, не буду.

Днем лишь по пять человек от взвода остаются лежать в болоте. Мы сидим все вместе возле КП: я, Шурка Бочков, Иванов, Кудрявцев, Сирота, Бухгалтер. Тут же Даньковец, который считается как бы отдельно от всех, но сидит с нами. Мы поели хлеб с консервами, что принесли ночью, и теперь все курят, кроме меня...

Мне было одиннадцать лет. Я купил в магазине за мостом не «Южные» по тридцать пять копеек пачка, а получше — «Теплоход» по шестьдесят пять копеек, с пароходом и маяком на мягкой обертке. И еще коробку спичек. Пройдя через соседний девятнадцатый номер на Маразлиевскую, пролез между прутьями железного забора в парк Шевченко и лег в кустах над обрывом. Внизу, за горами сброшенного сверху мусора, была глухая стена портовых складов. Я курил, не переставая, папиросу за папиросой, щедро набирая и выпуская дым изо рта. Всякий раз я чиркал спичкой и приминал пальцами папиросу, как делали это гуляющие молодые люди на бульваре Фельдмана. Когда в пачке осталось всего две или три штуки, я вдруг заметил, что движения мои сделались вялые, изо рта все время шла слюна. Я уже не сплевывал ее с цоканьем, как Севка, кочегар с «Комсомола», живший в конце нашего двора. Потом вдруг близкие пароходные трубы, лебедки, краны, весь порт с маяком, Пересыпь с Лузановкой на той стороне залива — все качнулось и стало медленно переворачиваться морем вверх. Что-то горькое, желтое толчками подкатывалось к горлу и мучительно извергалось из меня на зеленую траву. Я спал в липком холодном поту, не в силах оторвать головы от этой травы, меня снова выворачивало наизнанку. Пришел я домой вечером, когда было уже темно. И потом, когда правили казенку в школьной уборной, в спецшколе и даже в армии у меня и мысли не возникало о курении...

Я вдруг прошу у Шурки Бочкова дать мне покурить. Он с недоумением смотрит на меня, еще раз затягивается и отдает намокший, скрученный из газетной бумаги окурочек. Я прижимаю его к губам и осторожно тяну: один и второй раз. Во рту саднит, стягивает скулы, но на минуту пропадает запах этого места.

Раз за разом ухает где-то далеко, на той стороне. Будто крыльями шелестит кто-то в небе, и далеко за нами, наверху, слышны разрывы. За день это случается несколько раз: бьют по дороге, где шли мы сюда, и по тылам. К нам снаряды не падают: наверно, боятся накрыть своих, что за колыями. Только мина иногда словно остановится где-то вверху и летит отвесно вниз,

взметая жидкую грязь. Тучи сеют нескончаемый дождь, так что самолетов тоже не слышно. И слева, где гремело накануне, теперь тишина. Видно, бои там тоже прекратились.

— Нет, дальше не пойдут наши, пока тут затычка. Вот если бы под доты подлезть, тогда очка правильная...

Это Даньковец разговаривает с капитаном. Я медленно засыпаю, прижавшись щекой к почернелому бревну, прикрытый от дождя и от ветра обрушенным кирпичом, пластами камышовой штукатурки, какими-то досками, что было когда-то не известным мне домом. И другие спят так же, в щелях и проемах, спрятав головы в мокрые воротники. Сирота вовсе снял шинель и, скорчив в три погибели свое тело, накрылся ею с головой. Он и в окопе так лежит, накрывшись и согревая себя дыханием. Это теплей, но не могу из-за запаха, пропитавшего все мое тело.

— Я так это вижу, капитан, что на «гу-га» придется брать. Ночью той посигналим им. Чтобы понимали, кто перед ними здесь...

Про что это говорит Даньковец?.. Гу-га... Я уже сплю, мне тепло, даже жарко...

— Очка правильная!.. Гу-га...

Когда машина чертит костью серую корку такыра, легкая и горячая пыль мешками взлетает к небу. Ветер от винта подхватывает ее и стеной гонит в нашу сторону. Нам на это плевать. Мы спим вповалку прямо в этой сухой пыли, спустив с плеч комбинезоны, а то и просто в трусах, подложив под головы раскаленные кирзовые сапоги. Только задерживается какая-нибудь машина для профилактики или на заправку, как все спешат к ней.

Нигде тут больше нет тени. Пауки с двойным туловищем в ладонь величиной бегают вокруг нас по своим делам. Густорыжая шерсть на их спинах и лапах. Говорят, что укус их смертельный, особенно если рядом кладбище, так как они переносят трупный яд. Но хоть тысячи нор их тут, фаланги никого еще у нас не кусали. Скорей, блохи донимали весной, когда жили мы при разлетке, на пустующем конезаводе. Это особенные, азиатские блохи, они огнем обжигали ноги, едва спрыгнешь без сапог на земляной пол.

— Тираспольский... всех вас в душу!

Очумелый, открываю глаза, вижу над головой серебряный перкаль с пыльной красной звездой. Встаю, шатаюсь. Ну как же, командир отряда Чистяков — он стоит в особенной летной стойке, чуть расставив крепкие ноги в легких, из серого брезента сапогах. Такая сейчас мода у летчиков, и все — даже старшина

Паломарчук из столовой и сержанты в БАО<sup>1</sup> шьют себе брезентовые сапоги.

Старший лейтенант матерится громко и беззлбно, как бы напоминая о том высшем, что объединяет всех нас в этом роде войск. Это не казенный, а какой-то совсем другой призыв к дисциплине, без которой у нас нельзя. Народ у нас здесь серьезный. Другому бы, пожалуй, и подвесили за командирское недержание речи. Не здесь, а где-нибудь вечером, на гражданской территории, но тут иная плоскость отношений.

Ну да, я старшина летной группы. По правилу, пока своя машина в зоне, остальные должны сидеть в квадрате с планшетами в руках и записывать замеченные недочеты в выполнении товарищем летной задачи. Но ведь сорок один в тени. И вчера я с проводов после танцев пришел только в два, а полпятого уже был здесь, на разлетке. К тому же, мы давно уже летаем самостоятельно, и кому тут нужно такое наблюдение. Все это, в том числе и про танцы, хорошо знает Чистяков.

— Баню тут развели. Еще бы шайки вам на полеты, кое-что полоскать!

Двое или трое, что разделись, нехотя натягивают комбинезоны. Месяц назад нам выдали английское летнее белье из искусственной, в рубчик, ткани, только непонятно было, что это: кальсоны или трусы. Сверху они с прорезью и оловянными пуговицами, но только до колена и широкие, так что в них играют в волейбол, когда рядом нет женщин.

Теперь Чистяков смотрит в белое от жары небо. Там, в нашей зоне, крутится едва заметная, светлая в лучах солнца машина.

— Болтается, как... золото в проруби!

Ну, это он для порядка. Все там делается по КУЛП-у. Продолжая ругаться, Чистяков идет к метеобудке. Это домик на колесах. В короткой тени при нем сидят комэска, штурман эскадрильи, свободные инструкторы. С ними начальник медчасти лейтенант Ларионова. Она что-то, наверно, и вякнула про наш вид. Сама всегда выглаженная, в строчечку, застегнутая на все свои крючки и пуговицы, несмотря на жару.

— Эй, тебе лететь, Борис...

Чуть спарашютировав, идет на посадку наша машина с номером 13 на фюзеляже. Застегиваю комбинезон, подтягиваю ремень, беру планшетку и иду в квадрат. Там Лешка Танцура, наш механик. Стоим с ним, ждем. Вывернув очередную тучу пыли, машина пробегает полосу, разворачивается и рулит к нам, подсакивая на сурчиных норах. В первой кабине Мишка Каргаполов, во второй наш инструктор — младший лейтенант Крав-

<sup>1</sup> БАО — Батальон аэродромного обслуживания.



ченко. Оба маленькие ростом, и головы их скрыты низко за козырьками. Только у Мишки голова большая, круглая, за что и зовут его на казахский манер Кульбасом.

Машина останавливается, мотор на малых оборотах, и механик лезет в боковой лючок, подтягивает что-то в тросах управления. Кравченко вылезает на крыло вместе с парашютом, отстегивает его и легко спрыгивает на землю. Инструктору и не нужно было с Мишкой лететь, да слишком жарко сегодня: то один, то другой из инструкторов вылетают с курсантами в зону проветриться. Мишка Каргаполов уже на земле, разминает затекшие ноги. Механик заглядывает на приборы, затаскивает во вторую кабину и приторачивает нам мешок с песком. Я затягиваю шлем под подбородком, опускаю очки, лезу в кабину. Там сажусь на оставленный Мишкой парашют, подстегиваю ремни, смотрю приборы — слева направо, пробую рули управления. Потом поднимаю руку. Кравченко прикладывает руку к голове, машет мне и идет к метеобудке, уже не оглядываясь.

Выруливаю, прошу старт. Дежурный флажком дает отмашку. Так... ручку от себя, плавно, газ, опережение, полный газ... капот — горизонт, скорость, стрелка, шарик... Разворот, горизонт плывет по второму цилиндру. И тут только окончательно отхожу от горячего, дурного сна...

Уже в трехстах метрах перестает обжигать бьющая из-за козырька за спину струя воздуха. А на шестистах будто ласковой прохладной ладонью кто-то гладит перегретые плечи. Но я лезу выше: тысяча двести, тысяча пятьсот, дышится легко и свободно. Смотрю вниз — налево, направо. Горы, что начинаются у самого города, превратились в едва заметные холмы с белыми ниточками дорог. Зато прояснились, встали четкой синей стеной с белыми вершинами, другие, дальние горы. Холмы уходят к ним, делаясь все выше, темней. Совсем маленький поезд с зелеными вагончиками медленно втягивается в щель между холмами, откуда змейкой вытекает речка. Где-то там, уже совсем близко к снежным горам, Красноармейск, где у меня друзья из третьей эскадрильи. Километра на четыре тянется там виноградник, а за ним аэродром. С их стороны из ущелья дует постоянный ветер. Проход этот в горах называют Тамерлановыми воротами. Пытаюсь разглядеть там что-нибудь и ничего не вижу...

Лезу все выше. Знаю, что прошел потолок своей зоны, но ничего: триста-четыреста метров еще можно. Меняю режим мотора. Теперь уже холодный сухой ветер ровно задувает кабину, и мороз проходит по рукам, по теплой спине, лишь прикрытой легкой тканью комбинезона. Но тело все еще жаждет этого свежего холода...

Я совсем один в мире, свободный, легкий. Лечу уже без крыльев и мотора. Каждой клеточкой ощущаю это необычно-

венное состояние. Пою беззвучно какую-то неизвестную мне песню. Она сама является всякий раз. На земле потом я никогда не могу ее вспомнить.

Легкий туман оседает на плексигласе, становится вовсе холодно. Дальше нельзя. Это вид только делает комэска возле метеобудки, что не смотрит в небо. Так принято — не замечать. А дня через два, при классном занятии, бросит вдруг без улыбки: «Золотарев зону потерял, а Тираспольский раком полез, не набрав скорости». И все. Только это хуже всего...

Делаю для повторения петлю, выхожу боевым разворотом. Потом опять петлю, но с половины перехожу в иммельман. Теперь я на положенной высоте. Нагоняю скорость и выполняю задачу: управляемые бочки. Все уже сто раз знакомое: лишь сами повторяем, что делали прежде с инструктором...

Убираю обороты, иду на снижение. Держу ручку чуть-чуть, «пальчиками», как говорит Чистяков. Малейшее движение передается машине. Кажется, только подумаешь, а машина уже ложится на крыло. Именно тут, в свободном планировании, чувствую, как она красива: с обтекаемым фюзеляжем, легкими, серебряными плоскостями, оперением. Это ее снимали в картине, которую смотрел еще в школе, перед войной. Где-то тут все происходило. Басмаческий курбаши из задней кабины захлестнул платком горло пилота и тот сбивал его высшим пилотажем. Только в кино обтекатели на шасси были еще приставлены для красоты...

Ветер за спиной вдруг делается мягким, тяжелым. Строю, как требуется по КУЛП-у, коробочку. Третий разворот, четвертый, ловлю полосу, стараюсь притереть машину в «инструкторской» посадке, тремя точками. Все: ручка на себя, и земная шершавая дрожь передается машине. Толчки все грубее, кусты верблюжьей колючки рядом с полосой мелькают уже не сплошной массой, горячий ветер врывается в кабину, стремясь прижать вздувшийся со спины комбинезон к сухому, холодному еще телу. Доставляю газ и рулю стороной назад к своему квадрату. Там уже стоят Лешка Танцура и Со в шлеме, с планшетом. Его очередь...

Полеты заканчиваются. Комэска и Чистяков уже возле «Дождя — три четверти», на котором едут домой. Их квартиры в городе, и так ехать им удобней. Инструкторы расходятся от метеобудки по самолетам и ни один не оглядывается назад. Все понятно. Младший лейтенант Каретников, несмотря на свой могучий вид, опять сидит дома с ангиной. Это значит, что Ларионова станет проситься к кому-то во вторую кабину. Какникак, а по воздуху через десять минут на центральном аэродроме, тогда как машиной пылить добрых полчаса, если не больше. Только... только она ведь женщина. Рассказывают, что в первый же раз, когда ее взял инструктор Логинов, у того

случилась просадка фюзеляжа. И еще что-то с ней происходило. Дело известное. Даже комэска избегает ее. Только с Каретниковым и летает она.

Ларионова смотрит вслед расходящимся летчикам, и в серых глазах ее холодное презрение. Она некрасива с лица, но у нее стройная фигура с перетянутой в талии гимнастечкой. Для меня она и вовсе старуха, ей, наверно, все двадцать шесть, однако я почему-то смотрю на нее. Не прямо, а так, вроде бы случайно. Женщины-воячки в последний год еще больше укоротили юбки, так что при ходьбе стали видны колени и даже ямочки сзади, на сгибе ноги...

Лейтенант медицинской службы, чуть наклонив под юбкой ноги вправо, лезет на высокую, без подножки, машину. Нога ее на мгновение оголяется вся, намного выше колена. И в ту же минуту она бросает на меня удивленный, непонимающий взгляд. Чувствую, как пламенеет мое лицо, наливаясь тяжелым, горячим стыдом.

Мы едем кучей, стоя на высоком «студебекере». Впереди офицеры на «Додже». Рядом с комэском на переднем сиденье Ларионова. Даже отсюда я стыжусь смотреть на нее, отвожу глаза в сторону...

Моемся в большом арыке, что за летным полем. Ныряем с разбега, вынлескивая воду на скользкие глинистые берега, гогочем так, что не выдерживает, начинает трубить ишак за высоким дувалом. Всякий раз мы ждем его крика и орем что-то ему в поддержку. Потом начинаем готовиться к вечеру.

Мы здесь — разные люди. Я, Валька Титов и еще три-четыре человека — школьные «старики», из первых, Большинство нас — сержанты. За спиной какая-никакая, а служба. Потом, через месяц-два после нашего приезда, поступил основной контингент из десятых классов спецшкол. Они различные по характеру — ворошиловградцы — разбитные и фасонистые, хорошо танцуют и все почти на чем-нибудь играют. Воронежцы — те основательные, серьезные, всегда у них нитка с иголкой найдется и КУЛП учат на совесть. И одесситы... Если бы в Сорок первом нас, нескольких спецов, не направили грузить снаряды, я бы как раз и приехал сейчас сюда с ними. Но лишь двоих я узнал из тех, кто поступал со мной в восьмой класс когда-то перед войной. Тихие такие они, на удивление. Когда приказом по школе стали менять всем ботинки и синие клеши на общую шкуру, одесситы перья, без всяких разговоров, сменили форму. Ворошиловградцы — те целый месяц галдели.

Тут как-то и место влияет, где стоят спецшколы. Воронежская — в Самарканде, и все пополнение туда — из Ташкента; Воронежская — в Караганде, ближе к Сибири, а Одесская — где-то в Пенджикенте, куда еще на верблюдах ездят. Пожалуй, только и осталось там одесского, так это название.

Почти одновременно прибыла дальневосточная команда — человек пятьдесят из пехоты. Эти, так даже ефрейтору козыряют и все не могут сменить режим. Там, говорят, у них блюхеровская дисциплина, хоть командование давно сменилось.

И последними, когда уже начались занятия, приехали фронтовики, все больше почему-то из 16-й воздушной армии. Эти привезли с собой напущенные на сапоги бриджи, баки под пилотками, запасы плексигласа для ножей и портсигаров и какой-то особый дух, тревожный и горький, плохо еще нам знакомый. Большая часть их вылетела самостоятельно после пяти-шести часов вывозных. Они ведь все довоенных призывов, летали с самого начала войны стрелками-бомбардирами или механиками, у каждого ордена и медали. К нам их отозвали из полков и дивизий переучиваться на пилотов. У нас особый выпуск, ускоренный. Они все вспоминают и поют:

Крутится, вертится ВИШ — двадцать три,  
Крутится, вертится с маслом внутри...

И дальше:

Если бы не было этой войны,  
Спали бы с бабой да жрали блины.  
Ох, надоело, ребята, воевать;  
Кто это выдумал... твою мать!

А еще, дурачась, воют они смоленскую частушку бабьим истошным голосом, отчего почему-то спазма делается в горле:

Выду, выду на крылечко,  
Посмотрю на небушко:  
Не идет ли старшина,  
Не несет ли хлебушка.

До сих пор мы пели другие песни о войне.

Учебные эскадрильи несколько раз переформировывали, так что все у нас хорошо знают друг друга. Время от времени, когда кончается лимит на бензин, мы ездим к своим в другие эскадрильи. Они к нам и по-прежнему: здесь командование школы, все службы и штаб.

Все мы — друзья. Но у меня есть близкие мне люди. Раньше всего это Валька Титов, приехавший почти одновременно со мной. Он ленинградец, из знаменитой летной фамилии. Старший брат его — известный авиатор, погиб где-то в тридцатых годах во время катастрофы, что случилась на воздушном параде. Об этом писали тогда все газеты. Другой брат, летчик-испытатель, разбился в тридцать восьмом году. Третий погиб в начале войны. А Валька — самый младший из братьев.

Из воронежских я дружу с Ванькой Золотаревым и Мишкой Каргаполовым — Кульбасом. Мишка уже не воронежский. Он откуда-то с Алтая и поступил к ним в Караганде. Среди воро-

шилловградских у меня друзья Со, Бу и Ва. Так они по примеру книги о первобытных людях называют себя. Это Соболев, Буслаев и Файсбург. Среди дальневосточников у меня друзья — Гришка Сапожников и Урманов. Гришке скоро тридцать лет, и не знаю, что же меня с ним сблизило. Это старший сержант, закоренелый служака. У него до сих пор удивленно поднимаются редкие рыжеватые брови, когда кто-то из спецов посылает его подальше. Он у нас старшина отряда, но должность эта чисто номинальная. К тому же и летает он, как дуб. Уже одиннадцать лет Гришка в армии. Он из самого несчастливого возраста. Стал когда-то младшим командиром, значит лишний год службы. Потом был Хасан, Халхин-Гол, с Дальнего Востока никого не отпускали. И война. Это о них армейская пословица: «По закону Ома — через два года должен быть дома, по закону Бернулли — еще восемь лет привернули». А Сапар Урманов — мой однолетка, мягкий, умный парень с какой-то удивительной благородной стеснительностью в поведении. Слова плохого от него не услышишь, а когда ему говорят, он только улыбается.

Из фронтовиков ближе всех мне Федя Тархов. Он настоящий артист, певец и до войны выступал по радио. Да и к нам он приехал из фронтового ансамбля. Недолго дружил я еще с Кудрявцевым, но его перевели в другую эскадрилью...

Мы драим сапоги. У меня и еще трех-четырех в эскадрилье они офицерские, хромовые, ко всеобщей зависти. Когда кто-нибудь из нас в наряде, сапоги надевают на танцы другие. У остальных они кирзовые, и их густо смазывают отработанным солидолом. Свежим нельзя — быстро сгорят. Долго ждут потом, чтобы солидол высох и не пристала пыль. Некоторые обузили по ноге свои кирзовые сапоги, у других они так и остались с широкими голенищами.

— Козу хорошо в них любить! — мрачно замечает Дьячков, из фронтовиков, оттягивая голенище.

— Это почему же? — спрашивает кто-то из спецов.

— Не убежит.

В город идем группами. С аэродрома есть два пути: один через станцию и другой — по арыку до мельницы, оттуда через речку к скверу. Я с Валькой Титовым, Мишкой Каргаполовым и другими иду вдоль арыка. Сразу за летным полем, где арык расширяется, купается Ларионова. Мы замолкаем и отводим глаза, безразлично смотрим на небо, на верхушки деревьев. У нее черный купальник и высокая полная грудь. На нас она и не смотрит: спокойно лежит на спине, сведя вместе ноги в воде и стараясь не замочить волосы. Младший лейтенант Каретников сидит на берегу с перевязанным горлом. Весит он больше ста килограммов и вечно чем-то болен, даже свинкой как-то переболел. У них открытая любовь, и живут они тут в снятой у

узбеков комнате. Каретникову не больше двадцати, он сам недавно закончил училище. У нас все инструкторы такие. А ведь ей уже сколько лет...

В бывшей церкви, где сейчас клуб, играет оркестр. Это наши ворошиловградцы — труба, саксофон, барабан, две мандолины, что-то еще. Я не очень понимаю в музыке. Сегодня наш концерт для города. Подгурский — тихий мальчик из одесских спецов садится за пианино, и Федя Тархов поет:

По глухим, знакомым деревушкам.  
Возвращался с плена я домой;  
Утомленный, но шагал я бодро,  
Оставляя след в степи чужой.

Голос у него красивый, мужественный — драматический тенор, и в этом здании с замазанными известкой картинами на потолке он звучит с особенной силой.

Аникуша, Аникуша, если б знала ты страдания мои...

В городке, наверно, не слышали настоящих певцов. Публика, в основном, женщины, сидит притихшая. Даже подполковник Щербатов, лично явившийся с патрулем проверять увольнительные, кажется, понял, что пустое это дело. Он стоит с грустным видом и вспоминает что-то свое. Наверно, устав караульной службы.

Я искал тебя, моя родная,  
Поделиться горем и нуждой;  
Утомленный, но шагал я бодро...

Выхожу в темнеющий уже сквер, смотрю вдоль улицы. Даже здесь не теряет силы Федин голос:

Аникуша, Аникуша, глазки синие твои, как васильки...

Наконец вижу тех, кого жду. Это Надя с Ирккой. Провожу их мимо нашего дежурного у двери, на припасенные места.

Федя исполняет свой репертуар: «В этот вечер, в танцах карнавала», пару оперных арий, что-то из оперетты. Когда он доходит до слов «Если хочешь — приди, если любишь — найди», то выразительно протягивает руки к третьему ряду. Там сидит черноволосая женщина с опущенными глазами. Кажется, она заведует детским садом. В рядах перешептываются.

Потом сержант Коптелов пляшет русскую. Невысокий и очень стройный, он выходит с отсутствующим видом на середину сцены и начинает танцевать, будто выполняет какую-то безразличную ему работу. Все быстрее делает он это. И вдруг происходит необыкновенное. Медали у него на груди сами собой становятся горизонтально и начинают как бы парить в воздухе,

не опускаясь и не поднимаясь. Когда он заканчивает танец, они плавно ложатся обратно на грудь...

Поют девочки из АМС. Штурман эскадрильи капитан Груздев, известный трепач и дамский страдалец, рассказывает наизусть что-то из Зощенко. Пожилой майор из МТО слабеньким, но приятным голосом исполняет «Маленький город на юге». Женщины постарше утирают глаза.

Скамейки быстро сдвигаются к стенам, и теперь — танцы. Наш джаз ударяет что-то такое, от чего начинают гудеть и позванивать плотные кирпичные стены, высокий стрельчатый потолок. Город совсем маленький, все хорошо знают друг друга, а мы тут совсем свои. В городе известно, как и кто из нас летает, за что получил взыскание или кто из комсостава ждет повышения в звании. Ну, а уж кто и с кем гуляет, тут никак не скроешь. В городе, кроме нас, одни почти женщины...

— Смотрите, Елизавета Сергеевна сейчас сама к нему подойдет! — шепчет Ирка, и черные живые глаза ее лукаво искривляются. Надька и третья их подруга, тоже десятиклассница, хихикают в платочки и все вместе обсуждают последние события. Там какой-то роман у Феди Тархова, и произошла размолвка. За этим следит весь город.

Среди танцующих — знакомые лица. Есть отмеченные каким-нибудь особенным качеством. Вон та, с пышной прической и белыми полными руками, женщина «с коровой». Наши фронтовики говорят об этом, посмеиваясь. Половина их живет по домам. Знают также, что другая, с красивеньким, будто фарфоровым лицом, когда знакомится, то показывает медицинскую справку о том, что не болеет дурными болезнями. Скорее всего, злое вранье, но так говорят. Всех веселит сын подполковника Щербатова, тупой и глупый парень с сержантскими погонами. Его папаша привез откуда-то вместе с собой и определил в БАО. Он лезет всякий раз к нам в компанию. Его не любят — не из-за отца, а потому, что он говно и тихушник, все рассказывает куда-то там, что от нас услышит. У ребят неприятности были из-за него. К тому же он вечно почему-то голодный. Сейчас во время танцев кто-то из спецов потянул за веревочку, что торчит из его кармана, и на пол прямо посредине зала посыпались вдруг сухари, с громким стуком упала оловянная ложка. Девушка, которая танцевала с ним, бросила его, и все хохочут; глядя, как собирает он свое добро. Хорошо, что отец его убрался вовремя.

А джаз все садит что-то английское, из кинофильмов, которые шлют союзники. Мало того, еще и поют наши все ужасными голосами. Слов не знают и выдумывают свое. Особенно старается рыжий Ва. В расстегнутой до пояса гимнастерке, с подкатанными рукавами, он что есть силы колотит в барабан и вопит на мотив Динки-джаза:

Потом Ва бросает кому-то барабанные палки, бежит в зал, схватывается за руки со своим другом Бу. Они танцуют что-то вовсе дикое, а напоследок, отвернувшись друг от друга, неожиданно склоняются и, ударившись задом, разлетаются в стороны, сшибая танцующие пары. В этом особый шик, все визжат и хохочут.

Я танцую сначала с Надькой. Держу ее по-хозяйски, и с ней что-то как будто получается. Потом с Ирккой. Тоже ничего, лишь боюсь наступить на ногу. Подхожу еще к девушке с очень густыми бровями на удлиненном лице. Она мне не нравится, но мне передавали, что девушка говорила обо мне что-то лестное. Танцую и смотрю на нее с интересом: почему это я ей нравлюсь? Она вся как каменная и слегка дрожит. У нас плохо выходит с ней, кое-как довожу ее до места. Танцую еще с нашими девочками-воячками из АМС. Это свои, в кирзовых сапожках, и стесняться с ними не надо.

Танцую я плохо. Да и когда мне было учиться? Перед войной, в восьмом классе спецшколы, на большой перемене включали динамик, и, взявшись парами в длинном коридоре, мы старательно шаркали ботинками по крашеному полу. Рассказывали, что незадолго перед тем наша военная делегация поехала в Турцию, и командиры там не сумели с культурной стороны показать себя. Будто бы, вернувшись, нарком обороны сказал — всему комсоставу учиться танцевать... Танцевали мы под томную музыку: «Когда на землю спустится сон», «Голубыми туманами наша юность прошла» и все такое прочее...

У дверей, в стороне, стоит все время парень маленького роста, но крепкий, с квадратным лбом. Видно, что штаны его ушиты суровыми нитками и гимнастерка чересчур длинная. Это Шахов, из нашей эскадрильи. Он приехал из Особой Дальневосточной, записался там, что хочет в авиацию и закончил десять классов. Родом он из села где-то за Иркутском, и выяснилось, что и пяти классов у него нет. Пока разбирались с его документами, он упорно учил КУЛП, навигацию. И как-то вдруг оказалось, что летает он лучше всех в школе. Из округа специально прилетал майор посмотреть на него. Шахов наблюдает за танцующими спокойным улыбчивыми глазами. Тяну его за руку:

— Пошли, научись!

Он твердо упирается, и его не сдвинешь с места:

— Не-е, Борис.

Танцы заканчиваются. Сначала вместе с Надькой провожаю Ирку. Идем в жаркой темноте между заборами, проходим через чьи-то сады, смеемся, дурачимся, нарушая собачий покой. Надь-



ку держу так же, но по-дружески. Вдруг ощущаю легкое пожатие ее локтя. Значит, и в прошлый раз мне это не показалось. Я озадачен. Осторожно, как бы между прочим, прижимаю к себе ее локоть. И уже явственно получаю ответ. Тогда смело беру в ладонь ее маленькую руку и сильно сжимаю. Она сжимает мою руку. Когда прощаемся, Иркины татарские глаза горят победно и насмешливо.

Иду с Надькой назад, к ее дому. Там, за садом, проем в заборе и глухой темный тупик. Сразу же ставлю ее спиной к знакомой нам гладкой яблоне и привлекаю к себе. Чувствую под легким ситцевым платьем худелькую спину, маленькую плотную грудь, твердые гладкие колени. Губы ее ласково и полсушно раскрываются, сливаясь с моими губами. Она слабо, едва заметно отталкивает меня и говорит обычно одно и то же:

— Вот, мальчишки всегда... только силой пользуются...

Все, это грань, за которую не перехожу. Я чуть отстраняюсь от нее, ставлю ее опять к яблоне, и все начинается сначала. Предутренний ветер касается наших разгоряченных лиц и рук. Пора идти. Я смотрю на светлую ситцевую тень, уходящую от меня между деревьями, слышу, как скрипнула дверь на стеклянной веранде, поворачиваюсь и иду поспешным шагом к шоссе.

Здесь идти на километр дальше, зато не надо спотыкаться и прыгать через арыки. Никого нет на дороге. Иду хорошо, быстро. Вспоминаю все бывшее со мной в этот день и вечер. Я устал, но мне легко и радостно.

В эскадрилье вожусь еще четверть часа, стаскивая с себя узкие сапоги. Особенно не поддается левый. Сдергиваю его, наконец, смотрю на светлеющий горизонт. Через час-полтора полеты. Опускаю голову на набитую сеном подушку и ничего больше не помню...

Гу-га, гу-га...

Это раздается слева от нас, потом с другой стороны. Все делается так, как говорил Даньковец. Теперь и мы начинаем. Сначала глухо, едва слышно, сложив ладони перед губами, потом все громче:

Гу-га, гу-га, гу-га...

Немцы, говорившие только что между собой, сразу умолкают. Напряженная тишина стоит над болотом. Лишь где-то из глубины его идет наше уханье. Все явственней слышится оно, глухое, пугающее, будто самое болото выдыхает из себя эти звуки.

И вдруг словно огненная стена рушится на нас. Бьют из автоматов, пулеметов, с ноющим звуком обрываются мины. Сразу десяток осветительных ракет виснет над нами, слева и справа.

Делается светлее, чем днем. Стреляют из болота, с лесного косогора, который виден за ним, еще откуда-то. Только нас не достать. Слишком близко лежим мы к ним. И каким-то чувством определяем, что бьют как попало, руки дергаются у них...

Проходит часа полтора. Даже шепотом больше не говорят на той стороне. Лишь звякает что-нибудь, и снова молчание, придувленное, настороженное. Тогда опять раздается хриплое неторопливое «гу-га, гу-га». Это Даньковец рядом со мной дает сигнал. И все мы повторяем в такт:

Гу-га, гу-га, гу-га.

Теперь уже немцы сразу начинают стрелять: вразной, длинными очередями, выпуская сразу весь магазин. Даже крик какой-то слышится с их стороны: тонкий, пронзительный. А мы лежим лицом в грязи, не отвечая ни одним выстрелом. Постепенно гаснут фонари над головой и опять все затихает.

А, суки, они боятся нас!.. Ждут сейчас, наверно, слушают. И не смеют уже говорить. Злое радостное чувство переполняет нас. Почему-то уже не холодно, хоть все сечет и сечет мелкий ледяной дождь. Даже запах сделался не таким тяжелым.

В третий, и в четвертый раз начинаем мы:

Гу-га, гу-га, гу-га...

И все повторяется. Перед утром мы отползаем назад, стараясь не попасть туда, где опрәвлялись накануне. В эту ночь и голову было трудно поднять. По очереди протискиваемся между кучами плотной, перемешанной с кирпичом глины, разгоряченные, спрыгиваем как раз напротив нашего подвала.

— Ну, теперь знают, кто здесь, — говорит удовлетворенно Даньковец, обтирая тряпкой штаны и бушлат. — От Белого и до Черного моря они это знают!..

Закончился лимит на бензин, и третий день мы не летаем. Четверо нас: Мишка Каргаполов, Сапар Урманов, я и Гришка Сапожников идем в старый город. Слепой полет называется это у нас. Идем так, от нечего делать, рвем и едим созревающие раньше других яблоки — белый налив. Здесь их столько, что никто ничего не говорит. Мне смешно, что Сапар до сих пор с боязливым почтением относится к Гришке, как к старшему сержанту. Ну, и казенка было у них в Особой Дальневосточной. Ведь все мы курсанты, вместе летаем. А Сапар летает куда лучше Гришки, на пять или шесть задач его обогнал.

Лежим в тени у мельницы, сняв сапоги, и слушаем, как негромко шумит вода в арыке. Гришка когда-то закончил речной

техникум и перед армией плавал какое-то время помощником капитана парохода на Оби. Сейчас он рассказывает мне об этом, как о самом светлом воспоминании своей жизни. Коричневые, всегда немного дурные глаза его возбужденно блестят:

— Подплываем, понимаешь, к вокзалу, я сразу фуражечку с якорем: белая форма у нас. Смотрю вроде бы по служебной обязанности и сразу вижу: ага, есть! Гражданин в соку, такую сразу заметно. Проверяю билет, определяю — трое суток ей плыть. Помогаю ей с багажом, знакомлюсь. Ну, а у меня отдельная каюта, сам понимаешь...

Рассказывает он это серьезно, обстоятельно. Зимой еще с Гришкой случилась история. Как раз приехал тогда подполковник Щербатов наводить дисциплину. А Гришка вдруг загудел: на сутки исчез и на полеты не явился. У него тут одна учительница, вроде ему как жена, и он живет у нее. Все мы знаем: такая полная, с низкой посадкой и с кудряшками, Вера Матвеевна. Ирку с Надькой она в пятом классе учила. А Гришка ведь служака. Как Щербатов сказал, что нельзя из эскадрильи отлучаться, так и сидел он десять дней, никуда не уходя. Чуть ли не один оставался в казарме на конезаводе. А потом получил увольнительную и загремел. К тому же выпивший вернулся.

Только Гришка партийный, как раз там и говорили о дисциплине. Тут все и завертелось. Это уже потом Кравченко, наш инструктор, рассказывал. Гришка вдруг взъерепенился. Что хотите, говорит, со мной делайте, а я не могу. Мне тридцать лет скоро, и я одиннадцатый год на казарменном положении. Дайте мне права сверхсрочника или разрешите так жить на дому.

Ну, Щербатов требовал там что-то свое. Но комэска подумал и сказал: что же, пусть ночует дома у себя, все же живой человек. И особое разрешение на три дня в неделю дали Гришке, только чтобы другие курсанты не знали. Как будто нам нужно разрешение.

— Там Тамара Николаевна про тебя спрашивала. Что, мол, за мальчик ходит с тобой? — говорит вдруг мне Гришка.

Я краснею от неожиданности. Гришка — честный, основательный человек, о покупке речи быть не может. Это Тамара Николаевна, которая ходит вместе с его Верой Матвеевной. Она живет и работает в Красноармейске, тоже учительницей. Сейчас, как видно, в отпуске. Раньше она жила здесь и была у Ирки с Надькой, кажется, по ботанике. И на танцы она раза два приходила. Это совсем уже солидная женщина, еще старше, наверно, Ларионовой. У нее светлые уложенные волосы и очень уж толстые ноги. Я молчу.

— А что, видная, красивая баба! — говорит Гришка с серьезностью.

За мельницей, по ту сторону арыка, растут два больших

раскидистых дерева. Красные точки плодов мерцают между широкими листьями... Когда-то в Одессе, в доме Совторгфлота, где мы жили, тоже росла шелковица — как раз напротив окон капитана «Трансбалта» Балашова. Это было общее дерево, как всякая шелковица в Одессе, и я лазил беспрепятственно по ее веткам, доставая у самого края темные ягоды-качалки. От них потом несколько дней оставались лиловыми рот и руки...

Перескакиваем через арык с Мишкой и Сапаром. Гришка остается сидеть у мельницы. Он всегда так ведет себя, когда пару яблок сорвешь где-то у дороги с дерева. И смотрит даже в другую сторону, чтобы не видеть наших нарушений. Правда, яблоки потом ест...

Здесь это называют тутовником. Деревья и листья — все тут больше. И ягоды раза в два-три крупнее — тяжелые, с жирным блеском и, если спелые, то совсем черные. Рвем их прямо от земли. Подтягиваюсь и сажусь на ветку туда, где ягод особенно много.

Внизу слышится какой-то шум. Выглядываю из-за листьев и вижу высокую женщину с тонким, очень красивым лицом. На это я почему-то сразу обращаю внимание. Женщине лет сорок. Она кричит что-то Мишке и Сапару, потом подсказывает ко мне и с силой дергает меня за сапоги.

— Чего там? — спрашиваю.

Она опять дергает меня и все без умолку что-то кричит. Спрыгиваю с неохотой:

— Что вам, шелковицы для солдат жалко? Не во дворе у вас деревья, а тут, на арыке!

Говорю это с обидой. Женщина почему-то перестает кричать. С полминуты смотрит на меня, потом что-то отрывисто говорит Сапару и отходит в сторону. Сапар стоит, виновато опустив руки. Он и съел-то там одну или две ягоды с ветки.

— Что она тебе сказала? — спрашиваю у него.

На лице у Сапара какое-то смущение. Он смотрит на Мишку, на меня, разводит руками:

— Она говорит мне... Ладно, это люди без толка. Но ты ведь мусульманин. Зачем так неправильно делаешь?

И вдруг я замечаю в открытые ворота, через которые вышла к нам женщина, пустой двор. Он совершенно пустой, без единой вещи, и это почему-то поражает меня. Трое детей выглядывают оттуда: девочка лет восьми в шаровариках и мальчики. У всех одинаковые черные глаза. И женщина эта очень худая, так что даже будто светится под кожей ее лицо...

Понурился, идем мы к мостику через арык: уже не скачем, как на эту сторону. За мельницей из-за дерева появляется Гришка. Лицо у него бледное.

— Скорее... уходим, уходим, товарищи!

Ну, это кого хочешь развеселит.

На базаре толкаем пару зимнего белья, что оказывается лишней у Мишки Каргаполова. Какое-то свое сдал Рашпилю взамен. Тот, вообще, скотина, но когда есть возможность помочь курсанту, старшина эскадрильи закрывает глаза. Все же двадцать лет в сверхсрочной службе, и знает, что нужно ладить не с одним начальством. А Рашпилем его зовут потому, что вся рожа у него в оспе.

Пируем в тени: теплые блины, лепешки, мешалда. Когда уходим, к нам привязывается сын подполковника Щербатова. Этот всегда на базаре, ходит, где едят, принохивается.

Ну, жлоб с деревянной мордой! Видит, что не хотят с ним дело иметь, а все идет сзади, заговаривает. Задерживаюсь.

— Ты, кусошник, — говорю. — Давай, оторвись от нас!

Он останавливается в пяти шагах, смотрит на меня с ненавистью:

— Подожди, увидишь...

— Что, бить меня будешь? — спрашиваю. — Так ты же знаешь, что я сильнее тебя. Ударю один раз, и калекой останешься на всю жизнь.

Что-то крысиное есть в его маленьких глазках и крепких челюстях с длинными желтыми зубами.

— Еще пожалеешь, Борис, — обещает он.

Поворачиваюсь к нему спиной, догоняю своих.

Возвращаемся в эскадрилью. Вечером я, Валька Титов и Со идем в гости. Перед тем советуемся, проходим на вторую за сквером улицу. Там живет наш полковник Бабаков. За оградой, под окнами его дома, растут цветы: белые и красные розы. Их тут тьма-тьмуцая. Уже совсем темно. Со остается на стреме, а мы с Валькой прыгаем в палисад. Черт, нужно было нож взять. Обкалывая руки, ломаем сочные стебли. В окне на занавеске движутся женские тени. Ничего, Ринке тут еще роз хватит, останется...

Ну, пора рвать когти. Только подходим к ограде, нас ослепляет яркий свет. Это полковник на машине. Сидим не дыша. Он идет через калитку тяжелыми и шаркающими шагами и вдруг останавливается буквально рядом с нами. Кажется, на всю улицу слышно, как бьется у меня сердце. Ясно вижу высокую сгорбленную фигуру и лицо, повернутое в нашу сторону.

Постояв так минуту, полковник идет в дом. Мы переваливаемся через ограду и все трое бежим, что есть силы, гремя сапогами по посыпанной гравием дороге. Лишь квартала за четыре останавливаемся. Смотрим с Валькой друг на друга: неужто видел нас полковник? Нет, не в лицо, конечно, а просто наши курсантские фигуры. Ведь и погоны мы надели парадные, с золотой каймой и лычками. Почему же не окликнул он нас тогда?..

Из окон Иркиного дома слышна музыка:

- Веселее, моряк, веселее, моряк,  
Делай так, делай так, делай так!..

Мы заходим во двор, переступаем через большую черную собаку, которая сидит на цепи. Она так воспитана, что курсантов не трогает. Зато как зверь она бросается на офицеров топотряда. В доме у Ирки снимает комнату лейтенант топограф, лет ему около тридцати. Он вроде бы даже делал Ирке предложение, но ему отказали. Как же пес различает погоны? Запах что ли от нас особый, бензиновый...

Заходим со своим букетом. Ирка с Надькой накрывают скатертью стол. Третья девочка — их подруга — носит чайную посуду. Появляется из кухни Иркина мать. Она что-то там печет и руки у нее в муке. Я еще со двора услышал этот запах и остро вспомнил свою мать. Она тоже пекла к дню рождения...

У Ирки отец был каким-то районным начальством и сейчас на фронте. Мать работает в райисполкоме. Дом у них хороший, такой, в котором люди живут постоянно, всю жизнь. В доме есть шкафы, буфеты, кровати с никелированными спинками, всякие вещи. Я только смутно помню такие дома и не бывал в них за годы войны.

Мы пьем маленькими рюмками сладкую наливку и едим пирог. Он какой-то особенный, с прокладкой из варенья и посыпанный желтой сливочной крошкой. Даже как-то неправдоподобно, что есть на свете такие необыкновенные вещи.

— Что сидим, как порядочные. Давай танцевать! — кричит Ирка.

Это среди девочек выражение такое сейчас в моде: «как порядочные». Со все сидит в стороне, заводит патефон. Он здесь случайно, у него девочка в АМС. Мы с Валькой стараемся, как можем. Танцуем возле стола. Видно, от наливки, но у нас получается. Девочки поют, переделывая слова:

А в тарелке плавали вместо вермишели  
Черные ресницы, черные глаза.

Ирка лишь чуть-чуть отвечает на мое пожатие, когда мы танцуем с ней. Это озадачивает меня. Ведь сама она в прошлый раз мне руку пожимала.

Потом играем в игру, которая называется флирт. На карточках напечатаны названия цветов и драгоценных камней, а напротив какое-нибудь высказывание с тайным смыслом. Чаще всего — стихотворная строка, или пословица, или просто намекающая фраза. Все это с буквой «ять», на старой плотной бумаге. Некоторые карточки новые, как видно взамен утерянных, и там напечатано на машинке или написано от руки ровным учениче-

ским почерком. Есть там и французские слова, но мы их пропускаем.

— Смарагд! — говорит мне Ирка и передает карточку.

Читаю: «Ты понимал, о мрачный гений, тот грустный безотчетный сон».

— Нарцисс! — отвечаю тут же, отдавая другую карточку из тех, что у меня в руке. Там прямо и ясно сказано: «Стремлюсь к тебе, мой ангел милый!»

В ответ — левкой: «Все, слова, слова, слова...»

Я решаюсь на большее — изумруд: «Ужель забыла ты лобзанья?»

В ответ маргаритка: «Ах!»

Мы в увлечении перебрасываемся карточками, и вдруг карточка со стороны — сапфир: «Пустое сердце бьется ровно».

Поднимаю глаза. Это Надька. Носик ее чуть вздернут, светлый локон падает на лоб, в глазах какой-то вызов и обида. Перебираю карточки и отвечаю тем, что написано от руки — сирень: «Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь».

Продолжаем играть, громко смеемся, читаем вслух наиболее томные выражения. Это и в шутку, и почти всерьез. У всех, у нас и у девочек, разгорелись глаза, временами чье-то лицо заливается вдруг краской.

Я отстраняюсь на мгновение и снова замечаю букву «ять» в печатном тексте. И сразу почему-то встает все связанное с этим: выложенные из желтого кирпича и по-строгому красивые станции, водокачки, пакгаузы каждые двадцать-тридцать верст, без воды вокруг, под дикими, неистовым солнцем. Дома тут в городках из такого же кирпича, с ровно размеченными улицами, арыки в желтом, аккуратном камне вдоль этих улиц, и ни один кирпичик не треснул, не выкрошился за пятьдесят, за семьдесят лет. И дорога, которую два батальона солдат без шума и суеты построили на тысячи верст через пустыню вместе с самым длинным в то время железнодорожным мостом через древнюю буйную реку. Там старые шпалы еще целые на этой дороге. И от нее другие дороги с такими же станциями и мостами чуть ли не в самую Индию. Что-то еще незримое увиделось вдруг мне сейчас в этом маленьком доме посреди пустынь и садов, где мы играем в смешную, лукавую, чистую игру. Я читал, как играли в нее в прошлом веке, и тогда уже повеяло на меня устойчивым душевным теплом... Родился я в студенческом общежитии института народного образования, как называли тогда университет, в интернациональной семье, и не знал всего этого. Слово флирт употреблялось родителями только в отрицательном смысле. Впрочем, как и все остальное, включая дома и пакгаузы из старого желтого кирпича. Совсем маленьким видел я, какими

острыми брызгами разлетался он, когда рвали собор. Наше окно смотрело прямо на Греческую, и я каждый день видел его высокие белые стены в проеме поднимающейся вверх улицы, когда мать запирала меня, уходя на работу. Однажды утром его не стало, и я ходил смотреть, как заметали с мостовой эти желтые осколки...

Девочки с чувством поют:

Это было, кажется, в июле,  
Вы из рук кормили голубей,  
А теперь, в артиллерийском гуле,  
Вы огонь ведете батарей...

Мы переглядываемся. Почему-то не очень ложится к нам в душу эта песня. Хоть слова в ней и звучные.

Где же шелк и прелесть ваших бантов,  
Алый цвет и нежный взгляд очей,  
Я в шинели, в чине лейтенанта...

Особенно не то что-то в припеве.

Я хочу, чтоб вы к своей шинели  
Прикололи розы лепестки!

Ведем всякие разговоры о героизме и любви. Тут перед нами стояла Тамбовская школа пилотов. Они летали на «Илах». Так вот, один курсант из них влюбился, а она вышла замуж за другого. В день свадьбы он разогнал шеститонную машину и на бреющем влетел к ней прямо в дом. Даже и сейчас там обгоревшие руины, и на кладбище, где похоронили их вместе, воткнут пронеллер. Не то здесь, не то в Красноармейске, не то еще где-то это произошло. Обычный авиационный треп, но мы киваем головами, соглашаясь с девочками, что это настоящая любовь. Лица у них задумчивы и прекрасны.

Потом гурьбой провожаем девочек. Ирка, как хозяйка, идет с нами. Сначала доводим до дома подругу, которая живет дальше всех, затем, на обратном пути, Надьку, и последней — Ирку. Я задерживаюсь с ней. Валька и Со стоят, ждут меня, зовут. Потом они уходят.

Мы целуемся с Иркой, долго и страстно. Ирка смуглая, у нее черные как смоль кудрявые волосы и такие же черные большие глаза. Она наполовину татарка. И имя у нее немного другое, редкое, которое ей очень идет. Я привычно обнимаю ее, но она уверенно ставит предел для моих действий. Только губы ее дразнят меня и глаза искрятся...

Иду в эскадрилью напрямик, перескакивая через арыки, и думаю о том, что говорил мне сегодня Гришка. Слишком уж толстые ноги у этой Тамары Николаевны...



Я лезу вторым. Впереди меня ползет Даньковец, сзади Иванов. Проползаем два-три шага и опять надолго останавливаемся. Даньковец по сантиметру продвигает вперед руки, пробует землю. Хоть говорил он что давно знает этот путь, а все же проверяет каждый шаг. Я не вижу этого, только слышу осторожные движения его пальцев. Потом сапог его отодвигается от моего лица, и я подтягиваюсь следом, стараясь не задеть рукой что-нибудь в стороне. Когда виснет ракета, мы лежим, как кучи торфа вокруг, такие же темные, мокрые и неподвижные...

Два или три часа уже ползем мы так. Где-то сзади остались колья с кусками оборванной проволоки, наверно, от какой-то прежней линии обороны, потом пошли старые обрушенные окопы. Знакомое нам дерево с вывороченным корнем теперь справа от нас. А мы ползем дальше. Что-то долго на этот раз возится Даньковец. Слышу, как глубоко он вздыхает и, подняв над головой, показывает мне во тьме что-то круглое, вроде большой катушки ниток. Только потом догадываюсь, что это мина. И опять мы ползем...

Кажется, теперь мы у места. Совсем близко темный неровный прямоугольник. Это штабель оплывшего торфа, который виден нам днем. Даньковец машет рукой. Я двигаюсь к нему, замираю рядом. Сзади подползает Иванов. Рука моя проваливается в пустоту. Это узкий ровный окоп — ход сообщения. Он идет от вывороченного дерева туда, к чернеющему над болотом лесному косогору.

Даньковец делает прутиком метку и неслышно сползает в чужой окоп. Мы за ним. Идем в сторону дерева. Хороший, удобный ход: лишь голову пригни, и не видно. Тут место повыше, чем у нас, и вода не выступает из земли. Шагов через двадцать окоп немного расширяется, чтобы можно было разойтись встречным. Мы ложимся тут на краю и ждем. Час, другой, третий, пока не теряется ощущение времени...

Все происходит неожиданно, но почти так, как говорит Даньковец. Двое их идут от косогора небыстрым шагом.

Луна где-то спрятана за плотными тучами, но их видно еще издали: две приподнятые над окопом круглые головы. И шаги их мы хорошо слышим. Все ближе они, даже тут в ногу идут. Одного мы пропускаем, и в то же мгновение Даньковец скатывается сверху на него. Одновременно я захватываю рукой под каску другого. И как-то теряюсь, не готовый к этому. Я ожидал борьбы, а немец несколько не сопротивляется, даже руки не поднимает. Вижу его выпученные глаза и давя все сильнее. С той стороны окопа его держит Иванов, не давая и шевельнуться.

Даньковец уже возле нас, дергает мою руку, но она словно окостенела. Еле-еле сам отвожу ее в сторону, и немец садится

на дно окопа. Голова его повисает. Даньковец заглядывает ему в лицо, слушает дыхание. Потом раскрывает ему рот и впихивает туда тряпку. Глаза у немца по-прежнему выпучены, но голова уже держится прямо. Другой лежит в окопе неподвижно, головой к нам. Даньковец держит в руке финку. Она у него темная по лезвию. Он втыкает ее два раза в землю, обтирает об штаны, и лезвие светлеет.

Я сижу возле живого немца. Иванов стаскивает с убитого автомат, Даньковец обшаривает его карманы, ищет документы. Тут что-то звякает у нас. Это первый звук за полторы минуты, пока все происходило. Мы сидим, прижавшись к стенкам окопа. Почти рядом слышится знакомый мне голос. И даже имя то же повторяет: *Франц... дас бист ду, Франц?*

Мы молчим. Опять что-то говорит этот голос, и тревога слышится в нем. Даньковец, чуть повозившись, привстает и бросает к вывернутому дереву гранату с длинной ручкой потом другую.

Долго, долго все тихо — это так кажется мне. Желтым светом вспыхивают в мокром воздухе разрывы, и их перекрывает человеческий вопль. Он обрывается, как будто уходит в воду. От косогора с журчаньем убегает в небо ракета. Белый нежный свет ее отражается в оскаленных зубах мертвого немца, и я зачем-то запоминаю его лицо.

Все грохочет вокруг: справа, слева, впереди и сзади нас. Стены окопа содрогаются от хлестких ударов, кусочки грязи падают вниз. Даньковец делает нам знак рукой сидеть на месте и бежит по окопу туда, где вывороченное дерево. Когда ракета начинает гаснуть, он возвращается. На плече у него немецкий пулемет с кожухом и недострелянной лентой, в карманах бушлата гранаты, через шею еще один автомат-шмайссер. Живого немца мы быстро завертываем в его же шинель, вяжем сверху пулемет, коробку с лентами, автоматы и волочим по окопу. В отмеченном месте дружно поднимаем его наверх. Но Даньковец опять возвращается. Здесь у него была оставлена мина. Он кладет ее на дно окопа, нагребает руками мокрую землю...

Ползем обратно, впереди опять Даньковец. Иванов с ремнем на плече волочит пленного, я, упираясь коленями, головой и спиной толкаю его сзади. Потом мы меняемся с Ивановым местами. То тут, то там с нашей стороны слышится негромкое «гу-га, гу-га», и немцы начинают лихорадочно стрелять на эти голоса. Так было условлено. Когда мы доползаем до своих окопов, на той стороне ухает взрыв.

— Есть, — говорит Даньковец. — Очка правильная!

Пережидаем, пока немцы успокоятся. Даньковец раскутывает пленного. Тот моргает глазами, хочет сесть, но Даньковец пригибает его голову к земле. Хлопает по задку:

— Ладно, дальше своим ходом, в кильватер... Крихен, шнель!<sup>1</sup>

Немец послушно ползет за ним, мы сзади... Потом мы сидим в штабном подвале, и капитан Правоторов говорит, глядя перед собой:

— За языка положена отмена штрафного срока.

Пленный, это ефрейтор с узкими плечами и большим кадыком, все сглатывает слюну и не отводит красноватых заячьих глаз от капитана. На нас он и не глядит.

— Нет, капитан,— говорит Даньковец.— Пиши его на роту. Сам понимаешь наше правило.

Мы с Ивановым тоже киваем головами...

Сегодня принесли к нам сюда кашу в бачке. Едим ее за обрушенным домом, пока теплая. Из подвала выходит Даньковец, присаживается к нам:

— Не торопись, братва!

Он достает откуда-то из внутренних карманов своего бушлата обтянутые темным сукном фляжки: одну и вторую. Это немецкие, при пробке у них навинчены стаканчики. А из кармана штанов Даньковец вынимает сало в станиоле. Когда же успел он это прихватить?

— Как учил Суворов,— подмигивает он мне.— Наш тоже парень, одессит!

Он режит своей финкой сало, по очереди наливает в стаканчик синеватую, пахнущую больницей жидкость и дает выпить нам всем: мне, Иванову, Кудрявцеву, Шурке Бочкову, Сироте, Бухгалтеру. Только Бригадир отказывается, молча отворачивает голову.

— Нет, он не будет пить,— говорит Бухгалтер.— Насвай только знает.

Бригадир держит при себе у пояса тыквенную бутылку. Перед тем, как ползти в окоп, он всегда вынимает деревянную пробочку и высыпает под язык едкий зеленый порошок. Потом выплевывает его длинной густой струей. Глаза у него тогда делаются туманными и грустными.

А Бухгалтер пьет со всеми и ест сало. Он сильно изменился: похудел, и движения сделались быстрыми, уверенными. По утрам он с Сиротой лазит по болоту, разыскивает и выкапывает из торфа всякое оружие. Его тут на целую дивизию. Находят еще часы, разные вещи, и все кладут на стол в подвале.

От выпитого шнапса приятная истома расходится по всему телу. Хочется не спать, а лишь сидеть вот так, неподвижно, првалившись спиной к рухнувшей балке. Недалеко рвется мина, но даже головы не хочется повернуть в ту сторону.

---

<sup>1</sup> Ползком, быстро!

С нами пьет еще Никитин из третьего взвода, большой, заросший густым черным волосом, с мрачным взглядом. Он и Даньковец из одной части, дружат между собой.

Лейтенант Хайленко с кем-то еще ведут сдавать пленного. Никитин мутно смотрит на него. Когда немец проходим мимо, он тихо говорит: гу-га.

И пленный вдруг приседает, закрывает голову руками.

— Ладно тебе, — говорит Даньковец, подходит к немцу, берет его за шиворот и ставит на ноги.

Дождь не кончается. Сижу, смотрю на небо и думаю о том, что там, за этими тучами, солнце...

Идем с Гришкой в эскадрилью. Путь близкий — километра полтора, и все по арыку. С нами котелки, вещевого мешок для сухого пайка и дыни для ребят.

По-прежнему мы не летаем. Шестой день уже нет бензина. А нам с Гришкой лафа. По приказу начальника школы от эскадрильи выделен наряд — стрелять шакалов и собак, которые портят созревающие дыни. Об этом просил председатель колхоза, рядом с которым наш аэродром. Старшим назначили Гришку, и он взял меня с собой. Так что мы теперь сами себе начальство.

Уже на подходе к эскадрилье замечаем какую-то суету и слышим выстрелы. Они сухие, негромкие, вроде пистолетные. Ускоряем шаг и у линейки натываемся на Лешку Таншуру, нашего механика. Он нам все и сообщает. Приехал с фронта саперный капитан, муж начальника нашей медчасти Ларионовой. А Каретников посадил ее в доме, который они снимают. Сам он с пистолетом стоит на пороге и никого к ней не пускает.

У тополей за линейкой собрались все, кто есть сейчас в эскадрилье: инструкторы, курсанты, механики. Смотрят в сторону узбекского дома, где квартирует младший лейтенант Каретников. Комэска, бледный, почему-то в белом парадном кителе, тербит пальцами светлую звездочку на груди.

— Стреляет, подлюка... Прямо-таки стреляет, и все! — с каким-то изумлением в голосе говорит лейтенант Борзенко, лучший друг Каретникова.

Чуть в стороне, у дерева, стоит незнакомый капитан с седеющими висками. У него очень аккуратный вид, все подшито, сапоги вычищены. С ним мальчик лет семи. Он жил где-то у бабушки, и капитан заехал за ним. Поварихи Люба и тетя Катя взяли его к себе и кормят сейчас в столовой чем-то сладким. Лицо у капитана замкнуто, губы поджаты, и смотрит он куда-то на дальние сады по ту сторону аэродрома, смотрит неотрывно.

— Давай с разных сторон, отвлекайте его! — говорит Борзенко.

Все, кто тут есть, распределяются по кустам, за дувалы и деревья, окружая глиняный дом у арыка. Мы с Гришкой бросили все и тоже ползем по-пластунски между грядками огорода. Каретников открыто стоит перед домом и по-бычьему поворачивает голову в разные стороны. В здоровенной лапе его «ТТ» кажется совсем маленьким.

— Петька... Петька... твою мать!

Это кричит ему Борзенко. Каретников поднимает руку с пистолетом и медленно опускает ее. Борзенко ухватывается обеими руками за пистолет. В ту же минуту на Каретникова наваливаются с разных сторон, гнут его книзу. Мы с Гришкой поднимаемся с земли, подходим, смотрим в дом. Ларионова сидит боком с совершенно спокойным видом, будто все это ее не касается. Мне даже кажется, что на лице у нее какое-то удовлетворенное выражение...

Потом они идут к «виллису», на котором ездит комэска: Ларионова чуть впереди, ровно и твердо переставляя ноги в сапожках, с ней капитан с мальчиком за руку. Она тоже берет за руку мальчика. Они садятся в «виллис» и уезжают. Все мы, вся эскадрилья, молча смотрим им вслед...

А Каретников так и сидит на пороге дома. Голова у него опущена, а вокруг стоят комэска, Чистяков, другие офицеры. И вдруг плечи и спина младшего лейтенанта Каретникова затряслись, он плачет громко, навзрыд, совсем как маленький.

По дороге пылит машина, переезжает мостик через арык, останавливается. Это на штабном «Додже — три четверти» приехал подполковник Щербатов, с ним еще кто-то.

— Что тут произошло, товарищ майор? — спрашивает он у комэска, с неудовольствием глядя на офицеров. Медленно, по полминуты, тянут они руки к фуражкам и шлемам, приветствуя его.

— Семейное дело. Разобрались уже, товарищ подполковник, — отвечает комэска со своим чуть заметным белорусским акцентом, и сухоощавое лицо его бесстрастно.

Целый день мы ошиваемся в эскадрилье. Нам вместе с остальным нарядом положен отдых. А ребята перед обедом гоняют строевой. Скоро День авиации, и решено устроить парад. Для этого и приехал Щербатов. Кроме того, нельзя, чтобы люди болтались без дела. Это любимое выражение у подполковника Щербатова: «Почему люди болтаются?!»

Ребята вдоль линейки что есть силы гремят сапогами и поют на манер «Эскадрилья»:

Там, где пехота не пройдет,  
Не пролетят и самолеты,  
Могучий танк не проползет,  
Пройдет отдельная штрафрота!

Все песни сейчас переиначиваются. Даже самые душевные, и тем находят другие слова. Эту моду привезли фронтовики. Кто-нибудь начинает проникновенным, как по радио голосом:

На позицию девушка...

Другой обязательно продолжает:

А с позиции — мать.

Бывает в рифму и похлеще. Меня коробит от этого, потому что песня еще недавно мне нравилась. Даже на «Темную ночь» есть пародия. В пехоте мы тоже пели на шахтерский мотив:

Через роту спящую  
Прямо в степь привольную  
Вышел в самовольную  
Парень молодой...

И как отголосок Сорок первого все слышится на манер танго, под которое нас учили танцевать в спецшколе:

Утром наша рота будет пьяная  
Выполнять свой боевой приказ.  
Это значит снова отступление,  
Снова значит спинами к врагу,  
Скоро ль это кончится мучение...

Время, наверно, сейчас такое, что некоторые слова не устраивают.

Что касается штрафной, то у нас несколько человек подзалетели туда. За разные дела: грубость с начальством, длительная самоволка, продажа казенного имущества, да мало ли за что, если попасть начальству под руку. Особенно часто происходит это с тех пор, как стали наводить порядок. Правда, все обходится без суда, по приказу начальника школы, с правом возвращения в часть. У нас пока лишь двое вернулись из тех, кто ушел в штрафбат. Отсюда, наверно, и песня...

К вечеру возвращаемся на свой пост. Это огромное, в семнадцать гектаров, поле, где еле виден другой его край. Оно, как в сказке, усыпано громадными, по полпуда, желтыми дынями. По краям его каждые двести-триста метров поставлены шалаши. В них вместе с семьями живут люди, которые охраняют эти дыни и скатывают их в большие кучи на краю поля. Отсюда их увозят уже арбы и машины. А по другую сторону поля, сразу за редкой полоской камыша, голый такыр, откуда приходят шакалы и бродячие собаки.

Гришка собирается на ночь к своей Вере Матвеевне, подшивает подворотничок, чистит сапоги. И от нее возвращается совсем выглаженным, в заштопанной где следует гимнастерке. Я лежу над арыком, на деревянном тахте, и смотрю на его сборы. Он уже совсем готов, но все топчется и не уходит:

— Так что сказать Тамаре Николаевне? — спрашивает он у меня. — Можно бы завтра собраться у Веры. Там патефон и все такое...

Я чувствую, как краской заливаются все мое лицо, отвожу глаза в сторону и согласно киваю головой...

Здесь, где стоит деревянный помост — тахт, на котором мы спим, находится бригадный стан. На нем во время сбора урожая живет с семьей заместитель председателя колхоза. Это уже пожилой красивый мужчина, который почти не разговаривает ни с кем, но все его слушают. И младшие дети у него очень красивые. Это мальчик четырнадцати лет — Пулат и девятилетняя девочка — Раушан. Какая-то особенная это, древняя красота.

Меня зовут есть плов. Я бы обязательно отказался, но тут все иначе. За три дня, что мы здесь, я сделался у них как бы совсем своим. Чувствую, что они не поняли бы, почему я отказываюсь. Едим с большого блюда: четыре старика в цветастых стеганых халатах, заместитель председателя колхоза и я. Стараюсь делать все так же, как они: аккуратно беру с рисовой горки кусочек мяса, и, пытаясь не задеть пальцами остальной рис, подбираю его для себя. Я никогда не ел ничего вкуснее, и именно так надо есть плов, не ложкой. Она бы примяла и передала нежные белые зерна. На краю блюда у каждого при этом образуется как бы своя часть блюда и остального плова он не касается.

Потом сижу с Пулатом, учу язык. Много слов я уже понимаю, только стесняюсь почему-то произносить. Все кажется мне, что скажу не так, и это будет неприятно для людей.

— Мухабат, — говорит Пулат. — Любовь.

И почему-то смеется во все горло. Потихоньку сообщает он мне и плохие слова. А сам не выпускает из рук винтовки, которую я даю ему подержать. Он открывает и закрывает затвор, целится в закатное темнеющее небо, потом вдруг направляет винтовку на маленькую сестру.

Резко подбиваю ствол рукой и даю ему по шее. Делаю это раньше, чем подумал о чем-нибудь, и хоть твердо знаю, что в магазине и стволе нет патронов. Помню пехотную мудрость, что раз в году винтовка сама стреляет. Старики и отец Пулата молча смотрят со своего места и по-видимому одобряют меня.

А Раушан и секунды не сидит на месте: вертится вокруг, что-то напевает, перебирает ленточки. Потом начинает танцевать — маленькая красивая девочка в цветастых шароварах, необыкновенно изящно выгибая руки, вода с серьезностью вправо и влево детскую головку со многими косичками. Все невольно прекратили разговор, смотрят на нее...

Я никак не могу уснуть. Лежу на досках тахта и смотрю в черное звездное небо. Одна за другой мелькают какие-то

картины, слышатся обрывки разговоров, происходивших днем. Но я знаю, что все это не то. И вдруг приходит ясное и неотвратимое: Тамара Николаевна...

Ведь она, кажется, действительно красива. Вспоминаю ее лицо, округлое, с серыми глазами. Они смотрят прямо с каким-то вызовом. И фигуру, узкую в плечах, с белым поясом на талии. Постепенно Тамара Николаевна начинает мне нравиться. Руки у нее обнаженные, загорелые, она всякий раз поправляет ими прическу и смотрит при этом через плечо по сторонам. И я хорошо знаю, для чего она мне нужна...

Начинаю представлять себе уже более смелое. Дыхание у меня перехватывает, руки твердеют. Но дохожу до ее ног и останавливаюсь, не знаю, что делать. И еще: сколько же ей лет?.. Закрываю глаза, хочу отогнать это, и опять думаю про все сначала.

Почему-то вдруг вспоминается тот, первый раз, когда ощутилось необычное. Это было еще перед войной, так давно, что, кажется мне, происходило с кем-то другим. Я впервые выпил тогда водку — на троих, из горлышка, за шесть рублей пять копеек. И хоть форма, которую мы получили, была не синяя, парадная, все же решили идти на бульвар: я, Вовка Селицкий и третий — наш друг, который так и не попал в спецшколу по зрению. Мы с Вовкой числились в третьей роте — заканчивали восьмой класс. А в первой, старшей, роте учился двоюродный Вовкин брат — Сашка Пешкурев. Через месяц они должны были идти в строевые училища. И на перемене, в столовой, Вовка спросил его, как бы между прочим:

— О чем трепаться с девочкой, когда ходишь с ней?

— А что увидел, про то и говори,— засмеялся Сашка.— Ей все равно.

— Ну, вот едет трамвай, так что? — не отвязывался Вовка.

— О трамвае и говори. Про крушение что-нибудь или что женщину на Мадой Арнаутской переехало.

На бульваре мы встретили Ленку Покальчук, рослую девочку с темными глазами и бровями. Мы учились когда-то вместе, но в шестом классе она осталась на второй год. И жила она напротив меня, через дорогу. Встречая раньше, мы на нее и внимания не обращали. Но тут, на бульваре, другое дело. Мы сразу увидели, что Ленка вдруг стала совсем другая. Движения, поворот головы сделались у нее какими-то плавными, глаза она опускала вниз. И платье на ней было темное, бархатное, от него ложились тени, так что какими-то необыкновенными выглядели ее шея и руки. Мы вдруг начали говорить с ней совсем по-другому, вынули папиросы, и лишь я не закурил, а только держал папиросу в зубах.



С Ленкой была ее подруга Оля, носатая, ужасно некрасивая девочка с Пушкинской улицы. Мы с Вовкой отвели Ленку в сторону и сказали, что хотим прогуляться с ней одной. Она молча кивнула головой и ушла с Олей. Через пятнадцать минут Ленка вернулась одна к пушке с английского крейсера «Тигр», где мы все трое ждали ее.

Потом мы гуляли по бульвару, всякий раз ощупывая серебряные птички в своих петлицах, и красиво приветствовали старших чином военных. Разумеется, я и Вовка шли рядом с Ленкой, а друг наш, который не попал в спецшколу, держался с краю. Так мы и сели на скамейку возле дюка Ришелье. От него, упираясь в глухой, пыльный забор порта, шла широкая лестница. Внизу, у наших ног, темнели платаны Луна-парка.

И вот тут мы замолчали. Через гимнастерку я чувствовал мягкое тепло Ленкиной руки выше локтя. А еще через тяжелый гладкий бархат ее платья и через плотность суконных форменных брюк я ощущал ее колено. Уже когда сделалось совсем темно и на корабельных мачтах в порту зажглись огни, я приподнято сказал:

— Смотрите, огоньки зажглись на парходах!

Порт был нашим вторым домом, и мы знали каждую сваю под его причалами. Та же Ленка, когда мы были еще маленькими, лазила за нами с девчонками, когда через известные нам дыры в карантинном заборе мы пролезали в порт и шли купаться к маяку, на Австрийский пляж. С любого места нашей улицы видны вечером эти огни. Но Вовка с восторгом подхватил:

— Огоньки какие... зеленые и красные!

Ленка глубоко вздохнула и тоже сказала едва слышно:

— Да, огоньки...

Опять была моя очередь говорить. Я посмотрел через залив и увидел, что там на той стороне тоже загорелись огни.

— Смотрите, и на Живаховой горе огоньки! — сказал я.

— На Живаховой горе... яркие какие, аж сюда видно! — отозвался Вовка.

— Да, какие хорошенькие, — сказала Ленка.

— Смотрите, а огоньки в воде отражаются! — уже неуверенно продолжал я.

— Здорово отражаются!

В Вовкином голосе была неприкрытая фальшь, и Ленка посмотрела, будто в первый раз это увидела, поморгала ресницами:

— Да... отражаются.

После этого мы опять замолчали, только рука моя стала осторожно забираться Ленке за спину. И тут, как раз посередине, она встретилась с Вовкиной рукой. Помедлив недолго, руки наши разошлись и двинулись дальше. Ленка старательно прижимала

свои локти к телу, но ей это мало помогло. Достигнув своего, мы принялись с двух сторон отчаянно тискать ее через тяжелый бархат платья. У нее все уже было, как у взрослой женщины. Сделалось совсем темно, и мы положили свободные руки ей на колени, каждый со своей стороны...

Наш друг в стороне пытался что-то говорить, острить, но мы тяжело дышали и молчали. Ленка, с полуоткрытым ртом, тоже глубоко дышала и, когда мы очень уж усердствовали, быстро-быстро моргала тенями длинными ресницами. Слышно было, как колотится у нее сердце.

Так мы сидели, железно сжав ее с двух сторон, пока в листве каштанов по всему бульвару не начали мигать фонари. Ленка, будто проснувшись, вздохнула тяжело и жалобно посмотрела по сторонам. Одновременно освободили мы наши затекшие руки и встали вслед за ней.

Мы проводили Ленку по Пушкинской, потом вниз по Греческой, через мост, до самого ее дома напротив нашей школы — угловатого, четырехэтажного. Я жил там через дорогу, а Вовка чуть подальше. Ни разу мы с ним не посмотрели друг на друга. И когда попрощались с Ленкой за руку, то тоже стали с Вовкой Селицким как-то боком друг к другу. Приятель наш ничего не понимал, заглядывал нам по очереди в лицо, но мы даже не подали один другому руки. Через три дня нас отправили на Куяльник, в летние лагеря, а через месяц началась война...

Но я чувствовал это еще в четвертом классе. Помню наизусть классную переключку: Артамонов... Белявская... Бибергал... Бойко... Брозин... В нашем классе учились русские, украинцы, молдаване, евреи, поляки, турки, болгарин Игорь Консуров, грек Олег Папаспираки, грузин Гивка Кичекмадзе, а Костя Брозин был француз. И еще Казанегро. Конечно, ее дразнили Коза. Видно, какой-то матрос с Ямайки остался когда-то в Одессе. Это была невероятно худая, тоненькая, с огромными глазами, ослепительно красивая девочка. И ленива она тоже была необычайно: с каким-то сонным видом сидела она за первой партой, куда ее перевели, как отстающую. Она мне очень нравилась, и донимал я ее всеми возможными способами. Благо, я сидел сзади, так что удобно было дергать ее темные каштановые волосы, а на переменах обязательно толкать или делать подножку, когда она выходила из-за парты. Однажды, ни слова ни говоря, она бросилась ко мне и острыми, как бритва, ногтями расцарапала мне все лицо. Так кончилось это мое увлечение.

Потом я любил Вальку Жигулину из другого класса. На утреннике она в сине-белой матроске исполняла песню «По морям, по волнам». Больше половины детей в школе были из семей плавсостава. Одновременно еще любил я Валину подругу Веру Ямкину с Маразлиевской и довольно долго Шуру Солома-

хину с Полицейской, которая называлась улицей Розы Люксембург. Меня в классе тоже любили две или три девочки, и я знал это. Вот все, что было со мной...

Переваливаясь на бок, прямо с тахта опускаю руки по локоть в прохладный арык и долго держу их там, ощущая упругость бесшумно двигающейся воды. Затем снова ложусь на гладкие доски, и возвращается ко мне то, что должно завтра произойти. Договорился ли Гришка с Верой Матвеевной... и с ней? Неужели так прямо можно об этом говорить?

В третий раз уже кричит ишак. Под утро, весь измученный, засыпаю. И тут же просыпаюсь. Серая полоса обозначилась у горизонта. Пора...

Беру винтовки, свою и Гришкину, иду в сторону от бригадного стана. Там, где арык сворачивает, небольшое возвышение. Оттуда все видно и поблизости никого нет. Ополаскиваю лицо в арыке, пригладиваю короткие волосы и сажусь, смотрю в поле. Там, у полоски камыша, ничего не видеть.

Постепенно и воздух сереет, все больше отдаляя предметы. Но что это: далеко в стороне от места, куда я смотрю, шевелится что-то желтое, задержалось, сдвинулось вправо. Так и есть — шакал. Пожалуй, метров четыреста до него будет. Ставлю прицел, но не стреляю. Поодиночке они не ходят...

Все правильно: вижу еще одного, а у самых камышей третий то появится на поле, то опять пропадает. И вдруг на том месте, куда я смотрел прежде, замечаю большое черное пятно. Это бродячая собака, за которой мы третий день охотимся. Ничего, теперь она не уйдет. Раньше следует брать шакалов, они проворней. Становлюсь на колено и бью раз за разом, почти без перерыва. Что с ними, мне смотреть не надо. Там, где я раньше служил, учили хорошо стрелять. Последней прошиваю собаку. Высоко подскочив, она валится между гряд. Сомневаюсь лишь в том шакале, что прятался в камышах.

Иду, держа на плече обе винтовки, свою и Гришкину. Оружие нельзя оставлять. Со мной идет заместитель председателя и Пулат. С двух сторон спешат от шалашей люди. Десятка три дынь испорчены. Сбоку на каждой следы зубов и видна белая сочная мякоть. В том-то и дело, что шакалы, как и собаки, не просто едят дыни, а прежде чем их съесть, десятка полтора перепробуют. Дынь в этой стороне поля совсем мало, а между грядок лежат потемневшие догнивающие корки, словно мячи, из которых выпущен воздух. Я знаю уже, что на эти дыни вся надежда колхоза. Пшеница, просо, джугара сданы на госпоставки.

Люди подбирают шакалов и несут метров за пятьдесят на такыр. Там уже лежат четыре других, подстреленных нами накануне. Их оставляют, чтобы отвадить прочих шакалов. Большую

черную собаку волокут двое. Я же иду третьего шакала, того, что не отходил от камышей. Вижу кровь на высохших стеблях — значит, все-таки не промазал.

Возвращаюсь один, уже не напрямик, а по краю поля. Подхожу к первому шалашу. Там завтракает семья: старик в цветастом халате, с которым я ел вчера плов, две женщины — пожилая и молодая, четверо детей. Старик молча указывает мне на место возле себя. Уже знаю, что нельзя отказываться. Сажусь, поджав ноги, на кошму, беру деревянную ложку и ем из общей миски. Замечаю, что на постеленной клеенке вовсе нет лепешек и никакого другого хлеба. В миске тоже лишь жидкая затирка из чего-то толченого. По вкусу узнаю пшено. Я помню еще Тридцать третий, когда мать готовила такой же суп, и я ходил с ней за руку в распред для научных сотрудников за пшеном.

Съев несколько ложек, благодарю, встаю, чтобы идти. И тут вдруг понимаю, что вчерашний плов на стане был сделан специально для стариков. Пронзительное чувство горечи и уважения к этим людям охватывает меня. Иду мимо другого шалаша. Там тоже едят синюю затирку без хлеба, и я знаю, что нужно им говорить.

— Яхшими сиз?

— Яхшими<sup>1</sup>, — отвечают мне из этого, потом из третьего, четвертого шалаша.

Опять сижу на тахте, в тени карагача. Все это постепенно забываю и думаю о том, что будет вечером, но как-то тупо, безразлично. Гришка должен еще зайти в эскадрилью за сухим пайком. Начинаю читать книжку «Макарка-душегуб», которую взял у Ирки. В самом центре Москвы, в подземелье, знаменитый разбойник пытается свои жертвы, и люди, проходя по площади, слышат из-под мостовой стоны. У Ирки много таких книг о похождениях великого русского сыщика Густерина.

Гришки все еще нет. Я снимаю сапоги, потягиваюсь всем своим телом и засыпаю на досках здоровым сном.

Ракеты виснут одна за другой. Не успеет догореть низко над болотом один фонарь, как в небе за мелкой сеткой дождя ярко вспыхивает новый свет. Время от времени начинают стучать и тут же словно захлебываются пулеметы.

В третий раз, как мы уже здесь, повторяется это. Обычно мы по два-три раза в ночь пугаем их: «гу-га» — то поодиночке, то сразу с нескольких сторон. Немцы нервничают и бьют шквально в темноту, куда попало. Потом мы вдруг замолкаем. Полная

<sup>1</sup> — Хорошо ли живете?.. Хорошо.

тишина стоит на нашей стороне. И тогда они еще больше начинают беспокоиться: непрерывно пускают ракеты и выглядывают из укрытий, пытаются что-то у нас увидеть. Сидеть спокойно они уже не могут.

Я все в том же своем окопе, но холода не чувствую. Даже запах, к которому никак не могу привыкнуть, не трогает меня сейчас. Лежу расслабленно и только смотрю. Несколько точек у немцев, которые видны отсюда. Там, где потонувшее оружие, мне час назад увиделось лицо...

Меня когда-то учили стрелять из разных положений, даже когда катишься с горы. Там у нас была специальная такая горка для учебных занятий. Проходит еще десять — пятнадцать минут. В какой-то миг тело мое напрягается, переворачивается на бок, и я леплю в то же самое лицо, с сорока метров, точно под обрез каски. Вижу даже, как дергается оно от удара и не сразу пропадает, а медленно опускается в болото. Это уже третий мой, двое были в прошлую спокойную ночь. Бесшумно, не поднимая головы, отвожу двумя пальцами затвор карабина, принимаю гильзу и досылаю очередной патрон. Чувствую, какой он гладкий, массивный, из тяжелой немецкой меди.

До утра тут и там с нашей стороны слышатся одиночные выстрелы, временами коротко бьет пулемет, тоже немецкий. У нас уже три таких — «МГ» и один наш — ручной «Дегтярев», который разыскали где-то в торфе Сирота с Бухгалтером. Автомат, наш или немецкий, теперь почти у каждого. У меня тоже есть шмайссер, но я хожу все с карабином, который дал мне Даньковец.

В эту ночь больше не вижу немцев. Ползу назад, уже не думая, куда ставить руки. Каждый бугорок, воронка, каждый выпирающий из земли кусок железа знакомы мне здесь не просто так. Мое тело само помнит о них, без участия памяти. Так же привычно устраивается оно на своем месте в проеме рухнувшего дома у штабного подвала, даже перестает так чесаться. Четырнадцатый день мы уже здесь, и гости на теле успокаиваются лишь тогда, когда совсем холодными лежим в окопах. Чуть разогреешься, и они дают о себе знать.

Мы пожевали уже сухари со смальцем и сидим в своих щелях, глядя сонными глазами в серый мокрый туман. Смалец американский, какой-то очень уж белый и крупитчатый. Говорят, американцы его из нефти делают. Настоящей сытости он не дает — вроде жуешь бумагу.

Где-то сверху слышится шорох и пыхтение. По лазу съезжает Сирота, подставляет руки, придерживая большой грязный узел, за ним появляется Бухгалтер. Они кладут узел перед входом в подвал, развязывают брезент. Чего там только нет: два автомата, диски от ППШ, гранаты, командирский ТТ, п лус-

гнившая полевая сумка, пара сапог, немецкий пояс с кинжалом, патефонные пластинки — тоже немецкие, какая-то банка с мазью, что-то еще непонятное. Капитан стоит в дверях, молча смотрит.

Сирота с Бухгалтером опоражнивают теперь свои карманы — вынимают их, кладут на брезент чьи-то документы, наши и немецкие, орден Красного Знамени старого образца, железный портсигар, две пары часов. Левка Сирота глядит куда-то мимо меня и неопределенно поводит плечом. Оборачиваюсь и вижу Иванова. Тот смотрит на Левку своим прозрачным взглядом. И Сирота вдруг достает из глубокого кармана шинели еще одни часы — золотые, с цепочкой, и кладет их в общую кучу. У нас уговор — не больше пары часов для себя.

— Стой, полундра! — оживляется вдруг Даньковец. Он подходит и поднимает с брезента немецкую санитарную сумку. В ней индивидуальные пакеты и прямоугольные темные флаконы граммов по двести.

— Это же богатство!

Просыпается и Никитин, начинает помогать другу. Они разрывают пакеты, подставляют котелок и начинают процеживать через марлю густую кашу из немецких флаконов. Это не то противоиpritная жидкость, не то для дезинфекции ран. На бинтах с ватой остается что-то желтое, маслянистое. Потом из одного котелка в другой снова и снова пропускают они через пакеты, почему-то до шести раз.

— А то оглохнуть можно, — деловито замечает Даньковец.

Они с Никитиным пьют то, что собралось на дне котелка, предлагают нам. Все отказываются, лишь я и Кудрявцев пробуем понемногу. Сначала ударяет в нос чем-то приятным, вроде запаха конфет-леденцов, как вдруг с удивлением замечаю, что перестаю чувствовать внутренность рта, язык, горло. И в желудке у меня будто все куда-то пропадает, остается одна пустота.

— Во, очка правильная, как скажут у нас в Одессе! — говорит Даньковец.

Неожиданно я ругаюсь с ним.

— Не говорят так в Одессе!

Угрюмо смотрю на него, не зная, откуда появилось во мне это злое чувство. А он вдруг как-то растерялся, даже руки развёл:

— Как же, Боря... Самое одесситское это слово, морское. Я ж из Одессы...

Молчу, а он все не может успокоиться, суетится, совсем как маленький, вертит головой, и голос у него какой-то плачущий:

— Неужто ты не знаешь? Да ей-богу. Все так говорят на Дерibasовской. И кореш у меня...

Вроде бы даже удобно мне теперь здесь, под рухнувшей

стенной. Во всяком случае сухо, и если лечь плотнее спиной к камышовой стене, то и ветер сюда не задувает. Засыпая, все думаю: чего это я поругался с Даныковцем?..

Тело мое встряхивает с силой, горячий воздух обдирает лицо. Я давлось, кашляю от вонючего запаха тола и горящего железа. Открываю глаза и вижу белую известковую пыль, летающую кругами. Где-то кричат, и снова близкий грохот. Балка над моей головой держится крепко, лишь мелкие камушки и глина сыплются мне за воротник. Так оно и есть: мины. Второй раз уже со вчерашнего дня. Наверно, и они нас нащупали.

Кого-то несут в подвал, по-видимому, из третьего взвода. Слышится стон, негромкий, мучительный. И голос Глушака:

— В самый погреб ударило. Четверо их там сидело. Трех сразу, а этот вот...

У нас уже человек двадцать накрылись: на минном поле, от случайного огня, а двое на знакомой лесной полосе за нами, где позиции тех, которые в суконных гимнастерках. Обоих там и подобрали. Захотели, как видно, сходить без разрешения в тыл погулять.

Правда, и от нас немцам что-то перепало. За эти дни взяли еще трех языков. Никитин с танкистами двух приволок, но один оказался придушенным. И в болоте немцев человек тридцать положили, большинство в белые ночи, когда сами они светят нам.

Все успокаивается, и слышен лишь шорох дождя в развалинах. Не поймешь, день сейчас или сумерки. Все серо и не имеет цвета: руки, лица людей, земля, небо. Просыпаюсь уже в темноте и слышу резкий, высокий голос капитана Правоторова. Никогда я его таким не знал.

Вылезаю из своего укрытия, вижу наших пацанов: Рудмана и Хрусталева. Они стоят, опустив головы, а капитан кричит на старшину, который доставляет нам продукты:

— Я же приказал, где им находиться!

Старшина виновато движет из стороны в сторону свое большое тело и негромко оправдывается:

— Да говорю им, нельзя, мол, передовая там. А они все свое: пойдём и пойдём. Мол, консервы только поможем нести...

Как и откуда, не знаю, но нам уже известно, что капитан Правоторов в начале войны потерял семью: жену и двоих детей. Служил он в Западной Белоруссии, и снаряд попал в дом, где жили семьи комсостава...

Пацаны со старшиной уходят. Однако сегодня что-то не то. Каких-то два чужих офицера, пехотный и артиллерист, появились у нас. Они о чем-то говорят в подвале, и капитан уходит с ними. Нам приказано покуда не лезть в окопы, отдыхать.

Часа через полтора наш старшина возвращается с солдатом. С ними большая, на двадцать литров, желтая канистра. Даныковец смотрит долгим взглядом и почему-то тихо говорит:

— Так, дело будет!

Потом приходит капитан. В неясном свете спрятанной в тучах луны нам раздают по сто граммов разведенного спирта — в котелки, кружки, какие-то черепки, что у кого есть.

— Выпьем, Боря,— все так же тихо говорит Даньковец. Даже жлобский акцент у него куда-то пропал. Мне нехорошо от того, что обидел его. Просто раздражает, что он все хочет от чего-то укрыть меня, заботится, как будто я маленький. Но я ничего ему не говорю, молча пью.

Даньковец уходит в подвал, к капитану. Потом все они выходят оттуда вместе с Ченцовым и Хайленко. Тихо, по одному, по два собирается здесь вся рота. Мы сидим на корточках, тесно прижавшись друг к другу от дождя и холодного ветра, с оружием в руках. Первая в эту ночь немецкая ракета повисает над болотом, и неживой свет ее ложится на наши лица.

Даньковец делает шаг вперед, тоже приседает на корточки и говорит своим хриплым голосом:

— Значит, так будем делать...

Гришка уверенно переступает порог, и я слышу спокойные женские голоса. Заходу следом, молча передаю Гришке сверток с колбасой от сухого пайка, и он отдает его Вере Матвеевне. Та с подмазанными губами, в свободной кофте, и сейчас совсем другая, чем на улице: смеется, как-то мягко касается Гришкиных рук, глядя на него снизу вверх. Она маленькая, широкая, с короткими ногами, а Гришка здоровый парень, под потолок.

Но я на них смотрю так только. А непрямым взглядом возле окна все время вижу Тамару Николаевну. Она сидит на венском стуле в сером, застегнутом под шею платье, и смотрит пластинки.

— Вот, Томочка, знакомься, Гришин приятель,— говорит Вера Матвеевна, как будто все получилось случайно, само собой.

Тамара Николаевна прямо смотрит на меня своими чуть удивленными глазами.

— Мы уже, кажется, знакомы.

— Да, по танцам,— говорю я, подхожу к ней и подаю руку.

Рука у нее маленькая, крепкая, полнеющая к локтю. И вся она в этом платье тоненькая. Вниз, где у нее ноги, я не смотрю.

Не знаю, о чем говорить, и почему-то все время сдерживаю дыхание. Опять она смотрит на меня, но уже не прямо, а как-то быстро, из-за плеча. Так она делает, когда поправляет прическу на танцах. И теперь ее рука каким-то особенным движением поднимается к светлым, крупно уложенным волосам. Платье без рукавов, и я вижу округлость локтя с другой стороны, куда не попадает солнце. Там рука у нее белая. Тамара Николаевна спокойно укладывает, подворачивает тяжелые светлые волосы,



как бы не видя моего взгляда. Гришка с Верой Матвеевной сидят в стороне и говорят о чем-то своем, не обращая на нас внимания.

— Давайте потанцуем,— предлагает Тамара Николаевна.

Я молча киваю головой и все смотрю на нее. Она показывает мне пластинку, я опять согласно киваю. Потом, когда уже играет патефон, я крепко беру ее за руку, привлекаю к себе, и снова удивляюсь, какая она тоненькая в талии и в маленькой крепкой спине. И лишь когда начинаю танцевать, чувствую тяжесть тела ее там, внизу. Стараюсь не придвигаться вплотную и краснею. Ни с кем еще мне не было так легко танцевать, ноги ее уступают малейшему моему желанию. Не физически, а как-то совсем по-другому ощущаю я эту волнующую тяжесть. Ведь... ведь она знает, зачем я здесь!

Тамара Николаевна в упор смотрит на меня, и снова вижу в ее взгляде удивление и еще что-то, серьезное, без улыбки. У нее всегда такие глаза, как... как у учительницы. Начинаю сбиваться, и она подсказывает мне правильные движения. При этом ноги ее слегка ударяют меня всей своей тяжестью, а локоть мой касается ее груди. Я совсем теряюсь и опускаю руки.

— Успеете еще потанцевать, давайте ужинать.

Это говорит Вера Матвеевна, и я постепенно прихожу в себя. С Тамарой Николаевной мы садимся рядом. На столе жареная картошка, винегрет, соленые баклажаны с начинкой и как-то наискось нарезанная колбаса. Я даже не узнал сразу, что это наша, из сухого пайка. Лишь в детстве, кажется, видел я, как резали так колбасу. Мы едим ее иначе. И еще посреди стола графин с чем-то желтым. «Там все будет!» — сказал мне Гришка, когда шли сюда.

— Это тутовый, у соседа Амбарцума взяла! — говорит Вера Матвеевна, обращаясь к Гришке, и наливает в граненые стаканы самогон.

Пью легко, лишь чувствую горячую сухость во рту и какой-то запах прелых листьев. Тамара Николаевна тоже пьет спокойно, до конца, без всяких разговоров, совсем не так, как девочки пили наливку. И Вера Матвеевна пьет с серьезностью на лице.

Тамара Николаевна ставит свой стакан, и вдруг замечаю на пальце у нее кольцо. Это меня безмерно удивляет. Мои родители и те, кто приходил в наш дом, нехорошо усмехались, когда речь заходила о ком-то, носившем серьги и кольца. Кажется, это означает, что вроде муж и жена...

Но я смотрю уже мимо руки с кольцом. Тамара Николаевна сидит, сведя ноги в туфлях-лодочках, узкое платье у нее стянулось кверху, и я вижу рядом с моей ногой крупное ее колено. Оно белеет там, где натянутый край платья, и еле помещаясь в нем, продолжается ясно видимым под легкой материей бугром. Гришка разливает еще самогон. Тамара Николаевна сидит ровно,

все с той же строгостью в глазах. Я пью и уже никак не могу оторвать глаз от ее ног. Только теперь я вижу, что они красивые: ровные, смуглые и золотые одновременно, и будто светятся под платьем. Тамара Николевна словно не видит моего взгляда.

Теперь, когда Гришка снова завел патефон, я уже свободно беру ее за обе руки, поднимаю со стула. И танцую, не боясь прижимать ее к себе, с победной радостью ощущаю тяжесть ее ног, не обращая на музыку внимания. Просто держу ее двумя руками и вожу по комнате, прямо глядя ей в глаза. Я знаю, что мне это можно. Для этого она пришла сюда, и я кладу руку туда, куда хочу. А она уже прямо не смотрит, а куда-то в пол, за мое плечо — то в одну, то в другую сторону. Так мы оказываемся во дворе.

— Подожди... пойдём ко мне, — говорит она негромко, прижимая к себе мои руки и не давая им свободы. Не выпуская ее, иду с ней рядом через двор в сад, потом через другой двор, оступаясь с тропинки, перешагивая арыки. За домом под деревьями там площадка и что-то на ней постелено. Летом тут спят во дворе.

— Здесь... подожди! — шепчет она, с силой отводит мои руки и уходит в дом. Стою, крепко взявшись за ветку дерева, и дышу глубоко, во всю грудь. Всякий раз поворачиваю голову к двери, куда она ушла, и снова смотрю в лунную чистоту сада. Что же она так долго?..

Я даже не слышал ее шагов. Она приносит подушки, одеяло, что-то еще, и уже не застегнутое под шею платье на ней, а другое, с белыми пуговицами.

— Подожди, я постелю, — говорит она и снова отводит мои руки. Но я не ожидаюсь конца и тяну ее к себе.

— Подожди... Вот сумасшедший!

Пальцы ее расстегивают пуговички на моей гимнастерке. Я понимаю и быстро срываю все с себя.

— Подожди...

Она шепчет это, уже обхватив меня руками и с бесстыдной простотой помогая мне. Я чувствую сразу всю невероятную и прекрасную зрелость ее тела. И вдруг оторопело удивляюсь ее беспокойствию. Я никогда не предполагал такого и лишь теперь понимаю, какая она сильная. Увлекаемый этой безудержной силой, я лечу куда-то в беспредельность, уже не жалея и не имея возможности остановиться...

Лицо у меня почему-то мокрое, ее руки глядят меня, успокаивая. лежу какой-то пустой и хорошо уже ощущаю обычный мир вокруг: сад, деревья, арыки. Отвожу руку и нахожу рядом комочек земли, растираю его между пальцами. Земля сухая и просыпается без остатка.

Постепенно все, что произошло, опять возвращается ко мне.

Тамара Николаевна лежит тихо, и я вдруг снова чувствую волнующую тяжесть ее ноги. Приподнимаюсь на локте, но не смотрю туда. Взгляд мой не отрывается от ее лица. Оно сейчас совсем незнакомое мне, лицо девочки, кем-то обиженной. Рука моя касается ее щеки, и я начинаю целовать это милое лицо, глаза, темные припухлые губы. Даже волосы ее кажутся сейчас другими, темными. Не замечая как, я сам уже нахожу все, и опять покоряюсь высшей, не имеющей разгадки силе...

Еще и еще раз все происходит. «Ты будешь хорошим мужчиной!» — шепчет она мне. Я не понимаю этого. Значит, есть во всем какой-то смысл?..

Приходит Вера Матвеевна в чем-то светлом. Она останавливается среди деревьев, тихо зовет. За ней видится Гришка. Луна куда-то ушла, и серая чистота рассвета заполняет пространство между деревьями. Я быстро одеваюсь. Тамара Николаевна ждет уже в платье, но все остальное у нее лежит рядом. Я обнимаю ее и чувствую одну лишь легкую материю, разделяющую нас. Ничего больше там нет. Все возникает во мне с новой, какой-то неистовой силой. Но она уверенно отстраняет мои руки:

— Иди, пора.

Гришка стоит у дувала с нашим оружием. Беру у него винтовку, еще раз оборачиваюсь. Платье ее светлеет в темноте сада, но лица не видно...

В следующую ночь я опять у нее. Прихожу в сумерках, уже не заходя к Вере Матвеевне. Возле калитки вижу какую-то постороннюю женщину с твердым подбородком и уложенными на голове косами. Она не смотрит на меня, и губы у нее поджаты.

— А, это Нюска,— говорит Тамара Николаевна, когда я сообщаю ей об этом.— Половина дома ее. Тоже учительница. Все женихов ждет.

Ночью нащупываю кольцо на ее пальце и спрашиваю, зачем оно.

— Это от мужа, еще до войны,— говорит она каким-то отсутствующим голосом.— Мы не очень хорошо жили. Разошлись, можно сказать.

— А теперь? — настаиваю я.

Она не отвечает и, повернувшись, кладет руку мне на грудь. Но потом, в продолжение ночи, я опять спрашиваю о том же. Мне известно, что уже два года она живет в Красноармейске.

— Не надо об этом! — просит она.

Луна, огромная и совсем круглая, стоит прямо над нами, деревья будто расступились в стороны. Мы лежим оба раздетые, и какая-то странная уверенность во мне, что мы совсем одни на земле. Я поднимаю ладонь, закрывая ее от лунного света. Но тени почему-то нет. Тело ее продолжает светиться. Тогда я опускаю на нее руку и чувствую этот непроходящий свет. Он

струится по моей руке к локтю, поднимается выше, переполняет меня всего, но мне мало. Весь я жажду этого света вплотную до боли, до неистовства, и он щедро изливается в меня... Луна отошла куда-то в сторону, и опять явившаяся неведомо откуда другая женщина, а не Тамара Николаевна, лежит запрокинув голову и слабо положив на меня руку...

Когда утром она провожает меня, мне кажется, что кто-то смотрит на нас с веранды другой половины дома. Тамара Николаевна безразлично машет рукой и приникает ко мне с долгим благодарным поцелуем.

Начинаются полеты, но я не замечаю этого. Отлетав свое, я валюсь куда-нибудь под крыло и ничего больше не слышу. А вечером, смыв с себя пыль в арыке, не передеваю комбинезон и исчезаю до утра. Машину нашу потом поджидаю у штаба, где она притормаживает, и прыгаю через высокий борт в кузов с тремя-четырьмя такими же, как и я.

Два раза в зоне допускаю накладки. Старший лейтенант Чистяков смотрит на меня с удивлением. Когда едем как-то назад в командирском «Додже», он кладет мне руку на плечо:

— Что это ты, Тираспольский?

Отвожу глаза и молчу. Командир отряда усмехается понимающе и грубо говорит:

— Все... — ветер!

А я уже иду в садах, где сумерки красят все в одинаковый цвет. Только яблоки делаются все белее в темнеющих ветках, и я быстро перехожу в другой мир. Соседка встречается мне у калитки, у нее привычно поджаты губы. Вот уже две недели происходит это. Я говорю ей «здравствуйте!» и прохожу мимо. Мне кажется, она пугается всякий раз моего голоса...

Мы лежим с Тамарой Николаевной и смотрим на луну. Она меньше и совсем уже не круглая. Свет теперь от нее какой-то золотистый. Слышу незнакомые мне звуки и поворачиваю голову. Тамара Николаевна плачет, зажимая рукой рот. Слезы скатываются по щеке, и желтое сияние в них от ущербной луны. Я ничего не понимаю, что-то спрашиваю у нее, но она шепчет всякие слова при этом. Сегодня она долго не разжимает рук...

И опять я вижу у нее слезы к концу ночи. Она целует меня, отстраняет от себя, смотрит в лицо, снова целует и все говорит, говорит эти слова. А когда я ухожу, она приникает вся ко мне и стоит, прижавшись к моей груди, пока не становится совсем светло...

Вечером я иду все той же дорогой, и ищу луну глазами. Ее нет на небе, лишь где-то за деревьями слабо виднеется желтоватый свет. У калитки стоит соседка, но ведет она себя не так, как всегда. Она стоит прямо на моем пути.

— Вы к кому? — спрашивает она каким-то торжествующим голосом. И смотрит она теперь прямо на меня. Я останавливаюсь, не понимая.

— Вы разве не знаете?.. Тамара Николаевна уехала.

Никак не воспринимаю ее слова. Хочу пройти в калитку. Она уступает мне дорогу, но, сделав два шага, я останавливаюсь, смотрю на нее.

— Вы зайдите... выпейте чай,— говорит она, и глаза ее под навороченными на голове косами сияют.

Господи, да она... она же сама это хочет. Даже плечи у меня передергиваются. Повернувшись, ухажу молча. Иду в садах, дувалах, неведомо где. И все мне не верится. Не сходится что-то в моем понимании.

Да, уже совсем темно. Луны нет и ничего не видно. Пытаюсь разобраться, где я нахожусь. Слышу железный лягз, выхожу к железной дороге на самом краю станции. С проволочным скрипом поднимается семафор. Две светлых линии рельсов убегают во тьму ущелья. Как-то бездумно отмечаю, что это и есть дорога на Красноармейск.

Иду назад в город по шоссе, мимо штаба, подхожу к клубу. Из открытых высоких дверей слышу голос Феди Тархова:

На плечах уж потерлась шинель,  
В поле доты врага и метель...

Сейчас там начнутся танцы. Смотрю из темноты некоторое время, поворачиваюсь и иду прочь. Где-то к ночи, сам не знаю как, оказываюсь у той же калитки. Она закрыта, но я захожу с задней стороны, смотрю на окна ее половины дома. Ставни закрыты снаружи. И на другой половине уже нет света. К тому месту между деревьями не подхожу, смотрю издали. Тусклая полоска луны висит где-то на краю неба. При ее угасающем свете вижу голую пустоту...

Днем в обед на разлетке Гришка садится со мной рядом. Вокруг никого нет, и он говорит:

— Она же солидная женщина. Муж у нее в Красноармейске. Смотрю на него, не понимая.

— Инженер-майор он, на резервных складах. Два года, как она с ним живет.

— До войны у нее был муж,— говорю ему глухо.

— А это уже другой,— Гришка помолчал.— Она Вере сказал, что впервые это у тебя...

Смотрю искоса. Нет, Гришка говорит понимающе, без тени чего-нибудь такого. Другому бы я и въехал.

Вечером никуда не хожу, даже не моюсь после полетов. Лишь утром падаю в арык. Дальше, у узбекского дома, купается Ларионова. Она опять живет с Каретниковым. Видно, как она

выходит из воды, становится за дувал и выжимает там купальник.

Проходит еще неделя. Два раза я поругался с нашим инструктором Кравченко. Маленький, тихий, он лишь беспомощно моргает ресницами. Мучнику, который подлез ко мне с каким-то своим умничаньем, даю по харе. И другим я не отвечаю, когда о чем-нибудь спрашивают у меня.

Кругом не то. На взлете резко толкаю ручку от себя, и машина тарахтит по земле, пока не вспоминаю, что следует добрать, отпустить ее. Сажусь с козлами. В зоне отчего-то все дергается у меня, и вдруг вижу, что ручку зажимаю в кулаке. «Как бабу в подворотне!» — ругается в таких случаях Чистяков.

Ларионова все купается, и наблюдаю потом через дувал голые ее плечи со светлым следом от купальника. Все, что она скрывает за дувалом, мне известно. Ночью не сплю совсем, а только днем, на разлетке... Всякие образы являются, когда лежу в плотной безлунной тьме, и руки, все тело мое не могут расслабиться. Мелькает в мыслях даже соседка Нюська с пятью килограммами кос, накрученных на голове. Ведь так же она смотрела, когда звала меня пить чай...

Больше я уже не могу. В один из вечером стираю и подшиваю еще влажный подворотничок, иду в город. Долго стою в темноте, упершись спиной в знакомую яблоню, смотрю на дом. Там постепенно все успокаивается, лишь в крайнем окне за занавеской знакомая легкая тень. Она то пропадает, то опять появляется. Когда делается совсем тихо, подходу, осторожно стучу в это окно.

— Кто... кто это?

Надька отодвигает занавеску, смотрит с испугом. Она глубоко дышит, и все то же знакомое мне платье натягивается всякий раз у нее на груди. Делаю ей знак, и она быстро кивает головой.

Через минуту в окне гаснет свет, и Надька выходит ко мне.

— Что ты сегодня... такой?

Как-то странно приоткрыв рот, смотрит она на меня. Я беру ее за локоть, веду в темноту. Надька что-то быстро рассказывает мне об Ирке, что та и в шестом, и в седьмом классе поднимала руку, жаловалась на других и никогда никому не подсказывала. Очень уж она эгоистка. К чему мне это?

И опять, когда я ее ставлю к яблоне, Надька продолжает быстро-быстро говорить о чем-то, как бы желая отдалить то, что должно случиться. Лишь когда я переступаю все, что было раньше, она вдруг ахает и начинает шептать: «Вот... мальчишки только так, силой!» Поднятые руки ее беспомощно лежат у меня на погонах. Я все-все знаю у нее. И тут вдруг, когда ничего не остается уже, выше ее колена чувствую рубец на гладкой теплой коже. Я медленно веду по нему пальцем и понимаю, что

здесь держалась резинка, самая простая, которая только может быть. И вдруг я все оставляю, снимаю ее руки с погонов, поправляю все на ней и начинаю порывисто гладить ее спину, детские худенькие плечи, голову, как бы защищая от чего-то. Потом веду ее обратно, вталкиваю в дом и ухожу...

У меня такое состояние, что хочется биться головой о дерево. Чувствую, как горит мое лицо. Зачем шел я к Надьке? Я до того омерзительен себе, что ясно представляю, как приду сейчас в эскадрилью, возьму у дежурного карнача<sup>1</sup> ТТ и все закончу. Вижу даже потертость кожи на кобуре, в которой лежит этот ТТ. Сам не раз бывал карначом. А то можно и просто из винтаря. Когда-то, еще в прошлой моей службе, так сделал один старшина. Что-то случилось непредвиденное в его жизни.

Но я прихожу, раздеваюсь, опускаю голову на скрипнувшую под наволочкой солому и засыпаю. Утром встаю со всеми, прыгаю в арык и не смотрю в сторону узбекского дома. На разлетке спокойно съедаю стартовый завтрак.

Летаем мы в зоне сейчас по целому часу. Моя очередь четвертая, как раз заправляют машину.

Пристегиваю парашют, опускаю очки. Взлетаю ровно, со второго разворота ухожу в зону. Опять закрепление пройденного, и я точно, одну за другой повторяю задачи. Все мое внимание занято этим. Но когда, сделав последний переворот через крыло, отворачиваю машину от ориентира, вижу заползающий в ущелье поезд. Холмы уходят все дальше к синей стене гор с белыми вершинами, делаются выше, темней. Там Красноармейск. Мы несколько раз летали туда — по маршруту и для отработки посадки в сложных условиях. Тут минут сорок лету. Устанавливаю обороты и ни о чем больше не думаю...

В третьей эскадрилье тоже летают. Покачав крыльями, по всем правилам строю коробочку и иду на посадку. У них тут постоянный боковик, так что приходится и ручкой, и ногой давить ветер. Сразу от аэродрома здесь начинается виноградник, у зеленой кромки его вижу людей. Рулю прямо к линейке. Кто-то помогает мне развернуться, ухватившись за плоскость. Чуть добавляю обороты, выключаю зажигание, отстегиваю парашют и прыгиваю на землю. Наши штабные и инструкторы часто сюда летают и потому никто особенно не спешит ко мне. Сам иду к винограднику, где сидят свободные от полетов люди. Здравуюсь, пожимаю руки знакомым.

— Что, в гости? — спрашивает лейтенант Найанов, который был раньше в нашей эскадрилье.

— Вот, прилетел, — отвечаю я неопределенно.

Кто-то идет от командира эскадрильи, спрашивает, в чем

---

<sup>1</sup> Карнач — начальник караула.

дело. Пока что я ухожу в виноградник и уже не возвращаюсь оттуда...

Мне показали возле школы, где она живет. Увидев меня, Тамара Николаевна поднимает руку к груди:

— Ты, Борис?.. Сумасшедший!

Она все сразу, кажется, поняла. Я подхожу, резко беру ее за руку. Она не сопротивляется, но потом вдруг как-то быстро спохватившись, тянет меня из дома: «Идем... идем!» Замечаю перекинутый через спинку стула китель с бриджами, хромовые сапоги у вешалки...

Выхожу, и она выходит тут же, почти следом за мной. Лишь платье на ней другое. Только один раз она быстро посмотрела через плечо. Ни слова не говорим мы друг другу, идем в боковую улицу и оттуда к виноградникам. Сухой сильный ветер бьет сбоку, заставляя ее не отрывать руки от платья. Обычно уложенные волосы ее растрепались...

Я груб с ней и делаю все, хоть видны еще над зелеными кустами крыши домов. Комбинезон мой раздевается через плечи, ветер с солнцем обжигают меня. Потом мы идем дальше, и одни только бесконечные ряды виноградника как бы медленно-медленно вращаются вокруг нас. Темные, крупные листья прижаты ветром. Тяжелые гроздья лежат под ними, будто скрытые бархатной одеждой. Мы лежим в тени от кустов, и я, привалившись головой к сухой крепкой лозе, бездумно ем сладкие, пахнущие пылью ягоды. Кто-то в халате и тюбетейке идет вдоль рядов, останавливается невдалеке, но не подходит, идет дальше своей дорогой.

Солнце не светит уже прямо, лишь верхушки кустов еще ярко зеленеют под его косыми лучами. Потом и они меркнут, а на небе проступают звезды. Мы идем в черном сиянии ночи, на ощупь, по листьям выбирая направление. Все слышится где-то одинокий мотор, но ветер переносит звук с места на место.

Однако выходим прямо к аэродрому. Я оставляю Тамару Николаевну, иду к белому домику с лампочкой на столбе, где их караулка. Фатеев, мой знакомый, с повязкой на руке, курит на скамеечке у входа.

— Тираспольский! — в голосе его тревога. — Где ты пропадал?

— А где машина? — спрашиваю я, не отвечая на его вопрос, и смотрю на тускло освещенную стоянку, пытаюсь что-то там разглядеть.

— Так ты не знаешь?.. Чистяков ваш прилетел и Кравченко. Они и машину угнали.

— Так... Ну, бывай! — говорю ему и иду назад, к темной полосе винограда.



— Чего, может, нужно? — кричит мне Фатеев.— Они сказали, как явишься ты, чтобы сразу ехал...

Снова идем мы с ней через бесконечный виноградник и приходим, наконец, туда, откуда вошли в него. Наверно, уже глубокая ночь. Ни в одном доме не светятся окна. Я хочу проводить Тамару Николаевну, но она отрицательно машет головой.

Тогда мы идем к станции. Здесь ветер сильнее. Вырываясь из Тамерлановых ворот, он дует нам прямо в лицо. Я прохожу на станцию. Там стоит эшелон: товарные вагоны и между ними открытые площадки с зачехленными орудиями. Их по два на каждой площадке, стволами в разные стороны. Солдаты ходят с котелками, курят, большинство их почему-то сержанты, но в офицерской форме. Понимаю, что досрочный выпуск. Наверно, из Харьковского артиллерийского. Паровоза еще нет у них, и я иду назад, где водонапорная башня. Там между деревьями стоит Тамара Николаевна...

В последний раз чувствую тяжесть ее ног. Оба мы знаем это. Глаза у нее сухие, и вся она какая-то горячая. Ветер рвет и треплет ее платье и мой комбинезон. Сухая, остывающая горечь во рту.

— Как же теперь ты? — спрашивает она, когда все кончается.

Я целую ей руки, а она гладит мои плечи. Все это уже на расстоянии, не прижимаясь друг к другу. И когда иду я к эшелону, чувство освобождения приходит ко мне.

Паровоз уже стоит под парами. Закидываю набок планшет и лезу на площадку.

— Эй, летчик, едешь куда? — спрашивает меня сержант-артиллерист.

— Мне недалеко, — говорю.

— Военная, значит, тайна, — шутит кто-то.

Молчу, сижу, придерживаясь руками, на борту площадки. Над головой у меня под углом в небо орудийный ствол. В вагонах, видимо, мало людей, все здесь. Состав вдруг тихо, совсем незаметно трогается, и сразу почему-то стихает ветер. Я встаю и молча смотрю в сторону водонапорной башни. Там, у деревьев, различаю знакомую фигуру. Тамара Николаевна тоже стоит неподвижно и не машет рукой. Поезд медленно втягивается в черную тень горы, и ничего больше не видно...

Сажусь снова на плотный деревянный борт. Поезд все больше набирает скорость. Овалы гор выступают то слева, то справа, сдвигаются все плотнее. Звездное небо между ними сияет черной глубокой рекой.

Артиллеристы поют песню. Я не знаю ее и начинаю слушать,

пораженный какой-то незримой, таинственной связью ее с той жизнью, в которой я живу.

Чуть горит зари полоска узкая,  
Золотая тихая струя;  
Ой, ты, мать-земля, равнина русская,  
Дорогая родина моя.

Никакого отношения как будто не имеют эти горы, сухие волны песка за ними, и другие, еще более высокие горы с белыми вершинами, к тому, о чем тут поется. И я ведь тоже никогда не видел России, да и сам я не русский. Но вдруг ясно, пронзительно ощущаю, что все это связано: моя эскадрилья, колхозники, собирающие дыни, Надька, Ирка, Тамара Николаевна, все-все, что было и будет со мной. И эти вот артиллеристы, которых не вижу в темноте, близкие мне люди, и ближе ничего быть не может. Сердце мое сжимается, потому что непонятно откуда, но знаю я эти слова.

В серебре деревья, как хрустальные...—

поют задумчивыми голосами артиллеристы в глубине Тамерлановых гор. А дальше все уже вовсе близко.

Но тревожен зимний их узор,  
И бегут дороги дальние  
В голубой заснеженный простор.

Голоса твердеют, наливаются слезами. И вдруг я слышу звон колоколов с того, взорванного собора.

Никому не взять твои сокровища,  
На последний бой благослови.  
На дорогах черные чудовища  
Захлебнутся в собственной крови...

Под утро поезд тихо, замедляя ход, выбирается из холмов. Артиллеристы спят, завернувшись в шинели, положив головы к орудиным колесам. Осторожно переступаю через них, пробираясь к краю площадки. Лица у спящих спокойные, утренние тени на них. Задержавшись у края, смотрю еще некоторое время...

Состав еще не остановился, но я неслышно спрыгиваю, иду по пустой станции. Потом садами дохожу до арыка, сворачиваю по нему влево. Наши уже умываются, собираются к машинам...

Комэска здесь. Он не смотрит в мою сторону, нервно подергивает пояс. Потом приезжает Чистяков, хмуро бросает, проходя:

— Долетался... артист!

Это совсем плохо, что он не ругается. Ребята стоят молчаливой стеной возле меня. Гришка как-то все набирает воздух

в грудь и вздыхает. А я почему-то совершенно спокоен. Мне легко и просто.

Меня без сопровождения посылают в штаб. Прихожу к капитану Горбунову, и тот определяет меня на губу. Там теперь Кудрявцев, а в обед привозят еще Шурку Бочкова. На них уже имеется приказ.

Еще утром меня вызывают на допрос. Начальник школы сидит с каким-то черным лицом и ни о чем не спрашивает. Зато подполковник Щербатов все домогается своим высоким голосом:

— Так почему вы улетели в другую эскадрилью, курсант Тираспольский?

Я молчу, стою, как каменный.

— Может быть, с управлением что-нибудь, или с курса сбился,— подсказывает маленький капитан Горбунов.— Бывает так, вдруг аэродром человек теряет...

— Ну да, училище вон кончает, и среди бела дня аэродром потерял! — с мелким смешком говорит Щербатов, показывая желтые зубы. И вдруг лицо его выдвигается вперед, делается каким-то острым.— В трибунал, нечего тут антимионии разводять!

Начальник школы будто не слышит. Капитан Горбунов старательно разглаживает ладонями брюки на коленях. А Щербатов снова пристает ко мне:

— Не хотите говорить, Тираспольский? Я знаю, в чем тут дело. У нас есть сведения...

Когда выхожу из штаба, замечаю в углу двора сержанта Щербатова. Его рожа как-то паскудно улыбается, и сразу пропадает куда-то. Чего он-то здесь вертится?

Приезжают на «виллисе» наш комэска с командиром отряда, идут к полковнику. К вечеру уже девчонки из штаба сообщают мне обо всем.

Комэска с Чистяковым требовали одной губы. Так же и капитан Горбунов был на их стороне. Полковник Бабаков тоже бы согласился, но Щербатов припомнил тут и Каретникова с Ларионовой, и инструктора ПДС Тоньку Василевскую. Та рыжая дурочка, еще несовершеннолетняя, только аэроклуб закончила, наделала платков из вытяжных парашютов резерва и раздарила их курсантам с вышитыми инициалами. Комэска не дал ее судить, а лишь ускал назад в Ташкент, откуда она приехала. И это Щербатов навесил эскадрилье. Однако, как ни стоял он на трибунале, решено меня за недисциплинированность провести приказом только на месяц штрафной...

Четыре дня еще хожу на танцы с Ирккой и Надькой. В карауле свои, и тут сам Щербатов ничего не может сделать. Днем тоже ошиваюсь в старом городе, в садах. Там опять встречаю сына подполковника Щербатова. Он почему-то прячется от меня.

Подолгу сижу у мельницы смотрю, как мутная вода тихо вытекает из-под дувала. Мельница не работает. Когда иду мимо базарчика в конце сквера, то вижу пожилую женщину с тонким лицом. Она продает шелковицу стаканами — здесь есть и какая-то поздняя, осенняя шелковица. Рядом с ней тихо сидят на земле трое детей: девочка и два мальчика. Я здороваюсь с этой женщиной. Она узнает меня и кивает головой, как знакомому.

На почте пишу письма. Выхожу на улицу, иду вдоль палисадников. Как будто и не было прошедшего месяца. Лишь листья на деревьях запылелись за лето. Паутина летает в воздухе, липнет к лицу...

Только к вечеру, когда прихожу в эскадрилью, что-то подкатывается к горлу. А еще через день я, Кудрявцев и Шурка Бочков сидим в поезде без погон и звездочек на пилотках. С нами Со, Валька Титов и Мансуров с Мучником. Двое тюремных с нами, чтобы довести до Водохранилища. Поезд втягивается в холмы, они сдвигаются, растут, все уже становится полоска черного звездного неба над головой, и я еду той же дорогой, что неделю назад, только в обратную сторону...

Желто полыхнув у самой земли, гаснет ракета. Это у них последняя, судя по времени. Полная тишина стоит в мире, даже дождь не шуршит больше в штабелях старого торфа. В этот предутренний час мы всегда уползаем к себе, оставляя только секреты. Но сегодня все мы здесь. Капитан и оба лейтенанта лежат где-то за нами. Часа полтора назад Даньковец, Никитин и еще восемь человек уползли через проход в минном поле, куда ходили мы за «языком». Даньковец потом вернулся и лежит теперь недалеко от меня.

Немцы опять беспокоились всю ночь, светили ракетами и били из пулеметов, не показывая головы. Два раза садили они в глубину болота мины откуда-то с горы. Все было, как в обычную «белую ночь», только мы на этот раз не стреляем... Сейчас они вовсе успокоились, и черный предутренний туман стоит над их окопами. За ним темнеет косогор, где у них доты. Там тоже тихо.

Мы лежим уже второй час совсем спокойно, ждем утра. От водки или от горячей мясной каши даже жарко. Шинель я, как и другие, держу накинутой на спину. Шмайссер бросил и привычно чувствую карабин — боком и локтем. За поясом — сзади, у поясицы, у меня гранаты. Их длинные деревянные ручки и впрямь удобны для такого дела. Еще нож у меня в сапоге, тоже немецкий. Время идет так, как нужно: ждать я научился.

Рассвет не наступает, но небо делается выше. У немцев, наверно, спят. И нигде, ни вправо, ни влево от нас

не слышно какого-нибудь дальнего грома. Воздух густеет, становится совсем черным. И тут что-то непонятное толкает меня в плечи. Ни шороха, ни звука не доносится ниоткуда, но я знаю, что все сейчас это почувствовали. Тело мое напрягается. Проходит еще минута, и грубый, хриплый голос, хорошо знакомый мне, безмятежно запекает:

Как на Ришельев-ской да у-гол Дериба-совской...

Это песня с Молдаванки, и Даньковец поет ее, неспешно выговаривая слова, как где-то за хорошим столом, выставленным под акацию на узкий, мощный булыжником двор. Ее пели всегда без женщин, пьяно перемигиваясь, грузчики в порту, матросы с дубков, старые уже биндюжники с воловьими глазами. Пели с лихой какой-то, добродушной ухмылкой. Тут, ночью, на этом болоте, блатная песня действует неожиданно. Чувствую, как внутри у меня отпускает что-то, тянувшее мне душу. Все на свете делается проще, и жизнь моя не имеет большой ценности. Радостная, злая кровь медленно приливает к голове.

— В восемь часов вечера был совершен налет,— поет Даньковец, и мы начинаем в сто двадцать голосов: — Гу-га, гу-га, гу-га...

Немцы молчат. Только одинокая очередь срывается у них и тут же кончается. Взволнованные голоса доносятся до нас, то ли команды, то ли еще что-то.

У ка-акой-то бабушки сто-оле-етней  
Гу-га, гу-га, гу-га, гу-га,  
Четверо налетчиков похитили честь...

Шум у немцев увеличивается — он слышится теперь здесь, на болоте, и где-то дальше у косогора. А мы, приподнявшись на локтях, в полный голос говорим в их сторону: гу-га, гу-га, гу-га, гу-га.

Чиркает одна, вторая ракеты, но падают как-то беспорядочно, в стороне от нас. И мертвый огонь только мешает увидеть что-то в серой мгле рассвета.

Лаца-дрица, бабушка здорова  
Да гу-га, гу-га, гу-га, гу-га.

Все не стреляют немцы, и мы знаем, что руки у них дрожат.

Лаца-дрица, кушает компат...

Теперь и там, в глубине немецких позиций, слышится медленное, неотвратимое:

Гу-га, гу-га...

Кажется, узнаю голос Никитина. И за потонувшим орудием отзываются хриплые голоса, как будто болото выдыхает их. Видно уже, как приподнимаются, перебегают немцы от этих

голосов в одну, потом в другую сторону. Слышны одиночные выстрелы. А мы все лежим.

Гу-га, гу-га, гу-га, гу-га.  
И мечтает снова...

Теперь мы встаем, все сразу, сбрасываем шинели с плеч. Впереди Даньковец, а мы за ним, плотной массой, стараюсь не наступать в сторону. Иванов идет сразу за мной, несет на плече пулемет. Торф мягко поддается под сапогами. Мы не бежим, мы идем, и уже без песни, в такт шагу, кричим: «Гу-га, гу-га, гу-га!»

Гремят, где-то рядом взрывы. Это наши сунулись в мины. И тут немцы начинают стрелять, только непонятно куда. Мы уже здесь, среди них, и вижу, как целая толпа их, человек десять, бежит куда-то мимо нас, перескакивая свои окопы. Иванов втыкает сошки своего пулемета в торфяной бугор, ложится и начинает бить в упор. Немцы остановились, словно наткнулись на стену. Я почему-то не ложусь и стреляю с руки.

— Гу-га, гу-га! — кричу я.

Рядом тоже кричат и стреляют куда-то вниз, в окопы, в стороны, очередями из автоматов. Потом мы идем вперед, спотыкаясь, падая и выбираясь из воронок. Где-то тут, около нас, гулко стучит немецкий пулемет, но пули к нам не летят.

— Гранаты! — кричит чей-то голос.

Я бросаю гранату под штабель торфа, кто-то бросает еще одну. Они рвутся, выбрасывая рыжее пламя. Но пулемет стучит безостановочно. Иду туда напрямик, вижу ход сообщения, но не прыгаю вниз, подхожу сверху.

От удивления я даже опускаю карабин. Укрытое бревнами и землей пулеметное гнездо аккуратно присыпано торфом. И деревянная скамеечка там есть. На ней сидит немец с какими-то вытаращенными глазами и весь содрогается вместе с пулеметом. Поворачиваю голову и смотрю, куда же он стреляет. Вижу, что наступил уже день. Изрытое воронками торфяное поле с развалинами на краю кажется мне знакомым. Ну да, это же наши позиции. Только зачем он туда стреляет? Там ведь никого нет...

Неожиданно вижу другого немца, с белым лицом и без каски. У него в руке пулеметная лента, и он смотрит на меня не мигая. Сажу в него из карабина, а он все стоит, лишь светлые волосы чуть шевелятся от ветра. Только теперь соображаю, что карабин не заряжен. У меня полные карманы обойм, но я лезу рукой за пояс, достаю гранату. Делаю шаг назад, потом второй, нащупываю выступ.

— Гу-га,— говорю я, бросаю гранату и падаю зачем-то не вперед, а на спину. Ноги мои подбрасывает и сразу тепло

становится им. Встаю и смотрю туда. Там еще сыплется торф, и появляется тот же немец с белым лицом. У него за рукой автомат. Он оглядывается на меня и уходит по окопу, сначала медленно, потом все быстрее. Я иду за ним. Немец еще раз оглядывается и уже бежит. Я тоже бегу, мне наверху неудобно, ноги скользят, проваливаются в окоп. Какие-то люди мешают мне, перебегая дорогу. Сталкиваюсь с одним из них, вижу, что это немец в каске. Отталкиваю его и бегу дальше, не выпуская из виду того, с белым лицом. Он вылезает из окопа, останавливается и тянет, дергает из-под локтя свой автомат. Я стою напротив и не обращаю на это внимания. Лицо у него вовсе расплылось, и нос, рот — все слилось в какой-то неясный круг. Глаз я не вижу, только мокрые волосы по краям этого круга.

— Ты б... худая... — говорю. — Бежишь!

И бью не прикладом, а стволом вперед, в середину круга. Все заливается красным у него, а я бью тяжелым стальным стволом еще и еще раз сверху. Когда убиваю его, вдруг начинаю все видеть и слышать. Холодный дождь идет из низких туч. Гимнастерка у меня совсем мокрая. Немцы бегут по всему болоту непонятно, в какую сторону, и мы бежим вместе с ними, сталкиваясь, стреляя, но не отставая друг от друга. Стреляют из окопов, из воронок, но кто и куда, непонятно. Почему-то кажется, что все вместе это движется по кругу, возвращаясь к какому-то месту и снова отдаляясь от него. Лишь Иванов лежит с пулеметом на том же бугре и время от времени дает короткие очереди...

— Полундра, Боря!

Оборачиваюсь и вижу автоматное дуло, медленно ведущее в мою сторону. Оно в трех шагах. Знаю, что ничего уже не успею сделать, и поэтому только смотрю. И когда оно подходит к моему животу, я слышу очередь.

Автомат задирается вверх, и вижу тогда немца. Он валится, все пытаясь еще подхватить свой шмайссер, а Даньковец дает еще одну короткую очередь. Почему-то мне казалось, что все происходило очень медленно?..

Даньковец еще что-то кричит мне, но я не слышу. Обтираю свой карабин, прижимая дулом к торфу, заряжаю его. Теперь я вместе с Кудрявцевым и Глушаком бегу к перевернутой вагонетке, где усилилась стрельба. Узкие ржавые рельсы лежат сорванные, изломанные, торчком уходя в болото. По ним, как видно, возили торф. И вдруг Глушак как-то странно ахает и, не выпуская автомата, начинает медленно становиться на колени. Хочу поддержать его, но он валится головой вперед. Шея его неестественно поворачивается, и я вижу открытые, уже неживые глаза. Дождь стекает по ним, а они не закрываются. Еще

несколько наших пробегают мимо меня. Я оставляю Глушака, бегу с ними, стреляя в серо-зеленые спины... Опять мы перебегаем рельсы, но уже в обратную сторону. Все думаю, где же Даньковец. Слышу хлесткие тупые удары, торф все ближе вспарывается, будто ножом, какими-то полосами. Мы приседаем, ложимся на землю. Это те, в суконных гимнастерках, лупят от себя из крупнокалиберного, помогают нам...

Снова я возле Иванова, все ищу кого-то глазами и вижу вдруг капитана Правоторова. Тот стоит без оружия на краю окопа и смотрит вверх, на косогор.

— Все к дотам! — резко бросает он, ни к кому не обращаясь.

— Все к дотам!

Это пронзительно кричит Саралидзе.

— Все к дотам! — кричу я, срываясь с голоса.

«К дотам... к дотам!» — кричат в поле. Иванов встает, берет пулемет на плечо. С ним Шурка Бочков, Сирота, кто-то еще. Мы скорым шагом идем к косогору, стараясь увидеть что-нибудь там сквозь пелену дождя. Немцы, будто отпущенные из круга, толпой бегут вверх. Они выскакивают из-за штабелей торфа, из ходов сообщения, из каких-то вовсе неизвестных нам укрытий. Их много, куда больше чем казалось, и мы бежим вместе с ними.

Ровное поле кончается, рядом с немцами лезем мы вверх к мокрому, с перебитыми ветками кустам. Тут только видим мы темный гладкий бетон. Он выступает из земли метра на полтора, тянется метров пятнадцать по косогору и на краю его поворачивает под тупым углом в сторону. Ровные продольные щели видны в бетоне, а сверху продолжает расти лес: все тот же кустарник, небольшие деревца, с желтыми листьями. Значит, давно уже стоит этот дот...

Бегущие немцы устремляются в обход по узкой тропе, что идет вокруг дота, другие просто лезут, цепляясь за кусты. И за нами тоже немцы. Когда остается до верха шагов тридцать, кто-то у нас говорит: гу-га. И мы опять кричим, обреченно и страшно: «Гу-га, гу-га, гу-га, гу-га!»

Немцы шарахаются от нас, теснятся, отталкивая друг друга. Наверху они разбегаются по лесу, но большая часть сгрудилась позади дота, лезет в узкий, закрытый щитами ход. Туда их, как видно, не пускают. «Гу-га!» — кричим мы и через их головы бросаем внутрь, в темноту, гранаты. Я тоже бросаю свою последнюю гранату, и прямо по немцам, по головам и спинам, лезем мы вниз, где все еще что-то рвется, и пламя с дымом выбивается наверх. Из пламени показывается человек, почему-то в нижней рубашке, с черным от сажи лицом. Он смотрит на нас и тонко, непонятно кричит, отступая назад, заслоняясь руками.

Бьем от входа из автоматов. Задыхаясь, кашляя в дыму,



ищем тех, кто еще остался. Дым постепенно рассеивается. Что-то шевелится на нарах и возле амбразуры, откуда падает свет. Стреляем туда и становится тихо.

Бросаемся снова наверх. Немцы убегают по редкому лесу. Иванов лежит и короткими очередями бьет им вслед из пулемета. Стреляем с ним вместе. Когда больше никого уже не видно, идем снова в дот. Весь пол там завален телами, и мы делаем проход, оттаскивая их в стороны. Дот огромный — целая казарма. В офицерской части стоят кровати и висит даже картина: женщина опускает ногу в воду, собираясь купаться. Амбразуры прорезаны в нишах. Там скамейки, полки для боеприпасов и тяжелые турельные пулеметы. Есть запасный выход, но он закрыт.

Теперь мы понимаем, почему столько времени нельзя было сюда приступить. Их четыре таких дота на километре косогора, а внизу между ними еще малые бетонированные гнезда. Наш дот крайний. Под огнем у него низина с болотом и весь лес на той стороне, а боковые амбразуры смотрят на овраг, за которым тоже все простреливается. Танкам в этой местности никак нельзя действовать. Стою и смотрю в прямоугольную прорезь, на болото. Дождь перестал, но все кажется черным отсюда, и холодный синий пар стелется над самой землей. У краев пар густеет и словно бы вытекает из болота наверх, к растущему вокруг лесу. В этой черной яме мы лежали две недели...

Нас зовут наверх. Капитан Правоторов стоит у дота. Мы теснимся вокруг. Обегаю всех взглядом. Нас не больше сорока человек. Еще трое или четверо ковыляют снизу. Капитан хочет что-то сказать, но гулкая очередь ударяет откуда-то сбоку. Все мы ложимся. Это бьют по нам из соседнего дота. Мы тоже стреляем в них наугад.

— Сейчас все будет, — говорит капитан, когда стрельба стихает. — Занять оборону!

Он все время посматривает назад, на нашу сторону. Мы укрываемся при косогоре, на склоне. Рыть ничего не надо. Делаем только внизу упоры для ног и нагребаем сверху перед собой легкую лесную землю. Пригибаясь, тащим из дота снятые с турелей тяжелые пулеметы. Один прилаживаем у входа, а два на окопанной площадке, где стоят брошенные немецкие минометы. Небо совсем светлеет, кажется, вот-вот проглянет солнце.

— Все вниз!

Это громко, тревожно кричит капитан Правоторов, показывая рукой на болото. Мы торопимся, скатываемся, съезжаем туда на сапогах. Уже внизу смотрю в нашу сторону и вижу быстро растущие над лесом самолеты. Это «ИЛы». Гром стремительно нарастает, и прямо над нами огненные змеи впиваются в косогор. Ослепительное, нестерпимое пламя обжигает нас. Земля качает-

ся, все полыхает наверху с неистовым воем, будто огромный примус работает там. Кто-то не успел уйти оттуда, и горящий ком катится к нам с горы.

«ИЛы» уже на высоте, идут обратно. Никитин грозит им кулаком:

— По нам ездись, сука... Ну, спустишься ты ко мне с парашютом!

— Занять оборону! — говорит капитан.

Лезем вверх по горячей еще земле, и ничего тут больше нет: ни кустов, ни деревьев. Лес вокруг исчез, и все будто вымазано жирным дегтем. Немецкие пулеметы, которые мы повытаскивали, лежат искореженные, и мы лезем в дот за другими. В середине дота все цело, и танкист из третьего взвода, который укрылся здесь, живой и здоровый. Значит по... этому самому таким дотам эрэсы<sup>1</sup>...

Капитан все поглядывает в нашу сторону, о чем-то говорит с Ченцовым. Тот собирается уже куда-то идти, но слышится нарастающий свист. Снаряды перелетают через нас и падают где-то в болоте. Потом они рвутся впереди нас. Край косогора рядом с дотом, где стоял только что лейтенант Ченцов, рушится вниз. Мы пригибаем головы, и осколки нас не достают. Откуда-то из-за леса начинают бить тяжелые минометы. Это хуже. Мины падают отвесно, и некоторые рвутся на склоне горы. Со спины мы открыты. Минут двадцать все гремит вокруг. Но нас это мало трогает, как будто и не относится к нам. Неужто всякие чувства у нас потеряны?

Потом становится тихо. Отлепляюсь от склона, к которому прижимался всем телом, смотрю, что там наверху. Впереди, где кончается линия горелых деревьев, цепью идут немцы. Они кажутся маленькими отсюда, но за ними видна другая цепь, потом третья. Роты две их, не меньше, идут к нам от желтой полосы оставшегося леса. Переглядываюсь с Кудрявцевым, который лежит рядом. Вижу за ним Бухгалтера, Шурку Бочкова. И никак не могу понять, куда делся Даньковец... Немцы идут осторожно, будто боятся наступать на черную, горелую землю. Может быть, здесь у них тоже мины? Стрелять начинают они еще издали, быстро водя перед собой автоматами. Никто ничего не говорит у нас, но мы не стреляем. Все медленнее и медленнее идут немцы. По-видимому, здесь те, что из болота. И когда остается метров сто пятьдесят до них, ударяют наши пулеметы: сначала один, со стороны дота, а потом другие.

Немцы сразу поворачиваются, как будто только и ждали этого. Бьем им вслед, и вдруг замечаю, что у меня нет больше

---

<sup>1</sup> Реактивные снаряды.

патронов. Шарю в карманах, но там пусто. Только грязная шелковая тряпка тянется за рукой. Хочу ее выбросить, но вижу в подбранных клеточках буквы Б. и Т. Все это было где-то совсем не со мной. Я это тот, который лежит здесь, на склоне горы, возле немецкого дота. Вся земля вокруг обгорела. За спиной у меня болото, откуда мы сюда вылезли, а впереди желтая полоса уцелевшего леса, куда ушли немцы.

Затискиваю платок назад в карман. Немцев уже нет, и кто-то начинает закуривать.

Тихо-тихо. Мне делается холодно. Шинели мы оставили в болоте, а тут, наверху, еще и ветер. Прошу у Шурки Бочкова дать потянуть окурочек. Набираю едкий дым в рот и становится как будто теплей. Меня нисколько не тошнит, и я удивляюсь этому...

Минут пять уже слышится какой-то гул, словно из-под земли. Капитан Правоторов все время рукавом медленно отбирает губы.

— Самоходки, — хмуро говорит Никитин.

Вижу, как на черную полосу, идущую от дота к лесу, выезжает что-то желто-зеленое, поворачивается боком. Потом выползает еще одна машина, становится в угол к первой. Подтягиваю к себе автомат, взятый в доте, и понимаю, что он сейчас ни к чему. Никитин, который лежит рядом со мной, вдавливая ногтем в черную землю оставленный ему окурочек:

— Думаают, падлы, что нас тут батальон.

И сразу же начинают рваться снаряды. Как и в прошлый раз, они летят откуда-то из-за леса. Потом падают мины. И опять это не вызывает никакого чувства. Но вдруг что-то тяжело ухаает, стена земли встает перед дотом. Еще и еще раз прокатывается тяжелый гул, и снова земля корчится, становится дыбом. Это самоходки. Никитин что-то кричит, но я не слышу. Мокрые тяжелые комья бьют по голове, по спине, будто кто-то бросает их гигантской лопатой. Кого-то сбивает со склона, и он катится вниз. Удушливый бурый дым лезет в горло, не дает дышать. Держусь, вцепившись в землю пальцами, чтобы не оторвало меня от нее, и ничего не вижу.

Потом все стихает. Отряхивая грязь со спины, с рук, поднимаем головы. По черной, перемешанной с пеплом земле цепью идут немцы. Они какие-то другие на этот раз — тоже черные. И идут быстро.

— Капитан, — кричит Никитин. — С капитаном чего...

Смотрю в сторону дота. Вижу возле бетонной стены лежащее навзничь тело, и мне вдруг делается страшно. Как будто маленьким становлюсь я и ищу кого-то глазами. Вижу вдруг Иванова. Тот оставил свой пулемет и идет к капитану. Я тоже встаю и иду. И другие идут теперь с разных сторон. Капитан лежит на спине. Плечо и грудь у него в крови, в место сапога

на одной ноге болтается желтая портянка. Дышит он тяжело, со свистом.

— В дот его нужно, — говорит Кудрявцев.

Мы поднимаем капитана, несем в дот. Кладем его на нары и не знаем, что делать.

— Товарищ Правоторов, — говорит Иванов каким-то плачущим голосом. — Товарищ Правоторов...

До того странные его слова, что мы приходим в себя. Не сговариваясь, спешим к выходу. Разбегаемся, но теперь уже не по косогору, а ложимся у вала, где стояли немецкие минометы. От них остались неглубокие ямки. У нас теперь много гранат из дота. Немцы уже совсем близко, даже лица их как будто видны. Но они тоже не стреляют раньше времени.

— Ну, чего? — спрашивает у меня танкист из взвода Глушака. Смотрю на него с удивлением и вдруг понимаю, что это от меня теперь ждут команды. «Где де Даньковец?» — опять мелькает у меня в сознании, хоть я уже все знаю. Совсем по-другому смотрю я в сторону немцев. Нет, лиц их еще не видно. Сейчас я уже точно определяю расстояние. Там, где переломанное пополам дерево, место, до которого им можно дойти. Это сто пятьдесят метров, как в прошлый раз. Жду, весь подобрившись, но теперь почему-то я совсем спокойный.

Никитин, который лежит с ручным пулеметом, показывает мне рукой влево. Смотрю туда и тоже вижу немцев. Эти прежние, серо-зеленые, и идут они вдоль косогора, как видно, от другого дота. Машу рукой Никитину, и тот разворачивается в их сторону. К нему переползают еще несколько человек.

Я смотрю перед собой. Немцы идут ровной цепью, и автоматы не качаются у них в руках. Из леса, намного дальше первой, выходит вторая линия. Там что-то катят на руках, не то пушки, не то какие-то ящики на колесах. Гудят опять моторы, и желто-зеленые машины сдвигаются с места, переползают на черную полосу. Теперь уже точно видно, что это самоходки. Одна из них застревает в лесной колдобине, и черные фигурки бегают вокруг. Потом машина трогается, придвигается еще ближе. Снова они stanовятся углом, а из леса появляются все новые немцы...

Теперь я вижу только серое низкое небо и черную линию немцев, идущих по черной земле. Все ближе они, но почему-то не видно их лиц. Наверно, я просто не смотрю на них выше груди. Да и ни к чему мне их лица. Взгляд мой не отрывается от поломанного дерева. Все ближе к нему черная линия. Вот она разрывается как раз посередине, и немцы начинают обходить дерево. Один из них высоко поднимает ногу, чтобы перешагнуть лежащую на земле часть ствола, и я даю по нему очередь...

Мне все кажется, что немец так и стоит с поднятой ногой.

Я: продолжаю бить туда и удивляюсь, что других немцев уже не видно. Головы теперь никак нельзя поднять, и металлический визг стоит в ушах. Потом замечаю, что немцы приблизились. Они не идут теперь цепью, а перебегают группами. Да, эти немцы другие...

Почему-то совсем не слышу наших выстрелов, хоть вижу, как бьет из пулемета танкист рядом со мной. И Иванов впереди садит из минометной ямы все из того же МГ. Лезу пальцем в ухо, чтобы прочистить его, но ничего не помогает. Иванов вдруг непонятно скручивается и вылетает будто сам собой...

Вот сейчас я вижу их лица. Немцы бегут прямо на меня, и глаза у них тусклые, немигающие. Черные мундирные куртки их в серой грязи, и некоторые без касок. Все недоумеваю, почему они в черном, хоть хорошо знаю об этом. Как бы два сознания у меня сейчас. Потом немцы валятся, продолжая стрелять. Слышу, наконец, гулкие удары и знаю, что это Кудрявцев от дота бьет из тяжелого турельного пулемета. Ну да, он же стрелок-радист. Своего автомата, который у меня сейчас вместо карабина, я не слышу, хоть высаживаю уже третью обойму...

Снова, кажется, уже в третий или четвертый раз бегут сюда немцы. Из тех, что были раньше, некоторые тоже встают прямо перед нами. Все больше становится их. Когда совсем близко оказываются они, бросаем гранаты. Немцы тоже бросают к нам гранаты, и мы тогда прячемся в минометные ямы. Хочу подлезть к Иванову, и никак не могу этого сделать...

Со всех сторон уже немцы и вижу каски их слева, на валу, где лежал Никитин. Что-то там случилось. Ни о чем уже не думаю и все стреляю...

Сноп красного огня встает, загораживая небо. Чувствую огромную легкость в теле. Меня приподнимает и с непонятной силой опять прижимает к земле. В какой-то миг появляется мысль, что так бывает в кабине, при перегрузке, когда защитные очки давят на лоб. Земля тогда как бы выгибается. Понимаю, что это другое. Вижу живого Никитина. Тот бежит зигзагами. Сажусь и смотрю на него. Никитин останавливается и рукой указывает мне на дот.

— В дот! — кричу непонятно кому, и никто меня не может услышать. Хватаю за плечи лежащего рядом танкиста, показываю ему на дот. Вижу, как бегут туда другие. Дав очередь в стену огня и дыма, тоже бегу. Что-то огромное, пустое ударяет меня в спину, и я лечу в темноту, головой вперед. Падаю на что-то твердое, нащупываю пуговицы на сукне, гладкие и холодные руки, лица. Это немцы, которых мы положили в доте. Отталкиваюсь от них, встаю. Здесь уже человек десять сидят и стоят, прижавшись к бетонной стене. Все смотрят на вход, а оттуда прибавляются все новые: летят кубарем или головой вперед.

— Что это? — кричу громко Никитину.

Он смотрит на потолок:

— Наши... артподготовка.

Не слышу, но понимаю, о чем он говорит. Бетонный пол вздрагивает всякий раз, будто ударяют в него железной кувалдой откуда-то из-под земли. Ровный дневной свет льется сюда через амбразуры и, кажется, не имеет никакого отношения к происходящему. Со стороны болота все тихо. Вдруг я вижу глаза капитана. Он лежит, укрытый до подбородка шинелью, и смотрит на меня. Я подхожу к нему. Капитан успокаивающе прикрывает глаза. Это для меня, я его понимаю.

В это время весь дот сразу подбрасывает, и нас валит с ног. Сыплются откуда-то ящики с патронами, кто-то садится на пол, загораживая руками голову. Едкий вонючий дым медленно уплывает в амбразуры. Дот встряхивает еще несколько раз, но уже не с такой силой. Потом все стихает. Мы переглядываемся, начинаем что-то искать под руками. И снова вижу глаза капитана. Он пытается приподнять голову и кивает мне на выход.

— Все наверх,— кричу я.— Наверх!

И матерюсь грязно, непонятно откуда взявшимися словами. Мне кажется, что они медлят, еле шевелятся, падлы. Хватаю того, что сидит на полу, швыряю к выходу, потом другого. Бегу наверх, ничего не видя перед глазами.

— Гу-га...

Кричу и бью из автомата в черное вокруг.

— Гу-га, гу-га, гу-га...

Все кричат вместе, и теперь только вижу, как убегают, отползают немцы. Один из них еще стоит, как будто не может сдвинуться с места. Он без каски, повернутая ладонью вперед рука прижата к груди. Потом он тоже поворачивается и бежит. Никто не стреляет ему вслед.

Все вокруг опять изменилось, и громадная воронка светлеет возле самого входа в дот: Там, внизу, оказывается, светлая земля. Она разбросана взрывом далеко вокруг. Вся черная полоса до самого леса теперь в светлых кругах. На доте тоже снесена, будто сдута земля, и бетон надколот. Немцы, как видно, прятались тут же, у дота, и на косогоре, с нашей стороны. Перед нами их не видно, и груда железа дымится там, где стояли самоходки...

С визгом ударяют и отлетают от бетона пули. Это от второго дота. Теперь они идут оттуда, серо-зеленые и черные вперемежку. Во что бы то ни стало хотят они сбить нас. Мы ложимся тут же, у входа в дот. Теперь мне все видно. У нас один тяжелый пулемет, который вытащил из дота Кудрявцев. Там, где стоял другой пулемет, теперь воронка. Еще ручной «Дегтярев» у Ни-

китина, но он ни к чему — нет дисков. И автоматы. Бухгалтер таскает из дота гранаты, укладывает сзади. Никак не могу сосчитать, сколько же нас человек...

И снова бегут к нам немцы, падают и бегут. За ними появляются другие. Уже не пригибаются они, идут в рост. Сверху, на доте, тоже, оказывается, они, и мы бросаем туда гранаты. Осколки бетона падают на наши головы...

За спиной теперь лишь вход в дот, узкий, темный. И бетонные щиты по краям. Сидим за ними и с пяти шагов уже бьем немцев. Потом делается тихо...

Что-то ледяное заползает мне в грудь, и я пригибаю голову. Невольно жмемся друг к другу. Что же это? Немцев много, они еще здесь...

Посторонний неистовый грохот доносится к нам будто бы с неба. Все свистит, желтые молнии вспыхивают по черной земле и дальше, к лесу. Но к нам это не относится. Мы видим лишь, как отступают немцы. Где-то за лесом воют танковые моторы. Многократно усиленный голос, тоже как бы с неба, кричит: «За Родину, за Сталина!» Потом он повторяется где-то дальше, и в третий раз уже у леса...

Все идут и идут мимо нас солдаты по мокрой, перемешанной с пеплом земле. Зимние шапки со звездочками и зеленые бушлаты на них. Лошади тащат пушки, люди им помогают, вытаскивая колеса из воронок. Мы сидим неподвижно, привалившись спинами к доту, и все они как-то странно оглядываются на нас.

Где-то дальше по косогору все еще слышны очереди. От леса, объезжая воронки, движется машина с двумя рупорами наверху. Она останавливается напротив, из нее выскакивает молодой лейтенант в новеньком обмундировании. Он говорит о чем-то с майором, который стоит там, где идут войска. Потом лейтенант лезет по лесенке обратно, машина разворачивается. Мы уже слышали ее голос.

— Ахтунг!..

Теперь она говорит по-немецки, предлагая сдаться тем, кто во втором доте. Майор разговаривает с офицерами, поглядывая в нашу сторону, но к нам никто не подходит. С трудом поднимаюсь, иду по нужде за дот. Долго стою там и смотрю. Через овраг переброшен неизвестно откуда взявшийся мост из бревен. Танки идут по низине, медленно переползают через мост и, набирая скорость, уходят вверх по лесной дороге. Потом идет артиллерия и опять танки. Громыхает уже где-то впереди, справа и слева. Смотрю на темный бетон, куда я оправлялся. Чуть повыше моего колена четыре щели прорезаны в эту сторону, прямо на мост.

Когда возвращаюсь назад, чувствую острую боль в ноге. Сажусь у входа, стаскиваю сапог. Среди черной грязи вижу кровь. Портянка никак не отматывается. Отдираю ее и удивляюсь, почему нога у меня такая белая. ✂ щиколотки косою порез, но кровь не идет, а лишь сочится. Смотрю сапог, там тоже порез. Лезу рукой и достаю короткий, с полпальца, осколок. Это когда сам я близко бросил гранату, там, внизу...

Еще где-то рядом болит у меня. Пальцы нащупывают что-то острое. Дергаю, и сразу заливается все кровью. Тряпкой из кармана обтираю ногу, пока кровь перестает течь, и тут вдруг пугаюсь. Белая чистая кость виднеется там, где разошлась кожа.

— Нет, кость целая,— говорит Никитин.— Ты ее пеплом.

У него тоже кровоточит нога у колена. Он берет мокрый пепел с землей и мажет им рану. Я делаю так же, и боль утихает...

Крытая брезентовая машина с красным крестом на боку стоит возле нас. Солдаты выносят из дота капитана и еще четверых наших. Люди ходят вокруг и тоже как-то непонятно смотрят на нас. Потом машина приезжает снова. Худой лейтенант с медицинскими погонами спрашивает о чем-то у меня. В глазах у него удивление и какой-то страх. Кого же он боится? Даже не подходит близко ко мне. Понимаю, наконец, что ему нужно, и показываю вниз, на штабели торфа:

— Вон до того места, дальше нельзя.

— Почему? — спрашивает он.

— Дальше нельзя,— говорю ему и отворачиваюсь. Что-то дрожит во мне, и хочу уже, чтобы он спросил в третий раз. Я тебе тогда отвечу!..

Потом сижу и смотрю, как носят снизу раненых. Отсюда, от входа в дот, невозможно разобрать их лица, и нет сил подойти...

Двое солдат ведут под руки лейтенанта Ченцова. Из рта у него течет кровь, и он как-то странно встряхивает головой. Я знаю: его сорвало с косогора, когда ударила самоходка. Лейтенант отстраняет солдат, делает несколько неверных шагов и садится с нами. Его зовут в машину, но он не идет. Находят еще Хайленко, но носилки потом опускают на землю, накрывают ему лицо. Лейтенант с медицинскими погонами что-то говорит солдатам, и Хайленко кладут в машину, вместе с ранеными...

Становится холодно, мы прижимаемся друг к другу и продолжаем сидеть, не двигаясь. Приезжает еще капитан в фуражке с цветным околышком — тот, что вел нас на позиции. С ним лейтенант и сержант в новеньких шинелях. Видны белые полоски подворотничков на суконных гимнастерках.

— Эй, кацо!



Это говорит Никитин, просто так. Я ищу глазами Саралидзе и знаю, что его больше нет.

— Не нужно это,— говорю я Никитину.

— Что? — спрашивает он.

— Так говорить.

Никитин молчит, думает.

— Ладно, не буду,— соглашается он.

Красивый капитан с нерусским лицом позвал Ченцова, о чем-то с ним договаривается. Ченцов слушает и все встряхивает головой. Потом лейтенант Ченцов снова приходит к нам.

Тучи низкие-низкие и совсем черные. Но где-то между ними и землей, у самого края, пробивается блеклый луч. Тучи в этом месте чуть заметно желтеют, и я понимаю, что это закат. Наверно, и раньше все так было. Но мы не видели из болота.

— Пойдем... Слышишь, взводный!

Это говорит Никитин. Все уже поднимаются, медленно, разводя руки с оружием, расправляя плечи, и я впервые вижу их. Обгорелые, мокрые, порванные, со страшными лицами, глаза их смотрят пусто и прямо. Мертвый болотный запах ударяет мне в лицо.

Теперь я могу всех посчитать. Оказывается, нас восемнадцать, девятнадцатый — лейтенант Ченцов. Он все сидит, и я беру его под локоть, помогаю встать. Говорю танкисту, который сидел со мной, и тот поддерживает лейтенанта. Не выпуская из рук оружия, с какой-то настороженностью отходим от бетонных щитов и останавливаемся. Отсюда все видно перед дотом. Немцев уже собрали, положили рядом. Они лежат вместе: черные и серо-зеленые. Сотни полторы их здесь. Дальше к лесу их не собирали, и они лежат как попало среди воронок на черной земле. Наши лежат отдельно, в один ряд, человек тридцать...

Никто ничего не говорит. Никитин идет за дот и лезет вниз, упираясь автоматом в землю. Я иду следом и за мной другие. Как только спускаемся туда, сразу становится темней. Мы идем в болоте, один за другим, перешагивая через мертвых, мимо перевернутой вагонетки, штабелей торфа, воронок и окопов. Какой-то черный туман у меня в глазах, и кажется, что сейчас упаду и останусь здесь такой же недвижимый и холодный, как и те, мимо которых мы идем.

Сапоги мои хлюпают в воде. Я вдруг задерживаюсь и смотрю себе под ноги. Вода эта красная, и какая-то догадка мелькает в голове. Слева и справа лежат убитые. Вспоминаю, как кто-то говорил, что не меньше, чем дивизию, положили уже в этом болоте. Так вот откуда запах. Торф пропитывается кровью, и она навсегда остается в нем, не делается прахом...

Никитин зовет меня, и я иду дальше. От знакомого хода

сообщения в нашу сторону ведут воткнутые в землю прутики. Даньковец ставил их. Никитин, согнувшись, приглядывается, и мы след в след идем за ним. Кое-где прутики растоптаны сапогами, когда шли мы утром сюда, и тогда мы задерживаемся. Пёгом Никитин разгибается и делает знак рукой. Мы расходимся в стороны, ищем свои шинели. Никто так и не надел на себя ничего немецкого...

Нахожу свою шинель. Она мокрая и легкая: воде негде держаться в ней. Становится совсем темно. Собираются остальные, и мы идем к себе уже напрямик, к темнеющим где-то на краю болота развалинам. С первого же шага ударяюсь коленом, потом падаю в какую-то яму с водой. И другие идут так же, падая, проваливаясь в воронки, и молчат. Всякий раз кто-нибудь садится, ощупывая землю руками. Я тоже знаю, что если бы лег сейчас и пополз, то все было бы хорошо. Но я упорно иду, стараясь вспомнить все бугры и ямы, которые знаю на этом пути. Но все сейчас чужое...

Влезает по очереди на развалины и съезжает вниз. Лейтенанта уводим в подвал. Он ложится на доски. Но мы там не остаемся, хоть места теперь хватит на всех. Каждый идет к себе.

Нашупываю в темноте балки над головой, лезу в пролом, упираюсь спиной в рухнувшую камышовую стену. Здесь сухо и не задувает ветер. Но спать я не могу...

Что-то липкое, холодное катится по лицу. Откидываю с головы шинель, провожу рукой. Черная грязь остается у меня на ладони. Неужто это пот? Откуда-то помню, что он бывает холодный...

Нет, я не спал, просто время всякий раз возвращалось назад. Я все видел опять и опять. Но что-то отвлекло меня. Высвобождаю автомат — тяжелый шмайссер, выбираюсь наружу.

Тучи серо висят над самой землей. Стоит старшина с каким-то солдатом и оба пацана: Хрусталеv и Рудман. У ноги старшины в черном сапоге стоит желтая канистра на двадцать литров и лежат мешки. Подхожу медленно, не выпуская автомата, и старшина вдруг бледнеет, начинает пятиться от меня. Тогда я останавливаюсь, и он тоже.

— Кто тебе разрешил... пацанов... сюда...

Я матерю его так, что голос мой срывается на визг и слезы текут из глаз. Рука дергается у меня, и палец на спусковом крючке. Старшине лет сорок, он хочет что-то сказать, но не может, беспомощно оглядывается.

— Капитан... капитан сказал... твою мать!

Все бросив, старшина уходит с солдатом и пацанами, а я

сажусь на землю, уронив руки. Слышу голоса, стуки. Потом кто-то трогает меня за плечо.

Горит костер, и Бухгалтер тащит к нему доски от развалин. На огне стоит ржавый казан из подвала. Мы пьем кипяток, едим хлеб и консервы, что принес старшина. Потом мы уходим через тот же проход между рухнувшими домами. Желтая канистра стоит все на том же месте, где поставил ее старшина.

Опять ничего я не узнаю. В первый раз при дневном свете я вижу эти ямы, бугры, торчащее из земли железо. Даже пути не могу определить, каким я полз к своему окопу. Понимаю, наконец, что смотрю на все с высоты своего роста.

Протопанной вчера тропинкой идем к немецким окопам. Тонкие белые прутики торчат из торфа рядом. Выбираем место повыше. Это посередине болота, недалеко от перевернутой вагонетки. Отваливаем лежащих тут немцев и начинаем копать. У нас четыре лопаты из подвала и кирка. Еще одну ржавую лопату-грабарку находим здесь, на месте.

Лейтенант Ченцов совсем плох. Его рвет консервами с кровью. Оставляю его сидеть здесь, а сам с Никитиным и еще пятью нашими иду наверх. Там уже пленные немцы, человек пятьдесят, под охраной наших солдат, тащат своих убитых с черной земли. Откуда-то из дотов приносят они плотные связки коричневых бумажных мешков, похожих на свернутые одеяла. Они запихивают мертвых в эти мешки головой вперед и волокут их куда-то в сторону. Слышно, как один из них смеется. Другие немцы метрах в пятидесяти отсюда роют могилы — прямыми четкими рядами.

Наших лежат тут двадцать семь человек. И три связки коричневых мешков лежат тут же, одна из них неполная. Мы стоим, молча смотрим на своих. Никитин сапогом отбрасывает немецкие мешки. Мы снимаем шинели, кладем на них наших и, забросив за плечо автоматы, начинаем носить их вниз, в болото. Солдаты, охраняющие немцев, глядят на нас издали и ничего не говорят...

Болото не оцеплено. Слева, где виднеется темная вода, с другой стороны — от оврага, и по всему косогору каждые метров двести стоят часовые. Мы знаем, это саперы. Они никого не пускают сюда и вбивают в землю столбы со щитками: «Осторожно, мины!»

Здесь, где находились немецкие позиции, мин нет. Дело уже к вечеру, и идет мелкий холодный дождь. Теперь мы собираемся все вместе: восемнадцать живых с лейтенантом, которого рвет кровью, и восемьдесят четыре мертвых. Они лежат на краю длинной ямы, которую мы выкопали за день. Некоторых нельзя узнать, потому что они шли через мины. Но Даньковец совсем

целый, только по животу прошла у него очередь. И Шурка Бочков как живой и лежит будто чем-то удивленный. У Иванова расколота голова, и кто-то положил немного торфа, чтобы не было видно. С покатым носом на обострившемся лице лежит Сирота...

— Подожди,— тихо говорит мне Бухгалтер.— Подожди.

Он опускается на колени там, где лежит Бригадир, касается руками лица и что-то шепчет. Все смотрят, как он молится, и молчат.

По очереди обходим мы всех. Я приседаю там, где Даньковец, смотрю на его руку. Справа, у запястья, входит в порт синий пароход, и маяк стоит на краю мола. Это с папирос «Теплоход»...

— Давай! — говорит Никитин.

Длинную яму в торфе мы устилаем шинелями. Опускаем их туда по очереди, кладем рядом, плечом к плечу. И сверху укрываем шинелями, с головой. Смотрим в серое небо. Потом лопатами и руками, коленями сталкиваем на них рыхлую бурую землю...

Стоим, сбившись в кучу, над длинной, метров сорок, могилой. От косогора спускается группа пленных с охраной, как видно, вытаскивать отсюда своих. Им кричат предостерегающе сверху, и они поспешно возвращаются. В стороне валяется еще одна шинель. Это наша, серая, с оборванным хлястиком. Кто-то берет ее и накрывает сверху насыпь, старательно расправляет полы. Шинель порвана и прострелена в нескольких местах. Почему-то не дождь, а белая жесткая крупа сыплется с неба. И торф постепенно белеет вокруг. Никитин смотрит на меня, снимает автомат с предохранителя. Все мы отставляем от себя автоматы и без команды начинаем палить в посветлевшее небо. Мы палим беспрестанно, перезаряжая и выстреливая один за другим оставшиеся диски и магазины. У кого-то сохранилась граната, и он бросает ее в сторону перевернутой вагонетки. Вагонетка подпрыгивает и остается лежать на том же месте. С косогора и с нашей стороны люди смотрят на нас...

Темно уже, и сухие снежинки тают, не долетая до костра. Он разгорается все сильнее, освещая развалины. Мы тесно сидим вокруг, и Бухгалтер разливает нам спирт из желтой канистры. Всего у нас вдоволь: спирта, еды, посуды — на целую роту. Никому не добраться до нас, мы одни тут. Кто-то находит еще диски и бьет очередями в черное небо, откуда сыплется белый снег...

Ходим мы сами по себе, и никому нет дела до нас. В окопах наверху, где сидели те, в суконных гимнастерках, теперь пусто.

Только гильзы и рваные тряпки валяются по земле. И за лесом, где было их хозяйство, никого уже нет. Несколько человек лишь осталось в штабе и старшина при складе.

Того старшины, что доставлял нам воду и консервы, тоже нет. Наши пацаны живут одни в пустой казарме — той самой, где когда-то сидели мы перед уходом. Старшина при складе, здоровый, крепкий, в хромовых сапогах, без слов выдает нам консервы. Хлеба только нет, и мы едим мясо, выбрасывая из банок жир. Худая черная собака из деревни подбирает и глотает все после нас.

Мы ходим все вместе. Останавливаемся, смотрим, как женщина кормит теленка распаренной соломой. Для теленка сделана землянка в соцгороде. Потом долго стоим у колодца, где люди набирают воду. Если кто-то из нас отойдет на три-четыре шага в сторону, то тут же спешит назад. И снова идем мы, касаясь друг друга локтями...

К вечеру меня зовет лейтенант Ченцов, говорит, что нужно сдать оружие. Оглядываемся почему-то по сторонам и, разжимая руки, выпускаем из них шмайссеры, ППШ, самозарядки. С глухим стуком падают они друг на друга. Только Бухгалтер аккуратно кладет на землю трехлинейку, которую выдали полмесяца назад. Чужой старший лейтенант не смотрит на нас и черкает что-то в блокноте.

На нас смотрят лишь сбоку или в спину. Как только мы поворачиваемся, отводят глаза. И быстро все делают, если мы просим. Старшина, когда выдает консервы, пододвигает их к нам, сам даже обтирает банки от сала. Лишь люди из деревни, женщины и старики, останавливаются и смотрят прямо, провожая нас долгим взглядом...

Что-то нужно мне сделать. Это второй день мучает меня. Иду опять к старшине, стою перед деревянной доской, разгораживающей склад. Наши ждут на улице. Старшина сначала не понимает, чего мне надо.

— Звездочки, — повторяю я.

Он достает коробку из-под яичного порошка, долго роется там и подает мне горсть красных металлических звездочек. Пересчитываю — их восемнадцать. Пацаны сами уже все достали себе. Раздаю эти звездочки, и мы привинчиваем, крепим их к грязным мокрым пилоткам. Погоны у старшины есть только парадные, того же цвета, что околышки на его фуражке. Мы их не берем.

Опять уходим к себе, вниз, и лейтенант Ченцов идет с нами. Всю ночь не спим. Костер разжигаем до неба, едим и пьем, что осталось в канистре.

Весь следующий день сижу в штабе и вместе с писарем-сержантом заполняю списки. Куча личных знаков лежит на столе. Один только листик бумаги на каждого из нас. И мой есть, и Шурки Бочкова, и Бухгалтера... Читаю: «Даньковец Анатолий Федорович, место жительства — Херсон... курсы счетоводов... перчаточная артель «Заря», помощник бухгалтера...» Сижу и все не могу отложить от себя эту бумагу. Горький комок вины стоит у меня в горле.

— Гу-га,— тихо говорю я.

На меня смотрят удивленно.

Лейтенант Ченцов не может писать. Кровь у него перестала идти, но каждые две-три минуты трясется голова. Он только подписывает бумаги вместе со старшим лейтенантом...

В последний раз стоим мы и смотрим на болото. Все там белое, одинаковое, и не видим мы отсюда длинную насыпь с простреленной рваной шинелью. Далеко впереди, где-то уже у горизонта, слышится тяжелый непрерывный гром. Через низину, по мосту, сделанному из бревен, все идет артиллерия, едут крытые брезентом машины. Регулировщик с флажком стоит у дороги. А над дорогой, где кончается косогор, темнеет полоска никому не нужного теперь дота. Мы поворачиваемся и уходим той же дорогой, по которой пришли сюда.

Идем мы кучей, не в ногу. Лейтенант Ченцов уехал вперед на машине. Где-то уже на полпути, километрах в пятнадцати от болота, нас останавливает полковник, едущий в «виллисе».

— Откуда... Что за вид? — спрашивает он.

Мы стоим и молчим, только смотрим на него. Полковник почему-то больше ничего не говорит, садится в машину. И все оглядывается на нас.

В военной зоне рядом со станцией моемся в бане. Вещи наши жарятся тут же, за железной дверью. От тепла и горячего пара становится вялым тело, начинает идти кровь там, где щиколотка, болит опухшее колено. И еще болят почему-то ребра, трудно повернуть голову. Черная грязь раз за разом слезает с нас, но появляется вновь, как будто сочится из наших пор. Руки все равно остаются черными, и их не ототрешь. Долго стираю платок с вышитыми буквами. Их не видно. Рубчатый шелк превратился в сетку с дырочками, но платок не выбрасываю.

Шатаясь, выходим в прихожую. Потом долго штопаем, зашиваем наши штаны, гимнастерки, пришиваем пуговицы. У некоторых совсем все разлезлось на локтях и коленях, но ничего нам тут не дают. Это уже в части. Спим в свободной землянке на нарах, укрываясь с головой шинелями.

Снова повторяется все сначала, и те, которые лежат там, в торфе, укрытые шинелями, бегут вместе со мной, кричат

беззвучно... Сбрасываю с лица сухое, жесткое сукно. Кудрявцев лежит рядом и смотрит пристально в потолок. За ним вижу еще чьи-то широко открытые глаза. Никитин сидит, прислонившись спиной к деревянной стойке. Маленькая желтая лампочка горит у входа, где положено быть дневальному. Мы зажигаем еще одну — большую лампу посередине вкопанной в землю казармы, садимся все вместе и сидим так до утра...

Прибежавшие утром пацаны сказали об этом. Нас не хотят пускать, и в первый раз за много дней топчемся мы беспомощно. Маленькая женщина в сапогах и халате громко кричит на нас. Потом приходит начальник госпиталя, толстый человек без погон, и разрешает нам войти.

Капитан Правоторов лежит в комнате, где в ряд стоят кровати. Здесь, наверно, была школа, вместо тумбочки у двери стоит старая парта, с оторванной крышкой. Мы становимся вокруг, садимся на соседнюю пустую, без матраца койку и смотрим на капитана. У него белое побритое лицо, перевязка от плеча к шее и там, где должна быть левая нога, пусто примято одеяло.

Пацаны стоят у этой ноги. Капитан сначала смотрит на них, потом на нас. Лицо у него спокойно.

— Вот так, — говорит он.

Никитин достал из-за пазухи немецкую фляжку, обернутую сукном. Капитан косится на дверь, берет фляжку здоровой рукой и подсовывает ее к себе под матрац.

— Вот так, — повторяет он.

Все молчат в палате, лишь кто-то с обвязанной вместе с глазами головой мечется, стонет в углу. Приходит толстый начальник, и мы уходим. Оборачиваюсь у двери и вижу, что капитан Правоторов смотрит неподвижно в потолок...

У всех нас уже документы на руках. Писарь — старшина здешнего штаба говорит, встряхивая кудрявым чубом и пощелкивая пальцами:

— Ждите начальство, пока наступление. Тут бабы по селам. Отчего солдат гладок: поел да на бок!

Но мы не смеемся с ним, и он пожимает плечами:

— Как хотите.

Никитин и еще двое едут искать свои части. Они уже договорились с каким-то младшим лейтенантом — связистом из колонны и уезжают на машине, груженной катушками с кабелем. Нас лейтенант Ченцов провожает до станции.

— Тебе в госпиталь надо, лейтенант, — говорит ему Кудрявцев.

— А ну его!..— громко ругается почему-то тот и дергает головой.

Мы лезем в пустой товарный вагон. Там мелкая белая пыль на полу и на стенках. Муку, наверно, везли сюда. Другие вагоны закрыты, а на площадках холодно.

Становится темно, ни одного огонька не видно на станции. Состав трогается, и долгий паровозный гудок заглушает на время отдаленный грохот, что слышится весь день откуда-то из-за горизонта. Мы сидим на полу вагона и качаемся, ударяясь друг о друга...

На огромной узловой станции, где больше ста путей, ждем четыре дня эшелон в сторону Средней Азии. Здесь пункт формирования — целый военный город со складами, штабами, столовыми. Все уже получили назначения и разъехались в разные стороны. Вчера уехал Бухгалтер, зачисленный почему-то в роту химзащиты. Он долго писал письмо непонятными знаками, справа налево. Меня он попросил отдать это письмо там, на месте...

Нас теперь пятеро: я, Кудрявцев, танкист Шевелев из Полтавского училища и пацаны. С ними еще не все ясно. Иду в длинный барак, где сидят писаря. Там полно людей. Некоторые по месяцу ошиваются здесь и получают довольствие. Какой-то хмырь в коверкотовом кителе, немецких сапогах и танковом шлеме качает права:

— Давить вас, сучару, следует!..

Сегодня за столом здесь другой старшина: маленький, черный, с заросшими волосом ушами. Он встает, и тут видно, что у него нет левой руки.

— А ну... уматывай! — говорит старшина, и тот, в кителе, уходит.

Я стою.

— Чего тебе? — спрашивает маленький старшина.

Показываю на пацанов.

— Вот, документы на них.

Старшина берет направления у пацанов, читает:

— Ну, и что?

— Домой им надо.

Еще раз мельком смотрит старшина на пацанов, рвет их направления и выписывает новые. Потом выходит ненадолго, возвращается, заносит фамилии и книгу и отдает бумаги пацанам:

— В распоряжение военкомата, по месту жительства!

Теперь все правильно.



Лежу на верхних нарах в теплушке. Здесь Кудрявцев, Шевелев и у самой отдушины пацаны. Они везут с собой вещмешок с консервами, коробку яичного порошка и большой мешок с хлебом. Это у них от того дня, когда мы в последний раз получили паек на всю роту. Пацаны перебирают свои вещи и о чем-то шепчутся.

Болтая ногами, сидит рядом со мной какой-то списанный по болезни, с лишаями на голове, сержант-сверхсрочник. Он видел, как однорукий старшина заменил пацанам направления, и рассказывает с увлечением:

— Это что, писарь и не то может, похлеще другого генерала. Раз так вот, на станции, идет с патрулем дежурный лейтенант. Судьба известная. Простой взводный, и связей у него нигде. Вдруг из проходящего поезда сержант: так и так, мол, товарищ лейтенант, деньги потерял. Не можете ли выдать казенных двести рублей, сразу по приезду пришлю. А у лейтенанта свои как раз были, в карты там выиграл или чего еще. «На,— говорит,— тебе мои!» Тот поблагодарил, аккуратно все записал в книжечку: имя-отчество, номер части и уехал. Лейтенант и думать забыл, как вдруг перевод. И приписка к нему: спасибо за доверие, но это еще не все. В самое ближайшее время ждите счастливого изменения судьбы. И точно, проходит месяц, вдруг внеочередной приказ: такому-то — старшего лейтенанта. Через два месяца еще приказ — капитана, потом майора. И года не прошло, стал мужик полковником. Затем опять получает письмо: помните, мол, того сержанта, которому двести рублей не побоялись дать займы. А был тот сержант писарь простой, из главного штаба...

Все, кто служил, знают эту историю, только рассказывают каждый по-другому. Таких говорливых двое-трое в вагоне. Остальные молчат. Тут люди с разных фронтов, полков и дивизий. Часть, как и мы, возвращаются в свои училища, другие — новый набор. Сидят или лежат группами на нарах и никуда не смотрят.

— Ты что, писарем был? — спрашивает Кудрявцев у лишайного.

Тот понимает, что не к месту его трескотня, и умолкает.

Выхожу на какой-то станции. Дождь идет пополам со снегом. Бабы с горшками и казанками продают пареную картошку. Беру на всех ее в полу шинели. Женщине в мужских ботинках и с закутанным до носа лицом даю немецкий нож с деревянной ручкой.

— Ой, да на что он мне! — говорит она.

— Бери, Дашка,— отзывается мужчина, торгующий табаком.— Не хочешь, я деньгами отдам.

Мне не жалко, у меня в сапоге еще один, эсэсовский, с

надписью по лезвию. Кроме того, везу с собой вальтер — второй номер и маленький бельгийский дуо с перламутровой ручкой, чуть больше зажигалки. Его я взял в доте, на офицерской половине. А к чему мне все это, сам не знаю. И другие везут оружие. Говорят, в Чирчике будут отбирать...

Наступает вечер, потом ночь. Качается и гремит на стрелках вагон. Светятся в темноте красные точки самокруток и папирос. Те, кто не курит, тоже не спят, я знаю. Уже во второй половине ночи где-то на нарах внизу слышится рыдающий крик. Бросаемся туда, держим кого-то руками. От входа приносят фонарь. Здоровенный парень — старший сержант бьется под нами. Он сбрасывает с себя сразу нескольких человек, с размаха ударяется головой о доски и кричит теперь на одной ноте, дико, пронзительно. Мы снова наваливаемся на него, тоже кричим, а он матерится, рвет на себе гимнастерку зубами.

Постепенно старший сержант затихает, тело делается мягким, беспомощным, слезы текут по его лицу. Мы отпускаем его, ложимся по своим местам и слушаем стук колес...

Взрывается и долго, нескончаемо гремит железо за тонкой стенкой вагона. В приоткрытую дверь виден белый речной туман, мелькают близко черные пролеты. Днем переезжаем еще один мост и сразу становится теплей. Поезд делает поворот и идет теперь прямо к югу. Голая безбрежная степь движется вместе с нами. Никого не видно тут до самого горизонта.

Парень, который шумел ночью, все стоит у сдвинутой до отказа двери. На лице его какая-то слабая улыбка. Он роется в своем вещмешке, достает массивный парабеллум, и, все так же странной улыбаясь, начинает садить в небо. Кто-то внизу примерился, чтобы подбить у него руку, но тут слышатся выстрелы из другого вагона, из третьего. Весь эшелон уже палит просто так, неизвестно почему. Я тоже выпускаю из вальтера целую обойму, и с каждым толчком в руку будто жизнь возвращается ко мне. Из переднего вагона далеко в сторону летит что-то хорошо мне знакомое, становится торчком и катится по песку. И лишь когда ударяет взрыв, понимаю, что это граната.

Стрельба сразу стихает. Все мы в вагоне словно ожили, переговариваемся друг с другом, кто-то громко смеется. Чувствую, что очень голоден. Начинаем есть, наперебой рассказываем о том, кто куда едет — говорится при этом не часть или училище, а в Мары — к генералам Спирину или Лобанову, в Чирчик — к генералу Дужкину, к полковникам Ермакову, Бастрькину, Бородину. К двери теперь не протолкаться. У некоторых сохранились немецкие фляжки в сумке, и всем приходится по глотку.

Но к вечеру в вагоне делается тише. Постепенно заканчи-

ваются разговоры. Лунный серп сеет в степи покойный призрачный свет. Плавно покачивается вагон. Теплый ветер задувает в широко открытую дверь, принося далекие смутные запахи. И будто вздох, приходит песня...

Эту песню знают все. Ее пели когда-то мои родители и родители каждого из тех, кто лежит здесь на нарах в качающейся теплушке. Неизвестно даже, запел ли кто-то один ее, или сама она началась, только горький толчок отзывается в сердце.

Там вдали за рекой загорался рассвет,  
В небе ясном заря догорала...

Больше месяца я не пел и всей грудью ощущаю обретенное право. Песня рвет сердце, слезы проступают на глазах от общей нашей причастности к ней, к тому, что было и будет. Из всех вагонов она слышится теперь: задумчивая, печальная, полная осмысленного страдания.

Разгорелась кровавая битва.  
И боец молодой вдруг поник головой...  
Комсомольское сердце пробито.

Эшелон несется в ночной степи, желтый слабый свет падает из вагонных дверей на землю, рассеиваясь, умирая где-то совсем рядом. И великая простота чувства только может вылечить раненные души.

Песня закончилась, уйдя куда-то вместе с желтым светом из дверей, и эшелон спит крепким сном.

Днем на большой степной станции ярко светит солнце. Мы сбрасываем гимнастерки и ходим голые по пояс, подставляя грудь и спину мягкому ровному ветру. Кудрявцев поставил прямо напротив вагонных дверей чей-то фанерный чемодан и бреется, глядя в маленькое немецкое зеркальце. Смотрю внимательно, как он густо мылит лицо и с легким скрипом срезает жесткую рыжую щетину. Пробую рукой свой подбородок и ощущаю уже не один только мягкий пух, как было раньше.

Прошу у Кудрявцева бритву. Она тоже немецкая, с монограммой. Смачиваю лицо теплой водой из котелка, так же, как и Кудрявцев, старательно тру его пахучим эрзац-мылом. Потом осторожно раскрываю бритву и, далеко отставив от себя локоть, прикасаюсь лезвием к щеке. К радости моей, бритва легко и свободно скользит по лицу, не врезаясь в кожу. Вздыхаю облегченно и начинаю уже с твердостью водить ею по щекам и подбородку, снимая редкие, неровно растущие волосы. Бреюсь я в первый раз в жизни.

Еще через неделю я лечу самостоятельно. Три дня подряд мне давали вывозные инструктор Кравченко и командир отряда Чистяков. Перед этим в медкомиссии меня крутили на стуле и все такое прочее. Я скрыл от них больную ногу: кость еще видна в ране и щиколотка припухшая. Стараюсь не хромать, когда смотрит Ларионова или комэска...

Механик Лешка Танцура прилаживает во второй кабине мешок с песком. Выруливаю на старт, делаю разбег. Так... Осмотрительность прежде всего... капот — горизонт; скорость, стрелка, шарик... Иду в зону.

Вспоминаю, что вчера меня встретил сержант Мирошкин из штаба, суетливый парень с мягкими, полными щеками.

— Тираспольский, третий месяц уже взносы не платишь! — строго сказал он мне. Я и забыл: Мирошкин — комсорг, и со штабом у нас общая организация. Видно, не знает он, что со мной было, или забыл. По комсомольской части меня не разбирали. Заплатил ему восемьдесят копеек за два месяца... На почте я забрал все письма...

Да, здесь тоже уже осень. Белые хлопья облаков движутся навстречу. Вхожу в мутную сырость, и сразу ледяной ветер задувает за спину. Становится холодно, хоть под комбинезоном у меня новая гимнастерка. Скоро станем летать в куртках с теплым воротником...

Над облаками беспредельно синее небо. Летом оно тут белое от жары. И солнце теперь другое — чистое и холодное. Мне нужно нагонять пропущенное, но сегодня еще все старое. Как записано в задании, начинаю с того, чему учат с самого начала, на крайний случай. Убираю обороты, и резко, одновременно даю левую ногу и ручку вправо до отказа. Как остановленная на ходу лошадь, машина становится дыбом, бессильно зависает, переваливается через крыло, и земля вместе с белыми облаками начинает навстречу мне круговое, затягивающее вращение. Отсчитываю полтора витка, резким обратным движением ручки и ноги вывожу машину из штопора. Даю полный газ. Земля перестает кружиться, медленно поворачивается, уходя косо вниз, под крыло, меня привычно прижимает к сиденью, очки давят на лоб, и я выхожу боевым разворотом снова в синее небо...

*Алма-Ата.*

*Август 1981—январь 1982 г.*

Литературные сюжеты



## ПИСАНИЕ ПО БОНДАРИУ

*Олесе Гончару*

Есть одна великая картина, которая называется «Чудовище гражданской войны». Скелет грызет собственные кости...

Мы знаем, Ленин не хотел гражданской войны. Он радовался бескровности революции. Войну навязала контрреволюция. Навязала не без помощи экстремистов в лагере самой российской революции. Как только война закончилась, вся ленинская мысль без остатка была обращена на то, чтобы возвратить страну и общество к нормальной жизни. Ибо состояние гражданской войны, перманентности насилия противоестественно для человека, для общества, для государственного организма. Диктатура пролетариата предусматривает внеэкономическое вооруженное насилие лишь в период революционного взрыва, затем наступает равенство всех граждан перед законом. НЭП лишь одно из зримых проявлений этой восстанавливающей национальной равновесие доктрины.

Но сильны были даже и в самой партии идеалистические традиции народничества. Нетерпение — Ахиллесова пята всех лишенных длительного исторического опыта движений — было усугублено длительным опытом бездумного насилия предшествующего революции государства. И русский гений, обращаясь к обеим сторонам, констатировал и предрек, что насилие неминуемо привлекает к себе нравственно, морально неполноценных. Эти же существовать не могут без постоянного насилия.

О том, как морально неполноценные прибрали власть после того, как угас ленинский гений, пишется сейчас немало и еще больше будет написано. Они и в мирное время продолжали гражданскую войну, возвели ее в культ. Перманентное насилие сделалось стимулом и способом жизни в государстве, плодя и пестуя моральную неполноценность, убивая все честное, умное, творческое. Отсюда «обострение классово-борьбы» в период строительства социализма. То есть, чем больше социализма — на сегодняшний день самого разумного и удобного для человека устройства жизни, — тем больше следует сажать и расстреливать.

К чему же пришли? Помните анкеты: участвовал (участвовала) ли в белых движениях, состоял ли в других партиях или организациях, был ли в родстве с раскулаченными, с врагами народа, с находившимися в плену, был ли в окружении, был ли в оккупации, были ли родственники, есть ли родственники за границей. И соответственно паспорта с особыми буквами, отражающими степень гражданской неполноценности, а половина страны вовсе без паспортов и без права Юрьева дня. Все были виновны: вся Россия, Украина, Белоруссия и т. д. По-видимому, только два человека на четверть миллиарда населения имели абсолютно положительные буквы в паспорте. Но паспорта у них никто не спрашивал...

У каждого человека, так или иначе пережившего эту эпоху вместе с ее последствиями, есть некий образ, собравший в себе всю ее трагическую сущность. Для меня это далекое воспоминание детства. Но как написать об этом? Присутствовало в свое время в русской литературе простое, незамысловатое слово «быль». Человеческое, теплое, очень русское слово. При том широкое, просторное, емкое. Не очерк (очень уж тут чувствуется очерченность, граница), и не рассказ, подразумевающий сказителя (отсюда слово *исказитель*). Именно *быль*. Как сейчас помню потрепанную, без обложки книгу из родительского дивана. «Родная речь», не то для гимназий, не то для народных училищ, с «ятем» и картинками. Начиналась она с Пушкина, потом Некрасов, Майков, Никитин, «Кавказский пленник» Толстого — я знал ее наизусть. Там и увидел это слово — *быль*.

Только, наверное, и оно не подходит для обозначения того, что собираюсь писать. Все на свете трансформируется, развивается, и «прошлогодние гнезда не для нынешних птиц». Тем более, что пытаются передать не одно лишь увиденное собственными глазами, но и некие отзвуки, сполохи памяти, навеки вошедшие в жизнь. Они не могли появиться из *ничего*. Все это *было*...

Он был, бандит Бондарь, и лежал головой к забору на площади в местечке Ладыжине, входившем в Тульчинский округ Винницкой области. Его боялись и мертвого. Это я точно помню, хоть не было мне тогда, по-видимому, и четырех лет. Держась за куст бузины и раздвинув доски забора, я смотрел из школьного сада на площадь. Он лежал в двух шагах, и в жизнь до конца моих дней вошла откинута в бурьян голова с буйно разбросанным светлым волосом. Лишь бровь на белом лице была темной, круто изогнутой к припачканному пылью виску. Его бросили здесь, на краю площади, чтобы все увидели и убедились, что знаменитый Бондарь убит и некого больше бояться в Туль-

чинских лесах. Однако конная милиция стояла у въезда на площадь. На мосту через речку стояли конные милиционеры, и по обе стороны забора, но никто не подходил ближе, чем за пятнадцать шагов. Я до сих пор чувствую этот общий страх к неживому человеку. На нем была белая нательная рубашка, босые чистые ноги торчали из штанов с тесемками. Никакой крови я не видел. Милиционер с высоты коня негромко прикрикнул на меня: «Эй, хлопчик... не можно тебе тут!»

Я впитал это в себя с первым светом и звуками мира. День Парижской коммуны был провозвестником всего остального. Именно в этот день я родился в студенческом общежитии Одесского института народного образования — в прошлом Императорского Новороссийского университета, а в будущем Государственного университета имени Мечникова. Отец мой носил комсомольскую форму с ремнем через плечо и сапоги. Он воевал в гражданскую, перед тем учился в хедере, а потом на рабфаке. Мать пришла в институт после лютеранской гимназии. Мое имя не могло быть другим: Марсель или Морис. Спорили лишь об этом.

Именно в День Парижской коммуны, чему только соответствовало мое рождение, собирались в нашей маленькой комнате уже в Одессе товарищи отца по Польскому фронту. Они пили легкое молдавское вино и пели. Я помню эти негромкие песни:

Бьемся мы за того, кто писал «Капитал»,  
И еще за того, кто в Сибири страдал.  
Проведем же, друзья, эту ночь все смелей,  
Разобьем мы врага, будем жить веселей!

А еще очень трогавшая меня песня, где происходил расстрел белогвардейцами пленных бойцов-комсомольцев. Их заставили рыть себе могилу. Я видел это наяву:

К ним подошел молодой генерал:  
— Теперь, я надеюсь, поймете:  
Вы землю просили, я землю вам дам,  
А волю на небе найдете!..

Потом сокурсник отца Иван Иванович Погребняк запевал:

У городі верба рясна...

И все пели украинские песни. Но это было позже...

После окончания института отец по партнабору поехал в Ладыжин заведовать семилетней школой с двумя отделениями: украинским и еврейским. Это потом уже было: борьба со «скрипниковщиной» и все остальное. Мать ушла с третьего курса



немецкого отделения физмата и учила детей арифметике и немецкому языку... У меня тоже было два языка: украинский и русский. Пожалуй, даже украинский был практически ближе, потому что на нем говорила тетка Горпына. Ее сад примыкал к школьному двору, и большую часть времени я находился там: держался за ветки и рвал губами вишни, помогал выдирать из грядок крупную оранжевую морковь, играл в «таракуцу» — пустую тыковку с засыпанным в середину горохом. Мать была всегда занята, и соседка купала меня в деревянном корыте, похлопывая теплыми сильными руками: «Ручки, ножки, жопку трошки!» То не саморекламная чья-то выдумка — слово и понятие «щирый».

А еще как-то тетка Горпына вела меня в церковь. Было это весной, и мы долго шли через половодье по качающимся доскам к чуть слышному за синими лесами звону. Все церкви вокруг были закрыты, оставалась лишь эта. Горпына что-то долго и убеждающе говорила попу, и тот, посмотрев по сторонам, быстро побрызгал меня водой. Я видел испуганные глаза батюшки, не совмещаемые со всей его осанистой фигурой в торжественном одеянии, и понял, что об этом не надо рассказывать дома...

Где-то тогда и явилось это имя, даже не имя, а некое понятие. Оно содержалось в воздухе, с утренними тенями залегая в балках, садах, перелесках. А к ночи вдруг взрывалось выстрелами, полохами огня, и затем похоронами в обитых кумачом гробах с троекратными залпами в небо. К слову «Бондарь» неотвратимо добавилось слово «петлюровщина», и глаза учеников в еврейских классах были расширенно-тревожными. Это был привычный во все времена каинов знак контрреволюции: «Бить жидов и коммунистов!», и намеченное этим знаком уже не могло отмыться...

Но что-то там было не так. Рядом с понятием Бондаря явилось имя Гриша. Оно прозвучало в тихом ночном разговоре родителей. Уже потом, сделавшись старше, я осознал все компоненты трагедии. Отец мой, естественно, был членом не то укома, не то еще какого-то партийно-комсомольского органа. А Бондарь тоже был некогда комсомольцем и знал отца. Мне так и осталась до конца не известной степень их близости. Это были годы начала крутой коллективизации: с реквизицией скота, обобществлением птицы, уполномоченных с наганами в руках. Завершалось это потоками бредущих по жидкой грязи людей: стариков и молодых, женщин, детей в сопровождении молчаливого, исполненного классовой непримиримости конвоя. Тогда комсомолец Григорий Бондарь ушел в Тульчинские леса... Происходившее выстраивалось в памяти много лет спустя из всплесков воспоминаний, обрывков разговоров, неотвратимого осмыс-

ления собранных вместе разнородных осколков. Но я точно помню материнскую тревогу, когда отец собрался идти в Тульчин со школьным отчетом. Бондарь — это повторялось дома, на улице, в школе, где я путался под ногами, мешая всеобщей ликвидации безграмотности. Только тетка Горпына молчала, поджав губы.

Прошел день, как ушел отец, потом наступила ночь с привычными выстрелами и заревом у горизонта. Мать не спала и все подходила к стеклянной двери, за которой темнел школьный сад. Потом опять был день и снова ночь. Так прошло четыре дня, и вдруг стихла шумная детская беготня во дворе. Учителя и ученики стояли молча и смотрели на отца, который шел от школьных ворот к дому. Все в местечке знали, что по дороге в округ он был захвачен бандитами...

Подробностей я не помню. Приходили какие-то люди, среди них начальник милиции, тоже член укома. Кто-то приезжал из округа, потом отец два или три раза ездил в Тульчин и зачем-то в Гайсин. Мне понятным это стало много позже: от отца требовали объяснений, почему бандиты отпустили его. Ведь «петлюровщина» и все остальное...

Ночью горела прикрученная керосиновая лампа. Я не спал и слышал, о чем тихо рассказывал отец. Сам Бондарь вышел из леса и позвал его к себе. Они пришли на хутор и там отец пробыл с ним целые сутки. Они пили, ели и разговаривали.

— Откуда ж та напасть на селянство?.. Нет такого у Ленина, Давид!

Это, схватившись руками за голову, все повторял у ночного костра в лесу Бондарь. Потом он сам проводил отца к дороге на Тульчин. Там они попрощались и разошлись.

В то же лето увидел я Бондаря сквозь доски забора. Отец сидел в комнате, положив обе руки на стол. Мать хотела пройти к убитому, но милиционер поставил лошадь поперек тропинки в саду и не пропустил ее. Тетка Горпына поставила свечку к иконе в углу и тихо, беззвучно молилась. Я сидел рядом...

Мы жили уже в Одессе, на улице Свердлова, 17. Закончивший аспирантуру отец работал бактериологом на консервном заводе имени Ленина и на полставки в только что построенном в порту у самого мола огромном и белом, на целый квартал, холодильнике. Осенью в городе появились первые голодающие. Они неслышно садились семьями вокруг теплых асфальтовых котлов позади их законных хозяев — безпризорников — и молча смотрели в огонь. Глаза у них были одинаковые: у стариков, женщин, грудных детей. Никто не плакал. Безпризорники что-то воровали

в порту или на Привозе, порой вырывали хлеб из рук у зазевавшихся женщин. Эти же сидели неподвижно, обреченно, пока не вагались здесь же на новую асфальтовую мостовую. Их место занимали другие. Просить что-нибудь было бессмысленно. По карточкам в распреде научных работников мать получала по фунту черного хлеба на работающего, полтора фунта пшена на месяц и три-четыре сухих тарани. Эта деликатесная рыба была тогда основной едой:

Ишь таранку, пий водичку,  
Та виконуй пятиричку!

Одесса шутила...

Это была очередная «неформальная» вежа, Тридцать Третий Год. С середины зимы голодающих стало прибавляться, а к весне будто вся Украина бросилась к Черному морю. Теперь уже шли не семьями, а толпами, с черными высохшими лицами, и детей с ними уже не было. Они лежали в подъездах, парадных, на лестницах, прямо на улицах, и глаза у них были открыты. А мимо нашего дома к портовому спуску день и ночь грохотали кованые фуры, везли зерно, гнали скот. Каждый день от причалов по обе стороны холодильника уходили по три-четыре иностранных парохода с мороженым мясом, маслом, битой птицей. В городе вместо тарани стали выдавать на месяц по полтора фунта синеватой с прозеленью конины. Мне в тот год предстояло идти в школу. Помню буйный майский дождь. Задрав штаны, мы, припорто́вые дети, бегали в потоках несущейся вдоль тротуаров воды и во все горло пели:

Телятину, курятину буржуям отдадим,  
А Конную — Буденную мы сами поедем!

Это было так или иначе связано с Бондарем, я уже знал...

А потом он возник в угрожающей реальности. И опять это был тихий родительский разговор. Отец явился из некоего «ниоткуда», до глаз заросший черным нечеловеческим волосом, неузнаваемо худой, и шел от него тот особенный мертвый запах отмирающей плоти, который мне самому пришлось осознать уже потом, в войну. Человек все прочувствует только сам, даже опыт отца не служит гарантией сути вещей...

Гудел примус. Отец долго мылся в отгороженной части коммунального коридора. Ел он как-то совсем по-новому, движения его были точные, вроде бы как у слепого...

Была следующая вежа — Тридцать Седьмой Год. Отца взяли по дороге с завода домой. Я держал на руках шестимесячную

сестру, а следователь внимательно просматривал пеленки в удачно купленной матерью детской коляске. Несколько ночей по очереди с матерью я бегал на Преображенскую, наискосок от памятника Воронцову. Нужно было успеть забросить отцу завернутые в «Черноморську коммуну» полтора килограмма сала. Арестованных отсюда перевозили на открытых грузовиках в тюрьму, и сотни людей стояли молча ночь за ночью на зимнем морском ветру.

Учился я сначала в 70—й украинской школе, стоявшей прямо над портом, а потом перешел в пятый класс новой русской 116-й школы как раз напротив нашего дома. Мне было все равно, так как оба языка я знал одинаково хорошо. На свою беду, бегая в школьном вестибюле, я не удержался на ногах и головой надколот краешек гипсового бюста М. И. Калинина. Учитель черчения, молодой породный мужчина со жгучими черными глазами и густым каштановым волосом потребовал у директора Рыгаловой моей общественной изоляции. Рыгалова когда-то училась с моим отцом и отвергла эту патриотическую инициативу. Тогда учитель стал организовывать учеников, чтобы проучили сына врага народа, посмеявшегося покунуться на бюст вождя. Я перестал ходить в школу. А еще через четыре года этот мой учитель стал самым свирепым офицером румынской полиции в оккупированной Одессе...

Отца обвинили по четырем статьям. Там значились измена Родине, шпионаж, диверсии и что-то еще, менее значительное. По делу было арестовано руководство «Укрконсервтреста» и все директора, главные инженеры и заведующие баклабораторий консервных заводов и фабрик Азово-Черноморского побережья. В частности, утверждалось, что где-то в Днепропетровске или Мариуполе были отравлены консервами двести командиров Красной Армии. А в газетах как раз рассказывалось, до чего в самом центре докатились изверги рода человеческого. Один из них, пробравшийся в наркомы, до того воспылал злобой к простым советским людям, что при посещении маслозавода где-то в Белоруссии незаметно высыпал из кармана битое стекло в сливочное масло. Это заметила одна бдительная работница...

Да разве сам я со своим другом не рассматривал со вниманием спичечные коробки, выискивая и находя на них профиль Троцкого. Взрослые люди обнаружили фашистские знаки на деньгах, подписанных разоблаченным наркомфином Пятаковым. А еще мы с другом дежурили вечерами над морем, засекая мигающие по ту сторону залива огни, с чем и пришли как-то в областной НКВД. Нашу схему вражеских донесений с помощью азбуки Морзе взяли и поблагодарили, попросив продолжить наблюдения. Проверая себя, я думал о том, как поступил

бы на месте Павлика Морозова. Но нет, у меня был совсем другой отец...

Произошло одновременно закономерное и невероятное. Работая без технического руководства и бактериологической службы, один за другим встали консервные заводы юга страны. Особенно неудобна была остановка завода имени Ленина, работавшего на экспорт. Второй месяц дожидались погрузки в порту иностранные суда. Начинался Тридцать Восьмой Год. Нарком пищевой промышленности Микоян, осведомленный из первых рук о предстоящей борьбе с клеветниками, взял на поруки все руководство треста и завода, в том числе и моего отца. Вскоре дело прекратили, а некую заводскую активистку, написавшую сто тридцать восемь заявлений на врагов народа, расстреляли. Отцу выдали полугодовой оклад, и он купил себе зимнее пальто из довоенного драпа с большим каракулевым воротником. Кто-то хранил его еще со времен революции.

В ночь возвращения отца я услышал опять это имя. Речь шла не о шпионаже и диверсиях, и следователь был совершенно прав. Он искренне не мог понять, почему когда-то в Тульчинском лесу бандит и националист Бондарь не убил еврея и заведующего школой — моего отца. Это никак не соответствовало схеме расстановки политических сил на Украине, выразившейся в определенных партийных решениях. По имевшимся у следствия некоторым данным, отец с Бондарем обнялись при расставании...

Я сам уже после войны работал учителем в селе Большое Плоское Великомихайловского района Одесской области. Это было в ста с небольшим километрах к югу от тех мест, где учительствовал когда-то отец. Все было живо в моей памяти...

Веи, как при быстрой езде, сливались в одну сплошную линию. Эта называлась — Сорок Седьмой Год. Обессиленную историческими катаклизмами землю постигло обычно соответствующее им природное явление — засуха. Дети ходили в школу ради выдаваемых международной помощью ста граммов хлеба и тарелки американского горохового супа. Они толстели на глазах. Их лица, руки, ноги становились как пуховые подушки. Потом они перестали ходить даже за супом. Всякий день за околицу села выносили по двадцать — тридцать гробов. В Западной Украине, где шли обильные дожди, осталась необранной в полях картошка. Люди бросились туда, но их останавливали милицейские заставы. Кого захватывали с картошкой, давали по десять лет. Говорили: «Приказ Молотова!»

И все же люди каким-то образом добирались туда, выкапывали эту картошку, забирались с ней на крыши вагонов. На

глухих перегонах их ждали другие люди. Они привязывали веревкой к дереву железные кошки с зубьями, которыми вылавливают из колодцев утонувшие ведра. В ночной тьме их бросали вдоль крыши несущегося поезда, сдергивая все подряд: мешки с картошкой и спящих людей. Вдоль дорожных насыпей у Жмеринки, Котовска, Балты, станции Раздельная валялись обезображенные, истерзанные трупы мужчин и женщин, так и не доехавших к своим голодным детям. Не было блокады и оккупации...

«Нет такого у Ленина, Давид!» Эти слова присутствовали во мне в одном ряду с другими, что я учил и звонко повторял в школе, затем произносил в институте, самозабвенно раскаляя себя, писал в газете. Эта психологическая раздвоенность началась тогда, когда четырехлетним ребенком увидел смертный испуг в глазах большого взрослого человека, брызнувшего на меня водой в маленькой сельской церкви. Не умом, а всем стремившимся к биологическому выживанию юным организмом ощутил я запретность происходящего. Она толкнула меня на первую в жизни ложь умолчания перед родителями. В противовес законам генетики проводился грандиозный опыт применения науки об условном рефлексе в социально-общественной жизни с проекцией на все будущие поколения. Лишь на время войны, будто черт от ладана, вдруг рассыпалось это пестуемое и узаконенное раздвоение совести...

Не знаю, как это объяснить, но я явственно слышал и сам голос. Он всегда у меня в ушах в прямом соотношении: лежащим головой к забору мертвым человеком с раскинутым по земле русым волосом. Это поднятый до высокой украинской патетики тенор, и мне знакома в нем малейшая интонация. Истовое, жгучее неприятие неправды — природный его знак.

Но такого быть не могло. Лишь ночной рассказ отца представлял собою реальность. Я никогда не видел живым Бондаря. Тут происходило другое. Вечерами, когда солнце уплывало в дальние леса, с разных сторон слышались песни: вековые и совестливые, кармелюкских времен. Этого нигде больше нет, кроме Украины, с поля идти с песней.

— Хлопцы поют! — говорил я родителям, чутко прислушиваясь. Видимо, это были первые мои связные слова, потому что родители, смеясь, повторяли их потом всю жизнь. Голос был песенный...

Вехи выстраивались уже вплотную одна к одной, в глухой, без единой щели, забор, за которым ничего уже нельзя было увидеть. Эта была вкопана в начало Пятидесятых. Я прилетел

в Алма-Ату, где остался после эвакуации работать отец. Он был крупный микробиолог, ученик Н. Ф. Гамалеи, работал заведующим кафедрой и ученым секретарем Одесского государственного университета имени Ильи Ильича Мечникова, читал лекции по-украински, но в соответствии все с той же вехотворческой политикой случилось как-то вдруг, что он стал не нужен украинской науке.

Зато он сделался организатором микробиологической науки в Казахстане, создал академический институт, десять лет был его директором. Разработанное им с учениками микробиологическое силосование кормов сыграло свою роль в освоении Целины и получило признание в США и Канаде.

Взять отпуск в газете и лететь сюда меня заставили некоторые тревожные нотки материнского письма. Нет, мать с ее нордическим характером никогда не позволяла себе испуга или нерастерянности. Я прочел нечто между строк...

Помню, как встретил отца на улице Пролетарской с каким-то человеком. Они шли вверх и тихо разговаривали. Лицо человека показалось мне удивительно знакомым, хотя я точно знал, что никогда раньше его не встречал. Они замолчали при моем приближении.

— Вот, мой сын, — сказал отец. — Он пьесы пишет...

Человек внимательно посмотрел на меня и подал руку. Он был чуть сгорблен, и умные глаза смотрели с какой-то печальной усталостью. Я узнал его: это был известный казахский классик с мировым именем. Я начал говорить что-то о радости знакомства и вдруг понял, что им сейчас не до меня: ни отцу, ни этому человеку, так что быстро стал прощаться...

А накануне произошло то, что отца освободили от должности директора созданного им института. Фактически обвинения были кадрового порядка: принял на работу одного известного микробиолога, отбывшего срок в карагандинских лагерях, и еще одного такого же из Чимкента. Кроме того, взял к себе в аспирантуру дочь казахского националиста, расстрелянного в Тридцать Седьмом. При этом шла борьба с остатками вейсманизма-морганизма, критиками-космополитами, врачами-отравителями, ну и так далее.

А казахского классика, написавшего великий роман, в очередной раз обвинили в националистическом искажении истории и тоже сняли с работы в Академии наук. Все произошло на одном и том же ответственном заседании, с которого они сейчас шли: писатель и мой отец — микробиолог. Забегая вперед, скажу, что очередная веха — Пятьдесят Третий Год — оказалась вкопанной лишь на четверть. Произошло, как говорится, «известное событие», и казахский классик, которого укрывали в Москве и

Ленинграде от ареста русские коллеги, вернулся в Алма-Ату: и вскоре получил за свой роман Ленинскую премию. Восстановлен был на работе и мой отец...

Однако в тот мой приезд отцу было невесело. В городе шли неслучайные разговоры о каких-то белых крысах, разбежавшихся из института микробиологии, об «убийцах в белых халатах». Где-то подспудно велось следствие. Родители опять разговаривали между собой тихо. Это было чуждо, но они по-прежнему ощущали меня маленьким мальчиком в Ладыжине. Я же уже мог рассказать им о себе такое, чего они не могли бы увидеть в самом жутком сне. Но я ведь тоже щадил их.

Нет, ни разу в те дни не вспоминалось о Бондаре, но я знал, чувствовал, что они помнят о нем. Никогда не уходил он из их жизни. И из моей тоже...

Иногда я думаю, кем мог бы быть бандит Григорий Бондарь в иной исторической ситуации. Прежде всего, очевидно, хорошим хлеборобом. К Тридцать Третьему году он бы безо всяких понуканий сделал так, что мы смогли бы продавать за рубеж втрое больше масла, мяса и пшеницы на валюту для нужд индустриализации, да и сами были сыты. Несомненно, он был личностью, и я почему-то уверен, что ему предстояло стать организатором продуманной, идущей непосредственно от крестьянского, а следовательно рабоче-крестьянского интереса, кооперации на селе. Хороший хозяин не рождается из воздуха. В войну, если бы она все же состоялась в той, другой ситуации, я вижу его почему-то командиром танковой роты: с тракторами имел дело и опять-таки хозяин. Да и мало ли кем мог стать здоровый духом, умом и телом крестьянский сын в нормальных условиях социализма. И еще миллионы и миллионы таких же.

Но что бы тогда делали морально неполноценные? Ведь он естественно, с полным правом мог бы претендовать на занимаемые ими места и наверняка занял бы их. Вот почему семьдесят лет они ведут, по существу, гражданскую войну. Прислушайтесь внимательно к ним, вчитайтесь в их статьи. Они требуют продолжения насилия. Иначе их существование не имеет смысла.

1988 г.

## ДЕБЮТ

С папкой под рукой перехожу площадь и останавливаюсь у памятника. Боковым зрением вижу людей, сидящих полукругом на скамейках: как же они так вот просто сидят здесь? Дремлет старушка, две молодые женщины с сумочками о чем-то увлеченно разговаривают, железнодорожник в старой, чищенной форме опус-



тил руки между колен, тетка ест булку с сыром — обычно так ест. И дети бегают — кричат что-то свое...

Но это только вначале. Обойдя памятник и опять посмотрев вверх на опущенную в задумчивости бронзовую голову, я уже прямо смотрю на людей. И вдруг понимаю, что, несмотря на обыденный вид, лица у них тут особенные. Что это: свет какой-то, звук? Как определить это чувство?

Такое всегда происходит со мной у этого места. Некая пелена спадает с глаз, и начинаешь видеть все в какой-то проникающей ясности. И ходишь потом по Москве все в том же высоком отрезвлении чувств, отбросивший надолго от души всяческую деловую мелочность и суету. Уезжаешь в таком состоянии.

Мне нравятся какие-то другие памятники, в других городах, возле них я испытываю волнение, но такое случается только здесь. Как видно, эта опущенная в гордости голова тому причиной.

Но мне нужно идти. Крупный желтый песок хрустит под подошвами. Знаю, что это где-то здесь, рядом, на этой площади, и ничего больше. Иду в какой-то уверенности, никого ни о чем не спрашивая. Дохожу до конца сквера, сворачиваю налево, замедляю шаг. Все будет так, как и должно быть. А глаза уже не отрываются от единственного здесь двухэтажного дома. С каким-то достоинством стоит он на углу этой площади, да и посреди всего города. Он здесь на своем месте.

Почему же знаком мне этот старомосковский дом? Ведь я там никогда не был. Со стороны площади нет ни номера, ни таблички, но уверенно обхожу угол с водосточной трубой, вижу единственную тут дверь. Отворяю ее: в полутьме старая мраморная лестница ведет к массивному, вделанному в стену зеркалу. По сторонам наверху еще две двери. Даже не зеркало это, а целая зеркальная стена, темная от времени, и в ней почти ничего не видно. Не раздумывая нисколько, иду налево. Именно на эту площадь должны выходить тут окна.

Попадаю сразу в большую комнату, целый зал. Только часть его по окнам отгорожена легкой, как видно, деревянной стеной, и двери кабинетов-клетушек выходят сюда, в приемную. Это знакомо по московским послевоенным учреждениям, но здесь...

Пожилая женщина, наклонив легкую седеющую голову, смотрит на меня из-за стола, что стоит направо от входа. Она что-то раскладывала: письма, карандаши. Видимо, только что пришла: сумка ее стоит нераскрытая на столе, шарфик висит на спинке стула. Она даже еще не села.

— Да, это я отправляла вам телеграмму, — говорит она, когда называю себя. — А Борис Андреевич уже на редколлегию

сам приезжает. Мы так испугались весной... Подождите, я зажгу свет.

Зинаида Николаевна — так зовут ее — щелкает выключателем. В комнате становится светлее. Она продолжает говорить:

— У вас, наверно, опять жарко? Там же пустыня. У меня сестра двоюродная была в эвакуации... Но вы рано пришли. Все будут только к часу, Евгений Николаевич и Борис Германович тоже. У нас с часу дня...

Из большой двери направо, пока мы говорим, слышится стук машинки. С чайником в руке выходит смуглая, с гладкими темными волосами женщина.

— Вот, Софья Ханаановна, тот автор. Из Ашхабада...

— Да, мы отправили вам телеграмму.— говорит Софья Ханаановна.— Садитесь пить чай.

Несмотря на мой отказ, мне наливают чаю.

— Все, кто из Азии, любят пить чай.

Как-то иначе представлял я свой приход сюда. Сажу и пью чай, что-то рассказываю. Про то, что лететь от нас четырнадцать часов с пятью посадками, или что пьют у нас и русские зеленый чай без сахара. В соседней комнате звонит телефон. Софья Ханаановна выходит туда, и слышен ее грудной голос: «Нет, сегодня не будет... Сегодня его не будет!»

Через комнату, откуда она говорит, видна в открытую дверь еще одна комната: край стола, кресла, портреты на стене. Понимаю, что дальше там уже ничего нет. Мне предлагают подождать, почитать что-нибудь, но мне это трудно.

Выхожу на улицу. Идут троллейбусы, машины. Смотрю от угла на высокие окна второго этажа. Я был только что в редакции журнала «Новый мир»...

Назад иду не через сквер, а мимо «Известий», возле кинотеатра на другом углу перехожу улицу. В кафе с тремя беломраморными богинями что-то ем, чтобы убить время. Опять достаю то, первое письмо на журнальном бланке — оно уже стерлось по краям. Читаю. И смотрю еще раз полученную накануне телеграмму.

Можно даже сказать, что я не новичок в литературе: Десять лет назад написал пьесу. Там действовали геологи, пограничники, колхозники — дайхане, а также шпионы со своими подручными. Трудность для меня заключалась в том, что я не знал, как ищут нефть — узнал об этом много позже. Тем не менее обошел как-то этот вопрос. Правда, дело задержало великое ашхабадское землетрясение, но пьеса получила премию на республиканском конкурсе, была поставлена, имела успех и даже была отмечена рецензией местного литератора под заглавием «В кривом зеркале». Речь в рецензии шла, конечно, не о технологии поисков нефти, совсем о другом...

Тут же написал еще одну пьесу, послал ее в Москву, получил рецензию с указанием недостатков и вдруг, так же неожиданно, остыл к этому делу. Не то чтобы отказался совсем от литературы, что-то иное удерживало руку.

А пока что, наверстывая военные годы, закончил заочно факультет журналистики и стал воевать с неправдой в качестве записного фельетониста русскоязычной газеты со всеми вытекающими последствиями. Так в конце концов оказался в системе ТАССа, где писал уже о трудовых успехах. Все было закономерно, в том числе и приобретенный опыт. И снова вдруг, накануне еще не думая ни о чем, сел писать повесть. То есть думать-то думал все эти годы, но почему сел писать именно в этот день, трудно сказать.

Вскоре объявили в республике очередной литературный конкурс, и повесть я послал туда: естественно, без фамилии и под девизом, как это строго требовалось. А незадолго до подведения итогов заместитель председателя жюри, тот самый литератор, который десять лет назад написал рецензию «В кривом зеркале», сказал мне с благодушной улыбкой: «Ох, какой только муры не поступило на конкурс... Знаешь, один даже от Александра Македонского начал повесть о гражданской войне. Обхохотались там все, когда я докладывал»

Это было о моей повести. Ее к голосованию не допустили. Я перепечатал ее и послал в «Новый мир». Просто так, не думая, без какой-то надежды напечататься. Куда-то нужно было послать, так уж в «Новый мир». А через три недели получил оттуда письмо.

Сначала даже не понял, в чем дело: слишком уж быстро. К тому же, как и с пьесой, ожидал получить назад свою рукопись с перечнем недостатков. Конверт вскрыл с тревожной настороженностью... «Думается, после некоторой доработки... могла бы быть напечатана в журнале... Сообщите, пожалуйста, смогли бы Вы приехать и когда...»

Понял, но еще не поверил. Нашел телефон на последней странице журнала, позвонил в Москву. Услышал сухой, подчеркнuto деловой голос: «Да... да... рекомендовал член редколлегии Лавренев. Пока не выезжайте, мы сообщим».

В растерянности положил трубку — ведь почти уже было поверил. Два дня ходил не то что разочарованный, а недоумевающий. И тут телеграмма: «Работа рукописью откладывается до выздоровления Лавренева, дальнейшем известим».

Позвонил еще раз, узнал о тяжелом сердечном приступе у писателя Бориса Лавренева. Какая-то женщина (видимо, Зинаида Николаевна) сказала, что это надолго, не меньше, чем на пять-шесть месяцев. И вот тогда я, кажется, поверил...

А пока что писал отчеты с пленумов, ездил к друзьям на канал в Юго-Восточные Каракумы. Ездил с другом — приблизительно одних лет со мной — уже известным московским писателем, получившим за свою первую повесть Сталинскую премию, а теперь переживавшим очередной мрачный период в своей жизни — то ли в личной, то ли в творческой. Он был меланхолического склада, мой друг, и мало говорил о себе, о сложной и трудной своей судьбе. Лишь глаза у него были пытливые и грустные. Здесь он, по договору с местной киностудией, писал сценарий о строителях канала с кем-то в соавторстве, потом число соавторов выросло до четырех, до пяти, а он только вздыхал и чуть подергивал рукой, когда обсуждался символ будущей картины: чайки над барханами. Хорошие пять лет уже, как это сделалось расхожим штампом. Много позже он написал о пустыне и воде большой роман и по нему был сделан неплохой фильм.

К слову сказать, другой мой друг, с которым я работал в газете, тоже был профессиональный писатель, учившийся когда-то в Литературном институте в самый славный его период. Так что нельзя сказать, чтобы я так уж далек был от литературной среды. Кое-что пришлось повидать и с изнанки. Помню, с очередной писательской группой приехал к нам «на канал» относительно известный прозаик. Узнав от меня, что я послал в Москву пьесу, и такой-то критик в закрытой рецензии, отметив достоинства, указал и на недостатки, он вдруг задрожал даже от негодования:

— Ведь он же вас под корень подрубил. Это известный живоглот. И хорошим словам его не верьте — мягко стелет. А сам — дубиной... Немедленно садитесь и пишите на него все как есть. Зажим молодых и так далее. Я вам помогу. Не будьте тухтей, пишите!..

И все три дня, что мы с ним общались, он кричал, настаивал, буквально требовал, чтобы я написал какую-то там жалобу на старого критика, очень старого и больного, как вскоре узнал я из некролога. Я же, глядя на этого здорового солидного человека, думал о том, что ни пьесы моей, ни рецензии на нее он не читал. Как же он судит об этом?

А еще как-то приехали к нам два известных, заслуженных поэта. Песня одного из них прошла через всю войну и в четырех шагах от смерти согревала солдат своим чистым огнем. В редакции «Туркменской искры» на встрече с коллективом этот поэт вдруг обрушился на другого известного писателя, чьи разящие статьи в тех же окопах и землянках передавали из рук в руки солдаты. Каких только обвинений не высказал он в адрес

того, явно стремясь зажечь «ярость масс». Какая уж там могла быть между ними принципиальная вражда?

Сотрудники редакции, смущенные, молчали. В газетах было опубликовано сообщение, что этот писатель арестован вчера агентами охраны в Чили, куда поехал к своему другу — великому латиноамериканскому поэту (Пиночет тогда, наверно, учился еще в офицерской школе). Кто-то не удержался и сказал об этом. Гость, не ожидавший такого здесь, на периферии, и, как видно, не читавший сегодняшних газет, быстро переменял тему, но все недовольно поблескивал глазами в сторону нарушившего этикет товарища.

У нас проходил тогда литературный пленум, и этот же поэт, умеющий говорить образно и умно, оказавшись вдруг в кругу двух-трех бойких представителей местного литературного полусвета, остро посмотрел на них и «выдал» пошлую частушку «под народ». Те дружно заржали и побежали ее пересказывать каждому встречному, подчеркивая свое личное присутствие при рождении экспромта великого человека. А в ушах у меня все стояла и не уходила тихая тоскующая песня, которую сам пел когда-то, кутаясь в шинель на ледяном ветру.

Таково свойство нашей периферии, что она таит опасность для всякого приезжего человека. Моменты поведения, сделавшиеся привычными, обиходными в столичной сутолоке, проступают вдруг в первоизданном своем качестве. И человек словно бы обнажается, сам не замечая того. Пресловутое наше гостепримство не позволяет даже видом своим выказывать что-либо гостю, и с лица у нас не сходит благожелательная улыбка. А тут еще восторженные возгласы дорвавшихся до знаменитости «книголюбов» (мне кажется, это прямо противоположно слову читатель). И тогда то, что дома допускается как признанные всеми правила игры — то простака-демократа играет, то сложную натуру, — начинает тут резать глаз. Только очень наблюдательный и умный человек выдержит этот искус и не впадет в неосознанное кокетство.

И не так безобидно, как на первый взгляд кажется, это поведение. Особенно когда видишь, как предельно осторожничающий со своими московскими коллегами или изданиями критик, затрубив в трубу, превращает в грушу для битья отдаленно живущего литератора или периферийный русский журнал. Дело не просто во внешних манерах.

У нас, провинциалов, другой грех. Смотришь, как сразу три или четыре неглупых человека надевают совсем в одинаковую клетку рубашки, и не просто так надевают, а все вместе каким-то особенным образом подкатывают рукава. Вспоминаешь, что такую же рубашку с точно такими же подкатанными рукавами

носил приезжавший в прошлом месяце известный писатель. Еще через неделю уже где-то в области, на нашей периферии, ашхабадский литератор, окруженный почитателями, отставив руку и особым образом повернув голову, говорит баритоном с этакой расстановкой: «А помнишь... старик... это место у Льва Николаевича... Великолепно там сказано!» Ну жест в жест, слово в слово, и даже баритон от недавнего гостя. Это бы еще ничего. Ведь он и писать так станет стараться — под того!

Впрочем, это не система. Сразу же все мелкое, наносное заслоняет огромная фигура поэта Середины Века. Он и физически огромен — с красивым мужественным лицом, на котором ключковато топорщатся седые брови. Ему не нужно суетиться, подыгрывать кому-то, искать популярности, он сам по себе. Рано и нелепо погибший впоследствии Юра Рябинин — наш ашхабадец — читает стихи, и девичьи чистые, голубые глаза его делаются еще больше, если это только возможно. А потом мы долго сидим, сухой и горячий ночной воздух сметает влагу с наших лиц. Сидим до утра, и чувство высокой сопричастности литературе не покидает нас, когда Черные Пески вдруг краснеют, вмиг раскаляются добела одной стороной барханов, в то время как другая сторона делается еще черней... Я и не знал, когда писал повесть, что рождается новый штамп.

Много разных талантливых и хороших людей бывало у нас. Пора бы и попривыкнуть. Да и в застенчивости меня не обвинишь. Газетная жизнь чему-нибудь да научит. И все же с какой-то даже завистью смотрю на юного литератора, каковым тот сам себя объявил с четвертого класса. Независимой походкой, эдак свободно помахивая руками, подходит он к старому известному писателю, которого изучал в школе, и, снисходительно-умудренно поглядывая на толпу, заводит легкий литературный разговор. Мне такое не давалось даже к утру, за одним столом...

Думаю обо всем этом, сидя у памятника. Никуда не уйду с этой площади, хоть ждать еще два часа... День в день, ровно через шесть месяцев я позвонил в журнал, и мне сказали, что Лавренев уже оправился от болезни. На обложке журнала за это время сменилась фамилия редактора.

Рядом со мной на скамейке сидят уже другие люди. Они тоже, как бы не видя памятника, заняты своими делами: читают, разговаривают, смотрят куда-то. Дети бегают с мячом. Я знаю, что тут так все и должно быть.

— Хорошо, что вы пришли пораньше. Все уже здесь... Борис Германович, к вам автор из Туркмении!

Зинаида Николаевна говорит это занятому человеку в темном

костюме, который проходит в одну из малых дверей с корректурой в руках. Он мельком, но внимательно смотрит на меня, приглашает к себе. Отгороженная от зала комнатка напоминает пенал.

— Кое-что там придется сделать. Пойдемте к Евгению Николаевичу...

Борис Германович Закс, ответственный секретарь, ведет меня в другую комнату за перегородкой, как раз угловую в доме. За столом в облаке дыма сидит пожилой, с пепельными волосами и в серой рабочей куртке человек, и близорукие глаза его как бы с трудом пытаются разглядеть нечто в мире. Может быть, от папиросного дыма он показался мне таким, но мне вдруг становится почему-то легче, проще. У человека добрые глаза. Не от близорукости добрые, как кажется порой, а именно сразу и бесспоротно видно, что это главное качество его души. Плавающим движением руки нащупывает он очки на столе:

— Конечно... Я тоже рекомендовал, и Кондратович. Сейчас мы позвоним Борису Андреевичу, в Переделкино.

Он выходит, и пепел, кажется, сыплется с его куртки. Сидевший с ним в комнате писатель продолжает курить, и дыму все прибавляется. Евгений Николаевич Герасимов, заведующий отделом прозы, возвращается:

— Завтра ровно в двенадцать будет Лавренев! — сообщает он мне радостно.

А может быть, это только кажется — такое доброе отношение здесь ко мне? Сажу еще некоторое время в приемной, разговариваю с Зинаидой Николаевной. Все поглядываю на ту, крайнюю дверь через комнату. Она, как и утром, открыта: край стола, стулья, портреты. Слышен голос Софьи Ханаановны: «Нет, сегодня он не будет!»

Иду в Третьяковку, хожу там до вечера...

Сразу узнаю его по фотографиям: тонко-русское, интеллигентное, лавреневское лицо. Пожалуй, так можно называть другие похожие лица. И быстрая, какая-то легкая стройная походка. Лишь чуть заметная согбенность выдает возраст. Он шумно здоровается с Зинаидой Николаевной, поворачивается к кому-то, кто заходит следом, и громко говорит:

— Ну как, читали?.. Каков сюжет!

Они уходят в одну из дверей за перегородкой, и оттуда слышатся возбужденные голоса. По репликам догадываюсь, что речь идет о только что вышедшем романе некоего писателя, романе, с унтерской злобой малоталантливого мещанина доказывающем, что все исходящее от интеллигенции пропало

гнилью, лишено здоровых корней и чувств, и только он, мещанин-недоучка, является носителем всего светлого в нашем обществе. Все остальное полезно бы и необходимо топором...

Среди других голосов выделяется голос Лавренева:

— Как это у поэта?.. Рукою грязной подлеца давить на заветную кнопку звонка!

Он выходит, идет к Софье Ханаановне, что-то громко там говорит. Потом проходит еще куда-то, возвращается. И вдруг стремительно подходит ко мне:

— Здравствуйте, рад с вами познакомиться.

Через минуту сидим уже с ним в незанятой комнате за перегородкой, он весело и внимательно смотрит на меня:

— Ну, вот она, рукопись... Собственно, особых замечаний у меня нет.— Он переворачивает несколько страниц.— Это вот только ни к чему!

Что-то холодеет во мне. Первые пять страниц повести перечеркнуты карандашом наискось — одной линией. Как раз те, «от Александра Македонского».

— Не надо их,— Лавренев как бы считает что-то сухой узкой рукой, и я вдруг понимаю, что, действительно, не надо.— Это другой сюжет... Ну, а дальше в некоторых местах там сами посмотрите, где я подчеркнул.

Он вдруг словно бы испугался чего-то в моем лице, даже махнул рукой.

— Нет, не очень меня слушайте, сами смотрите. Если подчеркнул я, значит, споткнулся на чем-то. Видите, сверху начал писать какую-то свою фразу. Но это не обязательно для вас. Только проверьте себя. Если не найдете ничего, пусть так и останется.

Он закрывает рукопись.

— У меня машина внизу. Проводите меня?

Выходим на улицу. Кажется, «Победа» его стоит у тротуара возле «Известий». Он мельком смотрит туда, и мы переходим мостовую, идем к памятнику.

Два часа гуляем тут, сидим на скамейке, снова гуляем по скверу. Он спрашивает меня — как-то осторожно, словно боится потревожить что-то свое — о Средней Азии. Будто давние тени пробегают по его лицу, и я начинаю понимать, почему он рекомендовал мою повесть. Это молодость его — Туркестан, «Срок первый»...

Постепенно осваиваюсь, рассказываю. Получаются все какие-то отрывочные эпизоды. Наверно, это и нужно ему. Он смотрит куда-то поверх деревьев и слушает, слушает. Второй раз принимает уже маленькую белую таблетку. И все не идет к машине.



— Борис Андреевич, вы позволите сфотографироваться с вами?

Говорю это после некоторой внутренней борьбы и чувствую, что краснею. Кажется, ни к кому еще не обращался с такой просьбой.

Он оживает:

— Конечно, это будет хорошо!

По другую сторону от сквера, рядом с редакцией «Москоруны», разговорчивый фотограф усаживает нас поудобней. Он никак не может определить для себя некую внутреннюю связь. Отходит, смотрит на нас с одной стороны, с другой.

— Это ваш папа? — спрашивает он у меня между прочим. Так и есть: это мой земляк по рождению — с того угла Черного моря, который ни с чем не спутаешь.

— Нет... так, знакомые,— говорю я.

Лавренев улыбается, ему весело. Мы принимаем серьезный вид, фотограф в последний раз поправляет мою руку, щелкает. Чем-то он явно не удовлетворен.

— Вы сделайте так, чтобы виделась радость на лице. Очень красиво вы оба смеялись, когда пришли ко мне.

Делаем веселые лица. Фотограф еще раз щелкает.

Борис Андреевич Лавренев идет к своей машине. Это, кажется, последняя фотография в его жизни. Никто еще не знает об этом.

Вот!.. Про себя произношу слова досады. Руки мои дрожат, и никак не могу отлепить листы от пола.

И надо же было этому именно тут случиться. Резко открыл дверь, папка, которую таскаю с собой, зацепилась за ручку. Веером посыпались страницы повести, разлетелись по полу. Не успел даже поздороваться с Зинаидой Николаевной.

Слышу чье-то дыхание возле уха. Кто-то присел рядом, помогает собирать листы с пола. Очевидно, шел следом за мной. Не глядя беру у него из рук листы, замечаю только натянутые на коленях брюки и широкие носки ботинок. Он передает мне последние страницы, и теперь только вижу его лицо. Чем-то знакомо оно мне.

Мы встаем вместе, и он идет туда, где стучит на машинке Софья Ханаановна. У двери задерживается, говорит о чем-то с Зинаидой Николаевной. Она как-то странно смотрит на меня.

Я все еще стою на пороге. И вдруг понимаю, кто это. Широкий, продолжающий мощную линию как бы всей природы, твердый лоб, расходящимся клином волосы. И еще какая-то очевидная мягкость в этом грозном лице: она где-то

у глаз, в строптивой складке губ, в тайной задорной усмешке. Это не противоречие, а какая-то особая, редкая форма характера. Все это воспринимается при одном взгляде.

— Здравствуйте! — говорю я наконец.

— Здравствуйте!

Он отвечает очень серьезно, и только в глубине глаз пробегают некая искорка.

Твардовский проходит в свой кабинет, но дверь остается открытой. Все тот же край стола виден отсюда, стулья, портреты...

Весь вчерашний день просидел я над повестью. Вступление, как определил Лавренев, выбросил. И еще были подчеркнуты там пять или шесть предложений. Они переделывались сверху карандашом по-своему. В двух случаях я согласился, но переписал все же своими словами. В остальных оставил как бы. Долго мучился, но ничего больше не придумал.

Евгений Николаевич Герасимов посмотрел на собранные только что с пола листы, составил их в ровную стопку, подумал и сказал, чтобы я зашел через день — два. Уходя, я снова посмотрел через открытую дверь в дальнюю комнату. Там было оживленно, слышались голоса, входила и выходила с какими-то поручениями Софья Ханаановна, звонил непрерывно телефон. И в приемной прибавилось людей: человек десять сидели за столиком посредине и у стены. Мне вдруг представилось, какой глупый был у меня вид, когда собирал тут с пола свои страницы. Хоть что-то нужно было сказать. Ведь он помогал мне, редактор. Некий смех таился в его глазах...

Разумеется, пришел я на следующий день. Герасимов принес откуда-то мою повесть, открыл, и я ощутил неприятный холодок в пальцах. После зачеркнутого с моего согласия вступления, на первой странице шли жирные поместки, перечеркивания, дописи. На второй странице тоже, и на третьей. Там эта правка обрывалась. Евгений Николаевич внимательно читал, потом поднял глаза, увидел выражение моего лица и сказал:

— У нас тут молодой сотрудник... Ладно, я сам возьму, сделаю.

А пока что я сижу теперь здесь, в приемной, как свой. Знаю уже всех, здороваюсь. И с редактором тоже. Он говорит «здравствуйте» громко, с порога, и проходит в свой кабинет, не задерживаясь. Всякий раз мне кажется, что та же усмешка пробегает в его глазах.

Чтобы не скучал, мне тихонько дают читать рукопись боль-

шого романа. Это тоже о судьбах интеллигенции. Мне известно, что по нему идут споры, разговоры. И не только в журнале.

— Все теперь нормально.

Евгений Николаевич придвигает ко мне повесть. Переворачиваю страницу за страницей. То, что было надписано жирным шрифтом, зачеркнуто. А в остальном — точные, ясные пометки, легкие исправления, не касающиеся смысла и стиля. Все это бесспорно, и камень сваливается у меня с души. С признательностью смотрю на него:

— Что же дальше?

Он разводит руками:

— Редактор.

Чувствую некоторую растерянность.

— Нужно зайти... к нему?

Герасимов сдвигает очки со лба, странно-близоруко смотрит на меня:

— Обычно к нему идут сначала.

Постояв три-четыре минуты и подумав, иду твердо ступая. Дверь в редакторский кабинет теперь закрыта, но Софья Ханановна говорит, что можно заходить. Трогаю дверь:

— Разрешите?

— Разрешаю! — в тон мне отвечает Твардовский.

Все что-то видится мне в его взгляде. Да он уже и не скрывает улыбки:

— Что скажете?

— Говорю, что учел замечания Лавренева и что все поправки в повести сделаны.

— Вы кто по национальности?

Будто ударился обо что-то и чувствую, что напрягается все мое тело. Вижу, как темнеют у Твардовского глаза, двойная складка прорезает лоб. Теперь он не улыбается, смотрит строго. Выражение брезгливости к чему-то невидимому, бесчестному, понятному нам обоим, появляется у него на лице.

— Не о том я совсем! — он делает резкий, короткий жест рукой. — Просто чувствуется, что вы хорошо знаете Среднюю Азию, любите. Да и по виду подходите. Я и подумал, что родом вы оттуда.

— Нет, я не из Средней Азии.

Он снова улыбается: открыто, по-своему. «Как же ты мог подумать обо мне что-то такое?» — читается в его глазах. И мне делается стыдно. Вовек не забуду этот разговор...

На редколлегии утверждается план октябрьского номера пятьдесят восьмого года. Приглашают меня. Почти все мне здесь уже знакомы. Сажусь за стол, как раз напротив редактора. Он слушает и хитро, загадочно поглядывает на меня.

Читавшие хвалят мою повесть: Лавренев, Кондратович, Закс, Герасимов. И вдруг Твардовский громко, хорошо произносит крепкое русское выражение. Я невольно оглядываюсь: нет, дверь закрыта и женщин здесь нет. А он смеется:

— Вот... Посмотрите, как он слушает. А потом, если надо будет что-нибудь еще там исправить, то и пошлет всех вас подальше. Я его характер вижу!

— Нет, Александр Трифонович, не пошлю!

Спешу это указать. Что-то больно серьезно у меня вышло. Все смеются, и я выхожу.

Уже в день отъезда вижу Другого Твардовского... Человек без ноги и, как видно, под некоторым градусом шумит в приемной, «берет на бога», как говорили в госпиталях. Его уговаривают: Зинаида Николаевна, кто-то из отдела поэзии, но он только пуще расходится:

— Коля Асеев... Понимаешь, Коля Асеев читал. Гениально, говорит... А тут всякие!..

Походя он сбросил какие-то бумаги со стола Зинаиды Николаевны. Неудобно вмешиваться: без ноги ведь человек.

И вдруг лицо, все поведение его как-то сразу меняются. Не такой уж он пьяный и расстроенный. В дверях стоит редактор.

— Вот Твардовский...— он бросается к нему.— Я и говорю: Саша Твардовский, он всегда поймет. Душу самую... Коля Асеев читал!

У Твардовского каменное лицо. По-видимому, он знает этого человека и его стихи.

— Здесь тебе что, колбасу дают?!

Тот будто на стену налетает. Голос у Твардовского спокойный, жесткий.

— Литература тут, а не бакалея. Слышишь?.. И больше не хочу у тебя тут видеть!

Человек бормочет что-то и уходит, исчезает.

Через два года в журнале идет другая моя повесть, и я сижу у Твардовского. Так бывает всякий раз, когда приезжаю в Москву. Долго рассказываю ему о канале. Как было начали строить Главный Туркменский канал и оставили, потому что явно был продуктом волевого решения, как строится Большой Каракумский канал. Он все спрашивает меня о подробностях, о

людях, работающих на канале: кто они, откуда. Лицо у него задумчивое, временами он как бы отключается от разговора, но все слышит...

Телеграмма синяя, срочная. Держу ее в руках и ничего не понимаю... «Волнением прочитал вашу повесть В Черных Песках желаю творческих успехов Федор Панферов». Ну так и есть. Не так давно я со страшной силой разыграл одного товарища-журналиста. Все мы, спецкоры, катаемся в Москву и обратно. Меня так легко не купишь. Ясно, что ответная акция. Да и срочность телеграммы о том говорит. С какой стати будет Федор Панферов, редактор другого журнала, причем по слухам некоего противоположного направления, приветствовать какого-то неизвестного автора «Нового мира»? Ищите дураков в другом месте. Две недели хожу, молчу, приглядываюсь к друзьям: кто из них?

И тут письмо, уже на журнальном бланке: «Пишу Вам по поручению Ф. И. Панферова. Не сочтете ли Вы для себя интересным предложить нашему журналу что-либо из своих произведений. Нам очень понравилась Ваша работа, напечатанная в журнале «Новый мир»...»

Неужели все же хожу в дураках?

Дней через десять еду в командировку в Москву. Захожу в «Новый мир», рассказываю об этом. Твардовский смотрит с усмешкой, чуть поводит плечами:

— Что же, зайдите, поблагодарите. Федор Иванович — крупный писатель, в литературе толк знает.

Он говорит это серьезно. Усмешка относится ко мне: как себя поведу.

Через дорогу от «Правды» захожу в «Октябрь». Часов десять утра, но все уже на местах. Некая подчеркнутая деловитость, дисциплинированность чувствуется во всем. С озабоченным видом, тихо ступая, проходит мимо молодая машинистка. Громадные, высокие окна современного дома чисто, до блеска вымыты. И в комнатах все протерто: полы, мебель, двери, оконные рамы. Это как бы противоположно старому особняку на площади, где стоит памятник. Таково первое чувство.

Ольга Михайловна Румянцева, тихая интеллигентная женщина, говорит, что Панферов с теплотой отзывался о моей повести. Адрес мой узнали в «Новом мире», и письмо она написала по его поручению. Он здесь сейчас и будет рад познакомиться со мной.

Минут десять ожидаю в приемной редактора, потом меня приглашают к нему. И сразу поражают пронзительно светлые,

с голубизной глаза. Они кажутся еще светлее и пронзительней на бледном, исхудалом лице. Какое-то удалое, отчаянное веселье в этих умных глазах. «Что же, я болен, ты видишь, а мне это... Я работаю, веду свою линию жизни, и все ущербное для меня не существует!» Так я читаю про себя этот п а н ф е р о в с к и й взгляд.

Он полон энергии. Говорит, что он и жена читали мою повесть. Так обычно делают они — читают и сопоставляют свои впечатления. И пусть не его, а ее мнению можно доверять. У нее отменный литературный вкус...

Разговаривая со мной, он не прерывает работы. Пишет и отдает секретарю список телефонов десяти российских областей («Это у меня на сегодня!» — сообщает он мне). Перед ним листок с фамилией, именем и отчеством каждого секретаря обкома партии по пропаганде и агитации. Извиняясь всякий раз, он берет трубку.. «Василий Петрович... Это писатель Панферов приветствует вас, желает доброго здоровья. Мы с вами на сессии, кажется, встречались. Как редактор журнала «Октябрь» интересуюсь сводкой подписки от вас. Двести восемьдесят три — мало, очень мало для такой области. С другими не сравнить. У вас там горняки, железнодорожники, вузы, колхозы, наконец. И какие передовые колхозы. Как же им без литературы... Нет, у меня самая последняя сводка. Уж попрошу вас, Василий Петрович, с сердцем, с партийной душой отнеситесь к этому...»

Ему приносят завтрак. Он открывает тарелку, там белая рисовая каша.

— Предложил бы вам со мной позавтракать, да это такая штука. Даже без соли, на голой воде. Понимаете?

Уныние теперь на его лице. С видимым отвращением съедает он две-три ложки. Наливает в стакан воду, пьет.

— Вот, воду пью! — говорит он с горечью.

Заходят и выходят писатели, члены редколлегии. Панферов с каждым знакомит меня («Помните, мы говорили об этой повести!»). Смотрит корректуру, подписывает какие-то бумаги.

Проницательность его взгляда делается почти нестерпимой. Федор Иванович знает об этой своей особенности и явно не скрывает ее.

— Поговорим о вашей литературной судьбе. Вы человек молодой, все у вас еще впереди... Нет, я знаю, чем вы обязаны «Новому миру». Они нашли вас, и я ни в коем случае не намереваюсь перебить, так сказать. Александр Твардовский большой поэт. И журнал у него хороший. Но знаете, у каждого из нас есть свои слабости...

С молодыми — смело скажу — у нас работа лучше поставлена, шире. Там же считают, что у них не литературный детский

сад. А мы недавно, чтобы помочь молодому писателю довести до кондиции интересную вещь, двух членов редколлегии командировали. Вот как мы работаем с литературной смеюй. Так что если появится у вас желание напечататься у нас, то не смущайтесь. Двери наши для вас всегда открыты, ревности мы не испытываем!..

Уже пятый час сижу здесь. Надо уходить. Обещаю Федору Ивановичу иметь в виду его приглашение печататься в журнале, еще раз благодарю за доброе мнение о повести.

Иду обратно пешком и стараюсь привести в порядок свои впечатления. Нет, это не просто редакторский азарт, который тоже необходим литературе. Тут еще какой-то особенный задор, который роднит этих людей. Позиция у каждого искренняя. Как это нужно, чтобы не все было одинаково. Ведь одинаковость — это пресечение жизни, историческая смерть. В литературе это виднее всего. Не разные поэты, значит, и не хорошие.

Впрочем, так я думал много позже, вспоминая этот разговор.

Твардовский слушает меня. Кой-чего ему не рассказываю. Он чуть усмехается, сам знает.

— Что же, Федор Иванович все правильно вам говорил.

Теперь он серьезен. Никакой лукавинки в его лице, в глазах.

Как назвать это: каким-то особым везением, что именно так сложилась моя литературная судьба? Твердо убежден лишь в том, что не бывает в литературе других путей, кроме прямого.

1980 г.

## ПОСЕЩЕНИЕ МАСТЕРА

Писатель Валентин Афанасьевич Новиков, кристальной души человек, уже несколько лет начинал разговор в редакции о старом художнике, точнее, скульпторе, которому скоро исполнится сто лет, и он продолжает работать здесь, у нас, в Алма-Ата. В Лувре как будто есть его работы, и в Третьяковке, в Пушкинском доме. У Новикова такая манера: скажет несколько слов, помолчит ненавязчиво, а потом, через две недели или через месяц вдруг снова вернется к разговору. Человек он серьезный, и даром гессерить не будет.

Я отношусь к тому поколению, чья юность была наживо отрезана от музыки, театра, лунных вздохов, чистой постели и много-многого еще. В том числе от живописи и ваяния.

Нет, музыку люблю. К тому же, как-никак, высшее гуманитарное образование. Могу даже совершенно правильно насвистеть «Сердце красавицы», а так все больше те песни: строевые, победные. Посещаю Третьяковку или Эрмитаж, когда приезжаю из Алма-Аты. Мимо одних картин прохожу: они для меня вроде обоев. Перед другими стою, думаю. А вот почему, не смогу сказать. Когда приближается организованная группа, и молодая серьезная дама хорошо поставленным голосом начинает объяснять частности, спешу уйти в сторону.

Так или иначе, все уже в редакции «Простора» слышали о столетнем мастере, большом оригинале, который некогда был раввином, оставил религию и сделался скульптором. Называют известные имена поэтов, художников, наркомов, в той или иной степени имевших отношение к его жизни. Какая-то странная история. Однако мы здесь, в Казахстане, привыкли к невероятному. А Валя Новиков давно дружит с этим стариком и смотрит на нас ожидающе своими честными глазами. В один из дней нас набивается пятеро в машину вместе с редактором Иваном Петровичем Шуховым, и мы едем.

По дороге Новиков рассказывает, что раньше, при появлении в Алма-Ате, старик жил где-то в подвале бывшей гостиницы Дома Советов, со времен войны заселенной работниками искусств. А работал и вовсе в пещере на склонах Алатау. Теперь все образовалось. Кто-то где-то ходатайствовал, и скульптору выделили квартиру — не в городе, а, по его собственной просьбе, на окраине. Оно и видно: давно уже закончились многоэтажные дома, а мы все едем пыльными улочками среди казачьих домиков с наличниками на окнах, деревянными воротами...

Этò никак не передать словами. Осенние желтоватые, с наросшей за лето пылью листья карагачей, две старых искривленных яблони; сзади степь с неровным холмистым горизонтом. А из темных дверей маленького камышитового дома является вдруг патриарх и некий бог. Только эти два слова близки к тому, чтобы передать первое впечатление о нем. Он мал ростом и крепок, необыкновенной, сказочной белизны волосы, окаймляющие лицо, ниспадают на какую-то кофту. И сияющие, обнимающие мир глаза. Я потом читал, что они у него темные или даже зеленовато-желтые, но они явно голубые как небо, мудрое прощение всему живущему и радость жизни в них, глаза творца. Да, бог творчества, не мраморный, а вот какой: маленький старик в стоптанных суконных тапочках, с вымазанными глиной руками стоял перед нами. Сразу было видно, что ему сто лет, но крепкие, совсем молодые руки, лицо без видимых морщин и эта особая белизна волос говорили о некоем другом счете во времени.



— Вы приехали смотреть... Мне Валька говорил!

Господи, это даже не акцент. Это совершенно невероятное нагромождение польских, литовских, еврейских и каких-то еще неизвестных говоров, сцепленных русской стилистикой в некий абстракционистский порядок, и, тем не менее, все понятно.

— Вот моя молодуха!

Маленькая женщина, уже много за шестьдесят, подает нам по очереди ладонью книзу руку:

— Шоня.

— Соня,— поясняет Новиков.

Старик продолжает говорить, с мгновенной зоркостью высвечивая каждого из нас своими сияющими глазами. Нет, не оценку он производит наших моральных и всяких качеств. Это вовсе другой взгляд. Не будь мы атеистами, я бы сказал, что это разговор через нашу голову с создателем всего сущего на земле.

— Ей на тридцать лет младше меня,— в голосе старика петушиная гордость.— Вы молодые, красивые, нельзя надолго с ней оставлять. Я буду начинать ревновать!

Старик всем посетителям так говорит: мы знаем из рассказов Новикова. Что же это: защитная форма от человеческой назойливости или стремление поддержать непринужденный разговор? Все не то: достаточно посмотреть его веселое радостное лицо. Ему искренне нравится говорить это разным людям и в двадцатый и в тридцатый раз.

— Соничка, люди молодые, им нужно вино... У нас есть вино?

— Его вчера выпили,— спокойно сообщает Соня.— Эти, академики.

— Пойди тогда в магазин и купи вино!

Новиков здесь как бы член семьи. Старик оставляет нас с ним, уходит в дом. Возвращается уже с чистыми руками и без кофты. На нем ковбойская клетчатая рубашка, старый шевиотовый пиджак и под подбородком огромный белый бант. Такой носили в России люди искусства во времена Стасова и юного Шаляпина.

Старик окидывает нас быстрым взглядом, смотрит на Новикова:

— Пойдем смотреть мои болваны?

Глаза его искрятся простоватой иронией старого еврейского местечка. Ему нравится так говорить. Мы идем через высокие лопухи и степную полынь, которой зарос двор. В самый его конец. Невероятное строение расположено там: крыша частью из гофрированного железа, частью из фанеры с толем или просто содранной пластами коры деревьев. Стены из старых досок, автобусных дверей, ящиков с фруктовыми наклейками: все, что

нашли поблизости молодые художники — его ученики, а ломать и строить новую мастерскую он не хочет. Два окна в этом строении: впереди и сзади. Свет больше попадает внутрь через открытую дверь. И тут вдруг останавливаешься: что-то перехватывает горло...

Впервые вижу живое дерево. Не в смысле веток, листвы и прочего, а самой его сущности. Да, это материя, но одушевленная. Все в нем — высшая гармония, каждое движение, поворот, кружение волокна, плотность зарождающихся сучьев имеет цель. Там нет случайного, порожденного глупым капризом, жестокостью, ложью. Это не присуще природе. В нескольких громадных срезах, лежащих в углах мастерской, запечатлена вся ее мудрость...

Но не от того стискивает горло. Там, где кончается срез, нечто подлое, чудовищное, противное природе происходит с деревом. Какая-то злобная искусственная сила перехватывает живые артерии, рвет, скручивает, сгибает в неестественные фигуры живую плоть. И это уже не дерево, а руки, ноги, человеческое тело корчится в невыносимом мучении, стонут мысль и душа, кончается жизнь...

А вот и сам дьявольский лик. Дерево, упорно и непрерывно уродуемое чьей-то сатанинской фантазией, само уже становится злобным, лишенным чувств и смысла чудовищем. Подобно страшной апокалиптической болезни, оно множится, ненавидит, уродует все, естественно растущее в мире...

Не помню точно, как называлась работа, фрагменты которой находились там: «Лицо фашизма», «Жертвы фашизма» или «Долой войну». Но ощущение гнева, ужаса, неприятия насилия во всех формах осталось надолго. Глядя на деревья, я теперь по-новому вижу их, не отделяю от себя.

Нет, не в одних лишь мрачных тонах жила там древесная плоть. Совсем наоборот: из всех углов смотрели, улыбались, радостно проявлялись человеческие чувства, в мудрой скорби сияла мысль, торжествовало творчество. Все прямо исходило из той великой стройности природы, которая лучше всего выражена в дереве. Девушка и птица, Пушкин, рвущийся из темницы художник с ликом Сикейроса, Мир, Иткинд в раю, и все это были добрые, навеки очарованные образы. Дерево источало накопленное солнце...

Одна из работ почему-то повернута к стене. Новиков хочет нам что-то сказать. Старик быстро и небрежно машет рукой: «к чему, мол, не надо!» Но Новиков говорит. Мастер все лето работал над этим во дворе. «Девочка, или Весна» называлась композиция. Соседский подросток прокрался ночью с ножовкой и отпилил у скульптуры нос. Шутники там живут, за вязаным

плетнем. Но старик машет рукой и увлеченно рассказывает, как из этой колоды сделает что-то другое, куда интереснее...

Теперь мы сидим в небольшой комнате за простым деревянным столом. Здесь два старых учрежденческих стула, роскошное потертое кресло и хорошо сбитые деревянные табуретки. Есть шкаф, комод, сундук, еще что-то, на окнах домашние занавески на резинках, полка с книгами. Я уже посмотрел: Пушкин, Лесков, роман о строительстве гидростанции, какой-то случайный сборник стихов, третьегодний «Огонек»: вырванные откуда-то репродукции. Соня принесла бутылку вермута местного совхозного розлива, кильку в томате, селедку, нарезала лук, помидоры. Пьем из разнокалиберных стаканов и чашек, надбитой пиалы, разговариваем...

О, поговорить старик горазд. Как-то мгновенно привыкаешь к этой чудовищной смеси акцентов. Не будет же патриарх говорить обыкновенным правильным языком. Движения его быстры, глаза озорно блестя, полные той неведомой нам жизни. Как же, он учился на равнина в самом главном ешиботе, возле Вильно. Это город такой есть, и около него там был главный центр науки. Со всей Европы приезжали туда учиться молодые люди, из самых достойных семей. А дед его был знаменитый Коцкий раввин и слава о нем шла далеко. Так что он с рождения уже был намечен к этому делу...

Там лес был около ешибота, знаменитый лес, в котором гулял Наполеон. Они были не совсем сытые, ученики ешибота, потому что их кормили по очереди жители местечка — как бы особый добровольный налог в пользу науки. Так и ходили гурьбой обедать — в понедельник к одному богачу, во вторник к другому, в среду к третьему, ну а четверг приходился уже на такого богача, которому самому есть нечего. И одежду им выделяли таким же способом, из остатков в каждом доме. Они учили тору утром, днем и вечером, а когда была хорошая погода, их отправляли в лес. Они расходились далеко, чтобы не слышать друг друга, и, подняв головы к верхушкам деревьев, громко пели, обращаясь к богу.

Я переспрашиваю, осведомляюсь, помнит ли он то, что пел. Старик говорит, что очень хорошо знал тору, лучше всех, его выпустили «на отлично». С радостной готовностью он поднимает глаза к потолку и начинает громко, истово петь старинные древние мотивы, полные страсти и веры. Он явно видит сияющие солнцем верхушки деревьев в том, виленском лесу...

Валя Новиков, смоленский цыган (а может ли быть более русский человек, чем смоленский цыган) удовлетворенно поглядывает на нас, видя произведенное впечатление. Иван Петрович Шухов, линейный казак Войска Ермака, изумленно и любовно

смотрит на старика своими крупными и близорукими, цвета зеленой сливы глазами. И другие не отрывают глаз: сдержанный, родившийся и многому научившийся в эмиграции наш ответственный секретарь из столбовых дворян; поэт — родом сибиряк; мой друг — критик, происхождением из дальней слободки форпоста Верного, лет до пятнадцати считавший, что Иисус Христос родом неблизко отсюда, по крайней мере со станции Шемонаиха; ну и я со всеми.

Старик бросает петь, улыбка сбегает с лица.

— В том лесу гетто при фашистах было, мне рассказывали. Там людей сжигали. Так вот: перекладывали деревом, и пф-ф! — он смотрит на нас с доверительным недоумением.

— Как же вы оставили свое... занятие и сделались художником? — спрашиваю у него.

— Бога нет! — говорит он весело и так машет рукой, что становится понятно: проблемы это для него никогда не составляло. — Там, в Вильне, были художники, и я пришел к ним. Потом поехал в Петербург, в Москву. Меня не пускали там жить, но там же люди вокруг, и я жил. А богу чем мешают мои болваны? Таки плохой художник боится конкурентов.

Это мы знаем, что иудейский завет, как и традиционное мусульманство, категорически запрещают смертным людям уподобляться творцу и создавать образы всего живого на земле. А с религией он и не ссорился, просто встал и ушел как от дела, мало его интересующего. Раввин — расстрига — тут был случай, которым хотели воспользоваться, но быстро убедились, что мастеру чужды всякие спекуляции. Он сделался рабочим-переплетчиком, и тут в руки ему попала книга репродукций М. Антокольского...

Естественно вошел он в пеструю и единую российскую семью художников, и здесь было его место. Он начинает с самого начала, и уже зрелым человеком посещает уроки в художественном училище. Учится потом всю жизнь, наверстывая вычеркнутую молодость. Имя его становится известным. В Вильне устраиваются его первые выставки. Газета «Северо-Западный край» пишет о необычном таланте скульптора-самоучки. Радостные и скорбные лики из темных корней виленского леса появляются на выставках в Петербурге, Москве, Вене, Берлине, Венеции. В Париже выходит почтовая открытка «Скульптор И. Я. Иткинд за работой».

Мастер переезжает в Петербург, затем едет в Москву. По очереди живет в этих городах, так как является пришельцем из черты оседлости. Писатель Максим Горький требует от лицмейстера разрешения на проживание скульптора Иткинда в древней русской столице... (Он вот такой большой и добрый! —

старик совсем по-детски привстает на носки и показывает величину Горького. Слово «добрый» главное определение у него для человека, других нет. Когда разговор заходит о плохих людях, он замолкает и недоуменно смотрит на нас. Для него все люди живые, даже те, кто умер полвека назад).

Давно уже он дружит с Коненковым, и не один лишь возраст и общий творческий интерес сближают их. «Всему, что создал Исаак Яковлевич Иткинд в искусстве, суждена долгая славная жизнь. Я не раз писал о том, что считаю долгом его товарищей по искусству, долгом тех, кто знал этого удивительного человека, рассказать о нем, как о художнике, так и человеке». Это Народный художник СССР С. Т. Коненков напишет уже после смерти скульптора Иткинда и через шестьдесят лет после первого знакомства с ним.

Нет, не московский полицмейстер выходит победителем из этого векового спора. Россия в лице всего лучшего и светлого в ней не подает антисемитам руки. Скульпторы Трубецкой и Голубкина устраивают с жильем необычного мастера, ибо до ста лет он так и остается ребенком в практической жизни. Познание торы не давало для этого нужных навыков. Он трудится в частной студии В. И. Волнухина и, будучи по меркам того времени уже стариком, продолжает ходить в Московское художественное училище на лекции по искусству. Одна за другой выставляются его работы: «Горькая улыбка», «У святого ковчега», «Веселый еврей», «Сумасшедший», серия «Мученики инквизиции». Полные внутренней углубленности лики, выразившие всечеловеческую скорбь и радость жизни.

А еще художественный театр, театральное кафе, буйные вечера поэзии в преддверии революции. (Маяковский громко спросил у меня: «Что думает о футуризме человек, бывший раввином?» — глаза мастера искрятся лукавством.— «Я рассказал ему историю с неким купцом, который сбывал подпорченный товар, привлекая людей ударами в медный таз. Все очень смеялись. В следующий раз Маяковский спросил: «Ну, какой притчей ты убьешь нас сегодня, Иссаак?» О, он вот такой, Маяковский! — и старик вытягивает к потолку обе руки).

Революция потрясла художника. Светлыми лунными ночами, не чувствуя голода, ходит он по городу, подолгу стоит на площадях, у истоков улиц, обдумывая, как отразить в камне и дереве вселенскую грандиозность событий. Рождается тема Ленина. Он работает над памятником Лассалю в цикле «Гиганты Революции», создает знаменитого «Красноармейца», работниц «Большевички». Рядом осмысливается собственная жизнь: «Талмудист», «Погром», «Автопортрет в тюбетейке». Я слушаю его и еще не знаю, что использую образ старого мастера в одном из своих романов.

И еще тема, проходящая через всю жизнь: — Пушкин. Он работает над ней в своей творческой юности, совпадающей с его сорокалетием, и продолжает работать теперь, к ста годам. «Пушкин-лицеист», «Бюст Пушкина», «Умиравший Пушкин». Все они в Пушкинском музее, в Ленинграде. Вечная загадка гения в таинственном и ясном, как природа, изгибе дубового корня. Сразу вспоминается ярость поэта: «Нет, врите, мы не такие, как вы, и грешим мы иначе!»

Крупные выставки теперь не обходятся без И. Я. Иткинда. Он постоянно присутствует в каталогах «Товарищества передвижных выставок», «Союза русских художников», «Мир искусств». Это не значит, что он благоденствует. Не то было время: разруха, голод, безработица.

— Это Луначарский про меня писал!

Старик показывает желтую, невероятно захватанную бумагу, где невозможно разобрать ни слова. Мы уже знаем, что имя мастера не раз присутствует в трудах ленинского наркома просвещения. А статья эта называется: «Почему голодает скульптор Иткинд?»

— Мне тогда крупы дали и постного масла! — с гордостью говорит старик.

Не он один ходил тогда голодный. У него был молодой друг, поэт. Как-то в два ночи тот, радостно возбужденный постучал к нему в дверь: «Исачок, у меня есть деньги! Тебе надо?» («Есенин!.. Его по дереву нельзя стругать. Он как ветки, листья!») — мастер вскакивает с места и расставляет руки, будто держит охапку цветов).

На него самого смотришь, как на некое чудо. Невольно появляется мысль: каким торфом надо замазать глаза себе и людям, чтобы заподозрить в чем-то этого человека. Кому он мог мешать? Однако нашлись торфяные души, и позже в мировых каталогах появилась двойная дата: Скульптор И. Я. Иткинд. 1871-1937».

Но вот он сидит перед нами, накануне своего столетия, полный вечной молодости, отличающей мастеров. Когда после ряда несусветных перипетий оказался он в Центральном Казахстане, шла уже война. Учитель русского языка местной школы увидел его на базаре полураздетого и попросил примерить продаваемое кем-то пальто. Потом отдал за пальто деньги и повел старика домой.

А приехав в Алма-Ату, он потерял последнюю пятерку. Работница столовой подобрала и принесла ему эти деньги. Через много лет он отыскал эту женщину и пригласил на свое 90-летие. («О, люди всегда помогали мне. В России человек везде свой!» —

старик говорит это с убежденностью пророка, подняв к небу палец).

Да, и в Алма-Ате ему помогали десятки самых разных людей: художники, писатели, студенты, преподаватели, рабочие лесопункта, бесплатно грузившие и доставлявшие ему огромные пни, административные работники. Он никогда ничего не просил, попросту не умел этого делать. Всегда просили за него. Когда покойный ныне секретарь ЦК Компартии Казахстана Ильяс Омарович Омаров услышал о предстоящей скульптору Иткинду серьезной операции, то сам, будучи большим, приехал к врачам хлопотать об особых условиях для старого мастера.

— Вы в синагогу ходите? — спросил я у него.

— Нет, молиться не хожу, только поговорить иногда с молодежью. Там же совсем молодые люди: каких-нибудь семьдесят-восемьдесят лет! — и старик заразительно хохочет над собственной шуткой.

Мы знаем от Новикова, что произошло два или три года назад. Много необыкновенного происходит в жизни. В Алма-Ату, навестить своих дальних родственников, приехал старый человек из Литвы. Он был годом младше Иткинда, и они учились когда-то в том самом ешиботе. Человек этот всю жизнь был раввином, пережил войну; все близкие и паства погибли в лесном гетто в печах, а его укрывал у себя тамошний священник — отец Николай. И он знал, что в Алма-Ате живет Иткинд...

Высокий сутулый старик пришел к нему и не сел на предложенный стул. Окинув суровым взглядом стоящие по углам работы мастера, он сказал: «Я пришел увидеть тебя, Исаак сын Иакова из Сморгоней, внук Коцкого раввина, и сказать тебе «Привет!» Но находиться здесь с тобой посередине капища порожденных тобою идолов я не могу. Прощай!»

— Он хороший человек, но бедный... Вы понимаете! — хозяин дома встряхивает пальцами где-то выше головы, чтобы передать понятие бедности духа. — Что он видел в жизни? Зачем жил?

В голосе его искреннее сожаление.

— Ишак, сыграй людям на скрипке! — говорит ему жена.

Он громко смеется, хоть ее выговор может служить образцом по сравнению с его фантастической речью.

С гвоздика на белеющей известкой стене снимается темная потрескавшаяся скрипка. Этому местечковому инструменту столько же лет, сколько мастеру. Древние, рвущие душу напевы исходят от дребезжащих струн. Старик играет и смотрит в потолок. Что он видит там: все те же верхушки деревьев виленского леса, зев печи, где сгорали его Сморгони?..

Потом играет Валя Новиков что-то задумчивое, нежно-певучее...

Мы собираемся уходить. Старик зовет нас в мастерскую, показывает на одну свою работу, на другую, что-то говорит.

— Он дарит их вам! — объясняет Новиков.

Мы знаем и это. Закончивая очередную работу, мастер тут же ищет, кому бы ее подарить. Десятки его скульптур находятся у разных, порой самых неожиданных людей, в разных городах страны. Так он делал полвека назад, делает и сейчас. Большинство его работ приобретено музеями у частных лиц с отметкой: «Подарено автором такому-то». Лишь пять-шесть из них он оставил себе: то ли чем-то они дороги ему, то ли не считает их законченными.

Мы отказываемся, благодарим наперебой, говорим между собой, снова осмысливая таинство посмертно воскресшего дерева. Новиков делает нам знак, и лишь тогда замечаем тихое, внятное постукивание. Мастер работает, и ничего другого уже не существует для него в мире. (В раю для Иткинда будет много дерева, и он будет работать! — говорил он нам). Он едва уловимым движением поворачивает старую с выбитой ручкой стамеску, с известной только ему точностью ударяет два-три раза молоточком, снова поворачивает. И при этом разговаривает о чем-то с корнем векового карагача, поет. Мы осторожно отступаем во двор...

Уже на улице мой друг — критик — отходит вдруг от машины, идет к соседям за вязаным плетнем. Испуганный хозяин с опухшим небритым лицом моргает глазами, из-за дома выглядывает долговязый подросток в грязной майке с иностранными буквами: тот самый, что перелез через плетень с ножовкой. Мой друг, родом из слободки, на понятном языке говорит им необходимые слова. Хозяин мелко кивает головой, опасливо поглядывая в сторону нашей машины. Мой друг возвращается, победно сверкая очками.

Мы стоим еще некоторое время возле машины. В спокойном синем небе шелестит опадающая листва. Над желтеющими карагачами, пожухлыми яблоневыми садами, над заросшей полыню степью слышится осмысленный стук мастера...

Это было двадцать лет назад — наше посещение мастера. Репродукции его работ не раз печатались в журнале «Простор», выходили очерки и повести о нем...

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР Исаак Яковлевич Иткинд умер, совсем немного не дожив до своего столетия. Вся творческая общественность республики хоронила его. Когда он лежал в гробу: спокойный, безмятежный, будто решивший



только немного передохнуть, мой товарищ, большой русский художник Женя Сидоркин поцеловал мастеру руку.

*г.Алма-Ата  
Октябрь 1985 г.*

## ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Меня убить хотели эти суки!..

*Юрий Домбровский*

В такие минуты чувствуешь какую-то особую приподнятость. На короткий срок ощущаешь собственную значимость, вроде бы личное прикосновение к государственному делу. И хоть разумом понимаешь все, в том числе и двусмысленность собственного положения, некие трубы играют в тебе с пионерского детства знакомый мотив. В глазах товарищей, «рядовых писателей», видишь то же чувство радостного соучастия. Вторую ночь дежури́м мы в новом аэровокзале по приему гостей, и в подтверждение важности проводимого мероприятия нам выделили депутатские комнаты. Мы отдыхаем в мягких импортных креслах, ходим по коврам, едим и пьем из холодильников такое, чему и название забыто, а в туалетах с достоинством смотримся в огромные, вправленные в мрамор зеркала. В нашем распоряжении машины, десятки машин, всё черные и муаровые «Волги» с бархатными сиденьями и плавным, солидным ходом с покачиваниями на поворотах. Молчаливые шоферы, все почему-то в одинаковых лаковых ботинках, выполняют каждое наше распоряжение. Предстоит большая конференция с участием зарубежных писателей на самую животрепещущую тему. Наша республика, «лаборатория дружбы народов», не случайно выбрана местом ее проведения. И мы знаем свое место в ней. В день открытия мы будем следить за порядком в коридорах, дежурить в гостиницах, разбираться с транспортом. Напрямую с гостями будут общаться товарищи из ЦК, Общества дружбы с заграницей и утвержденные на это секретари Союза писателей. С ними уже проведено необходимое совещание, совместно с Москвой проработана повестка дня, намечены выступающие. Потом гости поедут по областям, побывают в передовых целинных совхозах, встретятся с нефтяниками Мангышлака, овцеводами Бетпак-Далы, рыбаками Арала и Балхаша. К нам все это не имеет отношения...

А пионеры уже готовы. Их привезли в больших красных автобусах еще утром, часа за три до прилета главных гостей,

и они в последний раз репетировали встречу: протягивали в воздух цветы, громко декламировали стихи, трубили в горны. Тут же ждали представители общественности: человек сто пятьдесят их стояло полукругом, празднично одетые, среди них государственный ансамбль песни и танца в белых и розовых платьях с золотыми поясами и перьями цапли на головах. Прямо на летное поле выехала черная «Чайка», за ней еще и еще машины, и секретарь ЦК по пропаганде в легком сзетлом костюме вместе с другими товарищами прошел вперед, приветствуя полной, короткой рукой актив. И сразу послышался гул самолета... Два увитых транспарантами трапа одновременно подкатили к дверям остановившегося лайнера. Оркестр заиграл туш. Все смотрели на первую дверь. Она сдвинулась внутрь. Вначале показалась голова в форменной аэрофлотовской фуражке, потом она куда-то пропала, и, распрямляясь во весь свой рост, из самолета на трап шагнул человек с буйными, нависающими вперед волосами и синими глазами. Некая природная взбудораженность была во всей его чуть подавшейся вперед фигуре с длинными руками, в сильной высокой шее, в какой-то порывистости движений. Да, это был он: в знакомых, мятых, пижамного типа штанах, бежевой кофте на одной пуговице и с оттянутыми карманами, в сандалиях на босу ногу. В руке он держал что-то продолговатое, наспех завернутое в газету. Не обращая никакого внимания на выстроившееся в линию начальство, он поискал глазами в толпе и, увидев меня, закричал:

— Морис... Это я!

Пробежав своим громадными шагами через толпу, он поцеловался со мной и поднял высоко над головой бутылку из отпавшей газеты:

— Из Польши мне привезли. По старому рецепту готовлено. На желудях!..

Я ничему не удивлялся. Разве что зачислению его в официальную делегацию столичных писателей. Уже некоторое время жил он в Москве, получив на волне реабилитации комнату в коммунальной квартире с пропиской, чего страстно, со всем пылом души добивался, составляя высокохудожественные письма о своем праве на нее. Письма были на тридцати-сорока страницах, и он читал их нам вслух. Это была воистину боевая публицистика: интересно, сохранились ли эти письма где-нибудь? Однако, проживая уже в Москве, он всякий раз навещал Алма-Ату, на три-четыре месяца обосновываясь в одном и том же номере старой гостиницы, где жил здесь в войну и позже, до последней посадки. Этот номер тут же освобождали для него. Его знали и уважали все дежурные, уборщицы, буфетчицы, старший швейцар...

А вот как его вдруг включили в делегацию, было непонятно. Дело в том, что писатели по какому-то чуть ли не биологическому признаку делятся на тех, кто ездит на всяческие декады и сидит в президиумах, и на других, кто не ездит и не сидит. Причем, среди вторых могут быть живые классики, а среди первых находятся люди, не написавшие ни одной строчки за свою жизнь, но это не имеет ровно никакого значения. Если же случайно кто-то из второй категории вдруг попадает в президиум или оказывается включенным в делегацию, то литературную общественность охватывает волнение. Оказываются нарушенными некие таинственные законы, так сказать, организационные традиции социалистического реализма. Впрочем, попавший ненароком не туда писатель сам чувствует себя не в своей тарелке и стремится убраться оттуда, после чего волнение успокаивается. Но если кто-то из первой категории вдруг оказывается не включенным в президиум или в какой-то представительный список, то это уже настоящая человеческая трагедия. Она оборачивается вызовом скорой помощи, тревожными и длительными телефонными переговорами, взволнованными заявлениями в ЦК и прочими активными акциями. С этим никто не хочет иметь дело, поэтому и тут всё возвращается на круги своя. Борьба за существование в литературе жестока, как и в природе. Выживают сильнейшие... в смысле президиумов и наградных списков.

Встреченный мной Писатель мало того, что никак не подходил для президиума, так еще был и реабилитированный. Отстал там от жизни, может сказать не то. Да и напомнить своим присутствием некоторые нежелательные явления, бросить, так сказать, тень. Кто-то явно допустил ошибку там, в Москве, при формировании делегации. Эту мысль я ясно читал на лице заведующего пропагандой и агитацией ЦК, который упорно смотрел в нашу сторону. Соблюдение морально-этических норм было наиболее сильной стороной нашего республиканского партийного руководства.

— Старик,— сказал я,— у жены сегодня именины, поэтому не могу до вечера...

— Так мы немного! — сказал он, опять поднимая бутылку, и меня это убедило. Я забыл про мероприятие и свою в нем ответственную роль. Мы пошли, не оглядываясь...

Он искренне расстроен и шумно выражает свои чувства. В «его» гостинице новый директор не стал сразу освобождать тот самый номер: на первом этаже, без удобств и с шаткой мебелью, зато можно выходить через окно сразу на улицу. Пришлось пока

обосноваться вместе с делегацией в люксе нового отеля. Ему уже здесь нравится, он проверяет, работает ли холодильник, включает и выключает верхний и боковой свет, радуется виду из окна.

Среди писателей, которых число друзьями, знаю лишь двух, у которых бы так непосредственно, без всяких пут и условностей, проявлялось творческое начало. Это как непрерывно рождающийся мир с выбросами протуберанцев, разумеется, ничего общего не имеющий со вздорным кипением самолюбивой посредственности. Оба противоположные характеры. Один, введший в мировую литературу как понятие дом своего детства на набережной и ежегодно убегающий из Москвы в Ашхабад, где я долго жил, от семейных и государственных неурядиц. Тот все больше молчит, с мрачной сосредоточенностью вглядываясь во что-то ему одному видимое. И вдруг, как конечный результат сложной работы мысли и чувства, скажет нечто неожиданное, с высокой творческой точностью подмеченное, а на лицо набегит сдержанная улыбка освобождения. Затем снова трагическая складка у лба и долгое молчание.

Та же напряженная внутренняя работа и здесь, только вся она на виду, на людях, с неумным желанием объяснить явившееся прозрение также и себе, радоваться ему; заставить всех вокруг думать, сопоставлять, чувствовать вместе с собой. Все это без нажима, без агрессии, одно искреннее, сохраненное от первоначала увлечение всяким предметом, разглядывание его заново, как бы первый раз в жизни. И неожиданный взгляд на другой предмет, потому что неисчислимо количество их вокруг, и в этом глубокий смысл. Нет, тут не легкомысленное порхание, а просто одновременно разрабатывается множество сюжетов, так или иначе находящихся между собой в некоей вселенской, не доступной зрению связи...

Пока что мы берем из буфета предназначенный ему как члену делегации завтрак и пьем старую польскую водку, с энтузиазмом отмечая ее качества. Говорим об общих знакомых в Варшаве. Вдруг он замолкает и в упор смотрит на меня:

— А знаешь, у тебя орнаментальная проза!

— Ладно, — говорю я.

Напоминаю ему, что сегодня у меня день рождения жены, придут мои родители. Так что я должен быть в форме, нужно еще купить подарок. А потом приглашаю его в гости. Он тут же, ни слова не говоря, начинает переодеваться в новый костюм, как видно, купленный вчера в Москве. И от рубашки он тоже отрывает ярлык.

— Сколько у тебя денег? — деловито спрашивает он.

— Сто рублей, — говорю я.

— И у меня около того. Подарок следует сделать такой, чтобы на всю жизнь остался!

Я соглашаюсь. Он вдруг останавливается посредине комнаты и поднимает вверх руку:

— Мне сказали, что у вас открылся художественный салон. Там и выберем, что купить. Чтобы не дарить какую-нибудь банальность!

Времени до вечера достаточно. Мы решаем пока что пройтись по городу, подышать свежим воздухом. Я уже знаю, куда мы пойдем. Это парк Федерации, переименованный в Героев-панфиловцев, а в основе своей бывший городской сквер форпоста Верного с кафедральным собором и старым домом офицерского собрания напротив.

— Видишь, вон там, под крестом!

Забыв, что не раз уже показывал мне его, он резко тычет пальцем на оконце при самой колокольне. Там, в малой светелке с видом на три стороны, жил и работал он когда-то задолго до войны, совсем молодым человеком будучи выслан сюда по политическим мотивам. Хранитель древностей — такова была его должность, поскольку состоял консультантом размещившегося в соборе музея. Он и увековечил этот собор вместе с его строителем Андреем Павловичем Зенковым, архитектором города Верного. Собственно, у каждого писателя есть свой город или определенная местность, не обязательно та, где он родился или рос, которая так или иначе сделалась местом приложения его творческой мысли и чувства. Это — его подлинная родина. Впрочем, и каждый город или местность имеют с в о е г о писателя, и не подделаться под это звание пусть даже местному уроженцу в тысячелетнем исчислении, если лишен неких начал. На более высоком витке это правило выходит за рамки географических понятий. Генрих Гейне — большой выразитель немецкого духа, чем Йозеф Геббельс, сколько бы ни бравировал тот своими арийскими качествами.

Проблема человеконенавистничества, гнездящегося в примитиве ума и чувства, была представлена им в образе Обезьяны, приходящей за своим черепом. Этот антифашистский роман был написан еще во время войны, но опубликован много позже. И еще исследование о Державине. А сейчас мы сидим с ним в летнем ресторане напротив е г о собора, и он с неумным пылом, рассекая рукой воздух, рассказывает мне о своем друге — художнике Калмыкове. Тот ходит по городу в матерчатом одеянии вроде комбинезона с разного цвета штанинами и слывет сумасшедшим, а, по его убеждению, гениален. Он говорит о семиреках, местных казаках, в прошлом веке поселенных на китайской границе. У них выработались свои особые нравы, зародились и утвердились отличные от других обычаи. Он влюблен здесь в каждого человека, в каждый камень, вывороченный селом из

монолита Тянь-Шаня и оставленный на городской улице, и без этого не может быть писателя. Я еще не читал настоящей книги, основанной на нелюбви, на злой ненависти к индивидууму, нации или обществу. У писателя может быть лишь активное неприятие своего героя или события...

Я знаю многое уже об этом городе городе и людях из его романа-дилогии, первая часть которой сейчас публикуется, но вторая попала в ловушку обратного хода от того порыва к здравому смыслу, который произошел в Пятидесятые годы. А сам думаю о всей громадной центральноазиатской равнине, где в последние два века происходили новые исторические изменения в непрерывной цепи их от великого переселения народов. Три казачьих войска: Яицкое, Сибирская «Горькая линия» и войско Семиреченское обрели себе здесь родину. У каждого было своя судьба, а не один только разный цвет околышка. И нравы их, как и песни, вбирали в себя исконное от тех народов, с которыми свела их историческая судьба. Нужно ли было вообще нивелировать казачество, лишая русскую жизнь необходимого многообразия. Впрочем, нивелировка шла в глобальных масштабах, и на прокрустово ложе сталинского самодержавия укладывались классы, государства и народы.

Прочитав роман в рукописи, я посмотрел на этот город новыми глазами. Воплощенные в тянь-шаньском дереве полотна Зенкова — не могу подобрать им более подходящего определения — продолжая византийскую традицию, содержали в себе жизненную идею единения Запада с Востоком. Яркий, с установившейся в тысячелетиях формой собор был центром всему. А офицерское собрание, губернаторский дом, лавки и магазины на бывшей Торговой улице вместе с неповторимой их рускостью несли мотивы и образы пагоды, мечети, караван-сарая на Великом Шелковом пути, соединявшем цивилизации. В этот естественный мир вписывались затем искусственные сюжеты: дом Троцкого, камышитовая пристройка, где жил, будто бы укрываясь от участия в Отечественной войне, отравленный газами в первую мировую войну боевой офицер Зоценко, бараки спецпереселенцев с Кавказа, Крыма, со Средней Волги, из прикаспийских степей. Сюда начали ссылать задолго до Тридцать Седьмого из Москвы, Ленинграда, Киева, и здешний университет мог поспорить с иными столичными институтами количеством известных в науке имен. Эти имена, и не в одной только науке, продолжали поставлять сюда Ақмолинские и Карагандинские лагеря. Мой юный друг — поэт сказал о своем отчем крае, что тот со времен еще Достоевского и Шевченко «огромною каторгой плавал на карте», и был за то надолго подвергнут административно-издательскому остракизму...

— Твой отец, ты говоришь, микробиолог?

Я смотрю недоуменно. Он тут же задает мне какой-то вопрос из области вирусологии, о котором вычитал в специальном журнале. Для меня это темный лес. Про себя я думаю, как воспримет отец неожиданного гостя. Он у меня строгого воспитания. Двадцатых годов и природный «физик»: на литературу и искусства смотрит как на занятие, не достойное серьезного человека. Меня он пробовал когда-то увлечь своей наукой, но понял, что сеет на камне...

Нас уже много за столом. Все свои: из издательства, из «Простора» и, как обычно, кто-то один непонятно откуда. Придвигаем второй стол. Все с недоумением смотрят на костюм нашего друга. Не приличествует он как-то ему: вот уже грудь нараспашку и пиджак сползает с плеч. Это не следствие выпавших на его долю испытаний. Казахский писатель, которого оба мы переводим, говорил мне, что в юности он был такой же: мог прийти в драму в домашних своих штанах и туфлях с примятым задником на босую ногу. Мнение окружающих о собственном виде его не то что не беспокоит, а просто находится вне поля его мыслей. И это вовсе не поза, как у людей вторичного сознания.

— Понимаешь, она прямо выпрыгивала из юбки!

Он повторяет это, уже в третий раз. Мы все здесь, да и половина литературной Москвы, читали его открытое письмо литературному другу. Этот писатель положительно отметил книгу одной литературной дамы, которая жила прежде в Алма-Ате. Сферой приложения ее таланта в столице нашей родины сделалась тема: «Облик нового советского человека».

Не смее, она писать о морали и учить нравственности! — такова концепция этого письма. Когда его взяли в последний раз по обвинению по четырем статьям, эта дама явилась более чем добровольным свидетелем. Она энергично обвиняла его, что ненавидит все наше, советское и восхищается только западным. Так, он плохо отзывался о Тургеневе, а восхвалял трубадура американского империализма Хемингуэя; говорил, что наши лауреаты в подметки ему не годятся, а настоящие писатели в лагерях сидят; что-то еще рассказывал о лагерной встрече с Мандельштамом, видел умирающего на нарах Бруно Ясенского. От многочасовых мучительных очных ставок у него остался этот зрительный образ. Никто ее не принуждал, сама явилась и уличала его.

— Бог с ней, пусть живет, ходит в ЦДЛ, разговаривает. Но пусть не учит морали! — негодует он громко, как-то по-детски, и чуть ли не слезы слышатся в его голосе. А может быть, мы

все разучились морали, и даже упоминание о ней представляется нам инфантилизмом. Мудрые мы, мудрые!..

А посадили его в тот раз уже в Сорок девятом году. За шесть лет перед тем его, умирающего, с неходящими ногами, выбросили из лагеря в ссылку как балласт, не приносящий больше никакой пользы стране. И вот в «Казахстанской правде» появилась статья одного из местных литературных вождей, в которой он был назван «главой антисоветского литературного подполья в Алма-Ате». В статье, помимо всего прочего, утверждалось, что никакой он вовсе не писатель, разве что автор авантюрных записок об обезьяне, от которых бы не отказался сам фашиствующий Сартр. Пишет еще о какой-то смуглой леди времен Шекспира, а когда представили ему командировку к рыбакам на Балхаш, то вместо показа их доблестного труда привез какие-то никому не нужные бытовые заметки. Зато организовал антисоветскую группу, куда входят еще один недоразоблаченный и выпущенный из тюрьмы враг народа, а также их подголосок — молодой преподаватель университета. Через неделю после статьи его взяли. Конфисковали уже написанную первую часть диалогии, которая исчезла в материалах следствия. Пришлось потом восстанавливать ее по памяти.

Любопытно, что если в романе-диалогии воспеваются зенков-ский храм и всечеловечность полотен русского оригинального художника, то автор статьи в своих литературных публикациях видит символом города Верного николаевские казармы, которые, по его мнению, олицетворяют собой идею дружбы народов. Недавно этот писатель говорил мне с достаточной искренностью о жестокости времени, когда пришлось ему совершить поступки, о которых сейчас глубоко сожалеет. Было когда-то великое правило на Руси — каяться в грехах всенародно. И прощали!..

— У тебя все-таки орнаментальная проза!

Оказывается, он думал все время об этом. Я машу рукой: мне безразлично, какая она у меня. А он забывает вдруг обо мне и с горячностью ввязывается в общий разговор. Про него тоже забыли и говорят о своем, наболевшем. Уже почти год идет подлая, какая-то шакалья атака на «Простор». Штаб ее дислоцируется в вечерней городской газете, редактор которой, посредственный газетчик, метит в писатели и соответственно редакторы литературного журнала, кем вскоре и сделается. У него агенты возле кабинета первого лица в республике. Идут разговоры, что во время беседы с нашим секретарем ЦК по пропаганде в Москве



Суслов кричал: «Что вы там у себя второй «Новый мир» развели!» «Простор» первым извлек из долголетнего небытия имена Павла Васильева, Андрея Платонова, стал публиковать Цветаеву, Пастернака, Мандельштама, местных реабилитированных литераторов...

И, конечно же, Ивана Петровича Шухова, казака «Горькой линии», большого русского писателя, состоявшего когда-то в переписке с Горьким, стали гласно и негласно обвинять, что он, будучи главным редактором, окружил себя «этими», которые и толкают его на неправильный путь. В редколлегии из «этих», да и то наполовину, я один. Тем не менее, нашли еще двух подозрительных: одного в очках, а другая слишком уж брюнетка. Еще одна местная литературствующая дама, которой пришлось отказать в публикации патриотической повести по случаю полной ее орфографической и синтаксической несостоятельности, включившись в этот хор, попутно обвинила меня в той же вечерней газете, что, являясь работником издательства, я протаскал там свою книгу с повестями, публиковавшимися в «Новом мире» у А. Т. Твардовского. Что же, «поэт горбат, стихи его горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты!» Я замечал, что в людях этого порядка всегда присутствует некий изъян. Не обязательно внешний: лицом и статью может быть кровь с молоком, а внутри все равно убогий. Здоровый организм не приемлет человеконенавистничества.

Но это все рассуждения. Другой несостоявшийся романист кричал тонким голосом с трибуны литературного собрания, выводя меня на чистую воду: «Товарищи, дорогие, вы, наверно, не знаете. Он ведь не Симашко, он Шамис. Понимаете: Ш а м и с!..» Известный политический прием со времен Понтия Пилата. Помните: «Се царь Иудейский!» Я посмотрел тогда в глаза своих казахских, уйгурских, корейских товарищей: в них были недоумение и настороженность. Даром такие общественные уроки не проходят. Живущий в стеклянном доме не бросается камнями.

Вскоре меня освободили от работы в издательстве. Не за это, конечно а за ли б е р а л и з м. Так оно было конкретно сформулировано, может быть, единственный раз в истории мирового книгопечатания. И опубликовано в официальном органе только что созданного Госкомиздата СССР...

Я отрываюсь от своих невеселых дум и начинаю выбираться со своим гостем из-за стола. Продолжая разговор, мы приходим к художественному салону и видим, что там перерыв. Решаем переждать его в сосновом сквере. Это как раз напротив серого

здания в самом центре города, которое так же, как и собор, от начала и до конца присутствует в его романе. Он знает этот дом изнутри со многими подробностями до подвалов. Мы сидим на зеленой садовой скамейке, и он молча смотрит в убранные по первому этажу решеточкой окна.

— Что там с Ландау? — спрашивает он совершенно трезвым голосом.

Я долго молчу, прежде чем ответить. Литературовед Ландау, доцент местного педагогического института — наш общий знакомый... Он фронтовой офицер, знал досконально казахский язык и работал над серьезнейшими проблемами перевода казахской поэзии на русский язык. Кроме того, готовил вместе с критиком Б. Сарновым собрание сочинений Ильи Эренбурга, писал о нем докторскую. Двадцатый съезд партии остался где-то далеко в прошлом. К нему явились в институт и увели на глазах онемевших студентов прямо с лекции. После этого целый день у него шел обыск. Что искали, до сих пор никому не известно. Говорили: не то самиздат, не то еще что-то более ужасное. Потом ушли. Утром в его квартире раздался звонок. Он послал убирающую в его одинокой квартире женщину открыть дверь, а сам вышел на балкон и бросился вниз с четвертого этажа. Звонила соседка, чтобы одолжить соли...

Когда узнали об этом в педагогическом институте, известная своей активностью с тридцатых годов преподаватель С. воскликнула: «Я знала, что он был враг!» При общем молчании его оборвала другая — преподаватель Галина Леонидовна Федорова: «Мы не хотим с вами разговаривать на эту тему!» Студентка Нина Ермоленко ходила в КГБ за разрешением на открытые похороны. Ландау хоронили русские и казахские преподаватели и студенты. Доцент естественно-географического факультета Николай Суворов сказал в надгробной речи: «Мы знаем, кто виновен в твоей смерти, Ефим Осипович!»

Нам не хочется больше здесь сидеть, и мы идем в пельменную. Она воспета столичными поэтами, и там есть буфет. Выходим оттуда уже под вечер, достаточно разгоряченные.

— А все-таки у тебя орнаментальная проза! — говорит он.

В салон являемся перед закрытием. На нас смотрят с любопытством. Тут действительно висят картины и есть всякие художественные поделки.

— Сколько у тебя денег? — громко спрашивает он. Я пересчитываю их вместе с мелочью и вижу, что не больше семи рублей. Рублей пять обнаруживает и он у себя.

— Вот и хорошо! — говорит он удовлетворенно. — Это пошлость дарить людям дорогие подарки. Зато мы купим для твоей жены что-нибудь оригинальное!

Мы долго и придирчиво выбираем. Наконец останавливаемся на не то круговом монисте, не то поясе из точеных лакированных деревяшек гуцульской выделки. Он в восторге от тонкости работы, я тоже. И стоит это всего-навсего восемь рублей.

— Видишь, и деньги еще останутся. Только надо все проверить. Я их знаю: нацепят на гнилую резинку, а там абы сбыть неопытному покупателю!

Он берет поясик и своим длинными лапами растягивает его во всю ширь. Нить лопается, квадратные и круглые деревянные раскатываются по всему полу. Мы громко возмущаемся качеством изделия, но нам помогают собрать покупку, нанизывают ее на другую резинку. Тогда мы требуем книгу отзывов и по очереди пишем благодарность за хорошее обслуживание: он в стихах, я страницы на четыре прозы. Где-то в анналах «Культторга» должна сохраниться эта запись...

На оставшиеся деньги мы покупаем цветы. К дому моему подходим, когда начинает темнеть.

— Ты знаешь, я устал, отдохну немного! — говорит он, делает шаг через арык, деловито укладывается в костюме на траву под кустами. Обеими руками он прикрывает голову и подтягивает колени к подбородку. Я чуть ли не силой поднимаю его, и мы шагаем прямо через арыки к моему подъезду. Он снова останавливается:

— Так, говоришь, отец — микробиолог?

И вдруг стремительно бежит через три ступени наверх, открывает дверь и, вручив жене цветы, устремляется прямо к отцу. Тот, я вижу, нервничает: я опоздал часа на три. А он с ходу задает отцу тот же вопрос из вирусологии, начинает горячо, убеждающе говорить. И совершается чудо. Отец оживает, светлеет лицом, и через пять минут они наперебой говорят о чем-то мало мне понятном, забыв про все вокруг, и говорят еще три или четыре часа. Я налаживаю отношения с женой и под осуждающим взглядом матери придвигаю к себе графинчик. Эпоха застоя требует своего...

Я ловлю машину, провожаю его. Он задумчив и совершенно трезв...

Утром я являюсь к нему в номер и вижу там другого, не знакомого мне человека. Выясняю, что он ночью выехал. Я знаю, где его искать...

В самом центре города, рядом с оперным театром, я захожу в старую ветхую гостиницу, направляюсь в конец длинного темного коридора, толкаю дверь. Он сидит в маленькой темной комнате на железной койке, босиком, в старых пижамных шта-

нах и надорванной у плеча, выцветшей майке. Где-то он совсем в другом мире и не видит меня.

Меня убить хотели эти суки!..

Он говорит хриплым шепотом. Я знаю эти его стихи, прохожу и сажусь у настезь открытого окна, через которое приходит к нему близкая женщина. За окном загораживающие свет сиреневые кусты и тротуар, по которому идут люди.

Я наточил... принес два острых топора  
По всем законам лагерной науки.

Он значительно старше меня, но я смотрю на него почему-то как на ребенка. Творческая мощь в его согбенной фигуре. Мне безмерно больно за него и хочется что-то сказать. Но я молчу...

\* \* \*

Называть или не называть фамилии палачей, осведомителей тех страшных каиновых времен? Или времен более поздних, не столько уже страшных, но которых, говоря языком классики, не было подлей. Слышатся требования о национальном очищении советского народа, об отечественном «Нюрнбергском процессе». Не знаю, что сказать по этому поводу. Буду говорить лишь в продолжение судьбы Писателя...

Все происходило у меня на глазах у десятков и сотен людей — возвращение Юрия Домбровского в Алма-Ату после последнего его лагерного срока. Он не отсидел его до конца — в наши людские дела вмешалась сама Природа и еще состоялся XX съезд партии. В проходе Союза писателей республики он встретил поэта-ровесника, который, увидев его, побледнел и стал оседать на землю:

— Прости... прости, если сможешь, Юрий Осипович, за то, что говорил на тебя следствию. Слаб оказался...

— А, ерунда... Идем, посидим где-нибудь! — ответил Юрий Домбровский.

Нет, не был он мстительным человеком. И говоря сегодня о тех, кто прямо или косвенно был причастен к его последней посадке, нельзя не считаться с какими-то его чувствами, так и не понятными мне до конца. Поэт-ровесник, о котором шла речь, вскоре после их встречи взял как-то утром охотничье ружье, вложил дуло в рот и большим пальцем ноги спустил курок...

А вот писатель, не на следствии, а добровольно и прямо в газете объявивший Юрия Домбровского главой антисоветского литературного подполья, не мог не знать, к чему это ведет. С

ним, с этим писателем, как и многие другие люди, я нахожусь в добрых отношениях. Много лет назад, когда прошлое, казалось, было заперто на крепкий замок, мы сидели с ним на «стартплощадке», как называют у нас летнее кафе рядом с Союзом писателей. Он читал мне неизвестные стихи Двадцатых годов, потом вдруг сказал, глядя куда-то поверх крыш домов:

— Знаете, Морис, я старше вас. И у меня были такие... моменты в жизни... Все бы отдал, все свои блага и еще что-то, чтобы их не было!

Я посмотрел на этого много прожившего человека, прошедшего войну, и поверил. Ему необходимо было сказать кому-то об этом. Не может человек не думать о таком, с ним произошедшем. До самого последнего дня жизни должен думать. А вот Юрий Домбровский и к нему относился с некоей снисходительностью. Что-то такое страшное было в том, прошлом времени, с чем не справился ординарному человеку. Даже и очень крупные люди не справлялись. Не помогали ни жизненный опыт, ни фронтовая закалка.

Я пытаюсь передать направление мыслей Писателя по этому поводу в наших с ним разговорах. С явлением следовало сводить счёты, а не с его жертвами, будь даже эти жертвы сами участники преступления, выигравшие в кровавой рулетке жалкую ставку — свою жизнь. А к ней пусть сомнительный почёт и благоденствие в виде подачи с людоедского стола. Не знаю, как отнесся бы Юрий Домбровский к тому, чтобы назвать имена всех причастных к его аресту людей, и не делаю этого...

Но есть еще та самая дама, которая сейчас всенародно, по центральному телевидению, ратует за перестройку, и имя которой Юрий Домбровский громко назвал еще тогда, в открытом письме товарищу. Почему он это сделал? В письме прямо отвергаются какие-либо личные мотивы. Что же вызывало у него столь полное неприятие?

Я знаком с этой дамой, и много лет назад, когда она еще жила в Алма-Ате, слышал ее высказывания о не удовлетворяющем ее состоянии нашего общества. Я ничего еще не знал тогда об ее участии в чужих судьбах, и все же насторожился.

— Нам не хватает уверенных, сильных людей, личностей, — говорила она, жестко сжав пальцы в кулачки. — Были ведь личности в нашей истории, а сегодня их нет!

Дело происходило в пору далеко зашедшей тогда, по мнению некоторых решительных людей, оттепели. Мы с этой дамой полунемцы по происхождению. Возможно, из-за этого, когда я слышу в чьем-то голосе тоску по «уверенной личности», ко мне невольно приходят сомнения. Да нет, были в нашей русской истории настоящие личности: Пушкин или, к примеру, Твардов-

ский. Был Ленин. И в немецкой истории был Эрнст Тельман. Нет, не о такой категории силы тосковала она. Очевидно, эту ее идеологически однозначную тоску и уловил Писатель, проводя ее возможность и способность «плодоносить». О чем и предупреждал в означенном письме. Так что мне нет нужды называть здесь фамилию и этой дамы, пусть ее назовет сам Юрий Домбровский. Письмо задумывалось как открытое, и в Алма-Ате имеется экземпляр с собственноручной его подписью.

*г. Алма-Ата*  
*9.11.88*

## СОДЕРЖАНИЕ

СЕМИРАМИДА. <i>Роман</i>	5
ГУ-ГА. <i>Повесть</i>	329
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЮЖЕТЫ. <i>Очерки</i>	445
Писание по Бондарю	446
Дебют	456
Посещение мастера	471
Орнаментальная проза	481

**Морис Давидович Симашко**  
**ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ**

Том третий

Редакторы *Г. Рубцова, Н. Крексунова*  
Художники *К. Абдикаримов, Л. Тетенко*  
Художественный редактор *Р. Слюсарева*  
Технический редактор *К. Абдикаримова*  
Корректор *Ш. Мукажанова*

**ИБ № 4976**

Сдано в набор 18.03.93. Подписано в печать 20.11.92. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Высокая печать. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-от. 26,04. Уч. изд. л. 31,42. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3834. Договорная цена.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алматы, проспект Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «КІТАП» Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алматы, пр. Гагарина 93.

Набрано ИБЦ Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан с использованием АСУТИИ «Союз».